
Илья
Эренбург
5

Илья
Эренбург
5

Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах



Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах

Москва
"Художественная литература"
1996

Илья Эренбург

Собрание сочинений
том пятый

РОМАН

Падение Парижа

СТАТЬИ

Война 1941·1945

1996
Москва
„Художественная литература"

ББК 84(2Рос=Рус)6
Э76

Составление и подготовка текста
И. И. ЭРЕНБУРГ и А. И. РУБАШКИНА

Комментарии
Б. Я. ФРЕЗИНСКОГО и В. В. ПОПОВА

Оформление
Е. А. ГАННУШКИНА

ISBN 5-280-02068-0 (Т. 5)
ISBN 5-280-01055-3

Падение Парижа

роман

Часть первая

1

Мастерская Андре помещалась на улице Шерш-Миди. Это старая улица с дымчатыми домами, на которых ставни оставили черные переплеты. Здесь много лавок древностей: секретеры Директории, жирные ангелочки, пуговицы из слоновой кости, гранатовые ожерелья, китайские монеты, медальоны с локонами, ладанки. Торгуют этим хламом чопорные дамы или старички, гладко выбритые, розовые, в черных ермолках. На углу улицы—кафе с продажей табачных изделий, под вывеской «Курящая собака»; посетителей смешит старый фокстерьер, который служит с обглоданным мундштуком в зубах. Наискосок—ресторан «Анри и Жозефина». Жозефина мастерски запекает в глиняных горшочках фасоль, гусятину, колбасу; Анри спускается в погреб за бутылкой вина, покрытой пылью, или подсчитывает на грифельной доске, сколько причитается ему за обед; он неизменно весел, прищелкивает языком, расхваливает блюда и сует всем свою широкую, как ласт, руку. Рядом—мастерская сапожника; сапожник, хотя ему за шестьдесят, набивая подметки, поет про «шельму-любовь». Еще дальше—цветочная лавка: анемоны, левкои, астры. Торгует цветами высохшая опрятная старушка; с утра она выписывает на двери, чьи сегодня именины. Тротуары расчерчены мелом: «рай» и «ад» или «Италия» и «Эфиопия»—это играют ребята. Утром усатые торговки подталкивают ручные тележки; они звонко кричат: «Апельсины! Помидоры!» Проходит старьевщик и, чтобы оповестить о себе, играет на дудочке; ему выносят рваные жилеты, просиженные пуфы. Под вечер

шляются престарелые певцы, скрипачи, шарманщики — поют, пиликают, приплясывают; с верхних этажей им швыряют медяки.

А в домах спокойно, темновато, тесновато: много мебели, много дребедени. Все — старое, и это старое берегут; на креслах чехлы; чашки в буфете склеены; стоит кому-нибудь чихнуть, как его тотчас напоят липовым чаем или пуншем, приготовят горчичники. В аптекарском магазине продают травы для настоек, припарки, притирки, кошачьи шкурки, якобы облегчающие страдания ревматиков. Котов уйма; оскопленные и жирные, они мурлычут в лавках, в швейцарских, где консьержки с раннего утра томят баранину. Особенно хороша улица под вечер: все тогда синеватое, нарисованное.

Мастерская Андре помещалась на верхнем этаже, и вид оттуда был замечательный: крыши, крыши — море черепицы (она похожа на зыбь); над крышами тонкие струйки дыма; а вдалеке, среди бледно-оранжевого зарева, Эйфелева башня.

В мастерской было тесно, не пройти: подрамники, колченогие стулья, тюбики с красками, стоптанные ботинки, вазы. Казалось, вещи не лежат, а растут; иногда они напоминали весеннюю поросль — это когда солнце, несмотря на запрет, проскальзывало в мастерскую, и Андре, удивляясь — «До чего вру!», пел вздорные куплеты; иногда мастерская была как увядающий лес, все в ней рыжело, осыпалось. Сам хозяин походил на дерево — большой, медлительный, молчаливый. С утра он садился за работу: писал крыши или натюрморты — астры, цветную капусту, бутылки. К вечеру, закуривая большую трубку, он спускался, ходил по улицам, дымил; иногда зайдет в кино, посмотрит, как мышонок Микки плутует, улыбнется и пойдет домой спать.

Андре работал медленно, медленно жил; в тридцать два года он изумленно, как подросток, осматривал мир. О нем уже поговаривали — «сложившийся художник», но ему казалось, что он только сел за работу. Отец Андре, нормандский крестьянин, хорошо знал, как медленно растет яблоня, как в срок тяжелеет стельная корова; с таким же терпением Андре следил, как вещи обретали форму и цвет.

В тот день ранней неровной весны Андре писал букет анемонов. Когда постучали в дверь, он нахмурился. Пришел старый приятель Пьер и сразу затара-

торил: Пьер всегда говорил скороговоркой. Андре рассеянно улыбался, то и дело поглядывая на холст: он только сейчас заметил, что желтый цвет вышел чересчур тяжелым.

Рядом с Андре Пьер казался крохотным — подвижной, как птица, кожа оливкового тона, большие выпуклые глаза, длинные руки, гортанный голос. Разговаривая, он прыгал между рамами и вазами.

Инженер-конструктор, Пьер увлекался театром, пробовал прежде писать стихи, даже издал книжку под псевдонимом; часто влюблялся и, терпя сердечные неудачи, помышлял о самоубийстве; но к жизни был крепко привязан и любил ее вплоть до обид. Был он человеком впечатлительным, слабовольным; порой друзья толкали его на неожиданные поступки. В кафе он познакомился с музыкантом-роялистом. Тогда в Париже подымалось движение против парламента: раскрыли причастность многих депутатов к афере Ставиского. Разговоры о «честности» взволновали Пьера, и в ночь мятежа он оказался на площади Конкорд. Полгода спустя он попал на антифашистский митинг; выступал социалист Виар. Пьер рассорился с музыкантом и стал обличать милитаризм. Он проглатывал десяток газет и не пропускал ни одной демонстрации.

Тысяча девятьсот тридцать пятый год был для Франции годом перелома. Народный фронт, который родился вскоре после фашистского мятежа, стал дыханием, гневом, надеждой страны. Четырнадцатого июля и седьмого сентября — в день похорон Барбюса — улицы Парижа заполнила миллионная толпа; люди рвались в бой. Им говорили о близких выборах, об урнах, которые решат все; но они в нетерпении сжимали кулаки. Впервые народ увидел перед собой призрак войны: Германия ввела войска в пограничную Рейнскую область; итальянцы укрощали злосчастную Абиссинию. Францией правили ничтожные люди, боявшиеся и соседних стран, и своего народа. Они считали себя мудрыми стратегами: они говорили ласковые слова отнюдь не сентиментальным англичанам, а потом науськивали Рим на Лондон. Мудрецы были простаками; маленькие государства одно за другим отворачивались от Франции; приближалось время одиночества. Министры куда больше думали о близких выборах, нежели о судьбе страны. Они пытались расколоть Народный фронт. Префекты

подкупали колеблющихся, запугивали малодушных. Каждый день рождались новые фашистские организации. Юноши из хороших семейств по вечерам обходили богатые кварталы столицы с криками: «Долой санкции! Долой Англию! Да здравствует Муссолини!» В рабочих пригородах говорили о близкой революции. Испуганные обыватели боялись всего: гражданской войны и немецкого нашествия, шпионов и политических эмигрантов, продления срока военной службы и забастовок.

Пьер, захваченный событиями, жил как на бивуаке.

Андре он любил со школьных лет, но встречались они редко; жизнь Пьера была бурной, и Андре всегда оставался в стороне. При встречах Пьер восторженно рассказывал приятелю о своем последнем увлечении: о новом моторе, о стихах Бретона, об антифашистском конгрессе писателей. Андре слушал и улыбался; потом они шли в «Курящую собаку», пили пиво или вермут; потом расставались. Проходил год. Пьер вдруг вспоминал про Андре и, вбегая в мастерскую, кричал: «Знаешь, вчера...», как будто они накануне виделись.

Так было и теперь:

— Ты читал речь Виара? «Мы должны провести всеобщее разоружение, даже против воли германского милитаризма...» Все только и говорят что о войне: будет? не будет? У нас директор завода до гороскопа дошел: Водолей, оказывается, за войну, а Телец против. Видишь, какая ерунда! Конечно, Гитлер — сумасшедший. Но если победит Народный фронт, войны не будет. А ты как думаешь?

— Я? Не знаю. Я об этом не думал.

Пьер вдруг заметался.

— Куда ты?

— В Дом культуры. Они какой-то сюрприз готовят... Идем! Нельзя жить в берлоге. Я теперь там часто бываю: захватывает. Там и рабочие, и техники, и ваш брат — художники. Вот в это я верю, я и директору нашему сказал — без гороскопа... Он даже позеленел от злобы. Это обязательно будет...

— Что?

— Как «что»? Революция. Поглядел бы ты у нас на заводе... Ну, пошли!

Андре грустно озирался на холст. Но Пьер его вытащил.

С трудом они проникли в большой накуренный зал. Люстра казалась масляным пятном; лица смутно посвечивали, как блики. Здесь были рабочие в кепках, художники в широкополых шляпах, студенты, служащие, девушки. Народ, прославленный своим скепсисом, здесь переживал второе отрочество: увлекался, спорил до хрипоты, бил в ладоши и клялся не отступить. Здесь жали друг другу руки ученый с мировым именем, лауреат Нобелевской премии и молоденький стекольщик, вчера написавший наивное четверостишие о «новой жизни». Слова «Народный фронт» здесь звучали, как «Сезам, откройся»: стоит только победить Народному фронту, и сразу в руке землекопа окажутся кисти, даже косные огородники оценят живопись Пикассо, стихи станут языком времени, ученые изобретут бессмертие, а на берегах видавшей виды Сены вырастут новые Афины.

Андре стал разглядывать соседей. Вот рабочий: он слушает жадно, будто пьет. Этот зевает, должно быть, журналист. Много женщин. Все курят.

На подмостках стоял старичок. Это был знаменитый физик; но Андре его не знал. Ученый говорил тихо, кашлял, и Андре разбирал только отдельные слова: «социалистическая культура... новый гуманизм...».

Андре никогда не бывал на собраниях. Он вдруг затосковал по мастерской, по оставленной работе. Потом он взглянул на трибуну и, не вытерпев, крикнул Пьеру:

— Да ведь это Люсьен!

Вот что они называли «сюрпризом»! Андре вспомнил, как Люсьен в лицее читал стихи Малларме «Люблю я девственницы гнев», рассказывал, что курит опиум... Теперь он с рабочими... Да, конечно, люди меняются...

Люсьен сразу овладел вниманием. Говорил он отрывисто, вдохновенно:

— Судьбу земли решат те, кто над землей: бомбардировочная авиация. Или те, кто под землей: шахтеры Пикардии, Рура, Силезии. Шестьсот депутатов? Есть такие жуки — мне рассказывал один энтомолог — в них кладут яйца мухи. Личинки растут в тельце жука, и жук двигается, но он мертв, а двигаются личинки...

Люсьен говорил о Гитлере, о войне, о революции. Когда он кончил, было тихо: еще длилось очарование голоса. Потом раздались аплодисменты. У Пьера даже руки заболели, так он хлопал. Рабочий, рядом

с Андре, затянул: «Это юная гвардия из предместий идет...» Андре забыл о мухах, о войне, о Люсьене, ему захотелось написать портрет рабочего.

На трибуне старичок долго жал руку Люсьену. Вдруг встал молодой человек с серым, изможденным лицом; одет от был бедно, но элегантно. Он крикнул:

— Прошу слова!

Председатель растерянно схватился за звоночек:

— Ваше имя?

— Грине. Мое имя мало что вам скажет. Важнее имя докладчика. Насколько мне известно, его отец, господин Поль Тесса, получил от мошенника Ставиского восемьдесят тысяч. Очевидно, здесь на эти денежки...

Дальше ничего нельзя было разобрать. Грине размахивал палкой; его лицо скосил тик. Рядом широкоплечий детина бил кого-то табуреткой. Андре едва протиснулся к выходу. На улице его окликнул Пьер:

— Погоди, мы пойдем в кафе с Люсьеном.

— Не хочу.

— Почему?

(Это спросил Люсьен — он подошел сзади.)

— Выпьем пива. Там было здорово жарко, я еле договорил. Меня предупреждали, что они сорвут доклад.

Пьер усмехнулся:

— Их проучили. Я этого Грине помню: я с ним шестого февраля столкнулся. Одержимый, резал бритвой лошадей... Ясно, что они выбрали такого. А ты замечательно говорил! Воображаю, что напишут в газетах! Во-первых, у тебя большое литературное имя. Потом — сын Поля Тесса с нами! Конечно, для тебя это — драма. Но какой резонанс! Поэтому они и хотели сорвать. Молодец, честное слово, молодец! Андре, ты почему молчишь?

— Не знаю, право, что сказать.

— То есть как это не знаешь?..

— О таких вещах надо долго думать. А мне особенно. Ты сам сказал, что у меня «большая передача»...

Рядом шла молодая женщина, без шляпы, с круто вьющимися волосами; у нее был вид навсегда изумленный; глаза лунатика или ночной птицы. Она шла молча; потом вдруг остановилась:

— Люсьен, ключ у тебя? Я до работы зайду домой.

Люсьен спохватился:

— Я забыл вас познакомить. Жаннет Ламбер, актриса. Это мои школьные товарищи: Андре Корно,

Пьер Дюбуа. Зайдем в кафе, потом я тебя отвезу в студию.

В кафе было пусто. За перегородкой играли в карты: «А у меня дама!»... Андре жадно пил пиво. Потом он поглядел сбоку на Жаннет и смутился: какие глаза! Попробовали вспоминать школьные годы, но разговор не вышел. Даже Пьер притих: устали от духоты, от шума.

К стойке подошли двое — навеселе; заказали по рюмочке. Один, человек лет сорока, в фуражке посыльного, громко сказал:

— Если, например, отнимают ногу, это ведь дерьмо?

Другой, помоложе, ответил:

— Нет. Это дважды два четыре.

Посыльный бросил монету в орган, и все зажмурились от рева. Пьер запел:

— «Ищу мою Тити-ину...» Помнишь? Это после войны пели, когда мы зубрили герундии. Смешно! Чего только не говорили! «Мир навеки»! А теперь — вы слыхали: «Дважды два четыре»... Очень просто! Сначала у немцев отбирают молочных коров — действие первое. Потом конференции: заплатят? не заплатят? Объявили: «Благоденствие». А возле моего дома каждую ночь спали под мостом. Кафе жгли, рыбу кидали назад в море, машины — на слом. Это второе действие. Появляется Гитлер. Договоры к черту! Они вооружаются, мы за ними, они за нами, мы за ними... Это уже третье действие. Можно предсказать и четвертое. Гитлер заявляет: «Хочу Страсбург, а заодно и Лилль», нам выдают противогазы и консервы, мы защищаем цивилизацию, на этот дом падает бомба, и так далее. Я только верю, что народ не допустит. Виар произвел огромное впечатление даже на буржуа. Выборы дадут левое большинство.

Люсьен усмехнулся. Андре не слушал Пьера, но эта усмешка его обидела; он подумал: сноб! Одновременно он залюбовался Люсьеном: красивое лицо! С ярко-зелеными глазами, с медного цвета локонами, бледный до ощущения маски, Люсьен казался актером, играющим средневекового разбойника. Он говорил:

— Великолепно! А дальше? Виар будет вооружаться не хуже этих. Может быть, хуже — он труслив. Но дело не в этом. Мой отец теперь в правом большинстве; его переизберут, и он окажется в левом, причем совершенно искренне — это буржуа, но честный человек. Конечно, завтра он будет делать то же, что делал вчера; такие люди не меняются. Выход один. Я знаю,

что ты мне ответишь... Но если революцию делает народ, восстание подготовляет организация. Это — искусство. Правда, Андре?

— По-моему, искусство — это другое: писать картины, выращивать деревья. А революция — это несчастье, до этого людей надо довести. Вы все схватываете на лету, хотите перемены, а я люблю, когда ничего не происходит. Тогда можно глядеть, то есть увидеть. Вот как Сезанн, он всю жизнь просидел над яблоками и что-то увидел. Это, по-моему, искусство.

Пьер привскочил:

— Легко это говорить, пока ты сидишь у себя и «смотришь». А когда под пулемет погонят? Тогда поздно будет думать. Неужели ты не можешь подойти к этому диалектически?

Андре не хотел отвечать; но вдруг он заговорил: на него смотрела Жаннет большими, почти бессмысленными глазами, и под ее взглядом Андре менялся, переставал быть собой.

— Я вас не понимаю, ни Люсьена, ни тебя. Возьми звезды: высокое зрелище — об этом стихи пишут, это, вероятно, влияет на философию. Но ни одному художнику не придет в голову изобразить звездное небо. А над чем корпели художники — от примитивов до нас? Над телом: его неправильность, случайность, теплота, абсолютная конкретность. Или пейзаж — то же тело, иначе поданное, выпуклость холма, тон листьев, слитость неба с забором. Когда вы говорите о революции, это — идея, слова. А вот люди, которые слушали Люсьена,— живые, я видел их лица, их горе...

Андре замолк. Зачем он говорит? Слова не те, все не то. Как живет эта женщина? Люсьен сказал: «актриса». Неправда! Ребенок. Или сумасшедшая. Вот Люсьен — актер. Она спросила: «где ключ»; значит, они живут вместе... Сам того не понимая, Андре ревновал Жаннет. Он делал одну глупость за другой. Когда Жаннет попросила рюмку коньяку, он сказал:

— Не поможет! Лучше всего ходить— тогда забываешь...

Она ничего не ответила, но Люсьен насмешливо прищурился:

— Мораль? Жаннет, тебе не пора?..

Она покачала головой. Андре, сконфуженный, покраснел.

Все молчали. За перегородкой ругались игроки: «Черт побери, где же твои козыри?» Вошел мальчишка с вечерними газетами: «Последнее издание! Война неизбежна!»

Жаннет стояла у органа; она опустила в щелку монету и, когда раздался все тот же старый фокстрот, сказала Андре:

— Давайте танцевать! После той войны все танцевали. Я маленькой была, но помню... А мы их перехитрим — мы будем танцевать до, чтобы потом не жалеть.

Следовало отказаться: Андре не умел танцевать. К тому же в этом тихом кафе, где счетоводы или лавочники часами просиживали над картами, где наспех опрокидывали рюмку иззябшие шоферы или приказчики, никто никогда не танцевал. Но Андре покраснел от радости; его огромная красная рука дрогнула, коснувшись спины Жаннет. Хозяйка у кассы поглядела на них с укором. Это продолжалось не больше минуты; Жаннет вдруг остановилась и тихо, с большой усталостью в голосе сказала:

— Мне пора. Люсьен, я пойду пешком.

Когда она ушла, Пьер спросил:

— В каком она театре?

Люсьен ответил нехотя:

— Она теперь работает на радио — «Пост паризьен». Чепуха — вперемежку пьесы и рекламы. Все говорят, что большой талант, но ты не знаешь, как трудно пробиться!..

Люсьен позвал приятелей к себе: «Выпьем, поговорим». Пьер сразу согласился. Андре ответил: «Нет». Люсьен настаивал:

— Неизвестно, когда мы теперь встретимся. Если будет война...

Андре встал:

— Никакой войны не будет. А я пойду. Мне надо походить после всех этих разговоров. Ты, Люсьен, не сердись — я человек норы, барсук: не люблю ни собраний, ни театра, ни...

2

Он хотел сказать: «ни актрис», но махнул рукой и вышел. Андре быстро шагал: путь шел через весь город. Надрывались гудки автомобилей; кишели огни,

красные, зеленые, лиловые; кишели и люди — гуляли, продавали газеты или галстуки, зазывали в кабаре; проститутки хрипло повторяли слова нежности; на короткой глухой улице громкоговоритель вещал: «Необходимость вооружения диктуется...» Андре нырял в этот шум, как в черную густую воду. Потом он долго стоял на мосту. Огни внизу жили второй, смутной жизнью, а Сена была чернильной. Поднялся ветер. Моросило. Андре вспомнил глаза Жаннет — какая необычная женщина!

Дойдя до угла улицы Шерш-Миди, он зашел в «Курящую собаку»: купить пакет табаку. Там было светло, шумно; неожиданно Андре сел, заказал рюмку кальвадоса. Спирт обжег небо, и Андре удовлетворенно усмехнулся: ему хотелось отвлечь себя от долгих, как бы непроходимых мыслей; это было для него новым и непонятным ощущением. Он выпил три рюмки и собирался было уходить, когда к нему подошел худощавый белобрысый человек в широком пальто:

— Простите, я плохо говорю по-французски. Я долго колебался, прежде чем подойти, хотя я вас встречаю почти каждый день: я живу в одном доме с вами, на третьем этаже, у госпожи Коад. Я видел в «Салоне» ваши работы; огромное впечатление; в особенности пригородные пейзажи — серые тона...

Андре сухо спросил:

— Вы критик?

— Нет, ихтиолог. Разрешите представиться: Эрих Нибург из Любека.

Андре удивленно посмотрел: светлые наивные глаза, коротко подстриженные усы, крахмальный воротничок.

— Не понимаю...

— Я немец.

— Я не про то. Вот это — на «лог»... Вы сказали, что ваша специальность?..

— Рыбы.

Это показалось Андре смешным, и он громко засмеялся.

— Ах, рыбы! Давайте установим: вам нравятся пейзажи Фонтене-о-Роз, особенно серые тона, а вы в Любеке занимаетесь рыбами. Знаете, получается галиматья. Впрочем, присаживайтесь! Кальвадос пьете? Вот это хорошо! А госпожа Коад, кажется, стерва. Что же, вам пришлось эмигрировать?

— Нет. Я был в командировке, четыре месяца. Работал в Институте рыбоведения. Завтра возвращаюсь в Любек. Вам это не нравится?

— Мне? Мне все равно. Я лично в рыбах ничего не понимаю. Бывают красивые, это правда, и вкусные. А остальное — это ваше дело. Если вам Любек нравится, живите в Любеке. Нравится Париж, можно прожить и в Париже...

Немец охмелел после одной рюмки; его светлые глаза остановились. Он вынул сигарету, но не закурил. После долгого молчания он сказал:

— Дело не в том, что человеку нравится. Я Париж полюбил. Может быть, я его даже понял. Дело в другом — где человек родился, хотя это вне сознания и вне выбора. Я, например, родился в Германии; поэтому я люблю немецкий язык, немецкие деревья, даже немецкие сосиски. Вы родились во Франции, и вы...

— Вы думаете, что я люблю Францию? Вряд ли. У нас никто об этом не думает. Понятно, учат в школе, говорят на официальных церемониях: «наша прекрасная Франция» или «отечество в опасности», но мы зеваем. Или смеемся. Один вам скажет, что в Москве лучше, другой — что в вашем Любеке замечательно, а о Париже не говорят, в нем живут, и точка.

— Неужели вы не любите вашей страны?

— Я об этом никогда не думал. В ту войну людей, кажется, отчаянно обманывали; у нас говорят: «череп трухой набивали». Не знаю... Может быть, и не обманывали. Дедушка когда-то рассказывал о семидесятом годе. Они кричали: «Да здравствует Франция!»; но ведь это под штыками — тогда в Нормандии стояли пруссаки... Я сегодня был в одной компании, славные ребята; только любят пофилософствовать, это они меня так настроили: весь вечер говорили о войне. Чудаки, уверяют, что скоро будет война.

— Обязательно. Я еще прошлой весной ждал... Хорошо, что год подарили. Мы с вами родились в неудачное время: война, потом снова война, а между двумя войнами — куцая жизнь. Я вот радуюсь, что повидал Париж, пока...

— Пока...

— Пока Париж на месте.

Андре встал.

— Вы тоже чудак. А к кальвадосу вы не привыкли, вот и придумываете разные ужасы... Желаю вам успеха с вашими рыбами.

Ушел Андре потому, что вдруг вспомнил Жаннет, ее голос, доходящий как будто издалека, придающий каждодневным словам глубокое значение. Он взбежал по темной винтовой лестнице и кинулся к приемнику. Гнусавый тенорок пел: «Микстура Бальдофлорин исцеляет мигрени и сплин...»

Андре сел на табурет и закрыл лицо рукой. Он долго сидел так; вдруг вздрогнул; раздался знакомый голос. Он искал глаза Жаннет, но перед ним светилась шкала: «Лейпциг», «Рим», «Пост паризьен». Он услышал: «Чем больше я пытаюсь все чувства глубоко сокрыть, тем больше сердце раскрываю...» Потом Жаннет два раза повторила: «ребячество»; и вслед какой-то бас стал требовать, чтобы все перед обедом пили вермут «мартини». Это было настолько неожиданно, что Андре рассмеялся. Он ходил по мастерской и повторял: «Хорошо! Буду пить мартини. Раскрою сердце. Ребячество»... А приемник грозил: «Германская авиация... Кризис Лиги Наций... Противовоздушная оборона...»

Андре подошел к раскрытому окну. Мартовская ночь была бурной на Ла-Манше; кренились суденышки, и рыбаки в страхе сжимали ладанки. Морской ветер доходил до Парижа; казалось, он треплет дома. Ветер оставлял соль на губах. Андре вырос недалеко от моря; там сейчас томятся яблони, сок медленно подымается по стволу, а ветер сводит деревья с ума. Какой нелепый вечер! «Новый гуманизм», жуки, восстание, война... Неужели все это правда? Немец сказал: «Пока Париж существует...» А Жаннет? Она может попасть под машину, простудиться. Хрупкий мир, до чего хрупкий! Они спорят об идеях — звездочеты, камни! Любить можно только яблоню — там, в Нормандии, где бури. Яблоню и Жаннет...

3

Люсьен привез Пьера в неуютную холодную комнату, богато обставленную; чувствовалось, что жильцы здесь часто меняются и никого не трогают ни шкаф-рококо, ни гравюры с жокеями и борзыми. Люсьен жил у родителей; эту комнату он снял для Жаннет, но говорил: «Моя квартира». На широкой софе лежали том Энгельса и большая кукла, сделанная из пестрых лоскутов.

Люсьен достал несколько бутылок, приготовил коктейль. Пьер заговорил о театре: он увлекался Шекспиром. Люсьен его перебил:

— Все это придется отложить лет на сто. Жаннет вчера декламировала: «Вы можете взять меня в подруги, но быть рабой вы мне не запретите...» А Миранде лучше замолчать: слово принадлежит товарищу Калибану.

Он погасил недокуренную сигарету и вдруг другим, более простым голосом сказал:

— Придется порвать с отцом. А это нелегко... Но сегодняшний доклад... Потом через несколько дней выйдет моя новая книга... Надо выбирать! Я не понимаю таких людей, как Андре: при крупной игре не пасуют.

— Андре будет с нами. Ты его не знаешь, хороший человек, только тяжел на подъем. Тебе это может показаться смешным, но я иногда думаю, что все будут с нами, решительно все. Я теперь работаю на заводе «Сэн», и мне пришлось столкнуться с Дессером. Исключительно интересный человек! Если рассуждать прямолинейно, это наш враг. Один из самых крупных капиталистов. До шестого февраля он поддерживал «Боевые кресты». Но я по себе знаю, как легко ошибиться... Такой Дессер многое понял. Он слишком умен, чтобы защищать гиблое дело. Еще год, и он окажется с нами, увидишь! Виар прекрасно сказал: «Мы, социалисты, добьемся сотрудничества всех французов».

Люсьен потеребил куклу, зевнул:

— Разумеется. Для этого надо сначала расстрелять Дессера, а потом повесить Виара.

Пьер вскипел. Он бегал по длинной комнате:

— Так вы оттолкнете всех! Люди разные, они поразному к нам приходят. Надо это понять!.. У нас на заводе есть механик Мишо. Замечательный человек! Но фанатик. Для него Дессер — капиталист, и все тут. Коммунисты...

— Я предпочитаю коммунистов Виару. Это храбрые люди. Только и они отравлены политической кухней. Что такое Народный фронт? Старушку Марианну потащит тройка. Коренник — гражданин Виар, пристяжная слева — твой механик. Справа? Пожалуй, впрягут моего отца. Торжество терпимости... (Он вдруг засмеялся.) Я вспомнил нашего учителя истории, как он торжественно сказал: «Великую революцию погубила нетерпимость». А толстяк Фредо поднял

руку: «Меня губит терпимость, то есть дома терпимости». Его хотели выгнать — помнишь?

Они стали припоминать давние проказы. Люсьен подливал коктейль. Пьер размяк. Неожиданно для себя он начал рассказывать о своей любви:

— Я должен тебя познакомить с ней. Ты говоришь «восстание»... Вот такая пойдет на баррикады... У нее отец — рабочий, он знал хорошо Жореса, сидел в тюрьме. Она — учительница в Бельвилле. Если бы ты видел, как ее там любят — и ребятишки и взрослые! Она все переменила..

Люсьен улыбнулся:

— Очередной припадок или решил жениться?

— Брось шутить. Это очень серьезно. Для меня это вопрос жизни. Но между нами ничего нет. Аньес даже не подозревает...

— Еще Жюль Лафорг сказал: «Женщина — существо таинственное, но полезное».

Пьер возмутился:

— Значит, для тебя?..

Он не договорил: вошла Жаннет. Она сняла шляпу, перчатки; повертелась у зеркала; закурила; все это молча; потом сказала:

— Почему ты не позвал Андре?

Люсьен рассердился, но промолчал. А Жаннет, отодвинув стакан, обратилась к Пьеру:

— Как он вас развлекал? Рассказывал о благородстве своего отца? Или подготовлял за коктейлем восстание?

Люсьен удивленно посмотрел на Жаннет:

— Что с тобой? Откуда столько иронии?

— Иронии? Никакой. Просто мне скучно.

Пьер заерзал:

— Я пойду, мне ведь приходится вставать в шесть...

4

Мишо восхищенно сказал Пьеру:

— Вот это станок!

Потом они заговорили о политике. Пьер, как всегда, превозносил Виара. Мишо слушал молча. Это был коренастый человек лет тридцати; кепка; серые насмешливые глаза; на нижней губе погасший окурок; рубашка с короткими рукавами, видна татуировка:

якорь и сердце — Мишо служил во флоте. Он хорошо работал, но язык у него был острый; на заводе его уважали, да и побаивались.

Пьер говорил с механиком как со старшим; он волновался — одобрит ли Мишо последнее выступление Виара? Мишо отмалчивался.

— Вы, может быть, не согласны с лозунгами?

— Почему? Это — лозунги Народного фронта. А на слова Виар мастер.

— Значит, не доверяете?

— Теперь — Народный фронт. Это — часть официальная. А если по душам... Часы или кошелек я ему доверю. Но не наше дело!..

— Я вас не понимаю, Мишо. Этот станок не ваш, не наш, а «Сэна», Дессера. Изготовляем мы моторы для бомбардировщиков, то есть для войны. Но для станка вы найдете ласковое слово. А о человеке, который всю свою жизнь посвятил нашему общему делу, вы говорите как о враге.

— Станок — это не только денежки Дессера, это вещь, и хорошая. Сейчас не наш, завтра, может быть, будет нашим. За ним стоит присматривать. С бомбардировщиками тоже дело темное: против кого будут воевать, кто, как? А с Виаром все ясно. Сейчас мы вместе: это выгодно и ему, и нам. Потом или мы его пошлем к черту, или он нас. Не знаю, кто первый... Одно бесспорно: если мы его вовремя не приставим к стенке, он нас всех перестреляет. И еще как! Ну, я разболтался, а надо пресс проверить.

Пьер думал об этом разговоре, когда шел после работы к Аньес. Был час сумерек; все тогда кажется невесомым, призрачным; старые дома, днем, как сыпью, покрытые пятнами, становятся голубыми холмами; лица, измученные, обезображенные годами и горем, грубо расцвеченные косметикой, выглядят прекрасными: зримого мира касается очарование искусства.

Слова Мишо казались Пьеру нестерпимо сухими. Может быть, Мишо и прав, но тогда все неинтересно — и борьба, и победа. Тотчас Пьер спохватился: нет, Мишо не прав! Достаточно вспомнить жизнь Виара, как он отказался от розетки «Почетного легиона», как его травили шовинисты. Этот человек не пойдет на компромисс!

Пьер не понимал Мишо, его мысли, извилистой и, однако, прямой, похожей на горный ручей, сверлящий

камни. Мишо был парижанином, насмешливым и строгим. А Пьер родился на юге, среди виноградников Русильона. Его отец был метранпажем в Перпиньяне. Там много резкого света, земля рыжая, а море настолько синее, что оно кажется расплавленной эмалью. Пьер любил громкий смех, порывистые движения, бурные слезы, стихи Гюго, предания о якобинцах, на эшафоте произносивших пылкие монологи, всю зримую, выразительную красоту жизни.

Глядя на каштаны бульвара, едва проступавшие сквозь синий туман, взволнованный началом весны, он говорил себе: мы победим, потому что людям хочется счастья, тепла рук, дружбы, доверия! Он вспомнил свои полудетские стихи: «Ветер и борьба — черный хлеб жизни...» Его мысли невольно обратились к Аньес: как она его встретит?

Пьер, живший вслух, склонный на словах преувеличивать все свои переживания, терялся перед сосредоточенным молчанием этой девушки. Он говорил себе: я не могу без нее жить! Он даже Люсьену рассказал о своей любви. Но ни разу он не посмел высказать свои чувства Аньес. Он часто приходил к ней, рассказывал о собраниях, о книгах, о моторах, расспрашивал про школу, про ребят. Вдруг они замолкали; слышно было, как дождь бьется о чердачное оконце.

Однажды он осмелился спросить: «Вы испытали это?» — перед тем он ей рассказывал о романе Гамсуна. Втайне он надеялся, что она ответит: «Да. Теперь». Отвернувшись, Аньес угрюмо сказала: «У меня был любовник». С того дня к томлению прибавилась и ревность; Пьер толковал грусть Аньес, ее отчужденность, как тоску по неизвестному сопернику.

Зажглись фонари. Пьер подымался по улице Бельвилля. В окнах колбасных каменели свиные головы, убранные бумажными розами и залитые фиолетовым светом. У входа в кино нарисованная красавица, сжимая руку матроса, плакала чересчур крупными слезами. В десятках кафе нежно звенело стекло, а шары метались по зелени бильярда. Вечером эта улица блистала трогательной мишурой. От нее шли узкие темные переулки, похожие на каналы; там стояли запахи маргарина, лука, мочи; арабы играли в орлянку; переругивались старухи; дети и коты кричали. Это был один из самых бедных кварталов города, нищета здесь была лишена романтики; она сводилась к заплатам на

заплатах, к пустой похлебке, к кропотливому подсчету дырявых су.

В одном из окаянных переулков недавно построили новый дом: для лавочника, служащих, чиновников. Крохотные квартиры были оклеены яркими обоями и заставлены причудливыми креслами: убогая роскошь. Верхний, седьмой этаж, как в дорогих домах, отвели под комнаты для прислуги; но лавочницы и жены делопроизводителей стряпали сами, и комнаты на чердаке сдавались одиноким беднякам. Здесь проживали безработный бухгалтер, старая массажистка, неудачливый коммивояжер; здесь жила и Аньес Лежандр, покорившая сердце Пьера.

В ее комнате стояла узкая складная кровать; стол, на нем кипа школьных тетрадок; два соломенных стула; умывальник. Стены голые: ни гравюр, ни фотографий. На полке книги: учебники, словарь, «Госпожа Бовари», биография Луизы Мишель. В оконце было видно небо с туманной, как бы театральной луной.

Трудно было назвать Аньес красивой: чересчур большой выпуклый лоб, серые близорукие глаза, вздернутый нос, красные рабочие руки; но была в ней привлекательность скрытых чувств, стойкости, воли к труду, может быть и к жертве; когда она улыбалась, ее лицо сразу становилось милым, простеньким — девушка, которая любит утро в лесу и ягоды, которую легко обмануть, обидеть. Улыбалась Аньес редко: не от веселья, но от глубокого спокойствия, а в минуты большой радости плакала.

Никогда еще Пьер не видал Аньес такой хмурой. Он рассказал ей о выступлении Люсьена. Она угрюмо сказала:

— Гадость! Они играют на имени его отца...

Пьер пытался спорить; говорил об искренности Люсьена, о конфликте между двумя поколениями, о необходимости пропаганды; но Аньес упрямо отвечала:

— Политика — это низость. Игра. А люди гибнут...

Пьер подумал: наверно, она влюблена в эстета. Он должен наконец-то узнать, кто его соперник.

— Скажите, человек, о котором вы раз упомянули?.. Вы знаете, про кого я говорю... Он что — поэт?

— Нет. Москательщик. Зачем вы об этом заговорили? Да еще сегодня... Мне и без того худо.

— Вы думаете о нем?

Аньес не ответила. Она посмотрела на Пьера, и глаза ее, обычно беспомощные, как у всех близоруких, стали жесткими, почти неприязненными. Она сухо сказала:

— Я сегодня узнала, что меня выгоняют из школы. Как видите, все куда прозаичней.

— Вас выгоняют?..

Пьер негодовал: ему было тесно в этой маленькой комнате; он выкрикивал:

— Кто вас выгоняет?.. Да как они смеют?.. Этого не может быть!..

Аньес рассказала: циркуляр министра. Один из родителей, владелец москательной лавки, заявил, что его сына заставили в школе написать «возмутительное сочинение».

— Вот прочтите... Мальчику восемь лет.

Пьер читал вслух: «У нас было шесть щенят. Мама утопила пять. Она сказала, что не хватит молока. Рене сказал, что у него скоро будет сестрица. Рене говорит, что у них нет молока. Я думаю, что сестрицу Рене тоже утопят. Когда я был маленьким, у нас было много молока. Мама говорит, что, когда я буду большой, меня убьют на войне. Я люблю играть в мяч и кататься на карусели».

— Я сказала детям. «Напишите, как вы живете». Много замечательных ответов. Вы как-нибудь посмотрите... А в циркуляре сказано: «антипатриотический дух». Меня сегодня вызывали к инспектору: «Перемените характер воспитания, тогда мы будем ходатайствовать о смягчении санкции». Я отказалась.

— А меня вы упрекаете за «политику»!

— Это не политика, это правда. Политики я не люблю: там все, как из гуттаперчи,— можно сжать или растянуть; неизвестно, что плохо, что хорошо; говорят, говорят, а люди не меняются...

— Что же вы теперь будете делать?

— Я умею шить. Пойду в мастерскую.

Она тихо добавила:

— Хуже другое — я люблю эту работу. Я девочкой тогда была, но помню, как отец горевал... Он работал у Рено. Они бастовали, долго,— мама плакала, что нечем нас кормить. А отец не унывал. Продал часы, угощал нас колбасой, шутил, пел — тогда песенка была про бегемота, который стал сенатором. Все-таки они сдались. Отца не взяли: «зачинщик». Он всю зиму

ходил без работы; какая-то работенка перепадала — то починит швейную машину, то еще что. Но он ходил в цех и просил: «Пустите, я даром поработаю...» Он и нам говорил: «Я по машине скучаю».

Они молчали. Внизу кто-то одним пальцем играл на пианино модный романс: «Все прекрасно, госпожа маркиза». Пьер стоял возле стола. Детская тетрадка; малыш нарисовал человеческую мечту: синее море и кораблик. Пьер вдруг взял руку девушки:

— Аньес!..

Он столько месяцев не мог решиться; он думал, что нужно говорить, убеждать, доказывать; а теперь он только назвал ее по имени — больше у него не было слов, и Аньес все поняла; ее рука ответила руке Пьера.

— Милая!.. Вы знаете, я так намучился! Не умел сказать...

— Я думала, что это только я, что вам все равно... Мне казалось, что я в вашей жизни случайно, что у вас другая, другие... Не понимала, почему вы приходите...

Давно уже замолкло пианино; уснули все семь этажей; уснули злосчастные переулки; люди, в кино посмеявшись и поплакав, разошлись по домам; пропыхтел последний автобус; только луна все еще висела над крышами, как забытый фонарь, да кричали коты. Пьер вдруг вспомнил: у нее был другой! Она сказала: «Москательщик». Но ведь и донес на нее владелец москательной... Совпадение? Нет, тот самый! Захотел отомстить. Какой страшный человек! Наверно, сечет сынишку. Стриженые усы с проседью, брюки в полоску, благонамеренный, запросто заходит в участок. Она жила с таким!.. Пьер весь съежился, притих; это было как возврат головной боли.

— Пьер, о чем ты думаешь?

— О нем. Ты сказала — москательщик...

— Да, Дюваль, он донес инспектору.

— Я не про то... Про любовь.

— Какой глупый! Поверил? Я сказала первое, что пришло в голову. Думала о доносе, вот и ответила: «москательщик».

— Но кто он?

— Ты. А до тебя никого.

Он обнял ее и вдруг щекой почувствовал, что она плачет.

— Аньес, тебе грустно?

— Глупый! Мне хорошо.

5

Окна длинной комнаты выходили на глухой двор· часто приходилось с утра зажигать электричество. Большой стол был завален папками, газетными вырезками, письмами. Под бумагами неожиданно оказывались пепельница с окурками, полицейский роман или сиротливая перчатка: хозяин не любил, чтобы на столе прибирали. Мебель была случайной: шкаф-ампир, кресло-модерн из металлических трубок, разрозненные стулья. На стене висел пейзаж Марке: зеленовато-серая вода и старая лодка; рядом — карта, вся исцарапанная красным карандашом, с кружками нефтяных промыслов и треугольниками шахт. Здесь работал один из подлинных властителей Франции, финансист Жюль Дессер.

Дессеру было под пятьдесят: одутловатый человек с пронзительным взглядом под густыми, низко нависшими бровями. Иногда он выглядел много старше: бросались в глаза отеки, болезненная серость кожи, сутулость; иногда ему нельзя было дать и сорока: у него были движения юноши и поразительная живость глаз. Одет он был небрежно, много пил и не выпускал изо рта короткой прожженной трубки.

В отличие от других представителей денежной знати, Дессер не любил показной славы; он не подпускал к себе репортеров и фотографов; упорно отказывался от политических выступлений; отрицал свое влияние на государственные дела, хотя ни одно правительство без его одобрения не просуществовало бы и месяца. Дессер предпочитал кулисы. Невидимый, при помощи людей, широко им оплачиваемых и преданных ему, он диктовал законы, направлял иностранную политику, выбирал министров, а потом сваливал их.

Сила Дессера складывалась из цифр, их сплетения, их противоречий, здесь были и капиталы, вложенные в железные дороги Польши, и американская нефть, и каучук Индокитая, и владельцы авиационных заводов, заинтересованные в росте вооружений; здесь были биржевики, отвечавшие на каждую воинственную речь Гитлера радостным ажиотажем; короли боксита, продававшие в Германию сырье; трест обувных фабрикантов, мечтавший об уничтожении сапожного императора Бати, а с ним заодно и Бенеша; либеральные текстильщики, готовые предоставить неграм гражданские

права, лишь бы негры облачились в импортированные кальсоны; непримиримые воротилы «Стального синдиката», взывавшие к авторитету римского папы, чтобы сохранить низкую заработную плату; здесь была война между шоссе и железными дорогами, пустые поезда и крахи автобусных компаний, мукомолы, богатевшие на канадской пшенице, и шовинизм землевладельцев округа Босс, требующих заградительных пошлин; здесь был клубок различных интересов, который бился, как человеческое сердце.

Дессер знал цены на хлопок и на цинк, знал, сколько надо заплатить тому или иному министру; его голова, как жужжанием мух, была заполнена цифрами: но никогда он не подсчитывал своих барышей; он работал над деньгами, как скульптор над камнем. В своей личной жизни он был скромен, семьи не имел, не занимался благотворительностью. Он мог бы прожить на заработок одного из своих служащих. Каучук или медь были для него отвлеченными понятиями. Он как-то спросил, где находится Сайгон. Наверно, он не сумел бы отличить пшеницу от овса.

Дессер окончил политехникум; года два он проработал как инженер и в душе считал, что деньги его погубили: ради них он изменил своему призванию. С болезненной мнительностью он следил за тем, как Пьер или другие инженеры принимали его замечания; будучи самолюбивым, он говорил: «Не обращайте внимания на мои слова — я дилетант...»

По природе Дессер был человеком страстным, влюбленным в опасность. Он мог бы стать летчиком-испытателем, путешественником или демагогом, помышляющим о государственном перевороте. Да и в своем деле он ценил риск: неожиданные реакции биржи Лондона или Нью-Йорка, похожие на капризы взбалмошной кокетки, сговор вчерашних врагов за спиной у вчерашнего друга, провал дипломатической конференции, словом, все, в чем легко было просчитаться.

Казалось, такой человек должен был пристраститься к фашизму, с его философией фатализма, с его культом иерархии, с его наклонностями к авантюре и сугубо трагическими декорациями. Действительно, до шестого февраля Дессер отпускал довольно крупные субсидии вожакам «Боевых крестов»; это было, однако, ходом игрока — он хотел свалить кабинет. Достигнув цели, он преспокойно сказал своему недавнему

другу Бретейлю: «Теперь вам придется забыть мой адрес». Он «полевел», и это было последней сенсацией парламентских кулуаров; говорили даже, что он якшается с Виаром. Однако любимцами Дессера были радикал-социалисты — огромная и рыхлая партия «средних французов», объединявшая крупных негоциантов и бедных виноделов, знаменитых профессоров и полуграмотных лавочников; партия, изобиловавшая ораторами, которые в захолустьях разыгрывали кто Дантона, кто Гамбетту; радикальная партия, пуще всего боявшаяся радикальных мероприятий. Дессер ни по положению, ни по способностям не был средним французом, но болтовню этих прирученных якобинцев, за которой следовала трезвая кропотливая работа, он любил, как почву и воздух Франции. Он говорил: «Я циник». Однако у него был политический идеал: он хотел сохранить ту страну, которую знал с детства; ее богатство и косность; непоколебимые устои семьи, с интимными драмами, с ревностью, опережающей любовь, с эпическими тяжбами о наследстве; приятную скуку провинциальных городов; беспечность и в то же время бережливость, даже скаредность хозяек; трудолюбие, принуждающее зажиточных стариков копать грядки или чинить рыбачьи сети; цветники рантье с душистым горошком и зеленый горошек, равного которому нет в мире; жизнь, посвященную удочке, без надежды выловить хотя бы пескаря; мировые интриги в буфете парламента и академические споры — какой аперитив полезней для желудка; протекции, круговую поруку масонских лож, кумовство, придающее высокой политике уют и фамильярность; иронию, распространяющуюся на бога и на медицину, на Францию и на самого себя.

Вероятно, в этом сказалось происхождение Дессера: человек, которого знали в Нью-Йорке, даже в Мельбурне, был сыном содержателя небольшого кафе «Свидание друзей» в Анже; там перед выборами кандидаты обхаживали избирателей; старожилы рассказывали о бедах прошлого века: о наводнении, о тигре, убежавшем из зверинца, о нашествии пруссаков; а влюбленные, благословляя тусклость газового рожка, обменивались жаркими поцелуями. Отец Жюля Дессера не увидел величия своего отпрыска: он умер на войне от тифа. Нажив миллионы, Жюль Дессер остался верен привычкам детства: он отдыхал душой, играя

в шашки со стариком садовником; обедая, он куском хлеба подбирал соус с тарелки; иногда в воскресный день ему удавалось выбраться за город; маленькие кафе на Марне или на Сене были сродни «Свиданию друзей», и Дессер, сняв пиджак, танцевал с потными, раскрасневшимися белошвейками.

Дессер жил под Парижем в небольшом поместье. Он вставал с петухами, шел на кухню и там ел помидор или кусок сыра, запивая его белым вином. Прочитав газеты, он уезжал в Париж. Он улыбался школьникам и собакам, но вскоре цифры заслоняли все. До десяти он работал над сводками и телеграммами. Затем начинался прием. Гостиную, неуютную и пышную, похожую на приемную светского дантиста, хорошо знали министры, дипломаты, финансисты Парижа.

В то утро приема ждали два банкира и советник румынского посольства. Пьер в смятении развернул газету и притворился, что увлечен статьей о женевских санкциях: ему казалось, что другие посетители видят, зачем он сюда пришел.

Лакей торжественным шепотом возвестил: «Господин Пьер Дюбуа»,—Дессер принял Пьера первым. Ему нравился Пьер, его внешность порывистого южанина, наивные речи, особенно его бедность: способный инженер, едва сводивший концы с концами, напоминал Дессеру его молодость. Кроме того, Дессер хотел показать банкирам и дипломату, что в этой гостиной они не гости, но просители.

Он встретил Пьера ласково; тот мялся, не зная, с чего начать. Сбивчиво и чересчур пространно он рассказал Дессеру, как министр уволил Аньес.

— Дело не в том, что это моя знакомая... Конечно, я не скрываю, что меня интересует ее судьба... Но ведь это вопиющая несправедливость!..

Дессер улыбнулся:

— Справедливости, мой друг, нет. Что касается особы, о которой вы говорите, это дело мы сейчас уладим.

Он взял трубку телефона, набрал номер.

— Попросите господина Тесса. Дессер. Здравствуй, дорогой! Как супруга? Спасибо. У меня к тебе просьба. Ты, наверно, сегодня увидишь министра на комиссии. Да, да... речь идет об одной учительнице—Аньес Лежандр. Ее уволили за «антипатриотическое воспитание». Пустяки!.. Ты понимаешь, что теперь не время—

накануне выборов! Потом, все это очень условно... Завтра и нас, чего доброго, объявят анархистами. Или предателями из Кобленца. Чудесно! Теперь скажи — ты свободен сегодня к завтраку? Нам надо о многом поговорить. Великолепно! Я заеду за тобой ровно в час.

Дессер сказал Пьеру:

— Все в порядке. Госпожа Лежандр сможет воспитывать детей, как ей вздумается — коммунистами, толстовцами, дикарями. Итак, вы решили жениться?

— Нет. То есть да. Я не знаю... Но почему вы догадались?

— Вы ничего не делаете сегодня вечером? Зайдите за мной. Я ночую в городе, побродим, поговорим. А сейчас мне надо принять трех идиотов. Директор банка и Кастельон пришли насчет польского займа. Придется им сказать: просчитались! Во-первых, Данциг не стоит французского мизинца, во-вторых, поляки все раскрадут. Видали дипломата? Это — Малая антанта. Негуса «макаронщики» уже слопали. Вероятно, мы отдадим им и Балканы. Ничего не поделаешь — мы хотим мира. До вечера!

6

Депутат Поль Тесса был известен своим чревоугодием, и Дессер повез его в ресторан «Догарно», рядом с бойнями. Это было скромное на вид заведение с лучшими в Париже антрекотами и с первоклассным погребом. Здесь завтракали крупные скототорговцы, знавшие толк в мясе. На стене висела доска: хозяин выписывал мелом, сколько голов скота было продано на бойнях и по какой цене. В «Догарно» приходили также тонкие гурманы, почетные члены гастрономических клубов, и снобы, которых умиляло сочетание высоких цен с грубыми манерами скототорговцев.

Дессер тщательно обдумал меню; он заказал устрицы, матлот из угрей, петуха в вине и, разумеется, антрекот. Предвкушая наслаждение, Тесса сказал метрдотелю:

— К антрекоту тот самый соус из мозгов, не правда ли?

— Конечно, господин Тесса.

Поль Тесса обладал изрядным аппетитом, но был худ; бледное длинное лицо с выдающимся подбородком и острым носом; вид больного или аскета. Однако это был бодрый, даже резвый человек. Если в буфете палаты депутатов слышался шепот, сопровождаемый раскатами смеха, можно было с уверенностью сказать, что это какой-нибудь нескромный коллега рассказывает о галантных похождениях пятидесятивосьмилетнего Тесса. При этом Тесса был отменным семьянином, обожал свою тучную супругу и детей — их было двое: Люсьен, причинявший отцу уйму хлопот, и красивая, но скромная студентка Дениз. Дочку Тесса боготворил. С неизъяснимой легкостью он переходил из будуара опереточной певицы в семейную спальню, где под распятием, как алтарь, высилась двухспальная кровать, украшенная бронзовыми купидонами.

Этот тщедушный человек обладал зычным голосом приятного тембра. Он считался одним из лучшех ораторов. На политическую арену он вышел относительно недавно, уже будучи знаменитым адвокатом. Тесса мог, показав на корыстного тупого убийцу, патетично воскликнуть: «Взгляните — перед вами исстрадавшийся мечтатель!» Присяжные сморкались и выносили оправдательный приговор.

В парламент Тесса был выдвинут радикалами одного из западных департаментов. Победа досталась легко: против Тесса боролись коммунист, слесарь депо, косноязычный и скупой на посулы, да отставной генерал, требовавший порки для несовершеннолетних. В палате Тесса выступал редко. Дважды он отказался от министерского портфеля; не будучи уверен в будущем радикальной партии, он осматривался и выжидал. В кулуарах поговаривали, что он хочет порвать с радикалами и перейти в одну из правых группировок.

Для Тесса кресло депутата стало новым источником обогащения; он брал деньги у концессионеров и поставщиков; за приличное вознаграждение входил в правления акционерных обществ и прикрывал своим именем различные аферы — венесуэльские копи или плантации Мартиники. Он не был жаден, но любил широко жить, не отказывал ни в чем семье и любовницам, легко залезал в долги.

Тесса знал «весь Париж»; с тысячами людей он был «ты»; он кормил послов и прокуроров, задаривал журналистов, охотно исполнял просьбы

своих избирателей, добиваясь у министров то ордена для финансового инспектора, то патента на табачную торговлю для вдовы бравого жандарма, то отмены судебных преследований, возбужденных против чересчур прыткого шантажиста.

Тесса прожевал устрицу, выпил глоток вина и сказал:

— Эта учительница коммунистка?

— Не знаю. Но прямой угрозы для Третьей республики она не представляет.

— Ты циник. Шабли здесь чудесное! Ты, значит, не чувствуешь опасности? Напрасно! Я считаю, что выборы будут катастрофой. Радикалы идут на самоубийство: если победит Народный фронт, их сглотнут... (Он проглотил устрицу.) Даже в парламентской фракции они поддались этой моде. Я лично против... Выставляю мою кандидатуру как национальный радикал, но боюсь... (Он выжал над раковиной лимон и грустно вздохнул.) Боюсь, что меня не выберут.

— Ты уже начал кампанию?

— В субботу первое собрание. Сегодня вечером я уезжаю.

— Тогда все в порядке.

— Как это «все в порядке»?

— Очень просто — ты должен объявить себя сторонником Народного фронта.

Тесса в возмущении откинул салфетку и загрохотал, так будто на трибуне:

— Никогда! Лучше провал, гибель, все что угодно, но не предательство! Эти господа — заклятые враги Франции. Погляди — Блюм, человек, у которого даже имя не французское, хитрый и кровожадный; интриган Дормуа; Мок, с его жаждой разрушить транспорт; враг земледелия Монне; наконец, Виар, на глазах у Гитлера призывающий к разоружению, Виар, который...

— Виар попросту болтун. Сделай его министром, и он сразу образумится.

— А коммунисты?

— Франция — страна индивидуалистов: рантье, лавочников, фермеров. Почему Жан или Жак голосуют за коммунистов? Жана обложили на шестьсот франков больше, чем следовало, а сына Жака не приняли в ветеринарный институт. Это — способ поворчать, и только. (Тесса, поглощенный рыбой, молчал.)

— Разве коммунисты могут положиться на тебя? — продолжал Дессер. — Конечно, нет. Но они готовы

поддержать твою кандидатуру: это военная хитрость. Почему же нам быть простачками? Они устроили Народный фронт с расчетом сначала уничтожить правых, а потом съесть нас. А мы перехитрим: мы разобьем на выборах правых и под шумок расквитаемся с коммунистами.

— Угорь действительно восхитительный! Но скажи мне, Жюль, почему нам нужно расколотить правых?

— Хотя бы потому, что их расколотят и без нас, а если мы будем упрямиться — против нас. Видишь ли, политика — маятник: налево, направо, снова налево. Наше дело присматривать, чтобы маятник не качнулся слишком далеко. В двадцать четвертом победили левые. «Картель», переносят Жореса в Пантеон, красные флаги. Два года спустя радикалы поворачивают направо, и к власти приходит Пуанкаре. В тридцать втором выборы ничего не дают. Ни один кабинет не может удержаться у власти. А в стране происходит поворот направо — это конец тридцать третьего. Каждый вечер на Сен-Жермене демонстрации. «Долой депутатов!» Кого травят справа? Радикалов. Разве тебя не пытались припутать к делу Ставиского? Наконец — шестое февраля. Кровь. За границей убеждены, что Франция накануне диктатуры. Но маятник неожиданно меняет направление, и девятого февраля выступают коммунисты. Надо найти середину. Показывается старик Думерг, и маятник успокаивается. Но в стране процесс продолжается. На этот раз он глубже, следовательно, длительней; он еще не закончился. Народный фронт должен победить, и победит. Если он победит с нашей помощью, год спустя радикалы повернут направо, и все успокоится на три-четыре года. Позволь, я тебе налью бордо, это «Мутон-Ротшильд».

— Выходит, что я должен способствовать торжеству моих врагов?

— Знаешь пословицу: вино розлито, надо его пить. Иногда необходимо это вино разбавить водой. Конечно, не «Мутон-Ротшильд»...

Подали петуха. Тесса на несколько минут забыл о горестях политики — он отдался гастрономии:

— Ты знаешь, почему здесь петух в вине лучше, чем повсюду? Петух это несчастье, но мы, французы, придумали, как превратить старого, сухого петуха в изысканное блюдо: его тушат в вине. Все-таки курица нежнее петуха, и вот тебе секрет «Догарно»: ты ешь не

петуха, но курицу. Ты спросишь, почему они называют курицу петухом? Скромность. А может быть, гордость. Во всяком случае, стратегия кулинара.

Дессер засмеялся.

— Тебе остается последовать этому примеру. Ты будешь национальным радикалом, но мы тебя подадим как сторонника Народного фронта — скромность или гордость...

— В общем, это абстрактный разговор — все равно меня не выберут. Для настоящей кампании у меня нет ни времени, ни средств.

— Время ты можешь выкроить, тем паче что ты жаждешь служить Франции. А насчет средств не беспокойся, все расходы по кампании я беру на себя.

Тесса не одобрял стратегии Дессера, все же предложение показалось ему заманчивым. Он просиял и тотчас смутился: надо соблюдать достоинство! Но антрекот, с «тем самым соусом из мозгов», еще больше его развеселил, а тут принесли бургундское... Неизменно бледный Тесса порозовел. Ему хотелось поговорить о чем-нибудь приятном, например об актрисе Полет. Но, желая скрыть от Дессера свою радость, Тесса вспомнил семейные беды:

— Мой сын... (В его голосе почувствовались слезы. Кто знает, играл ли он или вправду опечалился?) — Люсьен выступил с неприличным докладом. Мое имя теперь треплют во всех газетах. Я пробовал с ним разговаривать. Знаешь, что он отвечает? «Это классовая борьба». Ужасно: сын — и враг!

— Ты напрасно расстраиваешься. Люсьен перебесится. Какая же это классовая борьба, если он продолжает жить на твои деньги? Ты увидишь — он еще будет депутатом, даже «национальным радикалом». Я его встретил недавно у «Максима» с очаровательной девчонкой.

— Люсьен у «Максима»? Шалопай! Ему тридцать два года, а он ничего не зарабатывает, пишет какой-то вздор для раешника. Я тебе говорю: такой может стать анархистом, бандитом — никакой морали! Меня утешает Дениз. Работяга! Она изучает что-то очень скучное, кажется, романскую архитектуру. Девушка серьезная... Ты пробовал этот сыр? Как будто почтенный... Слышишь, как пахнет? Дали бы нам десять лет мира! Я боюсь, что все может сорваться. Если победит Народный фронт, будет война...

— Вряд ли. Воевать без союзников мы не можем. Мы хотим припугнуть немцев и заигрываем с итальянцами. Англичане применяют санкции к Муссолини, но щадят Гитлера. В общем, придется пойти на уступки.

— Это невозможно! Какой француз согласится отдать Эльзас?

— Зачем Эльзас? Существует Малая антанта. Что, мы их даром кормили? В случае чего выдадим чехов. А Польша? Польшей тоже можно откупиться.

— На сколько? На пять, самое большее на десять лет.

— Зачем заглядывать вперед? Сейчас надо сохранить Францию, мир, богатство страны.

— Тебе хорошо — у тебя нет детей. Я с ужасом думаю, что ждет Дениз и Люсьена...

Это было декламацией — Тесса пил кофе и улыбался: Дессер оплачивает предвыборную кампанию, значит, он, Тесса, снова будет депутатом. А мысли о будущем? Это легкая меланхолия после хорошего завтрака.

Дессер посмотрел: мутные глаза, покрытые испариной, острый нос, самодовольная улыбка. Ему захотелось подразнить Тесса:

— Ты хочешь знать, что ждет твоих детей? Может быть, рай, павлины в вине, прогулки на самолете в Гваделупу. А может быть, обыкновенная война, трудовые лагеря, каторга, смерть. Скорей всего — последнее. Но тебе теперь нельзя унывать: ты кандидат Народного фронта. Интересно, как ты будешь на собраниях подымать кулак?

Дессер рассмеялся и, желая смягчить чересчур грубую шутку, хлопнул Тесса по плечу:

— Довольно говорить об этой проклятой политике! Я видел вчера Полет. Тебе везет — это действительно самая красивая женщина Парижа.

7

После завтрака Дессер вызвал редактора-издателя крупной газеты «Ла вуа нувель» Жолио. Толстяк прибежал запыхавшись: он сразу понял, что предстоит серьезный разговор.

Жизнь Жолио была бурной. Много раз его привлекали к ответственности то за вымогательство, то за

клевету; он всегда выходил сухим из воды: говорили, будто он слишком много знает о прошлом различных государственных деятелей.

Жолио был южанином. Отец его торговал в Марселе рыбой и морскими ракушками, пополняя доходы посильной помощью скупщикам живого товара. Жолио вырос в атмосфере игры; он презирал мораль, был суеверен и черных кошек боялся куда больше, чем следователя. Приехав в Париж юношей, он стал агентом мелкого страхового общества, существовавшего только благодаря тому, что оно не платило по полисам. Потом Жолио занялся литературой: в скабрезных журнальчиках он помещал статьи об интимной жизни сенаторов и финансистов. Зарабатывал он, главным образом, не тем, что писал, но тем, чего не писал: от него откупались. Жолио завел биржевую газету «Ле финанс». Как-то он поместил в ней огромное объявление: «Вносите ваши сбережения в кассу Алжирского кредита». На следующий день директор банка позвонил Жолио: «Почему вы печатаете объявление? Мы его не давали».— «Да, но мой долг рекомендовать читателям солидные банки».— «Помилуйте, вкладчики вынимают вклады».— «Ничего не могу поделать: долг выше всего». Час спустя директор вручил Жолио пятьдесят тысяч, и объявление исчезло. После этого Жолио вышел в люди. Родилась «Ла вуа нувель». Газета сначала дышала на ладан; Жолио сам писал все статьи; типограф хватал случайных посетителей и требовал денег. Затем начался расцвет: подписи знаменитых писателей, сенсационные репортажи, десять страниц объявлений. Газета то горячо поддерживала радикалов, то обличала их как «преступных масонов». В начале африканской войны Жолио оплакивал негуса. Вдруг в газете появилась восторженная статейка: «Цивилизаторская миссия Италии».

Жил Жолио как птичка, не зная с утра, чем закончится день — пышным ужином или еще одной повесткой от следователя, совал нищенке сто франков; с сотрудниками расплачивался чеками без покрытия; покупал по баснословной цене картины Матисса, закладывал и перезакладывал фамильное серебро жены и поздно ночью один играл на гитаре попурри из «Кармен».

Одевался он пестро: шелковая рубашка оранжевого цвета, васильковый галстук, а в нем булавка — золотая ящерица; несмотря на тучность, был подвижен; говорил с акцентом, коверкая слова на итальянский лад;

и чем темнее была суть разговора, тем возвышеннее выражался.

Придя к Дессеру, он начал с пафосом превозносить заслуги своей газеты (он надеялся выклянчить тысяч десять):

— Среди повального безумия мы отстаиваем принципы порядка. Вы читали статью Лебе о растлевающем влиянии марксизма? К выборам я приготовил сюрприз: я заказал Фонтенуа серию очерков о распаде Советской России. Мы их подадим в виде репортажа: как будто Фонтенуа в Москве. Пришлось оплатить его поездку в Варшаву. Потом я раздобыл документ о Виаре: один домовладелец согласился засвидетельствовать, что Виар в молодости изнасиловал дочь почтальона. Это обойдется в десять тысяч. Но вы представляете, какой эффект! У Дюшена смелое перо...

Дессер перебил:

— Перо придется повернуть. В новых автоматических ручках замечательные перья, их можно повернуть, пишут толще, но не скрипят... Теперь давайте говорить всерьез. «Ла вуа нувель» должна выступить за Народный фронт.

Жолио встал, вытянул руку и, едва дыша от волнения, сказал:

— Это невозможно! Я понимаю, что такое политика... Я сам не раз прибегал к обходным движениям... Но никогда я не изменял Франции! Вы слышите меня, господин Дессер, никогда!

— Бросьте, вы не на собрании! Я говорю с вами о деле. Вы обязательно хотите высоких слов? Пожалуйста! Победа Народного фронта в интересах Франции. В воздухе пахнет революцией. Если не открыть клапана, котел взорвется. Я не знаю, изнасиловал ли Виар дочь почтальона. Сомневаюсь,— по-моему, он не жил и со своей женой, это евнух. Но Виар в оппозиции опасен, он рычит как лев. Если ему дать портфель министра, он сразу научится блеять.

— Но ведь это катастрофа! Отдать Францию в руки людей, которые еще вчера отрицали родину!

— Погодите, вы затронули важный вопрос. Собственно говоря, для этого я и хотел с вами встретиться. Вы курите? В том, что «Ла вуа нувель» будет поддерживать Народный фронт, я не сомневаюсь — вы достаточно опытны и дальновидны. Притом я согласен прийти газете на помощь.

— Но...

— Теперь о самом главном. Эти люди охвачены патриотической лихорадкой. Они ненавидят фашизм. Все это понятно, но опасно. Ваша газета должна стать органом пацифистов: братство народов, экономическое единство Европы, жизнь крохотных существ, которых не надо подвергать опасности, слезы матерей, все что угодно, лишь бы мир! Мир во что бы то ни стало!

— Но роль Франции?..

— Лучше быть счастливой Андоррой, безмятежным Монако, чем развалинами Карфагена. Я не верю в победу Франции. Мы устали, нам надоело влюбляться, ревновать, затевать драки. Это закон природы, и только Тесса способен в шестьдесят лет изображать мартовского кота. Вы скажете, что французы храбрый народ? Конечно! Когда-то они прошли с «Марсельезой» по всей Европе, об этом в школе учат. Но теперь мы разжирели. Мы слишком хорошо живем, боимся рисковать. Кто пойдет сражаться за престиж или за справедливость? Лаваль? Морис Шевалье? Вы? Одним словом, если Ремарк напишет еще один роман, покупайте права и по телеграфу. А за деньгами остановки не будет.

Жолио задумался; потом он воскликнул:

— Вы все же гениальный человек! Я не знаю, к чему это приведет, но меня увлекает идея; мир, мир во что бы то ни стало! Перековать мечи...

Дессер усмехнулся:

— Вы забываете, что я имею некоторое отношение к военной промышленности. Сотни тысяч французов живут делом. Притом, если мы ослабим военную продукцию, на нас нападут. Главное — сбить температуру; я повторяю: у них лихорадка свободы. Пишите, что войны хотят поставщики пушек, «двести семейств».

Жолио небрежно засунул чек в бумажник.

— Я напишу замечательную статью: «Дессер против «двухсот семейств».

— Глупо и неправдоподобно. Напишите лучше: «Дессер, как и прочие представители «двухсот семейств», жаждет потопить народ в крови». Это убедительней...

Улыбаясь, он добавил:

— ...Может быть, и верней.

Вбежав в редакцию, Жолио крикнул машинистке:

— Люси, с сегодняшнего дня я повышаю ваш оклад на триста, нет, на пятьсот франков!

Он был счастлив, ему хотелось, чтобы все кругом радовались. Весь день он отдавал приказы:

— Разыщите левых писателей с именем!

— Карикатуру на Муссолини!

— Что-нибудь трогательное о рабочих!

— Мемуары — ужасы Вердена!

— Скажите Фонтенуа — может не стараться. Погодите, не надо говорить! Пусть пишет. Пригодится, не теперь, так через год...

Он ужинал на Монмартре; домой вернулся поздно и разбудил жену. Он принес ей чайные розы, которые купил в ночном ресторане; розы были полузавядшими и сильно пахли. Жолио шепнул жене:

— Четыреста тысяч! Это такое счастье!..

Потом он снял ботинки, надел ночные туфли, выпил залпом стакан минеральной воды и вдруг, с непонятной ему самому грустью, сказал:

— А Франция тю-тю!.. Теперь скоро конец... Недаром я сегодня встретил двух священников, это к беде.

8

Вечером того же дня всемогущий Дессер и скромный инженер Пьер Дюбуа шли по набережной Сены. Оба молчали. Пепельные тона, которые присущи Парижу, спокойствие, идущее от Сены с редкими огнями барж, каменный лес собора Нотр-Дам — все это располагало к молчанию. Они прошли мимо Альо-вэн; к свежему ветерку примешался терпкий запах вина. За оградой Зоологического парка в темноте кричали встревоженные весною звери. Замелькали огни автомобилей, мчавшихся по мосту к Лионскому вокзалу; и снова сгустилась синеватая сырая тишина.

Гармония между домами и рекой, старые названия узких улиц: улица Деревянного Меча, улица Маленького Монаха, улица Двух Гербов, тайны города, прожившего большую жизнь, по-разному волновали обоих. Дессер провел день с Тесса, с Жолио, с цифрами, с ложью; он угрюмо сутулился. Зрелище замирающего города он воспринимал как проводы, как те минуты, когда близкие рассаживаются вокруг сложенных чемоданов, не находя слов, способных преодолеть пустоту разлуки. А Пьер радовался вечеру и камням, как радо-

вался он смутной, затаенной красоте Аньес. Распахнув пальто, он жадно дышал ветром. Эта весна казалась ему первой; никогда прежде он не знал такого большого и вместе с тем простого счастья. Он мог бы свернуть в одну из боковых улиц и до рассвета рассказывать зверям Зоологического парка или ревербе-рам о прелести, о сердечности, об уме Аньес.

Вместе с любовью иные чувства кружили голову Пьера. Как многие другие, он верил, что эта весна будет весной для его страны. Отец Пьера был социалистом. Мать рассказывала, как в Перпиньян приезжал Виар; он у них ужинал после митинга. Однажды отец вернулся домой весь в крови: они хотели спасти испанца Ферреро от расстрела; жандармы избили демонстрантов. Пьеру тогда было семь лет; он проснулся ночью и, увидев кровь на щеке отца, заплакал. Отца убили на войне. Незадолго до смерти он писал жене: «Они заплатят за все — будет революция!»

Революция — это слово, как солнце в туманный день, томило сверстников Пьера. Когда началась война, они еще были детьми; вместе с толпой они жгли молочные «Магги», кричали «в Берлин!», восхищались шароварами зуавов и высокими неуклюжими такси, которые увозили солдат к Марне. Потом они увидали безногих, изуродованных, отравленных газами. Тыл вонял карболкой, чернел вдовьими платьями. Приезжая в отпуск, отцы говорили о вшах, о грязи окопов, о трупах, разлагающихся среди проволочных заграждений. Они упрямо повторяли: «Будет революция!» Начались солдатские бунты: голос «Авроры» дошел до Шампани.

Был короткий час радости, когда рожок горниста возвестил о перемирии. Подростки, вместе со взрослыми, всю ночь танцевали на улицах. Им говорили: «Вы-то будете счастливы...» Вернувшись домой, солдаты нашли равнодушие и скаредность. Начались забастовки. Испуганные буржуа травили революцию, как дикого зверя; все было пущено в ход: клевета и слезоточивые газы, демагогия и тюрьмы. Коммунист с ножом в зубах был нечистой силой, которой Пуанкаре пугал завсегдатаев «Кафе де коммерс» и фермеров.

Революция ушла в ячейки партии, в тесные кружки, в горькие раздумья обманутых. Изредка она напоминала о себе то стачкой шахтеров, то уличной пере-

стрелкой. В горячий день тысяча девятьсот двадцать седьмого года она всполошила столицу: великодушный народ возмутился казнью Сакко и Ванцетти. Как птицы взлетели булыжники, и еще раз парижская мостовая покрылась рабочей кровью.

Жить становилось все труднее и труднее. Кризис остановил ткацкие челноки и заселил призрачными постояльцами ночные бульвары. Прошло пятнадцать лет со дня перемирия, и революция снова выглянула на улицы Парижа. «Неужели и нас погонят на войну?» — спрашивали сверстники Пьера, выкинутые из жизни и рано состарившиеся.

Пьер плохо разбирался в политике; он доверял словам. Два года тому назад он чуть было не погиб за чужое дело: в темную февральскую ночь он принял ложь за правду. Вспоминая потом об этом, он мучительно краснел. Он говорил себе: «Я — сын рабочего». Теперь он боялся отстать от Мишо. Но кровь попрежнему его пугала. Слова механика казались ему чрезмерно взыскательными. Он хотел революции веселой и шумной, как майский дождь.

Возле станции метро стояла девушка; она нервно глядела на двери, на часы, кого-то ждала. У нее было лицо обиженного ребенка. Дессер вдруг сказал Пьеру:

— Значит, вы женитесь на учительнице?

Пьер не стал спорить; он и не спросил, как Дессер догадался о его сердечных делах. Пьеру захотелось выговорить вслух имя, заполнявшее тишину улиц; он ответил:

— На Аньес.

Дессер остановился, внимательно посмотрел на Пьера, на его черные глаза, на большие белки, на блаженную полуулыбку и тихо добавил:

— Я вам завидую.

— Но...

Он чуть было не спросил: почему бы и вам не жениться? Но вовремя спохватился. Дессер понял.

— Это очень банально, но ничего не поделаешь... Меня любили до слез, до угроз покончить с собой; только любили не меня, а деньги. Что же прикажете делать? Скрывать, кто я? Раздобыть шапку-невидимку?

— Вы можете расстаться с деньгами. Ведь вы не спекулянт. Вы инженер. А если это для вас обуза...

— Нет, я деньгами дорожу. Почему? Наверно, потому, что деньги — власть. Не почести, а настоящая

власть, возможность решать все за других. Зачем мне это? Я сейчас сам пытаюсь разобраться... Обременительно? Да. Но приятно. И потом,это — отрава, не явная, как у кокаинистов, это входит в кровь, вроде сифилиса.

Они шли теперь по темной улице. Как воспаленный глаз, краснел фонарь полицейского участка. Женщина рылась в мусорном ящике. Накрапывал дождик. Дессер продолжал:

— Этим отравлены все, это общее несчастье, от этого никто не откажется, ни «двести семейств», ни двадцать миллионов. Будут драться. За Францию — нет, а за свои деньги — до последнего издыхания. Война? Не выйдет. И революция не выйдет. Люди боятся потерять. Вот у этой женщины ничего нет, ей не страшно. Но сколько таких? Их припугнут. Если надо будет, перестреляют. Впрочем, не потребуется; народ у нас битый, то есть ученый, да и неглупый народ.

— Как можно жить с таким презрением к людям? Их обманывали, но теперь они начинают понимать. На что они надеются? Только на революцию! На вашем заводе тысячи прекрасных людей. Это не бродяги, которым нечего терять. У них работа, семья, квартира, у многих маленькие сбережения. Но они все отдадут, только чтобы покончить с этим... (Пьер показал на женщину у мусорного ящика.) Иногда мне кажется, что люди — глина. Прежде лепили богов, животных, теперь мы пытаемся вылепить человека.

— Люди не глина, но чевинг-гум — жевательная резина. Поэтому все меняется и все остается. Да что, собственно говоря, меняется? Названия. Настоящее изменение — это смерть. Смерть действительно все меняет. Поэтому я и боюсь смерти. Не понимаю самоубийц. Впрочем, я не то хотел сказать... Вы говорите: «революция», но это и есть смерть, не только для меня, для миллионов.

Они замолкли. Сквозь прикрытые ставни просачивался теплый свет. В нижнем этаже ставни были раскрыты: лампа, под ней круглый стол, люди ужинали, женское лицо, усталое и красивое.

Дессер снова заговорил:

— Мне страшно, что это может погибнуть. Не здания... Собор Нотр-Дам? Лувр? Конечно, это — красота, слава. Но мне жалко другого, того, что в этих домах, счастья, может быть, иллюзии счастья, во всяком случае спокойствия, тишины, когда слышно, как

дышат рядом. Жалко крестин с миндальными конфетами, свадеб — под ноги кидают цветы, даже похорон, когда с кладбища идут закусить горе сыром. Это — есть, и это может исчезнуть — от бомбы, от первого уличного выстрела, от истерики Гитлера, от поднятых кулаков, от любой случайности. Конечно, сто лет спустя ее назовут «исторической неизбежностью»... Я вас здесь покину.

Он протянул Пьеру руку в мокрой кожаной перчатке и быстро зашагал к набережной. Разговор его утомил; он упрекал себя за неуместные признания — беседовать с влюблённым инженером о судьбах человечества!..

Он пошел к центру города. Огни бульваров загорелись, как солнечный день. В витринах жили вещи, блестящие и пестрые. Сине-лиловые карлики, змеи, буквы метались по фасадам домов, расхваливая аперитивы или зазывая в теплое Марокко. Люди толпились, как будто не знали, куда им идти дальше; их повторные движения .напоминали круги рыб в аквариуме. Киоски были облеплены газетами на двадцати языках. Дессер посмотрел: «Народный фронт требует... Угроза военного конфликта...» Он лениво зевнул. Все здесь было понятным: он знал цену домов, реклам, акций, дивиденды марокканских железных дорог или прославленных горько-сладких напитков. И все здесь принадлежало ему: квадратные метры, автомобили, газеты, улыбки. В своем царстве он — прохожий, которому ничего не надо, фокусник, ставший на час марионеткой... Сохранить вот это? Конечно! Но какая тоска!...

9

Очередная лекция профессора Мале была посвящена романской архитектуре Пуатье. Мале читал вечером; его лекции были открытыми, и в аудитории, рядом со студентами, сидели люди постарше: любители архитектуры; самоучки, посещавшие все лекции, с пухлыми тетрадками, в которых корни санскрита перебивались биномами; наконец, просто бездомные, заходившие на огонек — погреться, подремать. Некоторые записывали каждое слово Мале, другие зевали или перешептывались; старушка, забравшись на верхнюю скамью, вязала.

Механик Мишо аккуратно посещал лекции Мале: он с детства любил архитектуру; много думал о расчете, о пропорциях, о материале. Как будто он понимал все; но при виде зданий, которые ему нравились, он чувствовал, что, помимо ясности и стройности, пленявших его в моторе, архитектура обладала другими свойствами, она волновала, как черты человеческого лица или как лес. Мишо надеялся, изучая историю зодчества, найти разгадку этого очарования.

Любознательность Мишо была ненасытной. Как ребенок игрушку, он потрошил мир. Из начальной школы он унес только четыре правила да несколько заученных назубок моральных сентенций. Потом его определили в школу жизни. Отец Люка Мишо был шляпником. После войны начался кризис: перестали носить шляпы, и Люка не взяли даже в ученики. На трехколесном велосипеде он развозил сгущенное молоко. Потом он работал на кожевенном заводе, среди смрада. Он читал запоем; но его знания были случайными и разрозненными. На миноносце он подружился с чертежником Керье, которого потом коммунисты выставили кандидатом на выборах. Керье быстро завербовал Мишо. Оба попали на авиационный завод «Сэн». Мишо начал ходить на собрания, читал книги по политической экономии, занялся историей рабочего движения. Одновременно он корпел над математикой. Он стал хорошим механиком, прилично зарабатывал. Но ему все казалось, что он ничего не знает; это было мучительным чувством, как будто он опаздывает на поезд. А времени было мало: то партийное собрание, то митинг. Хотелось пойти в театр; были музеи; смутно мерещились далекие страны: развалины Рима или Турксиб.

Мишо любил в туманные ноябрьские вечера бродить по городу, грея пальцы горячими каштанами. Париж, с его неясными огнями, казался кораблем: сейчас снимут сходни... Иногда он заходил в кино; пахло апельсинами; влюбленные целовались; на экране страдала глупая, но трогательная американка, и Мишо громко вздыхал. Три года он был влюблен в дочку товарища, хорошенькую Мими, с челкой на лбу; научился ради нее танцевать, носил ей цветы, конфеты, пробовал даже писать стихи; ничего не помогло: Мими вышла замуж за бухгалтера; она хотела спокойной жизни, идеи Мишо и его бурный нрав ее пугали.

Мишо было двадцать девять лет: крепкий, несколько нескладный — чересчур тяжелая крупная голова; лицо даже зимой было испещрено веснушками; прельщали в нем серые насмешливые глаза и ярко-белые зубы, выпяченные вперед; казалось, будто он всегда улыбается. Он то и дело разводил руками, приговаривая: «И еще как!»

Мишо внимательно слушал Мале, иногда что-то записывая в истрепанную книжицу. Рядом сидела красивая девушка. Мишо ее заметил еще до начала лекции: длинные черные ресницы, как у актрисы кино... Потом Мишо увлекся красотой соборов Пуатье и забыл о соседке. Когда Мале говорил о колоннах, Мишо пропустил одно непривычное слово. Он тихо спросил девушку:

— Какой орнамент?..

— Меандр.

Лекция кончилась. Они сидели на задней скамье; надо было подождать, пока выйдут другие. Мишо сказал девушке:

— Не сердитесь, что я во время лекции спросил... Вы, наверно, студентка, а я в архитектуре профан. Моя специальность — механика.

Она улыбнулась:

— А я в механике ничего не понимаю, ровно ничего.

— Это вещь специальная. Вот когда в искусстве ничего не понимаешь, это плохо. А понять трудно... и еще как! Я раньше подставлял один язык под другой. С музыкой, например: слушаю и все стараюсь расшифровать, что это: «влюблен», или «военная победа», или «шторм на море»? А язык совершенно не тот. Так и с архитектурой. Вы это лучше меня знаете...

Они вышли. Два дня дождей и ветра переменили город: весна повылезала отовсюду. Почки на каштанах сразу набухли; по-другому отсвечивал голубоватый асфальт; зимние пальто уступили место светлым макинтошам; из кафе люди перекочевали на террасы; появились бродячие музыканты, а мальчики продавали зеленые, нераспустившиеся ландыши. С бульвара Сен-Мишель шел гам; там молодость вздыхала, объяснялась в любви, пила кофе или сиропы и трепетала перед надвигающимися экзаменами.

Они пересекли яркий Сен-Мишель. На бульваре Сен-Жермен в романтической полутьме горничные прогуливали собачонок, а влюбленные целовались. Было десять часов вечера. Мишо рассказывал, как он

возле Гренобля взобрался на ледники. Ему нравилось, что девушка смеется.

— Хорошо, что вы веселая!

— Я не всегда веселая. Дома меня упрекают, что угрюмая. Брат даже прозвал «сурком».

— Не похожи! Я, когда мальчиком был у дяди в Савойе, поймал сурка, мы его приучили, он на задних лапах служил. Интересно наблюдать за зверями. Я читал недавно о муравьях. Остроумный народ! Как они все устроили!.. А угри? Оказывается, они отовсюду направляются в Саргассово море — любовь гонит. Пять тысяч километров плывут, сначала из речки выскакивают, их бьют по дороге — все равно... Вот это чувства! А у людей?.. (Ему хотелось рассказать о Мими, которая предпочла любви оклад бухгалтера, но он не рассказал.) Интересного много. А я ничего не знаю, кроме механики. Разве что политику...

— Мне политика надоела. Дома только об этом и говорят. Ведь мой отец...

Дениз запнулась. Как все это нелепо! Почему она разговаривает с незнакомым? Она всегда сторонилась людей и вот зачем-то беседует с человеком, о котором она знает одно: механик. Глупо это, по-ребячески!.. И вместе с тем ее охватила грусть: она почувствовала, что сейчас кончится условность этой встречи, все наваждение весеннего вечера. Надо сесть в автобус... Она сухо сказала:

— Мой отец — депутат. Вы, наверно, слыхали — Тесса.

Мишо даже рассмеялся от удивления.

— Вот это неожиданно! И еще как!.. Только при чем тут ваш отец? Я не с ним разговариваю, а с вами. Вы думаете, я разбираюсь в их кухне? Это скучное дело. Я о другом говорю... Вы куда? Пройдем еще немного, до следующей остановки. Вечер хороший...

Дениз послушалась и снова удивилась: почему иду? почему слушаю? И главное — почему так просто, так весело на душе?

Мишо говорил:

— Я политику понимаю иначе: перестроить мир. Очень много случайного, нехорошего. Как-то совестно за людей. А можно жить весело, громко, во весь рост. Для меня революция — это вроде архитектуры. Если вы любите искусство, вы должны почувствовать.

— Вы коммунист?

— Как же иначе?

— Мой брат рассуждает, как вы. Но я ему не верю. Я боюсь слов.

— Это оттого, что ваш отец адвокат. Я тоже боюсь, когда говорят слишком красиво. Но у нас другое... Знаете что, зайдем на полчаса: сегодня предвыборное собрание. Увидите, какая разница! Это рядом — в школе на улице Фальгьер. Не понравится, уйдете. А поглядеть стоит. Ведь должно быть у человека любопытство. Зайдем?

Дениз ответила «нет», хотя она сразу поняла, что пойдет на собрание. Она даже решила про себя: думать буду позже, дома, тогда разберусь, а пока — весело, вот и все...

В школе было много людей, не состоявших в списках избирателей, женщин, подростков; одно из тысяч собраний той изумительной весны, когда Париж повторял слова «Народный фронт» с нежностью и страстью. В зале было жарко; многие поснимали пиджаки; сидели в кепках; курили. Дениз вглядывалась в лица: сколько горестей, болезней, нужды! Женщина держала на руках спящего ребенка: видно, не на кого было оставить. У старика слезились воспаленные глаза; казалось, что он плачет. Все эти люди не знали друг друга; они пришли сюда из продымленных домов большого города, но их всех вязало новое братство; и когда оратор говорил о борьбе, о справедливости, сразу подымались кулаки, а сотни голосов отвечали, как эхо. Ораторы не походили на Тесса, они говорили отрывисто и мучительно, как будто искали слова; и слова звучали по-новому. А лица были усталые; только улыбка на минуту освещала их. Были позабыты и враждебные кандидаты, и урны. Тоска рождения, тайна ростка жили в темном от дыма зале; а кулак работницы, сухой и морщинистый, тряссся в воздухе, как будто эта женщина, рожавшая, хоронившая детей, зажала в нем немного ветра, теплоту приветствия или пролетевшее мимо короткое слово.

Прошло полчаса, прошел час, полтора; Дениз не уходила. Она напряженно слушала; но вряд ли она смогла бы пересказать, о чем говорили эти люди; она как бы слушала глухое биение сердец, новый мир, ей непонятный; так девочкой в Бретани она слушала впервые открывшееся перед ней море.

В двенадцать часов собрание кончилось. Дениз вдруг поняла в смятении, что и она подхватывает

«Интернационал», путая слова, не зная, зачем поет, о чем.

К Мишо подошел немолодой высокий рабочий, со шрамом на щеке, с темными, запавшими глазами:

— Мишо, мы сегодня с твоего завода четырех записали. Ты передай Шарлю, что листовки лучше составлять по цехам. Потом щиты можно использовать для плакатов...

Он повернулся к Дениз:

— Ты, товарищ, из какого района?

Дениз покраснела от смущения. За нее ответил Мишо:

— Товарищ — студентка.

Дениз подумала: значит, он принял меня за свою. И это почему-то ее обрадовало.

Они вышли, и снова Париж, сырой, теплый, взволнованный, напомнил им про весну.

— Понравилось?

— Не знаю, как ответить... Слово не то. Удивило.

— Понятно. А знаете почему? Это как в такой вечер... Как в воздухе... Из всех слов, пожалуй, одно подойдет: надежда. Все переставить, переменить.

— Я брату не верила. А вот тому, он к вам подошел, ему я верю. Это, должно быть, правда... Не знаю, как для других, но для него. А вообще об этом надо подумать. Сразу очень трудно разобраться.

Мишо еще говорил про надежду: свою и других. Теперь она плохо слушала — слишком много слов; но его голос, как прежде, ее радовал, и, прощаясь, она улыбнулась серым насмешливым глазам. А он растерянно сказал:

— И еще как!..

Дениз засмеялась:

— Мы увидимся. На лекции Мале. Или, если будет еще собрание, напишите, я приду. Хорошо?

Вот она и дома! На стенах коридора — фотографии: знаменитые процессы, и повсюду, среди двух жандармов, убийцы или мошенники, а впереди, подняв к небу костлявые руки, в балахоне адвоката — Тесса.

Квартира была как стоячая вода, темная, тихая, с кипящими на дне страстями. Отца еще не было дома. Он, вероятно, искал на груди у Полет забвения от коварных речей Дессера. В спальне мать раскладывала пасьянсы, поджидая мужа. Госпожа Тесса была больна нефритом, она боялась смерти, а особенно ада. Она

всегда была верующей; но прежде ее отвлекали хозяйство, туалеты, сплетни; заболев, она оказалась с глазу на глаз с Богом. Она вспомнила детские годы в монастыре. Близок Страшный суд. Там с нее взыщут за все: за речи депутата Тесса против церкви, за его связи с дурными женщинами, за кощунство и развращенность Люсьена. Кто ее покроет? Дениз? Но девушка молчит, не ходит в церковь, не отвечает матери. Может быть, и Дениз в отца?..

— Дениз, это ты? Я думала, что папа... Пойди сюда! Где ты была?

— Сидела в кафе на Сен-Мишеле. Чудный вечер...

Дениз сказала первое, что пришло в голову: не хотела огорчить мать рассказом о собрании. Но госпожа Тесса расплакалась:

— На Сен-Мишеле?.. В отца!..

Дениз попыталась ее утешить, сказала, что была с подругами; принесла вербеновую настойку, которую мать пила на ночь. Но слезы все капали на королей и валетов...

Дениз прошла к себе. Ее комната была голой, нежилой: кровать, стол, покрытый зеленым сукном, с большой чернильницей, стул. Так выглядят комнаты в гостинице, где останавливаются на ночь. Дениз села на кровать, болтала ногами, еще не решаясь задуматься.

Постучался Люсьен. Он пришел с вечера поэтов-сюрреалистов.

— Они придумали забавный номер: определяют пол понятий, красок, слов. Можешь себе представить, как все возмутились! Особенно коммунисты. Эти корчатся при одном имени Фрейда... Ты слыхала когда-нибудь, как рассуждает правоверный коммунист?

— Нет.

Люсьен стал рассказывать о какой-то танцовщице с острова Бали:

— Я теперь понимаю Гогена... Чувствуется, что она признает только животную страсть...

— Почему ты мне это рассказываешь?

— Потому что тебе двадцать два года, а не двенадцать. Хватит разыгрывать инженю! Или ты собираешься, как мама, читать молитвенник и ставить клизмы?

Увидев угрюмые глаза Дениз, он примирительно сказал:

— Ну, не сердись, сурок! Я не хотел тебя обидеть. Спокойной ночи!

Дениз осталась одна, разделась, погасила свет, но не уснула. Часы пробили два, половину третьего, три... В коридоре послышались шаги: это вернулся отец. Он тихо напевал: «Все прекрасно, госпожа маркиза...» Потом снова водворилась тишина.

Этот дом всегда казался Дениз могилой. Она провела школьные годы в пансионе, в Бретани. Там было море, девочки шалили, по улице проходили рыбаки в красных брезентовых штанах, похожие на больших омаров; когда начиналась буря, трясся дом с большими часами под стеклянным колпаком и с тарелками на стенах; а сердце девочки радостно екало.

Потом Дениз вернулась в Париж. Она сразу почувствовала, что задыхается. Все жили вместе, тесной жизнью. Дениз знала и про похождения отца, и про Жаннет. Семья казалась дружной; и эти обязательные встречи за обеденным столом, внешняя спайка засасывали, как тина.

Дениз увлекалась старой архитектурой. Когда-то люди верили, не как мать,— страстно, от полноты сердца. Они строили приземистые церкви, похожие на амбары. В них, кажется, еще сохранились зерна веры. Дениз ушла в прошлое от суетливости Тесса, от ханжества матери, от бесцельного кипения брата.

Но сегодня приключилось что-то бесконечно важное. Она ведь обещала себе во всем разобраться. Ворочаясь, она спрашивала себя: что?.. То вспоминала кулак старой поденщицы. То рабочий, со шрамом на щеке, говорил ей «товарищ». То улыбались серые глаза Мишо. Все это сливалось с весенним воздухом, с сыростью и тишиной ночных улиц. А сердце билось. И новый смутный день, разодрав темноту, как занавеску, проник в комнату, наполнил ее сероватым колыханием, тревожными абрисами еще неощутимых предметов. Дениз вспомнила «и еще как!», улыбнулась и с этой улыбкой уснула.

10

Прочитав отзыв о своей книге в коммунистической газете, Люсьен рассердился; особенно его обидела заключительная фраза: «Некоторые чрезмерно «революционные» пассажи вызывают недоверие». Ту-

пица! Да и все они таковы! Им не кроить, а латать! Правые газеты охотно говорят о книге Люсьена: они стараются очернить Поля Тесса — вот как радикалы воспитывают своих детей! Но там, где Люсьена должны были принять как трибуна, как нового Валлеса,— несколько скупых похвал («автор хорошо знает свою «среду») и под конец — «недоверие».

Люсьен вдруг улыбнулся: может быть, они правы... А еще недавно он хотел записаться в коммунистическую партию, доказывал друзьям, что партийная дисциплина — высшее самоограничение, которое Гете предписывает творцу... Таков был человек: он быстро загорался, быстро остывал.

Достаток отца освободил Люсьена от мыслей о заработке. Кончив лицей, он стал искать призвание. Он поступил на медицинский факультет, чтобы год спустя бросить анатомию и заняться международным правом. Неожиданно он увлекся кино; стал помощником режиссера. Он хотел сделать необычайный фильм о гибели механического мира, а работать пришлось над дурацкой комедией: героиня путала мужа и любовника, которые были двойниками. Люсьен разлюбил кино и ходил в литературные кафе с видом разочарованного мастера.

Ему было двадцать шесть лет, когда он познакомился с исследователем Анри Лагранжем, который отправлялся к Южному полюсу. Люсьен давно мечтал об опасности. Лагранж его взял с собой. Люсьен записывал в дневник: «Пингвин похож на Мистенгет. Надоели консервы. В общем красиво, но скучно». Через несколько страниц была короткая запись: «Анри умер в четыре часа утра». Лагранж умер от гангрены на руках у Люсьена.

Вернувшись в Париж, Люсьен зажил своей прежней жизнью: выставками и вечерами сюрреалистов; но часто среди болтовни приятелей он замолкал: думал о смерти.

Так родился роман «С глазу на глаз», имевший шумный успех. Это была смутная, неровная книга, с кокетливыми рассуждениями и с просветами, достигавшими подлинной высоты. Роман был посвящен смерти среди льдов, последним дням человека, который больше всего на свете любил математику и свою четырехлетнюю дочку. Люсьен сразу стал признанным писателем. У него брали интервью: «Ваши литературные планы?» Он отвечал, что пишет большой роман

о распаде семьи. На самом деле он ничего не писал: ему казалось, что его выжали, как лимон.

Шли годы. Люди стали забывать, что Люсьен — писатель. Поль Тесса, поверивший было в литературную карьеру сына, снова начал попрекать его бездельем и тратами. Люсьен не мог жить без денег и обладал даром проматывать незаметно десятки тысяч; он угощал приятелей в ресторанах, на вид скромных, но дорогих, поил их старыми винами, небрежно говоря: «обыкновенное винцо»; одаривал приглянувшихся ему женщин. Он пристрастился к картам: крупный выигрыш казался ему единственным выходом. Во всех игорных домах знали красивого человека с рыжими волосами и с бледной маской. Улыбаясь, Люсьен проигрывал за ночь двадцать — тридцать тысяч. Пришлось познакомиться с ростовщиками. Люсьен брал у одного, чтобы отдать другому. Скука, та самая, что четыре года назад погнала его к полюсу, а там обернулась пингвином, похожим на старую актрису, и пресными консервами, снова им завладела.

Летом с караваном туристов он поехал в Советский Союз. Вышло это случайно: он собирался с приятелем в Египет, но накануне отъезда они рассорились. В Москве он пробыл неделю. Туристам показывали древности, музеи, ясли; не это потрясло Люсьена — люди, их воля, нужда, душевная молодость. Как-то, среди строителей метро, он увидел девушку в грубых сапогах, с тонким бледным лицом, с горячечным непримиримым взглядом. Он понял, что такая строит не только метро. Он насторожился, как после смерти Анри. Снова он возвращался в Париж другим человеком.

Лотреамона заменил Маркс. Люсьен впервые задумался над жизнью окружавших его людей. Повсюду он увидел ложь, лицемерие, скуку. Его личная драма была драмой общества. Это его вдохновило: он написал памфлет, поверхностный, но острый, высмеивая философию, мораль и эстетику буржуа. Отец всполошился, грозил разрывом. Молодежь, посещавшая Дом культуры, с восторгом слушала речи Люсьена о близкой революции. Он забыл даже карты: игра, которую он вел, была куда увлекательнее.

Прошло полгода, и его начали разбирать сомнения. Коммунисты ему теперь казались обыкновенной политической партией. Им нравится семейный уют и романсы Мориса Шевалье!.. Люсьен всегда думал, что он

смелее да и умнее других. Он говорил себе: я снова сглупил! Эта карта может выиграть, но это не моя карта...

Случилось, что этот ветреный человек привязался к Жаннет. Он не преувеличивал своего чувства; усмехаясь, он рассказывал приятелям о своей связи с актрисой, надеясь иронией принизить любовь; но любовь не поддавалась, и одно то, как он выговаривал имя Жаннет, выдавало его волнение.

Люсьен и Жаннет не походили друг на друга, но в судьбе их было много общего: оба метались. Жаннет было тридцать лет, но часто она чувствовала себя состарившейся. Она была дочерью лионского нотариуса. Скучный пуританский город, недобрые и придирчивые родители иссушили ее детство. С утра до ночи она слышала разговоры о деньгах («нельзя сорить деньгами»), о выгодных браках, о преступных женах, которые тратят состояние на тряпки, флиртуют или («Жаннет, выйди из комнаты») изменяют. Ей запомнился сухощавый человек с бельмом на глазу; родители говорили о нем почтительно; это был владелец крупной мануфактуры. Он застрелил из охотничьего ружья любовника своей жены. Фабриканта покрыли — убитый был объявлен вором, ночью забравшимся в дом. В квартире нотариуса на мебели круглый год были чехлы, и мать Жаннет пуще всего боялась, как бы муж, наливая вино, не пролил несколько капель на чистую скатерть.

Жаннет было восемнадцать лет, когда она сошлась с женатым человеком, глубоко ей безразличным. Это был доктор, лечивший Жаннет, когда у нее была корь. Узнав о постыдной связи, отец стал кричать: «Ваше место, сударыня, в публичном доме!» Доктор для приличия вздохнул и дал Жаннет четыреста франков на дорогу. Она уехала в Париж. Ночью в поезде она спрашивала себя: почему я это сделала?.. Но ответить не могла... У доктора был кадык, и он говорил сальности. Может быть, она пошла на роковое свидание только потому, что в тот день мать три часа сряду бранила кухарку: «Вы видите, что это не баранина, а кости!..»

Жаннет поступила приказчицей в универсальный магазин. Она приходила на работу с синевой под глазами; продавщицы думали, что она кутит; но она ночи напролет читала. Она начала с романов современников: хотела понять себя; потом пристрастилась

к Стендалю, Достоевскому, Шекспиру. Страсти окружавших ее людей стали ей казаться не жизненными дорогами, но ролями, интересными или мелкими. Все прежде непонятное и поэтому неприязненное, духота чувств, случайность поступков, теперь ей представлялось ясным, точным, подчиненным строгому закону. Не обладая житейским опытом, чуждаясь людей, благодаря искусству она многое поняла, созрела.

Она не мечтала об искусстве как о своей судьбе, она им жила — над книгой или в театре на галерке. В магазине, когда не бывало покупателей, едва заметно шевеля губами, она играла Федру или глупую провинциальную мечтательницу.

В ресторане, где она обычно обедала, с ней заговорил немолодой актер Фиже. Они сошлись; было это без любви и без обмана: оба были одинокими и несчастными. Фиже прельстила наружность Жаннет: на эту женщину повсюду глядели. Ее лунатические огромные глаза придавали спокойному лицу характер одержимости. Казалось, она только-только узнала что-то непоправимое, или влюблена до мук, или радуется так, как можно радоваться раз-два в жизни. Потом Фиже оценил заботливость Жаннет: у этой сумасбродки было сердце доброй женщины; она ухаживала за неудачливым актером, сварливым и неопрятным, как за ребенком (он был на четырнадцать лет старше ее). Она его не любила, но ей и не приходило в голову, что она может кого-нибудь полюбить. То, что было в книгах или на сцене, она не смешивала со своей жизнью. Героиня Расина покорно штопала носки. Несколько месяцев спустя она бросила магазин: Фиже устроил ее в театр «Жимназ»; она играла крохотные роли: испуганных служанок или деревенских дурочек. Она не стала мечтать о карьере великой актрисы, но запах театра ее веселил, и она была благодарна Фиже за эту перемену в ее жизни.

Год спустя Фиже ее бросил: сошелся с опереточной актрисой, пользовавшейся успехом. Он долго не решался сказать Жаннет о своем решении: боялся ревности, упреков, слез. Но Жаннет выслушала его признания с таким равнодушием, что он обиженно сказал: «Ты меня никогда не любила». Она ответила: «Должно быть, ты прав».

Один из заправил Дома культуры, Марешаль, вздумал организовать «Революционный театр». Он стал

набирать труппу. Профессиональные актеры к нему не шли: боялись, что новый театр не выживет. Марешаль встретил Жаннет на лестнице театра и сразу ее отметил. Он вызвал Жаннет, стал ей доказывать, что из нее выйдет крупная трагическая актриса: «Какие глаза! А голос! Да вы себя не слышите!..» Марешаль ставил «Овечий источник»; он предложил Жаннет главную роль. Все присутствовавшие на первых репетициях говорили, что играла она прекрасно: в ней была простота сердечности и гнева. На беду, актриса Жавог поссорилась с директором «Одеона» и в сердцах пошла к Марешалю. Это была посредственная актриса, но ее имя обеспечивало статьи в десятке газет. Она получила роль Жаннет. Жаннет приняла это спокойно и сразу согласилась взять маленькую роль. После премьеры, в своей комнатушке, далеко за полночь, она повторяла монологи, которые ей не удалось сказать со сцены.

«Революционный театр» вскоре прогорел. Два летних месяца Жаннет проработала в провинции: ее взяли в сборную труппу для гастролей. Потом, помаявшись и поголодав, она устроилась на радиостанции «Пост паризьен».

Люсьен с ней познакомился на одной из репетиций в «Революционном театре» и тотчас влюбился. Это было время его страстного увлечения революцией. Слова «Овечьего источника» звучали как бред встревоженного Парижа, а голос Жаннет придавал им ту плотность, тот вес, которые Люсьен напрасно искал на митингах или в газетах.

Люсьен поразил Жаннет; впервые она увидела человека, который говорил, как герой романа. Его речи о низости, об очистительной буре вязались с огненным цветом волос, с бледностью, с резкими движениями. Она ему поверила и, выслушав его признания, отдалась ему если не с любовью, то с душевной приподнятостью.

Любовь в ней могла бы родиться; но Люсьен сделал все, чтобы оттолкнуть Жаннет он себя. Перед ней он становился искусственным и пустым. Она была слишком молода, чтобы снисходительно отнестись к его самолюбованию. Слыша каждый день патетические тирады, она усомнилась: любит ли он меня? А Люсьен все сильнее к ней привязывался. Трудно было понять его чувства: он и Жаннет любил на свой лад, скорее как феномен, как лирическое отступление,

как заморскую птицу. Если бы ему сказали: «Пойди ради нее на смерть»,— он пошел бы. Но когда Жаннет, заболев, попросила его остаться у нее до утра, он стал говорить, что его ждут дома, мать будет волноваться... Ему попросту хотелось выспаться.

Жаннет говорила себе: он меня бросит, как Фиже... Она думала, что должна от него уйти, но не уходила. По природе она была пассивной: такие женщины не уходят, их уводят. А может быть, в ней еще жила смутная надежда на счастье с Люсьеном, на серенькое, тихое счастье, которым жили вокруг нее другие женщины?

После того вечера, когда Жаннет познакомилась с Андре и Пьером, Люсьен ее не видал. Она отвечала по телефону, что хворает. Вдруг она ему позвонила: ей нужно с ним поговорить. Голос был взволнованный. Люсьен вспомнил: Андре!.. Он насторожился. Жаннет он ответил, что зайдет за ней в студию; они поужинают у «Фукетс».

Жаннет не хотела идти в кафе; она сказала, что плохо себя чувствует, ей надо поговорить с Люсьеном наедине. Он настаивал. У «Фукетс» вечером собирались актеры, писатели, а Люсьену льстило, что люди с завистью поглядывают на Жаннет.

Он был хорошо настроен, несмотря на газетную заметку; весело заказал устрицы, вино. Жаннет молчала. Он рассказал ей о своей обиде:

— Понимаешь, «недоверие»!..

Она ничего не ответила. Видно было, что она напряженно о чем-то думает. Люсьен забыл и про отзывы коммунистов, и про восхищенные взгляды соседей; его терзала ревность. Он был уверен, что Жаннет влюблена в Андре, и решил ускорить развязку:

— В понедельник открывается выставка Андре. Говорят, прекрасные пейзажи... Хочешь пойти на вернисаж?

— Нет, я не пойду. Нет настроения...

Она сказала это настолько просто, с таким безразличием, что Люсьен растерялся: может быть, и не в Андре дело?.. Выпив бутылку шабли, он оживился, забыл о своих страхах и вернулся к тому, что его занимало с утра:

— В общем, я понимаю, почему они говорят о «недоверии». Я недавно был у одного коммуниста. Это сотрудник «Юманите». Мещанская квартирка. На стене репродукция: «Мыслитель» Родена. Жена принесла

рагу, и он хвастал, что она хорошо готовит. Четверо детей, старший готовит уроки, а папаша ему помогает. Ты видишь картину? Конечно, такой человек может голосовать, но не больше. А когда такие мещане...

Жаннет обычно не спорила. Но теперь она неожиданно оживилась:

— Разве плохо, что у человека семья, дети? Я тебе говорила,—я об этом всегда мечтала. Для женщины это счастье. Неужели ты не понимаешь?.. Я иногда думаю, что и ты этого хочешь, только говоришь иначе... Без этого, Люсьен, нельзя жить: очень голо, одиноко.

— Вопрос характера. И эпохи. Если бы мне предложили обзавестись семьей, я застрелился бы, не иначе. Я живу другим. Может быть, завтра за это придется умереть. Смешно теперь говорить о семье. Что с тобой?

— Ничего. Я тебе сказала, что плохо себя чувствую. Голова болит. Попроси стакан воды, я приму аспирин.

Люсьен продолжал говорить: эпоха требует отрешенности, одиночества, мужества. Семейный уют—предательство. Жаннет не возражала. Ее оживление спало.

Они молча вышли и свернули с Елисейских полей в узкую, темную улицу. Вдруг на углу, возле аптеки, Жаннет остановилась. В освещенном окне стоял большой зеленый шар, и лицо Жаннет, облитое изумрудным светом, казалось мертвым. Она спокойно сказала:

— Я беременна. Придется теперь искать доктора...

Люсьен почувствовал жалость, острую, как боль. Он пробормотал:

— Может быть, не нужно?

Жаннет резко рассмеялась:

— Нет, ты мне все объяснил и убедил—«не та эпоха»...

Люсьен быстро успокоился, и это вывело из себя Жаннет. Все тем же деланно веселым голосом она сказала:

— Не огорчайся: не от тебя...

— Как? Я не понимаю...

— Когда я ездила на гастроли. В Виши... Рядом ночевал один актер, а у меня дверь не запиралась, задвижка была испорчена. Вот и все. Теперь ты понял.

Она рукой остановила такси. Он крикнул:

— Погоди! Я провожу тебя.

— Не нужно. Одиночество и мужество—кажется, ты так сказал? Спокойной ночи!

Люсьен сразу почувствовал, что Жаннет сказала неправду. Актер? Задвижка? Слишком нелепо! Но, может быть, с Андре?.. Она в кафе не сводила с него глаз. Он тоже... И потом—спросила, почему он не позвал Андре... Конечно, Андре!

Площадь Конкорд после дождя блестела, как паркет парадного салона; автомобили оставляли на синеватом асфальте оранжевые и багровые следы. Большие фонари походили на светящиеся растения. Из парка Тюильри доносились запахи мокрой земли, деревьев, весны. Казалось, все вокруг было создано для праздника; но во всем была легкая тревога, неуверенность. Старая проститутка, густо нарумяненная, окликнула Люсьена. Он ускорил шаг. Вдруг на набережной он остановился: он вспомнил глаза Жаннет—у аптеки... Такие глаза были у Лагранжа, когда он сказал Люсьену: «Не спорь, я знаю, что это гангрена». Люсьен побежал назад, на площадь, он поехал к Жаннет.

Она лежала, уткнувшись головой в подушку, и плакала. Рядом валялась большая тряпичная кукла. Жаннет плакала от обиды: как мог Люсьен поверить ее глупой выдумке? Она плакала от его бесчувственности, от одиночества. Было в ней и большее горе, но от него она не могла плакать. Это горе уничтожало слова и придавало глазам то выражение безысходности, которое возле аптеки напугало Люсьена. Она ведь утром еще верила в возможность счастья...

Когда Люсьен вошел, Жаннет перестала плакать, она напудрилась и тихо сказала:

— Знаешь, Люсьен, что самое страшное?.. Я тебя не люблю.

11

Тихий город, о древностях которого профессор Мале рассказывал Дениз и Мишо, не походил на себя. На улицах, где обычно старые аристократки чинно сплетничали, аббаты прогуливались с раскрытыми молитвенниками, а ребята играли в бабки, теперь люди спорили, жестикулировали; доносились слова: «Народный фронт... Фашизм... Порядок... Война...» Старые стены, морщинистые, как щеки почтенных аристократок, покрылись, будто румянами, плакатами разных партий. Вокруг щитов целый день толпились люди,

читая хлесткую перебранку кандидатов. А рядом, на порталах древних церквей, длиннолицые святители благословляли грешников, и на каменные персты садились встревоженные воробьи.

Три человека оспаривали у Поля Тесса честь быть депутатом Пуатье. С двумя Тесса столкнулся четыре года назад: с коммунистом Дидье, по профессии слесарем, и с отставным генералом Гранмезоном, ставленником консервативных кругов города, аристократии и духовенства, именовавшим себя «националистом». Тогда Тесса легко разбил соперников. Теперь он далеко не был уверен в победе, хотя Дессер выполнил свое обещание: «Ла вуа нувель» посвятила номер Полю Тесса, а из трех местных газет две были куплены радикалами. Коммунисты за последние годы окрепли. Дидье, не блиставший красноречием, собирал огромную аудиторию. Появился и новый конкурент: молодой агроном Дюгар, связанный с «Боевыми крестами», энергичный человек, обходивший дом за домом и повсюду разоблачавший «засилье финансистов, масонов и евреев». Лавочники, страдавшие от расцвета магазинов стандартных цен, ремесленники, обремененные налогами, интеллигенты, считавшие, что они вытеснены из жизни иностранцами, пенсионеры, возмущенные аферами Ставиского, к которым Тесса приложил руку,— все эти люди горячо аплодировали Дюгару.

Собрания протекали бурно, и Тесса, привыкший подтрунивать над подзащитными, часто чувствовал себя подсудимым. Дюгар, как бы вскользь, упоминал об одном чеке, выданном Стависким. Тесса давно забыл, на что он истратил злополучные восемьдесят тысяч. Он ударял кулаком о стол и рычал: «Эти деньги предназначались для инвалидов!» Гранмезон настаивал на безнравственности Тесса, обильно цитируя книгу Люсьена: «Вот что увидел молодой литератор в доме родного отца!» Дидье не касался частной жизни Тесса; он говорил о подкупной печати, о роли «двухсот семейств». Но Тесса казалось, что слесарь говорит именно о нем. Да и крики подтверждали подозрения: стоило Дидье упомянуть о продажности прессы, как раздавались голоса: «Ла вуа нувель!», а тирады о «двухстах семействах» прерывались возгласами: «Дессер! Дессер!»

Тесса работал как каторжник. Он разговаривал с тысячами избирателей, спрашивал, как здоровье супруги, сдал ли сын экзамен, когда будут справлять

свадьбу дочери. Он сулил городу новый мост и два сквера, а гражданам пенсии, ордена, места казенных сидельцев. Он пил у стойки с красноносыми приверженцами Даладье или Эррио: «За республику! За победу!» Он срывал голос на собраниях, писал листки, редактировал газетные отчеты, придумывал карикатуры. Он не спал шестнадцать ночей, испортил себе желудок на банкетах и забыл о нежных объятиях Полет. На одном из самых больших кафе значилось: «Перманентное дежурство по кандидатуре Поля Тесса». Там Тесса дарил агитаторам то часы, то автоматическую ручку, то сотенную. Он выписал из Парижа двух сенаторов, которые выступили с докладами. Певица в мюзик-холле исполняла куплеты:

Нам не нужны крикуны и нытики,
Мы сторонники умеренной политики,
Утром кофе, вечером любовь.
Поль Тесса будет избран вновь!

Главный козырь Тесса приберег напоследок: вдову Антуан. Ее сына, мелкого чиновника, суд приговорил к десяти годам за растрату. Антуан был осужден несправедливо, и Тесса добился пересмотра дела. Вдова на большом собрании, обливаясь слезами, воскликнула: «Поль Тесса — святой человек!»

В вечер, когда подсчитывали голоса, Тесса не держался на ногах; он с трудом выпил чашку настойки на апельсиновом цвете, чтобы успокоить нервы. Он не мог вытерпеть напряжения и отошел к окну. На площади толпились зеваки: они ждали результатов подсчета. Тесса увидел девушку, чем-то похожую на Дениз, и загрустил. Зачем он занялся проклятой политикой? Разве не все равно, кто победит: Дюгар или Народный фронт? Все это ложь!.. Сидеть дома с женой. Глядеть на Дениз. Съездить на часок к красавице Полет. Это — жизнь! А речи или лозунги — скучная, тяжелая работа.

Зеваки были разочарованы: выборы не дали ни одному кандидату абсолютного большинства; через неделю предстояла перебаллотировка. По сравнению с прошлыми выборами Тесса потерял почти три тысячи голосов: потерял и Гранмезон; выиграли коммунисты, а Дюгар шел на первом месте.

Начали гадать. Если генерал снимет кандидатуру в пользу «Боевых крестов», может пройти Дюгар. Откажется ли Дидье в пользу Тесса? За кого будут

голосовать умеренные? Люди сидели в кафе и считали, считали.

Тесса раздраженно зевнул. Он думал, что сегодня все кончится, завтра он будет дома. Придется здесь просидеть еще неделю. Он послал телеграмму жене: «Перебаллотировка приеду среду на один день обнимаю тебя Дениз Люсьена». До среды он успеет договориться... Предстоит мучительная неделя. Даже если коммунисты согласятся голосовать за него, все зависит от простой случайности: шесть тысяч против шести. Но вряд ли коммунисты согласятся: они ненавидят Тесса.

Вечером состоялось решительное собрание: радикалы пригласили коммунистов. Зал нетерпеливо гудел: что скажет Дидье? Собрание открыл Тесса:

— Граждане, благодарю вас за доверие. Я призываю всех, кому дорога республика, всех преданных делу мира и социальной справедливости, всех противников церковного воспитания голосовать за меня, как за единственного республиканского кандидата...

Он на мгновение замолк и потом прогремел:

— Народного фронта!

Слово предоставили Дидье:

— Коммунисты не подкупают, не соблазняют, они обращаются к разуму, к совести. На прошлых выборах мы получили шестьсот голосов. А теперь две тысячи триста семьдесят, вот сколько! Это — сила. Надо загородить дорогу фашистам Дюгару и Гранмезону. Тесса обещает быть верным Народному фронту. Хорошо, мы будем голосовать за Тесса. Франция переживает трудное время: растет опасность извне, внутри — изменники. Так всегда бывало: шуаны шли с англичанами или с австрийцами, версальцам помогали пруссаки. Только Народный фронт может спасти Францию. Да здравствует Народный фронт! Да здравствует Франция!

В ответ поднялись кулаки.

Тесса встал и поклонился, как актер. Он не знал, радоваться ему или огорчаться. Он ненавидел и Дюгара и Дидье: выскочки, молокососы! Коммунисты решили голосовать за Тесса. Это, конечно, успех. Но кто знает, послушаются ли рабочие? Он ведь слышал, как один сказал: «Голосовать за этого прохвоста?..» Притом, даже если все сторонники Дидье будут голосовать за Тесса, Дюгар может получить на двести — триста

голосов больше. Рассчитывать на умеренных не приходится — Тесса открыто братается с коммунистами. Прохвост Дессер, что он задумал? На чем хочет нажиться? На разгроме Франции? А Тесса залез в болото...

Не дожидаясь конца собрания, Тесса поехал в гостиницу. Он морщился от головной боли. Его остановил портье:

— Вас спрашивал один господин. Он в курительном салоне.

Тесса вздохнул: еще один любитель пенсий!.. Но вместо избирателя, хлопочущего о пособии, он увидел депутата Луи Бретейля.

Тесса растерялся. Что означает этот визит? Тесса дружил со всеми депутатами, левыми и правыми. Он дружил и с Бретейлем. В другое время он воскликнул бы с напускной радостью: «Дружище! Как здоровье? Супруга?..» Но теперь он чувствовал себя на поле брани. Он еще слышал оскорбления Дюгара: «А чек?..» Вдруг этот нахальный землемер займет кресло Тесса в Бурбонском дворце?.. Бретейль мог бы не приходить!..

Бретейля побаивались. Он слыл фанатиком. У него была внешность старого спортсмена: метр восемьдесят пять роста, прямая выправка, красное, раз навсегда обгоревшее лицо, седые волосы, коротко подстриженные усы. Он был военным инвалидом: на правой руке не хватало двух пальцев, и это увечье вязалось с обликом Бретейля. Говорил он сухо, отщелкивая слова: речи напоминали приказы. Когда на трибуну парламента подымался коммунист, Бретейль уходил из зала: говорил, что не может слышать этих людей. Он не участвовал в акционерных обществах, не занимался финансовыми спекуляциями, жил скромно; рассказывали, что часть своего оклада он расходует на пропаганду. Его любимым делом было воспитание молодежи: он устраивал отряды, дрессировал подростков, превозносил перед ними шуанов, национальных гвардейцев, жандармов, заставлял маменькиных сынков в дождь маршировать, по команде подымать руку. Женился он поздно, на уродливой бедной женщине, и нянчился с пятилетним сынишкой, хилым и капризным. Кажется, это было единственной слабостью Бретейля...

Тесса стоял в дверях, не зная, что сказать. Бретейль встал:

— Здравствуй, Поль! Ты плохо выглядишь. Наверно, устал?

— Да. Очень... Но что ты тут делаешь? Проездом?..

— Нет, я из Парижа. Ты ведь знаешь, что Дюгар — мой питомец? Он молод, но неглуп. Надо ему помочь.

Тесса рассердился. Бретейль приехал на подмогу Дюгару. Что же, это его дело! Но бестактно приходить к Тесса, да еще жалеть, что он плохо выглядит...

— Ты прости, но я пойду. Я устал.

— Погоди, нам нужно поговорить. Только не здесь... Я зайду к тебе в номер.

Тесса прошел к себе, развязал галстук, снял ботинки и прилег на кушетку. Постучал Бретейль. Тесса сказал:

— Отложим разговор. Я очень устал. После выборов...

— Это невозможно. Я знаю, что ты устал, я отниму у тебя ровно пять минут. Необходимо принять решение. Ты сам знаешь, что у Дюгара все шансы на победу. Он должен получить на пятьсот—шестьсот голосов больше. Но я против...

— Против чего?

— Я хочу, чтобы выбрали тебя. Дюгар — толковый парень, он нам еще пригодится. Но в парламенте он будет статистом. Разве можно сравнить его с тобой? Ты — опытный политик, человек с огромным опытом, великолепный оратор, наконец,у тебя имя. Для страны твое поражение будет несчастьем.

— Послушай, Луи, я тебя не понимаю. К чему эти комплименты? Разве ты не поддерживал Дюгара? А он меня каждый день смешивал с грязью.

— Зачем придавать значение словам, да еще на предвыборных собраниях? Как будто ты не расхваливал Народный фронт! Я ведь знаю, что ты думаешь о коммунистах. Еще неизвестно, кто из нас больше их любит — я или ты. Я хочу, чтобы ты прошел в палату. Пусть они думают, что ты за Народный фронт. Важен человек, а не этикетка. Тебе достаточно сказать одно слово...

— Час тому назад я заявил, что принимаю поддержку Народного фронта.

— Дело не в публичных заявлениях. Я повторяю: достаточно одного твоего слова. Я не болтун, и ты можешь мне доверять. Пойми, Поль, стране теперь не до партий. Нужно спасать нацию! Дюгар должен уступить. Конечно, призывать голосовать за тебя он не может. Достаточно, чтобы он снял кандидатуру. Две-три тысячи голосов отойдут к тебе.

— Сторонники Дюгара предпочтут Гранмезона.

— А, старый генерал?.. Я его знаю. Дурак, но порядочный человек. Я с ним завтра увижусь. Что же, и Гранмезон снимет кандидатуру. Ты пройдешь как единственный кандидат. Вот тебе символ единства, которое может спасти Францию!

Искушение было настолько сильным, что Тесса начал бессмысленно бормотать:

— Символ?.. А ты, значит, из Парижа? Там тоже жарко? Я не выношу жары...

Бретейль молчал. Тесса старался задуматься и не мог: мысли были мелкими и густыми, как плотва в воде. Он понимал одно: он снова будет депутатом! Он выпил стакан воды и вытер полотенцем лоб. Сознание постепенно возвращалось к нему. Он говорил себе: Франция в опасности. Враги караулят... А внутри измена. Я буду символом национального единства. Дело не в этикетках, а в людях! Сам того не замечая, он повторял слова то Бретейля, то Дидье. Наконец робко, как ребенок, которому обещали чудесный подарок, он пролепетал:

— Но что, собственно говоря, я должен сказать?

— Только одно — что ты согласен.

— Тогда хорошо... Я не вправе отказаться.

Бретейль крепко пожал руку Тесса.

— Я знал, что ты честный человек. А теперь отдыхай. Спокойной ночи!

На следующий день Тесса проснулся поздно. Солнце просачивалось сквозь ставни, и старые бархатные кресла цвета малахита казались маленькими лужайками. Выйдя из гостиницы, Тесса увидал свеженаклеенную афишу: «Жак Дюгар благодарит своих избирателей и, повинуясь долгу патриота, снимает кандидатуру. Да здравствует Франция!» Тесса не мог скрыть улыбки. Он даже подмигнул молодой цветочнице; поглядев на нее, он вспомнил шею Полет. Все-таки жизнь хороша! В это утро все ему нравилось: и романские церкви, и пылесосы в витрине магазина, и рыночные торговки. Он готов был всех расцеловать. Наверно, этот Дюгар — славный парень, с ним можно хорошо позавтракать, поболтать, пошутить. Жаль, что у Тесса нет поместий, он дал бы Дюгару заработать. Да и Дидье порядочный человек, старый слесарь, добродушный и усатый. Такой может починить замок... Дело не в этикетках, а в людях! Тесса останавливался возле

каждой афиши. Люди обсуждали заявление Дюгара. Один шофер слез с грузовика, прочитал обращение вслух, потом сплюнул и сказал:

— Ай да шпана!

Но даже это не смогло омрачить Тесса. Он сиял. Он решил съездить в Париж на полтора дня: надо посвятить Полет целый вечер. Он зашел в кондитерскую и купил коробку конфет для Дениз. Потом он сел в маленьком кафе; заказал стакан пикона. Рядом сидел человек, несмотря на ранний час успевший опрокинуть несколько рюмок. Он кормил воробьев крошками хлеба, завернутого в газету. Он сказал Тесса:

— Приятно поговорить с птицей. А то все выборы и выборы...

Тесса машинально спросил:

— Вы за кого?

— Я? Я за себя, вот я за кого! И за птицу. А голосовать я не буду. Дудки!

Тесса рассмеялся:

— Правильно! Что будете пить? Я угощаю.

Тесса уехал в четыре часа, а в пять Бретейль направился к маркизе де Ниор. Там по вторникам собиралась знать Пуатье: разорившиеся помещики, жившие скромно, но по этикету. В их среду были допущены два фабриканта, профессор археологического института и несколько лиц духовного звания. Лакей разносил жидкий чай и крохотные сандвичи: маркиза славилась скупостью. Обычно гости сплетничали, для приличия посвящая пять минут иностранной политике или раскопкам: город славился древностями и все местные аристократы обожали археологию. Но в тот день разговор вращался вокруг одного — перебаллотировки. Гранмезон чувствовал себя героем. Это был ворчливый, но безобидный старик с черепом новорожденного и с подагрической ногой, обутой в матерчатую туфлю. Сердясь, генерал выставлял больную ногу вперед и кричал: «Никогда!»

Бретейль, поболтав в чашке ложечкой, сказал:

— Мой друг, при создавшемся положении благороднее всего уйти.

— Никогда! Я не Дюгар... Я знаю, что пройдет Тесса, но бывают поражения, которые почетней победы.

— Не нужно горячиться. Две тысячи голосов, поданных за вас, откинут Тесса в лагерь наших врагов. А между тем это порядочный человек.

Все возмутились:

— Приятель Шотана! Вспомните дело Ставиского!..

— Масон! Он в ложе «Великий Восток».

— А деньги Дессера?..

Гранмезон выкрикивал:

— Порядочный? А вы его писания знаете? Атеист. Хуже того — циник! «Светская школа»! Из этой школы и выходят шалопаи, которые хотят поделить все... Никогда!

Бретейль заговорил с необычной для него страстностью:

— Будем говорить прямо. Наша страна накануне революции. Народный фронт может вовлечь Францию в войну. Если мы даже победим, для нас эта победа будет поражением. Тесса против религиозного воспитания? Допустим. Но ведь это — думать о насморке, когда человек болен скоротечной чахоткой. Тесса не коммунист. Я его видел вчера. Он мне подтвердил все. Народный фронт завтра придет к власти. Если нельзя его остановить заградительным огнем, надо взорвать его изнутри. Десяток Тесса сделают свое дело. Чтобы спасти Францию, я готов объединиться не только с Тесса, но даже с немцами. Да, да, выслушайте меня!.. Если завтра мне скажут — революция неминуема, я отвечу: зовите Гитлера.

Воцарилась тишина. Маркиза де Ниор прошептала:

— Вы замечательно говорите, господин Бретейль!.. Но это мрачно!.. Господи, до чего это мрачно!..

Она уронила на пол щипчики для сахара.

12

О своем успехе Тесса решил рассказать домочадцам за обедом: он любил говорить о политике, когда перед ним дымилось вкусное блюдо.

— Положение было критическим. Дюгар пустил в ход клевету: снова Ставиский!.. Кстати, Люсьен, ты можешь радоваться: твоя книжонка там нарасхват. Конечно, из-за меня... Гранмезон ее каждый день цитировал: «Полюбуйтесь на сынка!» Мамочка, где ты достала такую нежную утку? Мне в Пуатье приготовили лангуста по-американски, это был лангуст!.. Но и коммунисты не отставали. Они меня взяли под такой

огонь... «Свобода, мир». словом, безответственная демагогия. В итоге — перебаллотировка. Я думал, что свалюсь от усталости. И такие головные боли!.. Дениз, почему ты бледная? Ты должна съездить в Пуатье: там романские церкви, это класс! Святая Редегонда... Я подсчитал: если коммунисты снимут кандидатуру, шансы равные — чет и нечет. Но ходили слухи, что они будут опять голосовать за Дидье. Ведь приятели Люсьена меня не очень-то жалуют. Что же, я заявил, что являюсь кандидатом Народного фронта. Овация. Даже кулаки подымали. Я, по правде сказать, не выношу этого жеста... Уточка дивная! Первый мыс обойден: коммунисты заявили, что будут голосовать за меня. Но тут правые подняли крик: они хотят мобилизовать всех. А шансы равные: красное и черное...

Он замолк, обгладывая лапку. Люсьен сказал:

— Ты все-таки побьешь фашиста. Настроение страны...

— Погоди! Ты даже не представляешь себе, что случилось. Угадай! Это как в театре... Мамочка, положи мне салата. А себе?.. Тебе нельзя даже салата? Ужасная вещь диета! Ну что, не угадал? Дюгар снял кандидатуру, и я теперь — единственный кандидат. Это — национальное объединение.

Люсьен не удержался:

— И ты на это пошел? Какая низость!

Тесса обиделся:

— Я не вижу в этом ничего позорного. Все партии сошлись на мне. Этим можно только гордиться. Разве национальное объединение — низость? Даже твой слесарь все время говорил: «Франция! Франция!» Ты, брат, отстал...

Обед был испорчен. Близкие не понимают Тесса. Жена вздыхает. Дениз не слушает, ест или играет с котенком. А этот бездельник, наверно, придумывает новый пасквиль. Тесса, проглотив кофе, прошел в кабинет:

— Мне надо поработать.

(Все знали, что после обеда он спит; называлось это «работой».)

Люсьен упрекал себя за несдержанность. Он ждал приезда отца, чтобы попросить у него пять тысяч. Жаннет необходимо оперировать. А занять не у кого. Зачем он рассердил отца? Теперь отец, чего доброго, откажет. Люсьен вспомнил глаза Жаннет и, больше ни

о чем не думая, вошел в кабинет. Сразу — так кидаются в холодную воду — он сказал:

— Мне нужны пять тысяч. До зарезу.

Тесса молчал. Люсьен угрюмо выговорил:

— Я не хотел тебя огорчать. Не сердись!

Тесса лежал на диване. Обида еще больше заострила его птичье личико. На лбу были капли пота. Маленький и очень бледный, он казался мертвецом.

— Зачем тебе пять тысяч? На пасквиль?..

Люсьен не ответил. Тесса поглядел на него и отвернулся. Такой способен на все!.. Дядя Тесса был тоже рыжим. В семье о нем не говорили: он подделал подпись кассира и получил четыре года...

— Все равно... Бери.

Он встал и выписал чек. Люсьен ушел.

Тесса снова лег и решил вздремнуть, чтобы успокоиться; но ему мешали мысли. Он испытывал отвращение, как в тот вечер, когда приехал Бретейль. Люсьен думает, что ему не противно брать подачку из рук Бретейля? Конечно, противно. Противно и якшаться с коммунистами. Починить замок? Пожалуйста! Но не решать с ними вместе судьбы страны! Все это мерзость!.. Как жизнь. Разве жизнь не пакостная игра? Чет или нечет. В палате, когда голосуют доверие правительству... Несколько голосов «за» или «против» решают судьбу человека. А присяжные?.. Отрежут человеку голову или не отрежут? Да это зависит от пустяка: растрогала ли речь Тесса какого-нибудь лавочника. Если нет, так разбудят в четыре часа утра, дадут стопку рома и полоснут по шее. Лотерея! Все понимают, что Народный фронт — гадость. Но он не продержится и года. Вообще ничего не продержится. Гниль! Дрянь! Все рассыплется. А тогда наплевать... Вечером он поедет к Полет. И Полет умрет. Все умрут.

Мысли о неизбежном распаде существующего успокоили Тесса. Из кабинета раздался тонкий храп, переходивший в свист.

Люсьен сказал Дениз:

— Что ни говори, а это все-таки низость. Он и с коммунистами и с «Боевыми крестами». В этом нет ни чести, ни простой честности.

— Мне его жалко. Он очень постарел за последний год.

— Не удивительно — Полет способна доконать человека в его возрасте.

— Люсьен!..

Он поглядел на нее и вспомнил глаза Жаннет. Ах, эти тихони!.. А Жаннет его не любит. Сама призналась. Да и за что его любить?.. Люсьен сказал:

— Можешь и меня пожалеть заодно. Отец еще, может быть, умрет, а я не умру, я сдохну.

Вечером Тесса несколько развлекся: он был у Полет, потом они ужинали у «Максима». Тесса лениво глядел на канкан: ноги девушек то подымались, то опускались. Это казалось ему жизнью. Он пил шампанское, бокал за бокалом, но не пьянел. Задумчивость, которая родилась днем, не проходила.

Он вернулся домой в два часа. Жена, как всегда, раскладывала пасьянс, лежа с грелкой на животе. Увидев Тесса, она расплакалась.

— Хорошо, что ты пришел... Такие боли!..

— Это пройдет, Амали. Доктор сказал, что это скоро пройдет.

— Нет, я знаю, что не пройдет. Я теперь скоро умру.

— Зачем ты говоришь глупости?.. Я видел доктора. Это можно вылечить. Ты еще всех переживешь...

— Зачем мне жить? Я ни на что больше не гожусь. Сегодня, ради твоего приезда, я встала, и вот видишь, снова хуже... Я не боюсь смерти. Я другого боюсь... Ты ни во что не веришь... Но должна быть расплата... Я не хотела говорить при детях... С коммунистами!.. Как ты можешь? Я вчера читала в газете, что они делают... Они в Малаге восемь церквей подожгли. Это звери! И вот ты, мой муж,—с ними!

Тесса разделся, лег и только тогда ответил:

— Ты думаешь, что мне не противно? Противно. Политика—грязное дело. Спекулировать и то лучше... Но что ты хочешь? Нам с тобой деньги не нужны, проживем как-нибудь. А дети? Люсьен сегодня снова взял у меня пять тысяч. Если ему не дать, он способен кого-нибудь зарезать... А ты подумала о Дениз? Она может не сегодня-завтра влюбиться. Я не хочу, чтобы она зависела от мужа. У нее гордый характер. Без денег она не вытерпит. Знаешь, Амали, не нужно меня добивать! Мне и так плохо...

Жена поцеловала его в лоб и погасила свет.

Тесса лежал на спине, глядя в темноту. Он знал, что не уснет. Светлые точки подымались вверх, как газ шампанского. Рядом жена тихо стонала. Он шепнул:

«Амали!» Она не откликнулась: она стонала во сне. Тесса почувствовал страх. Амали скоро умрет. И он умрет. Он вспомнил, как отрезали голову Ларошу, который убил полицейского. Это было осенью. На бульваре Араго под ногой шуршали листья. А солнце было большим и красным. Ларош выпил ром, щелкнул языком и сказал: «Каюк!» Думали, что он умрет спокойно, но, когда его повели к гильотине, он упирался; его тащили, а он выл, как собака в деревне. Тесса теперь слышал этот вой и дрожал. А светлые точки все подымались к потолку... Хорошо Амали! Она верит в ад—это тоже выход. Пусть—муки, лишь бы сознавать!.. Но никакого ада нет: могила, холод, пустота. И, не вытерпев, Тесса закричал. Жена проснулась:

— Что с тобой, Поль?

Он виновато ответил:

— Мне что-то приснилось.

13

Огюст Виар, о котором Жолио рассказывал небылицы и которого боготворил Пьер, походил на рассеянного, добродушного профессора. Прошлый век сказывался во всем: в пенсне, в широкополой черной шляпе, в наклонности к психологическому анализу, в витиеватом слоге.

Виар родился в Шалоне, в тот год, который прозвали «Страшным»; над его колыбелью пролетали ядра пруссаков. Отец Виара был убежденным республиканцем и отсидел два года в тюрьме за выступление против «Маленького Наполеона». Огюст с ранних лет слышал имена Марата, Бланки, Делеклюза и горячие споры о социальной революции.

В Париже Виар поступил на исторический факультет. Он хотел посвятить себя политической борьбе; но неожиданно увлекся искусством—сказался возраст, может быть и эпоха. Молоденький студент не раз встречал в кафе Латинского квартала Верлена, который, среди пьяного бормотания, вдруг ронял прекрасные строфы, похожие на крик перелетной птицы, разбившейся о провода. Виар выпустил сборник стихов, подражательных, но не бездарных. Он помещал в газетах отчеты о «Салонах»; хотел стать критиком. Но его

захватило дело Дрейфуса. Он стал учеником Жореса. Будучи по природе человеком скромным, он выполнял любую работу: писал статьи для крохотных журналов, обличал клерикалов, ездил по захолустьям, выступая против милитаризма, и с дрожью в голосе требовал женского равноправия. В свободное время он много читал; продолжал интересоваться искусством; товарищи шутя звали его «наш афинянин». Незадолго до войны его выбрали в парламент. Это совпало с женитьбой Виара; женился он на женщине-враче. Виара не выпускали с ответственными речами в палате, но он работал в различных комиссиях и считался специалистом по культурным вопросам. Он ездил на международные конгрессы; там он познакомился с Лениным, Бебелем, Плехановым. Он твердо верил, что социалисты, получив на выборах большинство, осуществят великие преобразования.

Вместо этого разразилась война. Виар переживал ее мучительно, как гибель своих мечтаний. От участия в Циммервальдской конференции он, однако, уклонился: «Нельзя противопоставлять рабочий класс нации!» Разговоры о Священном союзе его и раздражали и умиляли. Он ограничивался протестами против строгостей цензуры или против расстрелов без суда.

Настали бурные послевоенные годы. Виар приветствовал русскую революцию, но осудил коммунистов: «Мы должны идти своей дорогой!» Война укрепила в нем отвращение к крови; он был убежден, что человечество пойдет по пути мирного прогресса.

Он стал одним из руководителей социалистической партии; этому способствовали и возраст и эрудиция. Душевно он постарел, ссохся. Его жена умерла; дочери вышли замуж; он жил один в просторной, неуютной квартире, похожей на картинную галерею: он по-прежнему любил живопись. Все чаще и чаще он испытывал потребность в одиночестве. У него был деревенский домик в Авалоне, весь обвитый глициниями. Там, на щербатой скамейке, он слушал перекличку петухов или кваканье лягушек. Возвращаясь с заседания палаты, он садился перед портретом дочки, написанным Ренуаром, и любовался розовыми тонами, теплыми и сладкими, как пенки варенья. Страх перед всем, что может нарушить распорядок жизни, влиял на его политические оценки. Человек, которого правые карикатуристы изображали с ножом в зубах, был кротким

домоседом, повторяющим по привычке старые революционные монологи.

Внезапно, как ветер на море, поднялась буря. Не находя себе места в жизни, молодые повернулись к крайним партиям. Февральский мятеж напугал Виара. Он возненавидел питомцев Бретейля: они посягнули на покой страны. Виар стал сторонником Народного фронта; он даже поборол в себе давнишнюю неприязнь к коммунистам; он защищал свой домик в Авалоне, свои картины, своё место в парламенте.

Накануне выборов он выступил на большом собрании, вместе с коммунистами, и десять тысяч человек восторженно его встретили. Сначала он говорил о демократии, о платных отпусках, о гражданском мире; но, будучи прирожденным оратором, он поддался чувствам толпы. Живые звуки пробились сквозь пески красноречия: надтреснутый голос окреп. Виар заговорил о соседней Испании, где на выборах победил Народный фронт:

— Крестьяне Эстремадуры запахали землю помещиков. В монастырях, вместо мощей, циркуль и глобус. Рабочие учатся стрелять из винтовок, чтобы отстоять свободу...

В ответ раздался крик десяти тысяч:

— Да здравствует Народный фронт!

На верхнем ярусе сидели Мишо и Дениз. Он аплодировал, кричал; потом, смеясь, шепнул Дениз:

— Не ему — испанцам...

Вслед за Виаром выступил коммунист Легре. Дениз вскрикнула: «Я его знаю»,— это был рабочий со шрамом на щеке, который спросил ее, из какого она района.

— Товарищи, не в одних урнах дело. Придется защищать правительство Народного фронта грудью. Это не слова, а дело, и трудное. Нужно победить, обязательно!...

Виар пожал руку Легре; это привело всех в восторг: казалось, прошлый век, утописты и зачинатели, приветствует людей, способных не только жертвовать собой, но и побеждать.

Дениз и Мишо вышли. На улице было душно: надвигалась гроза. Разморенные люди на террасах кафе пили пиво и лениво вытирали потные лица.

Прошло всего полтора месяца с предвыборного собрания на улице Фальгьер, но Дениз и Мишо разговаривали, как старые друзья. Дениз сказала:

— Виар хорошо говорит, но чего-то ему не хватает...

— Не верит в то, что говорит.

— А мне кажется — верит, но наполовину. Я это понимаю, со мной тоже бывает — скажу уверенно и сейчас же спохвачусь...— Она добавила, смеясь: — Только я на собраниях не выступаю. Мне Легре нравится, у него все выходит всерьез.

— Надо, чтобы слова вязались с поступками.

— А можно связать?..

— Можно. Кровью...

Ударил гром, и сразу — как полило!.. Они забрались под брезентовый навес магазина. Стояли близко друг от друга, среди воды, молний, и разговаривали вполголоса, хотя никого рядом не было. Дениз рассказывала о своей жизни.

— Много лжи... Я не хочу с вами говорить об отце, это как-то нехорошо выходит. Но жить так тоже нельзя. Иногда мне кажется, что я как рыба на кухонном столе. Надо что-то придумать. Я не прошу у вас совета, просто рассказываю.

— Выход простой...

— Нет. Для вас это — просто. Ведь это — ваше, может быть, даже врожденное, во всяком случае — с детства. А меня иначе скроили. С вами я этого не чувствую, а на собраниях — всегда... Мне надо семь раз примерить, не то будет как с братом. Люсьен неплохой человек, только ветреный. Влюбится, а потом даже не помнит — как ее звали. Так у него и с убеждениями. А я тяжелодум.

— Вы, Дениз, особенная!.. Вот и сказал глупость! Объясните мне, что за история — как начинаю с вами говорить о таких вещах, получается чепуха? Откуда это, скажите, пожалуйста? Ну, ладно, довольно дурить! Я хочу вам сказать одну вещь. Вы только не примите это за другое... Вот я вас слушаю, гляжу, и я что-то начинаю понимать. Это вроде искусства... Я все бился, хотел понять — почему так волнует?.. И это — стихи, и то — стихи. Но одно прочтешь и забудешь, а от другого все внутри переворачивается. Мне кажется, я теперь и архитектуру понял. Без Мале. С вами. И еще как!..

Он комично развел руками, но она не рассмеялась.

— Мишо, об этом не нужно говорить. Я сейчас думаю о другом... Я у вас учусь: жить, дышать,

разговаривать. Может быть, научусь тому. Как вы сказали?.. «Поступкам». А дождь не пройдет.

Они выбежали под звонкий ливень. На них с удивлением поглядывали: они шли мокрые и улыбались. Дениз была без шляпы; косы, закрученные позади; серый дорожный костюм. Красота ее была строгой, несколько старомодной. А глаза Мишо горели еще ярче обычного. Молча они дошли до дома Дениз; весело простились. Дождь не утихал, и на синем асфальте вздувались большие светящиеся пузыри. Пахло травой, дачей.

Когда Виар вернулся к себе, недавняя приподнятость показалась ему наигранной; он переживал стыд похмелья. Зачем он произнес эту речь? Завтра за него будет отвечать государство. Надо взвешивать каждое слово. Нельзя с замашками провинциального агитатора стать министром!

Он решил забыться и сел в глубокое кресло. Перед ним висел пейзаж Боннара: под зеленым навесом солнечные блики сгущались как мед; от полотна шло спокойствие жаркого полдня. Виар начинал входить в тот мир неподвижности, оцепенения, где он проводил лучшие свои часы.

Очарование нарушил лакей, который принес на подносе вечернюю почту. Виар нехотя вскрыл первое письмо и сразу переменился в лице. На машинке было написано: «Если ты посмеешь управлять Францией, мы тебя спалим, как старую крысу. Смерть Народному фронту! *Французский патриот*».

Анонимное письмо испугало Виара; он боялся не смерти, но ответственности. Через несколько дней ему придется решать, приказывать, может быть, карать. А он этого не умеет; он привык анализировать, критиковать, оставаться при особом мнении. В шестьдесят пять лет Виар испытывал дрожь девушки перед первыми объятиями. Когда-то ему все казалось простым: они получат на выборах большинство и объявят эру социализма... Может быть, тогда это и было просто? До войны люди были мягче, податливей. Они не знали ни карательных экспедиций, ни костров из книг, ни фашистских лагерей. Вот этот пишет: «Спалим, как крысу...» Да, они будут науськивать, провоцировать, стрелять из-за угла. Как в Мадриде... Они захотят потопить Народный фронт в крови. А кто союзники Виара? Для коммунистов он «предатель». Коммуни-

сты начнут настаивать, требовать решительных мер, апеллировать к массам. Радикалы?.. Для Тесса Виар и Легре — одна шайка; достаточно послушать, с каким отвращением он выговаривает слово «марксист»... Виар одинок. Если ему сегодня аплодировали, то только потому, что он говорил, как Легре. Когда он начнет действовать, те же самые люди его освищут.

К чему это все? Сколько ему остается жить? Пять лет. Может быть, меньше. Он мог бы глядеть на пейзажи Боннара, читать хорошие книги, уехать к себе в Авалон — там зяблики, левкои... Как все непонятно и скучно! И до чего холодно в комнате!.. Виар почему-то вспомнил свои юношеские стихи:

Промозглый холод,
И фонари,
И мысль как овод:
Умри! Умри!

Он чувствовал, что в этот горячий майский вечер его бьет озноб.

— Робер, принесите мне плед.

Усмехнувшись, лакей сказал кухарке:

— Результаты предвыборной кампании — дышать нечем, а ему холодно!

14

В воскресенье вечером Пьер зашел к Аньес:

— Пойдем на Бульвары — будут объявлять результаты выборов.

Он был возбужден близостью развязки, кричал, размахивая руками. Аньес не хотелось идти; она себя плохо чувствовала, да и не занимали ее выборы; однако она уступила.

Людская река текла с узких темных улиц вниз, к центру. Лихорадка, охватившая Пьера, трясла город. Отовсюду слышались вопросы, догадки, слухи, слова тревоги или надежды. Кепки рабочих запрудили Большие бульвары. Обычная публика отступила перед ними; только иностранцы и проститутки сидели на террасах нарядных кафе.

Пьер и Аньес стояли перед редакцией вечерней газеты. На большой треугольной площади нетерпеливо гудела толпа, как в театре перед занавесом. Через несколько минут имена и цифры на белом экране

расскажут о судьбе Франции. Может быть, победят правые?.. И суеверная тревога рождала слухи: крестьяне испугались Народного фронта, провинция голосовала за фашистов, даже красные пригороды Парижа отступились от левых. На экране стояло всего несколько имен: первые парижские депутаты. Люди расхватывали вечерние газеты, хотя знали, что в них еще нет результатов выборов. Площадь походила на ярмарку. Кто-то, чтобы скоротать время, затянул романс о «госпоже маркизе». Грызли китайские орешки. Арабы расхваливали коврики из козьего меха. А вечер был жаркий; в соседних барах бойко торговали пивом и лимонадом.

Вдруг раздался голос громкоговорителя:

— Торез Морис. Избран...

Ответная буря голосов: Тореза любили. По площади прокатывалось: «Да здравствует наш Морис!» Хотя никто не сомневался, что Торез будет избран, первая удача вдохновила всех. Запели «Интернационал». Толпа теперь заполнила соседние улицы. Напрасно полицейские пытались расчистить дорогу для автомобилей; впрочем, полицейские не настаивали: они не знали, чья сторона возьмет, и старались быть деликатными.

— Фланден Пьер. Избран...

— Долой фашистов!

— Предателей к стенке!

— Блюм Леон. Избран...

— Да здравствует Народный фронт!

Приветствия и аплодисменты сменялись свистками. Но все чаще слышались радостные возгласы и все реже толпа разражалась неодобрительным улюлюканьем. К десяти часам стало ясно, что Народный фронт победил. С лиц уже не сходила улыбка. Сведения об избрании правых встречались ленивым свистом. Легкая победа казалась колдовством, чудом: все выиграли пять миллионов в необычайной лотерее. Не ружья, но крохотные бюллетени спасли народ. Десятки лет голосование было скучным обрядом: не все ли равно, кто пройдет—радикал-социалист или левый республиканец? Но эти выборы были особенными; они родились на улице, среди камней и крови шестого февраля, среди красных флагов демонстраций. Надежда на перемену не только министерства, но и своей маленькой жизни в этот майский вечер охватила всех. На других площадях и дальше—в прокопченном Лилле, в веселом Мар-

селе, в молчаливом, черством Лионе, на побережье океана, на склонах Альп — миллионы сердец взволнованно бились.

— Виар Огюст. Избран...

Пьер закричал так громко, что Аньес, смеясь, зажала уши. Его возглас подхватили другие. Но Пьеру это показалось недостаточным. Он ревниво сказал:

— Когда проходит коммунист, они кричат куда сильнее...

— Тесса Поль. Избран...

В ответ несколько человек неуверенно крикнули:

— Да здравствует Народный фронт!

Аньес сказала:

— Пойдем. Я на ногах не держусь...

Они дошли до Бульваров и сели на террасе маленького кафе. Кругом люди чокались, поздравляли друг друга.

— Аньес, как ты можешь не радоваться?

— Чему? Что выбрали Тесса? Да, конечно, этот подлец хлопотал за меня... А я не радуюсь.

— Дело не в Тесса. Это деталь. Важно, что победил Народный фронт.

— Ты ведь знаешь, как я к этому отношусь. Для меня жизнь — как раз то, что ты называешь «деталями».

— Тесса?

— Нет. Прямота, честность.

Пьер был слишком утомлен событиями дня, чтобы спорить. Он только покачал головой и отдался шумливой радости проходивших мимо людей.

За соседним столиком сидели солдаты; они подвыпили и кричали:

— Полковник наложит в штаны...

— Да, теперь их приберут к рукам...

— Ты что — завтра в Страсбург?

— Послезавтра утром. Там теперь, брат, сезон. Немцы все время что-то строят, видно как на ладони... Орудия поставили, прямо на город...

Пронеслись газетчики:

— Экстренный выпуск. Полная победа Народного фронта!

Аньес попросила:

— Если можно, поедем в такси. Я совсем расклеилась.

Дома она сразу легла.

— Что с тобой? Простудилась?

Она едва заметно улыбнулась.

— Нет... Да ты не волнуйся, я не больна. Так должно быть... Не понимаешь?.. Вот глупый!

Пьер наконец-то понял. Он запрыгал по крохотной комнатушке.

— Вот это замечательно! И чтобы узнать в такой день!.. Да он у нас будет чудесным, увидишь! Обязательно — он! Может, тебе принести чего-нибудь? Лекарство? Апельсины?

Она засмеялась:

— Ничего не нужно. Садись сюда. Вот так...

Она приблизила его глаза к своим и руками отгородилась от света.

— Так мы совсем одни...

Она улыбалась: ей было легко и спокойно.

Под окном раздалось: «Это есть наш последний...». Беднота Бельвилля подымалась по горбатым улицам к себе, в темные зловонные дома. Сегодня люди увидели сказку: не любовь американской красотки, не феерию на сцене плохонького районного театра, нет, сказку о них самих: кто-то сражался за Бельвилль и победил; теперь они будут счастливы!

— «...И решительный бой...»

Аньес вдруг вспомнила солдат в кафе. У того, что рассказывал про Страсбург, были розовые пушистые щеки, как у ребенка... Аньес нахмурилась. Ее близорукие глаза стали еще беспомощней обычного.

— Скажи, Пьер, войны не будет?

— Нет.

— И потом?..

— Ни теперь, ни потом. Никогда!

15

Победа Народного фронта взволновала обывателей: говорили о надвигающихся забастовках, о кризисе, о беспорядках. Дамы испуганно шушукались: «Моя прислуга сразу обнаглела!» Лавочники прятали продукты. Крупные чиновники снисходительно поясняли, что не будут повиноваться новым министрам: «Это калифы на час». Бретейль предложил «всем честным французам» украсить свои дома национальными флагами и тем протестовать против Народного

фронта. На некоторых улицах одни фасады были украшены трехцветными флагами, другие красными, и казалось, что не только люди — камни готовы броситься друг на друга. В финансовых кругах царила растерянность; поговаривали о крупных налогах на капитал, даже о национализации банков. Капиталисты спешно переводили деньги в Америку.

Только Дессер сохранял спокойствие. «Как вы можете работать в такое время?» — спросил его знакомый банкир. Дессер ответил: «Расскажите мне, чем Блюм отличается от Сарро? У меня слишком грубая натура, чтобы разобраться в подобных нюансах».

Узнав, что Виар назначен министром, Дессер решил поговорить с ним по душам: это — дети, они могут наделать глупостей... Он позвонил Виару: «Мне давно хотелось ознакомиться с вашим собранием картин...»

Выступая на митингах, Виар не раз называл имя Дессера; говорил, что Дессер — тип беззастенчивого дельца. Однако, узнав о предстоящем визите, Виар с гордостью подумал: «Дессер все же выбрал меня!» Он не помнил своих обличительных речей; он жил теперь, как подросток, которому все внове. Не прошло и недели, как он стал министром, но он не только иначе рассуждал, он иначе улыбался, иначе клал ногу на ногу: все его мысли, жесты, слова были подчинены новому положению.

Дессер, тот помнил все, но он был равнодушен к обидам, как и к похвалам: он презирал слова. Он поздравил Виара:

— Дорогой друг, я счастлив увидеть вас на этом посту.

Натянутость исчезла перед картинами. Виар сразу понял, что Дессер разбирается в живописи. Они приятно побеседовали о голубом периоде Пикассо, об Утрилло, о рисунках Матисса. Разглядывая наброски Модильяни, полные тревожных предчувствий, Дессер сказал:

— Поразительно, как в статическом искусстве выражается крайность, даже чрезмерность...

— Я люблю это и у старых мастеров: у Греко, Сурбарана.

Дессер вынул изо рта трубку, обдал собеседника едким дымом (он курил дешевый черный табак) и вдруг сказал:

— Теперь вам придется от этого отказаться. Ничего не поделаешь, вы сами выбрали такую профессию.

Я, например, могу быть азартным. Я поставил на вас, а для меня это — риск. Но вы не имеете права рисковать. У каждого искусства свои законы. Политика — это большие речи и маленькие дела. Я вас поддерживал на выборах, готов вам помогать и впредь. Но сколько таких, как я?.. Биржа вас ненавидит, для Венделя вы бандит, для господ из «Лионского кредита» — взломщик. Стоит вам сделать один неосторожный шаг, как они вас растерзают. Не потребуется ни заговоров, ни парламентских интриг: достаточно организовать понижение франка. Вы увидите, что тогда запоют рабочие... Я уж не говорю о рантье; эти будут кричать: «Виара к стенке!» У вас прекрасный Брак... Я его не очень-то люблю, суховат, но этот натюрморт — один из лучших... Помните, Брак сказал: «Художник должен проверять вдохновение линейкой». Вам придется проверять социалистические проекты курсом франка...

Виар возмутился; ему захотелось ответить: «Мы запретим вывоз капиталов, установим твердый курс франка, посадим вас в тюрьму!» Но вспышка длилась не больше минуты. Виар вспомнил о своей ответственности:

— Не нужно вставлять палки в колеса. Ведь стабильность правительства — единственный шанс мирного разрешения конфликта.

— Бесспорно. Это относится и к международному положению. Кстати, я надеюсь, что в этой области вы используете опыт нашего общего друга Тесса.

Виар поморщился: он считал Тесса своим врагом. Но Дессер не следил за его мимикой; он продолжал:

— Я убежден, что вам удастся сохранить мир. Конечно, Гитлер несносен, но лучше любые уступки, нежели война.

Виар расцвел. Он боялся, что Дессер, ссылаясь на опасность извне, начнет бряцать оружием. Но нет, и Дессер за мир! Виар крепко пожал его руку:

— Верьте мне, пока я у власти — никаких авантюр! Я не допущу, чтобы французские крестьяне умирали за абиссинцев или за чехов.

Проводив гостя, Виар облегченно вздохнул, как школьник, сдавший трудный экзамен. Конечно, Дессер защищает свои интересы. Но все теперь перепуталось; интересы Дессера совпадают с интересами трудящихся. Он — искренний пацифист. Значит, Виар представляет не партию, не класс, а нацию...

Вошел секретарь за подписью: приказ о перемещении чиновника, игравшего крупную роль в организации Бретейля. Виар отстранил лист:

— Зачем восстанавливать против себя всех?

Шутя он добавил:

— Мой друг, надо учиться управлять сорока миллионами. Во времена Маркса пролетарии могли потерять только цепи, а завоевать весь мир. Теперь мы можем потерять мир, а завоевать только цепи.

Выйдя на улицу, Дессер брезгливо отряхнулся. Все оказалось чересчур легким!.. И вот такому Виару верит Пьер! Не один Пьер, миллионы... Да, люди глупы; вероятно, в этом их спасение.

Дессер должен был поехать на совещание финансовых экспертов, но передумал: трусость Виара его утомила. Он зашагал по длинной улице Риволи. Дойдя до площади Бастилии, он свернул в боковую уличку и увидел светящуюся вывеску танцульки... Не раздумывая, он вошел: забыться!..

Гармонисты лихо исполняли старые фоксы. Бумажные фонарики и гирлянды из коленкора придавали всему характер театральной постановки. Вокруг Дессера танцевали матросы, рабочие, модистки, горничные.

Дессер, вручив музыкантам пять су за тур, подхватил толстую веснушчатую девушку. От нее пахло дешевой пудрой, и, танцуя, она блаженно закатывала глаза. Потом Дессер угостил ее пьяными вишнями.

— Вы любите танцевать?

Девушка оказалась болтливой:

— Очень! Только редко удается. Я до шести работаю в мастерской. А приходится еще брать работу на дом. Знаете, сколько мне платят? Пятьсот пятьдесят! Разве на это можно прожить? Теперь, говорят, все изменится. У нас мастерицы заявили, что, если не набавят, мы будем бастовать. Потому что теперь Народный фронт и никто не хочет жить по-старому. Правда?

Дессер вытряхнул из трубки пепел и, надвинув на глаза свои неестественно большие брови, сказал:

— Как же, как же! Обязательно переменится... Вот, например, блондины танцевали с брюнетками, а Виар прикажет, чтобы брюнетки танцевали с блондинами. До свидания, милая барышня! Мне пора домой!

16

Забастовка на авиационном заводе «Сэн» началась в субботу. Всю неделю рабочие пытались договориться с дирекцией. Дессер соглашался на увеличение заработной платы, но решительно отклонял другие требования рабочих. Особенно его возмутили пункты, касавшиеся коллективного договора и платных отпусков. Он сухо ответил:

— Это не подлежит обсуждению.

Дессер понимал, что время от времени забастовки неизбежны. Эти маленькие войны кончались то победой рабочих, то победой Дессера; причем сторона, потерпевшая поражение, ни на минуту не отказывалась от мыслей о реванше. Требования забастовщиков всегда сводились к одному: поменьше рабочих часов, побольше франков; и Дессер находил это естественным. У него сотни способов наживы. Рабочие только забастовками могут повысить свой заработок. Остальное зависит от ситуации, от выдержки. Если завод завален срочными заказами, а среди безработных трудно отыскать квалифицированных рабочих, Дессер идет на уступки. Если заказов мало, а желтых много, Дессер выжидает; пройдет неделя-другая, и, не выдержав голодухи, забастовщики придут с повинной, или он объявит расчет и наберет новых. Дессер видел в этой непрерывной борьбе закон жизни и не испытывал к своим противникам ни симпатии, ни злобы.

Народный фронт победил на выборах; к этой победе приложил руку и Дессер; он верил в изворотливость радикалов; среди новых министров были его старые приятели; разговор с Виаром окончательно его успокоил: из этого поджигателя выйдет отменный пожарный!.. Пылкие речи не смущали Дессера: зачем принимать бенгальский огонь за катастрофу? Он ждал забастовок: рабочие воспользуются выгодной для них ситуацией. Он готов был пойти навстречу и повысить ставки. Но требования, изложенные Мишо, его возмутили. Дессер — не государство, он всего-навсего предприниматель! Если Виар хочет посылать рабочих на морские купания, — пожалуйста! Пусть платит казна. Коллективный договор!

— Нет, господин Мишо! Я сторонник свободы. Вы можете оставаться на моем заводе или уйти, это ваше дело. Я могу вас оставить или уволить, это мое дело.

В субботу рабочие не стали на работу. Восемнадцать тысяч собрались во дворе перед литейным цехом. Легре сказал:

— Кто против, подымите руку.

Были среди рабочих малодушные, которые уговаривали не бастовать: они боялись попреков домашних, голода, разгрома. Но теперь, когда надо было перед всеми признаться в трусости, они уныло молчали: не поднялась ни одна рука.

Двинулись к воротам. Тогда раздался звонкий голос Мишо:

— Товарищи, стоп!.. Не уходи!..

Он стоял на грузовике и, поднеся ко рту рупор, кричал: «Не уходи»,—и, как эхо, со всех сторон откликались голоса: «Не уходи».

— Товарищи, если мы уйдем, они наберут желтых. Мы должны оставаться на заводе, здесь ночевать, здесь жить—сутки, неделю, месяц,—пока не победим.

Раздались изумленные крики: никто не понимал, о чем говорит Мишо.

— Вот так забастовка!

— А жрать что будем?

— Все равно полиция выгонит!

Мишо продолжал кричать в рупор:

— Вопрос о продовольствии разрешит комитет. Возьмем деньги в нашем союзе. Никто нас отсюда не выгонит: руки коротки! Надо расставить посты. Не подпускать провокаторов. Господа из дирекции могут уйти домой, но назад мы их не пустим. Это правда, товарищи, что такой забастовки не было. А мы покажем...

Приятель Мишо, молоденький токарь Жано, влез на крышу корпуса, где помещалась дирекция, и повесил красный флаг. Он крикнул:

— Знамя над крепостью!

Так началась необычайная забастовка, которая потрясла страну.

Весь день толпы народу стояли на набережной и на улицах, прилегавших к заводу. Три тысячи полицейских, в боевых касках, с противогазами, готовились к штурму. Правительство, однако, колебалось, и полицейские отводили душу на женах забастовщиков, которые пытались пробраться к воротам, или на случайных прохожих. Вечером женщины все же прорвались к заводу; они принесли хлеб, колбасу, сыр, вишни, вино; некоторые притащили мячи для футбола, шахматы,

книжки, гитары. Мать Жано принесла яйца и подушку. Жано, вместе с другими, влез на забор, а мать кричала ему снизу:

— Ты что придумал, бесстыдник? Иди домой спать!

Жано сконфуженно улыбался.

Из инженеров дирекции только Пьер присоединился к забастовщикам. Директор ему сказал: «Осторожно! Перебежчиков никто не любит...» Пьер вскипел: «Мой отец, сударь, был рабочим!»

Жано обрадовался, увидев Пьера: раз и Пьер пошел, значит, победим!.. Жано было девятнадцать лет, и он мечтал о баррикадах, выстрелах, знаменах. Но и Пьер не был равнодушен к романтике.

Ночью завод превратился в военный лагерь; повсюду были выставлены караулы. Пьер и Жано стояли возле главных ворот. Пьеру казалось, что он на войне: сейчас неприятель пойдет в атаку... А Жано шептал:

— Что, если нападут? У тебя револьвер есть?

— Есть. Но стрелять нельзя... Надо спросить Мишо.

Случилось так, что Мишо, дотоле известный только коммунистам да товарищам по цеху, стал сразу вождем. Говорили: «Спроси Мишо... Мишо приказал... Мишо против...»

Мишо работал без устали. Он раздобыл котлы для супа. Он подобрал оркестр. Он сносился с городским комитетом и диктовал отчеты для «Юманите». Он подбодрял малодушных: «Победим! И еще как!..» Он осматривал машины: надо глядеть в оба, чтобы не повредили...

Вечером музыканты заиграли «Интернационал». Им ответили тысячи голосов, и песня, выйдя из завода, пронеслась над полицейскими и дальше — над рекой, над черными домами встревоженного предместья. Женщины не спали, прислушиваясь к далекому пению. Что сулит им завтрашний день? Голод? Кровь? Счастье? Не спали и забастовщики; под частыми звездами летней ночи они молча мечтали о победе.

Опасаясь столкновений, правительство ночью решило отвести полицейских. В воскресенье народ свободно проходил по набережной к воротам; но завод по-прежнему казался осажденной крепостью. Кто его осаждал? Дессер? Тени желтых? Призрак голода? Надо было продержаться до победы.

В понедельник вечером, развернув газету, Мишо крикнул:

— И они! Все! И еще как!..

Он не мог говорить от волнения. Газета «Ла вуа нувель» сообщала, что непривычная забастовка, которая началась на заводе «Сэн», охватила Париж; бастуют все крупные заводы, в них заперлись сотни тысяч рабочих; забастовали универсальные магазины, вечером они ярко освещены, там затворились продавщицы; в кафе и в ресторанах сидят забастовавшие официанты; мелкие чиновники одного из министерств, объявив забастовку, отказались покинуть канцелярию. Отчет о сенсационной стачке написал сам Жолио, написал с присущим ему пафосом: «Плебеи Парижа удалились на Авентинский холм...» Газета рассказывала, что рабочие кварталы Парижа опустели; на улицах встречаешь только женщин и детей. Жолио заканчивал статью поэтично: «Вспоминаются годы войны, когда мужчины тоже были далеко от своих семейств — на фронте...»

Дессер провел два дня у себя в поместье. Узнав о забастовке, он отменил все деловые свидания, выключил телефон и сел читать Овидия. Он выжидал. Захват завода показался ему настолько нелепым, что он предвидел быструю развязку: или забастовщики, опомнясь, разойдутся по домам, или вспыхнет бунт. В понедельник Дессеру сообщили, что забастовка перекинулась на другие предприятия. На следующее утро он поехал в Париж, и не было девяти, когда его машина остановилась перед воротами завода. Молодой рабочий, стоявший на карауле, загородил дорогу:

— Посторонним запрещено.

— Какой же я посторонний? Я — председатель административного совета, Дессер.

Рабочий улыбнулся:

— Фамилия довольно знакомая... Но, видите ли, господин Дессер, если мы вас пропустим, вы не сможете потом уйти, тогда вам придется сидеть здесь, пока...

— Пока?

— Пока господин Дессер не уступит.

Они оба рассмеялись. Но в душе Дессер злился: что за балаган! Хороша свобода! Что сказали бы господа забастовщики, если бы их не впустили домой?.. Дессер не показал, что он возмущен; все с той же добродушной улыбкой он сказал:

— Вы остроумный человек, но вам придется меня пропустить.

Рабочий послал товарища к Мишо — за инструкциями, и минут пять спустя объявил:

— Можете идти. Уйдете, когда вам вздумается. Но в цеха вход запрещен — во избежание эксцессов.

Дессер хлопнул рабочего по спине:

— Значит, учитесь хозяйничать? Замечательно!

Дессер прошел по пустым комнатам дирекции. Курьер шел за ним вслед и сокрушенно вздыхал.

— Никого нет?

— Все ушли. Еще в субботу. Только господин Дюбуа остался, но он, прошу прощения, с рабочими.

— Машины осматривает?

— Прошу прощения, но господин Дюбуа забастовал.

Дессер рассмеялся: значит, и Пьер решил захватить завод!..

— Позовите господина Дюбуа.

Дессер попросил Пьера сесть, предложил ему сигарету и потом сказал:

— Простите, что я вас потревожил, но у меня к вам один вопрос. Чисто личный... Вы что же, решили захватить завод навсегда или на время? Мне надо знать, как располагать своим временем.

— Никто завода не захватывал. Это — забастовка. И я нахожу требования рабочих справедливыми.

— Очень интересно!.. По-вашему, это — забастовка? Нет, мой друг, это — насилие. Не думайте, что я дрожу за мое добро. Мне страшно за Францию: одно насилие рождает другое.

— Вы сами говорили, что дорожите чужим счастьем. Эти люди хотят жить, жить лучше, свободнее, веселее. Как же вы...

— Я вам говорил, что счастье нашей страны может погибнуть от простой случайности: это — неустойчивое равновесие. Теперь все катится вниз.

— Но это зависит от вас. Стоит вам подписать условия, и рабочие очистят завод.

— То есть капитулировать? Это не мое ремесло. Это и не в моем характере. Я предпочитаю подождать. Причем я не вызываю полицию. Я не требую от правительства защиты моих прав. Почему? Хотя бы потому, что я голосовал за Народный фронт. А что делаете вы? Вы срываете все. Вы не даете Виару провести реформы.

— Напротив, мы ему помогаем. Он теперь может опереться на движение масс. Виар, бесспорно, нас одобряет. Он...

Дессер вспомнил картины, пышную мебель, старика в пенсне и усмехнулся. Он сказал миролюбиво:

— Вы убеждены в этом? Что же, тем лучше для вас. Желаю вам успеха. Да, я забыл спросить, как здоровье вашей супруги? Очень приятно... Теперь я могу покинуть ваш завод, не правда ли? До свидания.

Пьер передал стачечному комитету содержание своей беседы с Дессером; потом он сказал Мишо:

— Я никогда не мог подумать, что он окажется таким...

Он не находил слова. Мишо засмеялся:

— Ты не думал, что Дессер окажется Дессером?

Вечером решили устроить концерт, чтобы развлечь забастовщиков. Мишо накануне позвонил в Дом культуры: просил помочь. Марешаль разыскал своих актеров. Некоторые ответили, что заняты. Жаннет сразу согласилась, хотя она не успела еще оправиться после операции.

Сцену построили в палисаднике перед домом дирекции. Цвел кругом жасмин. На лампочки надели пестрые бумажные фонарики. Музыканты настраивали трубы. Двор завода казался площадью провинциального городка в день местного праздника.

Программа концерта была разнообразной. Марешаль прочитал стихи Рембо о мертвом солдате; магия слов дошла до слушателей; стояла плотная тишина. Потом певица исполнила романсы Равеля; она покорно бисировала и улыбалась, среди красных флагов и листов железа. Кочегар-любитель спел песенку Мориса Шевалье «Париж остается Парижем». Все подтягивали и смеялись: нет, Париж уже не тот!.. Настал черед Жаннет.

Никогда она не чувствовала такого подъема. Ей казалось, что после долгих месяцев немоты, когда она повторяла перед микрофоном бездушные слова реклам, ей вернули дар речи. Ее огромные глаза пылали среди фонариков, а голос потрясал людей до слез. Она прочитала монолог из «Овечьего источника». Когда она кончила, ей ответила буря рук. Крики прерывали аплодисменты; это кричал народ Фуэнте Овехуна, который она, не бедная актриса Жаннет, но героиня Андалусии, вела к победе. Жано, подбежав к подмосткам, крикнул:

— Идем!

Он не знал, куда зовет, зачем; он только отвечал глазам Жаннет. А она тихо улыбалась, измученная и счастливая.

Подошел Пьер и, схватив руку Жаннет, сказал:

— Вы прекрасно читали!.. И как хорошо, что вы приехали! Видите, как они вас понимают! Это не театральная публика, это живые люди. Жаль, что Люсьен не пришел. Он что — занят?

— Не знаю. Я его теперь не вижу: мы разошлись.

На минуту Жаннет стало грустно: она вспомнила свое одиночество, маленькую неопрятную комнату в гостинице, куда она недавно переехала, тишину радиостудии и пошлые слова реклам. Но тогда раздалось пение; рабочие затянули: «Это юная гвардия...» Тысячи рук поднялись, как деревья невиданного леса, как мачты в гавани. И, ни о чем не думая, во власти шума и слез, Жаннет тоже подняла свой детский кулак. Потом она вздохнула и, не глядя ни на кого, пошла к воротам.

А огни корпусов горели всю ночь, и Мишо обходил часовых.

17

В тот вечер, когда Жаннет выступала на заводе «Сэн», Люсьен проиграл четырнадцать тысяч. Ему так не везло, что люди показывали на него пальцами. «Артистический клуб» был вульгарным игорным домом. Среди игроков, истомленных азартом и жарой, сновали шулера, ростовщики, проститутки. Разменяв последнюю тысячу, Люсьен вдруг почувствовал, что он задыхается. Он подошел к раскрытому окну. Позади раздался шепот:

— Звездами любуетесь?..

Люсьен не ответил. Перед ним была раскаленная улица, с писсуаром, на башенке которого светились слова: «Лучший сыр «Корова смеется». Доходил приторный запах эфира, как из операционного зала. Люсьен оглянулся и увидел слюнявую морду Берже: сейчас заговорит о векселе... Берже злобно сказал:

— Придется обратиться к вашему папаше...

Тогда Люсьен понял: уехать! Все последнее время он испытывал обиду отвергнутого. Честолюбие снедало его, как скрытая болезнь. Всем своим существом он

ощущал смерть: звуки были приглушенными, контуры предметов расплывались, преследовал запах эфира. Вдруг ночью он бежал по улице за незнакомой женщиной: ему казалось, что перед ним Жаннет. Он видел в темноте ее глаза и тупо повторял: «Я не виноват»,— как будто тень его в чем-то упрекала. Он был убежден, что Жаннет живет с Андре, и ненавидел тупого живописца. Решение уехать пришло сразу и показалось спасением: избавиться от мертвой любви, от пошляков из Дома культуры, от кредиторов!

Однако для поездки за границу нужны были деньги, и немалые. Люсьен решил попытать счастья. Теперь он рассчитывал не на карты, но на родительскую снисходительность Поля Тесса. Он тщательно обдумал, как лучше растрогать отца; но, когда дело дошло до объяснения, он забыл все и дал волю чувствам. Он начал с грубого попрека:

— Ты сидишь на деньгах, как собака на сене.

Тесса посмотрел на него маленькими глазками птицы и промолчал.

— Я хочу уехать. Здесь мне нечего делать. Может быть, я устроюсь в Америке. Но для этого мне нужно по меньшей мере пятьдесят тысяч.

Тесса тоскливо зевнул и вдруг предложил сыну:

— Поедем к «Максиму»?

Они попали в цветник женщин: красивые лица, холодные тела, элегантные вечерние платья, дорогие духи... Тесса приглянулась смуглая девушка, похожая на креолку, с большими белками глаз.

Он доверчиво шепнул Люсьену:

— Красотка?..

Люсьен кивнул головой. Это сразу их сблизило; они почувствовали себя товарищами. Шампанское способствовало душевной теплоте. Вспомнив о просьбе сына, Тесса сказал:

— Почему ты хочешь уехать? Здесь как раз время для тебя. По-моему, мы накануне революции.

— Нет, все окончится еще одним министерским кризисом. Для революции нужны люди, а их нет. Я теперь знаю эту публику... Когда я пришел к коммунистам, я рассчитывал на другое.

— Вот как!.. А я думал, что ты — коммунист. Браво, Люсьен!

— Ты-то чему радуешься? Твой мир я ненавижу еще сильнее, чем коммунисты, и я не хочу идти на компромисс.

Тесса весь день мучила изжога, он выпил стакан содовой и кротко сказал:

— Тебе тридцать два года, а рассуждаешь ты, как ребенок. Я был анархистом в восемнадцать лет, это все же простительней.

— Значит, ты меня осуждаешь за...

— Я тебя не осуждаю. Это ты после выборов заявил мне: «Низость». А ты подумал, что я должен поддерживать семью: твою мать, Дениз, тебя? Кто оплачивает твою непримиримость?

Люсьен рассмеялся:

— Ты.

— Тебе не нравится наш режим? Он никому не нравится. Но что ты предлагаешь взамен? Все другое будет еще хуже. Поверь мне, старая, пролежанная кровать лучше тюремных нар, даже новых. Ты говоришь: «твой мир», а ты в этом мире купаешься. У тебя талант памфлетиста, но ведь наше общество ты обличаешь изнутри. Коммунисты тебе могут аплодировать, но с ними у тебя нет общего языка. Ты сам это признал. Нужно сделать выводы... Пора тебе за что-нибудь взяться.

— Я занял достаточно резкую позицию...

— Это только плюс. У нас любят, когда человек начинает с эксцентрики. Во время войны Лаваль был красным, не желал со мной разговаривать... Ты хочешь поехать за границу? Идея неплохая. Но у меня нет денег. Все, что дал Дессер, ушло на выборы. Не знаю, когда теперь что-нибудь подвернется. Я говорю с тобой откровенно. Но я могу тебе предложить другое... Писатели любят дипломатические местечки. Посмотри — Клодель, Жироду, Моран... А это я могу устроить в два счета.

— Представлять Блюма и Виара?

— Почему бы нет?.. Ты не изменяешь своим идеям: сможешь писать все что захочешь. И сразу освободишься от денежных забот.

Люсьен съежился, как будто проглотил кислое. До чего противно! Впрочем, как все в жизни. Разве это его вина?.. Он хотел быть с революцией, его не поняли. И Жаннет его не поняла. Лагранж, умирая, говорил: «Люсьен, мне холодно...» Холодно в жизни, ох, как холодно! А без цинизма не прожить. Лучше уж стать дипломатом, чем клянчить у отца деньги и унижаться... Когда Люсьен займет место в обществе, с ним

будут считаться все, даже тупица из «Юманите»... А счастье? Счастья все равно нет. Жаннет с Андре...

И Люсьен злобно сказал отцу:

— Хорошо. Я согласен.

— Я так и думал. Все-таки ты — мой сын. Сейчас я это особенно остро чувствую.

Тесса вытер салфеткой мокрое лицо и шепнул Люсьену:

— Что, если мы подзовем эту креолочку?..

Весь следующий день Люсьен не выходил из комнаты, глотал таблетки от головной боли и угрюмо смотрел на обои. Ему не хотелось жить. За обедом Тесса сказал:

— Мамочка, поздравляю — твой сын назначен вице-консулом в Саламанку. Ха! Люсьен, ты сможешь наблюдать революцию. В чужой стране и с дипломатическим паспортом это куда приятней... А испанки?..

Он поглядел искоса на Дениз и замолк. Люсьен уныло сказал:

— Быстро...

— Я позвонил Виару. Он теперь хочет меня обольстить. Это такая комедия!..

На следующий день Люсьен возле Оперы встретил Андре. Он хотел пройти не поздоровавшись, но Андре его остановил.

— Какие дела! Решительно все бастуют. Объясни мне, пожалуйста, чем это все кончится? Ты-то, наверно, знаешь...

— Я уезжаю через три дня в Испанию.

— Вот что! Да, там тоже история... Я читал в газете...

Люсьен не сказал ему о месте вице-консула: зачем исповедоваться перед этим пошляком?.. Он молча протянул руку. Тогда Андре смущенно спросил:

— Жаннет едет с тобой?

Люсьен едва скрыл изумление: значит, Жаннет не с ним! На минуту он обрадовался: вот это хорошо! Пусть ничья!.. Но тотчас тоска покрыла все. Он вспомнил вечер у Жаннет: куклу из тряпок, пустые глаза, одиночество... Он упустил свое счастье, как птицу из руки, как карту — прозевал, не поставил... И, растерянно глядя на Андре, Люсьен пробормотал:

— Прости, у меня болит голова... Ты говоришь — Жаннет?.. Не знаю... Право, не знаю.

18

Бретейль стоял над кроватью своего пятилетнего сына. Ребенок хрипел; на лице был румянец жара. Жена Бретейля всхлипывала.

— Перестань! Бог даст, он поправится.

— Я говорила, что нельзя его ставить под холодный душ. Ведь он перед этим бегал, потный был...

— Перестань! Мальчика нужно закалять.

Стемнело, и жена не видела глаз Бретейля: он стоял, высокий, сухой, и плакал; слезы текли из тусклых глаз на запавшие щеки.

Бретейль был уроженцем Лотарингии; он вырос в бедной набожной семье; в двенадцати километрах от его родного города проходила граница. С детства Бретейль слышал рассказы об осаде Бельфора, о самодурстве какого-то обер-лейтенанта, о потерянных областях. Мечту о реванше он зазубрил, как катехизис. На войне он был дважды ранен. Он вошел с головным отрядом в Метц, и там тетка Бретейля лишилась чувств, увидев первый французский флаг. По характеру Бретейль не походил на француза: он не терпел шуток, не любил пафоса, не пил вина. Маниакально опрятный, педантичный, сухой, он в парижских салонах казался немцем. Политика приучила его к известной гибкости: приходилось якшаться с людьми склада Тесса. Бретейль в душе презирал своих товарищей по парламенту. Он дружил с военными, с мелкими помещиками, с учеными богословами. После войны он поверил в «возрождение Франции»: об этом говорил его земляк Пуанкаре. Но шли годы, и ничего не менялось; в стране хозяйничали масоны — Бриан, Эррио, Пенлеве. Теперь даже эти времена казались ему потерянным раем. Куда заведут Францию Блюм, Кот, Виар?.. Два года тому назад Бретейль понял, что выход в насильственном перевороте. Италию спас «поход на Рим». Гитлер железом выжег язву марксизма. Бретейль приступил к организации тайных отрядов. Каждый отряд состоял из пятидесяти человек, называемых «верными»; начальника именовали «латником».

К Бретейлю шли разные люди: романтики и тупицы, честолюбивые игроки и озлобленные мстители. Богатые видели в нем своего защитника. Лавочники и ремесленники верили, что Бретейль спасет их от разорения. Мелкие маклеры, приказчики, репортеры мечтали с его помощью выйти в люди.

Кого только не было среди «верных»! Метрдотель ресторана «Версаль» пришел к Бретейлю потому, что обожал иерархию; жизнь ему казалась пирамидой посетителей и лакеев, бокалов и вин. Флорио был венерологом; он ненавидел евреев, которые, по его словам, переманивали пациентов и лишали его куска хлеба; он пошел за Бретейлем потому, что Бретейль обещал очистить Францию от Ротшильдов и от врачей еврейского происхождения. Сын крупного мукомола Бомбар хотел вернуть Франции былой престиж и стать заодно послом. Бывший агент Второго бюро Дине, которого выгнали из разведки за растрату подотчетных, считал себя жертвой масонов; он жаждал разогнать парламент и повесить Эррио. Владелец конского завода Гримо ходил с хлыстиком, любил мулаток и презирал механический прогресс; он считал, что состоять в отряде «верных» — признак хорошего тона. Владелец посудного магазина Годе боялся, что коммунисты захватят его торговлю, перебьют товар и отберут сбережения; это был красномордый, широкоплечий детина; по утрам он занимался гимнастикой и всерьез готовился к бою. Служащий метро Обри был на редкость уродлив и нищ, как церковная крыса; говорили, будто его обидела одна девушка; он ненавидел людей и, глядя на Бретейля, ухмылялся: этот наведет порядок!..

Было среди «верных» немало полицейских, и «тайные отряды» не представляли тайны для префекта; но власти прикидывались, что они ничего не видят. Для камуфляжа Бретейль образовывал спортивные кружки и землячества. Дело требовало средств. Бретейль не раз обращался к крупным капиталистам, но нарывался на отказ: он говорил не о пропаганде, а об оружии, и пугал своей прямолинейностью. События последних недель его окрылили: воротилы различных трестов, прежде думавшие только о министерских комбинациях, а теперь испуганные забастовками, начали с надеждой поглядывать на непримиримого Бретейля.

Перекрестив больного ребенка, Бретейль направился в «Союз уроженцев Метца»; там он должен был встретиться с генералом Пикаром. На Больших бульварах светились витрины; в них были выставлены плакаты забастовщиков, украшенные красными лентами. Возле некоторых магазинов стояли девушки с кружками: «Для детей забастовщиков». Одни прохожие, хмурясь, ускоряли шаг, другие кидали в кружку

монету. Когда девушка протянула кружку Бретейлю, он остановился и сурово сказал:

— В лагере вас научат работать.

Генерал Пикар уже ждал Бретейля. Это был сухощавый человек лет шестидесяти, с кривыми ногами кавалериста, со множеством орденов и с уничижительной усмешкой; он всех презирал: Даладье и Гамелена, английского короля и свою жену, театр, газеты, выборы. Доверял он только Бретейлю: этот может спасти Францию и армию.

Бретейль спросил:

— Как у вас?

— Дураки. И трусы. Боятся, что Блюм начнет чистить штаб.

— Настроение солдат?

— Гнусное. Коммунисты работают вовсю. Самое большее, на что мы можем рассчитывать, это — нейтралитет армии. Я не говорю, конечно, о колониальных частях. Кстати, мне удалось перетащить два марокканских полка в Венсенн.

— Одни марокканцы нас не вывезут. Я надеюсь только на «верных». Имеются две возможности: или вы нас снабжаете оружием, или мы берем то, что нам предлагают.

— Кто?..

Бретейль посмотрел на Пикара и раздраженно ответил:

— Важно не «кто», а «что». Шестьдесят тысяч винтовок, четыреста пулеметов, боеприпасы. Из Дюссельдорфа. При этом никаких обязательств, кроме тех, которые вытекают из нашей программы: порядок и мир.

Пикар, подумав, сказал:

— Неплохо. Я лично предпочитаю для такой операции автоматы. Ну что же, берите. Одно не мешает другому. Я тоже наскребу в арсеналах...

— Мы должны начать с локальных действий, чтобы дискредитировать правительство. Виар хочет придать захвату заводов оттенок законности. Необходимо подмешать к его речам немного крови...

Они еще долго беседовали. А в соседней комнате, едва освещенной тусклой лампочкой, «латник» Грине, поджидая Бретейля, зевал и напильничком точил ногти. Грине, как-то учинивший скандал в Доме культуры, слепо верил в Бретейля. Это был сирота из воспитательного дома, коммивояжер, развозивший по провинциальным городам ортопедические приборы, бедный

фат, часами обдумывавший, какой галстук надеть к перелицованному, но тщательно отглаженному костюму, урод, мечтавший о любви красавицы, истерический крикун и озлобленный неудачник. Он стал «латником» первого отряда «верных», и его-то Бретейль выбрал для боевой разведки.

— Послезавтра в шесть часов утра «верные» придут к заводу «Сэн» как безработные. Подойти незаметно. Вы вступите в перебранку с постами. Постарайтесь их спровоцировать. Если они не начнут, стреляйте. Я постараюсь, чтобы полиция была поблизости. Необходимо довести дело до настоящего столкновения. Вы меня поняли? Все «верные» получат билеты «Христианского союза рабочих». О характере операции они не должны знать. Я остановился на вас потому, что у вас нет детей...

— Все будет выполнено, начальник.

Грине поднял руку и хотел выйти, но Бретейль крепко обнял его:

— Спасибо.

Бретейль вернулся домой в два часа ночи. Жена встретила его словами:

— Воспаление легких...

Бретейль сидел до утра над больным ребенком. Весь следующий день он работал. Он попытался встретиться с Дессером: лучше всего, если дирекция завода «Сэн» объявит о наборе рабочих. Дессер, однако, уклонился от встречи: боялся провокации. Зато Бретейлю удалось уломать префекта. Решили, что полицейские будут стоять возле завода на набережной. Если произойдут какие-либо столкновения, они вмешаются. Вечером Бретейль еще раз встретился с Грине и проверил все детали операции. Он снова просидел ночь над ребенком. Доктор сказал, что надежды на выздоровление нет, но Бретейль верил в бога; его губы шевелились: он повторял слова молитв.

Было чудесное летнее утро. В садах кричали пичуги; их голосов еще не заглушал шум города. Изредка проезжали грузовики огородников. Шли булочницы с длинными хлебами, и запах свежего хлеба веселил душу. Верхние окна домов светились, как бы изнутри, теплым розовым светом. «Верные» один за другим подходили к мосту Жавель. Грине проверил: не пришли четверо. Сорок шесть, разбившись на мелкие группы, разными путями двинулись к заводу.

А на заводе это утро, одиннадцатое утро забастовки, начиналось мирно. Одни часовые сменили других. Мишо ночью спал, теперь он мылся и фыркал, весь в мыльной пене. Возле главных ворот Жано, вспоминая концерт, пел романсы. Пьер, проснувшись, жевал хлеб; почему-то в голову пришли стихи Верлена: «Бледная звезда рассвета...» А солнце было уже ярким. Кое-кто из старых рабочих угрюмо думал: «Вот и одиннадцатый день!.. Когда же это кончится?..» Говорили, будто правительство очистит завод силой; но Мишо усмехался: «Вздор!..»

— Жано, теперь покажи, как Мистенгет сходит по лестнице...

Жано сделал уморительную гримасу, желая показать молодящуюся старуху, и, защемив рукой брюки, как юбку, стал сходить по пожарной лестнице вниз. Вдруг он вскрикнул:

— Кто там?..

Перед воротами толпились какие-то люди.

— Открывай!..

— Мы пришли наниматься... Лодыри, выкидывайся отсюда!..

— Красное жулье!..

Жано не остался в долгу:

— Ах вы собаки этакие!.. Желтые! Фашисты! Мы вас дегтем вымажем!..

Теперь кричали сотни людей; трудно было разобрать слова. Особенно горячился Грине. Подбежав к рабочим, он быстро что-то выкрикивал. Его лицо скосила судорога; он походил на припадочного. Напрасно Мишо пытался урезонить товарищей: дерзость фашистов вывела всех из себя.

Все последние дни Мишо опасался нападения. Он поставил возле ворот пожарных с насосами. Главное — не допустить столкновений... Он усмехался, глядя на Грине. Полсотни юродивых. Наши их перекричат... Успокоились и другие рабочие. Напрасно «верные» бесновались. Забастовщики лениво, даже благодушно отругивались. Жано стал передразнивать Грине:

— Глядите, товарищи, это бешеная индюшка с макаронами...

Тогда раздался выстрел. Жано упал навзничь. Мишо выбил револьвер из руки Пьера и, покрывая рев толпы, крикнул:

— Не смей стрелять! Пускай насосы!

Пожарные обдали «верных» водой. Те разбежались. Только Грине еще прыгал в ярости, ничего не чувствуя. Потом показались полицейские, и Грине исчез.

Мишо стоял над Жано. Улыбается... А на камнях кровь.

— Жано!..

Смерть этого молодого веселого человека казалась настолько непонятной, что Мишо вдруг крикнул:

— Убили!

Он глядел на других: может быть, они скажут «нет». Рабочие стояли вокруг, сняв кепки, и сквозь туман Мишо увидел искривленное болью лицо Пьера.

Грине, спустившись к реке, забрался под мост; он дрожал от холода и обиды. Какой-то бродяга сказал:

— Что — выкупался?

Грине плюнул в него. Он долго сидел на солнце: нельзя же ходить по городу мокрым! Потом он пошел в парикмахерскую; его брили, обрызгивали одеколоном, мазали фиксатуаром волосы, а он повторял: «Еще». Он лечил себя полузабытьем, и звук ножниц казался ему стрекотанием цикад в душистом саду. Было одиннадцать часов утра, когда он явился с докладом к Бретейлю. Его ввели в кабинет. Бретейль стоял на коленях перед маленьким распятием: сын его умер. Увидев Грине, Бретейль встал.

— Убитые есть?

— Я одного уложил.

— А из «верных»?..

— Никого. Они насосами...

— Ни одного?.. Что же вы наделали? Ведь теперь все сорвано!..

Грине не понял; он тупо посмотрел на Бретейля и ответил:

— Как латник, я отвечаю за жизнь «верных».

— Ты не латник. Ты дурак.

Бретейль снова опустился на колени. Грине тихо вышел. В передней плакала служанка; он ей сказал:

— Ваш хозяин — великий человек. А мне, наверно, скоро крышка.

19

Убийство Жано заполнило все парижские газеты. Левая печать обвиняла Бретейля и требовала крутых мер против тайных организаций фашистов.

Правые газеты утверждали, что Жано убили коммунисты, так как он стоял за прекращение забастовки. В «Матен» была напечатана плаксивая статья о несчастном подростке, который обожал свою старую мать и которого коммунисты приговорили к смерти. Только «Ла вуа нувель» уделила мало места кровавому происшествию. Жолио писал: «Кто бы ни был убийца, мы осуждаем насилие и призываем французов к гражданскому миру». Это было поэтично и ни к чему не обязывало.

Два дня спустя убийство Жано обсуждалось в парламенте. Запрос внес Бретейль. Все ждали скандала, и трибуны для публики были переполнены. Еще до начала заседания в зале стоял неописуемый шум: депутаты энергично переругивались. Председатель Эррио стучал линейкой по столу, как выведенный из себя учитель; потом он схватил звонок и зычно крикнул:

— Замолчите!

На минуту водворилась тишина. Но когда на трибуну поднялся Бретейль, слева раздался рев:

— Убийца!

Депутаты стучали пюпитрами, что-то выкрикивали. Пристава стояли наготове, опасаясь рукопашной. А Эррио надрывался...

Наконец шум стих, и Бретейль начал:

— Кто меня называет убийцей? Убийцы невинного рабочего — коммунисты, которые залили кровью...

Крики заглушили его голос. Он продолжал говорить, но до депутатов доходили только отдельные слова: «Бедная мать... Царство анархии... Беспомощность Блюма... Виар потакает...»

На правительственной скамье Виар рассеянно рисовал кораблики. Речь Бретейля его не пугала: неуклюжее нападение на парламентское большинство. Он думал о другом: как ликвидировать забастовку? Некоторые радикалы начинают ворчать. Рабочие держатся стойко; а хозяева и слышать не хотят об уступках. Дессер что-то придумал... Раздались аплодисменты и свистки: собрав документы, Бретейль сошел с трибуны.

Социалисты еще вчера решили, что с защитой правительства выступит радикал: так будет дипломатичней. Когда председатель предоставил слово Тесса, слева раздались дружные аплодисменты. Правые молчали. Тесса начал говорить среди напряженной тишины.

Он оплакивал молодую жизнь, осуждал людей, которые хотят довести страну до гражданской войны, прославлял защитников Вердена, цитировал Гюго. Депутаты растерянно переглядывались. Вдруг Тесса, повернувшись к Виару, сказал:

— Я должен, к моему прискорбию, признать, что правительство, допуская захват заводов, оправдывает насилие. Я говорю это как сторонник социальной справедливости, как депутат Народного фронта...

Слова Тесса были настолько неожиданными, что в первую минуту все молчали. Потом Бретейль встал и отчаянно, как на огромной площади, крикнул: «Браво!» Тогда овация потрясла зал: правые и часть радикалов неистово аплодировали. Напрасно Эррио пытался унять депутатов: обида поражения, ненависть к Народному фронту, страх последних недель — все вылилось в этих рукоплесканиях. Виар переменился в лице; добрая половина радикалов аплодирует! Что же будет с Народным фронтом?.. Тесса теперь говорил о своем доверии правительству, но все понимали, что он золотит горькую пилюлю.

После Тесса выступил коммунист, депутат одного из северных департаментов, горняк с синими жилками на лице.

— Мы требуем, чтобы правительство положило предел работе фашистских убийц. Необходимо расследовать деятельность депутата Бретейля...

Началась обструкция правых. Бретейль ушел; но его друзья кричали, не умолкая, добрый час. Социалисты сидели неподвижно, как будто происходившее их не касалось; они находили речь коммуниста чересчур резкой. Наконец Эррио надел цилиндр; это означало перерыв. Депутаты, как школьники, обрадованные переменкой, ринулись в кулуары или в буфет.

Радикалы собрались на фракционное совещание. Одни депутаты одобряли речь Тесса; другие говорили об «обманутых надеждах страны», о первой трещине в Народном фронте, об интригах правых. Тесса скромно сказал: «Я хотел спасти Народный фронт и нашу партию». После долгих споров радикалы решили согласовать свое поведение с социалистами, указав на желательность очищения захваченных заводов. Социалисты тянули с ответом: Виар хотел переговорить с Дессером. Публика на трибунах была разочарована, когда Эррио предложил перенести обсуждение запроса

Бретейля на вечернее заседание и заняться законопроектом о борьбе против эпизоотии. Бретейль крикнул:

— Господа радикалы струсили, а Виар ждет инструкций из Москвы.

Один социалист кинулся на Бретейля с кулаками; тот отпустил ему пощечину. Началась потасовка; депутаты примяли пристава. А Эррио все звонил и звонил... Потом депутаты ушли в буфет: всех мучила жажда. На заседании присутствовало человек тридцать, да и те, под монотонный голос докладчика, читали газеты или строчили письма своим избирателям.

Виар с тяжелым сердцем поехал к Дессеру. Он долго колебался: не умалит ли этот визит его достоинства? Он, министр Народного фронта, едет на поклон к таинственному финансисту, который еще недавно поддерживал банды Бретейля! Но что же делать? Забастовки ширятся, как круги на воде. Кажется, вся Франция бастует. Из Парижа движение перешло на провинцию. Останавливаются автобусы. Из портов не выходят суда. Каждый день приносит новые сюрпризы: то актеры захватывают театр, то кассиры закрывают окошечко кассы, то могильщики отказываются рыть могилы. А хозяева уперлись: некоторые из них говорят: «Тем лучше! Пусть все идет к черту!» Жизнь страны парализована. Как-никак Дессер — лучший представитель капитализма. Надо попробовать с ним договориться, понять его игру.

Дессер участливо спросил:

— Как ваше здоровье?

— Благодарю. Я очень устал.

— Понятно — проводить такую забастовку.

— Мы страдаем от нее, как и вы. Нам нужно поговорить... Скажите, что вы нам предлагаете?

— Дорогой друг, вы — министр, а я — частное лицо. Я жду ваших распоряжений.

Виар хотел встать и уйти; но сознание ответственности победило обиду. Он кротко сказал:

— Я не понимаю вашей иронии.

— Это не ирония, это самозащита. Судите сами, если я начну требовать расправы с забастовщиками, вы скажете, что мы, «двести семейств», помешали вам устроить рай на земле. Я предпочитаю ждать. Может быть, вы действительно кудесники... А может быть, и нет. Тогда рабочие сами увидят, что вы ничего не изменили, да и не могли изменить. Итак, я ни на чем не настаиваю.

— Но Тесса сегодня потребовал очищения заводов.

— Знаю. Наш друг Тесса молод душой. А я предпочитаю ждать. Я не против полицейских мер, но всему свое время. Как вам нравится мой Марке? Конечно, он уступает вашему, но этот зеленый тон...

Дессер перевел разговор на живопись. Виару было не до картин, и он откланялся.

Что делать? Игра Дессера оказалась сложной. Он, видимо, задумал расколоть правительственное большинство. Сегодня половина радикалов поддержала Тесса. Значит, очистить заводы?.. Но тогда рабочие пойдут за коммунистами. Это — революция... Отвратительная игра: и так и этак проигрыш! Виар долго терзался. Усталость подсказывала: ждать. Это было чем-то родным, знакомым с детства, уютным. Ведь всю жизнь он ждал: ждал победы на выборах, торжества прогресса, всеобщего умиротворения; ждал и в личной жизни счастья, признания, покоя. Дессер прав, выжидая. Конечно, надо ждать! Все образумятся. Главное — не сделать лишнего жеста.

Перед вечерним заседанием Виару доставили сводку секретной полиции. Агенты сообщали, что среди стачечников намечается раскол. Многие стоят за прекращение забастовки. На заводе «Сэн» число сторонников соглашения растет. Виар удовлетворенно улыбнулся; потом он подумал: надо предотвратить полный провал забастовки, иначе этим воспользуются правые радикалы. Но ведь и Дессер настроен примирительно. Можно найти компромисс. Время работает на нас...

Радикалы ничего не добились. На заседании правительство в лице Виара дало туманный ответ: необходимо, с одной стороны, защищать интересы трудящихся, с другой — охранять законность... Справа протестовали, социалисты аплодировали, радикалы молчали. Тесса с места крикнул:

— Если вы не очистите заводов, вас сметет волна общественного негодования.

Снова раздались хлопки и крики. Виар грустно улыбался: он устал, очень устал...

А Тесса был героем дня; ему жали руку; его сравнивали с Мирабо, с Лафайетом, с Гамбеттой. Он еще переживал угар дневного выступления. Он чувствовал себя бесстрашным трибуном, борцом за истину. Он говорил: «Плыву против течения...»

Домой он приехал слабый, но счастливый. Жена, как всегда, лежала с грелкой. Люсьена не было дома:

кутил перед отъездом. А Тесса хотелось рассказать кому-нибудь о своем триумфе; он прошел к Дениз.

Он повторил перед дочерью свое выступление, с жестами, с мимикой, вставляя другим голосом, как напечатанное в скобах, «здесь аплодировали...».

Увлекшись, он не глядел на Дениз, а она сидела убитая. Все последнее время она думала о жизни отца. Еще зимой она ничего не понимала в политике; ей казалось, что отец занимается скучным, но почтенным делом. Теперь она ходила на собрания, читала газеты, разговоры отца за обедом стали для нее мучительными. С каждым днем перед ней все больше раскрывался неопрятный политикан, готовый на любую сделку.

Лихорадка парижских улиц захватила Дениз. Из газет она знала, что во главе стачечников завода «Сэн» стоит Мишо. Она верила ему, и забастовка представлялась ей войной за сраведливость. Узнав об убийстве молодого рабочего, она вспомнила слова Мишо: только кровью можно связать слова и поступки. Она спрашивала себя: что же ей делать? Она была стыдлива по природе, боялась жестов, громких слов. Ей хотелось каким-то поступком сразу перечеркнуть свое прошлое... Теперь она обратилась бы к Мишо за советом. Но Мишо занят другим... И вот отец приходит к ней, хвастает своим выступлением, повторяет, что во всем виноваты «захватчики». Она вдруг прервала его:

— Довольно!

Тесса с изумлением посмотрел на дочь: что с ней?.. Дениз стояла, высокая, худая; ее красота теперь казалась суровой; сердитые глаза глядели в упор на Тесса.

— Что с тобой?

— Я не могу этого слышать! Я не хочу тебя обижать, но мне это кажется недостойным. Может быть, и я такая же... Наверно, нужно иначе жить. Не знаю... Но какая это мука!..

Она выбежала из комнаты. Тесса раздражился и пошел к жене.

— Твоя дочка в тебя. Какой-то религиозный фанатизм... Рай... Ад... Черт знает что!

— Поль, почему ты надо мной смеешься?

— Я не смеюсь. Вы все сошли с ума. А я человек свободомыслящий и предпочитаю чистилище.

Он поехал к Полет. Там он мрачно пил коньяк. Напрасно Полет пыталась его развлечь:

— Поцелуй меня, цыпленок!

Он не двигался с места и уныло бормотал:

— Все идет к черту, решительно все.

20

Мать Жано, Клеманс Дюваль, была сварливой, но добродушной женщиной, с ревматическими руками, с седыми, переходящими в желтые, волосами и с еще живыми глазами былой красавицы. Она ходила по домам, убирала комнаты холостяков, мыла полы, иногда стирала, иногда штопала и так зарабатывала на жизнь. Прежде было труднее: мужа Клеманс убили незадолго до перемирия, и она осталась с двумя малютками на руках. Много горьких жалоб услыхала тесная комната на седьмом этаже, с каменным полом, с дымной печуркой и с огромной кроватью, доставшейся Клеманс от бабушки. То не хватало денег на ведерко угля, и дети мерзли, то протирались штанишки Жано, то надо было купить задачник Аннет. Она все же поставила детей на ноги. Аннет вышла замуж за монтера и уехала в Лион. А Жано удалось пристроить на завод «Сэн». Какое это было счастье! В тот день Клеманс даже купила бутылку запечатанного вина. Ведь сколько сверстников Жано бродило по длинным улицам парижских пригородов, от одного завода к другому, и все надеялись — может, возьмут... Но на всех воротах было написано: «Здесь не нанимают». Не брали даже в ученики. Соседки вздыхали, взрослые сыновья для всех были обузой, и Клеманс глазам не верила, когда Жано принес первую получку.

Она гордилась веселым, бойким сыном, но и боялась за него: насмешливый, всех передразнивает, первый лезет в драку. Разве трудно такому погибнуть?.. Сколько раз она ему говорила это! Ведь для нее он оставался ребенком, которого не грех и отшлепать за глупую проказу. Когда Жано стал ходить на собрания, Клеманс всполошилась: она сердцем почувствовала опасность. Говорила «брось», пугала его, а он отшучивался. Этой весной первого мая он прошел мимо нее с красным флагом. Клеманс не ходила в церковь; она считала, что, если Бог и существует, хода к нему нет; но, увидав Жано с флагом, она все же перекрестилась: так мальчик может пропасть...

А потом началась забастовка, да еще какая!.. Прежде бастовали, но тихо, сидели дома, ждали. Эти выдумали засесть там. За такое могут и схватить. Клеманс стыдила Жано, уговаривала его вернуться домой; он и слышать не хотел. Каждый вечер Клеманс носила ему яйца, сыр, колбасу. Она не жаловалась, что у нее туго с деньгами,— ведь не за себя она боялась.

И вот пришла страшная весть... С той минуты она будто онемела. Ни соседки, ни родственники, ни товарищи Жано не услышали от нее ни одного слова. На похоронах она шла впереди и беззвучно плакала. За нею шли двоюродная тетка Жано с детьми, соседи, а позади делегация рабочих «Сэна» с Мишо во главе.

Решено было, что рабочие до победы не оставят завода, и похороны вышли скромными. Похоронили Жано на кладбище пригорода, среди тесных могил с чугунными крестами и бисерными веночками. Было знойное летнее утро, пахло резедой, и птицы заливались. А речей не было; товарищи Жано молча жали руку Клеманс, один за другим; и только красные ленты на венке, который держал Мишо, говорили о драме.

Когда делегаты вернулись с кладбища, токарь Сильвен в злобе крикнул:

— Эти речи говорят, а других убивают!..

Полицейские не обманули Виара: положение на заводе «Сэн» было трудным. Две недели забастовки сломили волю многих. Жены теперь приходили к воротам не с провизией, но с жалобами: деньги вышли, а лавочники не отпускают в кредит. Убийство Жано на несколько часов всколыхнуло всех: хотели расправиться с убийцами, и Мишо едва удержал товарищей. Но к вечеру всех снова одолели унылые мысли: дома голодают; считали, сколько дней уже бастуют; говорили: «А все зря!..» Люди, связанные с дирекцией, распространяли различные слухи, уверяли, что завод закроют до января,— нет заказов; говорили, будто полиция предъявила ультиматум очистить здание, не то пустят газы.

Недовольные группировались вокруг Сильвена, человека увлекающегося и неуравновешенного. В начале забастовки он предложил пустить завод и заменить дирекцию выборным комитетом. Когда его высмеяли, он обозлился: «А если так, это дело проигранное! Дессеру легко ждать, не нам...» Когда жена сказала ему, что у нее не осталось и франка на молоко, он вскипел: «Надо кончать с этой дурацкой стачкой!» Он

говорил истерически, в голосе часто слышались слезы. С каждым днем его все охотней слушали. Он предложил устроить тайное голосование: он был убежден, что из восемнадцати тысяч рабочих десять выскажутся за прекращение забастовки. Мишо возражал: это — дело чести, и голосовать надо открыто. Он далеко не был уверен в стойкости товарищей. Казалось, день поражения близок.

Дессер был, конечно, прекрасно осведомлен обо всем, что происходит на заводе, и решил попытаться сломить движение. Он вторично вызвал Пьера.

— Здравствуйте, дорогой энтузиаст! Заточение вам пошло на пользу: вы прекрасно выглядите. Я хочу передать мои соображения стачечному комитету. Мне говорили, что вы в него входите. Я принимаю пункты, касающиеся заработной платы и рабочих часов. Я категорически отвергаю коллективный договор и платные отпуска. Это относится к области чудес. Вы еще верите в Виара? Что же, может быть, он сотворит чудо... Что касается меня, если забастовка не кончится, я закрываю завод.

— Не думаю, чтобы ваше предложение было принято.

Пьер, обычно порывистый, восторженный, был сух. Дессер почувствовал неприязнь.

— Зачем сердиться? Я — капиталист, этим сказано все. Рабочие по-своему правы. А вы?.. Вы ни рыба ни мясо. Но вы хотите быть бифштексом, да еще кровавым. Мечты!.. Что вам коллективный договор? Вы сломаете себе шею, а люди останутся людьми.

— Я в них верю.

— Нет. Может быть, вы их любите. Но вы в них не верите. Вы ведете народ к самому жестокому деспотизму. Как все это грустно!..

Пьер ушел. Дессер посмотрел в окно на ярко-лазоревое небо, на красный флажок, на вихлястого подростка, караулившего возле дирекции, и Дессер позавидовал Пьеру: он глуп, но счастлив. Он во что-то верит. А дальше — не все ли равно во что?.. Дессеру сиротливо. Так страшно, просыпаясь утром, начинать суетливый и пустой, как пустыня, день!

Пьер передал предложение Дессера Мишо. Тот сразу сказал:

— До утра ни слова. Завтра соберем всех, проголосуем.

Пьер сам думал, что нужно действовать осторожно, объяснить каждому, в чем дело. Главное, чтобы Сильвен не узнал о предложении. Они долго об этом толковали. Вдруг Мишо обнял Пьера; это было вместо ненайденных слов; и Пьер понял значительность жеста; он был настолько взволнован, что и сам ничего не мог вымолвить.

Мишо прежде относился к Пьеру недоверчиво; называл его в сердцах «сдобным»—за мягкость: не мог ему простить увлечения социалистами, в частности Виаром. Но во время забастовки Мишо узнал и полюбил Пьера. То, что один из лучших инженеров «Сэна» пошел с рабочими, свидетельствовало о его бескорыстии и мужестве. А в повседневной жизни Пьер невольно привлекал к себе. Это был фантазер, что ни минута придумывавший какой-нибудь невозможный план. Когда Мишо говорил «не пройдет», он не спорил, не обижался, но сейчас же начинал придумывать что-нибудь другое. Веселый южанин, он в самую трудную минуту мог всех рассмешить: рассказывал марсельские анекдоты, прыгал, куролесил; и Мишо ласково думал: «Ребенок», хотя Пьер был на два года старше его.

Иногда они спорили. Пьер, то ли по своему воспитанию, то ли по характеру, благодушному и беспечному, крепко держался за идеи прошлого века. Он и людей разводил бы, как цветы,—с лейкой в руке... Он верил, что можно всех переубедить, и профессорский тон старого Виара ему казался мудростью. А Мишо над ним подтрунивал, и Пьер в ответ грустно улыбался, как ребенок, у которого хотят отобрать любимую игрушку.

Теперь Мишо сказал:

— Ты на собрании изложи разговор с Дессером. У тебя это здорово получается: я вот сразу почувствовал, что и Дессеру несладко.

— Ладно. А знаешь, Мишо, что самое смешное? Дессеру вообще несладко. Миллионы—миллионами, но жизнь получается поганая. Он как-то гулял со мной, рассказывал... Выходит, и он у конвейера, честное слово!

— А рассуждаешь ты, как интеллигент. Я вот знаю, что, если нас побьют, ты не изменишь. К той же стенке пойдешь. А победим?.. Тогда я за тебя не отвечаю. У тебя фунт веры на десять фунтов жалости. Я знаю одну девушку, студентку. Мне иногда кажется,

что для нее слабость выше силы. Черт знает что!.. Но сама она крепкая. И еще как!..

Он улыбнулся мечтательно и застенчиво. Пьер расцвел: значит, и Мишо может это понять!.. А Мишо уже носился по заводу: говорил, уговаривал.

Сильвен узнал о предложении Дессера: об этом позаботились агенты дирекции. И Сильвен тоже не терял времени. Слово «соглашение» гуляло по двору, по цехам, волнуя людей, измученных долгим бездельем, стосковавшихся по семьям, встревоженных рассказами близких. Достаточно подписать соглашение, и сразу кончится собачья жизнь! А Сильвен нашептывал: «Скрывают... Им что? Политика!.. А наши с голоду сдохнут...»

Под вечер положение стало угрожающим. Пьер пробовал говорить о хитрости Дессера, но люди Сильвена его гнали: «Инженер!.. Сколько у тебя в сберегательной кассе?..» Говорили, что в десять вечера состоится собрание, организованное Сильвеном; проголосуют соглашение. Пьер пал духом, считая, что все проиграно; да и не один Пьер. Мишо старался держаться спокойно, даже шутил, но стоило ему это больших усилий. Себе он говорил, что выручить может только чудо. Нужно было на что-то решиться; от него сейчас зависела судьба товарищей, может быть и всей парижской забастовки.

Когда стемнело, он сказал Легре:

— Слушай, я на час уйду. Никому не говори — скажут: удрал.

— Идешь куда? В комитет?

Мишо не ответил.

Клеманс сидела у пыльного окна, неподвижная, похожая на мертвый куст. В комнату вошел Мишо; он осторожно взял красную распухшую руку Клеманс. Он хотел говорить, но не мог. Он пришел к этой женщине за помощью, но ее горе обдало его, как горячий туман. Он забыл все заготовленные слова. Он забыл о забастовке, о Сильвене, о соглашении: перед ним была мать товарища. Он начал говорить о Жано: как тот шутил за несколько минут до смерти, о его веселье, мужестве. Он рассказывал горячо и несвязно; никогда еще он не говорил с такой мукой.

Смеркалось. Клеманс не зажгла света; и в темной комнате ожил Жано — здесь он рос, играл на полу кубиками, готовил уроки, рассказывал матери о товарищах, о демонстрациях, о стычках с полицейскими.

Клеманс чувствовала, как короткая, но шумная жизнь заполняет все; и эта жизнь продолжалась — там, на заводе... Так сильно было ощущение связанности, родства мертвого Жано с этим незнакомым ей человеком, что она в страхе подумала: и этого убьют! Они все отчаянные...

Мишо вдруг замолк: он вспомнил — завод, Легре, Пьер... Он встал:

— Помогите!..

Тогда Клеманс, ни о чем не думая, пошла с ним.

На дворе завода собрались все рабочие, как в первый день стачки: Сильвен воспользовался отсутствием Мишо. Он заявил, будто дирекция приняла требования рабочих, а комитет это скрывает. Когда Мишо подошел к толпе, происходило голосование. Со всех сторон кричали, что большинство за соглашение. Трудно было проверить, так ли это: руки то подымались, то опускались; многие не знали толком, за что они голосуют, кричали, переругивались; возбуждение и растерянность овладели всеми.

Взобравшись на грузовик, Мишо крикнул:

— Товарищи, погодите!..

Сильвен его прервал:

— Хватит! Уже проголосовали!..

Мишо не сдавался:

— Все могут высказаться, голосовать. А один молчит: Жано. Вы что, забыли про него? Жано здесь. С нами. За Жано будет говорить его мать.

Настала глубокая тишина. Потеря Жано была свежей, и горе матери нависло над всеми. А на грузовик поднялась старая женщина, с красными заплаканными глазами, с космами седых волос. Она молча подняла кулак: так делал Жано, когда шел с товарищами на собрание... Клеманс хотела что-то сказать, шевелила губами, но не смогла. А кулак дрожал над толпой; и в ответ поднялись кулаки всех. Когда Мишо сказал: «Кто за соглашение, опустите руки»,— ни одна рука не опустилась. Даже Сильвен голосовал за забастовку: на него глядели глаза Клеманс.

Потом Клеманс сказала:

— Я теперь здесь останусь. Вместо Жано...

Она ласково поглядела на Мишо и добавила:

— Ты к воротам не ходи — убьют...

Это был пятнадцатый день забастовки. В ту ночь Пьер, радуясь, как ребенок, кружился вокруг Мишо и все кричал: «Выиграли, выиграли!..»

Три дня спустя Дессер позвонил Виару:

— Я решил принять их условия. У нас срочные заказы. И потом — побеждает тот, кто умеет отступать. Впрочем, не вам это рассказывать: вы, мой друг, умеете отступать, как Наполеон.

Грубоватой шуткой Дессер хотел себя несколько развлечь. Капитуляция его злила: страдало самолюбие. Теперь Пьер, наверно, ухмыляется... Но не терять же каждый день полмиллиона! Политика — игра, как биржа. Сегодня рабочие едут на курорты. Завтра их, пожалуй, отправят в концентрационные лагеря. Знаменитый маятник начинает пошаливать, он раскачивается слишком резко. Сердце Дессера тоже: он плохо себя чувствует, врачи запретили алкоголь, табак, кофе; но он их не слушает: сердце требует горючего; если не любви, то суррогатов.

На девятнадцатый день, в семь часов вечера, соглашение было подписано; изменения, внесенные в первоначальные требования рабочих, были незначительными. Все понимали, что это — победа.

Завод «Сэн» открыл бой, за ним последовали другие, и его победа означала победу всех; в течение дня поступали сведения о капитуляции других предпринимателей. Жолио лирически писал: «Перемирие подписано. Теперь, французы, за работу: надо лечить раны!..»

В восемь вечера рабочие «Сэна», выстроившись в колонны, с музыкой, с флагами, после трехнедельного добровольного заточения, покинули здание завода. Впереди шли Клеманс и Мишо. Десятки тысяч людей радостно встречали победителей; здесь были семьи забастовщиков, жители квартала, делегаты различных союзов. Надвигались летние сумерки; в еще светлом небе зажглись первые звезды, и голубые огни казались непонятными среди золота заката. Праздничная толпа заполнила улицы, террасы кафе. Рабочих приветствовали, совали им цветы, угощали пивом.

Мишо поддерживал Клеманс. События последних дней ее надломили, и она едва держалась на ногах. Она привыкла к Мишо, следила за ним материнским глазом. Вот сейчас они расстанутся... Он пойдет по своим делам, будет, как Жано, бегать на собрания, кричать, пока не убьют его. А она вернется в опустевшую комнату с каменным полом и большой кроватью.

Клеманс вдруг сказала:

— Почему не женишься? Все-таки лучше. А то — бегаешь один... Убьют, и плакать некому будет. Нехорошо!..

Мишо сконфуженно улыбнулся. Деревья были черными на белом, как начерченные. Синяя дымка покрывала Сену. Повсюду Мишо мерещилось знакомое лицо: это Дениз встречает его, улыбается, жмет украдкой руку...

21

Андре повернул мольберт к стенке и вышел, уговаривая себя, что в мастерской нестерпимо душно. Все последнее время работа не клеилась. Андре не покривил душой, сказав своим школьным товарищам, что он ничего не понимает в политике. Это было четыре месяца назад; с тех пор многое изменилось; политика, не спросясь, вошла в его мастерскую. Он теперь с утра хватал газету; прислушивался к разговорам на улице а говорили все про забастовки, про борьбу партий, про войну. Движение, охватившее город, родило в Андре новый строй чувств; он был слишком связан с народом, слишком органичен, чтобы не почувствовать силу солидарности, горячесть надежд. Да, все это так! Но что ему делать с натюрмортом?..

Как-то Андре прочитал статью о яровизации пшеницы в Советском Союзе. Он любил все, связанное с жизнью земли, и статья прежде всего его заинтересовала как человека крестьянской закваски. Потом, бродя по улицам, он задумался над прочитанным и решил: с живописью — плохо!.. Существуют деревья, которые зацветают впервые на восьмом или девятом десятке. Садовод сажает семя, зная, что плоды увидит его сын, может быть, внук. А тут несколько дней в жизни однолетнего растения меняют лицо целого края... Очевидно, все дело в эпохе. Живописцу нужен покой; он живет неподвижностью; он изображает зрелый мир, богатство сложившихся форм, установившихся цветов. В эпохи распада или рождения ему нечего делать. Люсьен говорил в Доме культуры, что революционер немыслим без хорошего вкуса. Вздор! Бывают времена, когда «хороший вкус» становится мучительным пороком, той «голубой кровью», за которую в девяносто третьем резали головы. Реабилитация истории отно-

сится скорее к эпохам, чем к людям. Одна эпоха дает Робеспьера, другая — Делакруа; причем Робеспьер не отвечает за живопись Давида, а Делакруа неповинен в мелком скопидомстве Людовика-Филиппа. Люсьен хочет внести порядок в исторические события, как в театральную постановку, а он не режиссер, он статист. Что же, нужно закончить этот натюрморт, пока есть время, мастерская, краски!.. Андре заставлял себя работать; но час спустя снова бросал кисти: не выходит!..

Вечером наступал час, которого он жадно дожидался, сидя у приемника. Жаннет продолжала работать в студии «Пост паризьен», и сочетание глубокого, взволнованного голоса с пошлыми словами реклам казалось Андре мучительным, как его мысли. Он вспоминал стихи Лафорга, акварели Паскина: какая детская и болезненная ирония!

Он часто спрашивал себя: что мне Жаннет? Слово «любовь» не приходило ему в голову. Он думал о том, что мало ее знает, что, может быть, между ними нет ничего общего, что все это — причуда. Он был создан для больших и длительных чувств; привязанность в нем развивалась медленно, запасаясь корнями, требуя терпения и ухода. После последней встречи с Люсьеном он проходил весь день как в воду опущенный: ему было совестно перед собой за неуместное признание. Люсьен был вправе ответить: «Какое тебе дело?» Андре говорил себе, что надо расстаться с этой блажью, но вечером снова кидался к приемнику.

Как же тут было работать? На лесах окрестных улиц пестрели красные флаги бастовавших каменщиков. Жаннет расхваливала то нежность, то микстуры. Стояли душные дни июля. Грозы по ночам не освежали воздуха. Андре изнемогал.

В начале июля зажиточные кварталы Парижа вымерли. Прежде многие откладывали отъезд на морские купанья или на воды до конца месяца, опасаясь загроможденных машинами дорог или давки в поездах. Но события разогнали буржуа до срока. Уезжали подальше, на юг, уверяя, что центр Франции будет переполнен рабочими, добившимися платных отпусков. Перспектива оказаться на пляже рядом с кочегарами и каменщиками не на шутку пугала почтенных коммерсантов. Газеты писали, что курорты «загажены». Счастливцы выбирались в Швейцарию или в Италию.

Никто не хотел оставаться в Париже: пугала назначенная на четырнадцатое июля большая демонстрация. Когда-то эту дату праздновали все; но теперь национальный праздник представлялся буржуа торжеством Народного фронта, и друзья Бретейля, засидевшиеся в столице, поспешно снимали с домов флаги, чтобы не участвовать в общем празднестве.

В народных кварталах настроение было благодушное. Платные отпуска, озадачившие Дессера, стали сразу бытом, длинными разговорами о том, где живописнее места и в какой речушке больше рыбы. Дессер, потолкавшись в рабочих кафе, говорил: «Удивительная страна! Ждали революции, а предстоит грандиозная рыбная ловля!» После бурного июня июль казался буколическим. Правда, коммунисты говорили о контрнаступлении хозяев, о заговоре Бретейля, но их речи охотно забывались за путеводителями, перед новеньким велосипедом или только что купленным купальным костюмом. Большинство платных отпусков приходилось на август, и рабочий Париж готовился отпраздновать Четырнадцатое июля у себя. Для одних это означало военный парад, для других — демонстрацию, для третьих — танцы на улице.

Уже тринадцатого июля вечером балы были в полном разгаре. Кажется, в Париже не оставалось ни одного безработного музыканта. Все вокруг ревело, трубило, присвистывало, надрывалось. На каждой площади поставили возвышение для оркестра, трубачи с медными лицами, со вздутыми на лбу жилами жадно пили пиво. Через улицы тянулись гирлянды с бумажными фонариками всех цветов. Кафе выставили, помимо обычных столиков, все столы, которые только можно было разыскать: обеденные, кухонные, карточные. Было жарко, и люди разоблачались, как на даче. Мужчины отплясывали, сняв пиджаки и блистая бляхами подтяжек. На руках у матерей пищали или дремали малютки. Фокусники глотали огонь, вытаскивали из шляпы цыпленка. Бродячие торговцы продавали засахаренные фрукты, цветы, бумажные веера. Повсюду примостились бараки с гадалками, с рулеткой, с тиром; парни залихватски сбивали шарик, трепетавший на водяной струе, или быстро вращавшиеся глиняные трубки. Орали карусели с традиционными конями или с модными самолетами.

Отчетливей сказывался провинциальный характер Парижа, который распадается на сотни городков, каждый со своей главной улицей, со своим кино, со своими героями и сплетнями. Центральные районы, по которым в будни снуют прохожие, то есть незнакомцы, опустели. А на площадях рабочих кварталов прохожих не было: здесь все знали друг друга и балы были семейными.

Андре весь вечер бродил по городу. Он любил народные праздники за их красочность, за неподдельное грубоватое веселье; любил бараки с пряничными свиньями, на которых можно сахаром надписать имя любимой; любил гармоники и шарманки, традиционную грусть этой оглушительной музыки. Но теперь он испытывал одиночество, сиротливость, особенно когда попал на площадь Бастилии, где некогда в такой же знойный вечер люди танцевали вокруг кровавой лужицы. Кружились тысячи пар, издали подобные морской зыби. Андре повернул к Сене, а потом поднялся на свою любимую площадь Контрескарп; там, среди фантастических вывесок и темно-зеленых каштанов, веселилась окрестная беднота. Было это за полночь; он сидел и тянул теплое пиво, когда вдруг увидел Жаннет: она пришла с актерами. Он до того обрадовался, что вскрикнул. Потом, поерзав на стуле, побранив себя все за ту же «блажь», он подошел к Жаннет:

— Хотите танцевать?

Она поглядела на него своими изумленными глазами, и они молча закружились. Они так обрадовались этой чудесной встрече, что насупились, одеревенели. Страсть была целомудренной, и Андре как-то не сознавал, что его рука касается тела Жаннет, что он слышит ее дыхание. Было тесно; они задевали другие пары; но казалось, что они убежали куда-то далеко: в поле, в пустыню.

Потом Андре предложил побродить вместе по городу. Жаннет ответила:

— Я с товарищами... Хорошо, я скажу, чтобы они меня подождали.

Они теперь шли по узкой, плохо освещенной улице, держась за руки; так ходят дети впотьмах. Жаннет рассказывала про вечер на заводе «Сэн»:

— Я не понимаю многого, я ведь и газет не читаю... Но это было настоящее... Как они слушали! Так они меня растрогали, что я потом шла домой и ревела. Даже не знаю отчего. Может быть, потому, что было хорошо...

— Я все эти недели ходил, слушал, смотрел. Не знаю, что из этого получится, но замечательно! Все у них выходит просто, глубоко. Я чувствую корни... А мы с вами привыкли к другому. К другим людям: вкуса, может быть, много, но легкие они, сдунуть можно. Есть такие растения в поле: срываются с места и катятся неизвестно куда. И все произвольно, случайно...

Жаннет приостановилась и грустно сказала:

— Андре, это — мы.

Они вышли на яркую площадь Итали; музыка, пальба, смех. Жаннет говорила:

— Меня хрупкость удивляет...

— Чего?

— Всего. Кажется, я не девочка, можно было привыкнуть, но нет...

Андре был потрясен: она говорила за него.

— Почему мы думаем одно и то же?

— Должно быть, от искусства... Когда я была на заводе, я это почувствовала... Они могут нас считать своими, любить, баловать, но вот придет минута, и мы окажемся в сторонке. Не умею объяснить... Вы обратили внимание, как люди произносят слово «искусство»? Иногда как начало молитвы, а чаще как название болезни: чума или азиатская холера. Наверно, скоро придумают прививку... Андре, вы любите кататься на карусели?

Загадочные звери, зеленые и оранжевые, драконы, единороги, кентавры подымались, падали, неслись. Огромная шарманка ревела: «Ты не узна́ешь никогда...» Они взобрались на синего слона. Духоту вдруг сменил резкий ветер.

Они сошли вниз, обнявшись. Молчали. В такие минуты страшно сказать слово, страшно даже оглянуться или шевельнуть рукой: кажется, что счастье можно рассыпать, расплескать.

Первой опомнилась Жаннет. Ей стало тревожно: если не уйти сейчас, будет горе! Это не минутное увлечение, это что-то тяжелое, засасывающее. Они не могут жить вместе: они поражены одной болезнью; они той же породы... Как он сказал?.. Да, растение, перекати-поле... С ним? Нет, это кровосмесительство!

— Андре, мне пора. Меня ждут.

На темном углу площади, под каштаном, среди листвы которого мерцал один, будто заблудившийся, фонарик, она его поцеловала, нежно и отрешенно, не

как человека, как подарок. Он ее робко обнял; она отстранилась:

— Не нужно...

Он не спросил: почему? Они молча шли назад, к площади Контрескарп; молча простились.

Актеры подтрунивали над Жаннет: «таинственный поклонник»... Она не отвечала. Ее мучила жажда, и она пила кислое вино, как воду. От вина стало еще жарче; стучало в висках. А шарманка все с тем же ревом жаловалась на неудачную любовь, и смутно Жаннет подумала: так, наверно, слон объясняется в любви. Синий слон... Что она наделала? Ей захотелось говорить — много, громко, быстро.

— До чего смешно!.. Ее держали всю жизнь под землей... В метро. Нет, глубже — в шахте. Еще глубже — в аду. Потом вывели и говорят: «Бегай, смейся, дыши!» А она ответила: «Нет». Почему? Потому что ей нельзя бегать, нельзя смеяться, нельзя дышать. Нет и нет!

— Что ты рассказываешь? Кто ответил?

— Богиня из учебника. Один знакомый. Не бойся, Марешаль, не ты, не актер. Пивовар. Или я. Разве не все равно — кто?

— Да ты попросту выпила.

— Не знаю. Но мне хочется говорить. А говорить тоже нельзя. Скажи, Марешаль, ты когда-нибудь думал о счастье?

— Нет. О счастье никто не думает.

— Вот и неправда. Я все время об этом думаю. Гляжу на них и думаю. Видишь, как они берегут свое счастье? Под стеклянным колпаком, как сыр. Или под байковым одеялом. И танцуют, танцуют... Сегодня они еще могут танцевать. Помнишь стихи: «Погиб Лиссабон, но в Париже танцуют...» Тогда земля тряслась. Что же, может снова затрястись — здесь. Или откроется новый вулкан. Или придет чума. Или начнут с неба падать бомбы. Я не знаю что... Но какое это хрупкое счастье! Осторожно, Марешаль, не дыши!..

Она говорила, а слезы бежали из глаз. Рассвело. Люди расходились по домам. Кто-то рядом твердил:

— Не огорчайся, котик, завтра будем снова танцевать...

При дневном свете лица казались призрачными. А на опустевшей площади валялись затоптанные цветы, кожура апельсинов, окурки, пробки, хлопушки.

Когда Андре вернулся в свою мастерскую, розовое большое солнце подымалось над морем крыш; все теплилось, дрожало. Андре сел у окна. Грусть в нем медленно вызревала. Он вспомнил все: далеко в темноте сумасбродной ночи еще горел, среди коленкоровой листвы, бумажный фонарик... Как это солнце... А карусель неслась слишком быстро. Да и все так несется — не понять, не увидеть. Буря и дерево живут по разным календарям.

Андре вспомнил слова Сезанна, над которыми он часто думал: «Нужно долго наблюдать природу. Тогда видимое освобождается от влияния света, от всего случайного, и размышление рождает понимание». Хорошо ему было в тихом Эксе! Да и времена были другие. А Жаннет сказала: «Не нужно». Что «не нужно»? Хотеть? Надеяться? Понимать?

Солнце уже было высоко. Город спал, мертвый от усталости, под пышным светом; и свет съедал все краски; как слепой, Андре глядел на непонятный ему мир. Он уснул сидя, замер, залитый золотом июля.

22

Генерал Пикар на буланом коне был великолепен; среди марокканских стрелков он казался ожившим полотном старого баталиста.

Каждый год Четырнадцатого июля бывал военный парад. Обычно он привлекал буржуа, застрявших случайно в городе, модисток, обожавших мундиры, мальчишек. Но в этом году парад собрал других зрителей. Завсегдатаи Елисейских полей были далеко: у моря или на водах; и в фешенебельный квартал вторглись жители пригородов. Повсюду виднелись кепки рабочих. Только на углах некоторых улиц стояли молодые люди в беретах, элегантные и надменные: воспитанники Бретейля. Они кричали: «Да здравствует армия!»; рабочие отвечали: «Да здравствует республиканская армия!»; и хотя республике шел уже седьмой десяток, этот крик звучал вызывающе; часто дело доходило до потасовок.

Все последнее время газеты писали об опасности войны, о зловещей суматохе за Рейном и за Альпами. Народ с надеждой глядел на каски солдат, на артиллерию, на веселых летчиков. Гремела, не умолкая, во-

енная музыка: лотарингский или самбрский марши. Люди на тротуарах шагали в такт; тела выпрямлялись; лица становились задорными. Было в армии нечто подкупавшее толпу: солдаты, все разного роста, рядом с великаном — недомерок, шли просто, как в походе, и зрители видели в них своих.

Молодые люди в беретах восторженно приветствовали Пикара. Их крики подхватила толпа: генерал с громким прошлым, дважды раненный на войне, выглядел молодцевато. А Пикар презрительно усмехался. На этот раз маска вполне соответствовала его душевному состоянию: необычная публика, приветствовавшая парад, возмущала Пикара. С каким удовольствием двинул бы он на этот сброд своих марокканцев! Он глядел прямо перед собой, чтобы не видеть оскорбительных сцен; и зрелище Триумфальной арки, этого памятника былой славы, казалось ему несовместимым с городом, захваченным чернью, где повсюду развешаны красные флаги, где он, боевой генерал, должен выполнять приказы выскочек и масонов.

Неподалеку от Триумфальной арки стояла толпа рабочих. Когда с ней поравнялся Пикар, раздался звонкий голос Мишо: «Да здравствует!..» И тотчас молодцы Бретейля кинулись на рабочих. Засвистели полицейские. Лошадь Пикара пряла ушами; но он даже не взглянул на тротуар; только еще больше искривились тонкие губы, а в голове пронеслось: «Канальи!..»

Елисейские поля в течение двух последних лет были заповедной вотчиной фашистов. Здесь каждый день избивали до крови продавцов левых газет, рабочих, заподозренных в причастности к Народному фронту, и евреев. Нарядная публика на террасах кафе привыкла к проделкам «золотой молодежи».

В этот день, однако, Елисейские поля были оккупированы пришельцами из чужих кварталов, и возле Триумфальной арки начался настоящий бой. Фашисты были вооружены резиновыми дубинками, кастетами, ножами. Один из рабочих упал на мостовую; лицо его было в крови. Мишо пытался вырваться из кольца. Вдруг он почувствовал острую боль, как будто его полоснули по спине ножом. Тогда он зажал в кулак дверной ключ и стал им бить нападающих. Полицейские энергично прикрывали фашистов: они не думали ни о Блюме, ни о Виаре; по привычке они били бедно одетых и защищали завсегдатаев Елисейских полей.

На выручку Мишо подоспели товарищи. Один фашист пытался повалить Мишо, но тот извернулся и оглушил противника.

А солдаты, проходя мимо, глядели на побоище.

Разогнав фашистов, Мишо вздохнул: его воскресный пиджак был как будто разрезан дубинкой. Он еще не чувствовал боли, хотя на спине был ярко-красный след, вроде ожога. Мишо отвели в аптеку. Он там всех рассмешил — стоял и приговаривал: «Ах, подлецы! Ведь это я для демонстрации принарядился!»

После парада Пикар наспех позавтракал; час спустя в штатском платье он поехал за город. Автомобиль задерживали в каждом поселке: молодежь танцевала. Общее веселье выводило Пикара из себя; он закрывал глаза; он много дал бы, чтобы не слышать гармоник и саксофонов!

Бретейль ждал его в небольшом домике близ Фэрте. Место было чудесное; оно располагало скорее к любовной идиллии, нежели к заговорам. Дом стоял на крутом берегу Марны; с веранды была видна река, острова, поросшие камышом, луга с пятнистыми коровами, которые как бы дремали, окунув свои морды в яркую зелень. Веранда была обвита глициниями, и сладкий запах наводил дрему.

Бретейль, как всегда сухой и унылый, металлическим голосом рассказывал о событиях последних дней:

— Тесса подобрал значительную группу. Но, полагаю, дело решится не в парламенте. Испанцы не сегодня-завтра выступят. Если им удастся быстро ликвидировать Народный фронт, к осени двинемся и мы.

Пикар вспомнил толпу на Елисейских полях:

— Яд проник глубоко. Придется уничтожить сотни тысяч. А трудно сказать, как поведет себя армия. Что такое офицеры без солдат? Романтика... Я не знаю, на что вы рассчитываете.

— Об этом еще рано говорить. Оружие из Дюссельдорфа доставлено. Это, конечно, закуска... Но, по сравнению с тем, что переправил ваш полковник, это — немало. Теперь о другом... Можете ли вы достать мобилизационный план? Ведь с этими головотяпами следует ждать всего... Я не хочу, чтобы в случае войны нас застали врасплох...

Пикар отвернулся. Беззаветно преданный Бретейлю, он впервые усомнился: должен ли он выполнить эту просьбу? Пикар был из военной семьи; все, связан-

ное с армией, казалось ему священным. Здесь сказывались и воспоминания о боях, и традиции среды, все эти громкие имена — от Йены и Аустерлица до Марны и Вердена. Холодный человек, он вдруг заговорил, волнуясь, как подросток:

— Я думал, что в случае войны мы забудем все раздоры...

Бретейль прошелся по веранде, а потом, подойдя вплотную к Пикару, ответил:

— Я тоже так думал. Надеюсь, вы не станете сомневаться в моем патриотизме. Мы оба были на фронте и там оставили наших лучших друзей. Но, поверьте мне, теперь нет нации, есть клан, захвативший власть. Против него я пойду даже с немцами. Молю бога, чтобы этого не случилось! Трудно такое сказать, еще труднее сделать. Это требует выдержки, почти нечеловеческой воли. Но все же это так... Их победа будет не победой Франции, а победой революции.

— Но армия?.. Что станет с армией?

— Армия может возродить Францию. А если нет?.. Тогда ее песенка спета. Лет на сто...

Пикар молчал. Он пристально глядел на дальние поля; казалось, он что-то рассматривает; но он ничего не видел, кроме нестерпимо яркого света. В душе его царило смятение. Он даже хотел крикнуть, сломать графин, уйти. А глицинии сладко пахли, и жужжали вокруг шмели. Потом Пикар вспомнил толпу на Елисейских полях. Канальи!.. Нет, это не Франция! А тогда Бретейль прав. Даже Гитлер лучше... Пикар наконец заговорил. Он сам не узнал своего голоса, придушенного, мертвого:

— Если вы видите верно, вы взяли на себя страшный крест. А если вы ошибаетесь... Нет, я не хочу об этом думать! Я привык повиноваться. Я теперь все отдаю: не только жизнь — честь...

Бретейль предложил отвезти Пикара в город; тот отказался: ему хотелось остаться одному. В автомобиле он снова закрыл глаза и погрузился в тревожный полусон. По-прежнему надоедливо ревели шарманки. В предместье Парижа машину остановили: демонстранты возвращались с площади Бастилии. Увидев на террасе кафе несколько солдат, рабочие весело крикнули: «Да здравствует республиканская армия!» Пикар приоткрыл глаза, поморщился и сказал шоферу:

— Поезжайте другой дорогой. Как знаете, но только скорее! У меня нет времени...

23

Демонстрация продолжалась весь день; в ней участвовало свыше миллиона парижан. Шествие казалось нескончаемым. Шли и шли: через площади Бастилии, Республики, Нации, по кривым, узким улицам, по широким проспектам; когда зрители говорили «кончилось», показывались новые колонны.

Добродушие победителей придало демонстрации неожиданный характер. Прошлым летом в тот же день по тем же улицам шли колонны, готовые к бою. Теперь шествие напоминало карнавал. Мало кто думал о грядущих битвах. Всех успокаивало ощущение силы: «Прошло восемьсот тысяч! Миллион! Полтора!..»

Полгорода оказалось без полиции: ее увели, чтобы избежать стычек; за порядком следили рабочие; и не было ни столкновений, ни перебранки, ни грубых слов; праздничный Париж пел песни и беззлобно шутил.

Приехали делегаты из различных областей. Пикардские углекопы шли в рабочей одежде, припудренные черной пылью, с лампами. Виноделы юга несли на длинных шестах картонные грозди. Женщины Эльзаса в старинных платьях пели народные песни; бретонцы дули в свои загадочные дудки; плясали горцы Савойи.

Шли бывшие фронтовики; везли безногих в тележках; слепых вели поводыри. Сто тысяч людей, искалеченных войной, с надеждой повторяли: «Долой войну!»

Шествие открывали бывшие участники Коммуны; их было немного — двадцать или тридцать сгорбленных стариков. Когда-то, подростками, они помогали строить последние баррикады на горбатых уличках Монмартра и Бельвилля. Теперь они глядели на торжество своих внуков, и запавшие выцветшие губы улыбались.

Комсомольцы гордились новенькими флагами; шелк на легком ветру рвался в бой. Было много портретов Горького (он умер незадолго до этого); чужое русское лицо стало знаменем.

Одна колонна сменяла другую; за металлистами шли кожевники, за ними писатели, потом студенты, потом служащие газового общества в форменных фуражках, потом актеры, пожарные, сиделки, и снова металлисты, и снова кожевники.

Париж был огромным плотом; на плоту держались люди различных стран, потерпевшие кораблекрушение. Эмигранты обжились в Париже, и они шли рядом

с французами. Часто слышалась чужая речь, мелькали иностранные слова на флагах и транспарантах. Строительные рабочие из Неаполя и Сицилии, астурийские герои, австрийские портные и кондитеры, евреи из польского и румынского гетто, шлифовальщики, сапожники или живописцы, студенты из Шанхая, аннамиты, арабы, негры — все они пели «Интернационал».

Шляпники несли огромную кепку, классический убор французского рабочего; и под кепкой значилось: «Твоя корона, пролетарий!»

Сталевары несли цветы: анютины глазки и левкои. А за ними шли молодые смешливые цветочницы с серебряным молотом.

На всем пути от площади Бастилии до Венсенской заставы серые закопченные дома были украшены. Из окон выглядывали красные гардины, коврики, платки. На балконах стояли женщины в красных блузках; и кажется, все красные цветы Франции — маки, гвоздики, тюльпаны — пришли в этот день на парижские улицы.

На деревьях, как воробьи, повисли ребята, веселые и насмешливые. Сколько было в тот день забав! Жгли предателя Дорио, сделанного из соломы; на виселице покачивался тучный Муссолини; корчился тряпичный Гитлер; а человек на ходулях изображал длиннущего Фландена.

Восторженно встречали рабочих «Сэна». Они несли макет бастильской тюрьмы. Над ним значилось: «Помните о Бастилии, которая взята! Помните о Бастилии, которую нужно взять!» Впереди этой колонны шли Мишо, Легре, Пьер.

На трибунах стояли вперемежку министры и делегаты союзов, писатели и рабочие, коммунисты и радикалы. Блюм грустно улыбался. Даладье, приземистый, с упрямой складкой возле рта, не опускал кулака. Виар тихонько подпевал: «И решительный бой...»

Когда колонна «Сэна» проходила мимо трибуны, Пьера окликнули:

— Дюбуа, с тобой хочет познакомиться Виар.

Виару рассказали о талантливом инженере, члене социалистической партии, который принял активное участие в недавней забастовке, а Виар среди государственных дел не забывал своих партийных обязанностей. Он дружески пожал руку Пьеру:

— Молодчина! Вот коммунисты говорят, что у нас выветрился революционный дух; ты — лучший ответ.

Пьер настолько смутился, что преглупо ответил:

— Спасибо.

— Мне кажется, я знал твоего отца. Ты ведь из Перпиньяна?

Виар мог не узнать депутата, с которым разговаривал накануне, но он помнил все связанное со своей молодостью: товарищей по школе, города, где он читал лекции, делегатов давних съездов.

— Мы с ним вместе подготовляли демонстрацию против расстрела одного испанца. Ферреро... Для тебя это ничего не говорящее имя, а тогда вся страна всполошилась. Изумительный наш народ! Чувство международной солидарности, отзывчивость!... Ну, желаю удачи!

Воспоминания растрогали Виара. Он почувствовал себя молодым и непримиримым, как этот инженер. Он теперь другими глазами глядел на демонстрантов; ему казалось, что он шагает с ними, с ними идет навстречу врагам. Он весело помахивал шляпой пионерам.

К действительности его вернул депутат Пиру, радикал. Никто не понимал, почему Пиру пришел на демонстрацию: знали, что он ненавидит Народный фронт. Может быть, он хотел проверить популярность того или иного министра? Он стоял на трибуне как истукан, не пел, не отвечал на приветствия. Очутившись рядом с Виаром, он решил поговорить о деле: он только вчера приехал из департамента Восточных Пиренеев, депутатом которого являлся.

— Префект говорил мне, что в некоторых местах дошло до захвата земель: подражают испанцам. А во главе всегда пришлый элемент: у нас много каталонских рабочих. Раньше знали, что иностранцы не имеют права вмешиваться в политическую жизнь. Но теперь коммунисты организовывают этот сброд. Положение угрожающее...

Виар знал, что Пиру — друг Тесса; он был с ним исключительно предупредителен:

— Я сегодня же переговорю с Дормуа. Разумеется, надо запретить иностранцам участвовать в политических демонстрациях. Я вас уверяю, дорогой коллега, что мы не отступим от традиций. Немного доверия, и все образуется...

Пиру, поблагодарив, отошел в сторону. Виар шепнул одному из коммунистов:

— Если мы не укротим шайку Тесса, они нас уничтожат.

Виару казалось, что это — государственная мудрость и что, лавируя, он идет к победе.

Мимо трибуны шла делегация маленького города Лана. Делегаты — старик в бархатной куртке, с окурком, прилипшим к нижней губе, и четверо молодых рабочих, по-праздничному принаряженных, несли флаг, на котором было написано: «Лан не допустит победы фашистов». Виар подумал: «В Лане, наверно, триста рабочих, не больше...» И Виар не то вздохнул, не то проворчал:

— Дети!..

Пьер, взволнованный и обрадованный, догнал свою колонну. Он не стал рассказывать о беседе с Виаром: боялся, что Мишо иронией нарушит обаяние.

Мишо давно забыл об утренней потасовке и о погибшем пиджаке. Болела спина, но он был весел: демонстрация удалась на славу. Только когда они подходили к заставе, он притих. Стемнело, и засветились фонари, диски, колонки с бензином, вывески: зеленые, оранжевые, красные — весь пестрый цветник пригорода.

— Мишо, ты что, приуныл?

— Нет. Жарко!

Он вытер рукавом лоб и вдруг сказал:

— Я недавно прочитал биографию Бланки и позавидовал. Хорошая жизнь, а главное — простая. Несколько дней — баррикады, все остальное время — тюрьма. Он даже про звезды писал... Тогда требовалось одно: умереть. А теперь нужно жить. Победить нужно. Во что бы то ни стало. А это труднее. Да и суше. Но нужно.

Пьер с удивлением его слушал; он вдруг понял, что мысль Мишо сложна, что под четкими формулами скрыта страстная природа, много боли, спутанной и горячей, как шерсть зверя или как степная трава.

— Ты вырос, Мишо. Я в тебе раньше видел только товарища. А теперь... Теперь ты можешь командовать.

Мишо в ответ состроил ребяческую гримасу и засвистел, как щегол: он чудесно свистел.

А демонстранты все шли и шли, и не замолкало: «Это есть наш последний...»

24

На следующее утро Пьер уехал в отпуск; перед ним был месяц покоя, и покой представлялся ему синим и золотым, как плакаты в бюро путешествий.

Аньес уехала на неделю раньше. Она сняла рыбацкий домик на берегу, возле Конкарно. Дом стоял на скале: белая квадратная коробка. Внизу женщины чинили голубые сети, и надувались на ветру рыжие паруса. Место было открытое: много ветра, сильные приливы, океан говорил день и ночь не умолкая.

Пьер увидел чистую беленую комнату, украшенную олеографиями. Все здесь пропахло рыбой: постельное белье, занавески, даже стены.

Пьер приехал еще переполненный парижскими событиями. Он с гордостью рассказал Аньес о своем разговоре с Виаром; описал подробно демонстрацию; говорил о происках фашистов. Аньес молчала. Пьер вскипел: неужели он никогда не сможет убедить ее в важности, в правоте своего дела?..

— Нет. И не хочу понять. Это — игра, но не детская, скверная игра. Я во всем этом чувствую ложь. Никто ничем не хочет поступиться. Виар?.. Да он предаст, как все! Разве ты не видишь, что люди те же?..

— Мы их перевоспитаем.

— Нет, вы заняты другим: вы их перекрашиваете. Это — легче, но, господи, как это скучно! Да и нечестно!..

Так они поспорили в первый день приезда Пьера. Потом он отдался покою. Три дня он ничего не делал, ни о чем не думал, купался, лежал на песке, карабкался по скалам и часами следил за нараставшими валами прибоя. Он не раз бывал у южного моря, знал его лень и негу. Океан поразил Пьера. Сначала все показалось ему нестерпимо тревожным, как будто сама природа жила здесь в предвидении близкой катастрофы. Вскоре он понял, что этот грохот отвечает его душевному состоянию. Он радовался силе ветра, который не давал приоткрыть дверь, старался сбить человека, гнул низкие крепкие деревья.

Так прошло три дня. Лицо Пьера обгорело, а весь он проветрился; сотни вещей, казавшихся в Париже значительными, здесь вызывали пренебрежительную улыбку. Зато открывались новые миры: жизнь сардинок, проплывающих по строго намеченным водным путям, запах водорослей, зрелище густых звезд.

Газеты приходили с таким запозданием, что за все дни Пьер не узнал ничего нового. Как-то он вытащил маленький приемник, который привез с собой, послушал: биржевые курсы, японско-китайский инцидент,

речь Тесса на банкете у коммерсантов... И, махнув рукой, Пьер пошел ловить крабов.

Аньес расцвела: ее счастье теперь было полным. В Париже она и тревожилась за Пьера, и ревновала его к событиям. По своему происхождению, по жизни, трудной и тесно связанной с жизнью Бельвилля, она могла бы увлечься происходящим. Но ее отталкивало все общее, абстрактное, споры, программы, язык газет и митингов; она возмущенно называла это «политикой». Волновали ее только судьбы отдельных людей. Так, она отнеслась равнодушно к зрелищу забастовок; но когда Пьер рассказал ей о Клеманс, она отвернулась, чтобы он не заметил ее слез. Увлечение Пьера Народным фронтом казалось ей кружением на месте, какой-то словесной бурей. Она говорила себе: за такое не умирают!.. К этому примешивался безотчетный эгоизм: впервые она узнала спокойствие и боялась — вдруг все сразу кончится?.. Беременность придавала этому чувству плотность и упорство: Аньес отстаивала две жизни. И то, что Пьер не слушает радио, представлялось ей признаком спасения.

На четвертый день к вечеру началась буря. Поднялась она внезапно. Пьер сидел с Аньес на берегу; вдруг ветер закружил столб песку; Аньес зажмурилась. А несколько минут спустя все вокруг бесновалось. Море вышвырнуло на берег лодки. Дома кричали. С трудом Пьер и Аньес взобрались к себе.

Аньес шила у окна. Уже смеркалось; они не зажигали света: красив был разбушевавшийся темно-фиолетовый океан. Среди гневной стихии они были, как в скорлупе; они особенно остро ощущали теплоту любви, ее вязкость, живучесть.

Пьер лениво повернул выключатель приемника. Вспыхнул зеленый глаз, и к шуму моря примешался другой, родственный ему: хриплые всхлипывания, треск, цокот «морзе».

Женский голос. Это по-английски... «Общая тенденция биржи повышательная. «Рояль-Детч» сегодня котировались на два пункта выше...»

Джаз.

Немецкий романс «Ты была самой сладкой блондинкой...».

«Говорит Париж. Радиостанция «Иль-де-Франс». Длина волн... Морис Шевалье исполнит «Париж остается Парижем...».

«Покупайте пылесосы «Люкс». Фирма «Люкс» счастлива преподнести вниманию радиослушателей скетч «Пылинка-невидимка».

Италия. Речь секретаря фашистской партии: «Мы воспитаем юных легионеров в духе мужества...» И танцы.

Велосипедные гонки: «На этапе По — Каркассон бельгиец Грэне покрыл расстояние...»

«Слушайте точное время! При четвертом ударе будет девятнадцать часов по Гринвичу. События дня...»

«Две тысячи убитых...»

Аньес бросила шитье. Пьер сжал приемник, как будто хотел его удушить.

А диктор спокойно рассказывал. В Барселоне гостиница «Колумб» обстреляна из орудий; в Мадриде верные правительству части, вместе с рабочими, очистили от мятежников казармы Ла-Монтанья; в Севилье идут бои за обладание кварталом Триана, заселенным беднотой; генерал Аранда захватил Овиедо; в Бургосе начались массовые расстрелы... И тем же голосом диктор объявил: «На выставке роз в Курла-Рен первая премия присуждена...»

Пьер выбежал из дому. Буря завладела всем. Луч маяка вгрызался в высокие волны, которые, как цепи солдат, шли на землю. Внизу бились красные огни. Рев моря походил на мощную сирену. Пьер повернул к дому; лицо его было мокрым от брызг. Аньес стояла у двери. Она тихо сказала:

— Я посмотрела — поезд уходит в шесть утра. Вечером ты будешь в Париже.

Она поцеловала его в темноте, и молча они просидели до рассвета. А буря не унималась.

25

Десятки тысяч людей не могли попасть в зал. Выстрелы по ту сторону Пиренеев разбудили Париж. Взволнованные люди стояли в проходах, свисали с хоров, взбирались на трибуну. Когда Кашен заговорил о бадахосских расстрелах, его голос дрогнул. А с улицы доносилось пение «Интернационала», то торжественное, как присяга, то быстрое и задорное.

На трибуну поднялся старый человек, с теми бороздами на бритом сухом лице, которые придают испан-

-ким лицам трагический характер. Это был Муньес, учитель, один из руководителей мадридских синдикатов. Все замерли; сейчас будет говорить человек, приехавший оттуда! А Муньес молчал; его рот был мучительно приоткрыт. На трибуне кто-то громко сказал:

— У него сына убили...

Тогда испанец выкрикнул:

— Оружия!..

И по всему залу пронеслось: «Оружия!» И с улицы отвечали: «Оружия! Оружия!»

Потом говорил профессор, числившийся радикалом, старый чудак, защищавший в своей жизни с равным жаром виноделов Ода, боровшихся за право именовать свое вино «шампанским», и Дрейфуса, английских суфражисток и негуса. Профессор говорил о «рыцаре без страха и упрека» и предлагал испанцам «моральную поддержку».

Мишо выступил последним:

— На французской территории приземлился итальянский бомбардировщик, из тех, что Муссолини посылает Франко. Мы знаем детали: пятьдесят четвертая, пятьдесят седьмая, пятьдесят восьмая итальянские эскадрильи. Гитлер послал мятежникам свои «юнкерсы». А у наших товарищей охотничьи ружья... Мы должны сказать правительству Народного фронта: дайте самолеты Испании!

Снова зал заревел: «Самолеты Испании!» И на проспекте Ваграм, дальше—на площади Этуаль, обычно в этот час пустой и блестящей, как актовый зал, дальше—на двенадцати проспектах, уходящих от Этуаль, раздавались те же слова: «Самолеты Испании!» И когда на минуту смолкало человеческое море, чей-то тонкий, хрупкий голос начинал: «Самолеты...» И снова слова, идущие от сердца Парижа, покрывали шум города, врывались в дома, в туннели метро и, вылетая оттуда, будили сонные окраины.

Когда митинг закончился, Мишо отвел Пьера в сторону:

— Муньес приехал насчет самолетов... Ты можешь им помочь как специалист.

Муньеса послали в Париж, чтобы купить двадцать бомбардировщиков. Он проходил три дня по министерствам; ему дружески жали руку и говорили: «Этот вопрос следует обсудить». Он попал к крупному промышленнику Меже. Тот выслушал его, предложил

сигару и, вежливо улыбаясь, сказал: «Чем скорее победит Франко, тем лучше».

Мишо сказал Пьеру:

— Попробуй поговорить с Дессером. Ведь это дело коммерческое. Может клюнуть.

Муньес вышел с Пьером. Он рассказывал:

— Идут с револьверами, с пугачами, с перочинными ножичками. Смешно глядеть и страшно! У крестьян допотопные мушкеты. А все может решиться в две недели: они быстро продвигаются. У них «савойя», «юнкерсы». А у нас десяток почтовых самолетов. Пробили дыры, чтобы скидывать бомбы. Старые калоши!.. Сбивают их почем зря. Я говорил здесь: «Если мы погибнем, и вам конец». Но они не понимают...

Кругом еще раздавалось: «Самолеты Испании!» Усмехаясь, Муньес сказал:

— Эти дали бы... Только самолеты не у них.

На следующее утро Пьер отправился к Дессеру; тот сразу его принял. Пьер решил говорить напрямик:

— Когда была забастовка, мы оказались по разные стороны баррикады. Сейчас дело не касается ваших заводов... В Испании у власти не коммунисты, а Хираль, Асанья — ваши единомышленники. Им нужны бомбардировщики. Они просят вас продать им за наличный расчет двадцать «А-68».

Дессер улыбнулся:

— Особенно мне нравится «за наличный расчет»! Вы убеждены, что Дессера можно соблазнить деньгами. Кстати, Меже мне вчера рассказывал, что испанцы приходили к нему. Он мне гордо заявил: «Я их выпроводил — я не предаю моего класса». Ничего не возразишь: человек рассуждает, как вы, — по-марксистски.

— Я пришел не к Меже. Меже — фашист. А вы...

— Я прежде всего француз. Мир для меня важнее Испании.

— Кто вам может запретить продать самолеты правительству соседней страны?

— Не прикидывайтесь наивным! Если я дам двадцать «А-68», итальянцы через неделю подкинут еще сорок «савойя». И так далее... Конечно, я предпочитаю Асанья генералу Франко. Я вам дам сто тысяч франков для испанцев; только не говорите, что вы получили их от меня. Пожалуйста. Но самолетов я не продам. Я не хочу рисковать судьбой Франции.

— Значит, мы должны глядеть, как они гибнут? Это низость! Я могу понять Меже... Но вы!.. Помните наш разговор ночью?.. Как я скажу Муньесу, что вы отказали?

Пьер бегал по кабинету, кричал, стучал кулаком. Дессер глядел на него насмешливыми, усталыми глазами; в душе он любовался Пьером. Когда Пьер хотел уйти, он его остановил:

— Одиннадцать «А-68» заказаны для Аргентины. Их должен получить некто Ману. Предложите ему отступные, и он отдаст вам. Как видите, я на этом ничего не заработаю. Если вы думаете, что это может их спасти, пожалуйста... А Ману на это пойдет, ручаюсь. И при такой комбинации не будет осложнений с отправкой. Я ведь убежден, что Блюм не пропустит ни одного самолета.

— Этого не может быть! В случае чего я пойду к Виару.

— Не хотел бы я сейчас ознакомиться со штанами вашего Виара. Эх вы, романтик!.. Вот вам лицензии для Ману. Вы удовлетворены?

Пьер рассеянно простился: он спешил к Ману.

По паспорту гражданин Гондураса, по происхождению румын, Ману давно поселился в Париже и считал себя французом. Занимался он различными темными делами и теперь был окрылен надеждой: испанские дела вдохновили всех посредников и спекулянтов. Из Мадрида, из Барселоны каждый день приезжали делегации с деньгами и с наказом раздобыть военное снаряжение. Приезжали представители разных министерств и союзов, военные и журналисты, республиканцы, коммунисты, анархисты. Делегаты зачастую не знали один другого, попадали к тем же дельцам; их водили за нос, обирали. Здесь же сновали агенты Бургоса; эти тоже искали оружие. Спекулянты каждый день подымали цены. Ману, услышав про «А-68», запросил втрое.

— Могут выйти неприятности с Буэнос-Айресом. Потом, со мной вы можете спать спокойно: товар выпустят. У меня ведь лицензии.

— Лицензии у меня.

Ману задумался: перед ним не испанец, которого легко провести, но специалист, инженер «Сэна», а ко всему — приятель Дессера. Такой может раздобыть самолеты и помимо Ману. Да, но он пришел сюда... И Ману ответил:

— Завтра я скажу вам окончательную цену.

Услышав «завтра», Муньес горестно вздохнул: уже скоро неделя!.. Ему казалось, что от этих самолетов зависит судьба Мадрида, республики. Он покупал по нескольку раз в день одни и те же газеты, надеясь найти в них свежие телеграммы; не отходил от приемника. Он встречал Пьера горячечными речами:

— Альто де Леон... Два броневика... В Ируне отбили... Главная опасность со стороны Эстремадуры: они подымаются к Медине. А Медина... Медина...

Он не мог понять, как вокруг него люди шутят, обедают, гуляют, ходят в театры. Париж его возмущал своим равнодушием, и не будь Пьера, он возненавидел бы французов. Но Пьер жил, как он,— от одного выпуска газет до другого.

На третий день Ману сдался и отпустил самолеты с надбавкой в двадцать процентов. Бомбардировщики находились на аэродроме возле Тулузы. Муньес сообщил шифром в Мадрид о покупке. Он должен был с Пьером выехать вечером в Тулузу. В последнюю минуту пришла телеграмма через посольство: закупленных бомбардировщиков недостаточно, необходимо раздобыть еще двадцать, а также тридцать истребителей типа «девуатин». Без помощи правительства достать такое количество самолетов было невозможно: авиазаводы принадлежали или Дессеру, или фашистам. Пьер хотел остаться, чтобы поговорить с Виаром. Но Муньес нервничал: боялся, что могут пропасть одиннадцать «А-68». Решили, что Пьер поедет в Тулузу, а Муньес пойдет один к Виару.

— Я с ним знаком. Мы встречались на международных конгрессах.

Пьер с вокзала послал открытку Аньес: «Уезжаю на неделю». Он сел в раскаленный переполненный поезд. Августовский зной гнал застрявших парижан на взморье или в горы. Кругом говорили о купанье, прогулках, яхтах, и Пьер чувствовал себя иностранцем. Он развернул газету и, не читая, как Муньес, маниакально повторял про себя: «Медина, Медина». Хоть бы скорей доехать! Хотелось выскочить, подталкивать поезд; остановки казались особенно мучительными. Вдруг Пьер вспомнил честное, хорошее лицо Виара, его слова о солидарности; и, раскачиваясь в полусне, среди дыма, духоты, среди разговоров о купальных костюмах, о подъеме на пиренейские вершины, Пьер смутно подумал: «Виар даст все, не покинет испанцев...» Он уснул.

26

Когда Муньес увидел Виара, перед ним встало далекое прошлое. Он вспомнил Базельский конгресс, речь старика Бебеля в соборе, колесницу с девушками, аллегории, клятвы, слезы. Потом он встретил Виара в Берне; это было вскоре после войны. Они пытались склеить Второй Интернационал как фарфоровую чашку; шли споры об ответственности за войну, о репарациях, о колониях. Прошло шестнадцать лет... У Виара тогда были темные волосы, звонкий голос. Он постарел. Как и Муньес.

Виар тоже отдался воспоминаниям. Старые товарищи вызывали из полузабвения тени молодости: Плеханова, Жореса, Иглесиаса. Виар сказал:

— Когда достигаешь известного возраста, все тропинки приводят к кладбищу. Куда ни глянь, могилы.

И слово «могилы» его пробудило: он вспомнил, зачем к нему пришел Муньес. С утра он готовился к этому свиданию. Он не может принять Муньеса как официального делегата правительства или партии. Муньес — старый товарищ, этого не вычеркнешь... И как забыть, что над ним только что стряслась беда?

— Мне рассказали о вашем горе.

Муньес отвернулся. Он скрывал от всех свою муку. В бессонные ночи он видел своего любимца, весельчака Пепе. Это было в полдень. Белые стены, белая пыль. Люди шатались от жары и усталости. Его нашли на чердаке, вывели и расстреляли.

Муньес почувствовал, что с него сняли кожу, заглянули внутрь; и от этого стало еще мучительней. Он молчал. Заговорил Виар:

— Мой друг, я вас понимаю. Три года тому назад я потерял жену. Это страшно — пережить близких! Очень страшно! Иногда спрашиваешь себя: к чему тянуть?..

Муньес еще не понимал, что̀ именно в словах Виара его возмутило; но он встал, прошелся по комнате и вдруг заговорил громко, как на собраниях:

— Я пришел за самолетами. Вы знаете наше положение. Если вы нам не поможете, нас задавят. Народный фронт — последняя ставка социализма. Неужели вы нас выда̀дите с головой? Я сейчас говорю как социалист с социалистом. Ведь осталось что-то с тех времен!.. Да, моего сына убили. Я об этом не хочу

говорить. Но они убивают каждый день... Сегодня мне сообщили о расстрелах в Кордове. Это иезуиты, изуверы! Они привезли марокканцев, самых отсталых, с колдунами, жгут, насилуют. Товарищ Виар!..

— Конечно, мы всем сердцем с вами. Лично я после мятежа не провел ни одной спокойной ночи. Я переживаю ваше горе, как свое. Но поймите — мы теперь ответственны за жизнь страны. Франция хочет мира. Это такая трагедия!.. Какое дело рядовому французу до политического строя чужой страны?

— Нам нужны не люди, но самолеты. А по прежним договорам вы продаете нам военное снаряжение...

— Будь это война с третьей державой, я не сомневался бы... Но это гражданская война.

— Значит, вы не имеете права поддерживать законное правительство против мятежников?

— Не совсем так... Все осложнено международным положением. За спиной Франко стоят Гитлер, Муссолини. Если мы дадим вам самолеты, дело может закончиться мировой войной.

— И вы предпочитаете нас выдать?

— Зачем так ставить вопрос? Вы сами понимаете, что мы хотим победы республики. Однако мы связаны по рукам и ногам. Продать самолеты мы не можем. Почему бы вам не обратиться непосредственно к промышленникам? Вы знаете, что я пойду на любой риск. Необходимо только соблюдать осторожность. Мы заявим, что ничего не дадим. Вы покупаете и вывозите. Мы закрываем глаза, прикидываемся, что не видим.

— Вы или не знаете положения вещей, или не хотите знать. Я здесь уже неделю. Результаты? Одиннадцать «А-68». И с каким трудом! Хорошо, что нас свели с Дюбуа. Наш товарищ...

— Инженер? Вот видите! А вы на нас нападаете. Я его знаю, прекрасный товарищ!.. «А-68» — превосходные бомбардировщики. Что же вам мешает достать еще?

— Нам не продают. Ни за какие деньги.

— Но что мы может сделать? В конечном счете это их право.

— Вы можете дать самолеты армии.

— То есть ослабить наш воздушный флот? Нет, дорогой товарищ, это невозможно! Что скажут радикалы? Из-за какого-нибудь десятка самолетов может

полететь кабинет. Тогда и вам будет хуже. Я повторяю: мы будем глядеть сквозь пальцы на все поставки. Мы можем организовать помощь беженцам, санитарные отряды, послать хлеб, сгущенное молоко для детей. Но рисковать войной? Нет!

Прокричав несколько раз «нет», Виар успокоился; он вытер платком лоб и позвонил.

— Чем вас угостить? Чай? Лимонад?

Муньес поднялся.

— Вы понимаете, что они заняли Медину? Они теперь соединились с армией Мола. Я не дипломат. И потом — мне шестьдесят четыре года... Товарищ Виар, я лучше уйду: боюсь, что скажу вам все, а меня на это не уполномочили... Меня послали за самолетами.

Он ушел. Виар шевелил нижней губой от обиды. Разговор оказался еще тяжелее, чем он предполагал. Дело испанцев проиграно; это поймет и ребенок: Двадцать самолетов ничего не изменят. Надо спасать Народный фронт во Франции. Одно неосторожное движение, и все полетит... Тогда Франко найдет здесь последователей. А выручит кто? Триста рабочих из Лана?.. Сумасшедшие! Они толкают нас в пропасть. Не коммунисты — свои! Конечно, Муньеса легко понять: шутка ли потерять сына? Но и другие... «Самолеты!» Будут проклинать Виара... А в чем его вина? Нельзя сохранить все принципы и править государством. С таким багажом завязнешь... Но почему Виар за это взялся? Хорошо быть обыкновенным человеком — проголосовал, продефилировал, сиди в беседке и слушай: птицы поют... Да, но кто-то должен управлять. Мало ли гнусных профессий: ассенизаторы, мясники на бойне, тюремщики... Виару стало жаль себя. Он сидел, сгорбившись, раздавленный этой жалостью, когда вошел секретарь.

— Вас просит к телефону Тесса — по срочному делу.

Тесса настаивал, чтобы Виар немедленно его принял; пришлось согласиться. Отвратительный день продолжался.

Тесса, с присущей ему фамильярностью, обнял Виара и сразу завопил:

— Берегись! Испания — осиное гнездо. Наполеон именно там сломал шею. А в семидесятом?.. «Испанское наследство»!

— Я не вижу связи...

— Не видишь? Напрасно! Если вы дадите самолеты красным, неминуема война. Гитлер не спустит, я уж не говорю о Муссолини.

— Во-первых, почему ты называешь Асанья и Хираля «красными»? Чем они «краснее» тебя?

— Дело не в Асанья. У кого винтовки? У рабочих. И при чем тут моя оценка? Для Европы это красные. Я повторяю: пахнет войной.

— Выходит, что мы не можем поддерживать торговые отношения с законным правительством?

(Виар, сам того не сознавая, повторял доводы Муньеса.)

— Это казуистика! Из-за политических симпатий вы пошлете народ на убой. Хороши правители! Необходимо отколоть Рим от Берлина, а вы их хотите спаять.

— Как же их расколоть, когда в Испании они работают рука об руку?

— Надо притвориться, что мы этого не видим. Пойти навстречу Муссолини. Тогда Италия вспомнит о своей латинской сущности. Франции сейчас нужны дипломаты, а не партийные фанатики. В испанском вопросе мы должны быть сугубо осторожны. Герцог Альба поработал в Лондоне. Англичане стоят за реставрацию. Альфонс или Франко — это деталь. Во всяком случае,Сити предпочитает генерала барселонским анархистам. В итоге Франция окажется одна... Ты знаешь, что я защищаю Народный фронт...

— Не заметил! Твоя речь по поводу забастовок...

— Я спас кабинет, вот что! Конечно, я критиковал твою политику, иначе я не мог: все возмущались. Но я предложил выразить доверие правительству. А ты знаешь, что тогда творилось в радикальной фракции? Мальви, Маршандо, Мейер, все в один голос: «Отставка!» Забастовки — дело прошлое. А теперь положение еще опасней. Мальви рвет и мечет: он ведь приятель всех этих испанских грандов. Слушай, Огюст, я тоже предпочитаю Асанья генералу Франко. Я вообще глубоко штатский человек, демократ. Но меня никто не спрашивает. Да и тебя не спрашивают. От нас хотят одного: сидите тихо и не вмешивайтесь.

— Но они-то вмешиваются.

— Я в таких случаях отвечаю: что можно быку, того нельзя Юпитеру. Итальянцы лезут на рожон, да и немцы. Поскольку мы не хотим войны, нам остается одно: промолчать. Все равно, если вы дадите Мадриду

сто самолетов, они пришлют Франко пятьсот. Глупо играть с огнем!

— Мы не можем запретить отдельным предпринимателям продавать самолеты в Испанию.

— Опять казуистика? Огюст, это не парламентские комбинации, осторожно, это пахнет кровью! Я говорю с абсолютной уверенностью, слышишь, с абсолютной: они пойдут на все. Хитрить не приходится. Если ты пропустишь хотя бы один самолет, вспыхнет война. Я знаю, что ты искренне ненавидишь войну, поэтому я пришел именно к тебе. Это мой крик. Это крик всех французских матерей, это крик Франции!

— Конечно, я сделаю все, чтобы сохранить мир.

— Я это знаю, но твои враги работают. Среди радикалов полное смятение. Мальви кричит, что ты не хочешь считаться с национальными интересами. И его слушают. Я уж не говорю о правых. Конечно, Бретейль — дурак и помешанный. Мы не испанцы, мы — передовой народ. У нас такой режим невозможен. Но Бретейль пользуется огромным влиянием. Вчера он заявил, что посадит тебя на скамью подсудимых как одного из зачинщиков войны. Я убежден, что ты расстроишь их игру. Я так и отвечаю: «Виар — порука невмешательства». Успокой и ты меня: я хочу услышать твердое «да».

Тесса размахивал руками; отбегал в дальний угол и оттуда повторял, как заклинания, свои тирады; потом подбегал вплотную к Виару, обдавал его брызгами слюны. Виар сохранял спокойствие, даже улыбался. В нем неожиданно проснулась стойкость. Тень Муньеса, казалось, присутствовала в кабинете. На том самом месте, где фиглярствовал Тесса, час тому назад стоял затравленный судьбой, но гордый Муньес. И Виар, говоривший со своим старым товарищем как бездушный дипломат, теперь, перед угрозами Тесса, пытался сохранить свое достоинство. Он даже забыл о стратегии. Когда Тесса потребовал ясного ответа, он сказал: «Я выполню мой долг», — и большего Тесса от него не добился.

А когда Тесса ушел, Виар в изнеможении прилег на короткий диван, подогнул ноги и стал мучительно думать: как быть? Мешала сильная головная боль и тошнота. До чего Тесса гнусен! Визжит, плюется... Неужели женщины могут его любить?.. Да, но Тесса подослали. Правые радикалы. Может быть, Бретейль. Может быть, итальянцы из посольства. Сложная

игра!.. Это правда, что они лезут на рожон. Значит, война?.. Но что скажет народ? Он, Виар, сорок лет обличавший войну, пошлет миллионы людей на смерть. А в Испании уже убивают...

Закрыв глаза, Виар увидел трупы среди камней, покрытые большими мухами, развороченные тела, развороченные дома. Что же делать?.. Тесса сказал: ни одного самолета! Да, радикалы могут выйти из кабинета. И, забыв о бедствиях войны, Виар погрузился в привычную ему арифметику: подсчитывал, сколько голосов соберет правительство в испанском вопросе. Конечно, меньшинство! Тогда радикалы пойдут на соглашение с правыми: от Тесса до Бретейля. Это начало конца: для Бретейля такой кабинет будет коротким этапом. Он мечтает о диктатуре. А теперь шестое февраля куда страшнее... Лавочники и кулаки, испуганные забастовками, пойдут за Бретейлем. Распустят социалистическую партию. Верховный суд; судят Виара: «Он пытался вызвать войну». Ведь достаточно им сбить один самолет, чтобы все раскрылось... Прокурор говорит: «А-68» при содействии Виара...» Нет, с такими вещами не шутят!

Виар томился до десяти часов вечера, не зная, на что решиться. Наконец, жмурясь от головной боли и тоски, он вызвал начальника секретной полиции.

— Мне сообщили, что инженер Пьер Дюбуа пытается переправить в Барселону одиннадцать бомбардировщиков «А-68». Это может вызвать международные осложнения. Необходимо задержать самолеты. Вы считаете это выполнимым?

— Вполне. Они должны находиться на одном из аэродромов «Сэна» — здесь или в Тулузе. Я сейчас же распоряжусь.

Когда начальник полиции ушел, Виар снова лег на диван. Он принял две таблетки от головной боли. От лекарства все в нем оцепенело; с трудом он шевелил рукой, ныло под ложечкой, а ногам было холодно. Он старался ни о чем не думать: теперь все сделано, надо ждать. Все же слово «предательство» пришло и, придя, не хотело отвязаться. Он говорил себе: «Вздор! Я никого не предаю. Дело испанцев все равно проиграно. Одиннадцать самолетов против двухсот... Дети! Как рабочие Лана... Я спасаю тем самым Народный фронт. Нашу партию. И мир. Я выполнил мой долг. И только». Он уговаривал себя, как уговаривает мать пуг-

ливого ребенка. Но снова из густой синевы (он погасил свет) выплывало то же длинное слово, похожее на черную скользкую рыбу.

Вдруг он вспомнил пограничный поселок Сервера: когда-то он часто бывал там. Один раз с отцом Пьера... Розовые дома на уступах горы, лодочки рыбаков, виноградники, большой шумный вокзал. И сладкое вино, вроде муската... Вот в Сервере его будут благословлять. Ведь рядом — война; стоит только подняться на горку или пройти короткий туннель. Рядом — разрушенные дома, женщины в слезах. А в Сервере матери скажут: «Виар спас мир, Виар спас наших детей, Виар...» И он уснул, повторяя свое имя.

27

Пьер кричал:

— Это невозможно! Я позвоню Виару...

Они стояли у фонаря под проливным дождем. Казалось, нескончаемый поток готов затопить все. Доски поплыли. С плаща комиссара текли струи воды.

— Приказ из Парижа. Наверно, они согласовали с министром...

А в Мадриде ждут!.. Сегодня радио сообщило о новом продвижении фашистов. Пьер попытался связаться с Парижем. Он долго стоял у телефона. На конторке спал жирный кот. Дождь шумел. Наконец Пьера соединили с секретарем Виара. Секретарь был любезен и холоден: «Я передам господину министру... Господин министр занят... Не думаю, чтобы господин министр захотел вмешиваться в действия полиции...» Пьер понял бесцельность разговора и положил трубку. Он смутно подумал: «А ведь секретарь тоже социалист!..»

— Я выеду в Париж с первым поездом.

Комиссар не ответил. Пьер пошел в маленькое кафе возле вокзала. Люди, входя, отряхивались; внутри был уют, присущий всякому крову в непогоду.

Пьер был занят своими мыслями; он не сразу понял, когда хозяйка спросила, что ему подать. Сначала все вертелось вокруг Мадрида. Он видел кружок карты с четырьмя направленными на него стрелами. Муньес сообщил, что одиннадцать «А-68» завтра будут в Барселоне. Там приободрились, ждут... И вот все сорвалось! Неужели Виар?.. Он возмутился своей низостью:

заподозрить Виара!.. Он выпил рюмку коньяку; без остановки курил; старался слушать разговор за соседним столиком — о какой-то Мари, которая отравила кроликов соседа; слушал дождь; вспоминал то глаза Аньес, то мутный фонарь среди водяных потоков. Но ничто не помогало: мысли снова возвращались к Виару. Подозрения были мучительными и глухими, как начало тяжелой болезни. Он вспоминал едкие слова Мишо, рассказы Муньеса о том, как его приняли социалисты. Нет, все это вымысел!.. Может быть, он заболевает? Его знобило в горячей сырости комнаты. До поезда оставалось еще два часа. Он пробовал дремать, читал в газете объявления о продаже мулов и телок, припоминал разрозненные строки стихов. И опять показывалось лицо Виара — он улыбался на трибуне, под красным флагом... Что же случилось? Да просто секретарь — ничтожество, чинуша. А полиция саботирует. Почему Виар не разогнал полицейских? Это, как на подбор, фашисты. Комиссар называл испанское правительство «красными» и презрительно усмехался. Из шайки Бретейля!.. Наверно, комиссара снимут. Вот только обидно, что потеряны сутки. А те ждут, ждут... Какая тоска!

В кафе теперь было тихо: одни разошлись, другие, в ожидании ночного поезда, дремали. Дремала и толстуха хозяйка, прижав к животу моток зеленой шерсти. В углу рабочий что-то доказывал товарищу, макая хлеб в красное вино. Пьер прислушался.

— Теперь все дело в Испании. Я поеду. Увидишь, что поеду. Надо помочь, не то и нам крышка...

Пьер сдержал себя: хотелось подойти, пожать руку или крикнуть: «Правильно». Он только улыбнулся; рабочий понял и в ответ хитро подмигнул.

Приехав в Париж, Пьер тотчас направился в министерство. Ему сказали, что министр занят. Два часа Пьер просидел в приемной, среди просителей; это были по большей части социалисты, которые хотели выпросить у Виара кто орден Почетного легиона, кто синекуру. Дамочка, нервничая, щебетала: «Я ведь его знала, когда он был агитатором. Мне он не откажет...» Виар ее принял; принял и других посетителей; а Пьер все ждал. Потом ему сказали: «Министр уехал завтракать, вернется в три часа».

Пьер просидел на скамье бульвара до трех. Кругом шла обычная жизнь. Мастерицы закусывали хлебом

с куском шоколада. Дамы рылись в ворохах шелка, выставленных возле магазина. Переругивались шоферы такси. Старики кормили воробьев. Гиды показывали флегматичным англичанам достопримечательности. Маклеры передавали друг другу последние биржевые курсы. Никому не было дела до Мадрида. А Пьер, томясь, думал: «Неужели возьмут Талаверу?..» Стрелка часов как будто уснула; Пьеру казалось, что он просидел здесь весь день; но еще не было трех.

Позавтракав, Виар вернулся в министерство. Пьер по-прежнему сидел в приемной. Теперь он был один; прием закончился. Наконец к нему вышел секретарь.

— Господин министр просит извинить его: он занят срочной работой. Он поручил мне переговорить с вами.

Пьер начал рассказывать о самоуправстве комиссара. Секретарь его перебил:

— Господин министр в курсе дела. Мы — социалисты и можем говорить откровенно... Положение очень тяжелое. Приходится выбирать. Если мы придем на помощь испанцам, мы можем потерять все: война, а внутри — торжество фашизма.

— Но Франко в Мадриде — это Бретейль здесь!

— Не думаю. Испания — отсталая, полуфеодальная страна, окраина Европы. Что важнее? Отстоять Испанскую республику, искусственно созданную, не имеющую корней, или спасти дело социализма в передовой стране? К тому же это — наша страна. Господин министр решил придерживаться политики строгого невмешательства.

Тогда Пьер потерял голову. Тоска последних недель — от бури в бретонском поселке до скамьи бульвара и смеха равнодушных людей, бессонная ночь, с мучительной надеждой на честность Виара, тревога за Мадрид,— все вылилось в одном крике:

— Господин министр?.. Иуда!

Это было настолько неожиданно, что секретарь переспросил:

— Простите, я вас не понял?..

Но Пьер уже сбегал по лестнице, устланной малиновым ковром, сопровождаемый насмешливыми взглядами лакеев: «Не вышло у тебя с теплым местечком!..»

Напрасно Пьер метался по улицам в жажде опомниться. Боль была слишком острой; ее ничем нельзя

было умерить. Он больше не гадал, как мог его кумир столь низко пасть. Он только ощущал ужас потери, пустоту, которая мешала вздохнуть. Значит, права Аньес, и все, чем он жил,—иллюзии, хитрые сети для простодушных, круговая порука притворства? Его обобрали. Еще час тому назад он верил в доброту людей, в чувство товарищества, в дело, которым жил. Как он покажется на глаза Муньесу? Талавера...

И, вспомнив об Испании, он очнулся: нет, не все в мире переменилось за этот проклятый час! По-прежнему подростки Мадрида борются. У них нет «А-68», только охотничьи ружья... Пьер поедет туда, там умрет. И мысль о смерти показалась выходом.

Он догнал автобус: скорее к Мишо! Мишо ему скажет, как пробраться в Мадрид.

Мишо понял все сразу.

— Задержали?

— Да. Ты знаешь кто? Виар. Понимаешь? Я с ума схожу... Поеду туда. Ты мне в этом помоги. А о нем я и говорить не хочу. Зачем говорить?..

Мишо почувствовал, как тяжело Пьеру; он молча пожал ему руку. Они стояли у окна. Внизу дети играли в чехарду.

Потом Мишо заговорил:

— Муньесу предлагают три «потеза». Он ничего в этом не понимает. Ты у нас единственный специалист. Я понимаю, что тебе обидно... Мы теперь набираем... Может быть, и я поеду. А тебе нельзя. Без тебя здесь все сорвется.

Пьер не возражал. Хорошо. Завтра он поедет на аэродром. Хорошо, он останется. Вот закрылась и последняя лазейка!..

И, выйдя на улицу, Пьер растерянно поглядел по сторонам. Куда идти?.. Он сам потом не мог понять, зачем поплелся через весь город, к Андре, что искал в неуютной, запущенной мастерской на улице Шерш-Миди?

Полгода прошло с их последней встречи; Пьеру казалось—десятки лет. Тогда он еще был желторотым...

— Как живешь, Андре?

Что мог Андре ответить? Рассказать о том, как потрясли его события грозного лета, как он нашел и потерял Жаннет?

— Вот начал натюрморт, а не получается.

Пьер с изумлением посмотрел на приятеля:

— Ты все тот же, Андре. Помнишь, как я тебя затащил в Дом культуры?

Андре посвистел и спросил:

— Ты знаешь, что Люсьен в Испании?

— В газете было. Его назначили консулом.

— Что ты? А я думал, он сражается...

Пьер усмехнулся: ребенок, как тот, давнишний Пьер!.. Он стал рассказывать про Виара; как всегда, он жил вслух. Ему хотелось, чтобы даже холсты на стенах заклеймили предателя. Но Андре молчал. Пьер спросил в запальчивости:

— По-твоему, это можно понять?

— Можно.

— Понять такое притворство? Он мне рассказывал, что хотел, вместе с моим отцом, спасти одного испанца. А теперь он их всех выдает. И это понять? Понять предательство?

— Вспомни портреты Гойи...

Пьер кричал вне себя:

— Вот твое искусство!.. Да разве вы люди? Вы смакуете всё: кровь, горе, тухлятину. Как навозные жуки!

Он выбежал на площадку лестницы и оттуда крикнул:

— Прости. Я зайду в другой раз...

И только когда он ушел, Андре разобиделся. Он вышел на лестницу, но Пьера уже не было. И Андре грустно запыхтел трубкой. Почему Пьер его обругал? Он сказал: «Можно понять». Конечно... Он такого Виара насквозь видит. А Люсьен?.. Трясогузка! Хорошо бы жить с собаками! Конечно, и они дерутся, шерсть вырывают, но без красивых фраз, и на том спасибо! А Пьер его зря обидел: предательства он не любит...

Для Пьера пошли трудные дни. Он работал на заводе с ненавистью: зачем ломать себе голову — эти моторы пойдут Франко, Бретейлю! Три «потеза» удалось переправить; месяц спустя достали два истребителя; все это было каплей в море. Мадрид слал отчаянные телеграммы. Французская полиция не спускала глаз с самолетов. А со столбцов газет глядело благородное лицо Виара. Он говорил о невмешательстве как о высоком подвиге: «Мы спасли мир!» Он пожертвовал пять тысяч на молоко для испанских детей, оговорив: «Для всех детей». Пьер в тот день сказал Аньес: «Как я ни люблю ребят, а кажется, будь у Виара ребенок, я бы его задушил...»

Немецкие бомбы, что ни день, крошили дома Мадрида. На парижских стенах появились плакаты с фотографиями детей, искромсанных, изуродованных. Аньес говорила: «Не могу смотреть! Это пытка...» Пьер молчал: его пытали давно. Франко взял Толедо; он подходил к Мадриду. Одни газеты прославляли фашистов, защитников Алькасара; другие рассказывали, что марокканцы в Толедо прирезали сотни раненых. Жолио писал: «Наша старая французская мудрость охраняет нас от таких бедствий». Приятельницы Бретейля готовили вечера в честь взятия Мадрида. А испанцы не сдавались.

Пьер ощущал предательство Виара как общее предательство: свое, Аньес, Франции. И предательство становилось неотвязным запахом, привкусом, которого не перебить. Пьер ненавидел Париж за то, что Париж живет, не поступившись ни одной из своих привычек: те же кафе, переполненные в час аперитива; те же политические дебаты и карты — бридж или покер; те же мюзик-холлы с голыми актрисами; ни сирен, ни бомб, ни даже скупой слезы, ничего...

Открылись школы. Кричат ребятишки с новенькими папками и пеналами. Пьер знает, чем оплачен этот беззаботный смех: сражаются в предместьях Мадрида. На парижских бульварах — позднее золото каштанов. Сезон охоты; в имение маркиза де Шамбрена пригласили Тесса; он подстрелил фазана, а потом исчез с молоденькой горничной. Об этом рассказывают в кулуарах палаты. А Виар не любит охоты; он не может видеть кровь: пацифист. И Пьер злобно говорит: «Почему не вегетарианец?..»

Только Мишо не унывает: скоро в Испанию уедет первый отряд добровольцев. Пьер смотрит на Мишо то с восхищением, то с завистью: вот человек! Как он сказал?.. «Победить труднее...» Кажется, и Пьер начинает это понимать.

28

Дипломатическая карьера не пришлась по вкусу Люсьену. Правда, служба занимала мало времени, но он не знал, что делать с досугами. Он равнодушно глядел на пышные фасады Возрождения, на студентов и мулов. Он не мог жить без парижских кафе, с их

бесцельными спорами, без сплетен и драм, знакомых, как свой мундштук, своя кровать. И Люсьен собирался уже пренебречь приличным окладом, когда испанские события неожиданно увлекли его. Снова этот человек, похожий на дорожные сигналы, которые как бы вспыхивают от света фар, решил, что нашел истину.

Мятеж увлек Люсьена прежде всего своими внешними эффектами; минутами Люсьену казалось, что он присутствует на постановке старой мистерии. Люди с удлиненными аскетическими лицами убивали и жгли нечестивцев; некоторые, потрясая крестами, обручались со смертью; отовсюду выползли калеки, которых в Испании не сосчитать, горбуны, слепые, юродивые; женщины в мантильях обнимали пулеметчиков, и над ручными гранатами распускались кружевные веера. Все это было для Люсьена необычайным, привлекало пестротой, безвкусицей, приподнятостью тона.

Он познакомился с одним из руководителей фаланги, худым, унылым майором, Хосе Гуарнесом. Это был человек исступленный и в то же время холодный. Он днем расстреливал, по ночам проповедовал. Люсьен с изумлением видел, что испанский офицер повторяет его затаенные мысли. Хосе говорил о священности иерархии, о великолепии неравенства, о подчинении толпы уму, таланту, воле. И Люсьен вспоминал свое парижское унижение, тупицу из «Юманите», посредственность Пьера, Пьеров, арифметику выборов, свое превосходство, никем не оцененное. Фалангисты огнем добились признания. Хосе пишет памфлеты, не считаясь с мнением портных или землекопов. Люсьен всегда говорил, что старый мир можно опрокинуть только смелостью единиц: заговором. Коммунисты в ответ смеялись; они толковали о воспитании народа, об активности масс. Они живут прошлым: Маркс, Коммуна, демократия, прогресс... Все это хлам! Как они не видят, что марксизм связан с «Декларацией прав», с энциклопедистами, с верой в науку, с отвратительной идеей о положительном начале человека? Общество не четырехугольное здание, как этот дом, но пирамида! Фашизм несет новые нормы: восторг перед физической силой, вместо книг — спортивные рекорды, вместо докладов и дебатов — вооруженный захват правительственных зданий, вместо выборов — автоматические ружья.

Было в словах испанца еще нечто, вдохновлявшее Люсьена: культ смерти. Давно, после смерти Анри,

Люсьен понял значительность небытия, его власть над всеми реакциями молодого и живого сердца. Он написал об этом роман. Увлечение коммунизмом было опиской: он на минуту заразился чужим весельем, детской суматохой, раболепным отношением к молодости. Для Хосе, как для Люсьена, смерть была не только предметом раздумий, но абсолютной ценностью, коррективом к случайной и поэтому шаткой жизни.

Люсьен отдался новому увлечению; и когда майор предложил ему съездить в Париж, чтобы связать фалангистов с Бретейлем, он сразу согласился.

Он даже не запросил Париж или посольство; он не хотел думать о службе: это его унижало. Поехал он через Хаку. Автомобиль несся по петлистым дорогам, среди рыжих раскаленных гор. Ни деревца, ни человека! Пейзаж отвечал чувствам Люсьена; смерть ему представлялась родной сестрой — рыжей и горячей.

Какими ничтожными, после испанской феерии, предстали пред ним поля Франции, ее мирные дела, разговоры о платных отпусках и налогах! Все процветали, и в первый же день он услышал проклятую присказку: «Все образуется».

Отец встретил его с распростертыми объятиями: теперь Люсьен был не блудным сыном, но дипломатом (Люсьен благоразумно не рассказал отцу, зачем он пожаловал). Тесса не стал расспрашивать сына о положении в Испании: он считал, что победа Франко предрешена, остальное его не занимало. Зато он посвятил Люсьена в свои планы. Его выбрали председателем комиссии по иностранным делам. Тесса изучает секретные донесения дипломатов: в нужную минуту он выступит с громовой речью и свалит кабинет.

Люсьен зевнул: опять парламентская кухня!..

Бретейль знал, как разговаривать с разными людьми: он был груб с «верными» типа Грине, он умел соблазнять депутатов, даже льстить им; с Люсьеном он держался как с равным; и Люсьен расцвел — наконец-то его поняли! Сначала они говорили об агитации: мятеж Франко должен стать примером. Бретейль собирал деньги на золотую шпагу, которую хотел торжественно вручить защитнику Алькасара полковнику Москардо. Потом Бретейль заговорил о черной работе, о транзите вооружения, о посылке в Бургос летчиков, о связи — материалы разведки, работавшей в Барселоне, шли через Париж. Бретейль спросил:

— Когда вы уезжаете?

— Не знаю.

Бретейль положил свою сухую, как бы пергаментную, руку на руку Люсьена.

— Я старше вас, но жизнь нельзя измерять календарными годами. Вы знаете, что такое настоящая ненависть... Зачем вам возвращаться в Испанию? Все решится здесь.

— Заговор?

— Да.

Бретейль рассказал об отрядах «верных».

— Вам предстоит сыграть крупную роль. Ваш отец...

Люсьен вспыхнул:

— У меня нет ничего общего с отцом!

— Я вас понимаю. Но ваш отец теперь председатель парламентской комиссии. От меня они многое скрывают... Благодаря вам мы сможем вести игру, зная карты противника. Конечно, это менее романтично, чем битва за Мадрид. Но всему свое время...

Люсьен кивнул головой. Прощаясь, он сказал Бретейлю:

— Вы знаете, почему я согласен на все? Даже на это... Есть судьба у каждого поколения. Если хотите — это исторический фатализм... Мы принимаем смерть не как распад клеток, не как бесцельное вращение материи, не как переход в загробный мир, но как высокое индивидуальное творчество.

Бретейль поглядел на рыжего красавца и грустно ответил:

— Может быть, вы правы. Но я не могу отказаться от веры в личное бессмертие. У меня умер сын...

Люсьен чуть было не поссорился с отцом: Тесса, узнав, что сын пренебрег дипломатической карьерой, топал ногами, визжал. Люсьен не мог изложить ему своих резонов; а тут еще пришлось выпросить у отца несколько тысяч...

Постепенно тускнели испанские картины. Заговор казался Люсьену игрой: ни плана, ни точной даты. Бретейль отвечал: «Надо ждать». А друзья Хосе уже подходили к Мадриду... Люсьен аккуратно знакомился с содержимым различных папок на отцовском столе и представлял Бретейлю сводки. Но занимало это немного времени, и скука караулила Люсьена в коридоре родительского дома, в передней Бретейля, на людной вечерней улице.

Стараясь как-нибудь убить время, Люсьен не отказывался ни от одного приглашения, танцевал, рассказывал небылицы, ухаживал за девушками. В него влюбилась дочь крупного заводчика Монтиньи. Жозефина была пухлой хохотушкой; ее прельстил романтический облик Люсьена, рассказы о фанатизме испанцев, то, как среди светского разговора он неожиданно замолкал и, глядя в одну точку, смутно улыбался. Когда Тесса передали о флирте сына, он просиял: Люсьен не так уж глуп, если променял место вице-консула на богатую невесту!

Жозефина ждала объяснения, назначала свидания в пустых кондитерских или в Булонском лесу. Но Люсьен будто не замечал ее чувств. Как-то, не вытерпев, она взяла Люсьена за руку. Это было в яркий осенний день, в кровавой и медной аллее. Вдалеке амазонка щелкала бичом. Жозефина, вся покраснев, отвернулась, Люсьен осторожно высвободил руку.

— Давайте говорить откровенно. Вы мне нравитесь. Потом, вы богаты. А я вчера заложил часы... Но все-таки я вас пальцем не трону. Вам двадцать три года. Вы все время смеетесь. А я?.. Я, как мой приятель Хосе, обручился со смертью.

29

Узнав, что Люсьен больше не встречается с Жозефиной, Тесса приуныл: из этого шалопая ничего не выйдет! Но его ждал новый удар. Он дремал над докладом римского посла, когда в его кабинет вошла Дениз. Он обрадовался: все это время он почти не видел своей любимицы. Амали говорила, что Дениз хворает, не в духе. Тесса понимал, что Дениз на него сердится с того вечера, когда он рассказал ей о своем парламентском успехе. Ах, эта политика!.. Она ему испортила все лето. Амали не поехала на воды, заявив, что не хочет оказаться в своем любимом Виттеле «вместе с чернью». Люсьен неожиданно вернулся из Испании. А Дениз... Может быть, она и вправду больна: бледная, под глазами круги. Он хотел спросить ее о здоровье, но не успел.

— Я уезжаю: буду жить отдельно.

Тесса даже завизжал от негодования:

— Вот как!.. С кавалером?

— Нет, одна.

Тесса изумленно посмотрел на дочь. Наверно, больна!.. Он постарался сдержать себя; стал вежливым, иронией скрывая чувства:

— Может быть, ты соблаговолишь объяснить мне причины?

— Я думала, что ты сам понимаешь — после того разговора... Я не могу иначе, не хочу жить на твои деньги.

Тесса вышел из себя:

— Предпочитаешь перейти на содержание к какому-нибудь тунеядцу вроде твоего брата?

— Я знала, что тебе нельзя объяснить... В этом, может быть, твое оправдание. Люсьен кругом виноват потому, что мог бы жить иначе. А ты все делаешь естественно: берешь деньги, покрываешь негодяев, травишь испанцев. И теперь так же естественно меня оскорбляешь. Лучше не будем говорить.

— Погоди! Куда ты идешь?

— К себе. Я сняла комнату.

— На деньги мамаши? То есть на мои?

— Нет. Я работаю в конторе.

— Сколько же тебе платят за твои ученые труды?

— Восемьсот франков в месяц.

Тесса деланно засмеялся:

— Очень пышно! Стоило тебя учить! Погоди!..

Он растерянно схватил ее за руку, как ребенка. Жалость сменила гнев. Несчастная! Все это нервы. Девушке пора замуж. Он давно говорил Амали...

— Дениз, брось глупости! Тебе нужно отдохнуть, полечиться. Это обыкновенная неврастения. У меня в молодости бывали такие же припадки... Погоди!

Но Дениз ушла. Он нагнал ее в передней, стал совать в руку деньги:

— Возьми, сумасшедшая!.. Прошу тебя, возьми! Ради меня!..

Дениз ушла, не взяв денег. Тесса вернулся в свой кабинет, лег на диван и вдруг заплакал. Слезы его самого удивили: плакал ли он когда-нибудь?.. Глупая девочка! Ведь она погибнет. Разве можно прожить на восемьсот франков? Месяца не выдержит, сойдется с кем-нибудь за пару чулок, пойдет по рукам. А все из-за этой проклятой политики!.. Зачем он только занялся таким делом?..

Выйдя из постылого дома, Дениз сразу почувствовала облегчение. Слывшая необщительной, «сурком», она не переставала улыбаться. Корректная нищета,

с которой ей пришлось познакомиться, не сломила ее веселья. Брюзгливый бухгалтер насмешливо звал ее «наша птичка». В темной конторе, где с утра зажигали электричество, над письмами о тоннах английского антрацита, Дениз улыбалась. Улыбалась она и дома: она сняла чердачную комнату в маленькой гостинице. На темной винтовой лестнице пахло сыростью и дешевой пудрой. В крохотной комнате с грязными обоями едва помещалась кровать. Но даже эта каморка казалась Дениз прекрасной, и впервые мутное зеркальце, висевшее на стене, отражало лицо, полное веселья.

Решения Дениз медленно созревали. Был один из первых вечеров весны, когда, познакомившись с Мишо, она смутно почувствовала начало своего освобождения. А теперь осенний дождь стучал ночь напролет о чердачное оконце. Нужны были все события этого лета, беседы с Мишо, долгие размышления, чтобы Дениз наконец-то нашла себя. Но и забавно нахмуренный лоб и улыбка говорили, что решение ее бесповоротно. Так настал вечер, когда, встретившись после долгого перерыва с Мишо, она просто сказала:

— А теперь о «поступках»... Я хочу что-нибудь делать для испанцев. Вечера у меня свободные.

Они шли по бульвару Себастополь. Стоял плотный туман, первый туман парижской осени. Фонари, среди желтых облаков, казалось, плыли. Ничего нельзя было разобрать, и прохожие налетали друг на друга. К морской сырости примешивались запахи жареных каштанов, духов, гари. А красные буквы «Фрегат», «Лип», «Цветы» то показывались в клубах дыма, то исчезали.

— Я вам хотел позвонить.

— У меня теперь нет телефона. Я переехала.

Он все понял и сжал ее руку. Она засмеялась; веселые глаза мелькали в тумане, как буквы вывесок.

Они пришли в комитет. Там слышалось одно слово: «Мадрид». И кто только его не повторял: подростки, мечтавшие о боях, женщины с грудными детьми, принесшие сюда скудные сбережения, отдавшие последнее матерям Мадрида, рабочие, художники, официанты, студенты, иностранцы. В эти две тесные комнаты, украшенные планом Мадрида и бумажным флагом Испанской республики, прибегала затравленная, но живая совесть Парижа. Со страхом говорили: «Подходят к Мадриду»,—утешали себя надеждой: «Отобьют!»; предлагали деньги, руки, жизнь.

Дениз договорилась: она будет приходить сюда каждый вечер. Мишо улыбнулся, услышав, с какой простотой она ко всем обращалась: «Товарищ»,— будто всю жизнь так говорила.

Он пошел ее проводить. Купил каштаны; она грела каштанами иззябшие пальцы и рассказывала о своей жизни:

— Бухгалтер ужасный ворчун: «Снова я из-за вас посадил кляксу!» А заведующий—фашист и подлец. Уверяет, что они уже взяли Мадрид. Мне он предложил: «Пойдем в кино». Намекнул, что от него зависит повысить жалованье или прогнать. Я ему ответила, что у меня ревнивый любовник, который стреляет без промаху. Сразу отстал.

Они смеялись: им было весело—в этакий туман, когда не знаешь, куда ступить, они нашли свое счастье.

А потом Мишо сказал:

— Послезавтра уезжаю.

— Туда?

Он кивнул головой.

— Мишо, вы вернетесь?

Он молчал.

— Я знаю, что вы вернетесь.

Он не отвечал: ему вдруг стало грустно. Почему все вышло так нескладно?.. Ведь они встречались, разговаривали, а о чем-то не поговорили... Теперь он уезжает...

— Мишо, я хочу, чтобы вы вернулись.

И Мишо, снова повеселев, сказал:

— Конечно, вернусь. Победим, и вернусь. А тогда...

Вот и гостиница! Маленький красный огонек еле виден; они чуть было не прошли мимо. Простились они просто, как всегда. Но Дениз вдруг оглянулась, кинулась к Мишо и неловко поцеловала его в щеку. Когда он опомнился, ее уже не было. Он долго стоял один и улыбался. Плыл туман, весь пронизанный светом.

30

В тот вечер, когда рабочие «Сэна» собрались, чтобы отпраздновать отъезд своих товарищей в Испанию, газеты сообщили о заявлении советского представителя в лондонском комитете. Несколько строк

сухой телеграммы взволновали рабочий Париж. На улицах, в метро, в кафе люди говорили: «Теперь испанцы не одни!»

Мишо чувствовал себя именинником: к радости отъезда прибавилась другая — торжество идеи, которой он посвятил жизнь; и, волнуясь, он начал свою речь:

— Как долго это было только мечтой! О чем мечтал затравленный Бабеф, вдохновляя санкюлотов Сент-Антуана? Перед казнью он сказал судьям: «Наша революция только предтеча другой, более великой и прекрасной!» В сорок восьмом блузники умирали под пулями гвардейцев: «Работа или смерть!» Коммунизм для них был смутной мечтой, волшебным хлебом, сказочными мастерскими; и отцы, умирая, говорили детям: «Придет социальная!..» Суеверно они не называли ее по имени. А дети подняли знамя Коммуны. Форты Парижа защищались, как теперь Мадрид. Версальцы расстреляли десятки тысяч лучших; и, ожидая пули, пленные в оранжереях Версаля кричали: «Она придет!» Это было мечтой. За нее умирали стачечники Фурми. За нее погиб Жорес. О ней бредили солдаты в казематах Вердена, в окопах Шампани. Эта мечта стала жизнью, страной, огромным государством. И этого больше ничто не скроет, не вычеркнет. Мы идем сражаться не за то, что может быть, но за то, что существует.

По приказу Блюма и Виара граница была закрыта. Однако каждый день сотни добровольцев пробирались через Пиренеи. Одни в поезде, с бумагами торговых представителей или журналистов, другие пешком, по горным тропинкам.

Вместе с Мишо поехали еще восемь рабочих, для которых достали соответствующие документы. Мишо ехал как специальный корреспондент «Ла вуа нувель» — бумажку раздобыл Пьер. Девяносто четыре добровольца отправились в Перпиньян; оттуда их должны были перебросить в Каталонию.

Поезд отходил в восемь часов вечера. На подземном вокзале Орсэ собралось много провожающих. Возле вагонов первого и второго классов стояло несколько человек; смеялись молодожены; старичок покупал журнал с голой женщиной на обложке; дама в окне нервно теребила букет. Носильщики подбрасывали чемоданы с пестрыми наклейками гостиниц всего

мира. Уезжали коммерсанты, парижанки, решившие отдохнуть на юге от осенних туманов, чиновники, направлявшиеся в Алжир. Кое-кто говорил об испанских событиях: «Мадрид не сегодня-завтра возьмут. А тогда все успокоится...»

Возле вагонов третьего класса стояла необычная толпа. Здесь тоже были цветы — красные розы и гвоздики; среди дыма они казались крохотными флагами. Пришли друзья, товарищи, матери и жены добровольцев. Сказанные вполголоса слова любви и верности перебивались радостным гулом: «Теперь не возьмут Мадрида», криками, песнями. Дениз затерялась в толпе, и только когда кондуктор крикнул «садиться», она пробралась вперед и, взяв Мишо за рукав, тихо сказала:

— Я буду ждать.

Раздался свисток, и на платформе поднялись кулаки, и кулаки показались из окон четырех вагонов, а возле вагона первого класса дама вскрикнула: «Какой срам!» — Дениз махнула платком. Сквозь туман она увидела Мишо; он кричал: «И еще как!..» Старуха, мать одного из добровольцев, плакала навзрыд; а в черноте туннеля мелькали красные огни, и оттуда неслась песня новой войны.

Мишо так устал за все последние дни, что сразу уснул. Сквозь сон он слышал грохот колес, споры, названия станций. Он проснулся на рассвете, возле Нарбонны. Поезд проезжал мимо серых озер с безлюдными берегами, поросшими ивняком. Над неподвижной водой низко кружились птицы. Потом вода стала розовой от солнца. И Мишо, ни о чем не думая, жил в эти минуты Дениз, теплотой ее руки, ее последними словами. Было это не грустью, но большой тишиной.

Вот и море! До чего оно спокойное!.. Все здесь создано для счастья: и виноградники, и южное солнце, и легкие сети рыбаков. Но война — рядом, за теми горами. Все в вагоне проснулись. Жадно смотрят люди на горы, то лиловые, то кирпично-красные: за ними — судьба.

Испанские пограничники, встречая почти пустой поезд (остались только добровольцы), подымают кулаки. Рядом с первыми развалинами ребята насвистывают «Марш Риего», беспечный и печальный.

Шесть недель спустя лейтенант батальона «Парижская коммуна» Мишо с сотней французов защищали маленькую полуразрушенную деревушку близ

Мадрида. Они пришли сюда за час до рассвета. Кругом была кастильская сьерра, подобная окаменевшему морю. Как не походили эти люди на окружавший их пейзаж! Все в них было другим: и веселые подвижные лица, и шутки, и картавая речь. Они не могли слиться с жестокой и прекрасной землей, с жителями, полными важности, суровости, скрытого исступления. Дети насмешливого и ребячливого Парижа, они чувствовали себя чужестранцами; только вера в общее дело и сердечность испанцев смягчали эту тоску.

Фашисты начали наступление около семи часов утра, после короткой артиллерийской подготовки. Четыре пулеметчика погибли под снарядом. Мишо и его товарищи лежали в наспех вырытых неглубоких окопах, на верхушке холма. Они видели, как фашисты поползли по каменным уступам. Пулеметный огонь остановил врага, но вторая волна последовала за первой. Мишо скомандовал:

— Гранатами!

Это длилось несколько минут; ему казалось — весь день. Атаку отбили. Товарищ Мишо, слесарь Жантей, умер в полдень; он мучился и говорил: «Передай...», но Мишо не мог разобрать слов.

К вечеру испанский батальон сменил французов. Из сотни в живых осталось сорок два; семнадцать отправили в лазарет.

Французы развели огонь, грели распухшие ноги, варили суп. Кто-то вздохнул: «А суп-то пустой!» Обычно на отдыхе они шутили, пели. Сегодня, несмотря на военный успех, всем было тяжело: сколько друзей они оставили на холме, среди камней и колючего кустарника! А вечер был холодный, дул ледяной ветер. Бойцы, плохо одетые, ежились. Один все время ругался: видно было, что темные слова его успокаивали. Кого он ругал: суп, ветер, фашистов, войну?..

Деревня была пуста: жители разбежались. Только в двух-трех домиках мелькали слабые огоньки. К костру из темноты как призрак подошла старуха. Это была обыкновенная крестьянка, в черном платье, с черным платком на голове. Она что-то сказала Мишо; он не понял — с трудом он выучил несколько испанских слов. Тогда старуха принесла окорок и стала показывать руками: ешь!.. Мишо вспомнил мать Жано: эта — как Клеманс... Вздыхает. Наверно, говорит: «И тебя убьют...» Как мал свет и как все понятно!

Мишо сказал сидевшему рядом товарищу:

— Вот они говорят: «Вы за нас сражаетесь». Нет, мы деремся за Париж, за Францию. И Жантей сегодня умер за Париж. Я у него как-то был. Он жил в Монруже. Маленькая площадь, а внизу кафе...

И товарищ в ответ тихо запел: «Париж, моя деревня!»

31

Париж жил своей обычной жизнью: театральные премьеры, осенняя сессия парламента, новые моды, очередной крах банка, сенсационное похищение богатой американки, несколько песенок, несколько самоубийств. Тесса все еще надеялся свалить Блюма; но в кулуарах говорили, что правительство окрепло: политика невмешательства успокоила радикалов. Исчезли и красные и трехцветные флаги. Дессер торжествовал: он правильно поставил на благоразумие народа. В других странах люди убивают друг друга, стянув кушак, вооружаются, строят форты и тюрьмы, приветствуют трибунов и полководцев; а Париж аплодирует все тому же Морису Шевалье, который, не смущаясь, в тысячный раз поет: «Париж остается Парижем...»

Однако под покровом этой мирной жизни шла борьба; как водовороты, кипели глухие страсти. Раскалывались семьи, и не один Тесса в эти дни потерял домашнее спокойствие. Споры в кафе кончались иногда выстрелами, чаще молчаливым разрывом. Все определялось чужими географическими названиями, борьбой в соседней, но бесконечно далекой стране: Испания рассекла Париж на два лагеря. Все, возмущенные летними забастовками, дрожавшие за свое добро, закрывавшие ставни, когда мимо их домов проходили демонстранты, с надеждой накалывали на карту желто-красные флажки. А в рабочих кварталах, поглядывая на ту же карту, говорили: «Мадрид держится!..»

В середине ноября даже газеты Бретейля должны были признать, что войска генерала Франко остановились у самых ворот Мадрида. В парижских пригородах повторяли чудодейственные слова, пришедшие с берегов Мансанареса: «Не пройдут!» Ходили легенды о доблести мадридских рабочих. Как о подвигах Роланда,

рассказывали об интернациональных бригадах; и не раз металлисты или текстильщики с гордостью прибавляли: «Там и наши!.. Дюваль... Жак... Анри...»

Прочитав утренние газеты, Виар усмехнулся: Мадрид держится — зелен виноград!.. С того дня, как Виар стал министром, он больше не думал о борьбе идей, о столкновении классов, о жизни мира. Политика превратилась для него в уступки одним и другим, в подсчет ежедневный, а то и ежечасный правительственного большинства, в назначения, награды, перемещения. Мир стал тесным, как комната, заставленная ценными и легко бьющимися безделушками: ни повернуться, ни двинуть рукой. И вот сейчас, сказав себе, что Мадрид держится, Виар на минуту вырвался из этой тесной комнатушки: он с радостью вздохнул: «Все-таки молодцы!» Он даже подумал: «Там и наши!» Есть среди них социалисты-рабочие...

Виар сказал секретарю:

— Читали?.. Бретейль рано праздновал победу. Рабочие — это не его «верные», которые, чуть что, бегут, как кролики.

Вскоре Виар снова отдался скучной, кропотливой работе. Начался прием. Пришлось уклончиво отвечать, отказывать с приятной улыбкой, сулить невозможное. Пришел депутат Пиру, который во время июльской демонстрации докучал Виару. Пиру, разумеется, негодовал:

— Каждый день десятки людей тайком переходят границу. Мы восстанавливаем против себя Франко. А завтра он будет хозяином всей Испании. Население моего департамента особенно заинтересовано в сохранении добрых отношений с Испанией, безотносительно к тому, кто ею правит.

Виар ласково улыбнулся:

— Дорогой коллега, еще неизвестно, кто победит. Вы ведь читали последние телеграммы? Впрочем, я не возражаю... Мы обязались не пропускать в Испанию добровольцев, и мы это выполним.

Когда Пиру ушел, Виар сказал секретарю:

— Нужно будет написать префекту Восточных Пиренеев: усилить пограничную охрану.

К счастью, не было официальных приглашений; после пышных завтраков, которые утомляли желудок Виара, он с удовольствием съел яйцо всмятку и шпинат. Предстоял прекрасный день: вместо парламентского заседания — высокие эстетические эмоции. Виар

давно уже собирался посмотреть работы молодого художника Андре Корно, который выставил в последнем «Салоне» чудесный пейзаж: ветвистый каштан, слева карусель, справа крохотная фигура возле стены. Наверно, и другие работы интересны... О Корно много говорят... А тот пейзаж Виар купит. Виар не был скуп, но и не любил швырять деньгами. Он с удовлетворением подумал: «В «Салоне» просили три тысячи, значит, отдаст за две».

Узнав о предстоящем визите, Андре вспомнил рассказ Пьера и поморщился: «Черт бы его побрал!.. Прибрать, что ли, мастерскую? Нет, не стоит...»

Виар подолгу разглядывал каждый холст и отпускал замечания: «Какая легкость тонов! Вот под этим стулом чувствуется воздух. Астры немного суховаты. Этот пейзаж напоминает Утрилло лучшего периода». Андре не слушал. Вначале он внимательно оглядел Виара и подумал: «Писать его неинтересно, вместо лица слякоть, все смазано...» Потом он закурил трубку и покорно переставлял холсты, стряхивая с себя густую пыль. Наверно, хочет купить... Эта мысль не обрадовала и не огорчила Андре. К деньгам он был равнодушен: набегали — тратил, не было — вместо обеда ел хлеб с колбасой. Прежде он ревностно относился к судьбе своих работ, думал о том, в какие руки они попадут. Но картины почти всегда забирали перекупщики, и Андре привык к сознанию, что, уходя из его мастерской, холсты исчезают.

Виар сказал:

— Мне очень понравился ваш пейзаж, выставленный в «Салоне». Знаете, тот, с деревом...

Андре молча поставил еще один холст на мольберт. Это была его любимая вещь. После ночи, когда он встретил Жаннет, он пошел на площадь Итали. Там он и написал это... Был пасмурный день; девушка на углу ждала кого-то; а кони карусели отдыхали.

— Вот этот пейзаж я хотел бы приобрести.

Андре помрачнел, постучал трубкой о стол; потом взял холст и поставил его лицом к стене.

Виар удивленно спросил:

— Он продан?

С грубостью ребенка, не раздумывая, не выбирая слов, Андре ответил:

— Я не хочу, чтобы он висел у вас. Вы не понимаете?.. Всему есть пределы. Чтобы вы на него смотрели? Нет!

Когда Виар испытывал обиду, все его лицо дрожало: пенсне, кончики усов, нижняя губа, подбородок. Он вежливо сказал: «Как вам будет угодно»,— поблагодарил Андре за доставленное удовольствие и церемонно вышел из мастерской. Андре поглядел ему вслед и выругался. Кривляка! И вот в такое чучело Пьер верил, как бабки верят в Богородицу! Нет, до чего люди доходят! И хорошие люди, как Пьер. Андре махнул рукой и сел за работу, прерванную приходом Виара. Работа не шла, но он не отпускал себя от холста: боялся мыслей, злобы, тоски.

Когда стемнело, он, не зажигая света, лег на диван и стал ждать того часа, когда в мертвой мастерской раздастся голос Жаннет. Это было как наркоз, к которому он пристрастился. Где бы ни заставал его этот час, он глазами искал приемник. А сегодня каштан и карусель с новой силой разбудили воспоминания. Часы шли медленно. Наконец вспыхнул зеленый глаз; кто-то пропел; попиликали; и вот Жаннет... Сначала она говорила о дне моря, о раковинах, их вечном шуме; это была реклама искусственного жемчуга. Потом Жаннет читала чьи-то стихи (он не расслышал имени автора):

Обманутой дано мне умереть,
И как песок, часов старинных медь...

Снова пиликали и пели. Андре машинально повертел стрелкой. Тонкий женский голос сказал по-французски: «Говорит Мадрид. Сегодня наши части, составленные из бойцов Ла-Манчи, совместно с бойцами интернациональных бригад, отбили атаки в Университетском городке. Контратакой мы выбили фашистов из здания медицинского факультета. Немецкие самолеты совершили два налета на северные кварталы города. Среди населения имеются убитые и раненые...»

Андре выглянул в окно. Старая улица Шерш-Миди спала. Спали и антиквары, и весельчак-сапожник, и цветочница. Спали посетители «Курящей собаки». Спали коты. Редко проходили запоздалые пешеходы. Прогремел грузовик. Потом снова наступила тишина. Серые дома казались брошенными. И огромная тоска овладела Андре: он подумал о Мадриде. Он никогда не видал этого города и все хотел его себе представить; какой он — белый, темный, шумный, тихий — неизвестно. Но ночью все небо горит, а внизу кричит женщина.

И так — каждую ночь... Но ведь это хуже смерти! От этого можно сойти с ума. Не от бомб, от одинокого крика. А помочь нельзя. Вот они закрыли ставни, навалили на себя перины и спят. Им уютно оттого, что на дворе сыро и холодно, уютно оттого, что в далеком Мадриде горят дома. Уютно... А потом вдруг это небо наполнится гудением; ночь, черная и враждебная, оживет. Беспомощно вопьются в небо глаза прожектора: нет, не отыскать!.. И грохот. Одна, другая, третья... Кто-то объявит по радио: «Имеются убитые и раненые». И ночью вскрикнет женщина. Может быть, Жаннет. Зачем ее обманывают этой тишиной, зачем не разбудят, не скажут: беги в поле, к морю, все равно — куда? Их всех обманывают: и сапожника, и кошек, всех. Жаннет сказала: «Обманутой дано мне умереть...» Просто и страшно.

Часть вторая

1

У Монтиньи собирались по вторникам. В просторном кабинете среди дыма сигар, за чашкой кофе, сопровождаемой белым ромом с Мартиники, друзья Бретейля обсуждали очередные политические вопросы. Дамы тем временем в гостиной пили чай и сплетничали. Дочка Монтиньи, Жозефина, с нетерпением ждала, когда мужчины перейдут в гостиную: она не остыла к Люсьену, который бывал у Монтиньи каждый вторник.

С победы Народного фронта прошло без малого два года. Как говорил Дессер, все утряслось. Виар хвастал: «Я научился управлять — меня теперь не замечают...» Дела шли хорошо. Заводы были завалены заказами. В магазинах продавщицы не успевали отпускать товары. Исчезли надписи «сдается»: больше не было пустующих помещений. Экономисты писали о конце кризиса и предсказывали долгий период благополучия.

Однако под покровом умиротворения скрывалось общее недовольство. Буржуа помнили июньские забастовки; они не простили Народному фронту своего страха. Сорокачасовая рабочая неделя и платные отпуска — вот причина всех бедствий! Так рассуждали не только посетители Монтиньи, но и люди скромного достатка, начитавшиеся газетных статей. Лавочница, объявляя покупательницам, что мыло снова вздорожало на четыре су, философствовала: «Ничего не поделаешь. Ведь господа рабочие разъезжают по курортам...» Крестьянин, заполняя декларацию о доходах, ворчал: «Дармоеды!» — «Дармоедами» для него были учитель, два почтовых служащих и рабочие в соседнем городке.

Рабочие, в свою очередь, негодовали. Жизнь с каждым днем дорожала, и повышение заработной платы, которого они добились два года тому назад, пошло насмарку. То и дело вспыхивали забастовки. Предприниматели не уступали. Виар призывал к благоразумию. Фашисты на глазах у всех формировали боевые отряды, и рабочие спрашивали: «Кто нас защитит? Ведь не жандармы, эти только ждут часа, чтобы с нами расквитаться». В Испании еще шли бои; но фашисты отрезали Каталонию от Мадрида, и рабочие злобно бормотали: «Предали...» Предательство, как ржавчина, разъело душу народа. А газеты писали об опасности войны. По венскому Рингу прошли германские дивизии. Все гадали: куда теперь двинется Гитлер? Волновались, спорили по вечерам в кафе, потом мирно засыпали. На редкость холодная весна тысяча девятьсот тридцать восьмого года застала Париж спокойным и растерянным, сытым и недовольным.

Бретейль многое перепробовал за это время. Друзья, с которыми он встречался у Монтиньи, не знали о его разносторонней деятельности. Считая, что все зло в мнимом умиротворении, Бретейль посвятил год террористическим актам. Самые ответственные дела он поручал Грине. Это Грине поджег шесть военных самолетов, он же положил в железнодорожный туннель адскую машину. Желая припугнуть капиталистов, Бретейль поручил Грине взорвать дом, принадлежавший «Союзу предпринимателей». Бомба повредила фасад и убила сторожа.

Правая печать обвиняла в этих покушениях коммунистов. Виар отвечал журналистам уклончиво: «Характер преступлений все еще не выяснен...» Сторонники Народного фронта требовали решительных мер; желая их успокоить, Виар «раскрыл заговор». Конечно, он не тронул ни Бретейля, ни арсеналов «верных»; но полиция выволокла из разных подвалов несколько пулеметов и арестовала полсотни «верных». Виар преподнес заговор как ребяческую затею; по его указанию газеты прозвали заговорщиков «кагулярами», уверяли, будто они носят средневековые капюшоны и маски. Бретейль возмущенно заявил в палате, что правительство преследует «истинных патриотов», и арестованных вскоре выпустили.

Теперь Бретейль решил переменить тактику; он перешел от бомб к парламентским интригам, в надежде,

что международные осложнения помогут ему расколоть правительственное большинство. Все стены были облеплены воззваниями: «Народный фронт ведет Францию к войне!» Друзья Бретейля, разъезжая по стране, заклинали крестьян «спасти дело мира». Предстоял очередной министерский кризис: радикалам надоели социалисты. Обложение капиталов — вот здесь-то осторожный Блюм поскользнется! Тогда может выплыть Тесса... И Бретейль ухаживал за старым адвокатом, расхваливал его речи, угощал уткой по-руански или сальми из фазанов. Тесса одобрял блюда, но держал себя осторожно; даже подчеркивал свои добрые отношения с Виаром: «Социалисты оказались хорошими французами...» Может быть, предвидя свое близкое торжество, он хотел заручиться голосами социалистов; может быть, старался успокоить левых радикалов, в частности неистового Фуже, который не называл Бретейля иначе как «гитлеровцем».

Свергнуть правительство, конечно, труднее, чем взорвать дом. Бретейлю пришлось прибегнуть к помощи новых людей. Грине и прочие «латники» теперь сидели без дела. Бретейль добился дружбы двух видных депутатов, которые зачастили к Монтиньи: Дюкана и Гранделя. Это были люди разного склада. Сын провинциального ветеринара, Дюкан в молодости знавал нужду; однако он остался в стороне от социального движения. Его идеалом была рыцарская аскетическая Франция; он мечтал о подвиге лотарингской пастушки, о труде безвестных строителей Шартрского и Реймского соборов, о нации как о целом. Во время войны он был летчиком, получил тяжелую рану; его дважды наградили. Потом увлекся политикой, проповедовал «интегральный национализм». В парламент его послали жители одного из горных департаментов. Дюкан выбрал себе место на крайней правой; но часто он смущал своих соседей неожиданными заявлениями. Так, однажды он сказал с трибуны: «Если нам предстоят ужасы новой Коммуны, я предпочту пост защитника Парижа двойной роли Тьера». Это был скромный, невзрачный человек лет пятидесяти, страдавший косноязычием. Волнуясь, он говорил настолько невнятно, что его не понимали даже близкие. В палате он выступал редко, но пользовался большим влиянием: ценили его личную порядочность и осведомленность — он был лучшим специалистом по воздухопла-

ванию и руководил работами авиационной комиссии. За Бретейлем он пошел, считая, что Народный фронт ведет Францию к разгрому. Бретейль старался не оттолкнуть его и никогда при нем не заикался о сотрудничестве с Германией.

Если Дюкан был хорошо известен в кругах парламентских и военных, то Гранделя знала вся страна. Грандель был молод и чрезвычайно привлекателен: тонкое лицо, нос с горбинкой, голубые мечтательные глаза; он походил на портреты Сен-Жюста. Говорил он превосходно, и даже противники, зачарованные, слушали его, как соловья. В детстве Грандель был вундеркиндом: чудесно играл на скрипке. Отец его, разбогатевший после перемирия на биржевых спекуляциях, вскоре разорился, и Грандель сам вышел в люди: писал эссе о «мистике нищеты», о «космических бурях» и социальные пьесы с аллегорическими персонажами. Несколько лет тому назад он примкнул к социалистам; выступал с большим успехом на митингах. Его выбрали в парламент. Там он вдруг объявил, что ему претит интернационализм Блюма и Виара, что он, Грандель,— француз и представитель французских рабочих, которые дорожат не Марксом, но Прудоном и не хотят жить по чужой указке. Грандель стал героем дня. Его зазывали радикалы, социалистические республиканцы, демократы. Он называл себя «независимым социалистом», но при голосованиях поддерживал правую оппозицию и сдружился с Бретейлем. У Гранделя было немало врагов; в кулуарах парламента охотно прислушивались к разговорам, порочившим репутацию молодого депутата. Уверяли, будто он слишком часто встречается с атташе германского посольства; говорили даже, что радикал Фуже раздобыл документы, компрометирующие Гранделя. Все это походило на инсинуации. Сам Грандель пренебрежительно приподымал тонкие, как будто нарисованные брови: «Старый прием — очернить противника и заодно перепутать карты! Когда придет время, я докажу, что Фуже — агент Москвы».

Года три тому назад Грандель женился на хорошенькой креолке; ее имя было Мари, но все ее звали Муш. Он везде бывал с женой; о них говорили: «неразлучники». Бывала Муш и у Монтиньи. Не принимая участия в общем разговоре, она рассеянно разглядывала старые альбомы. Сердцем Жозефина

почувствовала в ней соперницу: Муш частенько поглядывала на двери кабинета и менялась в лице, увидев Люсьена.

Политическую кампанию Бретейля субсидировал Монтиньи, человек с крутым нравом и с лицом, похожим на морду бульдога. Жозефина не зря мечтала о том часе, когда наконец-то покинет родительский дом; часами Монтиньи пилил ее то за книжку Морана, то за губную помаду. Это был тупой самодур. Он верил, что Бретейль обуздает рабочих. На дивиденды истекшего года Монтиньи не мог пожаловаться; но он считал себя униженным: «Сорок часов... Канальи! Разве я считаю, сколько часов я работаю? А я ведь рискую, у меня могут быть убытки. Они-то знают одно: получку. Тунеядцы!» Рабочие для Монтиньи были не противниками, как для Дессера, а страшными насекомыми, готовыми пожрать все. Он мог без конца говорить об их лени и жадности.

Так было и в тот вечер: он не давал никому раскрыть рот, в сотый раз рассказывая о наглости рабочих, которые потребовали отдельного помещения для умывальников.

— Скоро им понадобятся ванны, увидите. Подумать только — пока немцы работают круглые сутки, наши рабочие выезжают на морские купанья!

Он закашлялся от досады. Этим воспользовался Бретейль: надо было поговорить не об умывальниках, а о предстоящем парламентском бое. Желая заручиться поддержкой Дюкана, Бретейль, как и Монтиньи, сослался на немецкую опасность:

— Я думаю, что в мае немцы начнут наседать на Чехо-Словакию. Мы должны до этого времени создать подлинно национальное правительство. Я лично не возражаю против Тесса, — конечно, если он откажется от голосов коммунистов.

Люсьен поморщился: он давно подозревал, что Бретейль занят не заговором, а парламентскими интригами; все же он не ждал, что его папашу произведут в спасители отечества. Стоило огород городить!.. И, проглотив зевок, Люсьен подумал: хоть бы они скорее кончили — ему хотелось поговорить с Муш.

Грандель поддержал Бретейля:

— Тесса — наименьшее зло. Только необходимо оторвать его от шайки Фуже. Вчера мне сказали, что Фуже передал Тесса ту самую фальшивку. Я, конечно,

сейчас же обратился к Тесса: «Скажи на милость, в чем меня обвиняют?» Он был архилюбезен, но от объяснений уклонился. А план ясен: поднять шум в комиссии. Классическая диверсия: чтобы спасти Блюма, они выволокут очередную «сенсацию».

Дюкан возмутился:

— Я не думал, что Фуже способен на такую низость. Он на меня производил впечатление честного человека. Солдат Вердена... И вот, очернить политического врага! Но вы, Грандель, их заклеймите. С вашим ораторским талантом...

— Обидно, что я вынужден ждать. Я даже не могу как следует подготовиться: не знаю содержания этой фальшивки.

Бретейль пояснил:

— Я тоже пробовал объясниться с Тесса, но он увиливает: ставит на обе карты. А мы с ним старые друзья. В конечном счете победой на выборах он обязан мне, причем он не верит ни на грош в эти инсинуации. Что вы хотите, человек связан партийной дисциплиной, боится прогневать масонов, Эррио...

Люсьен смутно улыбнулся и вдруг сказал:

— Отец — честный человек, но тряпка.

Депутаты занялись подсчетом голосов. Около семидесяти радикалов будут голосовать против Блюма. Правительственное большинство тает, но оно тает слишком медленно. А ждать нельзя: через месяц Германия зашевелится.

— Вывезут сенаторы. Кайо поклялся содрать шкуру с Блюма.

Дюкан проворчал:

— Кайо — лиса и пораженец.

Обсудили программу будущего правительства. Первое условие: Тесса рвет с коммунистами. В судетском вопросе твердая политика, но не перегибать палки, постараться найти компромисс, приемлемый для обеих сторон. Немедленное признание генерала Франко. Послать Лаваля в Рим: нужно, пока не поздно, договориться с Муссолини. Контроль над прессой. Кредиты авиационной промышленности (на этом настаивал Дюкан). Шестидесятичасовая рабочая неделя.

Бретейль добавил для Монтиньи:

— При захвате заводов применять вооруженную силу.

Здесь Монтиньи разошелся:

— Газами! Исключительно газами! Как грызунов! Добавьте — ускоренное судопроизводство. Смертная казнь за террористические акты. Мы еще доберемся до мерзавца, который кинул бомбу в «Союз». Такого мало гильотинировать!..

Бретейль посмотрел на тупое лицо Монтиньи: от этого дурака можно ожидать всего! И, сославшись на срочные дела, Бретейль откланялся.

Остальные перешли в гостиную. Жозефина искала глазами Люсьена, но он и не поглядел на нее. Он сел рядом с Муш и завел салонный разговор о новой постановке пьесы Жироду «Троянской войны не будет».

— Название удачное: идут, чтобы успокоиться...

Муш шепнула:

— В четверг. Его не будет. Я тебе сама открою...

Дюкан, горячась, доказывал Гранделю, что пора перейти к активной политике:

— С Италией или против, все равно. Дело не в Судетах, но в чешской линии Мажино...

— Конечно. Но не нужно забывать, что судеты — немцы. А Гитлер заявил, что на Западе у него нет никаких притязаний...

Дюкан взволновался; он что-то выкрикивал; слов нельзя было разобрать; казалось, он жует резину. Грандель улыбнулся:

— Вы абсолютно правы.

В передней Люсьена нагнала Жозефина. Не глядя на него, она сказала скороговоркой:

— Люсьен, если с вами что-нибудь случится, не забывайте: я для вас готова на все.

Он был растроган, но сдержал себя.

— Спасибо. Здесь холодно, вы простудитесь.

У нее показались на глазах слезы:

— До чего я вас ненавижу!..

На улице дул резкий восточный ветер, и Люсьен поднял воротник пальто. Все ему было противно: и Бретейль, и дурацкая нежность Жозефины, и Муш.

В одном из «землячеств» Бретейль разыскал контролера метро Обри. Этот урод был обозлен.

— Слушай, Обри, надо убрать предателя.

Обри обрадовался: он давно ждал случая, чтобы показать свою храбрость. Только раз ему дали поручение, да и то прескверное: на авеню Ваграм он избил девушку, продававшую «Юманите».

— Я вас слушаю, начальник.

— Надо убрать «латника» Грине. И без огласки. Потом ты подкинешь вот это...

Бретейль вынул из бумажника билет коммунистической партии.

Обри пролепетал:

— Все будет сделано, начальник.

Придя домой, Бретейль не прочитал писем, не отвечал на вопросы жены. Едва шевеля тонкими губами, он молился. Жаль Грине. Но что тут поделаешь, новую главу пишут на чистой странице. Возьмет такой Грине и после трех пиконов все выболтает... Конечно, он честный человек, но дурак. «Я — латник»... Для таких уготован рай. А что ждет Бретейля? Он много взял на себя, с него много взыщется. И, еще раз прочитав заупокойную молитву, Бретейль сказал жене:

— Грине я не знал. Понимаешь?

Жена вытерла руки о передник (она готовила любимое лакомство Бретейля — безе), взглянула на мужа и взвизгнула:

— Изверг!

Он ничего не ответил.

2

По топкой тропинке Грине пробирался от станции Верней к бывшему охотничьему павильону. После долгого ненастья выпал первый теплый день, и Грине подумал: «Скоро Пасха...» Выйдя на поляну, он расстегнул пальто: припекало. Под деревьями зеленели острые листья ландышей; через месяц сюда понаедут парижане... Обычно картины мирной жизни вызывали в Грине досаду: сам того не сознавая, он завидовал беспечности других. Но сейчас, умиленный солнцем и весенней суматохой леса, он с нежностью подумал о парочках, которые приедут на эту поляну за ландышами.

Куда теперь пошлет его Бретейль? На испанскую границу? В Бретань? С ранней молодости Грине привык к странствиям, к духоте дымного вагона, к холоду и зевоте узловых станций, к еде за общим столом в третьеразрядных гостиницах, где коммивояжеры рассказывают друг другу надоевшие всем анекдоты, к ночам в нетопленной комнате, с просаленными перинами и с олеографиями на пятнистых стенах. Он не любил передвижений, но с трудом представлял себе

оседлую жизнь. Прежняя профессия помогала ему выполнять рискованные поручения Бретейля: когда он исчезал на неделю, хозяйка гостиницы не удивлялась. Францию он знал как свою улицу; повсюду у него были любимые резиденции, друзья-кабатчики, связи в полиции. Последние четыре месяца он сидел без дела. Письмо Обри не обрадовало и не огорчило его. Он равнодушно засунул в портфель несессер и фляжку с коньяком, а в брючный карман — револьвер. Хозяйке он сказал: «Еду в Аннеси с аппаратами»; сказал и подумал: «Протезы или бомбы — не все ли равно?..» То, что два года тому назад казалось ему вспышкой гнева, азартной игрой, романтикой, стало работой; он выполнял ее исправно, но без страсти.

Апрельский полдень, блики солнца, переполох птиц разнежили Грине. Он думал не о «верных», но о дочери содержателя гостиницы в Аннеси, кудрявой Люлю. Не случайно он ответил хозяйке: «В Аннеси», — мечтал и проговорился... Хорошо бы бросить все, жениться на Люлю и открыть кафе или гостиницу. Мечты! Грине не был бережлив; наградные, полученные от Бретейля, ушли на костюмы да на подарки той же Люлю.

Обри уже ждал его. Охотничьим павильоном называли полуразрушенную беседку среди ольхи, с белеными стенами, исцарапанными влюбленными, которые оставляли на них имена и даты. Обри сидел на каменной скамейке, подставляя солнцу то один бок, то другой. Он тоже поддался весенней неге. Шутка ли сказать, после долгих месяцев, проведенных в душном метро, с его запахами мыла и кислот, оказаться в раю, рядом с крохотной речкой, под деревьями, покрытыми бледнозеленым пухом. Обри позабыл, зачем он здесь, и, увидев нарядного, чисто выбритого Грине, вздохнул: вот и кончилась сказка!.. Поздоровались; потом Обри сказал:

— Садись. Придет «латник» Дельмас. У него все инструкции.

Грине расстелил газету: не хотел запачкать новенькие брюки.

— Здесь не сыро, солнце... Я ведь тоже побаиваюсь, ничего не стоит простудиться.

Они молча глядели на серебряную зыбь речонки, и мало-помалу ими снова овладела приятная истома.

— Начальник не придет?

— Нет. Он хворает. Возраст не тот.

— Сколько ему, по-твоему?

— За шестьдесят.

— Постарел он. Это после смерти сына. Два года, как сын умер. Я хорошо помню — тогда забастовка была... Жена его плакала. А я пришел, он молится...

— Да, это скверное дело... Ты что, женат?

— Нет, а ты?

Уродливое лицо Обри на минуту осветилось застенчивой улыбкой:

— Еще нет.

— Значит, думаешь?.. Пожалуй, так лучше. Я вот скоро женюсь. В Аннеси нашел... Красотка. Отец — адвокат. Там у них поместье. Я и сам хочу туда переехать. Куплю гостиницу. Англичане приезжают, у англичан валюта. Я и деньги отложил. А девушка замечательная. Как она поет! Колоратура...

Люлю никогда не пела, но, начав врать, Грине не мог остановиться; вернее, он не врал, он размечтался; а вокруг удивительно щебетали лесные пичуги.

Обри поглядел на оранжевые модные ботинки Грине и с грустью подумал: такому легко жениться. А кто пойдет за меня? Разве что старая шлюха...

— Этот... Как его?.. Дельмас? Он, должно быть, заблудился.

— Придет.

Обри никого не ждал; он заранее все обдумал; но теперь почему-то медлил. Грине вынул фляжку. Тогда Обри достал хлеб и колбасу: запасся, предвидя утомительный день. Решили перекусить. Колбаса была упругой, как резина. Грине жевал со смаком: прогулка придала ему аппетит. Хлебнув из фляжки, Обри сказал:

— За твое здоровье!

Грине еще больше размяк от коньяка. Клонило ко сну, он зевал и, глядя на воду, мечтательно говорил:

— Удить люблю. В Аннеси форели вот этакие — гляди...

Потом он уснул; шляпа сдвинулась набок; рот был приоткрыт. Его бледное лицо, обычно перекошенное тиком, стало спокойно, оно даже порозовело на солнце. Было в этом спящем человеке нечто детское. Обри все еще медлил. Он больше не думал о своем одиночестве, не мечтал; тупо он повторял себе: «Ну!» Его охватила тошнота; прежняя нега перешла в полуобморочное состояние. Он поморщился: паршивый коньяк! Вот, сволочь, спит! Гостиницу хочет открыть — «Виктория» или «Монрепо»... Не выйдет! А может

быть, он и не предатель? Просто захотелось человеку на покой. Конечно, рыбу удить приятней, это каждый понимает. Только чем он, Обри, хуже! Почему ему нет никакого покоя? Бить, резать... Сволочи! Неизвестно, к кому относилось это бранное слово, но оно приподняло Обри. Он почувствовал злобу, как будто к горлу подступила кислота. И тогда он вынул стилет.

Две минуты спустя, убедившись, что «латник» Грине мертв, Обри положил под скамейку билет, который ему дал Бретейль. Билет был на имя Жака Дельмаса. Тщательно оглядев свои руки, пальто, штаны, Обри быстро зашагал к шоссе. Теперь он не восторгался весенним днем. Тошнота не проходила. Он с отвращением вспоминал о колбасе: как резина! Хотел сплюнуть, но слюны не было.

Стемнело. На шоссе, возле остановки автобуса, стояли две девочки. Увидев Обри, они прыснули, и одна сказала:

— Приятной прогулки!

Обри, обозлившись, ответил:

— Шлюхи!

Поздно вечером в «Союзе инвалидов» он доложил Бретейлю:

— Выполнено.

Бретейль его поблагодарил, усадил рядом с собой на диван:

— Это твое боевое крещение.

Тогда Обри спросил:

— Он действительно был предателем?

Бретейль встал:

— Да. Можешь идти.

Глядя вслед Обри, он смутно подумал: придется убрать и этого.

На следующий день во всех газетах были портреты Грине. Репортеры сообщали, что человек, павший от руки убийцы, был известен своими правыми убеждениями, участвовал в демонстрации шестого февраля. После него не осталось ни копейки. Он был беден; исключены корыстные мотивы преступления. Конечно, коммунисты уверяют, что никакого Жака Дельмаса они не знают, но все же очевидно, что Грине прикончили они, желая избавиться от политического противника, пользовавшегося влиянием в «Католическом синдикате коммивояжеров».

Обри не читал газет; он ни с кем не беседовал о загадочном происшествии в лесу Верней. Как всегда,

он пробивал билетики, судорожно позевывая. Кончив работу, он зашел в незнакомое кафе и заказал «перно». Мутный напиток дурманил. Еще стакан. Третий...

За соседним столиком пили люди в кепках. Обри не хотел слушать, о чем они говорят, но имя Грине, повторяемое без конца, его раздражало. Грине больше не было, и он не хотел о нем слышать. Дураки не унимались.

— Что же, одной собакой меньше...

— Да, когда уж такой идет к фашистам, значит — купили...

Обри вдруг встал, подошел к крикунам и сурово сказал:

— Врешь! Он хотел гостиницу купить. А убили его коммунисты, голоштанники, как ты. Понял, сволочь?

Один из сидевших за столом встал и ударил Обри по лицу. Зазвенело стекло. Обри упал. Кафе быстро опустело. Старый официант долго подбирал тяжелые блюдечки, ложки, игральные кости.

3

Тесса накануне справлял свое шестидесятилетие. В бесчисленных телеграммах и письмах красовалась цифра шестьдесят. Молодые адвокаты поднесли Тесса большой торт, украшенный шестьюдесятью восковыми свечками. Вечером свечки зажгли, и Тесса долго глядел на голубые взволнованные огоньки. Он попытался загрустить, заставил себя подумать о длине пройденного пути, о близящемся конце; но эти мысли были отвлеченными; никогда он не чувствовал себя таким молодым. Он воспринимал цифру шестьдесят как красивый вензель. Жизнь его только начиналась. Конечно, он был знаменитым адвокатом, но завтра он станет одним из руководителей страны; его имя перейдет с пятой полосы «Тан», где пишут о судебных процессах, на первую. Время крайностей миновало; страна хочет покоя; она устала и от поднятых кулаков Народного фронта, и от древнеримских приветствий Бретейля; она предпочитает хорошее дружеское рукопожатие; с надеждой смотрит она на веселого гурмана, на доброго семьянина, красноречивого, но трижды осторожного Тесса.

Да, вчерашний день был прекрасен, хотя и его омрачили семейные горести. Напрасно лучшие профес-

сора устраивали консилиумы, напрасно госпожа Тесса прошла курс лечения в Виттеле; ее болезнь прогрессировала; припадки учащались. Вчера Амали наволновалась, переутомилась, и вечером, пока Тесса, глядя на шестьдесят свечей, думал об осчастливленной им Франции, она лежала в полутемной, пропахшей лекарствами спальне и с трудом сдерживала стоны.

Но и помимо болезни жены у Тесса были заботы. Люсьен оказался неисправимым. Амали по-прежнему называла его мальчиком, но этому «мальчику» недавно исполнилось тридцать четыре года. Надежды на дипломатическую карьеру давно рухнули. Бездельник нашел себе странный заработок: он писал в газете Жолио о скачках, предсказывая победителей. Говорили, что он, пользуясь указаниями жокеев, сбивает людей с толку, сам играет, а половину доходов отдает Жолио. Все это вряд ли представляло подходящую профессию для сына министра. Оберегая свое здоровье, Тесса не заговаривал с сыном; за обедом оба молчали. А когда Люсьен раскрывал рот, Тесса испуганно ежился: ждал скандала.

Еще больше горя причиняла Тесса Дениз. Он теперь знал, что в области чувств нет справедливости. Думая о Люсьене, он боялся за себя: сын может его опозорить. Если бы Люсьен погиб, Тесса, всплакнув, почувствовал бы облегчение. Не так было с Дениз. То, что она ушла из дому, осрамила отца, сделавшись упаковщицей на заводе «Гном», и, по сведениям директора тайной полиции, состояла в каком-то коммунистическом комитете, казалось Тесса ничтожным по сравнению с тревогой за ее здоровье: ей плохо живется, она не приспособлена для тяжелой работы, ее могут убить во время одной из дурацких демонстраций... О Дениз Тесса узнавал через полицию или через контору частного розыска. Он пробовал ей писать, она не отвечала: не хочет с ним знаться. Эта мысль доводила его до слез. Он подумал о Дениз и над шестьюдесятью свечками вспомнил, как девочкой она присылала ему рифмованные поздравления на розовой бумаге. Он готов был расстроиться; но как раз в это время принесли телеграмму от председателя сената. Тесса усмехнулся: он — единственная надежда честной и благоразумной Франции. Его острый нос покрылся мельчайшими капельками пота: так бывало всегда в минуты волнения. Забыв про Дениз, он обдумывал начало министерской декларации.

На следующее утро приключилась неприятность: желая перечесть донесение посла в Праге, Тесса обнаружил пропажу документа, который ему вручил Фуже. Вся история с Гранделем раздражала Тесса: он не любил разоблачений. Политика — тонкое дело; хороши не только громкие речи, но и шепот в кулуарах, задушевные слова за завтраком, «между сыром и грушей», оттенки мысли, намеки. Разоблачения выпадают из игры. Каким безобразием была шумиха, поднятая в свое время бандой Бретейля вокруг злополучного Ставиского! Хотели запутать и Тесса... Фуже не прошел бы без голосов коммунистов. Понятно, что он за Народный фронт. Но Тесса и без него знает, что Грандель выскочка. Гранделя следует остерегаться. Какой оратор! Только покойный Бриан умел так заговаривать людей... Но при чем тут сенсационные разоблачения?.. Еще осенью Фуже сказал Тесса, что Грандель связан с немецкой разведкой. Тесса его оборвал: он не верил в измену депутата. Да и слово «измена» казалось ему пришедшим из другого мира. С иностранной разведкой могут быть связаны майоры, продувшиеся в карты, шалопаи вроде Люсьена — словом, люди, припертые к стенке. Тесса понимал любую оплошность, связь с аферистами, заступничество за мошенников — извольте провести границу между вполне дозволенным участием в акционерном обществе и делом Ставиского или Устрика! Но измена... В сознании Тесса проносились стихи Гюго, Чертов остров, шпага, надломленная над головой предателя... Нет, депутат не станет этим заниматься!

Но вот три дня тому назад неутомимый Фуже вручил Тесса эту проклятую бумажонку. Тесса пробежал глазами письмо и вложил листок в папку с делами иностранной комиссии. В записке говорилось о двух миллионах, отпущенных на пропаганду целебных вод Киссингена и Баден-Бадена. Тесса злился: хорошо, Грандель зарабатывает на немецких курортах, это еще не измена! Правда, Фуже уверял, что Грандель не сможет представить оправдательных документов. Но Тесса был против вмешательства в частную жизнь депутатов. Так он и ответил Фуже. Тот настаивал: «Необходимо ознакомить с письмом членов иностранной комиссии». Все это было на редкость глупо; особенно теперь, когда нужно с помощью правых свалить Блюма и в то же время заручиться поддержкой левых.

Отказать Фуже Тесса не мог: тогда против нового правительства будут голосовать все левые радикалы. Но если Тесса огласит документ в комиссии, Бретейль станет на дыбы; правые обрушатся на радикалов, и радикалам придется поневоле еще раз выручить Блюма. Подумав, Тесса решил отложить дело недельки на две: он надеялся, что министерский кризис разразится в ближайшие дни.

Но кто мог похитить этот листок?.. Никогда еще Тесса не сталкивался со столь таинственным происшествием! Папка лежала в письменном столе. Уходя, он всегда запирал ящик. Все бумаги на месте. Если рассказать Амали, она, пожалуй, ответит, что документ украл Вельзевул...

В палате Тесса забыл о пропаже. Рассматривали законопроект об открытии двух ветеринарных институтов. В зале сидели только депутаты заинтересованных департаментов. Остальные толпились в кулуарах и в буфете. Говорили о надвигающемся кризисе; и по тому, с каким вниманием осведомлялись у Тесса о его здоровье, можно было безошибочно угадать, что дни Блюма сочтены. Виар, поздравив Тесса с шестидесятилетием, меланхолично вздохнул:

— В шестьдесят лет я и не думал, что мне придется взять в руки министерский портфель. Ты рано начинаешь. В добрый час!

Тесса хихикнул:

— Шестидесятилетняя девственница — совсем недурно! Кстати...

Он рассказал непристойный анекдот. Виар покраснел и ушел. Вдруг из табачного дыма выплыл Фуже. Взглянув на его очки и бородку (Фуже хотел во всем походить на радикалов прошлого века, «пожирателей кюре»), Тесса сразу вспомнил об украденном документе. А Фуже спросил в упор:

— Когда ты ознакомишь комиссию с делом Гранделя?

Тесса замахал руками:

— Разве можно рубить сплеча?.. Надо хорошенько обдумать. Я переговорю с Эррио. Теперь нужно быть сугубо осторожными, не то против нас окажутся все промежуточные группы.

Фуже не унимался:

— Правые все равно нас ненавидят. А налево у нас нет врагов. Потом, это дело не партии, но государства.

Ты понимаешь: го-судар-ства! Если Бретейль честный человек, он должен первый вышвырнуть Гранделя. Ведь Грандель попросту немецкий шпион. Ты читал «Пари миди»? Телеграмма из Берлина... Эти «притеснения бедных судетов» могут кончиться походом на Страсбург. Я не потерплю, чтобы в такое время представитель «пятой колонны»...

— Зачем горячиться? Мы не в Испании, у нас споры кончаются не резней. Успокойся! Я старше и опытнее. Когда настанет время, я сам вытащу эту бумажку. Ты меня прости, я должен поговорить с Даладье...

Тесса поспешил скрыться от назойливого Фуже. Но мысль о пропавшем документе больше его не покидала. Конечно, дело можно замять. Он скажет Фуже, что послал документ на экспертизу, а потом свалит все на экспертов или на Второе бюро — там у Тесса приятели, они покроют... Можно попросту отказаться дать Фуже объяснения, заявить, что документ — фальшивка, поставить во фракции вопрос о доверии. Дело пустячное. Не все ли равно, какая у Гранделя кормушка? Довольно пуританства! Пора заняться серьезной политикой...

Но Тесса не переставал думать о глупой бумажонке. Он не мог объяснить себе загадочное происшествие. Что, если за ним следят агенты Виара или, того хуже, приятели Дениз? Тесса съежился. Коммунисты для него были беззастенчивыми преступниками, готовыми на все. Они могут заманить Тесса и отослать его в Москву... Неужели коммунисты?..

Дома он постарался успокоиться, сел за работу. Еще раз он тщательно просмотрел содержимое папки: оставалась надежда на второе чудо — вдруг документ на месте?.. Но пропавшего листка не было. Тесса начал изучать рапорты посла в Праге. Он давно решил, что насчет судетов можно договориться с Гитлером. Он говорил друзьям: «Конечно, Карлсбад — прекрасный курорт, но меня интересует судьба Виши».

Из спальни раздался стон. Оторвавшись от работы, Тесса пошел к жене. Амали шептала:

— Прости... Мне стало очень страшно... Я теперь скоро умру. Что станет с Люсьеном?..

Тесса поглядел на ее белое, обескровленное лицо и стал приговаривать:

— Поправишься. Обязательно поправишься. Все врачи говорят. Мы с тобой скоро в Виттель поедем. Обязательно...

Амали думала не о себе, но о своей любви: о рыжеволосом беспутном сыне.

— Скажи, что станет с Люсьеном?

— Он не мальчик. Устроится... Тебе нельзя волноваться.

Когда он вернулся в кабинет, оттуда вышел Люсьен. Они столкнулись в дверях. Сразу что-то осенило Тесса: документ украл Люсьен. Не раз он заставал сына в своем кабинете. Тот смущенно объяснял: искал спички или вечернюю газету. Теперь понятно... Да, такой на все способен...

Тесса вбежал в комнату Люсьена. На столе лежали фотографии лошадей, длинная дамская перчатка, револьвер. Тесса сел на диван, вытер ладонью мокрое лицо и спросил шепотом:

— Люсьен, это ты взял письмо к Гранделю?

Люсьен молчал. Тогда Тесса вне себя крикнул:

— На немцев работаешь?

Люсьен подбежал к отцу с поднятой рукой, потом отскочил и пробормотал:

— Мерзавец!

Этот негодяй еще оскорбляет отца. Тесса едва выговорил:

— Убирайся!

Он ушел к себе. Он слышал, как Люсьен попрощался с матерью; Амали всхлипывала. Теперь все кончено! Зачем ему министерский портфель? Дочь ушла. Сына он выгнал. Его сын — шпион! Тесса стало жаль себя; он долго грустно сморкался. А из спальни доносился плач Амали. Тесса пошел к ней, сел на кровать.

— Мамочка (так он называл ее, когда бывал растроган), вот мы и одни...

— Почему ты его выгнал? Он гордый. Теперь он ни за что не вернется.

— Я его и не впущу. Ты знаешь, что он делает? Он шпион. Он работает на немцев.

Тесса всегда знал, что его жена глупа и невежественна, но все же растерялся, услышав ее ответ:

— Я тебе говорила, что политика — гадкое дело. Это ты научил Люсьена. Разве ты не кричал, что с немцами можно сговориться, что Гитлер лучше Тореза?

— Замолчи! Я не хочу этого слышать... Люсьен не дипломат, но шпион. Ты не понимаешь разницы?

Тесса был и без того расстроен; хлопнув дверью, он ушел в кабинет. Он долго шагал из угла в угол,

повторяя: «Шпион. Наемник. Негодяй». Утомившись, он сел в кресло. Нужно все продумать. Если Люсьена подослали за документами, это — дело серьезное. Значит, Грандель действительно замешан... Но теперь документ исчез. Улик нет. Рассказать о краже? Но этим он посадит в тюрьму Люсьена. Амали не переживет удара. А что выиграет Тесса? Хорош спаситель Франции, у которого сын — шпион! Нет, о краже — ни слова, Фуже придется сказать, что документ — фальшивка. А как быть с Гранделем?.. Шпион в палате депутатов — это все же неслыханно! Но у Тесса нет никаких доказательств. Поддерживая версию Фуже, он только наживет врагов среди правых. Потом, рассуждая трезво, даже если Грандель — немецкий агент, какой вред он может принести Франции? В военную комиссию он не входит. У немцев, наверно, десятки тысяч шпионов... Одним больше... В общем, этим должны заниматься господа из Второго бюро, а не Тесса. Взвесив все, Тесса решил похоронить дело: Люсьена он выгнал как бездельника и неисправимого кутилу.

Он прошел к Амали.

— Насчет шпионажа не говори никому, это вздор, я погорячился. Но мне снова принесли его вексель. Потом, он меня оскорбил. Ты можешь послать ему деньги, но сюда он не должен приходить. Спокойной ночи!

Тесса лег в кабинете. Он погасил свет и, лежа с раскрытыми глазами, думал о своей неудачной жизни. Как всегда, мысли вернулись к Дениз. Впервые Тесса подумал: может быть, она и права? Она ушла из проклятого мертвого дома. Что для нее отец? Она рассуждает по-детски, не понимает, что такое правосудие. Тесса защищал убийц, подбирал алиби, вел дела отъявленных мошенников. Это священное право его ремесла. Но для Дениз он лжец, человек с нечистой совестью. Она не понимает и политики. Он вел сложную игру, дружил с Бретейлем, улыбался Виару. Это необходимо для спасения Франции. Но, конечно, это грязное дело. И вот Дениз возмутилась. Ушла от отца с его непонятной, темной жизнью, от суеверной матери, от брата, который оказался шпионом. Дениз честная, непримиримая...

Тесса видел суровое лицо дочери. Он засыпал, и знакомые черты сливались с картинами, статуями. То Дениз подымала меч, как Жанна д'Арк; то она

держала окровавленный кинжал; то ему мерещился угрюмый взгляд Луизы Мишель, и он повторял: «Поджигательница!» Он знал, что коммунисты — убийцы. Теперь он благословлял дочь, которая должна его убить. Вот она подходит... У нее лицо из гипса, а вместо глаз — впадины. Она сжала горло Тесса...

И Тесса закричал. Его разбудила Амали. Услышав крик, она хотела встать, но не смогла, свалилась. Она приползла из спальни и вцепилась руками в голову Тесса.

— Поль, что с тобой?

Он не сразу опомнился.

— Мне приснилась Дениз... Мамочка, теперь мы одни...

Раздался телефонный звонок. Тесса вздрогнул. Кто может звонить так поздно?.. Не случилось ли чего-нибудь с Люсьеном.

Он взял трубку. Маршандо сообщил ему, что десять минут тому назад закончилось голосование в сенате. Блюм требовал чрезвычайных полномочий; за него подано сорок семь голосов; свыше двухсот против.

Заикаясь от волнения, Тесса сказал жене:

— Завтра я буду министром. Это победа.

Он хотел сказать что-нибудь радостное, обнадежить и успокоить Амали. Но нервы не выдержали: сидя за письменным столом, в голубой пижаме, он плакал и рукавом вытирал нос.

4

Пока сенаторы, сердито покашливая и багровостью апоплексических затылков выдавая душевное возмущение, слушали Блюма, на другом конце города рабочие «Сэна», бастовавшие уже свыше двух недель, собрались, чтобы обсудить ответ дирекции. Дессер наотрез отказался вступить в переговоры прежде, нежели рабочие очистят заводские помещения. Он теперь не философствовал, не острил: другие времена... Да и у рабочих не было того пыла, который два года тому назад помог им одержать победу. Завод «Сэн» последовал примеру других: забастовка охватила всю военную промышленность. Не было ни флагов, ни концертов, ни веселой перебранки с полицейскими. Забастовали потому, что жизнь стала невмоготу; но мало кто верил в победу.

Мишо не было: он сражался в Испании. Товарищи не знали, жив ли он; говорили, что в февральских боях бригада «Парижская коммуна» понесла большие потери. Пьер был с забастовщиками; но и его укатали эти два года. Он поседел, помрачнел, мало походил на прежнего Пьера, наивного, всем увлекающегося. Предательство Виара его надломило. Он продолжал бороться, и ни грустные близорукие глаза Аньес, ни годовалый Дуду не могли его удержать от рискованных полетов в Барселону и Картахену; но боролся он теперь не с надеждой, а с горечью отчаяния.

Руководил забастовкой Легре. И если задор Мишо выражал душу июньской забастовки, угрюмая стойкость, молчаливость Легре как нельзя лучше вязались с суровой битвой этой холодной и неудавшейся весны.

Когда Легре огласил короткий ответ дирекции, наступило молчание. Легре предложил продолжать забастовку; в ответ не раздалось ни аплодисментов, ни протестующих криков. Все сидели как убитые.

— Кто хочет высказаться?

Тишина угнетала: за ней чудился разгром. Вдруг из глубины длинного полутемного ангара раздался слабый голос:

— Прошу слова.

На подмостки взошел старик Дюшен. Когда-то он работал в литейном, но уже много лет как его сделали сторожем; он с трудом нагибался, едва ковылял по двору, а уходить не хотел, отвечал: «Дома скучно». Кто не знал Дюшена? Кажется, он здесь работал с сотворения мира. Инженеры прислушивались к его замечаниям, а Дессер здоровался с ним за руку и говорил: «Это — наша гордость». Люди насторожились. Что скажет Дюшен? Это не крикливый подросток, которому на все наплевать... Зачем им говорить о низких ставках, о растущей дороговизне? Кто этого не знает? Но теперь не тридцать шестой... Дессер уперся. А семьи голодают. И нет в этой забастовке ни смысла, ни исхода... Что же скажет старик Дюшен, на своем веку все повидавший?

Дюшен стоял молча. Наконец он раскрыл рот и надтреснутым, старческим голосом запел:

— Вставай, проклятьем заклейменный...

Все встали, молча подняли кулаки.

— Вот вся моя речь.

Забастовку решили продолжать. Когда обсуждали обращение к другим заводам, Легре вызвали:

— В комитет... Говорят, что правительство слетит...

Дениз сразу узнала рабочего со шрамом на щеке, который подошел к ней в тот вечер, когда она встретила Мишо. Может быть, Легре что-нибудь знает?.. Дениз часто получала письма; Мишо рассказывал о боях, о трудностях испанского языка, о товарищах по бригаде, о холоде и зное Арагона, о мужестве крестьян. Иногда это были записки на клочке бумаги, иногда длинные послания. Он то вспоминал Париж, вечера, проведенные с Дениз, то писал о военных операциях, о казематах Теруэля, о работе истребителей, прозванных «курносыми». В последнем письме, после восторженного описания боев за предместье Теруэля, карандашом было приписано: «Я тебя люблю, и еще как!» Дениз всегда носила это письмо с собой: среди дня проверяла, на месте ли оно; знала каждую букву, но все-таки перечитывала.

Жизнь ее была на вид неприглядной: работа, потом собрание или книга и выписанные в тетрадку имена, колонки цифр. И все же Дениз знала, что это — война, что она — рядом с Мишо. Его письма, похожие на военные реляции, вдруг, как бы нечаянно вырвавшиеся, мальчишеские слова о любви поддерживали ее в минуты душевной усталости. Но с февраля от Мишо не было писем. Дениз боролась с неотвязными мыслями. Он жив! Она повторяла его любимое восклицание: «И еще как!..» Но тревога росла. Увидев Легре, Дениз всполошилась: может быть, он знает...

На собрании говорили о правительственном кризисе. Сенат хочет отставки Блюма. Народный фронт может рухнуть: радикалы раскололись на две группы; социалисты юлят — боятся оттолкнуть от себя Тесса и остаться с коммунистами. Забастовки в Париже растут. Но подъема нет. А крестьян сумели восстановить против рабочих. По сравнению с прошлым годом положение ухудшилось.

Кто-то сказал:

— Упустили минуту...

На него прикрикнули: надо говорить о деле! Париж можно поднять на защиту Народного фронта. Если Блюм откажется уйти, кто выступит против? Друзья Бретейля, кагуляры, да, может быть, полиция. Армия

не поддержит фашистов. Нужно только, чтобы Блюм и Виар приняли бой...

Набросали проект обращения. Правительство остается у власти. Виар должен арестовать кагуляров во главе с генералом Пикаром. Помощь Испании: пора наконец-то открыть границу! Можно было этого и не писать; все знали наизусть; слова казались привычными, потерявшими значение, как «здравствуй» или «до свидания». Решили, что с Блюмом переговорит Дюкло, а к Виару пойдет Легре, ведь Легре поддерживал Виара на выборах. Потом, хорошо послать не депутата, а рабочего: пусть знает, что говорит народ.

Напоследок обсудили вопросы, связанные с забастовками. Надо держаться! Многое зависит от того, чем кончится кризис. Дениз спросили о положении на заводе «Гном». Она ответила:

— Все говорят, что надо кончать забастовку, но все понимают, что надо бастовать. Пока другие держатся, наши не подведут.

Легре усмехнулся:

— Как у нас.

На улице Дениз его догнала:

— Ты из Испании что-нибудь получил?.. Как Мишо?

Голос Дениз выдал волнение. Легре нахмурился: вот уже третий месяц, как оттуда нет вестей... Но он спокойно сказал:

— Все в порядке. Приехал один товарищ... Он недавно видел Мишо...

Дениз не смогла скрыть радость. И смутная улыбка, похожая на весенний день где-нибудь в Бильянкуре, среди шлака и гари, осветила сумрачное лицо Легре.

— Я завтра зайду к вам на завод. Надо ребят подбодрить... Да и у нас плохо. Сегодня старик выручил: запел «Интернационал»... Друг друга стыдятся, только поэтому и держатся.

Простившись с Дениз, Легре пошел по длинной набережной. Париж здесь не походил на себя: новые дома, непривычно белые; заводы, заводы; и сирены кричат, как в порту. Странная весна. Апрель, а холодно. Люди ежатся, сердятся, чихают. Каштаны уже приготовились цвести; их зелень кажется неуместной под злым зимним ветром. Легре вспомнил радостное лицо Дениз. Вдруг с Мишо что-нибудь случилось? Беда!.. А она его любит, это сразу видно. Славная

девушка! Мишо говорил: студентка. Все-таки хорошо, когда есть на свете близкий человек. Говорят — спокойней. Нет, еще тревожней. Но хорошо: жизни больше.

Легре, сколько он себя помнит, был всегда один как перст. Отца он не знал, мать умерла, когда он еще ходил в платьице. Взял его дядя, скупердяга, по профессии колбасник. Легре подавал жбаны со свиной кровью, топил печь, мыл полы. Потом он ушел на завод.

Война не вовремя началась: Легре тогда приглянулась хохотушка, щебетунья Анн-Мари. Он о ней думал в окопах Аргонского леса. Война там шла под землей: подкапывались друг под друга. Осколком снаряда Легре был ранен в лицо; пометка осталась. А когда он вернулся с войны, Анн-Мари и след простыл: она уехала с американским летчиком.

Легре надулся на всех женщин. Жил он тогда скучно. Ходил в кино, иногда выпивал. Потом увлекся политикой. Снова влюбился и снова прозевал: он не знал, как признаться Марго. Ему казалось, что она его презирает. Лето было беспокойное: Сакко и Ванцетти... Легре каждый день выступал на митингах. Осенью Марго вышла замуж за Дюбона. Легре подумал: ей с ним интересней... На Новый год Дюбон позвал к себе приятелей. Он жил в маленьком домике возле фортификаций. Сидели поздно, выпили, накурили. Марго вышла в садик — подышать. Легре уходил: там она его окликнула; начала говорить о кино, спрашивала — видал ли он картину «Остров горя». Он молчал. Вдруг она быстро сказала: «Я вас тогда любила...» И вернулась к гостям. Легре обозлился на себя, решил, что он не создан для счастья; стал еще молчаливей.

Почему он сейчас вспомнил об этом? Да вот, Жозет... Это — дочь товарища. Иногда Легре кажется, что Жозет ласково на него смотрит. Но ей двадцать четыре года, а ему сорок два. Он ей сказал: «Я для вас стар». Почему она рассердилась?.. Надо бы с ней поговорить, Легре все откладывал: не время. И вот сейчас, взволнованный беседой с Дениз, он думал: так и жизнь пройдет...

Он обмотал вокруг шеи шарф. Не то дождь, не то снег... Что ж это за весна?.. Позвонить Виару... Если Блюм уйдет, Дессер ни за что не уступит... Пожалуй, тогда очистят завод силой... А еще недавно казалось, что все у них в руках... Завтра Бретейль будет командовать... Слишком понадеялись на свою силу: большин-

ство, выборы, Народный фронт, демонстрация... А те рыли и рыли... Вот и прозевали!.. Как Легре — Марго... Ну и холод!..

Легре прошел в комнату, где заседал стачечный комитет. Его обступили: что нового?

— Три пункта. Первый — насчет забастовки. Надо держаться. На других заводах настроение боевое. Там были делегаты... На «Гноме» ни за что не уступят... А Дессеру нелегко. Им самолеты теперь вот до чего нужны. Гитлер опять что-то готовит... Значит, на Дессера нажмут: заказы-то он должен сдать. Пункт второй: с министерством. Наши решили обратиться к правительству. Не должны они уходить. Палата выразила доверие. А что сенат? Богадельня! Этих старикашек давно надо отослать на покой. Я к Виару пойду. Мы им предлагаем поддержку. Если понадобится, выйдем на улицу.

— Виар — порядочное дерьмо.

— Не спорю. Но и дерьмо дерьму рознь. А положение у нас посредственное: выбирать приходится не между двумя розами. С Тесса будет еще хуже.

— Это правда. А третий?

— Что третий?..

— Да ты сказал: три пункта.

Легре усмехнулся:

— Я и забыл... Третий — насчет погоды... Разве это, товарищи, весна! Это не весна, а безобразие!..

5

На нарядной улице Сен-Оноре, возле дворца президента республики, с раннего утра толпились зеваки. Репортеры держали наготове блокноты и «зеркалки». Держали пари: кого вызовет президент? Любопытные в окрестных барах согревались кофе или грогом. В девять часов к воротам подъехала большая машина. Тесса, свежевыбритый и благоуханный, легкой поступью прошел наверх. Он позволил себя заснять, но шутливо погрозил пальцем журналистам:

— Президент вызвал меня для консультации. Это все, что я могу сказать. Бутоны распускаются. Зачем их преждевременно раскрывать? Терпение, друзья, терпение!

Пропажа документа, тревога за Дениз, болезнь жены — все было забыто; Тесса сиял; и один из

журналистов пробормотал с завистью: «Подумать только, что ему пошел седьмой десяток!..»

Фотографы снимали Эррио, Даладье, Бонне. Жизнь депутатов и сенаторов была нарушена. Никто из них вовремя не позавтракал. Толпились в кулуарах палаты. Рассказывали друг другу о событиях; президент республики, поблагодарив председателя сената, заплакал от волнения; Даладье забыл выпить аперитив; Тесса при всех обнял Бретейля. Напрасно артистки Французской комедии, балерины, хористки и просто красотки поджидали в урочный час влиятельных любовников: представителям нации было не до любви.

Только Виар начал день необычайно спокойно: его не тревожили репортеры, он не пошел в палату, он был вне игры. Уже зимой он понял, что радикалы созрели для очередной измены, и теперь он не испытывал никакой обиды. Он погрузился в домашние хлопоты, смотрел, как рабочие упаковывали его картины (он собирался, не откладывая, переехать на свою частную квартиру), написал экономке в Авалон, чтобы закончили ремонт к июлю. В этом году он наконец-то насладится каникулами!..

За несколько дней до министерского кризиса к Виару приехала младшая дочь Виолет, проживавшая в Нанси, где у ее мужа была транспортная контора. Виолет нашла отца озабоченным; он подсчитывал голоса, брюзжал на сенаторов, жаловался, что никто его не понимает. Но теперь Виолет не могла нарадоваться: отец сиял. Он пил кофе из большой чашки, дул, чтобы отогнать пенки, и лукаво ухмылялся. Не зная последних событий, можно было принять его за победителя.

— С сегодняшнего дня я вольная птица. Я покажу тебе несколько выставок на улице Боэси. Последние работы Дерена восхитительны.

Он прошел в кабинет. Секретарь его ждал: неотложные дела. Префект Нижней Шаранты сообщал о наводнении; необходимо принять срочные меры для помощи пострадавшим. Еще вчера это известие взволновало бы Виара: он знал, как легко использовать стихийное бедствие для политической агитации. Но теперь он пожал плечами:

— Этим займется мой преемник. Кстати, я ему не завидую. Префект Нижней Шаранты — приятель Бретейля. Да и вообще этот департамент — осиное гнездо. Вы говорите, что Шаранта сильно поднялась?

И, не выслушав ответа секретаря, Виар задумался. Он видел большую реку, серую и молчаливую. Кое-где торчат затопленные наполовину деревья. Вороньи гнезда... Для Виара, освобожденного от государственных забот, наводнение было только явлением природы, поэзией. К действительности вернул его непрошеный гость — Легре.

— Коммунисты предлагают вам не сдаваться. Народный фронт победил на выборах, и только палата выражает волю страны.

— Но конституция...

— Конституция не обязывает вас считаться с вотумом сената. Вы хотите юридического оправдания? Пожалуйста! Когда сенат высказался против радикального кабинета, Леон Буржуа не ушел. А теперь — по существу. Если вы уйдете, вы откроете путь фашистам. Сначала Даладье, Бонне, Тесса. Потом — Бретейль.

— Мой друг, зачем преувеличивать опасность? Даладье — организатор Народного фронта. Да и Тесса не так уж страшен. Если я не ошибаюсь, за него голосовали коммунисты. Это типичный радикал, колеблющийся, но честный...

Легре не умел прикидываться. Он встал, повысил голос:

— Вы как-то при мне сказали, что связали свою судьбу с судьбой рабочего класса. Рабочие хотят, чтобы вы остались. Я не стану вас обманывать. Часто мы осуждали вашу политику, вы это знаете. Но теперь не время для споров... Фашисты мечтают, как бы разгромить все рабочие организации. И мы готовы вас защищать. Вы обязаны остаться. На завтра назначена большая демонстрация перед зданием сената. Мы покажем старичкам, на чьей стороне сила.

Виар едва заметно улыбнулся.

— Я очень признателен вам и вашей партии за доверие. Но теперь это носит ретроспективный характер... Сегодня утром Блюм вручил президенту коллективную отставку.

Легре сел, закрыл ладонью глаза.

— Все это плохо кончится. Сначала они разгромят рабочих. Потом?.. Потом будет, как с Австрией, — придут немцы. Испания доживает последние дни. Чехов они выдадут. Бретейль пойдет с кем угодно, с Муссолини, с Гитлером, лишь бы «навести порядок»...

Виар сочувственно кивнул головой. Теперь он был только левым депутатом; он мог свободно высказывать свои чувства.

— Вы совершенно правы. С Испанией поступили отвратительно. Говоря откровенно, комитет по невмешательству — постыдная комедия. Итальянцы делают что хотят... Я вполне разделяю ваш пессимизм.

Легре хотелось спросить: «А кто виноват?» Но он промолчал; он понимал бесполезность разговора. Виар патетично развел руками. Легре вспомнил, как два года тому назад на собрании Виар его обнял. Он повторил:

— Постыдная комедия... До свидания. Мне незачем вас утомлять.

Когда он ушел, Виар подумал: он не лишен деликатности, понял, что я смертельно устал. А другие не понимают, теребят... Да, я хотел что-то сказать секретарю...

Секретарь уже стоял с блокнотом.

— На завтра назначена демонстрация возле сената. Сообщите префекту полиции, что демонстрация запрещена. Я не хочу, чтобы меня могли упрекнуть в шантаже. Мы разбиты, и мы уходим: таковы правила честной парламентской игры.

Он позвонил лакею:

— Здесь очень холодно, затопите камин. И принесите мне туфли.

Какое это было наслаждение! Весело трещали дрова. Виар снял с себя тяжелые ботинки и в теплых туфлях на меховой подкладке, один, в одиннадцать часов утра, наслаждался свободой. Никуда не нужно идти. Мысли были ленивыми, уютными... Легре преувеличивает. Франция — загадочная страна; каждое десятилетие она гибнет и никогда не погибает. Не погибнет и теперь... Может быть, сенаторы правы. Международное положение обострилось. Тесса, Даладье, Сарро, даже Лаваль... Это — домашние туфли. Франция к ним привыкла; они разношены, их не замечаешь. А Народный фронт можно до поры до времени поставить в шкаф...

Пришла Виолет. Он обрадовался: теперь есть время поговорить. Он расспрашивал про мужа, про дела, про квартиру.

— Я надеялся, что у тебя будет мальчик. Хочу понянчить внука.

У старшей дочери Виара были две девочки.

— Морис говорит, что теперь не время... У нас в Нанси все ждут войны.

Виолет хотелось расспросить отца о политике. Морис потом пристанет: «Что он говорил?»

— Ты знаешь, папа, эти два года мне лично было очень тяжело. Тебя у нас не понимают. При мне, конечно, молчат. Но все-таки до меня доходит через Мориса, через Жанну... Почему-то все ополчились на тебя. Одни говорят, что ты распустил рабочих. Это и я слыхала. Даже в кабаре пели... А другие, наоборот, сердятся, что ты выпустил из тюрьмы кагуляров. Уже всего не помню... Но со всех сторон... Я часто плакала...

Подбородок Виара задрожал от обиды. Что он мог ответить дочери? Что больших людей всегда осуждают при жизни? Что он в течение двух лет ограждал Францию от кровопролития? Но ему самому эти громкие слова казались неуместными. Он придвинулся еще ближе к камину и сказал:

— Я знаю, что меня все ненавидят. У меня после смерти мамы никого не осталось.

Потом он встал и тщательно накапал в стаканчик двадцать капель лекарства.

— Чуть было не забыл... А это надо принимать за час до обеда для правильного обмена веществ.

6

Почему Муш так привязалась к Люсьену? Он ее не любил, да и не говорил, что любит. Для него это была еще одна победа в послужном списке: хорошенькая, к тому же слывшая недоступной, женщина. Только теперь он понял, как сильно было его чувство к Жаннет: тогда он терзался от ревности, нетерпеливо ждал каждого свидания, боялся холода, отчужденности. С Муш он забавлялся. Только чтобы оживить приевшиеся ему объятия, он вдруг начинал упрекать ее за то, что она живет с мужем. Муш, плача, говорила: «Хочешь, я уйду от него?» Ей казалось счастьем перебраться в грязный номер, где жил Люсьен после ссоры с отцом, голодать, штопать носки любовника, носить в редакцию его статьи. Но он, поиграв в ревность, говорил: «Нет. Мне ты не нужна, а он тебя любит».

Муш плакала еще сильнее. Он нетерпеливо морщился, и, пересилив себя, Муш шутила, пела гавайские песни...

С Гранделем она познакомилась три года тому назад на маленьком пляже в Бретани. Она сразу ему приглянулась. Он бродил с ней по скалам и говорил о «космических бурях»: он тогда был начинающим автором. Зимой они поженились. Оба были молоды, красивы, остроумны. Гранделю к тому же везло: он стал депутатом, завелись деньги. Они сняли хорошую квартиру в Отейле, много принимали, Муш одевалась у лучших портных, выезжала в «кадиллаке», и шофер никогда не забывал украсить машину ее любимыми цветами — пармскими фиалками.

Казалось, все должно было способствовать семейному счастью. Но вот на четвертый год замужества, встретив Люсьена, Муш потеряла голову. Прежде всего ее поразила внешность Люсьена. Грандель был красив холодной, бесчувственной красотой; походил на гравюру. А в Люсьене все было порывистым: жесткие огненные волосы, яркие глаза, неясная, едва намеченная улыбка, длинные тонкие руки. Узнав его ближе, Муш поняла, что никогда прежде не встречала таких людей. Он весь загорался от одного слова, а потом погружался в беспричинную молчаливую печаль. Он часто играл, она это замечала, но и в игре он оставался самим собой, грубил, оскорблял себя, готов был на благородство и на подлость. Его завтрашний день представлялся загадкой для других, да и для него. Муш вдохновляла его биография, смены страстей, измены, глубокая нечестивость. Она выросла в благонравной, аккуратной семье мелкого колониального чиновника, где все было вымерено — и любовные шалости отца, и молитвы матери, и взятки, и гроши, выдаваемые старой служанке. Муш отдалась Гранделю потому, что он показался ей героем романа; но, прожив с ним три года, она знала, что он — черствый карьерист. Он сам как-то признался, что изменил ей с одной актрисой только для того, чтобы проникнуть в салон влиятельного депутата. Единственной страстью Гранделя была игра. Прежде он частенько бывал в казино Монте-Карло и Биаррица. Сделавшись депутатом, он остепенился: говорил Муш, что политика для него — та же рулетка. Она ему не верила, презирала его; признавалась Люсьену: «У меня такое чувство, как будто он меня покупает...» Люсьен иногда в ответ

ругался, раз даже ударил ее, но чаще посмеивался: «Я люблю проституток, это порядочные женщины».

Разрыв Люсьена с отцом, то, что он пошел на полуголодную жизнь, еще сильнее привязало к нему Муш. Но она не понимала, почему ему вздумалось спасать репутацию Гранделя. Делами мужа она не интересовалась; никогда его ни о чем не спрашивала. Как-то ей почудилось, что муж подозревает о ее связи; она испугалась за Люсьена, убежденная, что Грандель способен на любую низость. Но Грандель, встречая Люсьена у Монтиньи, был с ним, как прежде, приветлив.

Люсьен никому не рассказывал о своих семейных неприятностях, опасаясь, как бы дело не дошло до Жолио: тогда он лишится доходов. Тесса тоже предпочитал не говорить о своей ссоре с сыном. Только Муш знала все. Грандель теперь чуть ли не каждый день заговаривал с ней о Люсьене. Она молчала. Наконец он сказал: «Я знаю, что ты с ним дружна. Пожалуйста, не отпирайся. Я не ревную... Я только хочу, чтобы ты его позвала. Нам нужно поговорить с глазу на глаз».

Взволнованная, она пришла на свидание. Она не знала, как передать Люсьену предложение Гранделя. Сердцем она чувствовала опасность. А Люсьен, как назло, был весел, потешался над ней. И впервые, когда он ее обнял, она ничего не почувствовала, кроме страха: как будто ее знобило. Потом она высвободилась и сказала:

— Он тебя хочет видеть. Люсьен, я боюсь за тебя.

— Чепуха! Грандель не Отелло.

— Ты не понимаешь... Дело не в ревности. Это страшный человек. Он тебя запутает. Я знаю эту его улыбочку... Зачем только ты ему понадобился?

— Наверно, не знает, что я поссорился с отцом. Хочет войти в доверие. Карьерист. Но довольно об этом...

Он поцеловал Муш. Она отодвинулась и вдруг спросила:

— От кого было то письмо?

Он пожал плечами:

— Глупая фальшивка. Обычная история с деньгами. А подписано — Кильман.

Муш зарылась головой в подушку. Люсьен ее тряс за плечо:

— Ты что-то знаешь? Говори!

— Он тебя убьет...

— Говори! Ты знаешь о письме?

— Нет. О письме ничего... Но я знаю Кильмана. Только, ради бога, не говори!.. Он тебя убьет... В Люцерне... Он меня с ним оставил на несколько минут... У нас был двойной номер... Противный человек, затянут, как в корсете, а затылок выбрит наголо... Он смешно говорил по-французски, вместо «д» — «т»... Настоящий бош. Но ты никому не говори!.. Он мне тогда сказал, чтобы я не говорила... Он очень волновался... А ты знаешь, какой он спокойный... Ты не должен с ним связываться...

Люсьен ее больше не слушал. Он поспешно одевался. Потом крикнул:

— Одевайся!

Она ничего не понимала; искала губами его руки:

— Люсьен, не сердись!.. Я не виновата...

Она плакала. Желая ему угодить, взяла пудреницу, чтобы привести себя в порядок. Он вырвал из ее руки пуховку:

— Живее!

Они вышли вместе. Она шептала:

— Люсьен... Люблю... Мне так страшно!..

Она заметила, что у нее не застегнута блузка; кинулась в первую подворотню. Когда она вышла, Люсьена не было. Она села на скамейку. Кругом толпились люди; это была остановка автобуса. Но она никого не замечала. Напугал ее газетчик; над самым ухом он крикнул: «Угроза не миновала!..» Тогда Муш истерически вскрикнула, а из глаз побежали слезы. К ней подошла какая-то женщина и ласково сказала:

— Успокойтесь! Муж мне говорил, что войны не будет.

7

Было восемь часов вечера, когда Люсьен пришел к Бретейлю. Служанка провела его в гостиную, попросила обождать: Бретейль обедал.

Жил предводитель «верных» как буржуа средней руки. В гостиной стояло пианино, на котором никто не играл; мебель была в чехлах, чтобы не выгорел красный атлас. На круглом столе лежали альбомы с семейными фотографиями и огромная книга «Замки Луары». На стенах висели пейзажи: закат над морем и плодовый сад в цвету.

Дверь была полуоткрыта в столовую с горкой, где красовался старинный хрусталь. Бретейль сидел напротив жены и молча ел компот из чернослива. В углу стоял детский стульчик: жена не захотела, чтобы его вынесли. Аккуратно свернув салфетку, Бретейль вышел к посетителю.

Он поморщился, увидав возбужденное лицо Люсьена: не любил, когда к нему приходили без приглашения. А Люсьен даже не стал извиняться; он был слишком взволнован: не прошло и часа, как он расстался с Муш. Он сразу сказал:

— Письмо не фальшивка.

Бретейль улыбнулся:

— Это вам сказал ваш достоуважаемый родитель?

— Нет, ему я не поверил бы. Но теперь я знаю, что Кильман существует и Грандель с ним встречался.

Бретейль шагал по длинной полутемной гостиной. Люсьен искоса следил за ним: хотел прочесть гнев, изумление, горечь. Но костистое сухое лицо Бретейля оставалось спокойным.

— Кто вам это рассказал?

— Не все ли равно... Я не могу назвать лица, но я ручаюсь...

Бретейль повернул выключатель. От резкого света люстры Люсьен зажмурился. Бретейль стоял над ним, облокотившись рукой о высокую спинку стула.

— Я вам советую забыть ваши слова. Вы стали игрушкой в чужих руках... Вы мне ручаетесь за человека, которого вы даже не хотите назвать. А я вам ручаюсь за Гранделя.

Люсьен встал и, не прощаясь, вышел в переднюю. Он долго искал в темноте свою шляпу. Потом вдруг вернулся в гостиную. Бретейль стоял все в той же позе. Люсьен сказал неожиданно спокойно, даже задумчиво:

— Я с вами провозился полтора года... И вот интересно... Вы что же, слепой? Или вы тоже знакомы с этим Кильманом?..

Он ждал, что Бретейль ударит его или крикнет: «Негодяй». Но Бретейль не изменился в лице.

— Вы слишком ничтожны, чтобы меня оскорбить. Мой вам совет: не занимайтесь политикой. Это не для вас. По природе вы воришка или сутенер. Ступайте!

Кулаки Люсьена сжались, но он не бросился на Бретейля; он покорно ушел. Только на улице он

подумал: «Почему я его не избил?..» И тотчас забыл об обиде: отвращение к себе заслоняло все. Он ходил по улицам, несмотря на холодный ветер. Был конец мая, но зима не унималась.

Люсьен еще раз пережил крушение всего, чем жил; и теперь он знал, что это непоправимо. Он работал на какого-то Кильмана с бритым затылком... Мерзость! А Муш живет с Гранделем... Люсьен не подумал, что Муш много раз порывалась уйти от Гранделя. Тогда Люсьен уговаривал ее остаться с мужем. Теперь она была для него соучастницей преступления. Кто знает, не жила ли она с Кильманом?.. Одна шайка! Отец был прав: «На немцев работаешь». Но к отцу он не вернется. Не вернется и к дурачкам из Дома культуры. Назад дорога закрыта. А впереди ничего... Завтра Жолио узнает, что отец его выгнал. Тогда исчезнут и доходы: зачем Жолио с кем-то делиться... Бретейль думал его оскорбить. А это правда — завтра он начнет воровать, сделается «котом». Это все-таки лучше их политики!..

Он вдруг остановился в изумлении: навстречу ползли карнавальные колесницы. Полураздетые девушки, ежась на холодном ветру, пытались улыбаться редким зевакам. Все было залито белым едким светом, от которого становилось еще холодней. И Люсьен вспомнил льды, смерть Анри... Белая колесница, огромные гипсовые лебеди, девушки в крахмальных чепцах с густо припудренными лицами... Почему сегодня карнавал?.. С трудом Люсьен припомнил: да, в газетах писали... Это Поль Тесса забавляет добрый французский народ. Довольно поднятых кулаков, красных флагов, бездушной политики! Да здравствует веселье и торговля! Тесса решил показать всему миру, что Париж не боится ни революции, ни войны. Карнавальным шествием открывается весенний сезон: премьеры в театрах, розыгрыши крупных призов на ипподроме, балы, выставки мод. Спешите, американцы и англичане! Тащите валюту. Вас ждут все кафешантаны, все портные, все парфюмеры, все проститутки. Вас ждет спаситель Франции — Поль Тесса.

Еще одна колесница. Тучная женщина с трехцветным шарфом на плечах держит электрический факел: это Франция. Ей холодно, у нее грустные глаза и лиловые губы. Люсьен остановился, поглядел на нее и вдруг, как мальчишка, показал ей язык.

8

Еще недавно слово «война» было связано с воспоминаниями: люди пятидесяти лет, мирные виноделы или счетоводы, в длинные зимние вечера любили возвращаться к бурям молодости. Свои рассказы они начинали: «Тогда была война...» Некоторые не щадили слушателей, преувеличивали пережитые опасности, старались звукоподражаниями и жестикуляцией передать грохот снарядов, бой, стоны умирающих. Другим годы войны казались увлекательными похождениями, за которыми последовала серая, неказистая жизнь; забывая о грязи окопов, о вшах и страхе, с восторгом они описывали героические разведки, солдатские пирушки, любовные проказы. Детям давно надоели и бедствия, и удаль отцовской молодости. Война для них была чем-то вышедшим из употребления, как фиакры и керосиновые лампы. И вот знакомое слово обернулось, оно стало предчувствием, томлением; оно заслонило завтрашний день. Говорили: «Если не будет войны, мы осенью поженимся», или: «В июне сдам экзамены, если только не будет войны»...

В ту весну много писали о никому дотоле не ведомых судетах, и, глядя на карту Чехо-Словакии, люди боязливо ежились; они вспоминали четырнадцатый год, сербов, горячий день, когда беленькие листочки и смутный бой барабанов оповестили о всеобщей мобилизации.

Майская тревога оказалась ложной; но все боялись заглянуть в белесый туман знойного лета. Опять эти судеты!.. Что же тут было ответить приятелю, который спрашивал о каникулах? Тупо повторяли: «Если не будет войны...»

А каникулы приближались. И, отгоняя страх, парижане занялись выбором рыбацкого поселка или горной деревушки. Не сидеть же в раскаленном городе из-за проклятых судетов!..

Тесса твердо верил в счастливую звезду, свою и Франции; он заявил: «Наша страна — оазис мира!» Тотчас газеты и радио начали рекламировать спокойствие Франции, как патентованные пилюли или высокой марки аперитив. Куда ехать американцам? В Висбаден? Помилуйте, там штурмовики, военные маневры, концлагеря, эрзацы. Не в Карлсбад, ведь там-то и живут эти самые судеты. В Италии госпитали

с ранеными, прибывающими из Испании, суматоха — чернорубашечники готовятся к новым походам. А Виши, Трувиль, Биарриц ждут гостей. Это воистину оазисы мира! И Жаннет каждый вечер повторяла в микрофон: «Оазисы мира... Заказывайте заранее комнаты... Изумрудное побережье... Не забудьте о красотах Маконэ, воспетых Ламартином... «О, благовест и мяты аромат!» Отменное белое вино и «траурная пулярка», начиненная трюфелями...»

Отпуск Жаннет начался пятнадцатого августа. Она поехала на Лионский вокзал по пустым улицам. Как и в другие годы, Париж казался вымершим. Несколько провинциалов; автокар с англичанами. Опустевший город был живым, уютным. Толстяки на террасах кафе бесцеремонно расстегивали воротнички. Консьержки в шлепанцах сидели с вязаньем возле подъездов. Во всем была приятная истома. Люди благодушно улыбались, и шофер такси пожелал Жаннет: «Веселых каникул».

В вагоне снова говорили о судетах, о Гитлере, о войне. Жаннет не слушала: разговоры казались ей абстрактными, не связанными с жизнью. Но вот и Флери...

Почему она выбрала эту деревню, знойную и белую, среди синих виноградников, известную только виноторговцам? Может быть, она запомнила красивое имя с детства: Флери.

Жаннет давно не выезжала из Парижа. Она потеряла голову от воздуха, зелени, тишины. Дыша, она чувствовала, что дышит; она смаковала свежесть глубокого утра, бегала по полянам. взбиралась на холмы. Все здесь было спокойным, невозмутимым; вот такие же домики и виноградники Жаннет видела много лет тому назад, девчонкой... И, смеясь, она повторяла: «Оазис мира...» Хоть раз она не солгала!..

Виноделы опрыскивали лозы. Все было голубым: блузы, руки. Люди любовно осматривали каждую лозу; по-хозяйски, удовлетворенно поглядывали на безоблачное небо, говоря Жаннет: «Вино в этом году будет хорошее...» Они помнили прожитую жизнь год за годом по тому, какое было лето: много ли солнца, удалось ли вино. Счастливые годы красовались на этикетках старых бутылок и жили в памяти, связанные с молчаливым торжественным зноем августа. А грозди уже темнели...

Внизу, в долинах, стояли деревья. Каждое жило своей жизнью; вязы, дубы, ясени были старше людей;

и люди уважали деревья, заискивали перед их тенью, приходили к ним в часы изнеможения или любви. Под деревом закусывали, спали, целовались. Было среди деревьев у Жаннет любимое: на берегу узкой мутной речки стоял высокий ясень. На белом небе чернели как бы вырезанные листья. Ясень стоял прямо, не уступал ветрам, и Жаннет часто думала, что он, у въезда в деревню, сторожит мир.

Разговоры о войне дошли и до Флери. В полутемном кафе, где всегда бывало прохладно и где крестьяне медленно отхлебывали из тяжелых стаканов густое вино, вдруг раздавался голос диктора, этого недружелюбного чужого горожанина. Он говорил о судетах, о каком-то Генлейне. Виноделы хмурились: война подбиралась к их домам. Но вот приходил забулдыга Южень, неизвестно почему прозванный «Австрийцем», хотя родился он в соседней деревушке, усатый и красномордый, который восторженно объявлял: «А я сегодня съел сорок раков...» Позабыв про Генлейна, все обступали Австрийца, хотели выведать, в какой речушке нашел он раков, но мошенник молча ухмылялся. Бывали и другие происшествия: из Лиона приезжали за вином для рабочего праздника; старик Боже продал туристам штопор, сделанный из лозы; у хозяина кафе сбежала коза. Все это было жизнью, а газеты и радио глухо говорили о смерти, и живые старались не вникать в их темные речи.

Жаннет вошла в пейзаж, слилась с окрестным миром. Крестьяне угощали ее вином, шутили с ней. Друг другу говорили: «Забавная девушка»; означало это — «славная, приятная». Она сразу забыла Париж, где оставила только одиночество да скучную, изнурительную работу. Автомобили на шоссе с нарядными парижанками напоминали ей о враждебном мире; она в страхе думала: «Скоро конец...»

И вот в один из самых спокойных, самых бездумных дней, когда неистовое солнце августа загоняло людей в прохладное кафе, с ней заговорил парижанин. Одет он был по-дачному: без воротничка, полотняные туфли. Веселый, с прогоревшей трубкой, с лицом обрюзгшим и насмешливым, с живыми внимательными глазами, он походил на виноторговца из Макона или Дижона. Вино он пил со смаком, прищелкивая языком и раздувая щеки. В тот день все засыпали от жары. А хозяйка кафе даже похрапывала. Но

человек с трубкой был весел. Он рассмешил Жаннет, передразнив хозяйку и Австрийца. Потом рассказал марсельский анекдот. «Олив взволнован: «Иду вчера по Канебьер и вижу Мариуса. Кричу: «Здравствуй, Мариус!» А он не оборачивается. И представьте себе, оказалось, что это не он и не я!» Жаннет смеялась: «Как глупо! Не он и не я...» Смеялась она так заразительно, что хозяйка, проснувшись, улыбнулась, а потом снова уснула.

Незнакомец понравился Жаннет, хотя был он немолод и некрасив. Привлекала его простота, ласковая насмешка, какая-то живучесть. Жаннет жила в мире актеров; там были лживыми все жесты, все интонации. Этот человек (про себя она называла его виноторговцем) пришелся ей по сердцу. Они весело болтали. А когда жара спала, вышли вместе, и Жаннет повела его к своему любимому дереву. Он сел на траву, снял шляпу, вытер большим фуляром лоб, сказал: «Удивительно хорошо»,—и сразу стал грустным. Помрачнела и Жаннет. Он сказал:

— И вы приуныли. Такой у меня талант: все замораживаю. В сказках есть люди, берут песок, а в руке золото. У меня—наоборот: вместо золота песок...

— Я это понимаю...

Жаннет в тоске вспомнила другое дерево, пыльное и сонное на парижской площади, рядом с каруселью. Она могла быть счастлива. Почему она сама отказалась от счастья? Как он... Вместо золота—песок. И чужой человек стал ей вдвойне мил. Она удивленно сказала:

— Вот мы и подружились. А я даже не знаю, кто вы. Я—актриса. Только не думайте, что вы знаете мое имя. Я—маленькая актриса. Работаю в радио. Жанна Ламбер, Жаннет... А вас как зовут?

— Дессер. Во Франции, наверно, сто тысяч Дессеров.

— Дюпонов больше. Я слыхала про какого-то Дессера... Миллионер. Говорят, чудак, но, как все они, мерзавец...

Дессер улыбнулся:

— Конечно... Давайте закончим представления; скажем, как мудрый Олив: не вы и не я. Хорошо? Вам это легко, поскольку вы актриса. Вы играете инженю? Обманутых любовниц? Деревенских служанок? Маргариту Готье?

— Я рекламирую вермут «синзано» и кровати «насиональ». И еще благоденствие Франции. Видите, какое ничтожество! Раз я должна была играть... Но меня заменили: вопрос имени, то есть денег. У меня есть приятель — режиссер Марешаль. Вы, наверно, слыхали... Он очень способный. Он придумывает постановки и не ставит: нет денег. У него революционный театр, а теперь это не в моде. Он чудесно придумал постановку «Нуманции». Я должна была играть главную роль... Все это мечты! Буду восхвалять искусственный жемчуг или новое слабительное. Все равно!.. Обидно, что скоро возвращаться в Париж...

Она подумала, что не знает даже, чем занимается ее собеседник; откуда он, правда, из соседнего Макона или из Парижа? Она робко спросила:

— Вы приехали сюда на каникулы?

— Да. Я снял домик недалеко отсюда, по дороге в Жюльена. Останусь до октября.

— Вы здесь с семьей?

Он рассмеялся.

— Я всегда один! Не знаю, что тому причина: я ли бегу от людей или люди от меня. Вот от вас не убежал...

— И я не убежала... Я тоже одна. То есть у меня были в жизни... я хотела сказать: близкие, это неправда — далекие. Жила с ними, вот и все. Это — внешняя сторона, роль, которую поручили. Иногда даже меньше: комната в гостинице. Не все ли равно какая?..

Вечер принес прохладу; ясень вздрогнул под ветерком; закричали лягушки; вдалеке прозвенели бубенцы стада, Жаннет притихла. Дессер вдруг осунулся, постарел. Они молча вернулись к деревне. Прощаясь, Дессер попросил разрешения прийти завтра. Он с горечью добавил:

— Ходатайствую, как школьник, о романтическом свидании под тенистой липой.

— Это не липа, а ясень. Не говорите так... Не нужно быть грустным! До завтра!

На следующий день выяснилось, что у нее глаза совы, волосы и доброта пуделя, язык парижского мальчишки. Выяснилось, что он презирает все и готов до упаду танцевать с девушками из Флери, что у него обтекаемая машина и потертый пиджак, что он любит стихи Лафорга, но почему-то занимается статистикой.

А еще через несколько дней выяснилось, что они ждут с нетерпением часа свидания, что оба наивны

и самолюбивы, что никто из них не признается другому в своих чувствах. Жаннет думала: для него это банальное дачное похождение. Дессер говорил себе: я стар, уродлив, а ко всему не поэт — купец...

Начало сентября было знойным. Крестьяне не могли нарадоваться. Грозди тяжелели. Скоро сбор винограда. Но Жаннет его не увидит: через неделю конец ее счастью.

Это было предпоследнее свидание. Дессер неловко ее обнял. В делах любви он и вправду был школьником. Жаннет почувствовала искренность, смятение Дессера. Она высвободилась и печально попросила:

— Не нужно.

Он тотчас покорился. Они шли по лесной тропинке, молчали. Потом Жаннет сказала:

— Здесь было много земляники, видите листья... Вы не сердитесь. Если бы у меня к вам ничего не было... Я ведь не девушка. Я сходилась просто, не знаю — отчего. От одиночества. Или не умела отказать... Но с вами другое...

Он ничего не ответил.

После этого разговора Жаннет всю ночь корила себя: она снова отказывается от счастья. Правда, она сама не знала, блажь это или настоящее чувство. Иногда ей казалось, что она пристрастилась к беседам с этим человеком только потому, что он говорит, как эхо, отвечает ее мыслям. Они оба устали, опустошены, одичали без ласки. Оба бедняки. Что им дать друг другу? Иногда Дессер сливался с виноградниками, с отдыхом, с простыми шутками в деревенском кафе. Но сейчас ей показалось, что она его любит. Она рассердилась на себя за сцену в лесу: разыграла недотрогу. Потом — на него: почему он ее послушал? Наконец решила: «Завтра я его поцелую». И с этим заснула.

На следующий день Дессер пришел одетый по-городскому. Лицо у него было озабоченное.

— Через час я уезжаю в Париж.

Жаннет вскрикнула:

— Нет!

Он тихо ответил:

— Спасибо.

Потом показал синий листок — телеграмма.

— Меня вызывают. Неожиданное обострение...

И вдруг Жаннет услышала знакомые имена, как будто заговорил диктор: Гитлер, Генлейн, Чемберлен...

— Неужели война?

— Не думаю. Но нужно спасать мир. Во что бы то ни стало... Вы видали, как счастливы здесь люди. Нужно это отстоять...

Она глухо ответила:

— Да.

А минуту спустя удивилась:

— Почему вы?.. Нет, я ничего не понимаю. Я ведь до сих пор не знаю — кто вы. Сначала я думала, что вы торгуете вином... А теперь вы говорите, как будто вы депутат или министр...

Он на минуту развеселился.

— Нет, нет, не министр! Избави бог! Я торгую... Только не вином... Одним словом, тот самый Дессер, который мерзавец. Помните, вы в первый день сказали? Теперь вы, наверно, пошлете меня к черту.

Жаннет изумленно посмотрела на него, как будто она раньше не видела этого человека. Миллионер... Она помнила богачей Лиона, чопорных и надменных. А Дессер пил с крестьянами, ходил в люстриновом пиджачке, проводил дни с плохонькой актрисой... Необычайность всего этого еще усилила ее влечение к Дессеру. Как обидно, что он уезжает!.. Они попрощались у того же дерева. Жаннет хотела его поцеловать, но отвернулась.

— Я вчера ночью решила, что я вас поцелую. Но теперь нельзя — вы подумаете, что польстилась на миллионы...

У него на глазах показались слезы, и, рассердившись на свое смятение, он пробормотал:

— Это как всегда...

Она быстро его поцеловала и, взбежав на холмик, крикнула:

— Мой телефон: Суфрен ноль восемь двадцать шесть.

И, поднявшись еще выше:

— До свидания! В Париже увидимся. Хорошо?

Он уже успел прийти в себя, стать обычным, чуть насмешливым:

— Конечно! Если только не будет войны.

9

Тесса так долго рассказывал всем о безопасности Франции, что сам в нее уверовал. Когда при нем говорили: «Если не будет войны», — он с уверенностью

отвечал: «Не будет». Собеседники улыбались, обнадеженные: Тесса что-то знает!.. А Тесса ничего не знал. Он мог бы, как другие, сесть и гадать: будет — не будет? Но он был спокоен. Спокойствие это было необъяснимым и непоколебимым; оно рождалось от зрелища людей, мирно распивающих аперитивы, от щебета Полет, от привычных парламентских сплетен; все в мире представлялось ему понятным и закономерным. Могла ли эта хорошо налаженная жизнь поколебаться от каких-то судетов?

Но вот наступил сентябрь. Телеграммы из Берлина говорили о близкой развязке. Нельзя было отделаться оптимистическими фразами. Тесса собирался отдохнуть в поместье друзей на берегу Луары, когда подошла гроза. Немногие понимали серьезность положения. Газетам не верили; помнили май, тогда журналисты тоже каркали; говорили: «Обойдется!..» Каникулы продолжались; загорали на пляжах, подымались на ледники, удили рыбу. В теплой тишине дачных уголков газетные сообщения казались отвлеченными; трудно было представить, что донесения послов могут помешать купанью или прогулке.

Тесса пугала ответственность. Стоило ли интриговать, подкапываться, льстить, чтобы заполучить власть в такое проклятое время? Частенько он вздыхал о прошлом: куда легче было защищать честного убийцу, который, не говоря высоких фраз, прирезал богатую свояченицу! Но ни за что Тесса не расстался бы с министерским портфелем: в ощущении власти было нечто веселящее. Он помолодел лет на десять; даже Полет это заметила. Он все время был в движении, приподнят, возбужден. Он говорил себе: «Какие минуты! Министров было много, их забыли, а про меня будут читать правнуки. Только бы спасти Францию и мир!»

Положение с каждым днем обострялось. Нужно было что-то сделать, одернуть немцев. Но англичане отмалчивались. А Франция была разъединена. Тесса отводил в сторону Фланден, объяснял, доказывал, уныло повторял: «Мир на волоске...» — и Тесса казалось, что вся беда в чехах. Потом прибегал бородатый Фуже, кричал о свободе, цитировал Клемансо, выплевывал: «Франция!.. Франция!..» И Тесса, испуганный, отвечал: «Чего ты петушишься? Мы не выдадим чехов. Ручаюсь...» И, освободившись от неистового бородача, Тесса вздыхал: кажется, придется воевать.

Только что ему принесли пространную телеграмму из Праги. Судеты выступят в ближайшие дни; германские войска перейдут границу, чтобы «защитить братьев»; Бенеш настаивает на совместном выступлении держав, гарантировавших неприкосновенность Чехо-Словакии. Тесса задумался. Можно ли спасти чехов, когда Франция накануне распада?.. Правые грозят бунтом. Даладье пьет абсент и приговаривает: «Я не пошлю французских крестьян на убой...» Лебрен плачет. А друзья Дениз выносят воинственные резолюции и разжигают забастовки. Да, это тяжелее, чем защищать самого страшного убийцу!..

Когда в кабинет вошел Бретейль, Тесса грустно высморкался; предстоит еще один неприятный разговор. Мало ему судетов, надо считаться с оппозицией, ублажать Бретейля!.. Тесса вдруг вспомнил Люсьена, выкраденный документ и всхорохорился. Его птичий нос заходил, как клюв хищной птицы.

— Видимо, придется воевать.

Бретейль спокойно ответил:

— Ни в коем случае. Ты знаешь, что мы не должны и не будем воевать. Успокой страну. Эта паника отражается на всей экономической жизни. Сегодня на бирже...

— А ты слышал, что на этой неделе ожидают путча судетов? Все как по нотам: немцы перейдут границу... Отвертеться мы не сможем.

— Если вы объявите мобилизацию, начнется гражданская война. Разгром Франции обеспечен. Конечно, Германия — наш естественный враг. Но бой нужно дать на выигрышных позициях. А Франция разделилась. Одни считают, что судетов следует отдать: богу — божье, Гитлеру — гитлеровское. Так рассуждают и депутаты моей группы. Кто против уступок? Коммунисты. Народный фронт. Поклонник Москвы Фуже. На чехов им наплевать. Они хотят укрепить свои позиции. Из ста французов десять — за компромисс, пять — за Бенеша, остальным попросту надоела вся эта история. Неужели ты пойдешь за коммунистами?

— При чем тут коммунисты? Речь идет о чехах.

— Да, но чехи — союзники Москвы.

— А мы? Пакт с Прагой подписал не Кашен, а Лаваль. Нельзя в вопросах иностранной политики руководствоваться партийными интересами.

— Мы не на Олимпе. Ты сам говорил, что французы не хотят умирать за барселонских анархистов.

Нет, погоди, говорил ты это или не говорил? Ну вот, а теперь французы не хотят умирать за искусственное государство, которым к тому же управляют ставленники Кремля. Пойми, Поль, Чехо-Словакия — авиаматка Москвы. Понятно, что Гитлер лезет на стену...

Тесса глядел на сухое костистое лицо Бретейля, и в голове все время вертелось: знает ли он, что документ Фуже выкрали?.. Наконец он не выдержал:

— Как ты относишься к Гранделю?

Бретейль пожал плечами:

— Я с тобой говорю о серьезных вещах, а ты спрашиваешь про какого-то мальчишку. Это не дело, Поль!..

Когда Бретейль ушел, Тесса стал прикидывать: правые сорвались с цепи — двести сорок голосов против... В одном Бретейль прав: страна разбрелась. Вытащить дело Гранделя? Но Тесса только осрамится: какие у него доказательства?.. Припугнуть Берлин? Но что, если Гитлер не испугается? Опасная игра... Генерал Гамелен три часа подряд говорил о «чешской линии Мажино». А когда Даладье поставил вопрос ребром, Гамелен предпочел ретироваться: «Армия выполнит приказания правительства». Повиноваться легко. Но ты изволь приказывать...

Перед ужином Тесса вызвал своего старого приятеля, генерала Пикара, которому он доверял. Пикар молодо выглядел, был спокоен; он как бы олицетворял непоколебимую армию Франции. Он не набросился на Тесса с тирадами, как Фуже или Бретейль, не стал увиливать; хладнокровно он изложил свои соображения.

— Я оставляю в стороне политическую сторону проблемы. Я человек военный... Конечно, потеря чехословацкого плацдарма будет для нас тяжелым ударом. Но нужно глядеть правде в глаза. Не думаю, чтобы нам удалось провести мобилизацию. Вы знаете настроения страны. Народ не понимает, почему он должен сражаться за судетов. Идея превентивной войны непопулярна. Что касается Германии...

— Но ведь чехи задержат их...

— Хорошо, если на неделю. Это — клещи; главный удар будет нанесен со стороны Австрии. Выступят венгры. Да и поляки... Немцы смогут сразу заняться нами. Конечно, у нас линия Мажино. Но...

— Но?..

— У нас мало самолетов. Летчики слабо обучены. Зенитная артиллерия далеко не на высоте. А испанский опыт показал...

Тесса перебил:

— Значит — невозможно?

Пикар вежливо улыбнулся:

— Для военного этого слова не существует. Но необходимо все взвесить... Потеря Чехо-Словакии лучше военного разгрома.

Тесса был подавлен. Пикар нарисовал картину разрушения Парижа. Если это знает Пикар, это знают и немцы. Нельзя даже блефовать... Что же делать? Подчиниться? Но роль Франции? Престиж?.. Тесса почувствовал острую обиду: его разжаловали, превратили в министра Бельгии или Португалии. В нем проснулся патриотизм. Сидя один в полутемном кабинете, он думал о днях Вердена, о товарищах, погибших на войне, о бесцельной победе восемнадцатого года. Да, статуя в Лувре полна значения: у победы крылья, но у нее нет головы...

Ужинать он должен был с Дессером; и хотя Дессер всегда умел изысканной снедью порадовать своего приятеля, вечер предстоял невеселый. Тесса даже не заглянул в меню. Ресторан был марсельский; об этом говорили запахи чеснока и лоз, на которых жарили рыбу. В другое время Тесса произнес бы вдохновенную речь о дивных дарах плодоносного юга. Но теперь он переживал горечь падения. Дессер усмехнулся:

— Мы не спрашиваем, имеются ли здесь раки в белом вине? Ай, ай, мы стали государственным человеком!

Впрочем, и Дессер был мрачен. Он обладал удивительной способностью: за день молодел или старел лет на двадцать. Вряд ли Жаннет узнала бы в этом обрюзгшем печальном человеке влюбленного романтика, приходившего под тень ясеня.

Дессер сдал за последние годы. Он и раньше мало во что верил; но была в нем страсть; с азартом он строил и опрокидывал могущественные тресты, затевал биржевые бури, менял, как перчатки, министров. Он клал все свои силы на сохранение окостеневшего общества, его уюта, духоты, скромных радостей. События последних лет, забастовки, террор фашистов, испанская драма, захват Гитлером Австрии, предвидение других, еще бóльших, испытаний лишали его

жизнь смысла. Климат в мире изменился; нельзя было надеяться на чудодейственное спасение старомодной провинциальной Франции с ее удильщиками, сельскими танцульками и радикал-социалистами. Дессер продолжал работать; это было инерцией. Как упрямый игрок, он ставил все на тот же номер, и шарик рулетки над ним издевался. Положение обязывало: Дессера спрашивали, приходилось отвечать, а любое его слово расценивалось как приказание.

Так было и с Тесса: ведь не ради раков в вине пришел он сюда. Напрасно Дессер старался его развлечь гастрономическими сюрпризами. Тесса думал о своем: о развалинах Парижа, о голосах правых. Уныло он допрашивал Дессера:

— Что же будет?..

— Придется отступать. Ты говорил с Бретейлем?

— Да. Они рвут и мечут... Бенеш для них «большевик»!

Дессер рассмеялся:

— Конечно. Первым большевиком был Асанья. Интересно, кто окажется третьим. Чемберлен или ты? Все это очень забавно. Но вывод ясен: придется отступать. Понимаешь, они перепутали все карты. Теперь не может быть обыкновенной, честной войны, всякая война превратится в гражданскую. Когда-то опасность была только в подпольных кружках, в недовольстве населения, в солдатских бунтах. Идиллия!.. Теперь существует огромное государство с дипломатами, того хуже — с самолетами. Естественно, что все косятся на восток. Если русские будут с нами, друзья Бретейля станут пораженцами. Если русские пойдут против нас, пораженцами станут рабочие. А если русские останутся в стороне, предпочтут выждать, тогда все будут пораженцами. Наши буржуа боятся и поражения и победы. Пуще всего они боятся, как бы Москва не окрепла. Вот и воюй в таком положении! Я понимаю, что рабочие поют «Марсельезу». Но ты не слушай. Песни — песнями, а нужно отступать.

Тесса молча сидел над тарелкой, наполненной раками. Он был еще бледней обычного, жаловался на жару, вытирал салфеткой лицо.

— Устал!.. А нужно на что-то решиться. Ты ведь знаешь Даладье — стучит кулаком, кричит: «Я, я, я...» Наполеон... А на самом деле тряпка. Хочет блефовать. Но что, если немцы в ответ пошлют пятьсот, тысячу

бомбардировщиков? Пикар говорит, что наша авиация никуда не годится. Я чувствую, что на мне лежит страшная ответственность. Прага ждет ответа. Мы ведь им обещали...

— Я недавно обедал с Чемберленом. Хитрый купец. Злой, но меда вот столько!.. Он мне показал часы своего дедушки — луковица, на крышке выгравировано: «Никогда не обещай того, чего не можешь выполнить». Для купца это замечательный девиз. Но ты не огорчайся: не ты обещал, а твои предшественники. Да если и ты — не важно! Политика не коммерция, в политике нельзя быть честным.

— Но мы должны на что-нибудь решиться...

— За нас решат другие. Мне час тому назад звонили из Лондона... Достоуважаемый Чемберлен решил договориться с Гитлером. Я тебе говорю: это хитрый старикашка. Значит, тебе нечего волноваться. Мы пока что британский доминион. Может быть, превратимся в провинцию «рейха». Бретейль станет гауляйтером. Отвратительно! Но ничего не поделаешь: французы разжирели... Повторяю: придется отступать...

Дессер еще больше помрачнел. А Тесса теперь улыбался. Известие о намерениях Чемберлена его обрадовало: с правительства снимали ответственность. Если англичане уступят, даже Фуже подожмет хвост... Тогда за кабинет будут голосовать и правые и левые. Можно будет произнести прекрасную речь: «В трагические минуты необходимо национальное единение...»

И если раки прошли незамеченными, то Тесса оценил и кефаль, и рагу из бычьих хвостов. Он ел жадно, причмокивая, отрыгивая; потом в изнеможении, со слабой улыбкой, отвалился и удивленно спросил:

— Почему ты ничего не ешь?

— Нет аппетита.

Только теперь Тесса заметил, что Дессер плохо выглядит. Он покровительственно хлопнул по плечу всемогущего финансиста.

— Года через два-три мы отыграемся. Главное — оттянуть... Ты напрасно ничего не ешь. Надо поддерживать священный светильник. Я вот сегодня очень хорошо поужинал. Я даже не подозревал, что так проголодался. Возьму еще сыру...

Он ел, ел. Дессер улыбнулся:

— Когда умерла моя тетка, дядюшка съел в один присест две утки и сказал: «Это с горя...»

Тесса вернулся домой веселый. Амали спросила:

— Ты выпил?

— Нет. Но я хорошо поужинал, очень хорошо. Потом важные политические новости... Ты не поймешь — это все чертовски сложно. Вывод ясен: придется отступать.

И, стаскивая с себя брюки, он игриво бормотал: «Отступать... пать... пать...»

10

Жолио жаловался: «Сколько меня морили на курортах, не худел, а теперь я, наверно, пять кило потерял». Редакция напоминала штаб; Жолио держал себя как главнокомандующий: принимал таинственные пакеты, отдавал еще более таинственные приказы, повесил в кабинете огромную карту Чехо-Словакии. На самом деле он ничего не понимал и похудел от томления: боялся напутать, рассердить Дессера, который продолжал поддерживать «Ла вуа нувель». А от Дессера ничего нельзя было добиться; он отвечал: «Поддерживайте правительство». Но кого?.. Министры не могли сговориться; Даладье травил Манделя; Тесса подкапывался под Рейно. И все требовали от Жолио услуг.

Благодаря Дессеру «Ла вуа нувель» стала одной из самых влиятельных газет. Жолио изменял своему покровителю налево и направо: брал из секретных сумм министерства иностранных дел, не брезгал и подачками различных партий. Иногда он упрекал себя за ветреность: вдруг Дессер узнает?.. Но быстро утешался, говоря себе, что у него уйма расходов, что жена требует манто из чернобурок, что сотрудники прожорливы, наконец, что деньги он берет у честных французов, друзей Дессера, и, следовательно, никого не обманывает. Однако теперь бедняга растерялся: сообщения напоминали шотландский душ с чередованием ледяной воды и кипятка. Трудно было разгадать намерения правительства: готовятся они к войне или пойдут на капитуляцию? Жолио говорил жене: «Это не политика, а бордель. Господи, только бы не наделать глупостей!» Но перед сотрудниками он прикидывался всезнающим, полным дипломатических тайн, и на вопросы многозначительно отвечал: «Мы ведем сложную игру, очень, очень сложную...»

Страна была сбита с толку. Одни газеты писали, что Гитлер собирается напасть на Страсбург; другие уверяли, что чехи притесняют судетов и что Франция тут ни при чем. Проглатывая десяток статей, люди в ужасе спрашивали друг друга: «Что же это значит? И главное, чем это кончится?» Тем временем продолжалась обычная жизнь. Виноделы готовились к сбору винограда, театры — к премьерам, школьники — к началу учебного года. Женщины, запасаясь сахаром и рисом, приговаривали: «Хоть бы не было войны!» И повсюду находились люди, которые отвечали: «Ее и не будет. Какое нам дело до чехов? Войны хотят только марксисты и евреи. Но с ними мы скоро рассчитаемся...» Буржуа прославляли Чемберлена, окрещенного «ангелом мира»; поэты слагали в его честь стихи; газеты собирали деньги на ценное подношение ему; улицы французских городов называли «улицами Чемберлена». На роскошных курортах, в казино, в поместьях, в преждевременно проснувшихся после летней спячки богатых кварталах Парижа проклинали чехов; говорили, что вся беда от них, что они хуже болгар, не то большевики, не то башибузуки. А в рабочих пригородах ругали Даладье, вспоминали Испанию и «невмешательство», кричали: «Довольно капитуляций!»

Вечером пришло тревожное известие: вторичная поездка Чемберлена закончилась неудачей. Жолио развел руками. Он только собирался посвятить две полосы бескровной победе «ангела мира», не побоявшегося в преклонном возрасте совершить еще один полет. И вот снова осложнения!.. Жолио метался по кабинету, не зная, что предпринять, когда неожиданно позвонил Дессер: «Приезжайте».

В квартале Инвалид улицы были затемнены. Жолио суеверно вздрагивал: синие лампочки казались ему могильными лампадами. Вид Дессера его не успокоил: серое, отекшее лицо, погасший взгляд, фиолетовые мешки под глазами. Даже стол Дессера, обычно заваленный бумагами, наводил тоску — голый стол, а на нем стакан воды и таблетки от головной боли. Дессер сразу сказал:

— Положение серьезное. Конечно, войны никто не хочет, но все блефуют... Могут начать не люди, а винтовки. Хотя я, как всегда, оптимист. Послушайте, мой друг, вашу газету читают передовые люди, а не кретины. Марселю Деа они не верят. Это человек

с подмоченной репутацией. Над стишками Мориса Ростана смеются. Нельзя так! Посмотрите, какие у них имена: Кериллис, Дюкан, Буссорто, Фуже, Кашен... А кого вы им противопоставляете? Прощелыг. Или слезливых дамочек.

Жолио от волнения хрипел. Он судорожно рылся в своих карманах, набитых письмами, счетами, амулетами,—искал рукопись. Нет, он не зря получает деньги! С гордостью он протянул Дессеру листок тонкой хрустящей бумаги:

— Вот!

Это была статья знаменитого писателя. Дессер прочитал: «Лучше рабство, чем смерть»—и отложил листок. Почему его лицо скосила брезгливая усмешка? Не раз он высказывал ту же мысль, защищал уступки, предлагал перейти на положение второразрядной державы, высмеивал непримиримых. Он боялся смерти, никогда не ходил на похороны, часто думал: «Только бы не умереть!» И вот это было написано на тоненьком листке... «Лучше рабство...» Слово было неприятным, жестким; оно не вязалось с детскими воспоминаниями Дессера, с задорными подростками, с ворчливыми стариками, с куплетистами, с морским ветром, с любимыми авторами. Дессер молча отдал рукопись и, прежде чем возобновить разговор, принял еще одну таблетку.

— Хорошо будет, если вы напечатаете статью Виара. Или интервью. Конечно, за годы у власти он потускнел. Но для значительной части рабочих он остается честным человеком. Если он выскажется за компромисс, никто его не заподозрит в шкурничестве. Скажут: «Интернационалист, пацифист...» Что касается этой статейки, мысли правильные, но я все же заменил бы слово «рабство»...

Дессер почему-то вспомнил Жаннет, тропинку в лесу, печальный голос, когда она попросила: «Не нужно».

— Я поставил бы другое слово: «скромность». Или «не́счастье».

На следующий день Виар принял Жолио. Толстяк сразу объяснил, зачем пришел. Виар ответил глухим, утомленным голосом:

— Я знаю. Дессер меня предупредил. Мы об этом еще поговорим... Вы меня простите, но я не знал, что Гитлер будет выступать по радио. Сейчас мы его послушаем. От этой речи многое зависит...

— Вы знаете немецкий?

— Конечно. На интернациональных конгрессах я слышал всех старых социал-демократов: Бебеля, Либкнехта, Каутского. Помню, как Бебель выступал в Базеле незадолго до войны... Хорошие были времена! Не то, что теперь... Да, мой друг, положение очень тяжелое. Мы, социалисты, говорили, что надо беречь Веймарскую республику. С Штреземаном было легче договориться... Нас не послушали. Вот и результаты! А воевать мы не можем. Да и не должны. Демократии не созданы для войны, это аксиома; от войны они либо гибнут, либо вырождаются. Клемансо чуть было не сожрал парламент. А в Италии? А судьба Керенского? Если нас побьют, неизбежна революция. И не та, о которой мы мечтали, но диктатура. Это понимают все. А что нас ждет в случае победы? Власть захватит какой-нибудь генерал. Конечно, у нас имеются честные военные, хотя бы старик Петен. Но найдутся и авантюристы. Я недавно был на заседании военной комиссии. Туда пролез полковник де Голль. Самоуверенный субъект и честолюбивый. Он заявил, что мы зря теряем время, необходимо изменить бюджет, заняться моторизацией армии и так далее, в том же духе. Такой солдафон может в два счета объявить диктатуру. Я вообще считаю, что военных надо держать в стороне. Глупо с ними советоваться. Вот и Даладье...

Он не закончил фразы и кинулся к приемнику. Раздался гул.

— Сейчас он будет говорить. Подумать, что весь мир в эту минуту, затаив дыхание, ждет у приемников!..

Когда Жолио спрашивали, на каких языках он изъясняется, он с гордостью отвечал: «По-французски и по-марсельски». Он не знал ни одного немецкого слова. Все же он напряженно слушал громкую отрывистую речь. Гитлер вначале говорил спокойно, но потом в хриплом голосе послышались угрозы. Приемник выплевывал непонятные и от этого еще более страшные слова. Гитлер лаял как старый волк. Жолио стало не по себе; он сжал рукой спинку стула: он строго придерживался всех примет и верил, что дерево предохраняет от беды.

Виар то кивал головой, как бы одобряя речь невидимого оратора, то обиженно ежился; дрожали подбородок, нос, пенсне. Жолио жадно следил за лицом

Виара, пытаясь понять суть темной для него речи. Иногда комнату заполняло рычание толпы: «Зигхайль!» Тогда Жолио хватался рукой за стул. Длилось это добрый час. Наконец раздался восторженный рев. Виар вытер платком лоб. Жолио робко спросил:

— Ну как?

— Что же, ничего особенного... Я все это предвидел. В общем, я оптимист. Он еще раз подтвердил, что отказывается от Эльзаса. А для нас это самое существенное.

— Чехи?..

— В этом он непримирим. Но, поскольку он отказывается от притязаний на западе, я считаю соглашение вполне осуществимым. В конечном счете позиция Праги зависит от нас. Компромисс намечается... Необходимо это объяснить. Сейчас я продиктую статью.

Он позвонил. Пришла машинистка, кудрявая, сильно напудренная. Виар начал диктовать. Он ходил по комнате, иногда останавливался и не диктовал, но декламировал; ему казалось, что он на трибуне. Его голос дрожал от волнения.

— Стеклянные глаза Горгоны памятны всем матерям. Мы знаем, что такое земля Вердена! С радостью мы отмечаем, что Гитлер, как солдат мировой бойни, не забыл всех ужасов страшной бойни. Протянутую им руку мы, представители французской демократии...

Он вытянул руку и задумался. Машинистка спросила:

— После «демократии» точка?

— Нет, запятая. Сыновья миролюбивого народа, ученики Жореса...

Потом он проверил текст, подписал. Когда Жолио уходил, он ему сказал:

— Поставьте в конце, что права закреплены за агентством «Атлантик» — это для американцев. Ничего не поделаешь, приходится думать и о хлебе насущном, — я ведь вернулся к профессии журналиста. Мы теперь коллеги...

Оставшись один, Виар вспомнил речь и вздохнул. Да, это не Бебель!.. Хорошо, что министерский кризис разыгрался весной. Грязное дело! Еще хуже, чем с испанцами... Придется откупаться чужим добром. Впрочем, чехам тоже лучше уступить — их сразу раздавят... В такое время куда приятней быть журналистом: мень-

ше ответственности... Радикалы обязательно хотели выкинуть социалистов из кабинета. Пускай теперь расхлебывают!

Он задремал, сидя в кресле. Разбудил его женский голос: неожиданно приехала из Перите старшая дочь — Луиза. Всхлипывая, она обняла отца:

— Вчера вечером пришли за Гастоном. Он в зенитной артиллерии. Папа, что же будет?

Виар стал благодушным и важным; с таким лицом он когда-то приносил дочкам подарки.

— Сейчас скажу... Погоди, не плачь! Все обойдется... Мы не допустим войны, понимаешь, не допустим.

А Жолио пришел домой невеселый. Конечно, Дессер знает, что делает, но все же синие лампочки, речь Гитлера... Бррр! И Жолио нервничал. Жена за ним ухаживала, принесла домашние туфли, заварила любимую его настойку — вербену. Жолио сказал:

— Получил статью от Виара. Триста строк. Пустили на первой полосе с портретом. Дессер будет доволен. Но если бы ты их видела, кошечка!.. Говорят они об оптимизме, а поглядеть — утопленники. Дессер, по-моему, болен, такой у него вид. Вдруг рак?.. Вот еще сюрприз!.. Тогда газете конец.

Жена налила вербеновую настойку и тихо спросила:

— Война будет?

Жолио засмеялся:

— Какая там война! Прагу отдадут, увидишь! Гитлер кричал, кричал... Я всю его речь слышал. Буйный помешанный. А Виар даже побледнел. Знаешь, чего я боюсь? Как бы они им Марселя не отдали. Тогда и удрать будет некуда, честное слово!..

11

Андре весь день бродил по взбудораженному Парижу, слушал лихорадочные разговоры: «Будет?.. Не будет?..» Под вечер, измучившись, пришел он на свою улицу Шерш-Миди. Но и здесь не было спокойствия. Сапожник кричал: «Если их не отвадить, они сюда придут. Это голодные крысы!» Супруга антиквара Боло, седая дама в пышном корсете, сетовала: «Нет, вы скажите мне: при чем тут Франция? Вы когда-нибудь видали живого чехо-словака?» А в кафе «Курящая

собака» один посетитель стал доказывать, что немцам тесно: «Возьмите кафе в воскресный день. Столики часто выставляют дальше, чем полагается, это в порядке вещей». Хозяин, хмурясь, заметил: «За это штрафуют». Водопроводчик завопил: «Бошам тесно? А мне? Какой вы француз, вы фашист и подлюга!» Началась драка.

Андре разглядывал вещи: их вид успокаивал. Чего только не было в витрине старика Боло! Негритянский идол величественно и бесстыдно показывал миру свою божественную сущность. Тускло подсвечивали тарелки; дельфтский фаянс — белый и синий, похожий на замерзшие каналы, руанский — теплый, розовый, кемперский — с петухами и бретонцами. Китайские пуговицы из слоновой кости. Табакерки с фригийским колпачком и непримиримой надписью: «Равенство или смерть». Ожерелья из тяжелого янтаря, гранатовые браслеты, персидская бирюза. Кружева валансьенские, брюггские, венецианские. Голубое стекло. Цветные английские гравюры: жокеи в пастелевых куртках, бледные стыдливые лошади. Кальян, пышный и загадочный, как колба алхимика. Ангелы, монеты, локоны, восковые розы. Сколько на все это положено труда!..

Рядом с антикваром помещалась молочная. Андре восхищенно смотрел на сыры, как будто перед ним полотна великих мастеров. Здесь были красные шары голландского сыра; слезящаяся скала швейцарского; сухой, похожий на воск, пармезан; копченый качкавал, украшенный гирляндами; рокфор — мрамор с голубыми прожилками; истекающий в истоме золотой бри; том, покрытый рыжей корой, с вкрапленными в нее сухими виноградинами; черный, как бы могильный, мелен; козьи сыры на зеленых листьях — сухие лепешки, или пирамиды, или длинные, с веткой можжевельника, заменяющей хребет; здесь были десятки других сыров — от младенчески белых, творожных, до едких, кирпичных, оливковых, темно-синих.

Еще дальше — магазин вина: бутылки корректные, с узкой шейкой — для бордо; это спокойное, семейное вино, его любят сенаторы, мудрецы, юбиляры; пухлые бутылки, уютные, как тетушки,— для бургундского, для вина зрелости; а для эльзасского, которое почитают влюбленные, и бутылки романтические, тонкие, зеленые. На этикетках имена маленьких сел, знакомые всему миру: Шамбертен, Шабли, Барзак, Бон, Вувре,

Нюи, Шатонеф-дю-пап. Бутылка с коньяком обросла пылью, она могла красоваться в лавке Боло. И Андре подумал: «Старше меня...»

А вот его любимая витрина. Здесь Андре частенько останавливался, разглядывая трубки: длинные и носогрейки, прямые, изогнутые, похожие на горный рожок, крохотные для снобов и увесистые для моряков, черные, бурые, светло-рыжие. Хозяин магазина как-то объяснил Андре, что трубки делают из корней мертвого вереска; корни должны пролежать в земле по меньшей мере полвека, иначе курить невкусно. И Андре сейчас захотелось поговорить о мертвых корнях. Но хозяин, заикаясь от волнения, спросил: «Как по-вашему, будет война?» Андре поплелся к себе в мастерскую.

Забежал Пьер, торопился все выложить — вечером на заводе собрание, рабочие встревожены. Конечно, Пьер постарел, но осталась в нем порывистость южанина; он был потрясен событиями; не мог ничего договорить до конца; все время открывал и закрывал приемник; кричал:

— Всему есть предел! Теперь они не могут отступить: дальше — пропасть... И все-таки трусят!.. Ты читал статью Виара? Какой срам! Но рабочий класс...

Андре его прервал:

— Мечтатель! А в общем, я ничего не понимаю. Как всегда... Тебе что — войны хочется? Ведь и война — дерьмо. На картинах в Версальской галерее — полководцы, знамена, облака. А на самом деле — грязь, вши. Не знаю, право, как жить?.. Тебе хорошо. У тебя, во-первых...

Он загнул большой корявый палец.

— ...Аньес. Во-вторых, сын. В-третьих, что называется, идеалы. А у меня пусто, ох, как пусто!

— У тебя искусство.

— Искусство? Это, Пьер, разговоры. Погода неподходящая. Я вчера получил от отца письмо; спрашивает, как насчет войны,— ему для яблонь нужно знать. Ну, а мне для картин. И мне-то некого спросить. Если даже теперь обойдется, через год или два начнут сначала... А ты хочешь, чтобы я жил искусством! Отстояться все должно. Для этого нужно много времени, очень много. Я сегодня трубку присмотрел, чудесная, все жилки идут наверх. Ты знаешь, из чего она? Из корня мертвого вереска. Понял? Он в земле сто лет

пролежал. А здесь что? Забастовки, демонстрации, Гитлер вопит, какие-то судеты, и, пожалуйста, садись, пиши классические полотна! Я тебе говорю — дерьмо!..

Теперь не Пьер — он кинулся к приемнику, и Пьер его остановил.

— Еще рано. Сообщения будут передавать через двадцать минут.

Андре не мог признаться, что ему безразличны отклики Рима и Вашингтона на поездку Чемберлена, что он ждет другого: эту страсть он пронес сквозь два тяжелых, смутных года — по вечерам слушал Жаннет. Он не видел ее, не знал о ее горестях; для него она не менялась. Да, только она и не менялась в этом сумасшедшем мире.

— Я боюсь прозевать... Сначала они пускают рекламы. Но это недолго...

Радио молчало. Жаннет не было. И это показалось Андре самой страшной приметой. Он сказал Пьеру:

— Не сговорились.

— А я боюсь, что Даладье пойдет на попятную...

Они о разном думали, разного опасались. Вместо обычной передачи, вместо глубокого голоса Жаннет, раздавались удары метронома, сухие и безжалостные; от них болела голова. И вдруг равнодушный голос:

— Военнообязанные с литерами А и Б...

Андре обрадовался: что-то свалилось с плеч. Теперь за него будут думать другие.

— Вот так штука!.. Значит — воевать...

Он не слушал рассуждений Пьера, его доводов, споров с самим собой, признаний. Все та же, столь хорошо знакомая улица; напротив, на балкончике, горшок с цветами; бледный, немощный месяц на светлом небе. Андре понял, что для него все это время было только мучительной паузой: от июньских дней с красными флагами, от ночи, когда кружилась карусель, до стука метронома, до топота под окном, до мобилизации. Не знать, не помнить, не думать. На минуту сжалось сердце: что с Жаннет?.. Но и эта тоска уже была бессильна: все падало, кружилось, пропадало. Он вышел вместе с Пьером. Возле ворот плакала женщина. Прошли запасные с чемоданчиками; пели «Марсельезу», потом «Интернационал». Пьер все продолжал рассуждать. Синие огоньки. Теплая летняя ночь. «Рай для влюбленных»,— неожиданно подумал Андре и снова увидел площадь Контрескарп праздничной ночью. Огни, огни...

— Мне нужно на метро, боюсь, что опоздаю. До свидания, Андре.

Пьер сказал это, но не уходил. Слова «до свидания» смутили обоих. Андре поглядел — не было Пьера-отца, Пьера-инженера, всех этих разговоров о Дессере, о социалистах, о войне. Перед ним стоял школьный товарищ, озорник и мечтатель, который когда-то предлагал двенадцатилетнему Андре уехать в Гренландию. И Андре сказал:

— Помнишь, ты хотел в Гренландию? За китами. Смешно! А тебя, наверно, тоже призовут. Перебьют нас, как мух, это наверняка. Почище Вердена... Но это не важно. Хорошо, что ожидание кончилось: так больше нельзя жить. Теперь какая-то развязка. Стихи есть, не знаю чьи: «Обманутой дано мне умереть...» Но ты понимаешь, что самое смешное? Давно это было; в нашем кафе ко мне немец подсел, классический — голубые глаза, сзади все выбрито. Я думал — эмигрант, нет, немец как немец. Рыбами занимался. Ему мои пейзажи понравились. Он тогда напился и уверял, что обязательно будет война и что немцы разрушат Париж. Чудак! Мне смешно, что его, наверно, тоже призвали. Значит, он — на меня... Ну разве не дерьмо? Но я, Пьер, счастлив, что-то кончилось. Война — так война...

Они простились.

12

Бретейль едва держался на ногах; глаза у него были красные от бессонных ночей. Поддерживали его железное сложение и воля: нужно во что бы то ни стало добиться компромисса. С Германией можно договориться. Главное — порвать пакт с Москвой. А события быстро разворачивались; Гитлер не хотел ждать; «ангел мира» напрасно летал над растерянной Европой; во Франции могикане Народного фронта требовали отпора. Бретейль писал статьи и листовки, беседовал с дипломатами, наставлял «верных», а через генерала Пикара руководил штабами.

Париж затемнили. И в темноте сновали доверенные Бретейля, увещевая или науськивая:

— Чехо-словаки сами виноваты. Войны хотят богатые евреи.

— Мандель за войну. А его настоящая фамилия Ротшильд. Бенеш ему заплатил... А наших детей гонят на убой!

— У немцев сто тысяч самолетов. Они раздолбят Париж в первый же день...

На Восточном вокзале царила суматоха: то и дело отходили поезда с запасными. Некоторые подымали кулаки, пели, говорили: «Надо показать немцам, что не все ползают на брюхе». Другие угрюмо бормотали: «Нам-то зачем лезть?..» Женщины плакали. Здесь было раздолье фашистам; они говорили, что мобилизацию объявили незаконно, что чехо-словаки сами нарушили договор и французам на них наплевать.

Как в начале испанской войны, Париж разделился на два лагеря. На Елисейских полях торжествовало «миролюбие»: проклинали ужасы войны, взывали к гуманности, даже к братству. Люди легко забывали не только свои недавние слова, но и свою биографию, традиции среды, мифы касты. Тупая ненависть к «лодырям» (так фашисты продолжали называть рабочих) оказалась сильнее всего. Колониальные офицеры, проделавшие кампанию в Рифе, самодуры, подводившие солдата под расстрел за ничтожный проступок, теперь клялись, что ничто не может оправдать кровопролития. Академики, еще вчера чванливо толковавшие о «непобедимой Франции», жившие цитатами из маршала Фоша, утверждали, что воевать нельзя: стоит немцам дунуть, и, как карточный домик, полетит вся линия Мажино. А уроженец Лотарингии Бретейль, для которого лучшим часом его жизни было вступление французского отряда в Метц, говорил: «Вопрос о границах отходит на задний план по сравнению с защитой нашей западной цивилизации от большевиков».

Из богатых кварталов люди поспешно уезжали. Курорты было опустели: встревоженные газетными сообщениями, отдыхавшие вернулись в столицу, но когда началась мобилизация и город затемнили, буржуа стали покидать Париж, отсылали свои семьи подальше. И в непривычное время года ожили морские пляжи, горные деревушки. Уже опадали деревья: над Ла-Маншем кружились осенние бури. Дачники-поневоле мерзли и в досаде твердили: «Пора все-таки обуздать этих проклятых чехов!» (О судетах больше никто не вспоминал.)

А в рабочих предместьях раздавались другие речи. Войне и здесь не радовались; но люди молча шли

защищать свою родину; знали, что страна приперта к стенке: повторяли, что дальше так жить нельзя. Слово «агрессор» стало понятным, будничным. И часто «Интернационал» провожал запасных. На будущее глядели с надеждой: предстоял бой с фашистскими захватчиками, с их французскими друзьями — с людьми Бретейля и Дорио. Иногда казалось, что оживает июнь тридцать шестого. Обри, который осмелился в Бильянкуре прославлять Чемберлена, жестоко избили. Когда его уносили полицейские, мальчуган весело крикнул: «Вот и война!..»

— Войны не будет,— говорил на собрании «национально мыслящих депутатов» Бретейль.— Ее и не должно быть. Чехо-словаки связаны договором с Москвой. Другими словами, нам предлагают сражаться за коммунизм. Необходим компромисс. Будем рассуждать трезво. Мы подточены большевизмом. В Испании еще продолжается гражданская война. Англия на своем острове защищена от заразы. Англичане могут лицемерить, блефовать, кокетничать либеральными идеями. Но кто действительно способен защитить Европу от коммунизма? Да только Гитлер. Значит, наши союзники — наши враги, а наши враги — это наши союзники.

Впервые Бретейль посмел высказать свои мысли в присутствии Дюкана. Он ждал полемики, патриотических тирад. Он не знал, в каком состоянии находится Дюкан: он его не видел с начала сентябрьской тревоги — избегал встречи. А Дюкан был доведен до бешенства. Этот человек, неглупый, но медлительный и упрямый, как бы проснулся. Он ведь пошел к правым, думая, что они отстаивают «великую Францию». И вот он увидел, как друзья Бретейля, вчерашние друзья Дюкана, срывают мобилизацию, призывают к дезертирству, к измене. А кто хочет защищать Францию? Рабочие. Страшно сказать — коммунисты! Для Дюкана это было тяжелым ударом. Он долго не хотел верить в правду. Он утешал себя мыслью, что классовый эгоизм, ослепляющий десятки тысяч людей, чужд Бретейлю. Все последнее время он пытался поговорить с ним, но это ему не удавалось, и он терзался сомнениями. Будь Дюкан моложе, он нашел бы успокоение на боевом посту; но в пятьдесят шесть лет трудно мечтать о воздушных боях. Он боролся, как мог, с пропагандой пораженцев. Его сторонились; иногда снисходительно замечали: «фантазер»,

иногда злобно обрывали: «инструкции Москвы». Теперь впервые он услышал из уст Бретейля все то, что его возмущало. Он хотел заклеймить своего учителя, разоблачить врагов Франции. Но он так волновался, что не мог говорить. Порок речи перешел в немоту. Раздавалось мучительное мычанье. Наконец он неестественно громко выкрикнул:

— Вот кто вы!.. Поклонник Гитлера! Вас ранили на войне, это — знак почета, но вы его недостойны!

В его голосе послышались слезы. Схватив свои бумаги, разбросанные на столе, он выбежал из комнаты. Депутаты пожимали плечами: сумасшедший! Некоторые говорили, что Дюкана нельзя судить слишком строго: на войне он был контужен; наверно, это отразилось на его психическом состоянии. Только Грандель насмешливо ухмыльнулся:

— Под видом безумия вполне логичный поступок. Я вчера его встретил с Фуже. Это не столько патриотизм, сколько московская кормушка...

Бретейль предложил не терять драгоценного времени: инцидент с Дюканом можно отложить до более спокойных времен, а теперь следует заняться международным положением — каждый час может принести развязку.

— Мы должны опереться на Муссолини, он нас сблизит с Гитлером. Об этом мечтает и Чемберлен. Радикалы должны будут волей-неволей осуществить нашу давнюю мечту — пакт четырех.

Приняли резолюцию: «Национально мыслящие депутаты надеются, что правительство приложит все усилия для сохранения мира и не предпримет каких-либо опрометчивых шагов».

Когда депутаты разошлись, к Бретейлю подошел Грандель и дружески сказал:

— Вы изумительно держались! На вашем месте я не стерпел бы. Эти разговоры о вашем ранении... Какая низость!

Бретейль оглянулся. В комнате никого не было. Он очень тихо сказал:

— Я не люблю, когда меня считают простофилей. Дюкан — дурак и психопат. Что касается вас... Я теперь осведомлен о двигательных силах вашего патриотизма. Надеюсь, вы меня поняли?

Грандель растерянно заморгал:

— Нет.

— В таком случае я уточню. Мне известно, что некто Кильман...

— Опять эта фальшивка!..

— Простите, но мне подтвердили, что вы действительно с ним встречались.

Грандель побледнел: если Бретейль выступит против него — крышка... Он молчал.

— Хорошо, что вы не возражаете. Я никому об этом не говорил. Не собираюсь говорить. Но я не хочу, чтобы вы принимали меня за простачка. Ваши берлинские хозяева считают, что они мною пользуются. Это их дело. Я лично убежден, что я пользуюсь ими. Я служу, господин Грандель, не Кильману, но национальной Франции.

Грандель успокоился, даже повеселел. Он ответил:

— Это, дорогой господин Бретейль, оттенки. Зачем о них спорить?

На улице была все та же тревожная суета: приезжали, уезжали, толпились, обсуждали слухи, вырывали у газетчиков последние выпуски газет, прощались, спорили, пели. Бретейль торопился: у него было свидание с корреспондентом римской газеты. Однако по дороге он зашел в церковь Сен-Жермен-де-Пре. Он коснулся желтой пергаментной ладонью святой воды в мраморной раковине, помочил лоб, потом дошел до правого алтаря, где вокруг каменной Богоматери трепетал рой свечек, и, преклонив одно колено, прочел молитву. Кругом женщины молились за мужей, сыновей.

После полумрака солнце показалось нестерпимым. Бретейль зажмурился, и на минуту все поплыло: сказались бессонные ночи. А газетчики надрывались. Вместе с Бретейлем вышел священник в облачении. Мальчик, прикрытый шелковой попоной, звонил в колокольчик. Кто-то умирал, и священник спешил с причастием. А в церковном садике пели птицы. И на террасе кафе «Дэ маго», против церкви, парижане, прикидываясь, что ничего в мире не происходит, тянули аперитивы, настоянные на полыни, на анисе, на корне ченциано, на коре эвкалипта, на мандаринах, на ландышах.

13

Собрание на заводе «Сэн» закончилось рано: никого больше не тешили слова. Все знали, что во главе страны стоят ничтожные, малодушные люди,

способные на любую измену. Рабочие были готовы к войне; но в этой решимости не было ни веселья, ни задора. Решили послать делегацию в чехо-словацкое посольство: высказать солидарность.

На следующее утро Легре и Пьер, направляясь в посольство, шли по Марсову полю. Проехали танки. Девочки играли в серсо. Какой-то человек средних лет и среднего достатка философствовал: «Говорят, у чехов пиво хорошее. А я пива не люблю. Я вас спрашиваю — при чем тут мы?..»

Легре сказал Пьеру:

— Вот ты вчера говорил, что Франция скоро окажется в одиночестве. Это правильно. Но и мы во Франции одиноки. Мы еще говорим: «Народный фронт», а его нет. Я предпочитаю Дюкана всем «социалистам»: честный человек. Рабочие держатся замечательно. Зрелость большая... А крестьяне?.. Если Даладье пойдет на капитуляцию, они, пожалуй, обрадуются...

Пьер улыбнулся:

— Да что крестьяне, моя Аньес обрадуется, а она — дочь рабочего, казалось — понимает. Путаница страшная. Она мне отвечает: «Что вы раньше писали?» Я лично доверяю чувству. Как с Испанией... Я видел Асанья в Барселоне. Вроде нашего Сарро, типичный радикал. Скажешь, он не сажал рабочих? Конечно, сажал. Но ведь не в нем дело. Так и с чехами. А вот Аньес не понимает: все валит в одну кучу.

— Может быть, понимает, только боится, что тебя пошлют на фронт. Ребенок у нее. Это можно понять.

Легре вздохнул: он-то один на свете, никто за него не боится.

День был облачный; солнце чувствовалось за белой пеленой; больно было глядеть. Пьер пробормотал:

— Уступят. Какой-то заколдованный круг...

Все эти недели он жил ожиданием. Даже Испания отошла на задний план. От одной поездки Чемберлена к Гитлеру до другой, казалось, проходили годы. Нельзя было ни работать, ни думать, ни спать. Пьер не был восторженным, как в дни Народного фронта. Осталась горечь разочарования, даже пришибленность. Это не вязалось с его характером, и он думал: попал в тупик. Приходилось вести дипломатические беседы с перекупщиками военного снаряжения. Редкие и короткие поездки в Испанию вспоминались смутно, как чудесные сны. Он ждал развязки, разлуки, войны.

А ребенок, который неизменно жил в нем, мечтатель из ленивого Перпиньяна, требовал счастья. Вот и сейчас, услышав звуки рояля, доносившиеся из раскрытого окна, он остановился, зажмурил глаза от удовольствия:

— То самое скерцо... Замечательно!

В посольстве их принял первый советник Ванек, коренастый, неповоротливый, с широкими руками крестьянина, с толстой шеей, сдавленной крахмальным воротничком.

Все последние дни в посольство приходили делегации рабочих, и, однако, каждый раз Ванек изумленно морщил лоб. Слушая слова «солидарность пролетариата», он спрашивал себя: что же приключилось? Кто жал ему руку, говорил о гневе и надежде? Коммунисты! И он признался послу: «Я больше ничего не понимаю».

Девять лет тому назад Ванек, по образованию филолог, по убеждениям либерал, служил в Моравской Остраве. Там разразились беспорядки: коммунисты демонстрировали против новых военных законов. Их похватали. Ванек выступил на процессе как свидетель обвинения. Он обрадовался приговору: зачинщикам дали четыре года. И вот теперь в Париже его утешают коммунисты! А люди, с которыми он дружил, которых он угощал завтраками, с которыми беседовал о линии Мажино, о речах Титулеску, об операх Сметаны, культурные и симпатичные люди,—куда-то пропали. Как Ванек радовался весной, узнав, что Тесса назначен министром! Ведь в дни юбилея Масарика Тесса написал: «Чехо-Словакия—оплот нашей западной культуры в самом центре Европы, это страна гуманизма...» А теперь к Тесса не подойти. Ванек страдал за судьбу своей страны. Статьи французских газет доводили его до бешенства. Прочитав о выступлении Бретейля, который назвал чехов «варварами», Ванек не стерпел, разбил кофейник. Ко всему примешивалось личное горе: он был уроженцем маленького моравского города, расположенного неподалеку от границы. Там жили старики родители, сестра Ванека. Он тупо повторял по сто раз за день: неужели французы выдадут? Ездил в министерство. Ловил знакомых депутатов; они отмалчивались или соболезнующе вздыхали, как на похоронах. В посольство приходили делегации; но напрасно Ванек ждал представителей

печати, профессоров, адвокатов, радикалов или хотя бы социалистов. Приходили рабочие, повторяли те же слова. Ванек благодарил, жал руки и в смятении думал: опять коммунисты.

Легре все время молчал. Говорил Пьер. И что-то поразило Ванека: приподнятость тона, необычный словарь. Ванек понял, что перед ним не рабочий, да и не коммунист — свободомыслящий, человек круга и мыслей Ванека.

— Меня обрадовали ваши слова. Хорошо, что к нам приходят люди различных убеждений. Иначе могло бы создаться впечатление, что за нас одни коммунисты.

Пьер вспыхнул:

— Я — коммунист.

Ванек вежливо улыбнулся. Они стояли перед раскрытой дверью балкона. Доносились тревожные крики газетчиков. Ванек думал, примет ли его сегодня Тесса, и щурился от едкого света.

На улице Легре сказал:

— Слушай, Пьер... Теперь, конечно, не время об этом говорить. Но я давно хотел спросить... Почему ты не идешь в партию?

Пьер ответил не сразу:

— Не знаю... Так, по-моему, честнее...

Тесса наконец-то принял Ванека. Желая избежать нападок, министр стал сразу кричать:

— Как вы не понимаете? Судьба малых держав зависит от судьбы больших. Мы не можем сейчас принять бой. Но когда мы перевооружимся, мы вернем вам эти области. Нужно уметь ждать. Когда пруссаки взяли Шлезвиг, мы не вступились. Но прошло полвека, мы вернули датчанам их добро. Это — азбука дипломатии.

Ванек, обычно сдержанный, совершил бестактность; он ответил Тесса:

— Допустив захват Шлезвига, а потом разгром Австрии, Франция подготовила Седан...

— Неуместная аналогия! Распадающаяся Вторая империя — и Франция тысяча девятьсот тридцать восьмого года, в расцвете сил. Можете быть спокойны: Седан не повторится. Но нужно подождать. В вопросе о судетах Франция разделилась.

Ванек молчал. Его обветренное лицо стало еще краснее: на лбу вздулись жилы. А Тесса успокоился. От

гнева от перешел к ласке. Он подошел вплотную к Ванеку и зашептал:

— Верьте мне, ваше горе—наше. Я хорошо помню время, когда статуя Страсбурга на площади Конкорд была окутана траурным крепом. Вы всходите на костер как очистительная жертва. Вы отдаете самое дорогое, только чтобы спасти мир. Женщины Франции этого на забудут...

Ванек вспомнил морщинистое сухое лицо своей матери под черным платком—мать одевалась, как крестьянка. Проснулась надежда, нелепая, ребяческая: вдруг не выдадут? Он сказал:

— Вы сказали «в вопросе о Судетах»... Но на спорной территории много округов с чешским населением. Там немцев нет. Я знаю это хорошо—я сам оттуда. Необходимо отстоять хотя бы эти районы.

Тесса зевнул: его утомил разговор.

— Даладье мне сообщил час тому назад, что он вылетает в Мюнхен. Там они все решат. Председатель вашего правительства будет, конечно, информирован. Так что не стоит теперь заниматься географией...

Голубые глаза Ванека затуманились; но он быстро овладел собой и, поблагодарив Тесса, откланялся. А Тесса подумал: «Ну и ремесло у меня! Лучше провожать убийц на гильотину... Этот чех—хороший человек, но до чего он наивен! Как они не понимают, что мы не можем рисковать всем?.. Довольно благотворительности! Франция хочет наконец-то подумать и о себе».

Он позвонил Полет:

— Можно прийти? Я хочу утешиться... Нет, нет. Новости хорошие, даже очень хорошие. Войны не будет. А настроение у меня отвратительное. Как сказал Верлен: «Душа без причины тоскует...» Хорошо, еду, еду...

14

Жолио, сняв пиджак, носился по типографии. Материал для экстренного выпуска был заготовлен заранее. Особенно Жолио гордился рассказом о детстве Чемберлена: английский премьер в четырехлетнем возрасте мирил своих сверстников, и мать предсказывала ему блестящее будущее.

— Как подадим?—спросил один из сотрудников. — «Соглашение в Мюнхене»?

Жолио поморщился:

— Серо. Невыразительно. Не отвечает настроению.

— Может быть, «Победа мира»?

Но и это не удовлетворило Жолио. Откинув назад голову и прищурясь, он шепнул:

— «Победа Франции», и через всю полосу...

По приезде в Париж Даладье направился к Триумфальной арке, чтобы возложить венок на могилу Неизвестного солдата. Закрылись учреждения, конторы, магазины. Толпа заполнила широкие тротуары Елисейских полей. Люди радовались: их не погонят в окопы. Особенно много было женщин. Дома разукрасили флагами. Цветочницы продавали розы и георгины. Накануне на затемненных улицах слышался грустный шепот, всхлипывания, хриплое пение. И сразу все сменилось праздничной суматохой.

В одном из ресторанов средней руки, неподалеку от Елисейских полей, за темным столиком в углу сидел Дессер. Он только что кончил завтракать и пил кофе. Он выбрал этот малопосещаемый ресторан, боясь встреч. Купив у газетчика «Ла вуа нувель», он не взглянул на первую полосу, а стал читать напечатанные мелким шрифтом сообщения о кражах и пожарах. Он был мрачен и еще более помрачнел, когда к нему подошел Фуже:

— Ты здесь?

— Как видишь...

В другое время Дессер обрадовался бы встрече: Фуже он знал с давних времен; оба учились в Политехнической школе, мечтали стать инженерами. Потом Дессер увлекся финансовыми операциями, а Фуже — историей и политикой. Встречались они редко, но, встречаясь, беседовали дружески, без натяжки или притворства. Когда Дессеру говорили, что его любимцы радикалы разложились, стали прихлебателями республики, приятелями Стависких, Дессер отвечал: «А Фуже?» Этот бородатый энтузиаст олицетворял для него добродетели старой Франции.

Фуже был добросовестным историком. Его работы о клубах якобинцев в Пикардии и о борьбе против шуанов заслужили общее признание. Он жил не только философией, но и бутафорией Великой революции.

Патриотизм для него сочетался с простотой нравов. Он восклицал с величайшей естественностью: «Отечество в опасности!» Беря в руки новорожденного сына одного из своих избирателей, он говорил счастливому отцу: «Хороший гражданин!» Фуже считал себя наследником якобинцев. Любовь к прошлому его ослепляла. Он был убежден, что кто-то неизменно угрожает республике, любого генерала подозревал в бонапартизме и, встретив на улице аббата, возмущенно отворачивался. Мир ограничивался для него Францией; тем, что происходит в других странах, он не интересовался. Вместо «Советы, Чемберлен, дуче» он говорил: «Совье, Шамберлан, дюс». Коверкал он не только слова: хорватские «усташи» были для него «балканскими нигилистами», а Ганди — «индусским Дантоном».

Сын гравера-резчика, влюбленного в свое ремесло, он с детства знал, что труд — счастье. Ему повезло: он всегда занимался любимым делом. Он не видел, что вокруг него миллионы людей ненавидят подневольный и плохо оплачиваемый труд. Социальное движение представлялось ему затеей благородных, но отвлеченных умов. Он наставлял профсоюзников: «Главное, не забывайте о происках Ватикана!»

Карманы его были набиты делами невинно пострадавших. Он хлопотал за какую-то вдовицу, выселенную из квартиры, за сенегальцев, за анархистов. Конечно, он был одним из самых ревностных работников «Лиги защиты прав человека и гражданина». Жена с насмешкой говорила: «Наш хлопотун». Это была полная, спокойная женщина, занятая домом: мастерила абажуры, развешивала картины, вышивала подушки. Фуже шутливо жаловался: «Женился на улитке с домом». Сыновья выросли шалопаями, ничего не хотели делать и выклянчивали деньги у Фуже, напоминая отцу, что он стоит за «терпимость».

В парламенте Фуже числился радикалом, но для Тесса он был большевиком. Тесса кричал: «Помилуйте, этот человек утверждает, что у радикалов нет врагов слева! А коммунисты?..» Фуже как-то сказал о коммунистах: «Они выражаются чересчур абстрактно, но это хорошие патриоты». Ему было пятьдесят два года, но от него веяло стариной; и в палате его прозвали «последний извозчик Парижа».

Дессер помрачнел: ему не хотелось разговаривать, а он знал, что от беседы с Фуже не уйти. И действительно,

Фуже, который знал о закулисной работе Дессера, сказал:

— Почему ты не на Елисейских полях? И не пьешь шампанское? Ты должен радоваться: до некоторой степени это твоя победа.

— Как сказать... Видишь ли, одержать столь легкую и столь шумную победу не очень-то приятно.

Фуже не понял и рассердился. Его борода запрыгала.

— Слова, Дессер, слова! Ты этого хотел, не отпирайся! Ты даже мумию Виара мобилизовал, я знаю все. Можешь торжествовать!

— Нет, я не этого хотел. Я знал, что мы не готовы к войне, не можем воевать. Я стоял за компромисс. Но, во-первых, условия куда тяжелее, чем я предполагал. А во-вторых, и это самое главное, я оказался чересчур прав. Понимаешь, чересчур! Сегодняшний день показал, что нам не помогут никакие линии Мажино, никакие вооружения. Что-то надломилось. Я убежал сюда, увидев толпу на Елисейских полях. Сделать из дипломатического Седана торжество! Даладье боялся показаться на аэродроме, думал, что его забросают тухлыми яйцами. А они его встретили, как балерину — с цветочными подношениями. Такой народ не сможет защищаться.

— Почему ты обвиняешь народ? Вы в этом виноваты. И ты, Дессер. Я тебе это говорил в начале испанской истории. Нельзя рекламировать трусость как гражданскую добродетель, а потом удивляться, если народ радуется капитуляции. Ты оплачиваешь газеты, которые восхваляют дезертирство. Ты поддерживаешь врагов Франции. Ты хочешь...

Дессер прервал:

— Я сам не знаю, чего я хочу. Моя карта бита. Наверно, как карта нашей страны. Я знаю, чего я хотел: сохранить равновесие, отстоять счастливую Францию среди молодых, голодных и драчливых народов. Не вышло. А остальное неинтересно. Если бы я мог, я вообще уехал бы на Таити. Но меня вяжут дела. Мне наплевать на них, но я не могу их бросить. Для поэта неврастения — законное состояние. Музы, кажется, это любят. Биржа — нет.

Он расплатился. Они, как завороженные, повернули к Елисейским полям и, выйдя туда, остановились.

Даладье ехал в открытой машине. Толпа его восторженно приветствовала. Вслед за ним ехал Тесса. Он

считал себя именинником и не хотел подарить всех оваций Даладье. Когда Тесса раскланивался, его острый нос подпрыгивал; он улыбался стыдливо и с достоинством, как трагик, закончивший патетический монолог. Дама кинула ему розу: он прижал цветок к груди.

— Веселые похороны,—сказал Фуже.—Хоронят, кстати, Францию.

Дессер неожиданно засмеялся:

— Особенно хорош Тесса. Почему роза? Ему нужны лавры.

Фуже загрохотал:

— Теперь, Дессер, не до шуток! Отечество в опасности! Я боюсь, что через год по Елисейским полям будут дефилировать немцы. Шлюхи найдут и для них розы.

— «Отечество в опасности»? Ты честный человек и неисправимый ребенок. А может быть, отечества уже нет? До свидания, Фуже!

15

Стены были тонкими. Во всех квартирах слушали радио, и казалось, что голос диктора повторяет эхо.

Пьер переехал сюда незадолго до рождения сына. Это был огромный дом, состоявший из десятка корпусов, построенных муниципалитетом. Еще недавно на этом месте были крепостные рвы, лужайки с вытоптанной травой и куролепом. Когда-то Пьер здесь назначал романтические свидания, декламировал стихи, клялся в вечных чувствах. Теперь повсюду высились огромные дома и ночью пылали тысячи окон. Жили тут служащие, техники, рабочие. Все квартиры состояли из двух комнатушек, и во всех квартирах шла та же жизнь: вставали рано, бежали к метро; в девять утра женщины проветривали тюфяки и выбивали коврики; в двенадцать прибегали ребята из школ, в передниках, с пальцами, замаранными чернилами, доносились запахи маргарина, лука, кофе; под вечер горланило радио; в половине восьмого ели суп; в одиннадцать гасили свет и засыпали.

Последние дни радио не замолкало до полуночи: люди ждали страшных вестей. И вот сейчас диктор сразу всех успокоил: войны не будет.

Пьер и Аньес обедали. Услышав сообщение, Пьер замер с вилкой в руке, потом вскочил, отбросил салфетку, выругался. Все смешалось в Аньес: радость — Пьера не возьмут на войну, да и не будет войны, разрушенных домов, убитых детей, калек; радость и безотчетная тоска — она не разделяла мыслей мужа, но его горе доходило до нее, оно ее разъедало.

Как они не походили друг на друга! Суматошный, шумливый Пьер, у которого все на лице, Пьер, с его переходами от восторга к отчаянию, и Аньес, сдержанная, больше того — скрытная, непримиримая, вечно ищущая единственной, абсолютной правды, здоровая, полная радостного материнства и простой телесной страсти. Они жили дружно, с бурными, но короткими размолвками и с непрестанным ощущением спайки, которая лежала вне их понимания и вне их воли. У каждого были своя жизнь, свое дело, свои увлечения. Аньес вкладывала в свою работу подлинное вдохновение; каждый ребенок был для нее загадочным хрупким растением, способным погибнуть, разрастись, зацвести. Она говорила себе: «Они все для меня как Дуду». Это было неправдой: сына она любила слепо и ревниво, гордясь его первым лепетом, его волосами цвета бледного золота. Сильней этого чувства была только любовь к Пьеру, скрываемая ею не только от него, но и от самой себя. В ней жило сопротивление девушки; она отдавалась ему как бы впервые, с легким вскриком изумления и радости.

В ее углу было пусто и чисто; она не любила вещей. А на столе Пьера накоплялись геологические пласты: порывшись, можно было найти следы различных забытых им самим увлечений.

Они могли бы быть счастливы в этой тесной квартире на бульваре Брюн, между школьными тетрадками и чертежами, рядом с розовым, пухлым Дуду. Но счастливы они не были: что-то постороннее вмешалось в их жизнь. Аньес это поняла давно: в кафе на Больших бульварах, когда солдаты шутя говорили о надвигающейся войне. Два года продолжалось напряженное ожидание. Им казалось, что эта жизнь — временная, что они ее снимают, как проезжий комнату в гостинице. Аньес раз сказала: «Ну, вот еще день подарили...» Для Пьера это было связано с борьбой, с идеями, с лихорадкой надежды и отчаяния. Но напрасно Аньес пыталась понять сердцем его взволнованные

речи. Особенно она растерялась за последние недели. Было нечто человеческое в испанской войне. Аньес негодовала, видя фотографии разрушенного Мадрида, невольно восхищалась героизмом интернациональных бригад. Она говорила Пьеру: «Это не мое... Но это чистое дело». А слово «чистое» для нее было признанием. Но теперь, когда все перепуталось — дипломатия и чувства, пацифизм и шкурничество, «Интернационал» и генералитет,— она сжалась, онемела. В школу приходили заплаканные матери. Беда надвигалась. И вот — короткое сообщение о мюнхенском соглашении. Войны не будет!

— Пьер, сколько людей сейчас радуется! И у них... Ты думаешь, они иначе переживают?.. Да забудь ты хоть на минуту про свою политику.

— Ты рассуждаешь, как Андре.

— Почему как Андре? Как миллионы! Ты их называешь «обывателями». Что и говорить, теперь твое время...

— Не понимаю.

— В другое время мы живем, работаем, воспитываем детей. А вы, то есть такие, как ты, вы это терпите, и едва терпите. Тогда пишут длинные книги, прокладывают дороги, открывают сыворотки. А теперь мы должны терпеть волю таких, как ты. Я говорю не об идеях, но о природе. Теперь все подчиняется одному. А это ужасно...

Он не стал спорить: мрачный, зарылся в газеты; читал о том, что еще утром было жизнью и сразу стало историей. А она терзалась. Она поняла, что ничего не разрешилось. На сколько теперь отсрочка? На неделю? На год? И как можно отпускать жизнь по каплям?..

Аньес подошла к Дуду. Он мирно спал. Она думала: жизнь должна быть длинной, очень длинной. Прорастают зубы, потом они выпадут, ведь это только молочные... Как Дуду сможет жить?.. От одной мобилизации до другой... Она хотела поцеловать его, но не решилась. Стала исправлять школьные тетради. Тишина была тяжелой. Уж лучше бы хрипело радио! Но его закрыли. На неделю? На год? Напрасно Аньес старалась сосредоточиться, вникнуть в смысл простых детских фраз. Раз десять она перечла: «У дяди в Фонтене кролики и теленок». Ее охватила тоска по деревьям, по теплу хлева, по медлительному существованию — не спешить, не ждать, не думать...

Измученный неделями волнения, ночной работой, собраниями, Пьер уснул. Черная голова с рано показавшейся сединой упала на серый газетный лист. Ровное дыхание Пьера успокаивало Аньес: хоть в этом жизнь брала свое. Она не видала лица Пьера. А встав — сломался карандаш,— она вскрикнула: лицо у Пьера было как у покойника — ни кровинки, напряженное, будто замерзшее. Он проснулся от ее крика, сказал равнодушно «ага» и снова заснул.

16

Мобилизация показалась Люсьену выходом: с лета его жизнь стала призрачной. Случилось то, чего он боялся: толки о его разрыве с отцом дошли до Жолио,— и толстяк, которому давно претила заносчивость Люсьена, передал рубрику скачек своему племяннику. А других доходов не было. Люсьен узнал голод, грязные воротнички, вечера без сигарет. Он уходил из гостиницы на время обеда, чтобы хозяин, и без того косо поглядывавший на неаккуратного в платежах жильца, не догадался, что у него нет денег. Он бродил по знойным улицам; на террасах люди ели; их вид возмущал Люсьена: гадают над карточкой, что заказать, смакуют, привередничают, улыбаются; запахи вызывали дурноту. Порой он нападал на какого-нибудь приятеля: литератора, завсегдатая Дома культуры, или приверженца Бретейля, или посетителя игорных притонов. Люсьен наспех сочинял историю: он забыл бумажник дома или сегодня невыгодно менять египетские фунты — и, дерзко ухмыляясь, выклянчивал пятьдесят франков, которые тотчас проедал.

Как-то пришло письмо от матери; она сообщала, что здоровье ее ухудшилось, молила Люсьена помириться с отцом. На минуту он пожалел мать; вспомнил свое детство, как он болел скарлатиной, кстати пожалел и себя. Может быть, последовать совету матери? Сколько же голодать и стрелять франки!.. Он уже взял бумагу, чтобы ответить на прочувствованное письмо, но скомкал лист. Нет и нет! Конечно, там чистая постель и обед из трех блюд. Но он не станет ради этого унижаться. Его вера в Бретейля была ошибкой. Это — ошибка честного человека. А отец — делец, лишенный совести. Потом, какая скука!.. Снова слушать

сентенции: «Работай, и ты достигнешь всего. Я тоже не сразу стал министром...»

Иногда Люсьен вспоминал Муш, ее смятение в вечер их последнего свидания. В нем жило раскаяние, хотя он этого не сознавал, называя свои чувства «сентиментальностью». Муш несколько раз писала ему: умоляла ее простить, говорила, что ей опротивела жизнь. Он мучительно морщился и рвал на мелкие кусочки лиловые листки. Потом перестал вскрывать ее письма: зачем?.. Помочь ей он не может. Он и сам несчастен. А жалости на свете нет: Анри умер, Жаннет его бросила, Бретейль оказался низким политиканом.

После разрыва с Бретейлем Люсьен окончательно охладел к политике; даже не заглядывал в газеты. Мировая история представлялась ему докучливой и грязной, как папки отца, как семейная квартира Бретейля, как затылок неведомого Кильмана. Слыша на улице или в кафе разговоры о Гитлере, о войне, Люсьен зевал: видимо, папаша ухаживает за Фуже... И вдруг Люсьена призвали. Он вспомнил Саламанку, лихорадку военных сборов, попойки фалангистов, приезжавших с фронта, и обрадовался.

А два дня спустя объявили о мюнхенском соглашении. Люсьен издевался над собой: его еще раз надули. Вместе с миллионами простаков он поверил в затемнение, в танки на парижских улицах, в мобилизацию. А это папаша набирал парламентские голоса. И Люсьен судорожно зевнул: значит, снова поиски денег, ворчливый хозяин с неоплаченными счетами, злое небритое лицо, которое неожиданно выглядывает из зеркала витрин.

Судьба над ним сжалилась: возле Мадлен он встретил своего бывшего издателя Готье. В другое время Готье поспешил бы отделаться от Люсьена, но сегодня он был потрясен: еще утром он всхлипывал над кроваткой трехлетней дочки, готовясь к смерти, и вдруг экстренный выпуск «Ла вуа нувель» вернул ему, казалось, потерянную жизнь. Готье готов был расцеловать не только Люсьена, но газетчика, полицейских. Он даже не заметил, что Люсьен опустился: небритое худое лицо, потрепанный костюм (формы не успели выдать) он принял за естественную бутафорию тревожных дней.

— Я не могу опомниться,— кричал он.— Ты понимаешь, какое это счастье? Ведь я должен был завтра

ехать в Кольмар: сержант в корпусной артиллерии. И вот...— Отдышавшись, он спросил: — А ты?

— Я? Пехота. Солдат второго ранга.

— И ты, кретин, не радуешься?

— Откровенно говоря, мне все равно.

— Сноб! Нет, погоди, это у тебя нервный шок...

Люсьен вспомнил: деньги! Он сказал, таинственно улыбаясь:

— Потом, у меня неприятность... Я был в Трувиле с одной актрисой, когда началась эта суматоха. Я-то знал, что войны не будет. Но вот сюрприз: мобилизация. Пришлось ее оставить там. Я должен сейчас же съездить в Трувиль, привезти ее. Отпуск дали, но дурацкая история... Все банки уже закрыты. Не хочется откладывать до завтра... Если ты можешь меня выручить, я тебе буду очень признателен, но если это тебя как-нибудь стеснит...

— Да что ты!..

Готье вынул из бумажника тысячную ассигнацию. Люсьен усмехнулся: он знал, до чего Готье скуп. В свое время он с трудом получал у него авторские. А тут дал тысячу (Люсьен рассчитывал на двести). Готье кричал:

— Погоди! Я тебя так не отпущу. Когда твой поезд? Успеешь...

Они зашли в бар и выпили по два коктейля. Люсьен почувствовал тепло, довольство. Простившись с Готье, он подозвал такси и поехал на Монпарнас. Он вошел в большой ресторан, поднялся на второй этаж. Увидев себя в зеркале, он кивнул приветливо головой: сегодня полагается быть небритым, запущенным, а красота остается красотой. Вот и гардеробщица на него загляделась...

Он заказал пышный обед; наслаждался своей выдумкой, капризным тоном; хотелось сразу съесть хлебец, лежавший на столе, но он лениво говорил метрдотелю: «Потом, пожалуй, пулярку с трюфелями, конечно, если пулярка из Бресс...»

Вокруг шло пиршество. Героями были мужчины призывного возраста; они выглядели томными, усталыми, как будто вернулись с фронта. Некоторые были в форме, почти все — небритые; это напоминало о походной жизни; говорили нарочито грубо, ругались. Женщины за ними ухаживали; они были добрыми феями, сестрами милосердия, верными любовницами, прождавшими много лет своих рыцарей. Лампы на

столиках в пастелевых абажурах давали слабый, скрашивающий все свет. Танго говорило о возвращенном рае. Хлопали пробки от шампанского; звенели бокалы — то и дело чокались: «За мир!» Некоторые, осушив уже несколько бутылок и помня восторженные строки, сочиненные Жолио, кричали: «За победу!»

Люсьен выпил бутылку старого шамбертена; он бессмысленно улыбался. Он не помнил теперь ни о Кильмане, ни о хозяине гостиницы, ни о своем постыдном существовании. Он снова был знаменитым писателем, другом сюрреалистов, сыном модного адвоката, любовником красивой актрисы; он снова жил.

События и хмель не его одного освободили от чувства времени; все кругом ощущали исключительность этого вечера, его оторванность от ряда скучных дней. Люсьен не удивился, когда владелец картинной галереи Гюйо, с которым он не виделся года три, подойдя, весело закричал:

— Что же ты не заходишь в галерею? Я, милый мой, жемчужину нашел, настоящую жемчужину!..

Гюйо шатался. Его красное круглое лицо сверкало. В петличке была белая восковая камелия с поломанными лепестками. Гюйо потащил Люсьена к своему столику. И Люсьен не пожалел, что пошел: он увидел женщину, которая сразу его поразила — тоненькая, с очень черными, гладко зачесанными волосами, с детски вздернутым носиком, с пухлыми приоткрытыми губами и с зелеными, как будто фарфоровыми, глазами. Гюйо бубнил:

— Познакомьтесь. Это и есть жемчужина — художница Дженни. А это один из наших лучших писателей — Люсьен Тесса. Просьба не смешивать с отцом.

Люсьен рассмеялся:

— Что ты болтаешь? Я вовсе не писатель. Я специалист по коневодству.

Дженни посмотрела на него в упор; глаза ее ожили, потемнели.

— Я читала вашу книгу. О смерти... Я вас ждала, как смерть ждала персидского садовника в Багдаде.

Английский акцент придавал ее словам нечто ребяческое. Люсьен подумал: выпила, но какая красотка! Он сел, выпил бокал шампанского, потом ответил:

— Я вас тоже ждал. Но прозаичней: как хорошенькую женщину. Теперь мы познакомились. Давайте пить.

— Хорошо. Но я пью только виски.

Дженни родилась и выросла в одном из самых скучных городков штата Кентукки. Отец ее был методистом и торговал фанерой. Дженни с детства отличалась экзальтированностью: зачитывалась стихами Шелли и Китса, хотела перейти в католицизм, писала рассказы о страданиях негров, а когда Вильсон вернулся из Европы, убежала, чтобы его приветствовать. Ей тогда было шестнадцать лет. А в восемнадцать она вышла замуж за бродячего фотографа, который обещал увезти ее в Голливуд. С фотографом она вскоре развелась, но все же добралась до Голливуда: хотела стать кинозвездой. Там она узнала нужду и обиды. Помощники режиссеров деловито отвечали: «Поужинаем, а после...» Она возмущенно отвергала эти предложения. Увлеклась живописью: натощак писала пейзажи — рыжую землю, кактусы, пестрые дома. Она была способна, но безвкусна, да и в природе ей нравилось все крикливое, несвязное. Вдруг ей посчастливилось: в нее влюбился инженер из Лос-Анджелеса, конструктор самолетов; он ей тоже понравился; они поженились. От нищеты Дженни перешла к богатству. В семейной жизни инженер был мил, скромен, для нее сер; она говорила себе: «Я так и не узнала настоящей любви». Два года спустя муж разбился. Она съела два тюбика веронала; ее спасли. Она кинулась в озеро; ее вытащили. Год она не выходила из полутемной комнаты. Потом ожила. Она оказалась одна, с большими деньгами. Уехала в Европу; металась из одной страны в другую; осматривала музеи и притоны; сходилась с авантюристами — хотела узнать «настоящую любовь»; аккуратно, как школьница, посещала различные художественные школы; потом осела в Париже на Монпарнасе, где выпавшие из жизни американцы издевались над светом Старым и Новым и пили при этом виски. Она тоже издевалась и тоже пила.

Она была всего на год старше Люсьена, но ей казалось, что с ней сидит юноша. Он одержал еще одну победу: лихорадочность его глаз, огненные волосы, грустный цинизм речи настолько ее потрясли, что она глядела только на него, не слушала болтовни Гюйо, не хотела танцевать. Это чувство было сильным. Люсьен ему поддался — ему показалось, что он влюблен.

Гюйо постучал ножиком о стакан:

— Я предлагаю тост, Люсьен — пехота, я — в зенитной, Шарль — летчик, Дюмон — капитан, тоже пе-

хота. Итак, мы могли бы все через месяц удобрить поля Эльзаса. Или Пфальца, это все равно. А мы живем и будем жить. Это действительно наша победа, победа наших дипломатов, наших писателей, победа Поля Валери, Дерена, победа виноделов, портных, консьержек. Прошу не презирать консьержек: это тоже ангелы мира. Я предлагаю випить за самую прекрасную из французских побед!

Дженни зааплодировала; потом сказала Люсьену:

— Я не люблю Валери. Мне нравится Элюар. А вам? Гюйо говорил сейчас, как Вильсон, но тогда французы были против Вильсона. Не сердитесь, я ничего не понимаю в политике. Но я счастлива... Ужасно подумать, что вас могли бы убить!..

Он рассмеялся:

— Гораздо проще: мы могли бы не встретиться.

Гюйо крикнул: «Счет!» Люсьен запротестовал: платит он. Он кинул старому официанту сто франков на чай. Тот улыбнулся:

— Спасибо, господин майор!

— Ошибка: господин солдат второго ранга.

Он тихо сказал Дженни:

— Последний глоток за вас. Персидский садовник боялся смерти и убежал в Багдад. Там он встретил прекрасную девушку. Он никогда таких не видал... И он прогнал смерть.

Она сжала его руку.

Они вышли; доехали до Пасси. Дженни жила на тихой улице. Возле дома, в свете фонаря, смутно шевелилось большое дерево. Она хотела проститься, но он прошел в переднюю. Она растерялась, по-детски попросила:

— Не нужно...

Ей казалось, что это — настоящая любовь; она боялась сразу все потерять. Он сел, не сняв пальто, в глубокое кресло и закрыл глаза. Лицо у него было утомленное. Дженни вдруг успокоилась:

— Я сейчас сварю кофе. Хорошо?

Она принесла кофейник: стеклянный шар; под ним бился синий огонек. Приоткрыв глаза, Люсьен сказал:

— Алхимия...

Ему было спокойно; ничего не хотелось; крепкий, сладкий, как сироп, кофе казался пределом счастья. Дженни болтала без умолку: инстинктивно опасалась молчания. Пережившая немало любовных связей, она вела себя как неопытная девушка.

— Больше всего я люблю желтые розы, не чайные, а желтые. У Бомана на Монпарнасе много. Они чудесно пахнут. Если вы захотите меня порадовать, вы мне принесете.

И Люсьен, полный неги, спокойно ответил:

— Вряд ли. У меня даже на метро не осталось...

Люсьен стыдился своей бедности, и признание было неожиданным для него самого. Он пришел сюда, хорошо зная, зачем. Потом все перепуталось: кофе, чинная поза Дженни, разговор о живописи, о Греции, о цветах... И он много пил, устал. Он не слушал своих слов. Дженни подумала, что он шутит: ведь только что он заплатил за всех. Она сказала, смеясь:

— Не сейчас... Вот что значит кутить!..

Люсьен очнулся; шутливый укор его разозлил.

— Я кутил на деньги Готье. Такие оказии выпадают редко. Обычно я стреляю по мелочи: не на розы, но на хлеб с колбасой. Вам этого не понять. Вы богатая американка. А я обыкновенный безработный. Мы люди двух классов.

Он и вправду чувствовал к Дженни ненависть бедняка. Он не глядел на нее, не видел, что она плачет.

Дженни хорошо знала, что такое нищета; она не забыла двух лет Голливуда. Тогда она говорила подругам, что не ест потому, что боится потолстеть, а от голода ее мутило. Выбежав в соседнюю комнату, Дженни вернулась с пачкой кредиток. Она пыталась засунуть деньги в карман Люсьена:

— Я прошу вас! Умоляю!..

Злобная гримаса искривила его лицо. Он скомкал деньги, швырнул их на столик.

— Я не за этим пришел...

Он больно сжал ее плечи. Он не чувствовал ни влечения, ни страсти: он доказывал чистоту своих намерений. А Дженни думала: он простил ей ее богатство, влюблен, не хочет ждать, не может... И она отдалась ему без горечи, без колебаний.

Она уснула измученная и счастливая. Он не спал. Он постепенно возвращался к жизни последних месяцев. Что же ему делать?.. Стать сотрудником шантажной газетки? Покаяться перед папашей? Ограбить кого-нибудь? Поглядев на Дженни, он удивился: забыл было все; потом брезгливо покривился. От нее исходила теплота животного довольства. Корчила недотрогу: Валери, живопись, желтые розы... А сколько

у нее таких похождений?.. Ему хотелось разбудить ее, обидеть, ударить. Но он лежал, не двигаясь; разглядывал комнату: мебель под какого-то Людовика, копия Ватто, лилии в вазе. Дженни снимала меблированную квартиру; все вещи были чужими, но для Люсьена они были ее мещанской обстановкой. Он снова на нее поглядел. При резком утреннем свете показались морщины; кожа была чересчур нежной и плиссированной, как начинающий вянуть цветок. Он зевнул; стал считать своих любовниц; дошел до двадцати шести, запутался — были две Марго, кажется, вторую он еще не считал, а может быть, считал. Это была блондинка, то есть крашеная, дочь учителя музыки... Он оборвал себя: какая пошлость! Его поташнивало. Он тихо оделся, хотел уйти. Но Дженни проснулась; она еще улыбалась, полная сна; потом встревожилась:

— Почему ты оделся?

— Пора.

— Люсьен...

Он деланно рассмеялся:

— Гюйо пил за победу. На самом деле победили немцы. Это даже дети понимают. Но когда пьешь, нужно врать. Теперь мы не пьем... Ты вчера была прекрасной девушкой. Кажется, так? А ты тетушка из Америки. В возрасте... Я не персидский садовник, а кот. Ты, может быть, не знаешь, что такое кот? На языке Поля Валери — сутенер.

Она ничего не понимала; плакала; цеплялась за его ноги.

— Ты должен прийти вечером! Обещай мне!

Что-то в нем сломилось, последняя гордость, остатки душевной чистоты. Он поглядел на валявшиеся смятые бумажки: бледно-лиловые тысячные билеты. По меньшей мере десять тысяч... Засунув деньги в брючный карман, он равнодушно сказал:

— Хорошо, приду. Может быть, не сегодня,— завтра или послезавтра.

Было чудесное утро, ясное, теплое. Он прошел пешком до Люксембурга; глядел на листву деревьев, медную, золотую, палевую — рассыпанные драгоценности уничтоженного царства. В парке шла обычная жизнь. Несмотря на ранний час, матери и няньки уже привезли сюда коляски; малыши играли среди ярко-рыжего песка; мальчики по пруду пускали игрушечные кораблики. Рантье, отставные чиновники, греясь на солнце,

читали газеты. Суетились черные, будто навакшенные, дрозды. Перед Люсьеном высилась голова Верлена; поэт походил на старого фавна; на мраморе были черные потеки — Верлен плакал. Люсьен машинально повторил строчку стихов: «Жизнь простая и спокойная...» Почему ему нельзя? Просто и спокойно... Поступить на службу, есть суп, нянчить детей, приходить сюда... Рядом беседовали:

— Чемберлен обещает мир на двадцать лет...

— Ну, о двадцати я не мечтаю. Но вот десять...

Люсьен посмотрел: этому семьдесят. Зачем ему десять лет мира?.. Он пробормотал: «Незачем!» Старичок обиженно заморгал. Люсьен встал, зевнул. Что же ему делать?.. И вдруг он вспомнил о деньгах. Ночь казалась выдуманной. С недоверием он пощупал карман: хрустят... Тогда он поехал к английскому портному на улицу Пирамид: он закажет зеленый костюм из шотландского гомспума.

17

После долгого перерыва Дениз получила письмо от Мишо.

«Дениз, дорогая!

Я тебе писал отсюда два раза, но боюсь, что письма не дошли — один раз сожгли грузовик с почтой, другое я послал с оказией, ехал один товарищ, серб, говорят, будто его схватили в Сервере. А время у нас было горячее. Где уж тут письма писать! Сейчас мы отдыхаем в десяти километрах от фронта. Утром привезли воду, мы помылись и наслаждаемся. Только с табаком беда, иногда ночью с ума сходишь — так курить хочется. Если можно, пришли — это всем нашим.

Вчера мы опять отбили атаку фашистов — восемнадцатая по счету. С тех пор, как мы перешли Эбро, они не унимаются. Понятно — боятся за свои коммуникации. Когда-нибудь я тебе расскажу, как мы переправлялись. Река очень быстрая, повсюду водовороты, я таких рек у нас не видел. Шли ночью. Испанцы — молодцы! Не сравнить с тем, что мы застали, когда приехали. Тогда тоже были хорошие ребята, но ничего не умели, на обед уходили с позиций, беспорядок был

невообразимый, всюду торчали предатели. Теперь настоящая армия. А дух остался прежний. Когда мы брали Флис, затянули «Интернационал», а они подхватили по-испански. Это все крестьянская молодежь.

Чего только фашисты не пробовали, чтобы выбить нас! Летчики — немцы, они в Эбро всю рыбу перебили. Я недавно там был,— плавает сонная рыба. Но понтонеры, как на подбор, работают под бомбами. А мы семь недель защищали высоту 544. Каждый день прилетали их бомбардировщики. Мы их зовем «индюшками». Скидывали тонны бомб. Потом — артиллерия. Вчера они решили, что у нас никого в живых не осталось; на самом деле за вчерашний день мы потеряли только четверых. Жаль Карпино! Замечательный был парень, монтер из Тулузы, весельчак. Мы как-то вечеринку устроили для испанского населения, он показывал, как певица исполняет арию Лакме, все обхохотались. Храбрый был — когда ходил в разведку, привел трех итальянцев. Атаку они повели к концу дня, солнце уже садилось. Пейзаж здесь особенный, похоже, как изображают луну с кратерами, ни деревца, землю наизнанку вывернули. Перед атакой — два часа ураганный огонь. Интересно, сколько у них там батарей! Мы им дали подойти на сто метров, потом — из пулеметов. Откатились, и еще как! Ранили при этом бельгийца Пелетье. Я его перевязываю, а он кричит: «Отбили? Вот здорово!»

Видишь, настроение у нас неплохое. Хотя все, конечно, отчаянно устали. Потом, как я тебе сказал, нет курева. Но это не важно. Главное — держимся. Они поэтому не пошли на Валенсию. Силы у них большие. Авиация: против одного нашего — десять. Мы на себе чувствуем, что такое «невмешательство». Блюма и Виара наши часто поминают, даже ругаются: «Эх ты, Виар!..» Пехоты у них тоже много, и пехота хорошая, не только макаронщики, как на Гвадалахаре, но марокканцы и наваррские части. Но все-таки я думаю, что мы удержимся. Вот только последнее время наши приуныли. Это из-за вас. Страшно взять в руки газету: опять какая-нибудь капитуляция. Испанцы на нас свысока поглядывают: что же вы за народ? И по-своему они правы. Но теперь, я думаю, все изменится. Дальше и отступать некуда. Сегодня по радио передали о частичной мобилизации. Наши приободрились. Придется и радикалам признать, что мы здесь сражаемся за Францию.

Письмо доставит хороший товарищ. Ты его пригрей — это человек без семьи и без родины. Он тебе расскажет о нашей жизни, о военных операциях. А чего не скажет, пойми сама. Поняла, о чем говорю? Все помню и часто вижу, как ты смотрела, тогда туман был... Одним словом, понятно. Я даже не думал, что это может быть так сильно. А высказать трудно, особенно в письме. Остается только сказать, что верю в нашу близкую встречу и крепко, крепко целую.

Люк Мишо».

Дениз ответила в тот же вечер:

«Париж, 4 октября.

Дорогой Мишо!

Как я обрадовалась твоему письму! Не скрою — все это время я очень волновалась за тебя. Поддерживала меня какая-то смутная вера в твою счастливую звезду, в твою и в мою. Товарищ, который привез письмо, много мне рассказал о тебе. Он сразу понял, до чего мне важна каждая мелочь. Он симпатичный и смелый.

Скажу прямо, Мишо: я тебе завидую. Какое это счастье бороться — прямо, открыто, каждый час рискуя своей жизнью, быть окруженным честными, храбрыми людьми, чувствовать на себе всю теплоту их дружбы! Здесь часто говорят, что судьба Испании предрешена, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Это — неправда. Пока хоть один человек держит винтовку, ничего еще не предрешено и не потеряно.

Мне трудно тебе писать о здешних событиях. Мы задыхаемся среди низости, трусости, лжи. Накануне мюнхенского соглашения наши верили в отпор. В Париже была забастовка строительных рабочих. Ее прекратили за четыре дня до Мюнхена — таков был патриотизм рабочих. А все оказалось шахматным ходом Даладье, моего отца и всей компании. Если бы ты видел, как они запугивали население и организовывали панику!..

За два дня все переменилось. Теперь, если они и захотят воевать, ничего не выйдет. Они радуются, что распался Народный фронт, на самом деле распалась Франция. Идет ликование: празднуют победу, устраивают балы, даже триумфальные шествия. Я вчера видела на Больших бульварах немецкие флаги со свастикой. Отвратительно! Фланден отправил Гитлеру поздравительную телеграмму. Прочитав твое письмо, вспомнила смешную подробность. Ты пишешь о това-

рище, который имитировал Лакме. Наш инженер мне рассказал, что он был в «Опера комик» на «Лакме», там певица вставила в арию отсебятину: «О, как я хочу поцеловать Чемберлена!» — и ей устроили овацию. Ты чувствуешь, сколько подлости и глупости?

Рабочие обозлены. Влияние партии за неделю выросло. Сегодня на нашем заводе было собрание. Решили отказаться от сверхурочных — предложение нашей ячейки. В стране достаточно безработных. Поскольку наш завод — военный, мы до последнего времени не протестовали. Но теперь ясно, что речь идет не о защите Франции. В правых газетах появились статьи об Украине, даже карты. Я не удивлюсь, узнав, что они готовятся вместе с немцами к походу на Советский Союз: здесь-то все пацифисты сразу станут вояками!

В связи с этим начались гонения на партию. Ходят слухи, что мой отец стоит за запрещение. Мы к этому готовы, имеется костяк, который сможет продолжать работу в подполье.

Наконец, последняя низость — Легре мне вчера сказал, что они хотят объявить бойцов интернациональных бригад дезертирами, придравшись к тому, что вы не явились на мобилизационные пункты. Это предел цинизма: дезертиры, которые обвиняют бойцов, два года сражающихся на фронте, в дезертирстве!

Что тебе сказать о моей жизни? Работаю по-прежнему на «Гноме». Откровенно говоря, живу только партийной работой, все остальное от меня отскакивает. Я как-то разговорилась с одним инженером, культурный человек, левый — где-то между анархистами и Блюмом. Он мне заявил: «Вы слепая. Вам нужно было родиться в эпоху инквизиции, когда фанатизм был ко двору». Все это вздор! Но я действительно жалею, что потеряла столько лет, изучая старую архитектуру. Не потому, что это не нужно. Конечно, нужно. Я знаю, что прекрасные вещи долговечней той или иной политической ситуации, я ведь не слепая. Но меня это не занимает. Все должно решиться в бою с фашизмом — лет на сто, судьба не только наша личная,— нашей цивилизации. По сравнению с этим другое бледнеет, отходит на задний план.

Письмо вышло сухим. Я отвыкла от других слов. У тебя война — живое. А мы роем, роем, как кроты... Теперь — о нашем. Дорогой мой Мишо, не думай, что я чего-то не поняла. Я тебя жду каждый день. Иногда

мне кажется, что ты приехал, сейчас придешь, засуетишься, крикнешь: «И еще как!» Я всегда с тобой, даже когда думаю о другом — это во мне. Я не хочу об этом писать, чтобы не расстроиться. Пойми без слов!

Твоя *Дениз»*.

18

Всего месяц прошел с того дня, когда Тесса, отвечая на приветствия толпы, прижимал к груди розы; но он забыл об этих прекрасных минутах; каждый день приносил ему новые волнения.

Страна узнала горечь похмелья. Ярко освещенные улицы никого больше не радовали. Люди быстро забыли о сентябрьской тревоге. А мобилизация влетела в копейку; надо было расплачиваться. Что ни день, правительство вводило новые налоги. Объявили чуть ли не о повышении цен на хлеб. Проезд в автобусе стал роскошью. Начались забастовки. Предприниматели требовали крутых мер. Газеты продолжали писать о благоденствии, но никто им больше не верил. В «землячествах» Бретейля лихорадочно готовились к мятежу. Обри говорил: «К Новому году наведем порядок...» Даладье истерически вопил о своей «железной воле»; стал подозрительным. Казалось, правительство доживает последние часы; и Тесса судорожно метался по кулуарам парламента.

Тесса не верил в мятеж фашистов; он не боялся и забастовок. Уличные беспорядки для него были только аккомпанементом парламентских прений. Тесса опасался другого: вдруг палата откажет правительству в доверии? Сколько раз он говорил Даладье: «Осторожно! Не ставь вопроса о доверии — кто их знает?..» Виар как-то сказал: «Разве мы знаем, что думает страна?» Тесса в ответ замахал руками: «Хуже — я не знаю, что думают депутаты!»

Видя шаткость правительства, Бретейль теперь разговаривал с Тесса, как с подчиненным; требовал: «Распустите коммунистическую партию». От таких советов Тесса бросало в холод. Шутка ли сказать: распустить политическую партию! Начнется крик. Социалисты, конечно, в душе обрадуются; но найдутся и среди них десятка два беспокойных. Эти увлекут левых радикалов. Тесса окажется в руках Бретейля. А кто поручится,

что Бретейль не скажет: «Тесса поработал. Пусть он уступит место Лавалю».

За спиной Бретейля сновал красавец Грандель. Он окреп — говорили, что он спас Францию в сентябре от катастрофы. Жены запасных города Ла-Флеш поднесли ему письменный прибор — на пресс-папье был мраморный голубь с масличной ветвью. Грандель произносил боевые речи. На одном собрании он заявил: «Пора очистить Францию от коммунистов и от прислужников интернациональной плутократии — от всех Тесса!..» Как жалел Тесса, что выпустил из рук злополучную бумажку! Будь у него это письмо, он уничтожил бы Гранделя, а заодно унял бы Бретейля. Но кто его подвел? Люсьен!.. И, вспоминая об этом, Тесса выходил из себя. Близкие его предали: Дениз науськивает на отца рабочих, а Люсьен работает с Гранделем.

Повсюду у Тесса оказались враги. Неприязнь Бретейля естественна: он — представитель оппозиции, это соответствует правилам парламентской игры. Но и в радикальной фракции раздаются голоса против Тесса. Во главе банды все тот же неистовый Фуже. Тесса возмущался. Надо уметь жить и не мешать другим. Он никогда не интриговал против Фуже; у них разные избирательные округа, разные профессии, разные интересы. Фуже — начетчик, а Тесса — живой человек. И вот Фуже осмелился усомниться в патриотических чувствах Тесса; на собрании фракции он сказал: «Тесса защищает Мюнхен. Это его право. Однако почему он покрыл немецкого агента Гранделя и уничтожил документ, который я ему передал?..» Тесса в ответ произнес горячую, но туманную речь, намекал на высшие интересы Франции, на дипломатическую тайну. Ему аплодировали. Все же некоторые депутаты поверили Фуже; поползла сплетня о тайной связи Тесса с Гранделем. Тесса негодовал, но вопрос о документе обходил молчанием. Как он мог объяснить историю, в которой замешан Люсьен? А Фуже не унимался.

Даладье предложил распустить парламент и назначить новые выборы. Депутаты всполошились. Тесса понимал, что это глупая затея. Усилятся коммунисты и правые. Радикалы потеряют по меньшей мере пятьдесят мест. Своими руками вырыть себе могилу! Потом, палата не пойдет на это: самоубийство никого не прельщает. Здесь все объединятся против правительства — левые и правые: кто не дорожит своим местом?

Даладье говорит, что выборы в сороковом году будут катастрофой. Конечно. Но до выборов далеко. Хуже, что депутаты начинают юлить: боятся избирателей; то они против новых налогов, то не хотят раздражать рабочих. Что же тут делать?.. Тесса долго думал и придумал: надо продлить полномочия палаты на два года. Все клюнут на эту удочку — каждому лестно просидеть два лишних года в Бурбонском дворце. Такая мера может обеспечить кабинету твердое большинство на год. А дальше и заглядывать глупо — кто знает, что будет через год?..

Вот только бы зажать рот Фуже! Тесса рассчитывал на съезд радикальной партии — там он обуздает строптивых. Он энергично готовился к съезду. Написал речь, вдохновенную и хитрую, с цитатами из Плутарха и Гамбетты, со ссылками на дефекты отечественной авиапромышленности и с патетическими воспоминаниями о героях Марны. Не брезгал Тесса и черной работой: инструктировал провинциальные комитеты, оплачивал дорожные сборы подходящих делегатов, сулил синекуры, ордена.

Амали ему говорила: «На тебя страшно глядеть. Разве можно столько работать?» Он кротко отвечал: «Что ты хочешь, мамочка? Дети нас бросили. У меня осталась только Франция...» За последний год Амали сильно исхудала; не могла есть, плохо спала. Она стала крошкой, седым ребенком. Тесса отворачивался — жалел жену. Готовясь к своему выступлению и выписывая цитату из Иеремии, Тесса напал на историю Иова. Он прочитал две страницы, и ему показалось, что это написано о нем: он все потерял, как Иов. Его дом стал домом раздора. Дети ушли. Амали смертельно больна. И все на него клевещут. Никто не понимает, что он одинок, несчастен. У Иова был Бог. Тесса — просвещенный человек. Он не хочет, как Амали, жить суеверным страхом. Нет у него и надежды на загробную награду. Что же его поддерживает? Он задумался и ответил себе: «Гордость, сознание человеческого достоинства!»

Готовился к съезду и Фуже. Он не хотел выступать в палате против правительства, состоявшего из его партийных товарищей: он был предан партии, верил, что радикалы — духовные дети якобинцев и что Тесса случайно затесался среди них. На съезд соберутся лучшие люди партии, трудолюбивые и честные провинциалы, готовые умереть, чтобы отстоять республику.

Там-то Фуже раскроет измену Гранделя, заклеймит двуличие Тесса, потребует, чтобы Даладье вдохновлялся не принцем Конде, но Робеспьером.

Фуже твердо верил, что слово «свобода», произнесенное с трибуны, способно вызвать бурю и опрокинуть правительство: «Либо радикалы, порвав с позорной политикой капитуляций, поведут Францию к победе, либо их сметет всеобщее негодование!» Когда его спрашивали, как он себе представляет этот взрыв народных чувств, он, не колеблясь, отвечал: «Баррикады, мой друг, баррикады!..»

Съезд был назначен в Марселе. Накануне отъезда Фуже был на заседании «Общества изучения революции». Он вернулся потрясенный: дантонисты, отрицая подлинность ряда документов, продолжают обвинять Робеспьера в «подстроенном процессе». Фуже, не вытерпев, обозвал почтенного историка «приспособленцем» и, приехав домой, загрохотал в передней:

— Нет, ты представь себе эту слепоту!..

Жена, выслушав целый доклад о безнравственности Дантона, печально сказала:

— У меня голова занята другим.

Он добродушно усмехнулся:

— Наверно, моль съела гардины...

Он знал, что толстуха Мари-Луиз озабочена одним: уютом и чистотой дома. Но она сердито ответила:

— Ты живешь на небе, а я должна все расхлебывать. Луи спутался с какой-то девушкой. Она дочка чиновника. Католическая семья. Она решила сделать аборт и требует денег. Грозит ему, что скажет родителям.

Фуже возмущенно закричал:

— Я против! Решительно против! Это низость! Пусть женится или живет в свободном браке. Все что угодно, только не это!

— Но он не хочет жениться, он говорит, что не любит ее, что все это случайно...

Из соседней комнаты прибежал Луи, прыщавый юноша в голубой куртке, и фальцетом подхватил:

— Я ее ненавижу! Святоша и стерва. А отец у нее католик, страшный скандалист. Где же твоя «терпимость»?..

Фуже был непримирим; он повторял одно: «Я против!» Он продолжал это выкрикивать в пустой комнате — не заметил, что Мари-Луиз и сын давно ушли.

Наконец, отдышавшись, он сел за работу: хотел еще раз просмотреть тезисы своего марсельского выступления. Мари-Луиз осторожно вошла, поглядела на мужа, увлеченного работой, и робко попросила:

— Две тысячи... Это не Луи, а мне. Я выбрала дешевый мех...

Фуже растерянно забормотал:

— Что же ты не сказала раньше? Я дал три тысячи на чешских беженцев... Придется подождать до двадцатого...

Мари-Луиз была бережлива; она умела переделывать старые платья, покупала носки мужу на распродажах, обегала десяток магазинов, разыскивая дешевые скатерти или стулья. Никогда она не упрекала мужа за то, что он дает ей мало денег. Но сейчас она вышла из себя: ее рассердило упрямство мужа — пришлось выдумать эту историю с меховым манто, чтобы достать две тысячи для Луи. И Мари-Луиз закричала:

— Разве я часто у тебя прошу?.. Почему ты не займешься делом, если тебе нужно содержать каких-то беженцев? Все мне говорят: «Вы жена депутата, у вас много денег». А я работаю, как поденщица. Другие депутаты прекрасно зарабатывают. Много ты получаешь за твоего Робеспьера?

Фуже, обезумев, затопал ногами:

— Молчи! Ты понимаешь, на что ты меня толкаешь? Я не Тесса! Я лучше пойду мыть окна!

Мари-Луиз махнула рукой и ушла. Сыну она сказала, что завтра заложит серебро. Это было ее приданое; она с ним впервые расставалась, и,сидя на кухне, она перебирала сахарницы, молочники, щипчики, ложки, гладила их.

А Фуже до утра шагал по кабинету. Он обвинял всех: распущенного Луи, Тесса, историка, оклеветавшего «неподкупного Максимилиана», и себя — нужно жить проще, строже, чище!.. Потом, плеснув на лицо немного водицы и расчесав всклокоченную бороду, он поехал на вокзал.

Тесса должен был уехать в то же утро, но Даладье собрал совет министров: банки высказались против законопроекта Маршандо. Во время заседания Тесса тоскливо зевал и подсчитывал, сколько мандатов может оказаться у сторонников Фуже. Когда заседание кончилось, он поехал домой за вещами. Его поджидал незнакомый человек.

— У меня нет времени! — крикнул Тесса.

— Я у вас отниму, господин министр, ровно пять минут. Это по крайне важному делу.

Тесса не хотел слушать; он думал, что перед ним обиженный чиновник.

— Тогда, господин министр, разрешите вас побеспокоить в Марселе?

Узнав, что перед ним делегат и что дело касается съезда, Тесса сразу переменился, стал любезен, провел посетителя в кабинет. Тот вынул мандат, представился:

— Вайс, делегат кольмарской группы департамента Верхнего Рейна.

Вайс был приятным блондином с трогательными голубыми глазами, с локонами. Выглядел он провинциалом: стоячий воротничок, брюки в полоску, на жилете золотая цепочка; говорил с эльзасским акцентом:

— Радикалы Кольмара всегда были противниками Народного фронта, и мы считаем вас, господин министр, истинным вождем нашей партии. Мы возмутились, узнав, что Фуже намеревается выступить на съезде.

— Но Фуже — старый член партии. Он вправе защищать свою точку зрения, как бы ошибочна она ни была.

— Радикалы Кольмара полагают, что Фуже — скрытый коммунист и работает по указке Москвы. Чрезмерными нападками на церковь он способствует отторжению Эльзаса от матери-родины. Неоднократно он заступался за дезертиров. Он помешал полиции очистить в Безансоне военный завод, захваченный забастовщиками, то есть подрывал оборонную мощь Франции. Он выдавал немецким эмигрантам рекомендательные письма, желая нас поссорить с Германией. Наконец, получив взятку, он добился освобождения Ларишо, обвиненного в растлении малолетних.

Вайс говорил сухо, монотонно, как будто зачитывал обвинительный акт; голубые глаза выражали возмущение ребенка перед низостью мира. Услышав имя Ларишо, Тесса усмехнулся: он знал эту историю. Фуже растрогала мать Ларишо, он советовался с адвокатом, но, узнав, что это — темное дело, стал вопить: «Зачем вы таких защищаете? Ему голову отрезать мало!» А Ларишо откупился: мать девочки за хорошее вознаграждение согласилась показать, будто она, а по ее наущению и дочка, оклеветали невинного. Тесса не стал делиться с Вайсом судебными воспоминаниями. Он только спросил:

— Что же вы намерены предпринять?

— Не допустить выступления Фуже.

— Но это противно традициям нашей партии. Свобода мнений...

— Не для преступников!

Тесса помолчал, потом улыбнулся:

— Я понимаю наши чувства... Вы, молодежь, наша надежда. Но зачем быть таким непримиримым? Впрочем, я не вправе вас отговаривать: вы повинуетесь гражданскому долгу. Мы еще увидимся в Марселе. А вы там разыщите моего друга Бильe. Ему под шестьдесят, но душой юноша и рассуждает, как вы. Он вам поможет.

Когда Вайс ушел, Тесса приказал горничной вынести чемоданы, а сам зашел к Амали проститься. Она лежала бледная, перебирала четки и едва шевелила тонкими губами. Тесса ее осторожно поцеловал.

— До свидания, мамочка! Поправляйся! И пожелай мне успеха. Я надеюсь вернуться со щитом. Пусть он только попробует раскрыть рот...

19.

Марсель называли «французским Чикаго»: его порт был бульоном, в котором плодились гангстеры, продавцы живого товара, сутенеры, контрабандисты, скупщики опиума и кокаина; здесь же промышляли люди, покупавшие и продававшие оружие — от револьверов до бомбардировщиков, агенты Бретейля, дельцы, зарабатывавшие на горе Испании. То и дело в городе находили трупы: гангстеры убирали предателей и болтунов. На узеньких улицах Старого порта находились публичные дома. Полураздетые женщины поджидали путешественников, клерков, коммерсантов, матросов. Если прохожий не поддавался соблазну и пытался пройти мимо, с него сбрасывали шляпу, обливали его помоями. Сутенеры подготовляли избирательные кампании, срывали забастовки, покрывали или разоблачали шпионов.

Накануне выборов гангстеры богатели. Кандидатам приходилось быть щедрыми: гангстеры избивали ораторов, сдирали со стен воззвания, разгоняли избирателей. Гангстеры делились на два клана. Первый, во главе с кривым Лепети, обслуживал местный муници-

палитет, точнее, его социалистическое большинство. Лепети, еще недавно интересовавшийся только кокаином, снисходительно пояснял: «Я за разоружение...» Второй клан работал на Бретейля и был подчинен Лебро, начавшему свою карьеру с убийства бразильского коммерсанта. Из одного клана гангстеры легко переходили в другой. А не заручившись их содействием, опасно было и выставить свою кандидатуру в палату, и открыть кафе на Канебьер.

Узнав, что съезд радикалов назначен в Марселе, гангстеры оживились: предвиделись заработки. Действительно, взвесив все, приятель Тесса Билье обратился к Лебро. Билье, торговавший оптом кофе, знал, что Лебро человек честный: не раз он пользовался его услугами для охраны товара от утечки. Теперь он обратился к Лебро с просьбой поддержать порядок на заседаниях съезда. Две сотни сутенеров и контрабандистов получили пригласительные билеты; кто гостевой, кто корреспондентский. Все было сделано, чтобы помешать Фуже нарушить распорядок.

Войдя в огромный зал, Фуже изумился. Он привык встречать на съездах провинциалов, немолодых, бородатых, с толстыми неповоротливыми шеями, лавочников, нотариусов, фермеров, учителей чистописания, коммивояжеров, ремесленников, среднюю, малоприметную Францию. Конечно, и на этот раз он увидел несколько милых ему бород, но они терялись среди молодых людей спортивного вида, щеголявших бицепсами и блестящими, гладко причесанными волосами над низким лбом. Одни из них были гостями — их подобрал Лебро; другие приехали как делегаты; эти называли себя «младорадикалами» и были посланы группами, в которых Тесса нашел единомышленников или людей, падких на деньги. Многие младорадикалы прежде состояли в фашистских отрядах; они соблазнились близостью к власти. С Бретейлем приходилось ждать переворота; здесь же легко было оторвать теплое местечко, красную ленточку в петлицу или хотя бы несколько кредиток. Младорадикалы ругали рабочих и евреев, требовали «авторитарной республики», буйно восторгались «реализмом» Муссолини и «смелостью» Гитлера. Они бродили по залу, острили, зевали, переругивались; и заседания съезда напоминали трибуны во время футбольного матча.

Даладье встретили овацией; и бородачи, и младорадикалы, и сутенеры кричали: «Да здравствует мир!»

Воевать никому не хотелось, и молодые люди призывного возраста, не лицемеря, благодарили маленького человека с тупым взглядом исподлобья, который спас их от окопов. А делегатам постарше льстило, что герой Франции — их сотоварищ по партии, старый радикал, гражданин Эдуар Даладье. Тесса в душе обиделся: опять Даладье срывает все цветы!.. Но он понимал, что Даладье только символ, и, сказав себе: «Это приветствуют и меня»,— зааплодировал.

Даладье говорил очень громко, часто его речь переходила в крик. Как многие слабовольные люди, он хотел показать себя стойким, непоколебимым. Неизменно он возвращался к утверждению своей силы, выкрикивая: «Я сказал!.. Я хочу!.. Я не допущу!..» Минутами в голосе слышались слезы маленького учителя гимназии, которого все водят за нос, но который волей судьбы вынужден разыгрывать Наполеона. Даладье воскликнул: «Я запрещаю говорить о капитуляции! Мюнхен не был капитуляцией!» Он приподнялся на цыпочках, засунув два пальца за борт жилета и наклонил голову: может быть, он и вправду Наполеон, одержавший бескровную победу? Зал ответил овацией. На минуту всех увлекла иллюзия: это был спор не только с Фуже, но с историей.

Когда Даладье сошел с трибуны, делегаты почувствовали душевное утомление. Все стали шутить, кричать, бродить по залу. Напрасно председатель потрясал звоночком. Докладчика, говорившего об обороне Франции, никто не слушал: военные проблемы мало занимали этих глубоко штатских людей. Они приехали сюда, чтобы одобрить политику мира, похоронить Народный фронт и потребовать крутых мер против «лодырей». А оборона Франции?.. Зачем? Разве после Мюнхена кто-нибудь угрожает Франции, кроме коммунистов? Только два бородатых винодела внимательно слушали докладчика, стараясь разобраться в незнакомых им терминах и цифрах. Потом один сказал другому: «Темное дело, но раз у нас линия Мажино, можно спать спокойно. Это, конечно, стоило больших денег, но зато, как он сказал, это — раз и навсегда...»

Делегаты разошлись; они заполнили все кафе и бары города — пили аперитивы, потом ужинали, потом, разбившись на маленькие группы, ринулись в Старый порт, где их поджидали хозяйки публичных домов, девушки, таперы, вышибалы и почетная гвардия в виде

молодцов из клана Лебро. «Запретный квартал» давно был приятно взволнован известием о съезде; так ждали там только прибытия больших пароходов с американскими туристами. Для провинциальных делегатов съезд был не сухим выполнением гражданского долга, но очаровательным похождением; на пять дней они освобождались от семейных уз, превращались в холостяков, приехавших из сонных маленьких городков в веселый, беспутный Марсель. Не удивительно, что хозяйки некоторых домов предусмотрительно вывесили на дверях своих заведений листочки: «Открыто только для господ делегатов».

Впрочем, наслаждаясь иллюзией любви, делегаты не забывали о политике. Сальные куплеты перебивались политическими спорами. Противников правительства было мало, их быстро осаживали. Пропаганда фашистов, а впоследствии и Тесса, проникла в чащу провинции. Лавочники возмущались Народным фронтом: «Мы пошли с ними, думая, что защищаем республику от фашистов, а они надули нас. Они распустили рабочих, потакают забастовщикам, разорили страну!» Крестьяне защищали мюнхенское соглашение: «Кого погонят воевать? Нас. Рабочие останутся на заводах. Дудки!» После нескольких «пастис» или бутылки шампанского раздавались воинственные крики, грозили расстрелом забастовщикам, Торезу, даже Жуо и Блюму. Сутенеры лихо подхватывали: «Перебить их всех!..» А девушки шептали: «Малыш, угости меня!» — и бородатый «малыш», кряхтя, вытаскивал из кармана огромный рыжий бумажник.

Второй день съезда был решающим. Когда на трибуну поднялся Фуже, все замолкли: предстояло нечто необычное. Фуже разложил перед собой бумаги. Он проработал всю ночь: учитывая настроения делегатов, смягчал некоторые пассажи, решил осторожно отзываться о Даладье; он готов был на все уступки, лишь бы добиться перелома. Он говорил себе: «Самое важное — показать съезду, а тем самым стране, что предатели толкают Францию в пропасть. Против идей можно спорить. Но что скажут делегаты, узнав о письме Гранделю, которое Тесса припрятал?..»

Фуже начал спокойно:

— У ложа больной матери дети не спорят, а Франция тяжело больна...

Его прервал чей-то крик. Во втором ряду стоял высокий человек; это был Вайс.

— Мы не можем допустить, чтобы здесь выступал агент коммунистов...

Фуже растерянно спросил:

— Кто вы?

— Делегат Кольмара.

Сразу, как по команде, младорадикалы и молодчики Лебро завопили:

— Долой! В Москву!

— Да здравствует Эльзас! Расстрелять коммунистов!

— Бандит! Где деньгиЛаришо?

— Безансон!

— Он изнасиловал девочку! К стенке!

Напрасно Фуже пытался говорить; его слова заглушал рев. Председатель сначала звонил, стучал по столу, потом тихо сказал Фуже:

— Пожалуй, лучше не настаивать.

Некоторые делегаты, сторонники Фуже, негодовали, но они были разбросаны по залу; их окружали приятели Лебро. Кое-где дошло до потасовок. Эррио, грустно вздохнув, пошел в буфет. Наконец Фуже, собрав листочки, сошел с трибуны. Председатель объявил, что слово предоставляется следующему оратору. Все потянулись к выходу. И вдруг раздался голос Фуже:

— Когда я передал Тесса документ о Гранделе...

Дальше нельзя было разобрать: шум возобновился. Председатель объявил перерыв.

Вайс был героем, к нему подходили, жали его руку, поздравляли. Председатель марсельской группы, оптовик Билье, тот, что по указанию Тесса подготовил обструкцию, пригласил Вайса обедать в ресторан «Лукуллус». Угощал Билье на славу. Гордость Марселя — рыбная похлебка «буйябесс» была наварена на изумительной рыбе, приправлена красным перцем и шафраном. Вайс мечтательно говорил:

— Я люблю все острое...

Фуже пошел обедать к своему старому другу, проживавшему далеко от центра, в квартале Зоологического парка. Чтобы успокоиться, он пошел пешком. Он решил завтра отправить открытое письмо комитету партии. Если радикальные газеты откажутся напечатать, он перешлет письмо в «Юманите». Он расскажет о Кильмане. Пусть страна рассудит, кто истинный патриот — он или Тесса?

Он шел задумавшись. Его обогнали два спортсмена в штанах для гольфа и в рыжих коротких пиджачках. Они остановились, стали на дороге. Фуже хотел пройти:

— Простите.

— Вот тебе, каналья!..

Удар оглушил Фуже, он упал. На темной улице никого не было. Тоскливо мяукала кошка. Пахло гнилыми листьями: поздняя южная осень умирала.

Вечером Тесса, вместе с другими делегатами, сидел в холле большой гостиницы. Он пил липовый чай. Прибежал молоденький секретарь:

— На Фуже напали бандиты... Отвезли в больницу... Полиция говорит, что украли бумажник...

Тесса воскликнул:

— Какой ужас!

Он был потрясен и опечален: ему было жалко Фуже. Вдруг он умрет от внутреннего кровоизлияния?.. Один... В больнице... Тесса сказал Маршандо:

— Конечно, как политик он никуда не годится, но это энтузиаст...

— Возмутительные нравы! Интересно, когда же они очистят Марсель от гангстеров!

— Пора бы! Я надеюсь, что виновников накроют.

Он вытер платком лицо, отодвинул чашку — жарко! А Маршандо с присущей ему бестактностью спросил:

— О каком письме он говорил? И при чем тут ты?

Тесса пожал плечами:

— Можно подумать, что ты его не знаешь. Фантазер! Живет в мире книг, как Дон Кихот. Наверно, начитался документов о Дантоне и перенес все на Гранделя... Но мне его жалко.

Тесса выступил на следующий день. Он теперь ничем не рисковал, и все же он волновался. Говорил он красиво; знатоки переглядывались: «В форме!..» Говоря о скромной любви к отечеству, которая чужда честолюбия, Тесса процитировал Ламартина. Потом он заговорил о крохотном материке, орошенном кровью и потом столетий:

— Мы должны отстоять Европу и от муравьиного варварства Азии, и от трансатлантических приготовишек. Как строители древних соборов, люди разных стран внесут свою лепту в дело созидания новой, лучшей Европы. Что отделяет нас от Германии? Река и предрассудки. Границы Европы не здесь, они далеко

на востоке, там, где христианская и рыцарская Польша сменяется полукитайским фаланстером...

Младорадикалы не пожалели своих ладоней. А когда Тесса воскликнул: «Коммунисты нарушили пакт Народного фронта, они — вне нации»,— ему устроили еще одну овацию. Делегатам надоели половинчатые меры, они шли за Тесса. И Тесса на торжественном обеде, который дали в его честь радикалы Верхней Марны, горделиво сказал:

— Климат в Европе изменился. Я всем сердцем с молодыми. Нельзя цепляться за устаревшие каноны. Радикалы всегда были живой партией. Бретейль надеется произвести переворот и насадить у нас импортированный режим. Нет, мы сами уничтожим язвы парламентаризма, мы создадим авторитарную республику, не порывая при этом ни с гением нации, ни с традициями нашей свободолюбивой партии.

Он переваривал прекрасный обед, когда ему сказали, что в центре города начался большой пожар. Тесса не любил катастроф. Ребенком, когда дети убегали, чтобы поглядеть на пожар или на наводнение, он сердился: зрелище стихии его оскорбляло. Но теперь он счел своим долгом отправиться на место несчастья, чтобы выразить симпатию пострадавшему городу.

Универсальный магазин сгорел, как коробок спичек. Дул мистраль, и огонь быстро перекинулся на другую сторону улицы, где находились лучшие гостиницы. Канебьер была оцеплена. Увидев Тесса, полицейские закозыряли. Тесса кашлял от дыма. Он увидел толстяка Эррио, который кричал: «Черт знает что! В городе нет пожарных лестниц! Я вызвал пожарных из Лиона. Но когда они приедут?..» Рассказывали, что в магазине погибло много продавщиц: не было ни одного запасного выхода. Ребята Лебро забыли о съезде: пробравшись в гостиницы, они набивали, чем могли, карманы. Возмущенная толпа гудела: «Лестниц нет!.. Нет насосов!..» Фашисты вели агитацию: «Режим сгнил... Разве могло бы такое случиться в Италии?..»

Тесса на минуту залюбовался: огонь вылетал из высокого дома в почерневшее небо. «Похоже на фейерверк,— подумал Тесса,— и не страшно...» Тотчас он спохватился, стал печальным: «Это — народное бедствие. Конечно, пожаром воспользуется Бретейль... И что за совпадение — как раз в дни съезда!.. Хорошо, что во главе муниципалитета не радикалы, а социали-

сты... Что скажет Виар, когда ему преподнесут — ни одной пожарной лестницы в миллионном городе?.. Лодыри!.. Обидно, что это на руку Эррио — у него в Лионе порядок... И потом — продавщицы... Жалко людей!.. Очень жалко!»

Гостиница, где остановился Тесса, наполовину сгорела. Министрам отвели комнаты в здании префектуры. Перенесли туда багаж. У многих делегатов пропали документы. Тесса с гордостью сжимал свой портфель: после истории с Люсьеном он стал осторожен. Он легко отделался: у него украли только дорожный несессер. Правда, несессер был хороший — все вещицы из черепахи.

В салоне префектуры горел камин. Тесса, взглянув на веселое пламя, припомнил Канебьер. Все-таки это красиво... Улыбаясь, он сказал Даладье:

— Убытки небольшие — несессер...

Даладье был расстроен, видел в пожаре «дурное предзнаменование». А Тесса развеселился: он снова переживал свой триумф на съезде. Что такое пожар? Мелкое событие. Через неделю о нем все позабудут. А политика Франции теперь предопределена на долгие годы. Начинается новая эра: еще один кризис, и во главе страны будет Поль Тесса...

Он сидел в глубоком кресле, закрыв глаза, когда принесли телеграмму. Домашний врач сообщал, что болезнь Амали неожиданно обострилась.

Тесса почувствовал во рту соленый вкус слез. Но все же он сохранял спокойствие. Он протянул голубой листок Даладье:

— Мне необходимо срочно вернуться в Париж. Но ведь завтрашнее заседание чисто деловое... А ты был прав: оказывается, пожар — не к добру... Нет, нет, я не падаю духом. Я спокоен.

20

В полутемной комнате горели две свечи. Пахло лилиями; душный приторный запах. Лицо у Амали было спокойное, даже благостное, как будто она переживала освобождение от телесных страданий, от тревог. Тесса сидел рядом с кроватью. Он никак не мог осознать случившегося. Он прожил с женой тридцать шесть лет; знал, что она всегда рядом, дышит,

суетится, стонет. Мертвая, она еще продолжала жить. Когда Тесса сказал себе: «Ее нет»,—это было словами, формулой. Амали была. Ее просветленное лицо в сумерках, среди цветов и взволнованных, то и дело нагибающихся огней, уводило Тесса в прошлое. Вспоминались почему-то студенческие проказы. Все проплывало среди светлого дыма. Он подумал: «Нехорошо!..» Он почувствовал, как грусть растекается, а хотел он ее посвятить только Амали. Давно он ей не приносил цветов... Когда-то приносил. Она любила анютины глазки и анемоны: Тесса стал напряженно восстанавливать картину их первой встречи.

Это было весной. Тесса прошлым летом получил диплом. Он жил в Латинском квартале, носил широкополую бежевую шляпу, галстук, завязанный бабочкой, увлекался речами Жореса, скульптурой Родена, верил в единственную любовь, но волочился за всеми мастерицами, кричал: «Пусть нашу кровь освежат пролетарии»,—и, выпив два абсента, декламировал перед восхищенной белошвейкой стихи Реми де Гурмона:

Да будут груди богохульные благословенны
За скрытые грехи, за тайные измены!

Эти стихи он прочитал и Амали. Незадолго перед этим она приехала в Париж из монастыря: ее обучали урсулинки. Услыхав стихи, она смутилась и заплакала... Она повторяла: «Знаешь, Поль»,—ничего больше не говорила и комкала крохотный кружевной платок. Он увез ее из театра. Играли в тот вечер «Эдипа». Трагик Муне-Сюлли восклицал, все потеряв: «Как жизнь страшна!..» Тогда были фиакры с крохотными оконцами, завешенными темно-синими шторами; а впереди сидел кучер в блестящем цилиндре. Они ехали по темной аллее Булонского леса. Тесса целовал Амали. На ней была шляпка с длинными лентами вроде капора. Она обнимала его и говорила: «Какое счастье!» И потом: «Грех!..» И еще крепче обнимала. Губы у нее были пухлые, как у Полет...

Тесса рассердился на себя: все это не то! Он знал, что скорбь его глубже этих несвязных воспоминаний. Он стал повторять: «Умерла, умерла». Может быть, слово передаст боль? Но слово было пустым, официальным. Сколько раз он равнодушно говорил его о других? А если позвать Амали, она не услышит. Разве это возможно?.. У нее чуткий сон... Нет, теперь

надо говорить: «был»... Он не может ей рассказать, как все было в Марселе, про Фуже, про пожар. И ничего больше ей не расскажет. Вот ее вязанье: не довязала ему кашне. Спицы, шерсть... Он зачем-то стал считать петли и задремал: в дороге не спал, волновался.

Он не слышал, как в комнату вошла Дениз. О смерти матери она прочитала в газете. Прибежала. А увидев покойницу, растерялась: никогда она не видела мать такой. Было в этом лице столько мудрости, что Дениз смутно подумала: «Я ее не знала!.. А теперь поздно...» Дениз взглянула на отца. Он спал с клубком зеленой шерсти на коленях. И лилии — как в церкви... Все это было невыносимо, как дурной сон. Чужое... Только рука матери была знакомой, понятной. Впервые Дениз увидела свое детство издалека. Она прижала к худой, твердой руке свои горячие губы и почувствовала, что плачет. Слезы сделали все простым, не облегчили горя, но успокоили. И, поплакав, Дениз вышла на цыпочках из комнаты. Прошла по хорошо ей знакомому длинному коридору. На фотографиях Тесса в адвокатском балахоне продолжал паясничать. А на улице было горько и празднично; только что прошел дождь; по асфальту плыли огни; все блестело — черное, темно-фиолетовое, серебряное.

Амали перед смертью причастилась, но Тесса распорядился, чтобы похороны были гражданскими, — зачем раздражать левых, да еще сразу после марсельского съезда?.. Зазвенел кладбищенский колокол. Ворота раскрылись. Процессия двигалась медленно. Впереди шел Тесса, потом мужчины, потом женщины. Похороны супруги министра были событием, и собрался «весь Париж». На соседней улице стояли сотни машин — те же, что стоят возле Бурбонского дворца в дни крупных дебатов, а возле театра в вечера премьер. Депутаты различных групп захотели выразить Тесса свое соболезнование: старая лиса Марен и Виар, Маршандо и Бретейль. Пришли адвокаты, представители акционерных обществ, в правлениях которых Тесса состоял или дела которых он вел, прокуроры, дельцы — барон Ротшильд, Дессер, Меже, журналисты во главе с Жолио, Поль Моран, директора театров, дипломаты. Говорили, что присутствие советника германского посольства — «хороший симптом». Венки везли на отдельном грузовике. Жолио, размахивая палкой с огромным набалдашником, говорил журналистам:

«Фуже? Он!.. Я Марсель знаю...» Тесса шел спокойно. но часто вынимал платок и печально сморкался.

Амали хоронили на Пер-Лашез. Это было самое дорогое кладбище, но Тесса не поскупился. Он выбрал прекрасный участок. Он купил место и для себя. Это было будничной житейской подробностью — так делают все. Разговор шел об участках, о метрах, о деньгах, и Тесса не связывал его с мыслями о смерти. Он подписал контракт. «В вечное пользование...» Нужно иметь место среди порядочных могил. Направо от Амали покоился адмирал, налево — супруга сенатора.

Много раз Тесса бывал на кладбищах: хоронить министров и депутатов входило в его обязанности. Но сейчас он поглядел на кладбище хозяйским глазом и удивился. Город!.. Улицы, у каждой свое имя; номера домов. Нет, не домов — могил... И чисто. Садовник срезает сухие ветки. Конечно, тесно. Но, умирая, люди как-то съеживаются... Зато хороший квартал... И то, что кладбище — город, что оно входит в жизнь, успокоило Тесса.

Он стоял один над раскрытой могилой. Он увидел вдали рыжую голову Люсьена и отвернулся. До чего Люсьен похож на дядю Робера!.. Робер был бандитом... А Люсьен исчез за памятником. Он пришел сюда, ни о чем ни думая, как лунатик: проститься с матерью (домой пойти не решился). Увидев гроб, украшенный серебряными листьями, маскарадные шляпы могильщиков, постную физиономию Бретейля, васильковый галстук Жолио, Люсьен понял, что матери здесь нет, и убежал, озираясь, как неудачливый вор.

Все, выстроясь, чинно проходили мимо могильщика, державшего на подносе землю, и бросали вниз горсточку. Потом жали руку Тесса.

Сколько раз Тесса брал щепотку земли, жал руки вдовам и вдовцам! Но теперь все это показалось ему непонятным. Дул холодный, резкий ветер, от него было больно глазам. Тесса жмурился. Вдруг он подумал: «Может быть, это меня хоронят?.. Два места...» Он зашатался. Чья-то заботливая рука его поддержала. Он поглядел — борода Дормуа... «А говорили, что Дормуа меня ненавидит...»

Теперь Тесса вглядывался в лица, проверял, какие депутаты пришли. Это напоминало голосование в палате, и с радостью Тесса почувствовал: «Жив! Просто усталость...»

Вечером он поехал к Полет. Он долго колебался — не оскорбит ли он этим память Амали? Но все же поехал: он нуждался в сочувствии, в ласке. Слишком пусто было дома. И всякая безделка напоминала об Амали.

Полет была полной, красивой женщиной. Обладая небольшим, но приятным голосом, она исполняла в варьете песенки, то сентиментальные — про жену моряка, про гибель солдата в пустыне, то непристойные. В жизни она не любила сальностей, была благодушной, созданной для уюта; обожала детей, огород, рукоделия; на сцену она попала случайно — глупая связь в ранней молодости. С Тесса сошлась три года тому назад. Эта связь ей льстила: к ней, маленькой актрисе, приезжал блистательный адвокат, депутат парламента, теперь министр. Дочь провинциального лавочника, она писала с ошибками и посвящала досуги детективным романам. Тесса она уважала: он все знает, вставляет в разговор стихи и латинские поговорки, говорит об Америке как о соседнем квартале. Она и жалела Тесса — у нее было доброе сердце: много работает, больная жена, неудачные дети. Старалась его порадовать: причесывалась, как он любил, вязала ему галстуки, готовила домашние паштеты. Тесса ее баловал, и Полет была убеждена, что она ему верна, хотя у нее был второй любовник, жокей Альбер, о существовании которого Тесса не подозревал. Для Полет это не было изменой. Раз в неделю она встречалась с молодым жокеем, который знал только имена жеребцов; он находил даже полицейские романы «утомительными». Полет с ним не разговаривала, не вязала ему галстуков, не угощала паштетами. Она только его целовала, жадно, молча — так едят очень голодные люди. И, уходя, она не чувствовала ни печали, ни угрызений.

Она сидела у себя в голубом кимоно, на котором были вышиты цапли, когда позвонили. Увидав Тесса, она удивилась — не ждала его сегодня. Он молча поздоровался, прошел в комнату, сел и расстегнул воротничок — он плохо себя чувствовал, задыхался. Жалость мучила Полет: она не знала, что сказать, а молчание было несносным. Заговорил Тесса:

— В Марселе, когда был пожар, говорили, что это дурной признак. Я не верю в приметы. Но что ты хочешь, иногда задумываешься...

Полет была суеверна, боялась пройти под лестницей, плакала над разбитым зеркалом. От слов Тесса

ей стало неуютно. Может быть, и вправду есть высшая сила?.. А Тесса уже говорил о другом:

— Ужасно, что это случилось в такое время! Я совершенно выбит из колеи, а нужно работать... Они готовятся к всеобщей забастовке... Это будет катастрофа. Только-только мы избежали войны...

Полет принесла бутылку старого арманьяка. Тесса нагрел руками рюмку и выпил. Снова нашла тоска, как у могилы. Мысли путались. Он неожиданно сказал: «Знаешь, я купил два места...» Она отвернулась. Он подумал: «Как я — от Амали...» Он просунул руку под рубашку, потрогал свою грудь. Тепло тела успокаивало: жив!.. Он налил еще арманьяка, налил и Полет, чокнулся с ней:

— За твое!.. Доктор мне дал лекарство, успокаивает будто бы нервы. Он сказал, что она не страдала. Все-таки это ужасно! Я никак не могу понять, что случилось... Ей было легче: верила. Боялась, что попадет в ад. А я просто боюсь... Это рядом с адмиралом Леперье...

Они выпили еще. Он поглядел на кимоно:

— Какой глупый пеньюар! Почему птицы?..

Он оглядел комнату, как будто никогда здесь не был. Пианино; на стенах фотографии актеров с размашистыми автографами; диван и десяток пестрых подушек. Арманьяк хороший, очень хороший...

— Где ты достала этот арманьяк?.. Она хотела, чтобы ее хоронили с кюре. Мне все равно. Но у меня общественное положение... Конечно, Бретейль обрадовался бы, но я должен считаться и с левым крылом... Они теперь обозлены. А ей все равно, она не слышит. И если позвать, не услышит... Я об этом уже думал... Полет, детка, спой мне что-нибудь грустное.

— Господи, нет у тебя сердца! Ни-ни...

21

Ноябрьские туманы были желтыми, горчичными, черными. Слезились дряхлые, закопченные дома предместий. Людей в ту осень охватило отчаяние. Рабочие потеряли все завоеванное ими летом тридцать шестого. Каждый новый декрет нес обиды и лишения: увеличили рабочую неделю, снизили оплату сверхурочных часов, обложили налогами нищенские заработ-

ки. Вспыхивали разрозненные забастовки. Полицейские очищали заводы. Стачечные пикеты попадали на скамью подсудимых, и суды строго наказывали «зачинщиков». А кто правил страной? Даладье, еще недавно на площади Бастилии подымавший кулак: «Я — сын пекаря, друг народа...» Тесса, за которого в Пуатье голосовали коммунисты. Разуверение глушило страну. Тираж газет пал. Собрания проходили в пустых залах. В маленьких кафе, где собирались рабочие, стояла унылая тишина. Глядя на агонию Испании, люди говорили: «Теперь наш черед».

Даладье страдал манией преследования: боялся беспорядков. Он не догадывался о том, какая усталость охватила Францию. А его противники жили иллюзиями. Синдикаты решили провести однодневную забастовку. Задолго вперед объявили о назначенном дне. Тесса забыл Амали, оживился: он — главнокомандующий! На стенах снова забелели листочки, возвещавшие мобилизацию: железнодорожники, рабочие военных заводов и общественных предприятий были приравнены к солдатам. Правительство разъяснило, что забастовщиков будут карать как дезертиров. Самодовольно улыбаясь, Тесса говорил: «Это мое изобретение. Трудно только начало. А теперь все понимают, что мобилизация — явление, так сказать, естественное».

Побеседовав с Тесса, Жолио написал, что забастовка на руку немцам: «Французы, остерегайтесь даров московских данайцев!..»

Рассказывали о поражении Дессера. На собрании промышленников он предложил компромисс: рабочие отказываются от задуманной забастовки, правительство пересматривает некоторые декреты. Все возмутились: капитулировать перед коммунистами?.. Напрасно Дессер говорил: «Нам угрожает война. Теперь не время озлоблять рабочих». Монтиньи вопил: «Пора с этим покончить! Гитлер показал пример... Пускай бастуют. По крайней мере, мы сможем очистить заводы от коммунистов».

Взглянув на термометр, Виар с облегчением воскликнул: «Тридцать семь и восемь»,— грипп освобождал его от ответственности. Он возмущался политикой радикалов: «Кидают рабочих в объятия коммунистов. Дело кончится бунтом и победой фашизма». Еще до болезни он написал туманную передовицу: «Наш долг — предостеречь рабочих от провокации.

Если плебеи, справедливо возмущенные новыми декретами, скрестят руки, это будет национальной катастрофой». Он не призывал к забастовке и не осуждал ее; но некоторые из его друзей обратились к рабочим с призывом не бастовать.

Обыватели с опаской приоткрыли ставни: что-то сегодня будет?.. Подметают террасы кафе. Будничное туманное утро. Но вокруг заводов посвечивали каски; вокзалы, министерства, почтовые отделения охранялись отрядами жандармов; в автобусах рядом с шофером сидел полицейский; проезжали гвардейцы с конскими хвостами на медных шлемах, тупо оглядывая дома. Все говорили о расправах: арестантские роты, каторга...

Старые рабочие были угрюмы, неразговорчивы: боялись, что забастовка сорвется. Для Дениз это было боевым крещением. Она верила, что правительство не выдержит удара. Тогда конец позору! Парижские рабочие спасут обессиленную, но еще живую Испанию.

Дениз долго готовилась к этому дню; спрашивала себя — хватит ли у нее силы, находчивости, смелости. Ей казалось, что она сможет пристыдить малодушных, прочитав им письмо Мишо — о мужестве бойцов Эбро. А если приведут солдат, она им скажет: «Вы — наши братья!..» Душевное напряжение сказывалось в ее глазах, сухих и блестящих.

Все были в сборе, но никто не приступал к работе. Пришли из литейного цеха, сказали, что часть рабочих работает. Попробовали запеть «Молодую гвардию»; несколько голосов утонуло в грустной тишине. В цех вошел старший инженер. Его окружали полицейские в штатском; один помахивал револьвером. Инженер сказал: «Господа, если вы не намереваетесь приступить к работе, прошу покинуть помещение». В ответ раздались возмущенные возгласы. Инженер махнул рукой и ушел. А полицейские остались. Рабочие стали вполголоса обсуждать, как быть.

— В литейном работают...

— Ничего из этого не выйдет...

Дениз крикнула:

— Товарищи!

Полицейские подхватили ее, вынесли. Один больно скрутил ей руки.

Некоторые рабочие стали на работу; другие ушли. Десяток непокорных вывели на двор. На боковой ули-

це стоял полицейский фургон. Арестованных втолкнули туда; одному вышибли зубы. Порвали платье Дениз. Она говорила товарищам: «Наши не уйдут!..» Боль, арест казались Дениз наградой. Ни грусть товарищей, ни темная, грязная комната в префектуре, куда кинули задержанных, не могли ее протрезвить.

Ее обыскали; усатый полицейский, от которого разило ромом, огромной ручищей шарил по телу, говорил сальности. Она глядела пустыми глазами: ее здесь не было. Она думала об одном: как проходит забастовка?

А на другом конце города, в Бильянкуре, шли приготовления к штурму завода «Сэн». Дессер, сидя у стола, тупо глядел в одну точку. Попробовал закурить, но трубка каждую минуту гасла. Он задыхался. Болело левое плечо, рука. Смутно он подумал: «Может быть, грудная жаба?..» Впервые Дессер чувствовал бессилие. Тупость предпринимателей его изумила: слепцы, куда они ведут страну?.. Он хотел во что бы то ни стало предотвратить забастовку, беседовал с Даладье, с Тесса, с Фроссаром, доказывал, убеждал. Его вежливо выслушивали, потом отвечали: «Надо покончить с коммунистами...» А промышленники требовали солидарности: «Вы — член нашего объединения». Дессер думал было закрыть свои заводы на несколько дней: этим он спасет положение — не придется прибегать к репрессиям. Но Тесса завопил: «Саботаж!.. Что скажет палата?..» Инженеры ворчали: «Если правительство не расправится с коммунистами, мы устроим отряды самообороны». Монтиньи грозил скандалом. И Дессер подчинился. Режиссер стал простым зрителем. Он сидел и, томясь, ждал событий.

Легре боялся, что забастовка провалится: люди устали, изверились. Но угрозы разозлили рабочих: «Не запугаете!..» Даже противники забастовки притихли. Среди сизого тумана краснели флаги. В цехах, во дворе рабочие готовились к бою.

В помещении дирекции инженеры обступили Пьера:

— Демагог!

— Агент Москвы!

Взбешенный, он кричал:

— Фашисты! Гитлеровцы!

Дело дошло бы до пощечин, но Пьера вызвал Дессер:

— Ступайте домой. Это скверная история. Теперь не тридцать шестой. Они хотели этой забастовки...

А вы сломаете себе шею. На вас набросятся, как на инженера. И я не смогу вас отстоять.

— Меньше всего я сейчас думаю о себе.

— Напрасно. У вас жена, ребенок. Идеи?.. Бросьте! Вы уже убедились, что Виар старый комедиант. Другие не лучше. Теперь надо спасать свою шкуру.

— Этим занимаетесь вы. Да, да, именно спасаете шкуру. В Мюнхене. Здесь. И не спасете!..

Когда Пьер вышел к рабочим, поднялись тысячи кулаков: инженер Дюбуа с нами! Вся теплота этих рассерженных суровых людей шла к нему.

Старший комиссар, увидев толпу, смутился и пошел к Дессеру:

— Ваш авторитет...

Дессер раздраженно пожал плечами:

— Господин комиссар, я бессилен. Да и вам советую не настаивать...

— К сожалению, у меня имеются инструкции.

Увидев полицейских, рабочие замолкли. Некоторые держали камни, железные бруски. Приготовили шланги. Легре стоял у главных ворот.

Судьба еще раз вмешалась в его сердечные дела. Он так и не рассказал Жозет о своих чувствах. Но месяц назад его жизнь переменилась. Он зашел к отцу Жозет: говорили о партийной кассе. Когда он уходил, Жозет спросила: «Вам в какую сторону?» — «В Сюрен».— «И мне туда». На набережной она сказала: «Мне не нужно в Сюрен...» Был сырой осенний вечер. Зачем-то они ходили по пустой набережной — до моста и назад. Наконец Жозет сказала: «Когда вы не приходите, мне очень грустно». Он вскрикнул: «Правда?» И сейчас же добавил: «Стар я для вас, ведь мне...» Она не дала ему договорить, поцеловала. И вот — забастовка. Легре теперь не до чувств. Только иногда приходит в голову: «Что Жозет?»

Пьер был наверху, в лаборатории, когда увидел, что полицейские выбили ворота. Они накинулись на Легре. Легре был силен, отбивался; его повалили. Из окон посыпались камни. Пьер сбежал вниз. Вдруг он почувствовал резь в глазах. Он схватился за косяк двери, чтобы не упасть. По двору метались люди. Кто-то отчаянно крикнул:

— Газы!..

Дессер стоял у окна, он все видел, и в тоске спрашивал себя: «Это — Франция?» Той страны, которую он любил, больше не было. Не было Франции уютной

и сердечной, где рабочие добродушно ругали хозяев, а потом чокались с ними, где люди после пламенных речей садились обедать и за хорошим рагу забывали о «социальной революции», где любили цветы, шутки. Он хотел спасти вымышленную Францию, воспоминания, книги, миф. Газами?.. Что же, пускай! Теперь не помочь... Надо и впрямь подумать о своей шкуре, поменьше курить, лечиться. Позвонить Жаннет. Уехать подальше — на Яву или в Чили.

Полицейские увезли около ста рабочих. В префектуре не знали, что делать с задержанными; а грузовики каждые полчаса привозили новых постояльцев.

Дениз жадно прислушивалась к разговорам полицейских. Злятся — значит, забастовка удалась! Иногда в камеру приводили новых. Телефонистка рассказала: «Все сорвалось, испугались репрессий». Привели служащего метро; лицо у него было в крови; отдышавшись, он выругался: «Трусы!..» Метро работало. К вечеру Дениз узнала, что бастовали только большие заводы. Когда стемнело, полицейские втолкнули в камеру еще трех рабочих.

— На «Сэне» все забастовали. Остались. А они газами...

Слово «газы» всех потрясло. Телефонистка плакала. А Дениз вдруг встала и запела. Другие подхватили. Напрасно полицейские грозили избить арестованных, песня не смолкала, ее услышали в соседних камерах, она понеслась по окаянным коридорам, пропахшим сыростью, кожей, мышами. В этой песне сказались все чувства: мужество, гнев, братство. А пели рабочие заводов «Сэн», «Гном», Рено песню сибирских партизан...

Вечером Даладье выступил. Он говорил у себя в кабинете, один перед микрофоном. Тупо глядел он в пустоту, а на лбу набухали жилы.

— Правительство одержало победу...

После стольких отступлений, после Мюнхена он наконец-то выговорил сладкое слово «победа».

Начали допрашивать арестованных. Услышав «Дениз Тесса», комиссар усмехнулся:

— Уж не родственница ли?..

Никакие пытки не могли бы сломить Дениз. Но этот человек коснулся самого страшного. Она молчала. Потом она подумала: «Еще унизительней скрыть».

— Я дочь вашего министра. Но это не имеет никакого отношения к делу. Я коммунистка. Вы можете продолжать...

Комиссар поморгал, погримасничал и пошел к начальнику. Доложил префекту.

Тесса спал: звонок «по срочному делу» его разбудил. Накануне был горячий день. Он выхватывал из рук секретаря сводки, звонил в префектуру: боялся, что забастовка разрастется. Успокоился он только поздно ночью. В три часа утра он принял ванну. Блестел белый кафель; вода казалась голубой. Тесса разглядывал свои тонкие ноги и напевал арию из «Риголетто». Это у них отнимет охоту бастовать. Вот только не воспользовались бы провалом забастовки правые!..

Сонный, он слушал: «Дело касается вашей дочери...» Он сразу понял все. Теперь он в руках префекта! Кто поручится, что не узнает Бретейль?.. Какая пожива для газетчиков! Проклятая девчонка!..

Тесса стоял в кабинете префекта возле гипсового бюста Республики, когда ввели Дениз. Увидев ее, Тесса почувствовал жалость. Дениз была в порванном платье, растрепанная, бледная после бессонной ночи. И это — его дочь, над здоровьем которой он дрожал: возил на курорты, приглашал профессоров!.. Он постарался пересилить негодование; нежно, с дрожью в голосе сказал:

— Дениз, я приехал, чтобы тебя освободить.

У него был свой план: он скажет префекту, что Дениз хотела написать роман из жизни низов; для этого пошла на завод. Он увезет ее к себе, и осиротевший дом снова оживет. Как он будет ее холить!..

— В таком случае освободите всех.

Эти слова, голос Дениз, неожиданное обращение на «вы» ошеломили Тесса.

— Дениз!..

Она молчала. Перед ней был чужой человек: вчерашний день освободил ее от прошлого.

Тесса вышел из себя.

— Освободить этих мерзавцев? Да ты понимаешь, что ты говоришь?

— Кто мерзавцы? Перед немцами вы струсили: «Мы не готовы...» Вот для чего вам понадобились газы!

— Твои коммунисты работают на немцев. Вчера, пока вы бастовали, итальянцы выступили с требованиями: Ницца, Корсика. Первые результаты забастовки.

— На немцев работаете вы. Кто закрыл авиазаводы? И потом, не вам лично это говорить. Когда Фуже открыл рот, вы подослали гангстеров...

— Ложь! Гнусная ложь! Идиотка, ты веришь всему, что тебе говорят! Овца!

Он долго выкрикивал обидные слова; потом вдруг замолк. Зачем? Это — одержимая. Ее не разубедишь. Надо замять дело...

— Не будем спорить. У каждого свои убеждения. Но ты должна меня понять. Если это попадет в газеты, обрадуются наши общие враги — фашисты, Бретейль.

— Чем вы лучше Бретейля?

— Ты все сводишь к политике. Есть чувства. Как-никак, ты моя дочь. Вспомни покойную маму. Какое у нее было сердце!.. Дениз, я тебя умоляю — вернись домой! Во имя мамы!..

Не вытерпев, она крикнула:

— Замолчите! Вы низкий человек!

(Потом она упрекала себя за эти слова: она выдала свою муку.)

Тесса ушел, ничего не добившись. Пришлось нажать на префекта. Сообщение об аресте Дениз не попало в газеты; не упомянули и о приговоре. Судили ее вместе с другими рабочими завода «Гном»; всем дали по месяцу тюрьмы. Дениз была счастлива: председатель скороговоркой пробормотал ее имя, не спросил о происхождении. Она не подозревала, сколько усилий это стоило ее отцу.

А Тесса возненавидел коммунистов. Прежде у него не было врагов. Конечно, он порой обижался на Бретейля или на Виара; но это были партнеры по игре. Он пожалел даже Фуже, хотя бородач хотел его очернить. Но коммунисты отняли у него Дениз. Они превратили кроткую, любящую девушку в фурию, в поджигательницу. Такие в девяносто третьем танцевали вокруг гильотины!.. Разве это политическая партия? Это душевное подполье. Если их не уничтожить, они будут пытать, резать, душить. Тесса для них клоп. Но Франция еще держится! Забастовка провалилась. Значит, поживем... Можно отдохнуть у Полет.

22

Дессеру не хотелось расставаться с Пьером; собственное бессилие раздражало: он, перед которым лебезили министры, должен подчиниться кучке крикунов! Но оставить Пьера на заводе он не решился:

правые газеты расписали эпопею «красного инженера». Дессер предложил: «Я пошлю вас в Америку. Надо переждать год». Пьер отказался: считал это «подачкой».

Объяснение происходило на террасе большого кафе. Вечер был необычно холодным: четыре ниже нуля. Посетители, шипя и фыркая, спешили внутрь, чтобы согреться стаканом грога. А на пустой террасе сиротливо розовели жаровни.

Дессер говорил:

— Конечно, вы вправе не поверить мне... Но это так. Мы все связаны — средой, общественным мнением, предрассудками. Наверно, среди рабочих было немало противников забастовки. Они оказались бессильными. Я принужден считаться с суждениями господина Монтиньи. На вашем языке это — фашист, на моем — дурак и хам. Они обвиняют Кота: мало бомбардировщиков. Но вы — один из лучших инженеров, и мне приходится с вами расстаться. Какое им дело до бомбардировщиков? Какое им дело до Франции?

Пьер, когда-то безмерно доверчивый, стал подозрительным, сухим. Жалобы Дессера казались ему притворными:

— Почему вы их упрекаете?.. Ведь и вы были за Мюнхен.

— Я хотел вооруженного мира, переговоров, компромисса. А они мечтают об одном: как бы поскорее сдаться на милость Гитлера. В событиях разбираются только жулики, и эти торопятся нахапать. А честные люди ослепли.

— Есть и другие... Вы разговаривали с Легре? Его избили полицейские; он теперь в больнице. Таких, как он, много. В человеке тысячи чувств и мыслей. Обычно они рассеиваются; люди создают искусство, уют, семью. Почему я заговорил о коммунистах? У них все направлено на одно, и это не слепота, а устремленность.

— Видите эти жаровни? Иллюзия тепла. Как будто можно отопить улицу!.. Кстати, я продрог. Итак, в последний раз — вы отказываетесь?

Пьер ждал упреков Аньес: безработица, нищета. А здесь Дуду... Но Аньес сразу сказала: «Ты прав». Она не соглашалась с ним, когда он говорил о политике, но как только вставал вопрос о независимости, о достоинстве, она восхищенно глядела на него, как девочкой глядела на отца.

Прошло три недели, и та нищета, которая еще недавно казалась призраком, грозным, но отвлеченным словом, стала бытом. Жалованье Аньес ушло на квартирную плату и на врача (Дуду болел). К концу месяца они остались без денег. Оба прежде знавали аккуратную бедность; теперь на них надвинулась оскорбительная нищета.

Кажется, не было завода, куда не зашел бы Пьер. «Союз предпринимателей» занес его имя в черный список. Напрасно он пытался наняться механиком, даже чернорабочим: повсюду нарывался на отказ.

Он продал часы; заплатили долг молочнице. Аньес отнесла старьевщику зимнее пальто («Оно мне велико...»); неделю обедали. Она обнадеживала Пьера: «Может быть, к празднику мне дадут наградные». Он уходил рано утром, весь день бродил, заходил в маленькие мастерские, часами изучал объявления. Вечером говорил Аньес, будто встретил приятеля и тот его накормил обедом. Одет был Пьер опрятно, каждый день брился; никто не принял бы этого корректного седеющего мечтателя за нищего. Но, проходя мимо колбасных, он отворачивался...

Как-то он увидел объявление: в случае снегопада производится набор рабочих для очистки улиц, являться в пять часов утра. Небо смилостивилось: снег начал падать с вечера, большими хлопьями; сначала он таял, потом покрыл мостовые. В четыре Пьер тихонько, чтобы не разбудить Аньес, вышел из дому. Его знобило от холода, но он улыбался: наконец-то он принесет Аньес двадцать, может, тридцать франков! Он был на месте без четверти пять. Большой газовый фонарь освещал белый пустырь и толпу людей вокруг темного кирпичного здания. Кого только здесь не было! Безработные, босяки, почтовики, уволенные за участие в забастовке, изголодавшийся художник, несколько немецких эмигрантов, старики, подростки. Требовалось сорок человек, а пришло не меньше трехсот. Пьер терпеливо ждал. Потом крикнули: «Хватит!» Он поплелся домой. От голода он ослаб, ноги были ватными, мутило.

Он прошел мимо Центральных рынков. Здесь царило оживление: рестораторы, владельцы мясных, гастрономических и зеленных магазинов толпились, забирая товар. Кажется, все в Париже изменилось, кроме его «чрева», описанного Золя. И, увидев сырые,

склизкие своды, горы живности, Пьер смутно подумал о полузабытом романе: голодный чудак, мечтатель, беглый каторжник среди сытых, бесчувственных торгашей...

На крюках висели огромные туши: багровые, фиолетовые, нестерпимо розовые. Сколько нужно обжоре-городу волов и ягнят? Сколько гусей, с искусственно увеличенной, похожей на опухоль, печенью? Сколько пятнистых цесарок и пестрогрудых фазанов?

В рыбном ряду лежали огромные, будто отлитые из пластмассы тунцы, нежные тюрбо, макрели, мерланы, скользкая камбала, устрицы, то плоские, как бы отточенные «маренн», то корявые, называвшиеся «португальскими», мидии, морские ежи. Запах был несносен. Краснели руки торговок, изъеденные солью. С мрамора струилась вода.

Еще дальше торговали зеленью: бледным цикорием, каротелью, репой, спаржей. В кокетливых корзиночках лежали шампиньоны. Кочаны латука из Русильона. Дальше — глыбы медового масла из Шаранты, сыры, яйца, сметана в жестяных жбанах. Апельсины мессинские и яффские, яблоки, ветки загнивающих бананов с их пряным запахом тропиков, финики, ананасы.

Торговки ели луковый суп, грея о миску одеревеневшие пальцы. Бродяги подбирали картошку. Знатоки ощупывали сыры, прицениваются к дичи. Пронеслись газетчики с серыми листами, пахнущими краской. Потом зазвонили колокола средневековой церкви Сент-Эсташ. Мясники в багряных фартуках рубили туши. Огородники выгружали из стареньких «ситроенов» брюкву и порей; потом пили у стойки кофе с коньяком. По мостовой, как кровь, текло красное вино. Цветы, стиснутые в громадные кубы, казались загадочными: пуды левкоев, гвоздик, роз. Поезда шли из Ниццы, из Грасс с душистым грузом: мимоза, примулы, гиацинты, ландыши, азалии. Для Парижа не было календаря: на ручных тележках круглый год цвели цветы.

А с неба падали мокрые хлопья. Счастливцы теперь сгребают снег! Не Пьер... Он шел как заведенный; даже не чувствовал голода; от запахов тошнило; изобилие снеди подавляло — это было не едой, о которой можно мечтать, но вызовом, философией: враждебный мир торговок, макрелей, весов, сальных бумажников. И сто тысяч букетов... Что Парижу слезы Ванека, горе Ката-

лонии, боль Легре, голод Пьера?.. Париж живет. Вот колбасник, отпуская сорок кило кровяной колбасы, мурлычет: «Париж остается Парижем...» В этом утверждении жизни был такой пафос, что Пьер присмирел. Он делал вид, что спешит, зная, что спешить некуда, мерз и вдруг замедлял шаг, поворачивал назад, бессмысленно кружился в лабиринте узких коленчатых улиц квартала Бюси, возвращаясь все к тому же перекрестку с тележками, на которых умирали скользкие плоские рыбы.

Потом Пьер присел на мокрую скамью; подобрал брошенную газету: «Успокоение в Европе... Выступление Тесса. Гарантии мира...» И вдруг все в нем очнулось: донесся запах жареной картошки. Она кипела в больших чанах; ее накладывали в бумажные кулечки, и торговка назойливо выкрикивала: «Горяченькая!.. Десять су!..» Да, вот горделивая мечта — десять су! Неожиданно для себя Пьер вскочил, протянул измятую газету прохожему. Это был чиновник, спешивший на службу; он изумленно взглянул на Пьера и зашагал быстрее. Пьер поплелся назад к скамье. «Зачем я это сделал?..» Он снова впал в оцепенение; как бы издалека доносились гудки машин, крики торговок. Прошла мимо парочка; девушка поглядела на Пьера и что-то шепнула своему спутнику. Подошла старая такса, обнюхала ботинки Пьера, опустила хвост и отошла. Он несчастен, даже собака это почувствовала.

А дома ждала беда; Аньес его встретила шепотом:

— Отец приехал.

В другое время как бы они обрадовались!.. Отец Аньес, который жил в маленьком городке на юго-западе Франции, давно хотел навестить дочь и поглядеть внука. Иногда от него приходили короткие письма, написанные крупным детским почерком.

Аньес часто рассказывала Пьеру о своем отце. Лежандр был старым механиком. До войны он просидел десять месяцев в тюрьме за антимилитаристическую пропаганду. Лет пять тому назад он стал прихварывать, бросил завод и уехал в Дакс, где у младшего брата был маленький гараж. Он помогал исправлять машины, а в свободное время корпел над грядками. Ему было шестьдесят четыре года. Пьеру он представлялся прежде большим, с седой гривой. Увидел он ссохшегося старичка; на голове, как у новорожденного, пух.

Пьер сразу понял, почему Аньес шепнула в страхе: «Отец...» Старик считал, что дочь его вышла замуж за инженера, живет в достатке. Дуду не знает ни в чем отказа. И как раз он пожаловал в такое время!.. Если сказать правду, старик огорчится. Но чем его накормить?

Тесть с любопытством разглядывал Пьера, сказал: «Хорошие у вас ботинки, крепкие...» Пьер вспомнил: такса, газета, картошка... Лежандр все в квартире осмотрел, пошел на кухню, одобрил: «Чисто». Спросил Пьера, как работа? С восторгом слушал рассказы о новых моторах. Потом заговорили о политике. Лежандр вздохнул: «Отстал я. Дакс — захолустье. Брат у меня малосознательный, выписывает «Матен». Лежандр не понимал, в чем суть Мюнхена, и оживлялся, только когда Пьер упоминал об испанцах; тогда он кричал: «Победят! Обязательно победят!» Разговор перешел на прошлое. Лежандр просиял; стал вспоминать забастовки, демонстрации: «В шестом мы вышли на улицу с флагами». Гордился тем, что знал Жореса, рассказывал: «Он, когда говорил на собраниях, обязательно снимал воротничок — тогда носили пристежные, — до того напрягался. Но и голос же у него был!..»

Пьер примолк; он особенно остро ощущал свое бессилие рядом с этим веселым стариком. Лежандр понял его молчание по-своему: «Может быть, я не то сказал?.. Свой ли это?» Его отпугивали манеры Пьера: все-таки инженер!.. Аньес теперь живет в другом мире, и выбрала она не рабочего... Лежандр смутился:

— Я вам, наверно, помешал. Я пойду к Дуэ.

Аньес и Пьер переглянулись: надо удержать. Но теперь время обеда, а чем его накормить? Суп для Дуду... Сказать, что уходят, приглашены? Старик обидится. Аньес попросила: «Погоди. Расскажи, как в Даксе?» Старик стал рассказывать. Летом было много туристов; брат заработал. А теперь время тихое. Боятся, что будет война, не строят, мало покупают автомобилей, говорят: «Реквизируют...» Особенно плохо с грузовиками. Растет безработица.

— А в Париже много безработных?

— Много. И во всех отраслях. Я сегодня видел — пришли улицы очищать, и наборщик был, и кондитер, даже художник. Мы часа два простояли...

Он понял, что проговорился. Старик не поймет, но Аньес... Ведь он ей говорил: «Меня возьмут как ин-

женера...» И Аньес в ужасе на него поглядела, точно впервые осознала все горе нищеты. А Лежандр засуетился. Он вдруг все понял: и стесненность Аньес, и недомолвки Пьера, и пустоту на кухне.

— Я сойду на минутку вниз, на угол — надо мне позвонить Дуэ.

Он вернулся четверть часа спустя с покупками: литр вина, сардинки, паштет, сыр, кофе; даже сахару не забыл. Он проворчал Аньес: «А еще дочка!..» Не спрашивал ни о чем. За обедом Пьер ему рассказал про забастовку: газы, разговор с Дессером, черный список. Лежандр сиял: Пьер оказался своим. А нужда?.. Что же, молодые, выдержат...

И Лежандр чокнулся с Пьером:

— За победу!

Для него все было ясно: испанцы скоро расколотят фашистов, да и повсюду рабочие подымутся — забастовки, баррикады.

Пьер осовел от еды, от вина; тепло, хорошо. Но почему не проходит грусть? Вот оно, старое поколение!.. Они ведь тоже пережили разгром, разочарование. Почему же нет у Пьера веры, ясности, веселья вот этого старика?..

Уложили Дуду. Он капризничал, не хотел спать и, конечно, сразу уснул. Глядя на него, Лежандр говорил шепотом:

— У него будет спокойная жизнь, увидите. Не то что у нас. Мы ведь войну пережили. Я в Шампани был. Какое это было горе! А теперь войны не будет — рабочие поумнели. Да и немцы не пойдут, у них тоже рабочие. Неужели они допустят?..

Он привык рано ложиться, вставал в пять. Глаза его стали неподвижными, стеклянными. Несколько минут он боролся со сном, а потом уснул, сидя над кроваткой Дуду; и лицо у него было детское.

23

Кажется, никогда время не тянулось так медленно, как в ту зиму. Париж был тих и загадочен. Синие декабрьские сумерки сердобольно окутывали памятники давней славы. Еще пестрые паяцы и глазированные каштаны в витринах говорили о мирном Рождестве; еще бродили одинокие повесы, преследуя

не то музу, не то доверчивую мастерицу; но бесчувственность города была забытьем.

Министры аккуратно каждое утро подписывали декреты об увольнении непокорных телеграфистов и кочегаров. Предприниматели рассчитывали рабочих. Голод душил сотни тысяч безработных. Даладье говорил о национальной обороне; но, как заколдованные, стояли станки военных заводов.

Жолио на суммы, полученные от растроганных читателей, поднес супруге Чемберлена туалетный прибор из золота; толстяк хвастливо шептал: «Высшей пробы!..» А когда Чемберлен приехал в Париж, рабочие, собравшись возле вокзала, его освистали. Это было последним вмешательством народа; потом наступила тишина. Суды работали без устали. Механики, шлифовщики, литейщики в тюрьмах клеили бонбоньерки.

Легре доставили в суд из больницы. Его поддерживали два жандарма. Он начал: «Я обвиняю Даладье...» Председатель равнодушно приказал: «Выведите»,— и пять минут спустя загнусавил: «Согласно закону от двенадцатого июля... Легре Жак... к исправительным работам...»

Друзья Фуже на собрании радикальной фракции потребовали отставки правительства. Кокетливо улыбаясь, Тесса ответил: «Отставка правительства означает войну с нашим могущественным соседом». Он просидел вечер над атласом и теперь, завтракая с каким-нибудь депутатом, в торжественную минуту — «между сыром и грушей» — говорил: «Вы увидите, что немцы пойдут на восток! Там, дорогой мой, нефть. А вы знаете, что такое нефть? Это — кровь века».

В Париж приехал фон Риббентроп. Полиция предусмотрительно очистила улицы от прохожих; и гость увидел фантастическую картину: красное зимнее солнце над пустой площадью Конкорд. Он вежливо сказал: «Париж на этот раз мне особенно понравился...»

Итальянские дивизии подходили к Барселоне. Депутаты собрались на совещание и решили послать к генералу Франко сенатора Берара. Тесса приветствовал решение: «Недоразумение пора рассеять!»

Виар выступил на митинге. Он оплакивал судьбу чешских женщин и каталонских детей; говорил, что правительство несправедливо обрушилось на рабочий класс; потом патетически воскликнул: «Наша республика — последний оплот свободы в порабощенной Ев-

ропе!» Раздались жидкие аплодисменты. А старик Дюшен, сторож на заводе «Сэн», сидевший в первом ряду, встал и ответил: «Кто пойдет умирать за этот оплот? Да только святые и шлюхи. Но святые — на небесах, а шлюхи не умирают».

Когда Тесса рассказали о реплике Дюшена, он засмеялся: «Что ни говорите, а французы — остроумный народ. Меня не пугает карканье Дюкана — мы не чехи...»

Однако часто на Тесса находила тоска; он думал: «Зачем я за это взялся». Коммунисты кричали: «К стенке Тесса!» Дюкан подхватил историю с письмом Гранделя: «Немецкий шпион в парламенте!» Даже парламентские комиссии ворчали: требовали прекращения репрессий. От комиссии труда к Тесса явился Виар:

— Я тебя недавно защищал на рабочем митинге. Меня прерывали, хотели линчевать... Ты перегнул палку. Правительство исключительно непопулярно.

Тесса пожал плечами:

— А кто популярен? Ты? Фланден? Бретейль? Все это вздор! Я тебе скажу, кто у нас популярен — Гитлер. Лично я очень жалею, что сел на твое место. Теперь куда спокойней быть в оппозиции. Вот вы говорите: «прекратить репрессии». Я рад бы... Что я, зверь? Но пускай коммунисты прекратят свою кампанию. Мы налаживаем мир, а они все срывают. Лучше посадить в тюрьму десять тысяч, чем послать миллионы на убой. Они хотят превентивной войны, а я придумал, ха-ха, превентивные аресты!

Виар снял пенсне, вытер платком стекла и, глядя на Тесса добрыми невидящими глазами, спросил:

— Ты действительно веришь в мир?

— Как тебе сказать?.. Есть шансы, что немцы полезут на восток. Тогда мы спасены лет на двадцать. Можно и просчитаться... Я люблю играть, но мы теперь не игроки, мы карты, нас тасуют, сдают... Отвратительное ремесло! Я завидую безработным: спят под мостом и ни о чем не думают. Огюст, мы не живем, у нас нет времени сосредоточиться. Когда умерла Амали...

Его голос дрогнул: он вспомнил — две свечи, лилии. А Виар расчувствовался: он не любил Тесса, считал его дельцом. Теперь он увидел в нем близкого человека. Они выросли на тех же книгах, любили те же картины. И оба погубили себя зря, растратили душевный жар: прения, голосования, парламентская грубая стряпня... Он подошел к Тесса и крепко пожал его руку:

— Я понимаю... Я тоже очень одинок.

Они забыли про вотум комиссии, про судьбу Франции. Два старика отдались своему личному горю. Виар жаловался:

— Когда-то были монастыри — затворялись, читали, думали о сущности мироздания, поливали цветы... А теперь нет даже убежища.

Но Тесса уже успел отойти. К чему эти мрачные мысли?.. Он весело возразил:

— Не говори! Я позавчера был в «Фоли бержер». Все-таки гёрльс — дивная находка! Конечно, нельзя к этому подходить, как к хореографии. Это не Павлова... Но когда они прыгают, я, честное слово, оживаю.

24

Тесса теперь опирался на правых. Он старался расположить к себе сурового Бретейля; но тот с каждым днем становился требовательней, настаивал на отставке Манделя. Бретейль заявил на банкете спортивных клубов: «Увы, еврей Мандель до сих пор министр! Он хочет нас поссорить с Германией». Тесса поспешил высказать Манделю соболезнование: «Что вы хотите, Бретейль — фанатик, у него восточный ум, недаром он уроженец Лотарингии, а мы — картезианцы, нам это чуждо...» Но Бретейлю Тесса сказал: «Да, да, в вашем замечании насчет Манделя много правильного — Израиль остается чужеродным телом».

Смущала Тесса тень Гранделя: он повсюду бывал, очаровательно улыбался, пришепетывал: «мой дорогой друг», и Тесса спрашивал себя: «Может быть, он хочет и меня окрутить?..» Грандель стал любимцем парижских салонов. Он прочитал перед фешенебельной аудиторией «Амбассадер» доклад: «Германо-латинский мир в борьбе против большевизма». Его снимали кинорепортеры. Улыбаясь, он на ходу кидал: «Украина стоит изучения. Я вчера прочитал биографию Мазепы: интересно и поучительно!..» Тесса не знал, кто это — Мазепа, но к каждому слову Гранделя он относился подозрительно. Иногда он вспоминал письмо Кильмана; но чаще думал: «Грандель метит в министры. Надо с ним быть осторожней!..»

А Бретейль по-прежнему поддерживал Гранделя; никто не подозревал, что между ними пробежала кош-

ка. Разговоры Фуже теперь подхватил Дюкан; он повсюду кричал: «Остерегайтесь Ґранделя!» Когда его спрашивали, имеются ли у него доказательства, он отвечал: «Нет! Но я это чувствую...» С Бретейлем Дюкан перестал здороваться, вышел из фракции. Правые его травили, называли юродивым, реваншистом, национал-большевиком. Но личная безупречность создала Дюкану репутацию честного патриота; и эту репутацию трудно было разбить. Многие друзья Бретейля продолжали встречаться с Дюканом; в некогда дисциплинированной партии начался разброд.

Ґенерал Пикар, потрясенный отзывом Дюкана, пришел к Бретейлю:

— Для вас у меня нет тайн. Но вот приходит Ґрандель и ставит вопросы, касающиеся нашего вооружения... Как я могу ему доверять?

— Ґрандель работает со мной.

— Да, но вы знаете, что про него говорят... Теперь не тридцать шестой, во главе Франции не Блюм. Если начнется война, отвечать будем мы...

Бретейль нервно теребил край скатерти:

— Это сложная игра. И опасная — не скрою. Мы не можем победить одни. Стоит нам уступить, и снова — Народный фронт. Конечно, если бы я мог, я выбрал бы других союзников. Как-никак я лотарингец... Но выбора нет. Англичане — это боги на Олимпе. Мы для них игральные жетоны: заплатят нашим Тунисом или Индокитаем. И потом, хорошо говорить о тройственном пакте, когда в парламенте один коммунист, да, да — один. А у нас?.. Я стою на национальной точке зрения. Немцы хотят нас использовать, это понятно. Но Франция — единое тело, ее нельзя раздробить, зараза не коснулась костяка. Значит, произойдет обратное: мы используем немцев, а не они нас. Вы меня понимаете? Угроза войны позволит нам освободиться от коммунистов. Побеждает тот, кто говорит народу: «Мир!» А воевать Ґитлер не посмеет: наша армия чего-нибудь да стоит. Впрочем, вы это знаете лучше меня...

— Я ничего больше не знаю. Боюсь, что наша армия не выдержит удара. Дело даже не в вооружении, хотя и в этом мы опережены. Я видал нашего атташе, который был в Испании. Он очень высокого мнения о немецкой авиации. Но, повторяю, дело не в этом. Надломлен дух... Офицеры не хотят воевать. И вряд ли

захотят, даже если обстоятельства этого потребуют. Вы рассчитываете отступать до такого-то предела. Но я не знаю, сможем ли мы удержаться на рубеже? Армия — нечто живое, это организм...

Пикар волновался: для него армия была кровным делом. А Бретейль, изложив свой план, успокоился. Он все сказал; умолчал только о связи Гранделя с Кильманом, но это деталь, техника... Игра, конечно, опасная... Сколько раз Бретейль колебался! Поддерживала его вера в бога, в провидение. Он вспоминал о лотарингской пастушке, посланной всевышним для спасения Франции. Нет, Франция не погибнет!..

Вскоре после этого разговора Бретейль потребовал от Тесса опровержения:

— Слухи, порочащие Гранделя, исходят от Дюкана. Это человек невменяемый. Но неизменно повторяется твое имя. Опять та самая фальшивка... Ты должен положить предел.

Тесса уперся:

— Я ничего не утверждаю, но и не намерен опровергать. При чем тут я? И потом, я не чувствую никаких симпатий к Гранделю. Скажу прямо — лично мне он не внушает доверия.

— А ты думаешь, что Грандель мне нравится? Авантюрист, бабник, падок на деньги. Будь у меня дочь, я бы ее не выдал за Гранделя. Но перед нами — вопрос политики, а не вкусов. Кто ведет кампанию против Гранделя? Фуже, Дюкан. А за их спиной коммунисты. Они хотят воскресить Народный фронт. Поскольку ты опровергнешь клевету, мы расстроим их планы.

— Все это хорошо, но я далеко не убежден, что письмо — фальшивка. Между нами, я думаю, что Грандель замешан в грязную историю.

— Может быть... Но разве у тебя есть доказательства?

— Нет.

— Вот видишь... Значит, отсечь его мы не можем. Остается рассматривать вопрос не в моральном, а в политическом разрезе. Если ты промолчишь, они тебя съедят. Вот последняя выходка Дюкана...

Бретейль показал Тесса письмо, которое Дюкан разослал некоторым правым депутатам: он требовал обследования финансовых ресурсов не только Гранделя, но и всех замешанных в «дело Кильмана», среди них — Тесса.

Тесса от негодования закашлялся:

— Боже, какая низость!..

После этого Бретейль легко добился подписи Тесса под коротким, но энергичным опровержением.

Вечером у Полет Тесса раскис.

— Бретейль меня прижал к стенке... Шантажист! Конечно, мы одержали еще одну победу. Бюджетная комиссия хотела нас свалить: там засели приятели Фуже. Но я преподнес им сюрприз: франко-немецкую декларацию. Они сразу притихли. Ты видишь, сколько побед: Мюнхен, провал забастовки, миссия Берара, декларация. Как говорили в древности, еще одна такая победа—и все полетит к черту.

— Что полетит?

— Как «что»? Франция.

Полет не интересовалась политикой; в газетах читала только хронику убийств и романы с продолжением, но ее воспитали на культе Франции: Жанна д'Арк, Наполеон, Гюго, Верден. Она в ужасе смотрела на Тесса. А он трясся от смеха.

— Чего же ты смеешься?

Тесса кротко ответил:

— Это лучше, чем плакать. Я устал, я имею право на отдых. Но ты не огорчайся, кошечка, я просто сострил. Франция не может погибнуть. Скорее погибнет мир...

25

Желая повлиять на политику Даладье и Тесса, испанское правительство отказалось от помощи интернациональных бригад. Батальон «Парижская коммуна» томился в крохотной каталонской деревушке, недалеко от границы: во Францию бойцов не впускали. Крестьянки колотили на речке белье и собирали бледный зимний салат. Жизнь казалась мирной. Вдруг, как столбы пыли перед грозой, закружились беженцы.

Бежали жители Барселоны: к городу подходили марокканцы. Крестьяне снимались с места; некоторые гнали мулов и коз; другие резали скот. Качались на возах буфеты и курятники. Женщины несли узлы. Потом побежали солдаты. Валялись ящики с патронами. Артиллеристы тащили орудия. Фашистская авиация бомбила дороги; в воронках прятались дети, прижимая к себе спасенные игрушки.

Люди неслись к смутно-голубым горам: там начиналась Франция. Но Тесса заявил журналистам: «Мы не можем впустить беженцев. Я не люблю шантажа, а господа коммунисты нас шантажируют состраданием...» И граница была закрыта.

Отдельные командиры еще пытались организовать сопротивление; подбадривали солдат; возвращали с границы пристыженных дезертиров. Появились крохотные газеты с призывом к спокойствию и к мужеству. Министерства и генеральный штаб кочевали, каждый день переезжая из одной пограничной деревни в другую. В сараях и амбарах щелкали ундервуды. Итальянские бомбардировщики бомбили последний город республики Фигерас, крошили его старые дома с балконами, уничтожали беженцев. А среди мусора и щебня валялись измученные люди.

Последнее заседание кортесов состоялось в подземелье. Депутаты были в дорожной грязи, небритые, с глазами, красными от бессонных ночей. Выступил Негрин; он говорил о священной войне испанского народа, о варварстве Гитлера и Муссолини, о бездушии Франции, которая отказывается впустить раненых и женщин; во время речи он несколько раз закрывал рукой лицо. Какой-то старичок постлал лестницу, спускавшуюся в подвал, ковриком: «Все-таки кортесы...» А вокруг горели подожженные бомбами села.

Когда канонада дошла до деревни, где стояли французы, Мишо сказал:

— Идут, и еще как!.. Не даваться же им живьем! Стройся!

Батальон выступил; помогли эвакуировать снаряжение; отбили танковую атаку. На час все ожили: снова война! Дух Мадрида, Теруэля, Эбро поддерживал этих людей, в последние часы оборачивался призраком победы. А ночью подъехал автомобиль; кузов был прострелен; бледный адъютант, с рукой на перевязи, закричал:

— Завтра последние части должны перейти границу.

Мишо даже вскрикнул от злобы: для него битва только начиналась. Скрепя сердце французы повернули на север.

Пограничная полоса походила на табор: две недели здесь кочевали беженцы, ожидая, когда откроют границу. Закалывали последних овец. Жгли шкафы, архи-

вы, тряпье, ящики, сундуки с бельем. Зачем люди притащили сюда этот скарб?.. Ночь была холодной, и возле костров грелись женщины. Кричали ослы. Одиноко звенела труба.

Военные сказали Даладье, что если испанцы будут вынуждены защищаться у самой границы, бои могут легко перенестись на французскую территорию. И Даладье приказал приоткрыть границу: цепи жандармов и солдат, главным образом сенегальцев, фильтровали людей, обыскивали их, отбирали не только оружие, но скот, зачастую вещи. В Перпиньяне жандармы бойко торговали «трофеями»: револьверами, пишущими машинками, часами.

Батальон «Парижская коммуна» не походил на разбитую часть. Солдаты отбивали шаг; шли с винтовками; несли знамя. Только лица выдавали горечь поражения. Не так они думали вернуться домой!.. Это походило на изгнание; и многие, глядя в последний раз на испанскую землю, изрытую бомбами, покрытую брошенным оружием и пожитками, едва сдерживали слезы.

Сенегальцы преграждали дорогу; они что-то кричали — французы не понимали слов.

Мишо скомандовал; батальон «Парижская коммуна» салютовал выцветшему на солнце, полинявшему под дождями старому знамени. Стоявшие в стороне солдаты французского линейного полка смутились. А сенегальцы добродушно скалили чересчур белые зубы.

Жандарм сорвал с приятеля Мишо, пулеметчика Жюля, повязку: «Может быть, ты золото припрятал?..» Увидев свежую рану, жандарм выругался. Французов погнали в лагерь: «Потом разберут! Вы — дезертиры...» Вместе с ними гнали других: испанцев и шведов, англичан и сербов, женщин с грудными детьми, профессоров Барселонского университета, деревенскую детвору, поэтов, пастухов, тяжелораненых. Сенегальцы били прикладами отстававших.

А за колючей проволокой люди кишели, как овцы в загоне. Холодный норд кидал в лицо песок. К ночи пошел дождь. Некуда было укрыться. Сказали, что привезут хлеб; не привезли. Щерилось море — лагерь был на самом берегу. Вдалеке раздавались одинокие выстрелы.

Из Парижа приехал друг Тесса, депутат Пиру. Весь день в доме таможни он поджидал испанских фашистов. А увидев в бинокль красно-желтый флаг,

просиял. Четверть часа спустя он протянул испанскому генералу свою визитную карточку: «Поздравляю вас с блестящей победой». Генерал снисходительно улыбнулся.

Шли дни. Заключенных мучил голод. Вода в мелком колодце пахла мочой. Приезжали туристы: на испанцев глазели, как на зверей в зверинце. Каждую ночь вытаскивали трупы умерших от дизентерии или от простуды.

Перпиньян был веселым, ленивым городом, там ели миндальную халву, крепкое вино «рансио», слушали на площадях военную музыку, с восторгом голосовали за Народный фронт. Теперь в Перпиньяне шла охота на людей: полицейские искали испанцев. Школы были превращены в тюрьмы. Напрасно испанки, привыкшие ходить простоволосыми, на последние гроши покупали крохотные, модные в ту зиму, шляпки; их выдавали заплаканные глаза.

Многие французы прятали испанцев на чердаках, в винных погребах, в морских купальнях, в пастушеских хижинах. Тысячи самоотверженных людей уходили ночью на перевалы и проводили беженцев никому не ведомыми тропинками.

Это был грустный вечер. Жандарм ударил по лицу молоденького испанца; тот не вытерпел и повесился. Все пали духом. А паек снова уменьшили: пятьдесят граммов хлеба... Мишо отдал свою долю испанцу Фернандесу, учителю рисования, который до разгрома командовал саперным батальоном. Мишо говорил:

— Позор!.. Тебе лучше — ты за это не отвечаешь. А я все-таки француз.

Фернандес наивно ответил:

— Я никогда не был за границей. Это в первый раз...

— Мне обидно, что ты не видишь других людей, товарищей. Я тебе правду говорю — есть другие французы. Но где они? И сколько их? Когда-то Франция была другой. Наш батальон назвали «Парижская коммуна». Хорошее имя!.. Они ведь не назовут своих дивизий «мюнхенскими»... Знаешь, в чем наша беда? У нас люди хорошо живут. Войну четырнадцатого все забыли. Говорят: стряслась беда, больше не повторится, мы — умные. Как будто ум может спасти от несчастья? А живут хорошо: хорошо едят, девушки красивые, море, горы, повсюду садики, кафе, не жарко не

холодно. Вот и начали не только не бояться горя — презирать горе. Двадцать лет тому назад презирали русских, — я ребенком был, но помню, — смеялись: «Хотели переделать весь мир, а у самих нет ни штанов, ни хлеба!» Теперь презирают испанцев: «Говорили о достоинстве, не хотят «жить на коленях», а пришлось просить у нас убежища». Подлая философия! И не видят они опасности, не ценят простых чувств, дружбы, верности... Кажется, только горе спасет Францию, большое человеческое горе.

Над ними были тысячи звезд. А море грозилось: наступало время мартовских бурь.

26

Жолио, взглянув на фотографию, усмехнулся: молодая актриса снялась в противогазе. Большое декольте позволяло оценить ее женские достоинства, но лицо в маске походило на свиное рыло; и Жолио сказал секретарю:

— Звезда Хрю-хрю... Поставьте в номер. Кстати, сегодня «марди гра».

Когда-то «марди гра» — масленица — был праздником. Жолио помнил толпы на бульварах, белые балахоны пьеро и трико арлекинов, болеро, косички, маски из черного бархата, обшитые кружевом, пестрое конфетти. Потом карнавал зачах; все же в «марди гра» устраивали маскарады; в кафе врывалась банда ряженых; ребята разгуливали по улицам в масках, с приставленными носами и прицепленными бородами. А сегодня? Маска Хрю-хрю... Жолио громко вздохнул (он все делал патетично, а когда над ним посмеивались, отвечал: «В Париже люди рассуждают, в Марселе чувствуют»).

Дела Жолио шли прекрасно: он получал большие суммы из секретных фондов правительства. Он завалил жену подарками: ожерелье из сапфиров, шкатулка, по словам эксперта, принадлежавшая госпоже Рекамье, скочтерьер, получивший первый приз на выставке в Лондоне. Жолио кормил целую свору дармоедов: безработных журналистов, марсельских поэтов, томных шулеров, почему-то называвших себя «анархистами». Никто теперь не посмел бы привлечь Жолио к ответственности за диффамацию. Депутаты перед

ним заискивали. Он обедал с послами и пренебрежительно говорил секретарю: «О Румынии ни звука — венгры симпатичней, да и натура у них шире...»

Несмотря на успех, он состарился, потускнел; не украшала его даже новая булавка — изумрудный попугай с рубиновым глазом. Жолио измучила чересчур сложная игра его покровителей. Он говорил себе: «Я сам не понимаю, что пишу...»

Тесса говорил ему: «Дайте статью о слабости Красной Армии, сошлитесь на отзыв итальянского атташе». Два дня спустя Тесса требовал: «Подчеркните, что военные ресурсы России неисчерпаемы».

Сегодня утром его снова вызвал Тесса: «Международное положение обостряется — это мартовские иды. Нам важно сохранить коммуникации с колониями. А Центральная и Восточная Европа — чужой огород...»

Жолио начал статью: «Как это прекрасно выразил г. Марсель Деа, мы не хотим умирать за Данциг...» Что дальше? Жолио вдруг оживился, прищурил правый глаз и приписал: «Мы не хотим умирать за Варшаву, за Белград, за Бухарест». Он откинулся в утомлении. Главное — хорошо подать. Надо пустить крупным шрифтом слово «умирать». А под статьей фото: Хрю-хрю...

Завтракал Жолио с редактором «Ла репюблик» Жезье. Тот ел блинчики, облитые мараскином, и, набив щеки, весело приговаривал:

— Ужасная ерунда! Чемберлен будто бы предложил итальянцам Тунис. А Бонне вопит: «Отдадим им лучше Мальту!» Бордель! Даладье мне вчера сказал: «Ни слова о коллективной безопасности». Завтра пускаем передовую о еврейском засилье. Написал, кстати, еврей. Я тебе говорю — бордель!

Выпили арманьяк. Жезье спешил. А Жолио пошел пешком: хотел проветриться. Этот Жезье — каналья и дурак. При чем тут Мальта? Разве Мальта в Африке? Он шел по проспекту Ваграм к площади Этуаль. Погода то и дело менялась: стоило показаться солнцу, как все оживало, выступали почки на каштанах, женщины хорошели; потом холодный ветер наметал низкие тучи, и дождь был по-зимнему скучным. Дойдя до площади, Жолио остановился. Могила Неизвестного солдата...Как всегда, бледный огонь, венки, провинциалы. А над могилой арка. Это место волновало Жолио; иногда он снимал шляпу; иногда насвистывал

«Марсельезу». Как большинство людей его поколения, Жолио считал годы войны годами молодости и душевной чистоты. Он вспоминал с умилением даже брань сержанта, койку, на которой провалялся два месяца, болея тифом, тошноту и озноб перед атакой, когда солдатам варили кофе с ромом и они жадно сжимали горячую жесть кружки. Он помнил всех товарищей: и коротышку Дорнье, и близорукого Деваля, и весельчака Клемана — беднягу убили...

Кто похоронен под этой аркой? Может быть, Клеман?.. Почему бы нет! И Клеману подносят цветы, ему салютуют генералы, послы, Тесса... Бедный Клеман, он здорово играл на гребенке. И хотел жениться на какой-то девчонке из Марселя.

Жолио вспомнил: «Мы не хотим умирать за Данциг...» А за что умер Клеман?.. Прежде говорили: «За Францию». Девчонка из Марселя, наверно, вышла за другого. Могла и умереть — четверть века прошло, вот сколько!..

В редакции царила привычная суматоха; Жолио обрадовался — он устал от размышлений. Из министерства прислали статью: «Италия — оплот латинской культуры на Ближнем Востоке». Хрю-хрю гримасничала на первой полосе. Под окном продавцы гнусаво завывали: «Пятое издание!.. Мы не хотим умирать...»

Кончив работу, Жолио пошел в кабаре: давно приглашали, упрашивали. Молодой, сильно нарумяненный куплетист пел:

Прожить бы только до завтра,
И что впереди — наплевать!

Публика подхватывала припев: «Наплевать!» Потом другой актер, вспомнив, что сегодня — «марди гра», вышел на сцену в маске: маска была белая, с острым клювом и черными дырами для глаз. Кто-то в зале сказал:

— Это смерть.

— Глупости! Это Тесса. Видишь — его нос?

Жолио наскучила глупая программа, и он поехал домой. Жена сидела в столовой над газетой. Она никогда не расспрашивала Жолио о его делах; занята была своим: портные, распродажи, моды. Но за последнее время она часто растерянно думала: «Господи, что же они пишут?..» Она осмелилась сказать:

— Я не понимаю...

Жолио развел руками:

— Ты думаешь, я понимаю?.. Ведут игру. А может быть, и не ведут, только делают вид. Я прежде восхищался: ну и хитрые! А теперь не знаю... Может быть, они просто очумели от страха?

Жена не сводила с него глаз. Она спросила шепотом:

— Скажи... Ты у немцев ничего не берешь?.. Я боюсь... Ведь за это могут расстрелять...

Жолио завопил:

— Ты с ума сошла! Как ты могла такое подумать? Кто мне дает? Наши, французы, правительство!..

И вдруг он пробормотал (жена так и не поняла, к чему это):

— Умереть за Париж... Бедный Клеман!..

27

— Как вы поживаете?

— Спасибо. А вы?

Не дослушав, Дессер пошел дальше. И вдруг подумал: «Что, если бы каждый отвечал всерьез? Нескончаемые исповеди: горе, страхи. Но это — формула, как речи Тесса, как молитвы в церкви, как клятва влюбленных. Вероятно, в этом спасение; если все обнажить, не выдержат и дня...»

Никто не догадывался о закате Дессера. Дела его шли хорошо: по-прежнему Чикаго и Ливерпуль ждали его приказов. Размолвка с Даладье, выступления Дессера перед забастовкой остались случайными эпизодами. Монтиньи считал, что Дессер «оригинальничает». А Тесса восторженно мотал головой: «Ну и хитрец! Этот обойдет всех. У человека дьявольский глаз...»

А Дессер ничего не видел. Он продолжал игру; напротив него было пустое место — он играл с болваном. События теперь казались ему стихийными. Он читал по ночам длиннейшую историю гибели Византии, читал и смеялся: все, решительно все понимали, в чем дело, и никто не мог предотвратить катастрофу.

Конечно, Мюнхен был единственным выходом. Конечно, надо во что бы то ни стало договориться. Но как? И с кем? С ураганом? Чудеса, чудеса!..

До пятидесяти лет он не хворал; много пил, курил без остановки, недосыпал. Все сказалось сразу. Он был

мнителен; внимательно выслушивал докторов, но предписаний не выполнял; жил, как прежде, беспорядочно и утомительно. Даже стал пить больше прежнего: боялся смерти. Ночью отъезжал в гоночной машине на несколько сот километров от Парижа и, остановившись у какого-нибудь маленького кафе, пил с железнодорожными рабочими белое вино и приговаривал: «Ну и погодка!..»

Спасала его, как многих других, инерция мыслей, душевных реакций, поступков. Он продолжал заниматься финансовыми операциями, открыл два новых завода, принимал участие в переговорах с Римом. Делал он это без страсти; но все же, работая, оживлялся: азарт или его видимость? Так легче было не думать ни о распаде Византии, ни о грудной жабе, ни об одиночестве.

Он и к Жаннет пошел, надеясь найти у нее забытье; не признался, что полюбил эту взбалмошную и чужую ему женщину. Но после вечеров, проведенных с ней, он чувствовал себя еще сиротливее. «Все не то»,— говорил он себе, возвращаясь домой. А чего хотел — не знал.

Они часто встречались; заходили в небольшие кафе на окраинах; иногда он ее возил по мокрым, пустым дорогам; гнал — сто сорок в час, заражал своим беспокойством; потом отвозил ее и, прощаясь, церемонно целовал руку. Хорошо, когда ждала досадная телеграмма или накопившиеся срочные дела не отпускали от стола — можно было не думать о Жаннет. Ведь и чувства оказались стихией, против которой нельзя было бороться выкладками или расчетом.

Дессер заехал за Жаннет в студию. Никогда он не слышал, как она выступает; ему казалось это нескромным — не станет же она расспрашивать его о бирже! Его попросили подождать, провели в пустую комнату с тяжелыми красными шторами. Он услышал голос Жаннет. Она читала стихи; кажется, он когда-то видел их в школьной хрестоматии:

Признает даже смерть твои владенья.
Любви не выдержит земля,
Увидим вместе мы корабль забвенья
И Елисейские поля.

Дальше он не слышал: грусть, как густой туман, окутала его. Пришла Жаннет.

— Вы хорошо читали.

Она усмехнулась:

— Это реклама—краска для ресниц.

Они вышли. Накрапывал дождик. Она спросила:

— Что слышно насчет войны?

(Вспомнила разговоры в студии. Дессер, наверно, знает.) Он ответил:

— Я не оракул.

Рядом шла женщина в старомодной, порванной накидке; несла множество пакетов, кульков и сама с собой разговаривала: «Я ему пальчиком в горло... Вот пассаж!..» Дессер шепнул: «Сумасшедшая». Им стало не по себе; они побежали к машине; Дессер не сразу пустил мотор: сидел одуревший. Потом понеслись. Сквозь слезившиеся стекла мелькали огни, зеленые и красные. Фары впивались в темноту, вырывая из ночи обрызганные дождем деревья. Дессер привез Жаннет в свой загородный дом. Не спросил ее—хочет ли она. Молчал. Принес бутылку коньяку.

— Согрейтесь. Вы хорошо читали. Вам нужно на сцену. Помните, вы говорили, что у вашего режиссера нет денег. Это пустяки...

Она покачала головой:

— Нет. Я теперь не смогу сыграть... Когда говоришь, нужно верить каждому слову. Если нет, и зрители не верят. Тогда в зале тихо, но кажется, что голос пропадает. Вы не понимаете? Я пропала. Когда-то я верила... Я тогда жила с одним актером. Он спал, а я лежала рядом и повторяла монологи Федры...

Она вышла в сад. Пахло землей, гнилыми листьями. Весна шла поспешно, задыхаясь; и стук капель казался ее лихорадочными шагами. Жаннет жадно дышала. Дессер кричал: «Простудитесь!» Она не откликалась. На несколько минут большое счастье дошло до нее, и снова, как во Флери, она поверила вымыслу. Вернулась в комнату; улыбаясь, посмотрела на Дессера своими испуганными глазами. Он смутился. А она говорила:

— Нет, не простужусь... Я пропала, Дессер. Пропала...

Она начала его целовать печально, отрывисто, сама не понимая зачем.

Она и потом не могла понять, зачем сошлась с Дессером. Сулило ей это не только горе и обиды. Но в ту ночь, прислушиваясь к шуму дождя, она повторяла:

В краю, где вечны золотые весны,
Где сердца не томят труды,
Где, вскормлены природой плодоносной,
Свисают пышные плоды,
На берегу, то нежась, то играя,
Срывая мирта вечный цвет,
Мы не забудем и под кущей рая
Любви возвышенный обет.

Он вдруг спросил:

— Жаннет, почему грусть?..

— Это не грусть. Грусть там — Флери, наше дерево... Или в стихах. А это — отчаяние... Помните сумасшедшую?.. И вы пропали, Дессер. Я теперь это знаю.

Говорила и целовала.

Они вернулись в Париж утром. Жаннет терзалась: зачем это? О Дессере думают: всесилен. В газетах его называют «некоронованным королем». А он — нищий. У него ничего за душой. И пришел к ней... Разве это не смешно — искать у нее спасения? Она его пожалела за ребячливость. Да и он ее жалеет. Только из жалости не выкроить любви. Стихи? Реклама — для крема, для пылесосов, для забытья. Актрисой она не будет, поставим крест. И замуж за него не выйдет. Когда он ей предложил, она рассмеялась. Стать «некоронованной королевой»? Нет. Хорошо, что у него свое дело. Вот и сейчас — спешит на работу, как рабочий. Сядет, будет считать миллионы... Почему он не видит, что и она нищая? Ее обобрали. Она что-то давала Фиже, Люсьену. А теперь она пустышка. Вчера не она говорила — дождь, Ронсар. Только с Андре она была естественной, не лукавила, не жалела. Андре живет, как она — нарочно. Не то слово... Он сказал — «перекати-поле». Только катятся они в разные стороны. Наверно, таких много. Где-то она прочитала: «отравленные искусством»... Но почему она думает только об Андре? Да просто она его любит...

Впервые Жаннет сказала себе это. И тотчас обратилась к Дессеру:

— Я люблю другого. Это ничего не меняет: я его не вижу, да и не увижу никогда. Но я хочу, чтобы вы это знали.

Сказала сухо, почти официально. Он остановил машину и поцеловал руку Жаннет.

— Вы меня тронули. Очень тронули. Жаль, что вы не хотите на сцену. Но и это не важно...

Он довез ее до дому; простились; потом условились: вечером встретятся. Все сразу стало понятным, даже будничным: связь.

Дессер взял телеграмму: германские войска в Праге. Он вдруг стал смеяться, громко, долго, задыхаясь. Потом вынул из книжного шкафа бутылку. К чему теперь слушаться доктора? Через год — конец. А Жаннет?.. Что же, она любит другого. Добрая женщина, но страшная; глаза, как у той сумасшедшей. А это правда — они вместе увидят корабль забвенья...

28

— Я там тебя часто видел. Горы красные, и ни кустика. А воздух как будто густой — так жарко. И вдруг ты рядом. Чувствовал — обнимаю. Ах, Дениз, почему об этом нельзя рассказать? Я говорю про любовь... Разве ты поймешь!..

Она не ответила, только еще сильней целовала.

— Я думал прежде, что страшно умереть — так все говорят. Нет. Очень просто. И как тебе это сказать?.. Торжественно. Как сейчас... Все, что тогда, — непонятно. Но не страшно. Страшно другое — разгром. Нехорошо, мутно. Говорить ни с кем не хочется... А смерть — это свое, это внутри...

— В тюрьме я лежала ночью и слышала: стреляют. Но я знала, что тебя не убьют. Это глупо звучит, но знала. Не могли убить. Я все время была с тобой.

— Дениз!

— Что?

— Ничего.

На стенах обои: рыжие астры. Они цветут уже сто лет и еще не отцвели. Почему на стене портрет усатого маршала? А на камине копилка — карлик в красном колпачке. Случайная комната, случайные вещи. Другие могли бы здесь прожить всю жизнь. А для них это привал. На час? На неделю? Все равно!.. Но астры не посмеют отцвести. Маршалу неловко, да и завидно; кусает седые усы. Учебники забыты: кого он побеждал, зачем?.. Карлик — пустой; в его фарфоровом тельце ни су; если его щелкнуть по носу, он не обидится. Может быть, она вспомнит этого карлика в тюрьме? Там белые скучные стены; смотришь на трещины и кажется: дерево, облака, лицо викинга. А Мишо вдруг в око-

пе увидит: рыжая астра. Потянется, чтобы сорвать. И пуля... Но пуля обязательно пролетит мимо.

— Мишо, ты здесь?..

Она чувствует на щеке его дыхание; хочет услышать голос; проводит руками по жестким волосам, по лбу; все время ищет подтверждения, что они вместе. И вот они закружились по комнате, как расшалившиеся дети.

— Мишо, ты сошел с ума!.. Что подумают внизу? И как ты на улицу выйдешь? Посмотри, вот зеркало...

Он послушно смотрит.

— Ну?

— А глаза? Не видишь?.. Сумасшедший!

Ему надо идти: заседание назначил на девять. Он нахмурился: ищет мысли, слова.

— Партия окрепла. Отпали только любители легкого успеха. Зато много новых. Я понимаю, почему Виар пишет о смерти: у них пустота. А над правительством все смеются. Сегодня в автобусе один кричал: «Эх, предатель ты, Даладье!..» Мы их расколотим. И еще как!

— Мишо, это — ты? Скажи, что ты.

— Люк Мишо. Подтверждаю. Ты знаешь, где я узнал, что тебя схватили? В Перпиньяне. Ты уже тогда была на свободе, но этого я не знал. Еле сдержался, хотелось трахнуть какого-нибудь шпика. Я тобой очень гордился... Хорошие у нас люди! Торез считает, что они хотят распустить партию: линия Тесса. Но у нас все готово, чтобы перейти в подполье. Костяк крепкий. Главное, не растерять связей. Меня посылают в Сент-Этьен — надо там все наладить...

— Когда ты едешь?

— Еще не знаю. Может быть, завтра или в субботу.

Он надел пальто, кепку; стал городским, озабоченным. Только глаза еще говорили о счастье. Она вышла с ним. Спустились в метро. Толчея. Длинные, смутные переходы. Люди бегут. Дышать нечем, горячая сырость. И гремят, пролетая, поезда. А на изразцах огромные гуси в дамских чепчиках, в ермолках, в фесках. «Наилучший гусиный паштет»...

Значит, завтра они снова расстанутся. Сейчас нельзя говорить — кругом люди. Ни о любви, ни о подполье. Все — тайна. И Дениз горда: отвагой Мишо, боями, которые впереди, любовью. Мишо все же не вытерпел, шепнул:

— И еще как!..

Да — и еще как! Это будет их паролем... Они простились. Мишо поехал дальше; еще один красный огонек затонул в темноте. А она побежала по коридорам: вниз, наверх, снова вниз. Подземные ходы были сложными, извилистыми. Суета, шум, равнодушие... Дениз подумала: «Одну разлуку мы выдержали, но сколько впереди?.. Страшно прожить жизнь в ожидании! Потом скажут: будьте счастливы. Но поздно... Нет, все это не так! Они молодые. Нужно только хотеть, сильно хотеть, тогда все сбудется: встреча, революция, счастье». А Дениз хочет... Она остановилась на платформе, среди людей, автоматов, реклам; шепчет: «И еще как!.. Мишо, Мишо!..»

29

Порядок в мастерской Андре, непривычный порядок. Выкинуты пустые бутылки. Пристыженные, попрятались в шкаф старые ботинки. Холсты чинно прижались к стенам. Большой стол пуст, на нем только учебник астрономии и открытка с видом Рюгена: дюны — летучие горы... Открытку прислал немец, тот самый, что рассмешил Андре: любит пейзажи, а изучает рыб. Ихтиолог написал одно слово: «Привет»; но Андре сразу вспомнил ночную встречу в «Курящей собаке». Немец говорил: «Хорошо, что поглядел Париж, пока Париж еще на месте». Больше двух лет прошло, и Париж на месте. Только с Андре что-то приключилось. Интересно, может ли немец теперь сидеть над своими рыбами? Впрочем, они двужильные... А вот Андре забросил живопись. В мастерской не пахнет скипидаром. Палитра — на полке, рядом с заржавевшим чайником. И порядок удивляет хозяина: он осторожно ходит по мастерской, как гость. Консьержка, та ахнула: «Вы уезжаете?» Нет, он никуда не уезжает. Говорят, что люди прибирают свой дом, чувствуя приближение смерти. Но он здоров, отчаянно, неприлично здоров, ест за троих, бродит весь день, стоит лечь — засыпает. Какое же колесо зацепилось?..

Лето он просидел в городе. Люди причитали: «Будет война», но все же разъехались на каникулы. Как прошлым летом... Андре надоело все: ожидание, газетная шумиха, споры. Предсмертное томление стало бытом. Жизнь развалилась. И жизнь все же продолжа-

ется. Недавно прислали приглашение: скоро «Осенний салон». Чудаки!..

Пьер, промаявшись полгода, поступил на фабрику автоматических ручек. Он как-то пришел к Андре; говорил: «Надо быть стойким!» — и грустно озирался по сторонам. А руки у него дрожали, как у старика.

Андре встретил на Бульварах Люсьена. Тот кричал, что повсюду предатели, что жить стоит только в свое удовольствие. А когда Андре сказал: «Значит, ты хорошо живешь?» — Люсьен выругался: «В нужнике!»

И снова тревога. Газеты полны сенсационными заголовками: теперь не Судеты — Данциг. Андре не читает газет. Редко слушает радио. Иногда вспоминает — Жаннет... Но это было давно, в другой жизни. В один из дождливых вечеров, глядя на фиолетовый город, Андре слушал: стихи перемежались с названиями фирм. Жаннет звала:

Прильни ко мне, я клятвы не нарушу,
Поверить в счастье мне позволь,
Вдохни в меня твою живую душу
И успокой былую боль!

Он судорожно улыбнулся: краска для ресниц, хорошая краска, которая позволяет красоткам плакать. Все нарушили клятву: и он, и Жаннет, и мир. А живой души нет.

«Как дела?» — спрашивает машинально Жозефина, красная от кухонного жара. «Помаленьку»,— отвечает антиквар Боло. Улица Шерш-Миди живет. Что же делать старой улице? Вот только сапожник, тот, что пел про «шельму-любовь», умер от воспаления почек. Новому — лет тридцать, у него красавица жена, двое детей; тоже весельчак; говорит заказчикам: «Этих подметок вы не сносите до самой войны».

В «Курящей собаке» старенький фокс продолжает служить с мундштуком в зубах. Андре ему как-то сказал: «Ты, брат, чересчур похож на Тардье. Боюсь, как бы ты не заговорил о Данциге!..»

В то лето все женщины вязали: говорили, что это успокаивает нервы. Андре купил у букиниста на набережной старый учебник астрономии — вязать он не умел. И звезды стали для него твердой землей; а земля ходила под ногами. Часами он просиживал над книгой; прочитает несколько строк и задумается. Цифры, таблицы, имена, все его успокаивало.

В Никее за два века до нашей эры Гиппарх измерял расстояние между землей и солнцем. А ведь и тогда рассыпались царства; люди лепили богов и жгли отступников; умирали солдаты; звенела медь. Гиппарх составлял каталог звезд.

В другой раз Андре позавидовал судьбе Гершеля. Сын бедного музыканта в осеннее равноденствие взглянул на небо. Он сам шлифовал стекла: у него не было денег на телескоп. Он открыл планету Уран, как открывают девушку в окошке напротив. Над Европой бушевала революция. Наполеон грозился завоевать остров. Питт, как паук, плел коалиции. А Гершель описывал переменные звезды и туманности.

Андре подходит к окну. Ревут газетчики: «Надежды на посредничество Рима!.. Отголоски московского пакта!.. Данциг!.. Данциг!..» И Андре возвращается к любимой книге. В Данциге когда-то жил Гевелий. Он был занят топографией луны; писал, писал. И вдруг пожар, сгорели все записи, все чертежи. Гевелий тогда был стариком. Что же, он снова сел за работу.

«А я,— говорит себе Андре,— предал краски, изменил кистям». Наверное, есть и в Париже астрономы; они продолжают работать. Может быть, работает старый физик, которого Андре видел в Доме культуры. Врачи борются с раком. Отец Андре собирает первые яблоки, бледные, восковые. Уехать к отцу? Нет, от этого не уедешь... Андре — перекати-поле... И в тоске он идет на угол, пьет у стойки едкий кальвадос; еще раз пересекает смутный город, окутанный белым дымом зноя.

Был горячий день; с утра собиралась гроза, но тучи разошлись, а воздух не освежился. Весь день Андре просидел в накаленной мастерской. Внизу упаковывались; забивали ящики: «тук-тук» отдавалось в виске Андре. Под вечер он решил пойти в «Курящую собаку» — только спирт может смягчить эту тупую боль. Выйдя на улицу, он сразу понял, что случилась беда. Цветочница над ворохом помятых роз плакала: «Убьют!.. Убьют!..» Хозяин кафе налил кальвадоса Андре и себе, чокнулся:

— За ваше!.. Вот вам и война! Дождались... Чтоб они сдохли!..

Кругом спорили:

— Это еще не война. Это только мобилизация.

— Нет, теперь война, не выкрутиться. Проклятый Гитлер!..

— Ничего... Сговорятся...

Рабочий в кепке дал фоксу сахару:

— Ну, послужи на прощанье!.. Почему они прошлой осенью сговорились? Очень просто — боялись. Не хотели идти вместе с русскими. А теперь дело другое. Теперь они — вояки. В душе они за Гитлера. Предадут они нас, это дело ясное. А умирать кому? Нам!.. Служи, миляга, служи! Я тоже солдат второго ранга...

Сапожник повесил на двери лавчонки листок: «Закрыто по случаю ежегодной мобилизации»,— не верил, что будет война, ворчал: «Придумали! У меня срочные заказы...» Цветочница продолжала плакать.

Снова люди с чемоданами, с мешками. Темнота, синие огоньки. Прощай, Гершель и туманности! Равнодушно Андре положил в чересчур просторный чемодан рубашки, мыло. Он лениво подумал: «Как тогда... Или вправду — воевать?..» Не додумал: стало скучно. Завтра он должен выехать в Туль, это твердо. Не все ли равно, что будет потом?.. Жизни не будет.

Ни песен, ни криков; никто не клянется, не твердит о ненависти, не бредит победой. Суета. Да плач цветочницы. Сквозь листву каштана прорвался слабый огонек. Жаннет — вот его звезда! Но он не открыл ее, не занес на карту. Она промелькнула. Где она, не звезда — живая женщина, с узкими горячими руками и с несчастной судьбой? Наверно, плачет, как цветочница...

На бульваре одиноко выла труба. А сапожник, подвыпив, выкрикивал:

— Раз-два, направо, в могилу!..

Часть третья

1

Люсьен шел по затемненному городу. Походка была необычной: он как будто ощупывал враждебную землю. Моросил дождик. Синие лампочки таинственно просвечивали среди черной листвы платанов. Люсьен злился. Еще позавчера он думал, что войны не будет: просто отец подготовляет очередной министерский кризис. И вот вам, сюрприз!.. Рассказывают, что на линии Мажино уже стреляют. Завтра вечером Люсьен должен явиться на призывной пункт. За что он будет сражаться? За Бека? За «человеческое достоинство», как сказал папаша? Могут убить... Но страшнее другое: окопы, ругань капрала, переходы по сорок километров. Скучно!

И Люсьен громко зевнул. Его окликнула женщина:

— Хочешь бай-бай?

Он засмеялся: эти не теряют времени! — на углу стояли проститутки с противогазами. Люсьен сказал:

— Значит, на боевом посту?..

Одна из женщин выругалась.

Люсьен увидал за шторами свет; зашел в бар. Там было людно; пили, кричали. Заплаканная хозяйка чокалась с посетителями.

— Ваш?..

— Сегодня уехал.

Владелец зеленной пил ром и бушевал:

— Нет, вы мне скажите, кому она нужна, эта война? Наплевать мне на поляков!

Люсьен не вмешивался в разговор; молча пил и злился. Потом пошел к Дженни — простится и заодно возьмет несколько тысяч. Завтра он будет весь день

пить. Да и с собой нужно прихватить тысчонку — не сидеть же на солдатской баланде!..

Дженни его встретила грустная, но восторженная. Все ей казалось необычайным: Люсьен будет защищать свободу, а Париж разрушат, погибнет Лувр... Она обнимала его и говорила:

— Весь мир должен выступить. Я купила тебе теплые вещи...

Увидев меховой жилет, Люсьен фыркнул:

— Это, милая моя, для офицера, а я солдат второго ранга. И потом, теперь сентябрь, до зимы все кончится.

— Люсьен, у тебя есть противогаз? Они, наверно, сегодня прилетят... Я ходила за противогазом, но иностранцам не дают. В аптеке мне продали какую-то жидкость, сказали, когда пустят газы, смочить этим носовой платок. Видишь?

— Бутылочка очаровательная. Чем не духи «Молине»? Вообще, да здравствует изящная жизнь! Я надеюсь, что и вши в окопах будут элегантными.

Он фальшиво запел «Париж остается Парижем». Дженни зажала уши. Потом она стала серьезной.

— Люсьен, скажи, тебе страшно?

— Нет, противно.

— Но ведь правда на нашей стороне?

Он недаром опрокинул в баре четыре рюмки — как он смеялся! Его неизменно белое лицо зарумянилось.

— Правда?.. Погоди, сейчас я тебе все объясню.

Он сорвал с постели кружевное покрывало, накинул его на плечи, на голову надел шляпу Дженни, сложил руки и забормотал:

— Дети мои, святой дух снизошел на Бонне и Тесса. Мы придем на помощь великомученику Беку. Этот бессребреник сподобился узреть Богоматерь в чешском городе Тешене. А в Беловежской пуще он постился вместе со святым Себастьяном, в миру именуемым маршалом Герингом. А теперь Вельзевул хочет отнять у Бека Данциг. Трепещите, нечестивцы! Поль Тесса идет освобождать гроб господень. Аминь!

Дженни растерялась. О каком Беке говорил Люсьен? И где этот Тешен?.. Она не читала газет, не разбиралась в политике. Но за гаерством Люсьена она почувствовала тоску. Молча они выпили кофе. Наконец Дженни робко спросила:

— Значит, неправда, что война за свободу?

— За какую свободу?

— Не знаю... За свободу вообще... Ну, писать в газетах что хочешь...

Он зевнул.

— Жолио вчера был красным, сегодня он белоснежка, завтра станет густо-фиолетовым. Скучно!

Она задумалась; потом наивно сказала:

— Тогда нужно устроить революцию.

Люсьен рассердился: сколько он терзался над этим словом! Дом культуры, статьи, книги, ссоры с отцом... И вот какая-то американочка ему подносит: «устроить революцию!»

— Устраивайте у себя. Мы четыре раза устраивали. С меня хватит! Ладно, раздевайся, я хочу спать.

Его разбудил крик сирены. Дженни тряслась; ее руки не попадали в широкие рукава пеньюара. А он повернулся на другой бок: к черту! Напрасно Дженни умоляла его спуститься в подвал. Наконец постучали в дверь.

— Сходите!

— К черту!

— Я — начальник противовоздушной обороны.

Пришлось сойти. В погребе было жарко, тесно; мужчины в полосатых пижамах; растрепанные, полуголые женщины. Небритый субъект, называвший себя «начальником», покрикивал: «соблюдать тишину» и «приготовить противогазы». По его команде старенькая консьержка стала зачем-то поливать стены водой. Женщина, прижав к себе детей, всхлипывала. Говорили, будто бомба упала на соседнюю улицу. Дженни держала флакон с таинственной жидкостью и кружевной платочек. У одной женщины были красивые плечи; Люсьен загляделся, растолкав других, стал с ней рядом. Красавица отодвинулась. Люсьен злобно пробурчал:

— Теперь, сударыня, время военное...

Глаза Дженни были мокрыми — от ревности, от страха, от предстоящей разлуки. А Люсьен все зевал и зевал.

Так ему и не удалось выспаться. Утром он вышел сонный, злой. В подъезде скандалила женщина: у нее магазин вина, а погреб хотят отобрать под какое-то бомбоубежище!..

— Я пойду к министру! Они все время кричат, что Франция должна быть сильной. Зачем же бить по коммерции? Я не очищу погреба. Вы меня слышите? Вы перейдете через мой труп!

Люсьен приподнял измятую шляпу:

— Великолепно!.. Вы достойны лучших героинь Расина. «К оружью, граждане!..» Ну и балаган!..

2

Каждую ночь парижане просыпались от рева сирен. Какие-то люди рассказывали, будто видели разрушенные дома. Но Тесса усмехался: «Простая предосторожность. Стоит немцам перелететь границу, как мы даем тревогу. Это приучает Париж к идее самопожертвования...» Многие предпочли покинуть беспокойную столицу. Богатые кварталы опустели; зато ожили курорты Нормандии и Бретани. Запасные ехали на восток; рассудительные буржуа — на запад.

Монтиньи отправил семью в Овернь: «Идеальное место! На сто километров ни одного завода...» Обеспечив мир домашним, он приступил к другому, более сложному делу: начал переправлять капиталы в Америку. Узнав об этом, Дюкан написал статью «Плохой француз». Цензура статью запретила: два белых столбца в газете были украшены изображением ножниц. О нападках Дюкана рассказали Монтиньи, тот возмутился: «Скажите пожалуйста, — Дантон!.. Я хочу сберечь то, что принадлежит мне, и только мне. Кажется, Франция ничего не выиграет, если я разорюсь».

Полет решила уехать к тетке в Морван: боялась газов. Тесса всполошился: в такое время остаться без женской ласки!

— Ты хочешь бросить меня одного...

— Поль, я не героиня.

— Тебе нечего бояться. Сюда они не прилетят. Это молчаливый уговор... Если они тронут Париж, мы начнем бомбить Берлин. А это им невыгодно.

Полет заплакала:

— Зачем вы затеяли эту войну?

— Я? — Голос Тесса задрожал от обиды. — Как ты могла такое сказать?.. Ты знаешь, что я хотел одного: сохранить мир. Но что же мы могли сделать? Они полезли на стену.

Полет продолжала плакать:

— Зачем убивать людей?

— Никого не убивают. Воюют поляки. В конечном счете это их дело. Данциг не Страсбург. Понятно, на линии Мажино могут быть случайные жертвы. Но

сколько погибает в мирное время от автомобильных катастроф?.. Пойми, кошечка, теперь все изменилось. Нельзя рассуждать по старинке. Это не война в прежнем смысле слова. У нас линия Мажино, у них линия Зигфрида. Никто не может продвинуться вперед хотя бы на один километр. Значит, мы будем сидеть друг против друга и таращить глаза. Покойная Амали в таких случаях говорила: «Как фарфоровые собачки на этажерке...» Поляки защищаются великолепно. Я всегда говорил: рыцарский народ! Они продержатся до весны, может быть, и дольше. За это время мы хорошенько вооружимся. А тогда можно будет договориться с немцами. Ты видишь, что тебе нечего бояться.

— Все это ужасно... Когда я выхожу на темную улицу... И ночью... Сирены...

Заплаканная, она показалась Тесса еще привлекательней. Он прижал к ее груди свою маленькую птичью головку.

— Кошечка, не уезжай! Я очень измучен... Ты не можешь себе представить, сколько у меня работы. Ведь ближайшие недели будут решающими...

— А ты сказал, что ничего не будет...

Он засмеялся:

— Глупенькая, конечно, ничего не будет. Я говорю о внутренних делах. Большинство в палате обеспечено. Но ты понимаешь, что значит ликвидировать коммунистов? Это не простая полицейская операция. Это настоящая кампания большого стиля. Здесь нужен Наполеон. Но мы их уничтожим!..

Его лицо окаменело. Ему казалось, что он показывает пример гражданской добродетели. Кто знает, как он любил Дениз! Но она пошла с врагами Франции, и он вырвал из сердца отцовские чувства.

И вдруг Тесса хихикнул:

— Я тебе сейчас расскажу... Это очень смешно! Догадайся, что мне предстоит завтра? Никогда не догадаешься. Я должен представлять правительство на торжественной мессе. Ты видишь меня коленопреклоненным? Ну, разве не смешно?

Но Полет продолжала плакать.

С детских лет Тесса не бывал в церкви. Он ненавидел все, связанное с религией, желая высмеять кого-нибудь, говорил: «Воняет ладаном», а священников называл «черными воронами», чем в свое время немало огорчал Амали.

Он думал, что в церковь ходят только старухи, и удивлялся, увидав среди молящихся мужчин, даже военных. Полумрак, свечи — как над гробом Амали... Им овладела грусть. Тонкие голоса певчих и лучи солнца, процеженные сквозь темно-фиолетовые стекла, говорили о потерянном рае. Тесса теперь понимал этот язык: у него отобрали Амали, детей, покой. Конечно, все эти обряды — предрассудки; но иногда приятно уйти от мелких дрязг, забыться...

Он поглядел на толстого епископа: красные жилки, а глаза печальные и умные. Наверно, и у епископа свои заботы — надо ладить с папой, с кардиналами, паствой. Жизнь — это политика. А потом — конец, восковые свечи...

Зазвенел колокольчик; все опустились на колени. Тесса про себя усмехался — как в театре... Но покорно согнул колени и потом поднялся вместе с другими.

Надоело!.. Тесса едва сдерживал судорожную зевоту. И вдруг оживился: направо стояла молодая женщина в длинном черном платье, с большим выпуклым лбом и тонкими, но яркими губами. Тесса подумал: флорентийка, портрет Бронзино... А такие бывают страстными, очень страстными...

Почувствовав на себе жесткий взгляд Бретейля, Тесса вздрогнул, зашевелил губами,— как будто молился. Дураки думают, что роль Бретейля кончена — он ведь стоял за сближение с Германией. Но Тесса понимает, что будущее принадлежит Бретейлю. Все проклинают Народный фронт; значит, правительственное большинство будет перемещаться направо. И потом, война не навеки!.. А кто сможет договориться с Гитлером, если не Бретейль? Да, с этим изувером нужно ладить!

Звуки органа снова навели на Тесса тоску. Ничего не скажешь — играют красиво... В семнадцатом году случилась катастрофа: снаряд «берты» попал в церковь. Было очень много жертв. Вдруг сейчас упадет бомба? Нет, не может быть: они побоятся начать. Воевать никому неохота... Говоря откровенно, поляки — дикари. Немцы ведут в Польше колониальную войну. А французов они уважают... Жалко, что не договорились! Муссолини, наверно, помирил бы всех. Растерялись... И вот война... Гамелен придумал какую-то операцию в лесу. А там мины... Зря убивают людей. Могут убить и Люсьена. Конечно, Тесса устроил бы

его в штабе, но шалопай исчез, его теперь не найти. Грустно это! Да и все грустно... Когда же они кончат играть?

Вот генерал де Виссе... Как он усердно молится! А говорили, что он — приятель Фуже, красный... Смешно: командующий армией — и кладет поклоны, как деревенская бабка. Неужели он верит в непорочное зачатие? Впрочем, пускай!.. Лучше, чем водиться с Фуже.

Служба кончилась. После церковного мрака Тесса наслаждался ярким осенним днем. Каштаны были в золоте. На Елисейских полях, как водяная зыбь, дрожали солнечные пятна. Женщины выглядели особенно нарядными. В предвидении бомбардировок обыватели наклеили на оконные стекла полоски бумаги; получались затейливые узоры. Тесса усмехнулся: «Вот вам новый декоративный стиль!»

3

Наступил октябрь. Зарядили дожди. Тесса в кулуарах парламента кричал:

— Я всегда говорил, что поляки не продержатся и месяца! Это воры и пропойцы. Но мы ничего не потеряли. Наоборот... Гитлер убаюкивал немцев победами на востоке. Теперь они почувствуют, что такое линия Мажино. Четырнадцатого июля мы будем танцевать всю ночь на освещенных улицах, увидите!

С неба падали не бомбы, а листовки. И фешенебельные кварталы ожили. Монтиньи выписал семью: зачем мокнуть под дождями в глухом поместье? Жена Монтиньи ворчала — не могла примириться с продовольственными ограничениями.

— Бог знает что такое!.. Какое дело правительству до кухни? Неизвестно, что заказать на обед: в понедельник нельзя получить бараньих котлет, во вторник запрещено продавать ростбиф, в среду не делают пирожных... Это издевательство!

На несколько дней исчез кофе; госпожа Монтиньи обезумела:

— Я была у Корселе, у Кардама — нигде... И подумать, что это из-за поляков! Я убеждена, что англичане пьют свой чай. Они себе ни в чем не отказывают. Виноват Даладье: это — ничтожество, репетитор, а не премьер!..

Кофе вскоре привезли, и госпожа Монтиньи несколько успокоилась.

Дела шли прекрасно: близость смерти даже скупцов сделала расточительными. В ресторанах нельзя было найти свободный столик. Ателье мод работали, как никогда. Дамские шляпки напоминали головные уборы солдат. В витринах были выставлены брошки-танки, пудреницы с английскими флагами, амулеты и шелковые платочки, украшенные надписью: «Он где-то во Франции».

«Где-то во Франции» стало формулой, заменив скучную букву N. Газеты сообщили: «Вчера где-то во Франции генерал Сикорский принял парад». А под окнами гнусавил бродячий певец: «Где-то во Франции вспомни лобзанья!..»

Говорили, что солдаты скучают; собирали для них патефоны, футбольные мячи, игральные карты, домино, полицейские романы. Любящие жены посылали офицерам жилеты из шерсти ламы, наполеоновский коньяк, консервы, изготовленные лучшими поварами столицы.

На банкете иностранной прессы Тесса заявил:

— Расскажите всему миру, что мы живем по-старому. Грохоту пушек мы противопоставили слова песни «Париж остается Парижем».

Думали, что война принесет с собой грусть и лишения. Но осенний сезон начался блистательно: премьеры, рауты, выставки, благотворительные аукционы. И везде можно было встретить баловня судьбы Гранделя; без него не обходился ни один прием.

В первые дни войны Грандель потребовал, чтобы его отправили на фронт: «Я хочу сражаться!» Депутаты запротестовали: «Здесь вы будете куда полезней». Популярность Гранделя настолько возросла, что когда Дюкан попробовал было напомнить о пропавшем документе, все возмутились: «Не разбивайте национального единения личными дрязгами!»

Грандель не скрывал, что до последней минуты стоял за компромисс:

— Первого сентября вечером еще можно было все предотвратить. Бонне говорил по телефону с графом Чиано. Я настаивал на встрече четырех премьеров. Меня поддерживали депутаты нашей группы. Но события разворачивались слишком быстро... История установит вину каждого. А теперь не время спорить. Поскольку война объявлена, надо ее выиграть.

Война освободила Гранделя: карты в колоде оказались перетасованными. Он готов был сражаться. Когда он говорил: «Нужно победить», в его голосе слышалось подлинное волнение.

Депутаты восхищались патриотизмом Гранделя; промышленники называли его «трезвой головой», а светские дамы были в него влюблены — красавец, говорит так, что хочется плакать, и за спокойствием чувствуется настоящая страсть...

Даже Бретейль заколебался: уж не стал ли он жертвой мистификации? Он поверил Люсьену, который обожает дешевую романтику. А Грандель ведет себя безупречно...

Для Бретейля война была драмой. Он пытался продумать все до конца и не мог. Иногда говорил себе: «Нужно выиграть войну». И тотчас усмехался: «Ее нельзя выиграть, пока у власти шайка депутатов. Да и что принесет Франции победа?.. Распустить парламент, посадить под замок болтунов! Может быть, огонь противника переплавит Францию...»

Виски Гранделя побелели; глаза стали печальными. Бретейль, глядя на него, думал: «Терзается, как я...» И Бретейль первый пожал руку Гранделя, когда они остались наедине:

— Забудем прошлое!

Никто не знал ни о размолвке между Бретейлем и Гранделем, длившейся свыше года, ни об их примирении: для депутатов и для страны они оставались единомышленниками, друзьями. Всем казалось естественным, что Бретейль выдвинул Гранделя на ответственный пост, предложив доверить ему руководство военной промышленностью.

Бретейль помнил, с каким трудом он добился от Тесса реабилитации Гранделя: он и теперь ждал сопротивления. Но Тесса было не до воспоминаний. История с документом, похищенным Люсьеном, представлялась ему далекой и неинтересной. Кто заподозрил Гранделя? Фуже, Дюкан. Фуже исключили из радикальной фракции; во время московских переговоров он стал обличать Чемберлена и чуть было не поссорил Париж с Лондоном. А Дюкан витийствует: этот заика вообразил себя Гамбеттой; восстановил против себя всех; Виар назвал его «шовинистом, пропахшим нафталином», а Бретейль подал на него в суд за диффамацию. Нет, враги Гранделя не заслуживают до-

верия... Притом надо смотреть на вещи трезво. Грандель ненавидит коммунистов; он вертелся среди них, знает среду. В представлении толпы это — левый, любит обличать «двести семейств», написал брошюру против американской олигархии. А военная промышленность — тот фронт, на котором придется дать коммунистам генеральное сражение. Пускай Грандель сажает в тюрьму, проводит удлинение рабочей недели, снижает ставки. Если он перегнет палку, будут ругать его, а Тесса и радикалы останутся незапятнанными.

Еще недавно Бретейль говорил Тесса, что не выдал бы своей дочки за Гранделя. Оба забыли об этом разговоре. Теперь война — надо подняться над партийными раздорами!.. И Тесса сказал:

— Что же, я одобряю твой выбор.

Крупные промышленники, за исключением Дессера, поддержали кандидатуру Гранделя. Монтиньи кричал: «Он, по крайней мере, наведет порядок. Как можно воевать, когда в тылу анархия? Рабочие ничем не хотят поступиться. Словами их не убедишь, здесь нужен кулак».

Во главе союза промышленников стоял Меже. Он также покровительствовал Гранделю. Дюкан как-то заявил, что Меже продолжает поставлять немцам боксит через Швейцарию; тот ответил: «Это — клевета. Но у меня есть программа...» Его программа была проста: воевать нужно не с Берлином, а с Москвой. Коньком Меже был «крестовый поход против Третьего Интернационала». Когда Тесса попробовал возразить: «Увы, воюем-то мы против Германии», — Меже многозначительно ответил: «Погодите, это только первый акт...» После объявления войны он съездил в Мадрид; говорили, будто он там встречался с германским послом.

Только Дессер рассердился, узнав о назначении Гранделя: «Здесь нужен техник, специалист, а не политический интриган...» Но положение Дессера за последний год сильно пошатнулось. В финансовых кругах рассказывали о его неудачных спекуляциях. Депутаты считали, что Дессер остался в дураках: поддерживал Народный фронт, хотел предотвратить войну резолюциями Лиги Наций. Бретейль острил: «Пожарный с дамским пульверизатором...» Даже Тесса теперь относится к Дессеру как к неудачнику.

Прошел месяц. Грандель показал себя неутомимым работником. Каждый день он встречался с Бретейлем, советовался, докладывал. Грандель говорил: «Комму-

нисты... Дессер... Это — авгиевы конюшни. Прежде чем начать, нужно чистить, чистить и чистить!»

На заводе «Сэн» осталась треть рабочих. Дессер решил объясниться. Возмущенный, он вошел в кабинет Гранделя; держал в руках шляпу и палку с большим набалдашником; говоря, помахивал палкой. А Грандель улыбался, листал бумаги на столе; он наслаждался положением: еще недавно всесильный Дессер, покровитель Бриана и Бонкура, сидит перед ним как ходатай!

Дессер задыхался; он был болен, знал, что болезнь тяжелая, не лечился, пил. Его личная жизнь была запущенной и унылой, как его дела: печальные свидания с Жаннет, полные жалости и тревоги, одинокие ночи в загородном домике, мысли о смерти. Он боялся умереть, хотел преодолеть страх и не мог. Видел, как страна идет к разгрому, и мучился от своего бессилия. Еще недавно он чувствовал себя всемогущим. А теперь он оказался выброшенным из игры. Его вежливо выслушивали; но никто его не слушал. Он стал вдовствующей императрицей, биржевым академиком, осколком идиллических времен. Слушали глупого крикуна Монтиньи, Меже, способного за несколько миллионов продать родную мать, других, но только не Дессера.

Он сказал Гранделю:

— Как вы хотите, чтобы я сдал в ноябре заказы, когда у меня не осталось рабочих? Войны еще нет, а все квалифицированные рабочие на фронте.

— Это печально, но я не вижу другого выхода. Мы не можем поставить рабочих в привилегированное положение. Наша страна земледельческая. Что скажут крестьяне? Они должны умирать, пока рабочие зарабатывают вдвое? Нельзя выиграть войну, пренебрегая элементарной справедливостью.

— А сорокалетние? Эти не на фронте. Механики моют стекла в казармах.

— Мы не можем выделить рабочих...

— Я вас спрашиваю — нужны вам моторы или нет? Интересно, как вы собираетесь воевать без авиации? А если вам нужны моторы, верните рабочих. Вчера на заводе «Сэн» снова арестовали двести человек...

— Проказу не лечат бальзамом. Мы теперь расплачиваемся за времена Народного фронта...

— При чем тут Народный фронт? — Дессер махал палкой, будто собирался ударить Гранделя.— И потом, вы прошли в палату как кандидат Народного фронта...

— Насколько я помню, господин Дессер, вы не пожалели денег, чтобы обеспечить победу Народного фронта.

Дессер посмотрел на Гранделя: красивое лицо, с тонкими бровями, с точеным носом, с холодной, еле заметной улыбкой, еще больше его разозлило.

— Я тоже помню... Все помню... И бумажку Фуже...

Грандель не изменился в лице; все так же улыбаясь, он сказал:

— Во время войны дуэли неуместны. Поэтому попрошу вас удалиться.

Уходя, Дессер уронил шляпу, закашлялся. А Грандель делал вид, что читает рапорт.

Вечером у Гранделя был прием. На приглашениях стояло: «Ужин солдата». Гостям подали сальми из фазана на грубых оловянных тарелках; превосходное «Оспис де бон» пили из жестяных кружек. Принимала Муш. После разрыва с Люсьеном она долго хворала, ездила в Альпы. Она все еще была красива, но теперь это было прелестью раннего увядания; в каждом жесте сказывались грусть и болезнь.

Когда все разошлись, Грандель снял смокинг, жилет. На ослепительно белой рубашке выделялись тонкие черные помочи. Он сказал жене:

— За тобой, кажется, ухаживал полковник Моро. Это крупная фигура. Я не удивлюсь, если он кончит начальником штаба.

Он зевнул: устал за день. Снял аккуратно брюки и вдруг сказал:

— А все-таки мы победим...

Муш не вмешивалась в его дела. Она даже не вспоминала про злополучное письмо. Последнее объяснение с Люсьеном ее опустошило. Война, разговоры о линии Мажино и бомбардировках, карьера мужа — все это было туманной проекцией на крохотном экране. Но теперь, неожиданно для себя, она спросила:

— Кто «мы»?

Она сразу поняла, что сказала бестактность; отвернулась, ожидая оскорбления. Грандель спокойно ответил:

— Мы. Французы.

Он был игроком; вся жизнь его напоминала сдержанный шепот, проглоченные вскрики вокруг зеленого сукна. Так было в те страшные месяцы, когда он

наделал столько глупостей, чуть было не погубил себя... Он проиграл восемьдесят тысяч. Выручил его Вернон. Пришлось встретиться с Кильманом... Доставать для немцев документы... Впрочем, зачем об этом вспоминать? Он дорвался до крупной партии. Он говорил себе: «Мы победим»,—но в точности не знал, о какой победе думает. Сказал вслух—Муш или себе:

— Глупый вопрос!.. Дураки хотят переспорить судьбу. Это как с рулеткой: они ставят на тот же номер. А надо менять, почувствовать, где счастье, пойти ему навстречу... В этом весь фокус...

4

Даже Монтиньи ворчал: «Одно дело арестовывать коммунистов, другое—посылать стариков в казармы. У меня не хватает рабочих». В кулуарах палаты вопрос о военной промышленности стал модным; его подхватила скрытая оппозиция.

Говоря с Дессером о «справедливости», Грандель повторял слова Бретейля. Грандель крестьян ненавидел и боялся: «Это не люди, но репа, корнеплоды...» А Бретейль твердо верил, что беда Франции в гипертрофии промышленности, в росте городов. В деревнях скучно, нет кино, работа тяжелая, и молодежь уходит... Сколько во Франции брошенных деревень! Разваливаются дома, гниют амбары, дичают плодовые сады. Отсюда—коммунизм, Народный фронт, безбожие, развал. Бретейль думал, что война выдвинет крестьян на первое место, и он подсказал Гранделю: «Никаких поблажек рабочим».

Все же пришлось уступить. В конце октября правительство решило откомандировать сорокалетних рабочих, занятых в военной промышленности.

Среди них оказался Легре. В самом начале войны его отправили на юг. Возле Тулузы он охранял мост, по которому когда-то проходила узкоколейка. Ветку давно упразднили, и мост порос желтым душистым кустарником. Но пункт числился в списках военного округа; и два месяца Легре глядел на лужайку с пятнистыми коровами.

Он много передумал за это время. Вспоминал ту войну, Аргонский лес, сапы, лазареты. Как будто это было вчера! А недавние события казались ему тусклыми, призрачными. Между двумя войнами прошел

один день... Тогда они думали, что люди поумнели, рассчитаются с виновниками войны. Одни верили в Вильсона, другие повторяли: «Ленин... Ленин...» Если бы тогда им сказали — через двадцать лет снова!..

Легре тосковал о Жозет. Так и не суждено ему узнать счастье! Летом они решили пожениться, присматривали квартиру. А теперь конец... Отца Жозет арестовали. Она уехала в Безансон к сестре; пишет короткие грустные письма. Ночью, глядя на частые звезды юга, Легре вспоминал Жозет и уныло, громко зевал.

На заводе он не нашел своих старых друзей: Мишо и Пьер были на фронте. Вечером Легре отправился на розыски; заходил в кафе, где собирались товарищи; побродил вокруг закрытой библиотеки; поехал в Монруж, потом в Вильжюив. Он никого не встретил: одних арестовали, другие прятались.

Легре был одинок, растерян. Он не знал, что делает партия, и это было как слепота. С ненавистью он отбрасывал газеты, которые писали, что коммунисты — предатели, что русские сражаются на линии Зигфрида, что Морис Торез убежал в Германию. В Тулузе говорили, будто выходит «Юманите» — печатают в подполье. Но как ее раздобыть?.. Рядом с Легре работали новички: они подозрительно на него поглядывали — уж не подослан ли полицией?..

Легре терялся от своей оторванности, от вынужденного бездействия. Это продолжалось четыре дня. На пятый его арестовали.

Он провел ночь в крохотной камере. Кого только там не было! Политические и сутенеры, немецкие эмигранты и евреи из Польши, остряки, которых схватили за анекдот об аперитивах Даладье или о любовных похождениях Тесса, обыватели, поплатившиеся за панический вздох: «молока не будет» или «призовут семнадцатилетних».

Утром Легре повели на допрос. Комиссар Невилль входил в масонскую ложу и не боялся говорить, что предпочитает Эдуара Эррио Эдуару Даладье — для полицейского это было свободомыслием. Невилль знал, что Легре — один из руководителей коммунистической организации «Сэна». Если Легре отступится, это произведет впечатление. Газеты напишут: «Еще один прозревший». Тесса оценит рвение Невилля: покаявшийся стоит десяти грешников... И Невилль был отменно любезен: предложил Легре сигарету.

— Я — чиновник,— начал он,— и не имею права высказывать мои убеждения, но верьте мне, я не фашист. Я искренне радовался победе Народного фронта. Мы тогда думали, что это — прочный союз. Случилось иначе... Впрочем, теперь не до борьбы партий. Все французы должны объединиться. Вы — коммунист, но вы — француз. Вы были ранены на войне. Я не могу вас рассматривать как изменника.

Он ждал, что скажет Легре; но Легре молча мял кепку и оглядывал стол, заваленный синими папками.

— Что же вы молчите?

— Не знаю, право, что сказать. Вы сами сказали... Я был коммунистом, ну и остался.

— Я понимаю ваше упрямство, оно продиктовано благородными соображениями — не хотите изменить товарищам. Но, мой друг, теперь не до щепетильности. Вы были игрушкой. Вас обманывали, говорили о патриотизме, призывали бороться с фашистами. А теперь?.. Морис Торез — дезертир.

— Положим, дезертиры не мы, это вы оставьте. Где теперь Морис Торез, я не знаю. Только уж не в Германии, как пишут ваши газеты! Я думаю, он издает «Юма». Это настоящее дело. А где дезертиры, я знаю. Мюнхен, кажется, помню. И как с Испанией было... Наши там дрались против фашистов, а Бонне помогал врагам Франции, это даже дети знают. Я вас слушаю и удивляюсь: вот вы говорите «фашисты»... Да вы их всегда защищали с дубинками. А теперь фашисты у власти.

Невилль снисходительно улыбнулся:

— Вам сорок три года, а пыл юношеский... Это похвально. Жаль только, что не хотите расстаться с шорами. Ваша партия вам изменила. Она добивается победы Германии.

— Никогда я этому не поверю!

— Тогда чего же они хотят?

Легре насупился:

— Какие теперь лозунги, я не знаю. Это вы постарались — «Юма» закрыли, похватали всех честных людей. И меня хотите сбить с толку. Но кое-что я сам соображаю. Кто теперь травит коммунистов? Даладье, Тесса, Виар, Бретейль, Лаваль — словом, вся шайка. Значит, коммунисты не изменили — враги-то старые... Вот если бы Лаваль закричал: «Браво, коммунисты!» — здесь бы я задумался. А теперь все в порядке.

Невилль бросил недокуренную сигарету и позвонил: «Уведите».

Легре, вместе с другими коммунистами, отправили в концентрационный лагерь. На узловой станции Нуази-ле-Сек поезд, в котором везли арестованных, простоял свыше часа. Жандармы не подпускали к нему публику, объясняли: «Везут дезертиров». Солдаты и женщины злобно поглядывали на вагоны: «Шкурники! Другим, значит, умирать?..» Кто-то крикнул: «Трусы!» Тогда Легре запел «Интернационал». Люди на платформе, удивленные, замерли. А из вагонов кричали: «Мы не дезертиры! Мы рабочие, коммунисты». После «Интернационала» запели «Марсельезу». Солдаты на платформе подхватили припев. Напрасно жандармы пытались оттеснить народ. Высунувшись в окошко, Легре кричал:

— Я на той войне ранен был, на лице печать, они этого не сотрут... А сняли меня с авиазавода. Везут нужники чистить. Вот где изменники — Бонне, Тесса, Фланден!.. А за нашу Францию мы на смерть пойдем!..

Он поднял кулак — полузабытый грозный жест, память о тридцать шестом, о великой несбывшейся надежде. Жандармы его оттащили. Поезд тронулся. Но тогда поднялись сотни кулаков: женщины и солдаты провожали осужденных.

5

Арестовывали по спискам, по доносам, по наитию. Один преступник поднял кулак, другой насвистывал «Интернационал», третий повесил у себя изображение Кремля. Читая сводки полиции, Тесса разводил руками: куда только они не проникли! «Союз любителей рыбной ловли в Ньевре», «Шахматный кружок департамента Вар», «Общество альпинистов Гренобля» оказались филиалами коммунистической партии. Тесса говорил себе: «Да, это сила! Теперь понятно, что они могли увлечь наивную Дениз».

Бретейль требовал расстрела депутатов-коммунистов. Тесса отвечал: «Осторожней, мой друг! Как-никак, это — народные избранники». Тесса боялся создать прецедент... Он питал чувство профессиональной солидарности к арестованным депутатам; хотел их спасти: «Подпишите, что вы отрекаетесь от Третьего

Интернационала, и вы сохраните мандаты». Узнав, что арестованные упираются, он вышел из себя: «Фанатики! Я сделал для них все, что мог».

Пришлось выдержать атаку Фуже. Кулаки марсельцев ничему не научили сумасброда; он заявил: «Преследования коммунистов деморализуют армию». Тесса крикнул: «Значит, вы за Гитлера?» Депутаты зааплодировали, и Фуже сошел с трибуны под дружный свист.

Никогда Тесса так не трудился; редко вырывал он часок для Полет, в изнеможении спрашивал себя: может быть, бросить все? Зачем притворяться? Он стар. Сколько ему осталось жить? Но тотчас отгонял эти мысли. Разве Клемансо в преклонном возрасте не спас Францию?.. Тесса казалось, что он — наследник Клемансо. Его статуи будут красоваться на площадях. Он как-то сказал Полет: «Улица Тесса — это звучит неплохо...»

Тесса приходилось заниматься стратегией, экономикой, даже механикой, говорить о запасах хлопка, о новых бомбардировщиках, о торговом договоре с Венесуэлой. Все приходили с претензиями, жаловались на беспорядок. Прежде он имел дело с депутатами или финансистами. Теперь он должен был выслушивать военных: не понимая терминов, не знал, как подойти к человеку, что обещать, чем развлечь. Он говорил: «Армия — иной мир»,— а про себя добавлял: «низший».

Узнав о предстоящем визите генерала де Виссе, Тесса нахмурился. С этим ворчуном, кажется, трудно сговориться!..

Генерал де Виссе выдвинулся в пятнадцатом году; он тогда командовал бригадой на Шемен-де-Дам. Раненный в ногу, он не покинул командного поста. В шестьдесят четыре года он сохранил бодрость, даже задор. Его круглое обветренное лицо с жесткими желтыми усами походило на морду бульдога. Был он человеком добрым, но вспыльчивым; покрикивал на жену, ругал адъютанта; любил только военное дело и садоводство: на досуге ходил с лейкой, подвязывал розы, прививал, обрезал ветки.

Никогда генерал де Виссе не заговаривал о политике; когда его спрашивали, что он думает о том или ином министре, отвечал: «Армия — великая немая». Одни говорили, будто он монархист и якшается с эмиссарами претендента; другие (среди них генерал Пикар) уверяли, что де Виссе чуть ли не коммунист, слушается беспрекословно Фуже и не зря расхваливает советскую

авиацию. Увидав, как де Виссе молится, Тесса искренне удивился: «Вот вам и приятель Фуже!..»

Зачем он пришел? Может быть, хочет нажаловаться на Пикара, который запретил солдатам читать левые газеты? Или потребует, чтобы утвердили институт полковых священников? Поди разберись.

Тесса усадил генерала в покойное кресло, вынул коробку с сигарами:

— «Партагас» и, кажется, свежие. Боюсь, что теперь не скоро получат новую партию: пароходы завалены другим добром. Что вас привело ко мне, дорогой генерал?

Де Виссе долго готовился к разговору; он составил дома вступление — о патриотизме, об уроках прошлой войны, о долге военного. Но теперь он забыл все, откусил кончик сигары, выплюнул его и сразу брякнул:

— Положение отвратительное — во всем нехватка! Вы знаете, сколько пулеметов на батальон?.. Я уже не говорю об авиации. Я, например, располагаю десятью бомбардировщиками. Да, да, вы не ослышались, — десятью. Нет обуви, нет одеял. А зима на носу.

Тесса сокрушенно кивал головой.

— Знаю, знаю... Это — наследие Народного фронта, платные отпуска и прочее. Но положение скоро изменится. Кое-что мы купим в Америке...

— Надо покупать, и скорей!

— Сразу видно, что вы не экономист (Тесса покровительственно улыбнулся). Покупать самолеты в Америке исключительно невыгодно. Куда остроумней выписать оборудование. Мы экономим на каждом моторе. Да и промышленники волнуются. Меже — против, говорит, нельзя посягать на национальную индустрию. Но я повторяю — кое-что мы купим в Америке. Разместили некоторые заказы в Италии. К весне сорок первого года...

Генерал перебил:

— А если они начнут весной сорокового?

— Вы лучше меня знаете, что взять линию Мажино невозможно.

— Ничего нет невозможного. Все зависит от того, сколькими людьми они решат пожертвовать. Потом, линия Мажино не защищает нас с севера.

— А форты Льежа, канал Альберта? Если бельгийцев тронут, они будут драться, как львы: это рыцарский народ.

— Может быть. Но нельзя полагаться на других. Мы должны укрепить северную границу.

— Для этого нужны годы. И мы обязаны соблюдать экономию. Войну выиграет тот, у кого будет больше золота.

Тесса снисходительно смотрел на собеседника: ребенок! Лицо генерала побагровело. На груди ходили ленточки орденов.

— Я человек военный, мое дело повиноваться. Но я не могу молчать... Генерал Пикар твердит, что необходима тяжелая артиллерия к сорок второму году: брать линию Зигфрида. А вы видали, что произошло в Польше? Какие у них моторизованные части, видели? Они могут попытаться прорвать фронт. На коротком участке. И вот мне говорят, что производство противотанковых орудий не только не увеличилось — понизилось. Почему? Да потому, что рабочих отправили в концлагеря. Я видел — они там мешки делают. Хорошо еще, что не бонбоньерки. Я был у Гранделя. Он говорит: «Не ранее сорок второго года...» Господин министр, это катастрофа! Почему квалифицированные рабочие...

Тесса рассердился:

— Напрасно вы слушаете Фуже. В лагерь посылают только коммунистов. Я не вмешиваюсь в стратегию, оставьте политику!

— При чем тут политика? Я говорю об орудиях, о самолетах.

Тесса встал, прошелся по кабинету, вытянул руку и проникновенно, как будто перед ним присяжные, сказал:

— Я видел, как вы молились. Не скрою — я был потрясен. Лично я вырос в свободомыслящей семье, но я уважаю религию, понимаю чувства верующего. Скажите, как можете вы, католик, заступаться за коммунистов?

— Я не за коммунистов заступаюсь. Мне доверена армия. Религия тут ни при чем. Кто будет отвечать? Мы, военные. Я ненавижу немцев. Это вам понятно? И вот они могут прийти сюда, в Париж. Да я согласен посадить на заводы не только коммунистов — черта, лишь бы у нас было снаряжение!..

— Вы напрасно волнуетесь. Не учитываете специфики этой войны. Это скорее вооруженный мир. Не знаю, зачем Гамелен погубил столько жизней в Варнадтском лесу. Франция — страна низкой рождаемо-

сти, мы должны вдвойне экономить... Красивые жесты обходятся слишком дорого. А война решится иначе. Блокада — вот наше оружие! Причем расплачиваются англичане. Кого топят немцы? Англичан. Нам это только выгодно: пусть Англия придет на мирную конференцию сильно потрепанной. Блокада — чудовищный пресс: мы его закрутим, но не слишком. Было бы ошибкой довести немцев до отчаяния — тогда они могут действительно полезть на линию Мажино. Необходимо их припугнуть, и они станут сговорчивей. Почему мы воюем против Германии? Это роковое недоразумение, и только. Простите, я привык говорить прямо. Военные должны стушеваться: эту войну выиграют не генералы, а дипломаты.

Рассказывая потом о беседе с министром, де Виссе кричал: «Выпроводил меня, как прислугу,— не вашего ума дело!.. В Америке покупать не хотят — дорого. Здесь ничего не делают: рабочие — коммунисты. И воевать не собираются — армия должна сидеть смирно. А чего они хотят? Вот и поймите!..»

В тот вечер Тесса обратился по радио к стране. Он не любил говорить в микрофон: его расхолаживало отсутствие глаз, которые загораются или покрываются влагой сочувствия. Когда пришли операторы, Тесса позвал старого курьера.

— Морис, посиди здесь, пока я буду читать. Твое лицо меня вдохновляет.

Морис улыбнулся и замер. А Тесса, кокетливо улыбаясь, восклицал:

— Рубикон перейден! Наша война — крестовый поход двадцатого века. Мы обнажили меч за высокие моральные ценности, за христианский гуманизм, за очеловечение грубой механики. Наш меч — страшный меч. Я не раскрою перед неприятелем военной тайны, сказав, что никогда небо Франции не видало столь мощного воздушного флота. Никогда наша земля не сотрясалась от таких полчищ танков. Мы работаем не останавливаясь, день и ночь, чтобы еще усилить гигантскую броню. Нам помогают наши доблестные союзники — англичане и великая заатлантическая демократия. Но главная наша сила — наш дух, братство, которое вяжет людей всех партий, всех классов, единство нации, ее воля к победе. Французы, мы не вложим меч в ножны, пока не сразим заклятого врага цивилизации!

Морис боялся шелохнуться. Он сидел на кончике стула все с той же искусственной улыбкой; ему казалось, что его фотографируют.

6

Штаб армии помещался в усадьбе богатого эльзасского фабриканта. Это был поместительный дом с зимним садом и с бильярдной, где у офицеров по вечерам происходили турниры. В библиотеке офицеры сидели над картами. Канцелярия находилась в бывшей детской; там стучали без умолку ундервуды, на стене еще висел мышонок из фильма, а под ним работала машинистка Люси, с соломенными волосами и с длинными ресницами, выкрашенными в фиолетовый цвет. За ней волочился любимец генерала, майор Леруа.

Хозяин усадьбы любил безделушки; на письменном столе, за которым работал генерал Леридо, стояли чернильница в виде Пизанской башни, пингвин из копенгагенского фарфора и часы с различными циферблатами, показывающими время Парижа, Сан-Франциско и Токио. Работая, генерал отодвигал пингвина: боялся разбить. Он не выносил ущерба; его оскорбляли чернила, пролитые на паркет, или солдатские сапоги, примявшие газон.

Казалось, человек с таким характером должен был выбрать другую карьеру; но в семье Леридо все были военными. В четырнадцатом году Леридо командовал полком; показал себя исполнительным; дошел до генеральского чина. Он умел ладить с начальниками и с подчиненными, не вылезал вперед; называл себя учеником Фоша; говорил: «В нашем деле самое главное — спокойствие, чувство меры». Неизменно любезный, гладко выбритый, пахнущий одеколоном, он всем нравился, всех успокаивал. Его несчастьем был низкий рост; он не позволял фотографам снимать его, когда кто-нибудь стоял рядом.

Успеху Леридо способствовала его тактичность. Он ненавидел депутатов, но когда штатские при нем заговаривали о политике, отвечал: «Я доверяю избранникам нации». С Леридо ладили все: Бретейль, Дюкан, Виар. Он охотно беседовал с ними о роли, сыгранной семидесятипятимиллиметровыми орудиями в Марнской победе, или о красоте классической поэзии. Он

обожал литературу; покупал роскошные издания Расина и Корнеля и даже напечатал лет тридцать тому назад статью в провинциальном журнале — «О некоторых погрешностях Стендаля», посвященную разбору «Пармской обители» с точки зрения военной науки.

Свое дело Леридо любил; но война его огорчала хаотичностью — все, что на маневрах было совершенным, искажалось тысячами случайностей. И за три последних месяца он осунулся, постарел. Жаловался на боли. Врач говорил: «печень», но Леридо приписывал болезнь событиям. Все его смущало: фронт был коротким, и он не знал, что делать с частями, приговаривал: «Горе от избытка, вот что...» Люди спали под открытым небом; в ноябре начался грипп. Офицеры побаивались солдат, не проводили учений, а солдаты томились и пьянствовали. Когда Леридо говорили: «Гамелен накапливает тяжелую артиллерию для атаки против линии Зигфрида»,— он вздыхал: «У командиров нет револьверов, вот что...»

Он строго следил за распорядком дня в штабе. Все вставали в шесть часов. Полковник Моро принимал рапорты. Майор Леруа читал скучные газеты, стараясь заглянуть в канцелярию, где стучала на машинке Люси. Майор Жизе распекал интендантов. Полковник Жавог изучал карты. А капитан Санже, лысый и мечтательный, вздыхая про себя о парижских кабачках, докладывал генералу: «В Цвинкере два солдата ранены... Против Шестнадцатой дивизии замечено передвижение, немцы подвезли сто восемьдесят шестой полк... Вчера действий авиации противника не замечено... В Танвилле открыли лазарет для венериков...» Генерал, отодвигая пингвина, бормотал: «Вот что!..» За стол садились ровно в двенадцать.

Сегодня подали страсбургский паштет из гусиных печенок. Полковник Моро сказал:

— Дары местных богов.

Генерал вздохнул: врач посадил его на диету. Чтобы утешить себя, он заметил:

— Самое полезное — салат. С возрастом человек становится травоядным существом. Это естественно...

Поспешно проглотив кусок паштета, капитан Санже поддержал:

— Конечно...

Поговорили о том, что Гитлер — вегетарианец. Генерала это удивило; он долго приговаривал: «Вот

что... Интересная черта...» Потом майор Леруа стал излагать содержание газетных обзоров.

— В центре внимания Финляндия. Все спрашивают, что будут делать русские.

Генерал оживился:

— Очень интересно! Конечно, они могут начать обходное движение, попытаться выйти к Ботническому заливу, чтобы отрезать Хельсинки от Швеции. Могут предпринять и лобовой удар на линию Маннергейма. Посмотрим, посмотрим... (Война в Финляндии была для него стратегической задачей; она как бы возвращала его к уюту парижского кабинета, и он меланхолично вздохнул.) А что пишут о наших делах?

— Мало. В «Эпок» цензура вырезала две колонки...

— И хорошо сделала. Наверно, статья Кериллиса или Дюкана. Не понимаю, как им позволяют писать!

Полковник Моро был близким другом генерала Пикара; оба ненавидели Дюкана. И полковник сказал:

— Мне пишут из Парижа, что Дюкан собирался сюда. Только его не хватало!..

Генерал, сердясь, всегда облизывал губы. Так он поступил и теперь:

— Ни в коем случае! Даладье может нас избавить от подобных сюрпризов. Дюкан способен заразить всех своей паникой... Я сам слышал, как он кричал: «Немцы весной предпримут решительную операцию...» Что вы хотите, человек когда-то был летчиком, но в стратегии неуч, отстал, ничего не видит. Для него линия Мажино — это полевые укрепления на Эне или на Сомме... (Он тщательно выбрал грушу — долго ощупывал ее, проверяя, спелая ли, потом маленьким ножом осторожно снял кожу, вытер пальцы, залитые душистым соком.) Когда ножик входит, как в масло, груша всегда хорошая... Попробуйте, майор. (Он протянул Санже половину груши.) А в болтовне Дюкана сказывается влияние полковника де Голля. Я прочитал его записку... Гамелен прав: это фантазер. Не хочет понять, что немцы блефуют. Валит все в одно: Польшу, Испанию, где против регулярной армии сражались анархисты, наш фронт... Вообще плохо, когда люди, вместо классиков военной науки, питаются газетными сенсациями. Такой де Голль считает себя новатором. На самом деле он рутинер. Он видит перед собой Седан или наполеоновские войны. Забыл про опыт мировой войны. Думает, что танки будут носить-

ся по Европе, как когда-то носилась кавалерия. А эпоха молниеносных войн миновала. Мы вернулись к длительным осадам стран. Это Троянская война, вот что...

Он аккуратно свернул салфетку, надел на нее кольцо и встал. Кофе подали в гостиной. Полковник Моро сказал:

— Генерал Моне запрашивал... Они хотят провести нечто вроде маневров — приучить солдат к действию пикирующих самолетов.

Слово «маневры» напомнило Леридо мирное время, но тотчас он нахмурился: этот Моне опять что-то придумал!.. Выскочка, всегда хочет опередить других!.. А полковник Моро продолжал:

— Префект против. Дело в том, что за Мюнстером население не эвакуировано, крестьяне боятся, как бы не пострадали виноградники...

Генерал кивнул головой:

— Я вполне согласен с префектом. Мы должны быть особенно внимательными к эльзасцам. Все это вздорная затея... «Пикирующие самолеты»!.. Да, в Польше или в Испании, когда нет зениток... Они клюют на немецкую удочку, поддаются любому паническому слуху. Так и сообщите генералу Моне... Обычные занятия, не больше... Притом надо дать людям отдохнуть.

После завтрака генерал с капитаном Санже отправились на позиции. Шофером у Леридо состоял сын промышленника Меже, молодой спортсмен, благодаря положению отца откомандированный в штаб армии. Меже гнал машину, и Леридо приговаривал: «Тише, мой друг, вот что...»

Леридо любил поговорить с шофером: Меже знал все, что случается окрест.

— Какие новости, мой друг?

— Все спокойно, господин генерал. В Мюнстере я разговаривал с нотариусом: он приезжал из Периге за вещами. Он говорит, что на эльзасцев произвел тяжелое впечатление процесс Россе.

— Я так и думал. (Леридо обратился к Санже.) В Париже они ослеплены. Да если Россе и был связан с немецкой разведкой, теперь не время это выволакивать... Зачем углублять политические распри? (Генерал слегка повернулся к шоферу.) Вы ездили с полковником на позиции?

— Мы были, господин генерал, в Эрштейне. Майор Лесаж жаловался: солдаты там распустились.

Меже хотел рассказать, что майора Лесажа солдаты вымазали коровьим навозом, но вовремя спохватился: это выведет генерала из себя. Меже только усмехнулся, вспомнив, как визжал бедный майор. А Леридо сказал:

— Ничего не поделаешь, люди скучают. Нужно организовать разумные развлечения.

Они въехали в Страсбург. Город был пуст. В киосках за стеклом висели газеты от последних чисел августа. На террасах кафе стояли мраморные столики, соломенные стулья, как бы поджидая посетителей. Портал собора был прикрыт мешками с песком. Часы на площадях все показывали разное время. Увидев в витрине сиреневый пеньюар, генерал вздохнул: такой пеньюар у Софи... Леридо четыре года тому назад вторично женился на молоденькой дочери военного врача. Софи в двадцать шесть лет была рассудительной и заботливой. Когда Леридо работал, в доме ходили на цыпочках. Софи готовила его любимое блюдо: телячью голову в винегрете. Она душилась духами «Корсиканский жасмин»...

Наблюдательный пункт находился в беседке, прикрытой хвоей, над обрывом. Леридо в бинокль увидел людей возле блокгауза. Он машинально подумал: «Противник...» Потом он заметил большой транспарант: «Французы, наш общий враг — Англия!» Рядом красовались изображения Гитлера и Жанны д'Арк. Леридо поморщился: до чего это вульгарно! Вместо военных операций какая-то пропаганда. Как будто война — предвыборная кампания... А там, дальше,— дома с бурыми крышами, синий дымок, виноградники... Слов нет, странная война! Можно забыться, принять все за маневры: синие пытаются форсировать реку... А в шестнадцатом году было иначе... Леридо вспомнил развалины Перонна, щебень, воронки, кости. Это не повторится. Тогда мы начали войну с песнями и красными штанами «пью-пью». Теперь у нас линия Мажино.

Леридо шел по размытой дорожке. Пахло сырой землей. Показалось мутное зимнее солнце. Вдруг он услышал музыку: Шуберт. Эту вещицу играла Софи...

— Что это?

Полковой командир отрапортовал:

— Громкоговоритель: заглушаем немецкую пропаганду. А противник слушает знакомую музыку. Мы им показываем, что ничего не имеем против немцев.

Леридо одобрил:

— Прекрасно придумано.

— Нам предлагали между музыкальными номерами вставлять короткие обращения на немецком языке. Так делают в Двадцать седьмой дивизии. Но я нашел это неудобным.

— И правильно сделали: на войне нужно воевать. Предоставим политику политиканам. Что же, у вас целый день концерт?

— Сегодня с семи часов утра до семи сорока была артиллерийская перестрелка. Их батареи находятся...

— Знаю, знаю... Имеются жертвы?

— Три солдата убиты, один сержант тяжело ранен.

На минуту воцарилась тишина. И тотчас с того берега донеслось по-французски:

Так за вашими спинами
Подписали условье:
Англия платит машинами,
Франция—кровью...

Поехали дальше, в штаб Двадцать седьмой дивизии. Леридо хотел проверить—правда ли, что там занимаются политической пропагандой?.. Но он забыл про громкоговорители: его ожидало важное известие—утром возле Эрштейна разбился немецкий истребитель. Летчик погиб; на трупе нашли документы—лейтенант Карл фон Ширау.

Леридо распорядился устроить торжественные похороны.

— Вот вам настоящая пропаганда! Мы покажем, что умеем уважать противника. Я пришлю полковника Моро. (Он задумался.) Вы говорите: фон Ширау?.. фон... Наверно, из аристократической семьи... Это может произвести в Германии большое впечатление... Я постараюсь тоже приехать...

Леридо осмотрел госпиталь. Зашел в барак. Солдаты быстро прикрыли шинелью игральные карты.

— Что, дети мои, отдыхаете?

— Так точно, господин генерал.

Леридо не знал, что сказать, и вышел. В дверях он услыхал:

— Генеральчик с пальчик!..

Леридо однажды уже слышал это обидное прозвище—в Париже на улице. Но он не думал, что здесь, на фронте, кто-то посмеет над ним глумиться. Наверно, коммунист... Он облизал губы, и капитан Санже

вздохнул: он собирался вечером завести разговор о трехдневном отпуске.

Поехали назад: всю дорогу Леридо переживал обиду. В вестибюле стояло большое зеркало; пройдя мимо, генерал отвернулся. Он вызвал полковника Моро:

— В Двадцать седьмой дивизии царит распущенность. Солдаты производят отвратительное впечатление, вот что... А генерал Моне, вместо того чтобы подтянуть людей, занимается пропагандой... Передают немцам какие-то политические речи, наверно эмигрантов, коммунистов... Мы сейчас составим записку главнокомандующему, копию Даладье...

Полковник вздохнул: он собирался сегодня взять реванш у майора Жизе—две партии по сто очков... А капитан сказал Леруа:

— Губы лижет... Там кто-то крикнул «с пальчик»... А я думал завтра съездить в Париж. Ну и жизнь!..

Пробило шесть часов. Канцелярия опустела. Только Люси еще работала. Наконец она отстучала: «Дюбуа Пьер, сержант», сложила копирки, покрыла машинку чехлом и, осторожно озираясь, прошла наверх—ее ждал майор Леруа.

— Деточка, давайте представим себе, что мы в Венеции, в гондоле...

7

Дождь зарядил с утра, длинный дождь гнилой зимы. Скучно было глядеть на серо-желтое пухлое небо. И Пьер разглядывал свои рыжие, промокшие насквозь ботинки. Он теперь часто глядел в одну точку, казалось, что-то высматривает; но он ничего не видел. Он и не думал ни о чем. Все происходящее вокруг было смутным, хотелось потрогать себя, крикнуть, проверить—не спит ли он. Да ничего и не происходило: солдат Тридцать девятого полка мок под дождем, слушал то рапсодии Листа, то брань сержанта, изредка прерываемые грохотом снарядов. За всем было нечто страшное: об этом Пьер не смел думать.

Это началось в горячий день августа. А проснувшись на следующее утро, он радостно потянулся: Аньес варила кофе, на полу играл Дуду, и его рыжая лошадка браво гарцевала, вся залитая солнцем. Но сейчас же Пьер вспомнил...

С тех пор он жил в оцепенении, не мог выпрямиться, молчал. А он был создан для громкой жизни.

На родине Пьера сейчас тепло; цветут розовые декабрьские розы; вдали видна, вся обожженная, рыжая гора Канигу. Когда-то он на нее взбирался... А дождь будет идти весь день, завтра, послезавтра. И скоро в несвежей вате неба ангелы хрипло, как громкоговоритель, завоют: «Сла-а-а-ва в вышних».

Перед отъездом Пьер бродил, как осужденный. Аньес видела, что он погибает, искала выхода.

— Пьер, уедем куда-нибудь далеко, в Америку. Будем работать.

Он покачал головой.

— Всем плохо. Что ж я буду спасать шкуру? А того, что было, все равно не вернешь.

Говоря так, он думал о днях Народного фронта.

Прежде ему казалось, что он участвует в событиях, отвечает за них. Даже после предательства Виара он мог сказать: «Я переправляю самолеты...» А теперь он был деревом, помеченным дровосеком, колесиком, неспособным и своей гибелью замедлить ход машины.

В день отъезда они чуть не поссорились. Нахмурив лоб, Аньес сказала:

— Но вы этого хотели...

Он вскипел:

— Не этого! Это — не наша война.

Для Аньес война была войной: снаряды, грязь, кровь, смерть. Как он мог ей объяснить, что сентябрь тридцать девятого года не похож на сентябрь тридцать восьмого? Она возражала: «Софизм, политика, игра». А для него это было правдой. По-другому зазвенели шаги запасных. Никто не пел. Была на лицах покорность обреченных. И Пьер не видел выхода.

Он теперь понял, что отделяло его от Мишо. Давние споры не были случайными. Мишо — крепкий, его можно сломать, тогда он упадет, как упал вчера Жюль. Но Мишо нельзя согнуть: он усмехнется, скажет: «И еще как!», выстоит. Где он теперь? Мокнет под дождем? Посадили? Как хотел бы Пьер с ним поговорить! Но нет, и Мишо не помог бы... Мишо ответил бы: «Надо глядеть вперед... Диалектика событий...»

Пьер был одинок. Его всунули в роту, составленную из бретонских крестьян, богомольных и пугливых; им сказали, что Пьер — анархист, безбожник, в Испании он жег церкви. Лейтенант Эстерель, уродливый

гном, был одним из «латников» Бретейля; он обожал поэзию, говорил, что «нищета романтична» и что в фашизме «мистическая сущность». Лейтенант презирал своих солдат: они пахли по́том, плохо говорили по-французски, верили в ладанки с изображением Святого Геноле. Пьера он боялся, предостерегал других офицеров: «Такой способен выстрелить в затылок...» Его оскорбляло, что Пьер — инженер, что он ходил в театр «Ателье» и читал стихи Элюара.

Пьер подружился с единственным парижанином Жюлем, который работал прежде на газовом заводе. Это был неисправимый балагур. Он корил Пьера: «Нельзя вешать нос на квинту. И не то бывало... Сейчас, наверно, Морис Торез думает. И придумает. А я пойду на охоту — здесь куриным пометом пахнет. Давненько я не ел хорошей яичницы». Он смешил Пьера: «Я оптимист. Посмотрим на события с точки зрения свиньи. До войны свиней кололи семь дней в неделю. А теперь по понедельникам и вторникам запрещено продавать свинину. Значит, не пройдет и ста лет, как свиньи добьются неприкосновенности личности, увидишь!..» На минуту Пьер выходил из своего полусна, смеялся. И вот Жюля убили.

Письма Пьера были короткими: он не знал, что рассказать Аньес. О дожде? О шутках Жюля? О том, как Жюль, умирая, почему-то повторял: «Брюква...»? О лейтенанте Эстереле, который читает стихи Валери и боится, проходя, задеть солдатскую шинель? Аньес заполняла письма вопросами о здоровье Пьера или рассказами о проказах Дуду. Им столько нужно было сказать друг другу, но оба онемели. Пьер часто думал об Аньес — прямая дорога в белый июльский день: слепит... Иди, и ты обязательно дойдешь... А у него тропинки... Неразбериха!.. Вот и заблудился...

А дождь никогда не перестанет! Пьер вспомнил дождливый вечер на тулузском аэродроме. Как он тогда мучился! Теперь и боли нет: умирание под хлороформом. Шинель пахнет мокрой псиной: это еще живой запах, надо им дорожить, за ним — ничего. Патефон... Говорят, это чтобы немцы не скучали... Шутники!

Его вызвал лейтенант Эстерель.

— Отнесите капитану Жемье.

— Слушаю, господин лейтенант.

Он взял книгу. Лейтенант хотел унизить Пьера: коммунист, наверно, признает только пролетарских

поэтов... Пускай прогуляется! До фермы, где стояли артиллеристы, было четыре километра. Капитан Жемье тоже был эстетом, просил: «Пришлите что-нибудь почитать. Я со скуки составляю словарь рифм».

Забравшись под навес, Пьер раскрыл книгу. Стихи... Он не поглядел, кто автор.

Бывает — радости наперечет.
Не зацвести ему, но он живет...

И захлопнул. Ему показалось, что его окликнула Аньес, подошла, провела рукой по мокрой щеке. Рука горячая... А с лица падали капли дождя.

Он пошел дальше по крутой дорожке между виноградниками. Ферма была скрыта маленькой рощицей. Направо осталась церковь... Петушка на колокольне сбили... Пьер обогнул воронку; машинально подумал: «Пристрелялись...» И свернул с дороги.

Он отдал книгу близорукому застенчивому капитану, выпил с артиллеристами кувшин молодого кислого вина, пошел назад. Вот так штука — дождь перестал!.. Громкоговорители смолкли на час раньше обычного. Прошумел внизу ружейный выстрел, но остался без ответа. Воцарилась тишина. Пьер смутно повторял: «Бывает — радости наперечет...» Вечером будет письмо от Аньес. Потом — сенник, душное животное тепло, уютный храп рыжего Ива...

Вдруг в тишину ворвался грохот. Это приключалось по два раза в сутки, но Пьер никак не мог привыкнуть к первому разрыву: мир сразу менялся, раздирали воздух... Сейчас ответят наши... Пьер пошел в сторону и присел на корточки: мокро... Придется просидеть час. Зато вечером будет письмо...

Он не осознал второго разрыва; только подскочил — осколок попал в пах. Полчаса спустя его подобрали артиллеристы.

Очнулся он под утро; увидел невыносимо четкий свет лампочки без абажура и сейчас же закрыл глаза. Медленно припоминал: книга, артиллеристы, вино, снаряд... Он, кажется, ранен... Может быть, умирает?.. Нет... Спит?.. Он захотел повернуться на правый бок — всегда так спал, но вскрикнул. Значит, умирает... Нужно вспомнить что-то очень важное... Напрягаясь, он вспоминал сам не знал что. Хотел увидеть Аньес, как увидел ее под навесом, и не мог — лица не было. Он только повторял, чтобы успокоить себя, имя:

«Аньес!..» Подошла сиделка, поправила подушку. У сиделки лицо было длинное, как черта; он подумал: «Чужая». Потом увидел на одеяле яркую игрушку. Это была песочница, красная с едкими зелеными полосками. Он сидел на куче песка. Из песочницы выходили пирожки. Нет, рыбы... Или, может быть, карлик с длинной бородой?.. Песок был сухим, формы распадались. Он крикнул: «Почему сухой?..» Сиделка подошла с мокрым полотенцем, положила его на лоб Пьера, он не почувствовал — снова впал в забытье.

А под окном гремела музыка: третий батальон салютовал убитому немецкому летчику. Генерал Леридо произнес речь:

— Мы преклоняемся перед останками воина... Любовь к отечеству... Чувство долга...

И снова пошел дождь, еще сильнее, чем вчера, будто он хотел наверстать потерянное.

Письмо от Аньес пришло, как и думал Пьер, вечером. Оно пролежало в канцелярии три дня; его отослали с пометкой: «Адресат скончался».

8

Цензуру называли «теткой Анастасией», и Жолио жаловался, что эта тетка загонит его в гроб. Газета выходила с белыми пятнами. Нельзя писать, что в Вогезах стоят лютые холода, что итальянцы устроили германскому послу овацию, что чилийское правительство приютило испанских беженцев. Жолио разводил руками:

— Осталась одна тема — бром!..

Говорили, будто солдатам в кофе подмешивают бром, чтобы они не тосковали по женам. И Жолио поместил в своей газете куплеты:

Гретхен, я у вашего дома
Без брома, без брома, без брома!..

Закат Дессера вынудил Жолио искать нового покровителя. Бретейль свел его с Монтиньи. «Ла вуа нувель» не впервые меняла направление; но на этот раз Жолио загрустил: Дессер умел жить, смягчал резкость шуткой, чек давал просто, как сигарету; а Монтиньи кричит на Жолио, как на лакея; вмешивается в редакционные дела; возмущается невинной заметкой о свадьбе какого-нибудь радикала или социалиста. А как

может Жолио рассориться со всеми? Ведь и Монтиньи не вечен...

Один из сотрудников употребил в очерке слово «боши» — так прозвали немцев четверть века назад. Монтиньи вышел из себя:

— Возмутительно! Вы апеллируете к самым низким инстинктам. Конечно, мы воюем с Германией, но это рыцарский поединок, если угодно, это историческая трагедия. Гитлер — величайший государственный ум!

Легко понять, как обрадовался Жолио, узнав о торжественных похоронах немецкого летчика. Описанию церемонии и речи Леридо была посвящена целая полоса. Но на следующий день Жолио снова томился: о чем писать? Вот уже четвертый месяц, как идет война, а ее не видно, это — война-невидимка. Солдаты умирают от гриппа. Вчера в палате огласили конвенцию с Германией о железнодорожном сообщении через Рейн; только при голосовании кто-то вспомнил, что законопроект, внесенный в парламент летом, устарел, и мосты через Рейн давно взорваны. Войну окрестили «ну-и-война». Говорят: «Как вам нравится ну-и-война?» Нравится она всем. Только писать не о чем...

Неизвестно, кто враг? Немецкие самолеты скидывают листовки, брошюры. Подбирают, говорят: «Хорошо издано...» Слушают радиопередачи из Штутгарта; там диктор — француз. Жолио его окрестил «штутгартским предателем». Кличка привилась. Но «штутгартский предатель» стал популярным персонажем. Депутаты спрашивают друг друга: «Что рассказал «штутгартский предатель» о закрытом заседании палаты?..»

И вот произошло чудо. Монтиньи поздно вечером вызвал толстяка, был весел, даже любезен, дал Жолио, не торгуясь, столько, сколько тот попросил, восторженно приговаривая:

— Политическую сторону поручите Бретейлю. И побольше анекдотов, героических штрихов, эпизодов... Пошлите лучших военных корреспондентов...

Враг наконец-то был найден. Два дня спустя военные корреспонденты выехали в Хельсинки.

Тесса пригласил к завтраку итальянского посла; расхваливал римскую кухню, пьемонтское вино, живопись Веронезе, государственный гений Муссолини.

— Вы не можете себе представить, как я был удручен, когда, несмотря на вмешательство дуче, началась война! Эти месяцы для меня были кошмаром. Как

для всех культурных европейцев... Но вот вам первый просвет: реакция на выступление Москвы показывает, что не все еще потеряно. В частности, меня ободряет позиция Италии. Говорю: «меня» — я всегда стоял за союз латинских стран. Мы — наперсники великого Рима. Что значит Данциг, да и вся Польша по сравнению с судьбой цивилизации? Скажем прямо: наш общий враг — Москва! От боев на Карельском перешейке зависит будущее не только Парижа или Рима, но и Берлина.

Все оживились. Госпожа Монтиньи организовала «северные вторники»; дамы из лучшего общества, под звуки Сибелиуса, вязали носки и наушники для финских солдат. Меже пожертвовал на «лотт» Маннергейма полтора миллиона; чек был торжественно вручен дочери финского маршала. Марсельский гангстер Билье потребовал, чтобы Московскую улицу переименовали в Гельсингфорсскую.

В соборе Мадлен служили молебен — о даровании победы финскому воинству. Бретейль горячо молился. Из церкви он поехал в редакцию «Ла вуа нувель». Он ошеломил Жолио (а толстяка трудно было чем-либо удивить):

— Сейчас же поезжайте к Виару. Пусть он напишет несколько статей о Финляндии.

Монтиньи не выносил Виара; кричал: «Это он распустил рабочих, приучил их валяться на пляжах!..» Жолио приходилось считаться со вкусами своего нового покровителя, и он избегал Виара. Как-то они встретились в ресторане «Мариус», возле Бурбонского дворца. Виар меланхолично вздохнул:

— Вы меня забыли...

Жолио запротестовал:

— Вы думаете, что я Юпитер? Я только посланник богов, Меркурий. Вы ведь знаете, что за скотина Монтиньи! То, что Дессер сдал, несчастье не только для меня — для Франции... Теперь я пишу под диктовку Бретейля. Это богомольный сухарь, злой судак. У нас в Марселе таких нет. Помесь галльского петуха с немецкой овчаркой. Я ему несколько раз говорил: а Виар?.. Увы, национальное объединение существует только на словах! Лично я вас ценю, уважаю, больше того — люблю!

Виар грустно улыбнулся и выбрал спокойный столик. Ему предстояло трудное дело — заказать завтрак согласно указанию врача. Виар носил при себе список

запрещенных блюд, сверял: щавель, помидоры нельзя, морковь можно...

И вот Бретейль послал Жолио к Виару. Толстяк всю дорогу разговаривал сам с собой — до того был потрясен. Ну и времена! Каждый день все меняется. Непонятно, кому улыбаться, кого чернить...

Виар теперь жил уединенно среди картин и книг. Он с отвращением следил за событиями, как зритель, которому показывают дурную драму,— уйти нельзя, а глядеть скучно... Говорил: «Во всем этом я не вижу никакой идеи...» С удовлетворением думал: «Мне все же повезло! Вовремя на мое место сел Тесса. Они заварили, пускай расхлебывают!..» Конечно, в парламенте Виар голосовал за правительство; дважды выступил с патриотическими декларациями; он говорил сухо, как будто повторял неинтересную цитату. «Ну-и-война» казалась ему ненужной суматохой. Вот и в Китае убивают людей. А зачем?..

Он несколько ожил, когда начались преследования коммунистов. Проснулась старая обида: коммунистов он считал виновниками своего поражения. Это они подстроили захват заводов, озлобили лавочников, толкнули Даладье в объятия Бретейля. Кричали о патриотизме, возмущались Мюнхеном, а когда дело дошло до войны,— выкрутились. Теперь рабочие говорят: «Только коммунисты против войны...» Виару это казалось хитрым предвыборным маневром; он почти машинально думал: заработают миллион голосов... Конечно, он поддержал предложение о выдаче депутатов-коммунистов; приговаривал: «Ничего не возразишь — справедливо». А узнав, что сенатор Кашен оставлен на свободе, огорчился. Кашена он ненавидел; когда-то они были в одной партии, вместе выступали на собраниях. Молодые коммунисты были людьми с другой планеты, а Кашена Виар считал изменником — культурный человек, гуманист, демократ, и остался с коммунистами!..

Каждый день арестовывали сотни людей. Кое-где в провинции стали хватать и социалистов. Виар всполошился: «Начинается реакция!» Он почувствовал себя блюстителем традиций, старым жрецом. Может быть, выступить? Но тотчас осадил себя: это будет на руку коммунистам.

Он снова замкнулся. Ему удалось приобрести маленький натюрморт Сезанна: два яблока на лакированном

подносе. Часами Виар глядел на холст. Яблоки были мирами в себе, законченными и бесконечно тяжелыми, как сущность материи.

Он думал, что не способен увлечься: не знал себя — события в Финляндии вернули ему молодость. Он выступил в палате с негодующей речью, и пенсне его подпрыгивало, как двадцать лет назад. Война стала сразу осмысленной: «Коммунисты — вот тайная армия империализма!..»

Когда Жолио изложил просьбу Бретейля, Виар сказал:

— Охотно, мой друг, охотно, и это несмотря на возраст, на болезнь. Врач запретил мне работать. Но когда страдают слабые, я на посту. Хорошо, что Бретейль забыл партийные раздоры. Теперь мы сможем осуществить национальное объединение не только на словах.

Он продиктовал первую статью. Его голос дрожал от волнения.

— Я возмущен. Когда-то солдаты фон Гольца сражались за правое дело... Маршал Маннергейм — борец за справедливость...

Потом он сказал Жолио:

— У нас мощный союзник: генерал-мороз.

Жолио развел руками.

— По правде сказать, я даже не знаю толком, где эта Финляндия. Но говорят, что там чертовски холодно. Если пошлют наших, они замерзнут, честное слово! А что вы думаете о позиции Италии? Я ведь марсельский патриот... Как бы они не пошли на Марсель...

— Никогда! Они возмущены Москвой, как мы с вами. Теперь итальянская опасность миновала.

На следующий день к Виару приехала дочка Луиза. Ее мужа призвали в армию.

— Гастон пишет, что там страшный беспорядок... Нет противотанковых орудий, кажется, это называется так... А у солдат нет ботинок. Они ужасно настроены. Гастон боится с ними разговаривать. Папа, что будет с Францией?

Виар слушал рассеянно.

— Ужасно!.. Я всегда говорил, что эта война ни к чему не приведет. Главное — никакой идеи. Другое дело — Финляндия...

Он начал с жаром рассказывать об операциях в Карелии, о лыжниках, «лоттах». Луиза перебила:

— Я теперь часто не могу уснуть до четырех-пяти. Все думаю, думаю... Вдруг немцы победят?

— Возможно.

Он сказал это настолько спокойно, что Луиза растерялась:

— Папа, что ты говоришь?

Он увидел, что у нее дрожат губы,—сейчас заплачет, и стал успокаивать:

— Не бойся. У нас линия Мажино...

Принесли газету. Там была статья Виара. Он внимательно прочел ее; кивал головой, одобряя свои слова. Потом взглянул на фотографию: снег, и стоят два мертвых солдата—замерзли. В руках винтовки. Как будто идут в бой—мороз продлевал жесты жизни. Виару это показалось обидным: нет успокоения, выхода...

Луиза ушла. Сидя в кресле, он наслаждался покоем. Он впервые понял, что ему безразлично, кто победит. Да и в Финляндии... Не все ли равно?.. Какие-то люди бегут, падают, замерзают... Это—жизнь. А он над ней, он—мир в себе, как яблоки. Довольно волнений, слов, суеты! Пора отдохнуть!

Его потревожил фотограф «Ла вуа нувель», земляк Жолио, шумный и патетичный.

— Простите за вторжение! Необходим ваш портрет на первую полосу—к событиям в Финляндии: неутомимый борец за свободу и справедливость!..

Виар поправил пенсне и постарался придать лицу мужественное выражение.

9

Тесса вряд ли узнал бы в кокетливой мастерице, которая развозила платья нарядным заказчицам, свою дочь: короткие завитые волосы, пунцовые губы, шляпа, похожая на поварской колпак, а в руке картонка, перевязанная лиловой ленточкой.

Дениз работала в мастерской мод на бульваре Мальзерб. Мастерицы шили бальные платья. В салоне стояли длинные зеркала. Заказчицы показывались редко, и хозяин жаловался, что дела идут плохо. Это был немолодой человек с короткими седыми усами и с грустным взглядом. Иногда он перелистывал «Жарден де мод» или «Вог». Манекены в сумерки казались

посетителями. Пели швейные машины; танцевали электрические утюги; длинные ногти пробегали по шелку — звук был несносен. А в задней комнате хромой Южен приправлял лист на «американке»: там помещалась подпольная типография. Хозяин мастерской мало что смыслил в модах, он писал листовки; а Дениз разносила их в нарядной картонке.

Сегодня у Дениз праздник. Она спешит в Бельвилль. Вот адрес... Там она встретится с Мишо. Это первая встреча после четырех месяцев разлуки.

Мишо послали сначала в Брест: он был запасным флота. В штабе, прочитав сопроводительный лист, стали думать, как бы отделаться от «смутьяна». Недели две спустя его отправили в Аррас — в пехотный полк. Он мыл полы в казарме. Батальонный командир Фабр был пьяницей и чудаком, политику презирал, начальству не верил, говорил: «В жизни два отрадных явления — таксы и кактусы». Вначале он решил, что Мишо вор, а узнав, что «преступник» сражался в Испании, развеселился, прозвал его «Дон Кихотом», благоволил к нему. Вот отпустил на два дня в Париж.

Дениз волновалась; не сразу нашла она узкую, полутемную улицу, похожую на десятки таких же улиц. Дверь открыла старая женщина. Мишо еще не было.

— Садитесь, милая. Я сейчас кофе сварю. Замерзли? Мишо скоро приедет.

Но Мишо задержался. Хозяйка спросила:

— Вы моего Жано не знали? Его фашисты убили на заводе.

Дениз вспомнила рассказы Мишо о Клеманс.

— Это вы?..

Клеманс вытерла глаза передником: Жано!.. И Дениз теперь поняла язык маленькой комнаты. На стене висел портрет ушастого подростка. На комоде лежали книги, тетрадки. Старая кепка... Клеманс не могла расстаться с вещами сына. Она ухаживала за его товарищами, кормила их, пришивала пуговицы. Когда началась война, она сидела по вечерам и плакала: всех забрали! А в ноябре к ней пришел незнакомец.

— Я от Мишо. Можно у вас остаться до утра? Меня ищут...

Она теперь прятала у себя коммунистов. Никогда не расспрашивала — кто, зачем; готовила ужин, стелила постель. С ней разговаривали о событиях. Она гордилась доверием. Сказала Дениз:

— Финляндию они придумали, чтобы отвести глаза...

Потом поглядела внимательно на Дениз и улыбнулась:

— Я давно Мишо говорила — зачем ты один болтаешься? Хорошо, что вы его заметили, он скромный. А сердце у него замечательное! И умница. Скоро будет, как Морис Торез. Только без женской руки трудно...

Скрытная Дениз не смутилась: будто с ней говорит близкий человек...

Вот и Мишо! Какой он смешной в форме!

— Ты!

Он обнял Клеманс. Старуха напоила его кофе.

— Мне на работу нужно. Если уйдете раньше, заприте дверь, а ключ — под коврик. Ты смотри, Мишо, чтобы тебя не убили! Говорят: «Войны нет», — а все-таки убивают. Ты еще пригодишься...

Когда она ушла, Мишо прижал к себе Дениз и забормотал:

— Стосковался! И еще как!

Вот и умер короткий январский день. Комната стала синей; сумерки — как дым. Скоро вернется Клеманс. А они еще не наговорились.

— Развал... Мы у бельгийской границы стоим. Хотели рыть укрепления, раздумали. Я слышал, как полковник кричал: «Только пораженцы могут говорить, что они придут сюда!..» Это их излюбленное слово. А кто пораженцы? Они. Все делают, чтобы немцы нас расколотили. Конечно, будь другое правительство, было бы иначе... Удержаться можно... Только я боюсь — сначала разгромят, а потом нам скажут: «Спасайте». Солдаты спрашивают: «Как коммунисты?..» Когда я листовки получил, накинулись... Офицеры, как на подбор, фашисты. Те же гитлеровцы. Только мой исключение — оглашенный с кактусами... А остальные: «наказание за Народный фронт», «измена коммунистов» и так далее. Солдат боятся. А солдаты ждут, сами не знают чего. Пороха много, искры не хватает. Но если в Париже начнется, поддержат...

— Здесь то же самое... На заводах возмущены, но молчат. Вот только Финляндия растолкала. Говорят: «Финским фашистам самолеты строить? Ни за что...» Могут начаться забастовки. А тогда прорвется...

Он расспрашивал, какие известия из-за границы, что думают о Москве. Дениз объясняла. Он вдруг улыбнулся:

— Вот какая ты стала важная! А помнишь, как я тебя повел на первое собрание?

Они вспомнили начало любви, недомолвки, смущение... И ни губы, ни руки, ни глаза не могли передать силу созревшего чувства. А сейчас снова расстанутся...

— Я прочитала в газете про одного капитана. Англичанин. Это было под Новый год. Они ужинали. Вдруг взрыв — немцы, подводная лодка. Там была его жена, молодая женщина. Он надел на нее пояс и потащил к борту. Она отбивалась, думала, что он сошел с ума. Он ее бросил в воду. Она спаслась. Понимаешь, какое самообладание! И чувство какое!.. Теперь, Мишо, нужно мужество, чтобы жить. Ты мне это скажи, прикрикни на меня, чтобы я была сильной. Я не про опасность говорю, мне ничего не грозит... Но когда мы с тобой расстаемся, каждый раз думаю — вдруг навсегда?

— Все теперь на плотах. Корабль потопили... Но держимся. И доплывем, Дениз. Увидишь!

Они расстались на углу двух темных улиц, широких и тихих, как ночные реки. На груди у Мишо была пачка листовок, два номера «Юманите». До поезда оставалось три часа. Он пошел на вокзал пешком. Затемненный Париж был непонятным, новым городом. Иногда из темноты выступали голые ветки деревьев. А дома не были видны, они только смутно чувствовались, как далекие горы. Детский смех, голос женщины: «Я уронила перчатку», гудок автобуса, огонек сигареты... И была в темноте синева, влажность, неясное бормотание города, похожее на морской прибой.

Мишо думал о Дениз, о расставании судорожном и поспешном — оба боялись выдать боль. Она говорила: «Я положила сигареты в карман...» Он: «Закрой шею, простудишься...» Когда они теперь встретятся? И встретятся ли?

Широкие темные улицы, реки... Вот идет кто-то с фонариком. В темноте слабый свет кажется ярким; он освещает камни, решетку вокруг дерева, ноги. Неужели когда-то на улицах были яркие фонари? А свет исчез, прохожий повернул за угол. Если бы пронести любовь через эти темные годы, как свет фонарика, как крохотный огонек!..

10

Андре послали в Пуатье. Каждый день говорили, что полк отправят на линию Мажино; но слухи не подтверждались. Прошло четыре месяца. Полковник стал своим в салоне маркизы де Ниор; престарелый Гранмезон обсуждал с ним операции против Баку, а местные археологи его расспрашивали, не грозят ли Пуатье воздушные бомбардировки. Офицеры завели себе любовниц. Солдаты задолжали всем кабатчикам, обследовали все публичные дома. Андре каждый вечер вычеркивал в карманном календаре еще одно число. Его приятель Лорье говорил:

— Интересно, потеряли мы день или выиграли?..

Жизнь была монотонной, как в тюрьме, маршировали, подметали длинный двор, ели суп с репой; потом бродили по городу, знакомились с продавщицами, смотрели в кино старые картины, пили аперитивы; потом сидели возле чугунной печки, отрыгивая и посапывая, дремали. Андре разглядывал лица, которые постепенно освобождались от напряжения, забот, хитрости. И лица напоминали пейзаж. Андре думал о сходстве человека с землей, о связи между гончаром и глиной. И в такие минуты Андре хотелось работать. Он издевался над собой: «В Париже не писал, а здесь тоскую по краскам...» Лорье сказал: «Через неделю выступим». Андре мерещились огромные клубы дыма, холод рассвета, проволока, смерть, пустая и белесая, как те невыносимые дни, бессолнечные, но слепящие, когда предметы теряют цвет и форму.

Андре легко сходился с людьми. В Париже он жил одиноко — среди холстов, на голубятне. Здесь он оказался с другими, слушал, рассказывал, смеялся, шутил. Особенно он подружился с Лорье. Это был музыкант из Авиньона: играл в кафе. Беспечный, ребячливый южанин, он пел: «Все прекрасно, госпожа маркиза»; минуту спустя говорил: «Война на сто лет»; потом смеялся: «Полковник поднес Богородице восковые руки и ноги — авансом, чтобы его не ранили».

Бретонец Ив вздыхал: «Земля здесь хорошая! И коз много. А у нас нет коз. И кто это придумал, чтобы воевать?..» Он останавливался возле каждого дерева, будто встретил земляка. Андре с ним подолгу беседовал об удобрениях, ячмене. Ив иногда ночью хныкал: тосковал по жене, по детям, по дому.

Нивелль был прежде официантом в большом кафе. Два месяца он пролежал в госпитале на испытании. Жена приносила ему герань. Нивеллю сказали, что от герани у него начнется сердечная болезнь, и тогда его освободят. Но герань подвела... Нивелль горячился: «Зачем они меня держат? Я вырабатывал восемьдесят франков в день. Помножь на тридцать. А теперь дела идут еще лучше. Мне вчера сказал официант в «Кафе де Пари», что он зарабатывает вдвое против прежнего. Значит, помножь две тысячи четыреста на два. Я понимаю, что им наплевать на меня. Я тоже на них наплевал бы, если бы мог... А сколько таких, как я? По меньшей мере три миллиона. Значит, помножь четыре тысячи восемьсот на три миллиона. (Он вытаскивал обглоданный карандаш.) Получается четырнадцать миллионов четыреста тысяч. Помножь на двенадцать...»

Бухгалтер Лабон боялся самолетов: «Хоть бы просто застрелили. А то сверху...» Утешался он тем, что жена далеко; не выходил из домов терпимости: «Все равно убьют, хоть на прощанье узнаю, что такое свободная жизнь».

А молоденький, тщедушный Живер писал стихи о черной улице и сумасшедшем шарманщике.

Все эти люди жили вместе, томились, пьянствовали. Кто-нибудь прибегал: «Завтра трогаемся!..» Начиналась суматоха, писали письма, обнимали девушек. Потом объявляли: «Ложная тревога». И снова Ив вздыхал: «Зачем?..»

Андре как-то сказал Лорье:

— И не думай понять! Все перепуталось. Кто с кем? Впечатление давки, только никто не двигается с места. А слушать, что они говорят?.. Все равно правды не скажут. Плутуют, стараются друг друга перехитрить. Представь себе, что я сел писать. Тюбики с краской. Нажмешь киноварь, выползает черная; нажмешь белила, а там краплак. Нет, лучше не думать!

Когда радио переходило от веселой музыки к сообщениям, его закрывали: надоело слушать, что Даладье стоит за культуру, что на фронте не произошло ничего существенного и что немцы потопили еще семнадцать тысяч тонн.

Город забыл про войну. Жизнь, на несколько недель потревоженная мобилизацией, снова вошла в русло. Парикмахер Шардоне выиграл двести тысяч в лотерее.

Вышел очередной номер археологического журнала, посвященный раскопкам в Афганистане. Маркиза де Ниор жаловалась, что все вздорожало; ей пришлось рассчитать садовника — за садом будет присматривать шофер. Садовник украл у маркизы часы и столовое серебро. Его поймали в доме свиданий. Местные газеты занимались этим делом куда больше, нежели морской битвой возле берегов Уругвая. На большой площади расположился цирк. Три замученных леопарда прыгали с кресла на кресло.

В январе полковник изругал Ива: «Вы похожи не на солдата, а на деревенского пожарного...» Казармы почистили. Через главную улицу протянули трехцветные ленты. Приехал депутат Пуатье, ставший министром. Мэр в приветственной речи сравнивал Тесса с мужами древности и с Клемансо. Тесса одобрительно кивал головой; потом сказал:

— Я хотел в эти исторические дни посетить город, оказавший мне доверие. Я знаю, что в груди сыновей Пуатье пылает священный огонь. Он вдохновлял некогда покровителя Пуатье, Святого Илера, ныне он вдохновляет защитников линии Мажино. Все наши помыслы посвящены одному — победе...

Тесса приехал, чтобы купить участок в департаменте Вьенн. Прежде он тратил все, что зарабатывал. Теперь он не знал, что делать с деньгами. А различные акционерные общества, в правлениях которых он состоял, процветали. Конечно, можно перевести деньги в Америку. Но зачем?.. Они станут цифрой, абстракцией. Да и ненадежно... Тесса теперь не верил ни в акции, ни в доллары. Только одно непреложно — земля. Можно купить красивое поместье; на Пасху привезти туда Полет, забыть среди цветов о войне, о Бретейле, о генералах... Еще недавно Тесса посмеивался над Лавалем: «Овернъяк, скопидом, знает одно — скупает землю». А сейчас он с волнением разглядывал в конторе нотариуса планы, фотографии. Вот эта усадьба недурна: фасад восемнадцатого века, парк в духе Малого Трианона и все удобства...

На следующий день он приехал в Пре-де-Дэн — так называлось облюбованное им поместье. Он надел на себя шерстяное белье и два вязаных жилета. Стояла на редкость суровая зима. Часто Тесса думал: что с Люсьеном? Видел сына замерзшим.

— Совсем как в Финляндии,— сказал он нотариусу.— Кстати, вы читали сегодня газеты? Этот маршал

с немецкой фамилией—молодец! Я лично уверен в победе...

Голая нимфа держала бронзовый кувшин; из него торчали, как стрелы, сосульки. Казалось, и нимфе холодно...

Тесса сказал:

— Дом прекрасный. Мне нравится сочетание: лепные потолки Людовика Пятнадцатого и центральное отопление.

Он вернулся в город под вечер. Вспомнил, как покупал в кондитерской конфеты для Дениз, и приуныл. Почти четыре года прошло... Не будь войны, скоро пришлось бы предстать перед избирателями. Но теперь другие заботы... А хорошее было время! Он—единственный кандидат; все перед ним отступили. Дома его ждали Амали, дети. Дениз улыбалась, даже Люсьен старался быть любезным. Как Амали обрадовалась бы, узнав, что он купил Пре-де-Дэн! Она любила деревенскую жизнь, кур, овощи... А для кого теперь эта усадьба? Для Полет? Но она его бросит, как только подвернется богатый мальчишка, вроде сына Меже. Нет, земля для него, и только для него. Он вдруг подумал о другой земле—на кладбище Пер-Лашез, рядом с Амали. Готов был заплакать; но, к счастью, вспомнил, что вечером прием в его честь у маркизы де Ниор, и утешился.

Маркиза встретила его восторженным щебетом:

— Мы рады вас приветствовать как соседа... Хорошо, что вы выбрали Пуату!..

Тесса нашел в салоне местных аристократов, археологов, несколько военных и своего былого соперника, старика Гранмезона, который кричал:

— Их надо проучить! Я не понимаю деликатности англичан. Войти в Черное море, и точка...

Обступили Тесса. Он пил жидкий чай и важно объяснял:

— Все разворачивается согласно плану. Нельзя рассматривать Германию как нечто целое. Зима их многому научила. Бегство фон Тиссена важнее военной победы. Рейхсвер возмущен... Я предвижу возможность серьезного разговора с немцами. Такой человек, как Геринг, прекрасно понимает положение... А Гесс!..

Он осведомился о судьбе своих противников. Ставленник Бретейля агроном Дюгар был мобилизован, ведал поставками бензина. А слесаря Дидье отправили в концлагерь на острове Ре. Тесса вздохнул:

— Ужасно, что приходится прибегать к таким мерам! Но ничего не поделаешь — враг стоит у границ Франции.

Тесса уехал на следующий день. Батальон отдавал ему почести. Андре много раз слышал рассказы Люсьена об отце, но никогда он не видел Тесса. Он удивился: маленький, как птичка... А Тесса торжественно прошел мимо солдат, потом вытер рукой в лайковой перчатке длинный нос. Раздалась «Марсельеза».

Солдаты говорили о приезде Тесса; все знали, что он купил поместье. Ив вздыхал:

— Вот сукин сын, пронюхал, что земля хорошая! И денег не пожалел. Мне говорили, что земля здесь здорово вскочила — с трех франков на двенадцать...

— Ему-то что,— проворчал Нивелль.— Он на каждом снаряде зарабатывает. Как я когда-то на каждой кружке пива. А чтобы отпустить меня, это ему не придет в голову...

Лорье сказал:

— Лицо у него постное. С таким лицом только на похороны ходить. А он кричит: «Победа!..» Пойдем, что ли, в цирк?

В цирке пахло пудрой и звериной мочой. На юбочке наездницы сверкал стеклярус. Мартышка кашляла. Ревела огромная шарманка. И Андре вспомнил Четырнадцатое июля, карусель, голубого слона. Где теперь Жаннет? Расхваливает пилюли? Плачет? Не повезло! Прежде он думал — ему; теперь знает — всем. Лорье прав — мира они не увидят: если даже подпишут — на год, на два, а потом снова...

Ив думал о своем:

— Замечательная земля! А крестьяне здесь хитрые. Подмешали к хлебу просо, чтобы не сдавать. Скот режут. Говорят: «Зачем бумажки?..» Никому не верят. Земля вот как вздорожала!.. И кто только это придумал?..

Леопарды жмурились от яркого света, прижимали уши. Тщедушный укротитель в малиновом фраке до одурения щелкал бичом.

— Неудобно им в кресле,— сказал Живер.

И снова шарманка... Андре вышел с Лорье; говорил:

— Самое страшное — равнодушие. В цирк ходят. Все кафе полны. Тесса покупает землю. Крестьяне прячут пшеницу. А что будет завтра?.. В ту войну было иначе, может быть глупее, но человечней. Кричали: «В Берлин!» Громили немецкие лавки, ругались: «Боши!» Дрались. Страсть была. Клемансо лез на стену, гово-

рил: «Мы будем защищаться под Парижем, в Париже, за Парижем...» Потом прокламации: «Ленин сказал...» И все кипело. А теперь такая тишина, что выть хочется. Я себя чувствую, как эти леопарды. На афише сказано: «Грозные хищники», а они хуже драной кошки. Мне страшно, Лорье!

И Лорье ответил:

— Мне тоже.

11

Солдаты шутливо спрашивали Люсьена: «Ты, может, родственник?» Он отвечал: «Однофамилец». И все же фамилия озадачивала; осторожный майор отправил Люсьена санитаром в госпиталь — подальше от шальной пули.

В бывшем монастыре содержали душевнобольных. Люсьену приходилось вязать буйных, кормить через нос меланхоликов. Сержант лежал, привязанный к койке: хотел колоть штыком. Кричал благим матом солдат Беран; все его пугало — щетка, плевательница, очки врача. Другой рисовал голых солдат с женскими грудями. А изможденный марселец с утра до ночи повторял формулу военных сводок: «Ничего существенного... Ничего существенного...»

Один солдат признался Люсьену: «Я нарочно... Прежде думал, что печень вывезет; в Лиможе пятнадцать яиц глотал, противно вспомнить... Не вышло, отправили на фронт. Придумал — мычу, как корова. Только ты меня не выдай». Люсьен пожал плечами: «А мне что? Мычи».

Санитары играли в карты, усердно посещали дома терпимости. Ниши, где когда-то стояли святые, были забиты бутылками из-под вина. Люсьен сидел возле печурки; это было его единственной радостью — он думал: «Понимаю огнепоклонников». Его вдохновлял огонь, притихший было, который приподнимался, креп, пожирал доску. И волосы Люсьена казались продолжением огня.

Дженни написала, что уезжает в Америку; оправдывалась — консул настаивает; уверяла, что они обязательно встретятся — в Париже или Нью-Йорке. Он кинул письмо в печь. Только теперь он понял, что любит Жаннет. Говорят, что время — враг. Неправда! Время снимает шелуху; так исчезают неискренние го-

рести, надуманные страсти. А подлинные чувства остаются... Для Жаннет он — чужой, как для него Дженни. Это странная игра — картинка разрезана, надо ее составить, но один кусок не подходит к другому...

Радио хрипело: «Не произошло...» И душераздирающе вопил марселец: «Ничего существенного».

После Нового года Люсьен потребовал, чтобы его отправили на фронт. Он думал, что близость смерти все скрасит. Он нашел скудный быт, холод, ругань. Снаряды аккуратно убивали; к этому привыкли; зевали — «лотерея»...

Люсьен нашел собеседника. Это был высокий нормандец с лошадиной челюстью и восторженными глазами, по образованию археолог. Звали его Альфредом. Он рассказывал Люсьену о раскопках в Сахаре — кости погибшего мира... И Люсьен вспоминал льды, пингвинов. Потом говорили о войне. Альфред был доверчив: доказывал, что Даладье — за свободу; после победы начнется расцвет искусства — Афины, Возрождение... Люсьену было совестно его разубеждать. Он только изредка перебивал Альфреда: «Хорошо, что ты их не знаешь...»

Увозили солдат с отмороженными ногами. Теплые носки казались недоступной мечтой. Пошли слухи, что солдат отправят в Финляндию.

В холодный февральский день, когда мир казался мертвым — белое поле, а над ним красное воспаленное солнце,— позиции осматривала парламентская делегация. Сопровождал депутатов генерал Пикар.

Еще недавно уверяли, что Пикара пошлют в Сирию. Вейган называл себя «пожарным», говорил, что призван потушить пожар на Ближнем Востоке. Пикар возражал:

— На войне зажигательная бомба куда полезнее шланга.

Пикар разработал план кампании: сирийскую армию он называл «бакинской». Но события в Финляндии заставили его повернуться к северу. Он заявил Тесса:

— Мы должны послать солидный экспедиционный корпус. С немцами воевать мы не можем. Да и не хотим. А держать людей без дела — опасно. Коммунисты работают. К весне начнутся беспорядки. Только эффектная победа в Финляндии может вывести нас из тупика.

В парламентских кулуарах говорили о лапландской руде, о «колоссе на глиняных ногах», о сочувствии Рима. Депутаты приехали, чтобы убедиться в солидности линии Мажино; прежде чем одобрить северную экспедицию, нужно проверить, хорошо ли заперты все двери... Три радикала, два правых, один социалист. За исключением Бретейля, это были люди, ничего не смыслящие в военном деле. Они казались зрителями, случайно попавшими на сцену; стыдились своих шляп, брюк. Один из них, добродушный толстяк, попросил, чтобы ему дали шлем:

— Боюсь за голову...

Задавали дурацкие вопросы, осматривали доты, как туристы средневековый замок, охая и ахая, а увидев тяжелые орудия, стали пугливо ежиться.

Генерал Пикар шел с Бретейлем; говорили о перспективах северной кампании. Бретейль был настроен радужно:

— Это поворотный пункт. Я боялся, что социалисты затормозят, но Блюм молчит, а Виар рвется в бой. Вопрос об отправке альпийских стрелков решится в ближайшие дни.

Они прошли мимо поста. Люсьен отдал честь. Он вспыхнул: вдруг Бретейль его узнает. Но Бретейль был поглощен разговором; да и не в его привычках было разглядывать солдат.

А Люсьен погрузился в мучительные воспоминания. Даже зрелище депутатов, которые шли согнувшись, как будто над ними летают пули, не смогло его развеселить. Он понял, что значит «сгорать от стыда». Да, его прошлое постыдно! Как мог он поверить этому бездушному человеку? Нетрудно догадаться, о чем Бретейль беседует с Пикаром: хотят поставить Францию на колени. Мстят за тридцать шестой. Уведут войска в Сирию, в Финляндию, все равно куда... И впустят Гитлера. Люсьен вспомнил, как отец, возмущаясь забастовками, повторял: «Немцы и то лучше...» Все они таковы! Может быть, Грандель еще самый невинный... А людей убивают. Вчера убили Шарля. Это был горец, пастух, играл на дудке... За что его убили?.. Подлецы!

Вечером он сидел на корточках у маленького костра рядом с Альфредом. Мерзли, молчали. Потом Альфред начал:

— После резолюции Лиги Наций...

Люсьена прорвало:

— Вздор! Все это слова. А за ними предательство, личные интересы, мелкие обиды. Ты видел Бретейля? Святой, метит в рай. И, конечно, «патриот». Когда говорит о Лотарингии, в голосе слезы. Но, между прочим, он знает, что Грандель — немецкий шпион. Покрыл его. Ты думаешь, Пикар готовился к войне? Он был занят другим: подготовлял фашистский переворот. Откуда пулеметы? Из Дюссельдорфа. А деньги кто ему давал? Немец, Кильман... Грязь! Что ты мне рассказываешь о Лиге Наций! Ты лучше скажи, за что убили Шарля?

Люсьен долго говорил о «верных», о сборищах у Монтиньи, о предательстве; промолчал только о том, как достал письмо Кильмана, не мог признаться, что он — сын Тесса; это ему казалось самым позорным. Альфред сидел убитый, глаза его помутнели; он все начинал: «Но... но...» Наконец выговорил:

— Но если так, надо рассказать всем... Свергнуть... Спасти Францию...

Люсьен злобно засмеялся:

— Как Дженни, честное слово! Была такая американочка... Я с ней жил, вернее, с ее долларами. Она мне тоже сказала: «Тогда нужно устроить революцию». Поздно, милый! Что вы в тридцать шестом делали? А теперь ничего не поможет. Разобьют нас и посадят гауляйтером Бретейля. А может быть, просто все снесут к черту... И нас с тобой. Как твои раскопки... Через двадцать веков найдут в земле зажигалку «Донхиля», мотор «мессершмитта», череп благородного Виара и пойдут вздыхать: «Удивительная была цивилизация!» Я тебя утешу: мы этого не скажем. Бррр! До чего холодно! И, откровенно говоря, надоело.

12

Новый год Жолио встретил с женой и шурином. (Альфред, военный врач, приехал с фронта на три дня.) Пошли в ресторан, выпили две бутылки шампанского. Какие-то девушки кидали бумажные шарики, розовые и голубые. Альфред застенчиво щурился и говорил: «Бомбы...» Жолио произнес тост:

— За победу! Я вижу наших солдат, встречающих Новый год в Берлине.

И суеверно схватился за край стола. Альфред отвернулся. Развязность Жолио его стесняла. А Мари, нежно глядя на брата, вздохнула:

— Только чтобы тебя не убили!..

Жолио стал объяснять:

— Это логически бесспорно, к концу года у нас будет пять тяжелых орудий против одного немецкого.

— Не знаю,— ответил Альфред.— Я ничего в этом не смыслю. Но с сыворотками плохо. Боюсь, как бы нас не застали врасплох. На той войне столбняк...

Жолио его перебил: не выносил разговоров о болезнях и смерти.

На следующий день Альфред уехал. Жолио о нем не вспоминал: милый, но бесцветный человек. А Мари часто плакала: боялась, что брата убьют. Напрасно Жолио ей говорил: врачи — в тылу, им ничего не грозит. Она повторяла: «Вдруг?..»

Жолио жил, как всегда, лихорадочно. Теперь его голова была начинена трудно выговариваемыми финскими именами. Засыпая, он видел обледеневших людей, как сталактиты свисающих с неба. И от этого становилось холодно; натягивал на голову одеяло.

Жолио не был жаден, хотел всех подпустить к пирогу. Он послал десяток приятелей в Финляндию и в Стокгольм. Своему двоюродному брату Мариусу, расторопному марсельцу, он посоветовал:

— Устрой вечер-гала. Расскажи что-нибудь о Маннергейме. В пользу финских «лотт». Золотое дело!

И недели две спустя Мариус перед изысканной публикой, не спуская глаз с Жозефины Монтиньи, щебетал:

— Однажды маршал сидел под деревом. Страшная революция только-только начиналась. Подошел оборванный нахальный солдат, большевик, и попросил прикурить. Я забыл сказать, что маршал курил сигару. В возмущении он поглядел на солдата и, рискуя своей жизнью, ответил: «Да я лучше проглочу эту горящую сигару...»

Дамы аплодировали. Сбор достался, конечно, не «лоттам», а Мариусу.

Жолио давно хотел отблагодарить типографа Пуарье: тот ни разу не напомнил о срочных платежах. Теперь подвернулась оказия: генеральному штабу потребовались карты Финляндии. Жолио порекомендовал Пуарье. Сообщив типографу о заказе, Жолио сказал:

— Мой друг, это все равно что найти на улице четыреста тысяч. Только не смотрите на карту: варварские имена, можно сойти с ума... Пудасьярви. Мне кажется, что у меня теперь во рту не язык, но глина...

Дела газеты шли прекрасно. И все же толстяк был меланхоличен, боялся сам не знал чего. Дважды в день приносили сводки: «Ничего существенного...» Париж богател и развлекался. Жолио говорил:

— Вы только поглядите — раскупают дома и автомобили, как плюшки.

В газете, рядом с фотографиями финских стрелков, красовались отчеты о лыжных состязаниях в Межеве и Шамони: парижские модницы не хотели отстать от солдат Маннергейма. Но Жолио не верил ни хорошеньким лыжницам, ни сводкам. С миром приключилось что-то страшное. Подумать, какие стоят холода! В Севилье — снег. А в Аргентине каждый день сотни людей умирают от солнечного удара. В Турции трясется земля. Все это не к добру!.. Жолио стал еще суеверней; не расставался с кусочком дерева. По ночам думал: «Кажется, я прошел под лестницей — не к добру...» Когда Мари вздыхала: «От Альфреда давно нет письма», он отвечал: «Кутит», — но сжимал в кармане щепку, не сглазить бы...

В Париж приехал рурский магнат, барон фон Тиссен. За ним бегали фотографы. Ему улыбались красавицы. В «Ла вуа нувель» появилась фотография его собачонки — Жолио знал, что с немцем нянчится Бретейль...

Фотографиями дело не кончилось. Позвонил Бретейль: газета должна напечатать заметки фон Тиссена.

— Это нам на руку... Намечается взаимное понимание...

Жолио направился в «Отель Грийон», где остановился барон. Он долго ждал в пышной гостиной. Потом к нему вышел немолодой презрительный человек. Жолио кокетливо нагнул голову, улыбнулся, стал говорить о свободе, о братстве народов. Фон Тиссен процедил:

— Простите, я занят.

Дал рукопись и ушел. Жолио, раскрыв папку, прочитал: «В ту весну я вместе с Гитлером разработал план кампании против коммунистов...»

Он пришел домой измученный. Увидав, что Мари плачет, сказал:

— За Альфреда можешь не беспокоиться: войны нет и не будет. Если бы ты видела этого немца! Такому место в концлагере... А он сейчас поехал к Тесса, честное слово! Завтра начинаем печатать его мемуары. Монтиньи мне сказал: «Контакт налаживается». Понимаешь?.. Не плачь, Мари! С Альфредом ничего не будет... войны нет... Разве что в Финляндии...

Жена отняла платочек ото рта и тихо сказала:

— Альфреда убили.

Только тогда Жолио заметил на столе большой желтый конверт без марки.

13

Полк, где находился Мишо, отправили в Гавр. И Мишо всполошился: в Финляндию!..

Москва была для Мишо порукой, что его жизнь не напрасна, что счастье не только слово. Все, что делалось там, было таинственным и в то же время знакомым, близким, своим. Он блаженно улыбался, когда по радио рассказывали о цитрусовых рощах Абхазии. Он следил за тем, как строят московское метро, как будто это строили его дом. Говорил: «В Брюсселе наши пианисты получили на конкурсе первую премию», и слово «наши» у него выходило естественным. Как-то он сказал Дениз: «Там и цветы за нас, да, да, обыкновенные цветы, ромашки или колокольчики...» Когда становилось невтерпеж, он разглядывал карту Советского Союза; огромное зеленое пространство успокаивало. Даже при последнем свидании с Дениз он спросил: «Как выставка в Москве?..» Он видел этот далекий город, будто прожил в нем десятки лет. За него готов был умереть. Не он один... И его приподымала общность веры: вокруг сотни солдат думают так же. Да и в других полках. Это было тайным братством миллионов.

И вот ветер ходит по широким улицам Гавра, рвет занавески, опрокидывает щиты с рекламами, кружит прохожих. Кричат портовые сирены. Скрежещут зубами лебедки. День и ночь идет работа. Говорят об экспедиционном корпусе...

Мишо отводит в сторону то одного, то другого солдата. Он не знает, кто коммунист. Но есть множество примет: вздыхает, что нет «Юма», потешается

над благородством Виара, говорит о Торезе: «Наш Морис». Мишо шепчет:

— Если пошлют против русских, мы должны отказаться. Скрыть они не смогут, вся страна узнает...

— Не знаю... Что другие скажут? Ведь это не выборы, здесь пахнет расстрелом...

Мишо любили за смелый язык, за веселость; когда он срезывал сержанта, поддерживали. Но другое дело — бунтовать... Мишо и сам не знает, что скажут солдаты. Он уговаривает, объясняет; вдохновенно рассказывает о большом северном городе, за который сражаются русские, — там широкая река, в дворцах — рабочие, там жил Ленин... Он ругает изменников, готовых оголить фронт. Он с каждым говорит по-другому, говорит волнуясь, торопясь — могут завтра отправить...

Узнав, что его полк входит в экспедиционный корпус, полковник Керье потерял сон. По ночам он раскладывал пасьянсы. Это был вспыльчивый, слабохарактерный человек. На войне он показал себя храбрым, получил два креста; был равнодушен к смерти, но жизни боялся, боялся начальства, хитрой сети политики, доносов, уличных демонстраций.

Всю зиму полк простоял в Пикардии. Керье решил рыть укрепления: нельзя оставлять людей без дела. Но генерал Пикар разнес его: «Кто вас просил вызывать панику? Они не могут прийти сюда. Вы наслушались пораженцев...»

Керье перепугался — кто их поймет? Все это — политика... Он приказал прекратить работы, заявил: «Укрепления ни к чему — только пораженцы могут думать, что немцы придут сюда».

Теперь говорят о Финляндии. Неизвестно, что скажут солдаты. А там начнут брататься с русскими. И кто это придумал?.. Всегда говорили: один враг лучше двух. Как можно победить Россию?.. Даже Наполеон там завяз... Неужели Гамелен допустит?.. Впрочем, и Гамелен бессилен: все решают политики...

И полковник в отчаянии отбросил карты: пасьянс снова не вышел, не хватило двух валетов. В шестой раз!.. Значит — конец!

А Мишо говорил товарищам:

— Видали границу? Укреплений нет. Людей снимают. Хотят воевать с русскими. А сюда пустят гитлеровцев. Вот их война!

Тусклая лампочка едва освещала лица. На беленой стене бились длинные тени. Напрасно хотел Мишо понять, что означает молчание. Разные люди — слесарь из Аньер, кажется, коммунист; крестьянин — говорит, что у него хороший дом; коммивояжер — продавал швейные машины; носильщик; мясник; почтовый служащий. О чем они думают?

Развязка наступила неожиданно. Должен был приехать Пикар. Выстроили две роты. Керье стоял понурый, не глядел на солдат. Вдруг сзади крикнули:

— Куда везут?..

Полковник покраснел, вытер платком лицо.

— Кто кричит?

— Все!..

Керье растерялся. Он не грозил, не пробовал уговаривать. У солдат отобрали винтовки. Говорили, будто отдадут всех под суд. Ночью люди не спали: припоминали детство, мирную жизнь, семью.

Допрашивали — кто зачинщик? У всех было в голове: «Мишо». Но никто не назвал его. А над городом металась мартовская буря.

На следующий день Пикар сказал полковнику:

— Придется трех-четырех расстрелять — для острастки.

Тогда Керье закричал:

— Вы понимаете, что это значит? Они нас убьют!..

Он тотчас опомнился, покорно опустил голову: ждал — «под суд». Ему казалось, что зачинщик он.

А Пикар, отвернувшись, барабанил по грязному стеклу. Он забыл, что рядом стоит подчиненный. Он повторял себе: Марна, Верден... Все в прошлом. Разве это армия? Орда, сброд! Сколько раз он говорил Бретейлю: «Осторожно, это не пройдет даром...» Конечно, северная кампания могла бы поднять дух. Но радикалы, как всегда, колеблются. А среди солдат много коммунистов. Что же делать дальше?.. Против немцев не пойдут офицеры. Честнее сразу сказать: сдаюсь. Еще целы не только фигуры — пешки; но партия проиграна.

Он поглядел в окно. Люди обступили газетчика. Ветер вырвал листы и погнал их по длинной прямой улице.

— «Ла вуа нувель»!.. Последнее издание!.. Слухи о переговорах между Хельсинки и Москвой!..

14

Тесса ел яйцо всмятку, когда ему принесли телеграммы. «Мирные переговоры... Стокгольм... Финская делегация...» Слова прыгали. Желток яйца замарал жилет. Тесса морщился, как будто испытывал физическую боль. Собравшись с силами, он позвонил Даладье:

— Какое несчастье!..

Даладье ответил, что выступит по радио: предложит финнам сопротивляться — экспедиционный корпус готов. Тесса замотал головой:

— Поздно, мой друг! Не поверят... Надо думать о другом...

Даладье стал говорить о «трагедии маленьких наций». Тесса в досаде оборвал:

— Конечно, трагедия! И не только для финнов. Можешь верить моему нюху — кабинет не продержится недели.

Тесса стал подсчитывать голоса. Большинство будет против... В мире царит несправедливость. Тесса придется расплачиваться за ошибки какого-то Маннергейма. И Тесса проклинал финнов: дикари!

Случилось, как он предполагал: за правительство голосовало меньшинство. Выплыл Рейно. Тесса его ненавидел: гном, вундеркинд, макака! Рейно предложил Тесса сохранить министерский портфель. Тесса ответил:

— Я подумаю, посоветуюсь с друзьями...

Прежде всего он поехал к Даладье. Тот пил аперитив; глядя исподлобья, сказал:

— Рейно — это катастрофа. Но я решил остаться на посту. До конца...

Большего Тесса от него не добился. Решил обратиться к Бретейлю; это человек завтрашнего дня! Если Бретейль посоветует перейти в оппозицию, Тесса откажется от портфеля. Нужно уметь переждать, проявить гражданское мужество!

В кабинете Бретейля Тесса увидел высокого голубоглазого человека:

— Я имел счастье познакомиться с господином министром накануне марсельского конгресса.

Тесса смутно припомнил: делегат Кольмара... Не дал Фуже говорить... И Тесса дружески улыбнулся:

— Как же, помню...

Когда Вайс вышел, Бретейль сказал:

— Не удивляйся, что ко мне приходят радикалы. Мы проводим национальное объединение. Вайс работает с Гранделем. Вообще я считаю, что дела идут неплохо...

Его добродушный голос озадачил Тесса.

— По-моему, очень плохо. Финны нас подвели. От Рейно можно ждать всего.

— Я тоже не из его поклонников. Английский приказчик хочет, чтобы мы стали доминионом. Но Рейно — мотылек. Он не доживет до лета. Пока что мы его используем. Он уберет Гамелена, это плюс. Мы должны выдвинуть Пикара. Потом карлик влезет на ходули. Он должен выкинуть что-нибудь эффектное. И на первом прыжке он сорвется...

— Он предложил мне портфель. Но я хочу отказаться.

— Ни в коем случае! Ты должен считаться с национальными интересами. Надо иметь в кабинете своего человека...

Тесса не заставил себя упрашивать. Хорошо, он будет работать с Рейно. Левые за это простят ему многое. Он боялся правых, но вот его благословляет Бретейль... Конечно, он останется! Приятней быть министром. Да и почетней — историки отметят, что Тесса не покинул боевого поста.

Получив список нового правительства, Жолио закричал:

— Как вам нравится?.. Из тридцати министров шестнадцать адвокатов. И они называют это «военным кабинетом»!..

Принесли агентские телеграммы. Жолио побледнел:

«Ужасные ауспиции! Заговорила Этна. Это неспроста... Они плачут, что прозевали Финляндию. А я боюсь, как бы макаронщики не пошли на Марсель...»

Когда типограф Пуарье сдал заказанные ему карты, в штабе удивились: какая Финляндия?.. Но деньги уплатили.

Прошло три недели. Рано утром Жолио узнал о минных полях возле норвежских берегов. Он тотчас позвонил Пуарье:

— Поздравляю вас с новым заказом! Рейно тоже захотелось к белым медведям. Теперь им понадобятся карты Норвегии, увидите! Только не продешевите...

У Монтиньи состоялся пышный прием: впервые правые чествовали Тесса. Были Бретейль, Лаваль, Фланден, Грандель, Меже, генерал Пикар.

Дамы обсуждали, где лучше всего провести каникулы. Супруга Пикара остановилась на Бриансоне:

— Это возле итальянской границы. Муж говорит, что Муссолини ни в коем случае не решится... А я хочу немного отдохнуть от этой ужасной войны. Там так тихо, так спокойно...

Госпожа Меже решила провести несколько недель в Биаррице: океан, элегантное общество. Спросили Муш, куда она поедет.

— Муж хочет, чтобы я отдохнула в Швейцарии. Не знаю...

Она вспомнила кокетливую щвейцарскую гостиницу, смех туристов, затылок Кильмана, колокольчики коров и потом расплату—искаженное гримасой лицо Люсьена...

Госпожа Монтиньи, сильно декольтированная, с припудренными плечами, потчевала гостей:

— Сегодня вторник, ужасный день! Ни мяса, ни кондитерских изделий, ни ликеров. Но, слава богу, французы не педанты! Дорогой генерал, я вам рекомендую арманьяк—из погребов моего брата. Вы чем-то озабочены?..

— Нет... Арманьяк прекрасный.

— Какие новости?

— Невеселые. Я говорю о военных событиях... (Генерал вздохнул.) Они уверяли, что удержат дорогу Берген—Осло. Но немцы не церемонятся... Остался самый север... Положение...

Тесса расслышал только последнее слово, подхватил:

— Положение, безусловно, окрепло. Я ждал солидного большинства. Но скажу прямо: единодушный вотум палаты меня изумил. Какая зрелость политической мысли! Мы теперь выражаем действительно волю всей Франции. Не правда ли, генерал?

Пикар стал говорить о Бергене, о фиордах. Тесса отмахнулся:

— Это детали...

Пикар его раздражал: типичная слепота военного!.. Куда забрались немцы?.. Пустынная, нищая страна. К фиордам ездили чудаки, любовались полуночным солнцем. Хорошо, что немцы клюнули, это отвлекает их от наших границ. И Тесса сказал:

— Норвегию затеяли англичане. Мы тут ни при чем. Адмирал Дарлан негодует, он прямо говорит, что лучше Гитлер...

Бретейль усмехнулся:
— Англичане... Я их видел когда-то на Сомме. Они каждое утро в окопах брились. А в пять часов пили чай с тостами. Посмотрим, что они будут делать в тундре...
Гости подхватили:
— Будут есть свою любимую треску.
— Или треска съест их.
— Представляю, как перепугался Рейно!
— Да, гному невесело... Я думаю, что правительство Австралии и то пользуется большей независимостью...
— Ха-ха! Мы на положении кенгуру...
Тесса нашел необходимым вступиться за правительство:
— Конечно, Рейно англоман и сноб. Но графиня де Порт — умная женщина. Это, так сказать, Эгерия. А я действую через приятеля графини — Бодуэна...
Кто-то фыркнул:
— Любовник любовницы.
Тесса продолжал:
— Жаль, что в кабинет не вошли наши друзья — Бретейль и Лаваль. Но будьте уверены, в норвежском вопросе мы не пойдем на авантюру. Я первый настаивал на помощи Финляндии — Франция всегда протягивала руку слабым. А в судьбе Норвегии мы не заинтересованы. Это спор между англичанами и немцами. Пускай Черчилль расхлебывает... Что касается нашей территории, мы гарантированы от сюрпризов. Через Голландию они не смогут пройти — голландцы откроют шлюзы. Испытания прошли блестяще. А бельгийские укрепления мало чем уступают линии Мажино. Конечно, у немцев некоторое преимущество в самолетах и танках. Но этого недостаточно. Генерал Леридо говорит, что для настоящего наступления немцы должны выставить шесть орудий против одного. Значит, их партия проиграна.
— Наше слабое место — тыл, — сказал Меже. — Коммунисты снова подняли голову. Забастовка в Курневе может распространиться. Поглядите, вот их листовки...
— Возмутительно!
— Напрасно не расстреляли депутатов...
— Им создали рекламу. Теперь все цитируют речь Греза на процессе.
— Весь процесс был ошибкой. Я говорил Даладье... Надо было или держать их в тюрьме без суда, или подвести дело под государственную измену.

— Мы связаны законами. (Тесса вздохнул.) Посмотрите приговоры: два-три года тюрьмы. Кого это может остановить? Рейно — тряпка. А Мандель слепо ненавидит Гитлера. Это — опаснейший демагог, он мечтает стать эмиссаром Коммуны. Я рассчитываю на поддержку Серроля. Он социалист, но порядочный человек. Счастье, что ему дали портфель министра юстиции. Он прямо говорит, что московскую язву следует выжечь железом...

Тесса выпил рюмку арманьяка и загрустил: могут расстрелять Дениз... Но быстро совладал с собой, стал снова непримиримым, мужественным. Гости одобрительно шумели. Тесса стоял возле круглого столика: окаменел, держа в руке щипчики для сахара. Ему казалось, что он стоит у государственного кормила.

Потом вниманием овладел Пикар. Он рассказал анекдоты о генерале Горте.

К Тесса подошла Жозефина, тихо спросила:

— Где Люсьен?

Тесса растерялся, впервые кто-то заговорил с ним о сыне. Он ответил, не подумав:

— Пропал.

И сразу понял, что это звучит двусмысленно; поправился:

— Может быть, убит. Бедный Люсьен!..

Его голос дрогнул. Жозефина не выдержала, заплакала. Тесса тоже почувствовал во рту слезы и поспешно вытер пальцем свой птичий нос.

Подошел Монтиньи. Тесса опомнился: нельзя давать волю чувствам! Нужно быть сильным, как Клемансо... Стал рассуждать:

— Гитлер сделал еще одну ошибку: он будет сражаться с моржами. А мы пока что можем жить, работать. Даладье решил демобилизовать полмиллиона крестьян. Нужно пахать, сеять; без хлеба не проживешь. Пускай Дюкан и Фуже кликушествуют... Мы покажем миру, что такое французская выдержка...

Монтиньи кивал головой: правильно! Потом обнял Тесса и загрохотал на всю гостиную:

— Вы хорошо сделали, что купили участок в Пуату. Это пуп Франции, далеко от всех границ. У меня усадьба в Савойе, и, говоря откровенно, я побаиваюсь. Все-таки итальянцы — фантазеры... А вот вы можете спать спокойно — в Пуату никто не придет. Я всегда говорил Бретейлю, что у вас государственный ум...

15

Узнав, что Рейно сел на место Даладье, Меже заявил Гранделю:

— Я должен был сдать к первому мая сто восемьдесят бомбардировщиков. Но положение изменилось... Вы можете сказать министру, что необходимы дополнительные испытания...

Грандель улыбнулся:

— Я вас понимаю... Рейно — авантюрист. Чего доброго, он втянет нас в настоящую войну. Зачем он послал альпийских стрелков в Нарвик? Но я надеюсь, что его скоро свалят. Достаточно одного хорошего поражения. Немцы постараются. Говорят, что его поздравил Дессер. Это превосходная примета: дружба с Дессером не к добру.

Дессер, еще недавно всесильный, стал посмешищем. Им кормились карикатуристы. А Бретейль поучал Жолио:

— Напирайте на Дессера — международный делец, поставщик пушек, плутократ. Естественно, что он за войну до победного конца. Можете его шельмовать, как хотите; Тесса мне обещал, что цензура не будет вмешиваться.

Монтиньи приказал Жолио начать кампанию против Дессера. Толстяк жаловался:

— Можно менять политическое направление, это в порядке вещей. Но Дессер поддерживал меня в самые тяжелые минуты. Вы понимаете, что значит — изменить старому другу? И потом, Дессер — честный человек. Конечно, он не марселец, но он любит Марсель. Я слышал, как он разговаривал с рыбаками в Кассисе... Это настоящий француз! А я должен писать, что он — австрийский еврей и подкуплен американцами.

Дессер занимал прежде слишком высокое место. Как только он зашатался, все решили — падает; повторяли: «бедняга», хотя у Дессера еще были и заводы и акции. Никто не справлялся, как идут его дела. Инженеры «Сэна» говорили: «Вряд ли дотянет до годичного собрания...» Даже старик садовник усомнился в кредитоспособности своего хозяина и попросил жалованье вперед.

Дессер все больше и больше пил, избегал людей, скрывал от Жаннет припадки грудной жабы. Встречаясь с приятелями, шутил: «Позвольте представиться —

австрийский плутократ, у которого садовник просит жалованье вперед». Собеседник отворачивался — на Дессера страшно было глядеть: болезнь и неудачи размыли его лицо, оно стало рыхлым, бесформенным.

Жаннет чувствовала к нему острую, почти невыносимую жалость. Это чувство было унизительным для обоих; и не раз она пыталась озлобить себя, говорила ему дерзости, надеялась, что он ответит тем же. Но Дессер вбирал голову в плечи и глядел на нее добрыми, мутными глазами старой собаки. Тогда она его обнимала, повторяла трогательные отвлеченные слова. Он шептал: «Жаннет!» Это было заклинанием, как будто Жаннет могла его спасти. Он знал, что только она привязывает его к жизни, а смерти он боялся еще сильнее прежнего, не боли, но пустоты,— ничего не будет, ни хорошего, ни плохого, и от этого хотелось выть.

Он часто говорил себе, что губит Жаннет; решал порвать с ней, выдерживал несколько недель, потом вдруг будил ее ночью, вбегал растерянный, спрашивал: «Можно?» Она гладила его жесткие седые волосы, а из больших испуганных глаз катились слезы.

Первого мая Дессер столкнулся с Меже. Произошло это в баре «Карлтон».

— Мне говорили, что вы хвораете,— сказал Меже.

— Нет, я себя превосходно чувствую.

— Здоровье — самое важное, особенно в наше время... Вы знаете, какой сегодня день? Первое мая. И никто об этом не думает. А помните, как в прошлом году мы волновались, ждали забастовок, демонстраций? Обыкновенный будничный день. Нет худа без добра. Вы, кажется, со мной не согласны?

Меже так часто называл Дессера «красным», что сам уверовал в созданный им миф. А Дессер равнодушно ответил:

— Спокойно... Пожалуй, чересчур...

На улице его остановила молоденькая цветочница:

— Купите ландыши! Двадцать су. Приносят счастье...

У нее были зубы грызуна, а глаза затравленные. Он взял букетик еще не распустившихся, зеленых ландышей. «Приносят счастье...» Нет, не принесут!.. Улыбка Меже, глаза цветочницы, Жаннет... И выхода нет. Убьют. Кого? Жаннет, его, всех... Он жадно пил коньяк у стойки. Радио хрипело:

Счастье стоять над ручьем,
Счастье ни в чем, ни в чем.

Неделю спустя Дессер встретил Жаннет. Она прошла мимо, не заметив его; шла и улыбалась. Он понял: без него она оживает. Пора кончать!

Много раз Дессер уговаривал Жаннет переехать. Она отказывалась. Она жила все в той же старенькой гостинице возле улицы Бонапарт. Он хорошо знал и пышную хозяйку, обсыпанную голубоватой пудрой, и темную винтовую лестницу. Каждая ступенька — одышка и сомнение. Коридоры пахли уборной, духами, кухней. Комната Жаннет была очень узкой. Над камином Дафнис полвека целовал бронзовую Хлою. Кто жил здесь прежде? Художник, мечтавший о славе? Счетовод, влюбленный в красотку из «Фоли-бержер», урод с фиксатуаром и яркими галстуками? Или немецкий эмигрант, аккуратный и растерянный, без права жительства? По ночам он вынимал открытку с видом Маннгейма и, сняв ботинки, шагал из угла в угол... В этой плохо проветриваемой комнате одиночество накапливалось, сгущалось.

Дессер спокойно сказал:

— Мы не должны больше встречаться.

Он проговорил эту фразу; боялся, что она спросит «почему» или поглядит на него; тогда он не выдержит. Но Жаннет, отвернувшись, сказала «да». Она подумала: «Ничего не осталось, даже обмана. Так лучше!..» А он дивился своему спокойствию: ведь это смерть, и не страшно...

Была теплая майская ночь. Над затемненным городом множились звезды. Цвели каштаны. Куранты на соседней церкви подробно вызванивали четверти.

— Ночь для влюбленных,— усмехнулся Дессер. Он стоял у окна.

— Влюбленных нет. Есть звезды, деревья, стихи. Вот, Дессер, мы и состарились!..

— Вы не начинали жить. Я вам помешал. Больше не буду — ни мешать, ни жить...

Последние слова вырвались против воли: он рассердился на себя — жалуется. Она подумает — вымаливает. Он всегда знал, что любовь нельзя купить за деньги; ее нельзя купить и на слезы. А Жаннет, не замечая его волнения, ответила:

— Мне не хочется жить. Когда-то хотелось... Не вышло... А вам?..

— Я боюсь смерти... то есть не могу понять, как это — умереть...

Он собрался было уходить, когда загрохотали зенитки; будто свора сорвалась, и лают, лают... В мягкое бархатное небо вцепились прожекторы. А сирены сходили с ума, было в их реве что-то живое, звериное. Жаннет спросила:

— Что это?

— Скорее всего, начало. Весна... Я вам говорил — ночь для влюбленных. Они думали, что немцы будут сидеть и ждать. Меже сиял: «До чего спокойно!» Жалкие люди!.. Нет, хуже,— предатели... А впрочем, все равно... Жаннет, неужели вы совсем не боитесь смерти?

Она ответила твердо, даже сухо:

— Нет.

А зенитки все грохотали.

Наконец тревога кончилась. Дессер сидел у окна в кресле: попросил разрешения остаться до утра. Зачирикали птицы; детские, простые звуки. Косые лучи, длинные тени. Прохлада. Провезли овощи на рынок. Прошла молочница. И Дессеру показалось, что ничего не было — ни ночной тревоги, ни объяснения. Он поглядел на Жаннет; она спала; лицо ее было спокойным, равнодушным. Он подумал: «Когда закрыты глаза, она обыкновенная...» А Жаннет, точно угадав во сне его мысли, проснулась, поглядела. Он отвернулся. Она весело сказала:

— Доброе утро, Дессер!

Может быть, и она забыла про все? В окно донесся смех школьников:

— Если меня Бегемот вызовет — скандал...

— У меня — задача с бассейнами... А мы пошли в кино — «Поцелуй смерти»...

Потом загнусавило радио: «При третьем ударе будет ровно семь часов одна минута... Передаем утренние известия... Сегодня ночью германские войска вступили в Голландию и Бельгию...»

Жаннет вскрикнула, подбежала к окну. На улице стояла женщина с корзинкой, слушала радио: «Отряды парашютистов сброшены на территорию Голландии...» Женщина выронила корзинку, и на мостовую посыпалась крупная бледно-розовая земляника. Дессер повернулся к Жаннет:

— Я вам говорил, что это — начало...

Под окном, возле газетного киоска, толпились люди: рабочие, торговцы, женщины. Все обсуждали события.

— Как в четырнадцатом... Могут сюда прийти...
— Они там завязнут. Допустим, что даже возьмут Голландию. А дальше что? Нам это только на руку.
— Писали, будто голландцы затопят все...
— Мало ли что пишут! За писания платят... А немцы могут спуститься на парашютах... Прямо на Марсово поле...
Дессер захлопнул окно.
— Сколько этих людей обманывали! (Он сел в кресло. Тяжело дышал. Болели плечо, рука.) Жаннет, поглядите на меня! Я ведь боюсь ваших глаз... Слушайте! Слушайте внимательно!.. Я тоже обманывал... Может быть, больше других... Хотел сохранить... А что сохранить?.. Тесса?.. Вот и расплата!.. Не знаю, что с нами будет... Придет Гитлер... Тогда — Франции конец... Пьер был прав... Он мне говорил: «Бросьте!..» Я мертвый... Но убили не меня, а Пьера... Жаннет, только чтобы вас не убили!.. Ну, прощайте!.. Видите, с чем совпал наш разрыв? Эффектно, как в театре... А на самом деле просто... И страшно...
Он говорил глухо, несвязно. Потом надел шляпу и, уже стоя в дверях, поцеловал руку Жаннет; резко нагнулся. И в поцелуе, в согнутой спине, в дрожи руки сказалась сила чувства, боль, отчаяние.
— Жаннет, я достану вам паспорт, визу. Уезжайте! Подальше, в Америку...
Она покачала головой: нет. Она слишком устала... Но сейчас ей невыносимо жалко всех: и голландцев, и людей, которые еще галдят под окном, и Дессера. Больше всего ей жалко Дессера. Думают — он все может. А он несчастнее ее — раб, кукла, тень. И впервые она обратилась к нему на «ты»:
— Не убивайся! Все кончится. Не знаю как, но кончится. Милый мой Дессер, прощай!..

16

Майор Леруа позеленел: тряслась челюсть; казалось, он сам с собой разговаривает. А Леридо пожал плечами.
— Не понимаю, при чем тут мосты?..
— Генерал Моке сказал... Я связался по проводу...
— Генерала Моке за такие разговоры следует отдать под суд. Противник в шестидесяти километрах от

переправ. Я убежден, что это — диверсия, поскольку наши основные силы проникли в Бельгию со стороны Като — Вервена. Но возьмем самое худшее — удар направлен на нас. Чтобы дойти до Мааса, они должны положить месяц. И я беру хорошие темпы наступления. А наши контратаки?.. Седьмая армия подошла к Антверпену. Это что же, по-вашему, оборона или наступление? А при наступательном характере операции только неучи могут говорить о разрушении мостов. Вы меня понимаете, майор? И перестаньте шептать под нос!..

— Я...

— Вы?.. Сразу видно, что вы ту войну просидели в Париже. Первое правило — спокойствие. Война вступила в острую фазу, это естественно. Но мы должны работать, как прежде, в этом секрет победы. Я попрошу вас изложить мне содержание сегодняшних газет...

Леруа сделал над собой усилие:

— Ромье в «Фигаро» считает, что наступление противника удастся приостановить на линии Намюр — Антверпен... (Его челюсть снова затряслась.) Господин генерал, немцы не в шестидесяти километрах, а в сорока. Они заняли Марш.

— Можно подумать, что вы депутат, а не офицер. Во-первых, это — непроверенные данные... Во-вторых, если даже патрули противника достигли Марша, это ровно ничего не доказывает. Можете идти. И пришлите полковника.

Леридо развернул большую карту. Вошел Моро, как всегда невозмутимый:

— Чудесный день. Я только что вернулся — был у танкистов. Здесь приятные места — рощи, пригорки.

Погруженный в свои мысли, Леридо ответил:

— Местность сильно пересеченная. Так что глупо поднимать панику. Вот посмотрите — я отметил синим карандашом линию фронта. Это совпадает с вашими данными?

Рядом с крохотным Леридо полковник казался великаном. Он поглядел на генерала благодушно, даже снисходительно:

— Фронта нет. Вы отчеркнули Марш — Либрамон. Но ведь это было утром. А теперь четыре часа пополудни.

— Вы хотите сказать, что они продолжают продвигаться?

— Они попросту едут вперед.

На минуту Леридо смутился, закрыл глаза. У него были мясистые синие веки. Но тотчас он оправился:

— Тем хуже для них. Мешок вытягивается, а по обе стороны — наши части. Нам остается прощупать, где у них слабое место. Я должен повидаться с генералом Пикаром. Хорошо, что вы со мной... Наш майор потерял голову. Да и Моке... А в положении нет ничего угрожающего. Ваше мнение, полковник?

— Вряд ли генерал Пикар захочет поставить на карту резервы. Вы ведь знаете, как он относится к этой войне...

— Да, но положение изменилось — теперь они наступают. Мы вынуждены действовать.

— Боюсь, что ничего не поможет. Они бросили не менее семисот танков. А защита слабая. К сорокасемимиллиметровым нет снарядов.

— Это деталь. Можно, наконец, применить полевые орудия... Я вижу, что и вы поддались общему психозу. Вспомните август четырнадцатого. Тогда было хуже... Я не забуду бегства — от Шарлеруа до Мо. Артиллеристы бросали орудия, садились на коней. А две недели спустя мы гнали немцев до Эны. Фон Клюк не прикрыл правого фланга, и что же — он поплатился. А теперь они наступают узкой колонной. Это безумие! Их коммуникации под нашим ударом.

Он долго говорил о законах стратегии, о переменчивости военного счастья, о качествах французской пехоты. Полковник стоял у окна и глядел на отлогие холмы с шашечницами полей; рассеянно улыбался. Потом он ушел: нужно проверить расположение зениток. Леридо остался один, вытер платком потные виски, задумался. Моро — человек хладнокровный. Если и он раскис, это плохой признак... Надо признать, что противник продвигается неслыханно быстро. Или они сошли с ума, или они дьявольски сильны. Вместо планомерной военной операции какой-то хаос. Трудно разобраться!.. На линии Мажино было куда спокойней; там не могло приключиться таких сюрпризов. Разве это современная война?.. Это примитивная драка!

Перегруппировку произвели еще в начале апреля. Тогда сектор Седана был спокойным тылом. Солдаты радовались — курили контрабандный бельгийский табак. А Леридо скучал. Он был убежден, что немцы не

войдут в Бельгию. «Зачем им повторять ошибки Вильгельма?» Внимательно следил за операциями в Норвегии; ругал англичан: «Негоцианты, а не солдаты, вот что!» По вечерам играл с полковником в шахматы или писал длинные письма Софи.

Все произошло неожиданно, как говорил Леридо, «безграмотно». Наступление немцев представлялось генералу глупой выходкой. Он успокаивал всех: «Они лезут в капкан». Но сейчас его расстроил Моро. Может быть, положение серьезнее, чем он думает?.. Пренеприятная история с противотанковыми орудиями. А Рейно хочет выдвинуть де Голля... Это честолюбивый неуч. Естественно, что генерал Пикар возмущен... Да, Леридо попал в переделку! Нужно успокоиться... Он положил поверх карты бювар: решил написать Софи.

«Дорогая моя певунья!

Третий день от тебя нет писем. Я ужасно волнуюсь. Санже говорит, что в Париже гастрические заболевания. Деточка, не ешь сырых фруктов и салата! Я здоров и бодр, хотя последние дни были очень утомительными. Ты, наверное, знаешь из газет, что противник начал операции крупного масштаба. Безусловно, он скоро выдохнется. Погода стоит хорошая, и я каждый день гуляю два часа. Вчера к нам приезжал адъютант генерала Пикара, майор де Грав, молодой человек с большими музыкальными способностями. Он играл нам Грига. Я его поздравил, но про себя подумал — далеко ему до моей Софи! Как я скучаю по тебе, мое сокровище! Мечтаю о дне, когда увижу твои милые ручки, которые, как чайки, носятся по клавишам. Стендаль был прав, говоря, что настоящая любовь...»

Леридо вздрогнул от грохота, посадил кляксу и рассердился. Не стучась, вошел Моро:

— Придется спуститься.

В погребе было прохладно. Таинственно посвечивали пыльные бутылки на полках. Пахло вином. Офицеры зевали, потягивались. Моро сел на бочку, улыбался. Генералу принесли табурет. Леридо дулся: опять не дали кончить письмо...

Майор Леруа лепетал:

— Сюда метят...

Моро кивнул головой:

— У них прекрасная разведка. Стоит нам обосноваться, как сразу поздравляют с новосельем...

Придется утром переехать Я плохо сплю на новом месте.

— Ничего не поделаешь,— ответил генерал.— Это война. Не маневры... Но надо сказать — люди одичали. В ту войну никто не трогал штабов. Должно быть взаимное уважение... А теперь они нас ищут, как батарею... Далеко мы ушли от рыцарского духа! Они ничем не гнушаются. Вы помните, полковник, «Помпея»? Это шедевр. Особенно сцена, когда Корнелия, оплакивая Помпея, узнает о заговоре. Она говорит Цезарю: «Ты — враг. Мою ты омрачаешь землю. И вот рабы замыслили тебя сразить. Но помощи рабов я не приемлю...» Вот это характер! А благородство стиха!..

Не обращая внимания на грохот, Леридо декламировал Корнеля. Потом замолк — устал, едва сдерживал зевоту. Майор хотел прикурить; рука с сигаретой подпрыгивала. А Санже насвистывал: «Все прекрасно, госпожа маркиза».

— Замолчите вы! — крикнул майор.

— Простите. Это от обстановки — бутылки, бочки, стихи... Можно представить себе, что мы в кабаре на Монмартре.

Когда бомбардировка кончилась, Леридо хотел дописать письмо. Но снова помешали — пришел Моро:

— Представление продолжается — немецкие танки в Пализеле.

Леридо поглядел на карту и стал шагать из угла в угол. Он волновался, но не хотел показать Моро, что ошибся.

— Я вам говорил, полковник, это сумасшедшие! Они даже не пытаются расширить мешок. (Он помолчал.) Так или иначе, я считаю необходимым взорвать мосты между Монтерме и Нузоном. У вас есть связь с Моке?

— Утром была... Но я думаю, что они уехали из Нузона.

— Тогда отправьте капитана Санже. Одновременно предупредите ставку: если саперы опоздают, выполнять с воздуха...

Наконец-то он дописал письмо: «Положение несколько усложнилось. Но я не теряю надежды увидеть тебя еще в мае. При таком расходе людей и горючего они должны будут скоро остановить операцию. Береги себя!»

Санже налил в кофейную чашку коньяку, выпил и простился с Леруа:

— Экскурсия из невеселых...

А час спустя майор узнал, что Санже и шофера застрелили на дороге; они едва успели отъехать от дома. Прибежали крестьяне.

— Это немцы!..

— Вздор! Я сейчас поеду, проверим...

Кто напал на Санже, осталось невыясненным. Леридо, увидав два трупа в машине, отдал честь; был спокоен. Полковник Моро спросил:

— Прикажете мне поехать?

— Нет.

Все ждали, кого пошлет Леридо. Но он сел в машину и сказал:

— Никто не поедет. В конечном счете генерал Моке не ребенок, он сам знает, что делать. А мосты уничтожат с воздуха. Садитесь, полковник.

— К нам?

— Нет, в Ретель. Мы не имеем права рисковать собой, это азбука. (Он вспомнил оскал мертвого Санже и облизал губы.) У нас отвратительный тыл, вот что!

Они ехали медленно: дорога была забита — танки, тягачи, лошади. Все это двигалось навстречу. И Леридо несколько успокоился:

— Наконец-то они поняли, что без подкрепления нельзя ликвидировать прорыв!

Возле Шарлевиля машину остановили солдаты; что-то выкрикивали. Увидев генерала, притихли. Леридо спросил:

— Что случилось?

Кто-то позади нерешительно ответил:

— Немцы...

И сразу все завопили:

— Десант... Убили начальника станции...

— Парашютисты!..

— Двух офицеров застрелили!..

Леридо привстал, гаркнул:

— Тише! Куда направляетесь?

Солдаты молчали. Моро усмехнулся:

— Дело ясное — дезертиры.

Тогда с земли раздался крик, похожий на лай:

— Что, генерал, удираешь?

Леридо не потерял самообладания:

— Молчать!

Он поглядел на обидчика и увидел, что солдат ранен — земля кругом была в крови. Леридо распорядился:

— Меже, мы его довезем до перевязочного пункта.

Раненого посадили рядом с шофером; он молчал; глаза были закрыты.

Напрасно Меже гудел; густой толпой шли беженцы. Многие гнали скот. Приходилось пробиваться сквозь стада. Крестьянские телеги плелись в два ряда. Леридо начал нервничать:

— Так мы никогда не выберемся. Это паника, вот что!

Меже остановил машину, прислушался. Генерал выглянул в окошко — бомбардировщики... Беженцы и солдаты рассыпались по полю, спрятались в рощице. Ехать дальше было невозможно: телеги, коровы. Отошли в сторону; полковник лег; его примеру последовал Меже. Леридо счел это унизительным; стоя, он глядел на небо, маленький, но величественный. Девять самолетов...

— Летают они аккуратно...

Одна из бомб упала на рощу. Когда они садились в машину, генерал увидал на носилках девочку лет шести-семи: осколок бомбы оторвал ноги. Леридо высморкался и тихо сказал полковнику:

— Какой ужас!

Потом он обратился к раненому солдату:

— Ну, как поживает наш герой?

Солдат молчал. А вскоре после этого Меже спросил:

— Разрешите выкинуть? Наваливается, мешает...

— Да вы с ума сошли! Выкинуть раненого?

— Он кончился... Холодный.

Труп солдата качался, и сзади казалось, что человек засыпает.

Они остановились перед железнодорожной станцией: Меже хотел набрать воды. На платформе валялись снаряды. Леридо вышел, проверил:

— Для сорокасемимиллиметровых. А вы говорили, что их нет... Вот вам! Но почему они здесь?.. Неслыханный беспорядок!

Обошли всю станцию, но никого не встретили. В комнате телеграфиста на полу сидел босой солдат; что-то жевал. Увидав генерала, он перепугался, стал обуваться. Леридо спросил:

— Какого полка?

— Сто семьдесят третьего. Ногу натер, отстал.

— Где винтовка?

Солдат не ответил.

— Где начальник станции?

— Все разбежались. Говорят, что немцы рядом... На мотоциклах... Страшно!

Он хныкал, как ребенок. Леридо брезгливо поморщился.

Набрали воды; поехали дальше. Генерал молчал. А когда они подъезжали к Ретелю, он вдруг сказал Моро:

— Война проиграна, вот что! Не знаю, что придумают депутаты. Это авантюристы и неучи, во главе с Рейно. А мы теперь можем умыть руки: мы сделали все, что могли. Как говорили римляне, пускай другие сделают лучше.

17

Деревушка, где стоял батальон, была за тридевять земель от беспокойного мира. Крестьяне жгли можжевельник, коптили окорока. Мудро, как древние богини, глядели на грузовик тучные коровы. Зеленели люцерна и клевер.

Когда приносили газеты, солдаты накидывались на последнюю страницу; их не занимали ни потопленные тонны, ни бои за Тронгейм; они жадно перечитывали хронику происшествий, объявления. Где-то остались театры, кафе с людными террасами, женщины, много веселых, нарядных женщин.

Андре не тосковал о Париже. Сын нормандского крестьянина, он как будто нашел себя в этой медленной, тягучей жизни. Если и вспоминал прошлое, это были смутные, призрачные образы: улыбка Жаннет или ненаписанные холсты — пепел домов, сизая Сена.

Солдаты обжились, подружились с крестьянами. Живер писал стихи зеленоглазой девчонке; сравнивал ее с Горгоной. Лорье раздобыл флейту; играл на свадьбах. Нивелль в деревенском кафе, как человек сведущий, доказывал хозяину, что вермут «крюсификс» куда выгоднее «чинзано». Ив говорил: «Земля здесь хорошая...» Открывал рот, удивлялся — земля оказалась хорошей повсюду. Андре был общим любимцем. С той же неловкой улыбкой он отдавал Иву последнюю щепотку табаку и рисовал Живера — «для невесты».

Ротный командир лейтенант Фрессине в мирное время был фотографом: снимал молодоженов, новорожденных, провинциальных львиц. Это был добряк, ворчливый и чересчур чувствительный. Он рассказывал солдатам о Вердене: «Люди были другие — глупее, но порядочнее...» Солдаты вежливо улыбались: они не верили в героизм, не хотели славы, не связывали своей судьбы с непонятной чужой войной. И Фрессине по ночам думал: «Разве это армия? Разобьют нас в прах. А Даладье ничего не видит...»

Колосилась пшеница. Молодые телята стали рассудительней; в их глазах проступала ранняя меланхолия. Начались жаркие дни. В кафе солдаты теперь заказывали не грог, но пиво; заводили патефон; пластинок было мало, и сиплый тенор неизменно стонал: «Да, да, да, это не кончится никогда...» Все подпевали. Ив думал о своем белом домике в Бретани, а чудак Андре, глядя на звездное небо, вспоминал туманности Гершеля.

И вот пришла война, пришла сразу, застала всех врасплох — и штабы и сердца. Прошлой осенью солдаты были более подготовлены к бою, к смерти. Их разморило долгое прозябание. И когда прибежал Лорье с криком: «Началось!», никто не поверил. Ив выругался, перетасовал колоду. Нивелль сказал: «Ерунда! А вот сдал ты мне черт знает что...»

Прошло четыре дня. По радио передавали: французские войска дошли до Голландии; Рузвельт возмущен немецкой агрессией; бельгийский король (его называли «король-рыцарь») поздравил доблестных защитников Льежа. А на пятый день, с раннего утра, заметались автомобили, мотоциклы. Покой зеленого утра разодрала глухая канонада. Фрессине мрачно сказал: «Вот вам и Голландия!..»

В полдень прилетели немецкие бомбардировщики; разрушили церковь, восемь домов. Убили женщину. На узкой проселочной дороге показались беженцы; кричали: «Убивают!» Жители деревни не испугались бомбардировки; но, увидев беженцев, обезумели; женщины плакали; стали грузить пожитки на скрипучие возы; кололи свиней; выгоняли коров. Один крестьянин поджег дом. Солдаты едва справились с пожаром. Напрасно Фрессине уговаривал: «Куда идете?.. Вас на дороге убьют...» Его не слушали; глядели мутными, непонимающими глазами. К вечеру в деревне никого

не осталось. Андре зашел в дом — еще теплая печь, котелок с мясом...

Среди беженцев шли солдаты; многие без винтовок. Уверяли, будто немцы в пяти километрах.

— Танки!..

— Отчего наши не стреляют?

— Стреляют... Только их наши снаряды не берут... Танки — вот какие!..

Показывали — танки с холм. Нивелль сказал товарищам:

— Что — снимаемся?..

Ив злобно сплюнул:

— Хочешь идти, иди.

Нивелль вскипел:

— Ты что, меня за труса считаешь? Я думал — все идут. А надо оставаться, и я останусь.

Андре удивленно посмотрел на Ива: кто бы подумал?.. «Земля здесь хорошая...» И Андре почувствовал свою связь с этой землей, с опустевшей деревней. Еще час тому назад война была для него чужим делом, флажками на карте, политикой Тесса. И вот он — в самой войне, не смотрит, не рассуждает — лежит на верхушке голого холма и ждет. Отдать вот эти поля, дорогу, обсаженную тополями, домик под холмом? Нет! Все мысли пропали; осталось чувство, горячее и темное — не уйду! И рядом Живер — щуплый мальчишка с хроническим ларингитом, поэт — ну да, он стихи пишет о Горгоне; Живер, как Ив, повторяет: «Нельзя уйти...» А Лорье, милый весельчак Лорье пробует шутить: «Ив, закрой рот! Танки испугаются, подумают — яма...» Ив стоит, стоит, приоткрыв свой большущий рот.

Лейтенант Фрессине угрюмо говорит:

— В Домоне было хуже. Но люди были другие...

Андре спрашивает:

— Это вы о нас?

Фрессине показывает рукой — нет, но Париж...

Наступила ночь. В других деревнях она была обыкновенной; лаяли собаки, храпели в альковах старики; просыпаясь, кричали грудные дети. А здесь не осталось ни собак, ни детей, ни стариков — деревня вымерла. На сухой земле молча лежали солдаты. Ночь была короткой: к четырем рассвело; и вместе с первыми лучами солнца показались самолеты. Батальон потерял сто девять человек.

Внизу снова солдаты — бегут...

— Снарядов нет...

— С четверга не подвозили... Говорят, нет горючего...

— О чем они раньше думали?..

— Продали нас за четыре су...

Нивелль вздыхает: ему хочется уйти; но один не пойдешь, а другие отмахиваются: «Уходи!..» Чтобы успокоиться, он считает: большие потери — это две трети состава. Значит, из ста — шестьдесят шесть, скажем, шестьдесят семь. На трех раненых один убитый. Значит, на сто — семнадцать убитых. Можно уцелеть...

Немецкие танки прошли мимо кирпичного завода к станции; холм обошли. Теперь стрельба доносилась отовсюду. Почему они уцепились за эту высоту?.. Справа немцы, спереди немцы, сзади немцы. Слева?.. Черт их знает, кто слева!.. Должны быть наши: третий батальон. Но и слева бегут... Уйти? Нет, этот холм теперь дороже всего, он не чужой, не «позиция», как пишут газеты; он все, что осталось от жизни. Андре кажется, что ничего и не было позади — родился и лег сюда, к пулемету. Да и все это чувствуют. Живер что-то бормочет под нос, не стихи — ругань, все в нем кипит.

Снова бомбардировщики. Убили Нивелля. Нет больше славного официанта! Никто теперь не напомнит о горько-сладких аперитивах. Никто не скажет: «А сколько, по-твоему, звезд? Я считал, что окрещенных восемнадцать тысяч. Помножь на сто...»

Опустилась еще одна ночь, подаренная судьбой, с окрещенными и неокрещенными звездами. Солдаты грызли сухари, томились; как милости, ждали рассвета, боя, смерти.

И в половине пятого Фрессине крикнул:

— Пулеметы к бою!

Лорье заметил, как легкий серебряный туман позади дороги дрогнул, зашевелился.

— Пулемет первый, поле, девятьсот!..

— Огонь!

Немцы не ожидали сопротивления: думали, что солдаты давно разбежались. Андре почувствовал непонятное веселье; оно, как вино, ударило в голову. Рядом Ив ревел:

— Закувыркались?..

Немцы залегли в ложбинке у самой дороги. Двадцать минут спустя по высоте открыли артиллерийский огонь. Сначала были перелеты.

— В деревню... Боши по своим стреляют...

Потом снаряды начали падать на холм. Взлетала земля. В промежутках между разрывами кричали люди; крик был отчаянным, неправдоподобным. Солнце било в глаза. И одна мысль оставалась: не уйти, зацепиться, врасти в эту зыбкую, летучую землю, взлететь с ней, но не уйти.

И вот тишина. Кажется, никого не осталось. Андре, удивленный, видит — Живер щурится... Значит, жив. Смеется Лорье. И Лорье жив. Кричит в траве глупая птица. А Фрессине курит. Где Ив? Наверно, Ива убили. Все это быстро проносится в голове. И ни жалости, ни страха. Сейчас меня убьют... Все равно!.. Не подпустить! И никого Андре так не любил, как свой пулемет...

— Шестьсот пятьдесят!..

Опять самолеты; они падают сверху, как камни.

Андре почувствовал резкую боль выше колена. Хотел поглядеть, что случилось, долго тер глаза — засыпало. А взглянув, увидел лицо Лорье — кровь... Все равно! Не подпустить!..

Его оттащили в сторону.

— На место Корно — Живер!

Андре лежал, уткнув лицо в колючую траву. Немцы снова пошли в атаку.

В полусне Андре слушал пулемет; его подробный, обстоятельный рассказ успокаивал. Вдруг пулемет замолк. Раздался крик маленького Живера:

— Верблюды!.. Диск скошен!..

Андре ползет через силу; хочет сказать, объяснить, но язык не слушается. Он поднимает руку и с размаху ударяет широкой ладонью по диску.

— Вот!..

И голова снова падает на землю.

Очнулся Андре ночью. Солома... Сначала ему показалось, что он заснул в поле. Почему так рано косят?.. Это он спрашивает отца... Потом вспомнил: ранен. Рядом лежит Лорье; лица его не видит; но голос Лорье.

— Ты?

— Я...

Андре морщится от боли; ему хочется говорить — много, без умолку.

— Лорье, ты меня слышишь? Пулемет выручил. А помнишь, как у Тесса из носа текло? Он землю покупал. Боюсь, что Ива убили. «Земля здесь хорошая...» Смешно!.. «Да, да, да, это не кончится...»

Лорье тихо отвечает:

— Никогда.

Паровоз свистит, свистит, не может двинуться с места. Кто-то пришел.

— Ив! Я думал, тебя убили.

— Меня? (Ив возмущен.) Дудки!.. Ты не разговаривай — сестра сказала: «Ему нельзя разговаривать». Не хотела пускать...

— Глупости! Скажи, Ив, удержались?

— Удержались. А деревню наши танки отбили. Четыре танка. В семь часов... Потом приехали из штаба на мотоцикле — приказ: «Очистить».

— Что ты несешь?

— Генерала Пикара приказ. Фрессине, как прочитал, выхватил револьвер и бац — в голову. Честное слово! Хороший был человек, только нервный. Я за него свечку поставлю. И за Нивелля. Жалко мне, что холм отдали...

И Андре жалко — дорога с тополями, домик, колючая трава... «Земля здесь хорошая...» Земля... Жаннет...

— Ив, не уходи! Нельзя уходить! Ты слышишь меня — нельзя!..

18

Газеты писали, что немцы топчутся на месте. Но солдаты разбитой Девятой армии показались в восточных предместьях Парижа. Монтиньи отправил семью в Биарриц. Роскошные машины — «кадиллаки», «испано-суизы», «бьюики» — покидали город. В Булонском лесу начали рыть окопы. Говорили о таинственных парашютистах, о «пятой колонне». Бретейль заявил, что «пятая колонна» — это иностранцы, политические эмигранты. По его настоянию полиция арестовала несколько тысяч немецких евреев, рабочих, убежавших из фашистской Италии, испанских республиканцев. Полицейским роздали винтовки. Они стояли, гордые своим оружием, на перекрестках улиц и регулировали движение. Жизнь большого города продолжалась: были переполнены кафе. Бойко торговали магазины, на аукционах продавали автографы Марии-Антуанетты и мебель Директории, ателье мод уже готовились к зимнему сезону. Особенно оживленны были окрестности биржи: вопреки всему, ценности поднялись на несколь-

ко пунктов. Исчезли автобусы; их реквизировали для переброски войск. Это успокоило парижан: вспомнили канун Марны — тогда генерал Гальени реквизировал такси и разбил немцев...

Утром шестнадцатого мая секретарь доложил Тесса, что немецкие танки подошли к Лану; многозначительно добавил:

— За пять дней они прошли сто сорок километров. а от Лана до Парижа сто тридцать...

Тесса возмутился:

— Как вы смеете распространять панические слухи? Да я не остановлюсь перед крутыми мерами!

А когда секретарь вышел, Тесса позвонил Рейно:

— Послушай, насчет немцев, я надеюсь, это вздор?..

— Они возле Лана.

— Говоря другими словами, ты считаешь, что они идут на Париж?

— Это не вызывает никаких сомнений.

— В таком случае они будут здесь, самое позднее, через четыре дня — они делают тридцать километров в день, я сосчитал.

— Гамелен говорит, что сегодня вечером они могут быть в предместьях Парижа. Я приказал сжечь архивы. Нужно быть готовым к отъезду. Я позвоню тебе через час...

Тесса позвал секретаря:

— Я погорячился... Но вы сами понимаете, такие известия, что легко потерять голову... Впрочем, лично я спокоен. Нужно принять экстренные меры. Во-первых, уничтожьте архивы. Во-вторых, составьте список служащих, подлежащих эвакуации. И скажите шоферу, чтобы он проверил машину. Пускай не отлучается ни на минуту. Я, может быть, уеду после завтрака...

Он вспомнил про Полет. Вывезти ее невозможно. Толпа возбуждена. А Полет знают все... Могут быть эксцессы... Скандалом воспользуются социалисты... Но как ей объяснить? Она не от мира сего... Будет плакать... По телефону куда проще...

— Детка, ты должна сейчас же уехать... Я не могу тебе сказать... Новости ужасные... Вечером они будут здесь, это безусловно. Но публика еще не знает, и ты не говори — зачем вызывать панику?.. Поезжай на Лионский вокзал и с первым поездом... Я?.. Я не могу. Я останусь на посту до конца. Нас не спрашивают... Мы обязаны быть героями... Прощай, моя крошка!..

Тесса положил трубку и вдруг, уронив голову на стол, заплакал. Какое горе! Подумать, что неделю тому назад все было спокойно!.. Обсуждали операции в Норвегии. Он хотел уехать с Полет в Пре-де-Дэн. Сто сорок километров за пять дней! Это чудовищно! Очевидно, солдаты попросту разбегаются. Может быть, они и не виноваты. Кому охота зря умирать?.. Бедная Франция!..

Тесса вздрогнул, поспешно поглядел на часы. Почему Рейно не звонит? Убегут, а про Тесса забудут...

— Скажите Бернару, чтобы он приготовил машину, и пусть возьмет баки с бензином — кто знает, что теперь делается на дорогах.

— Господин Дессер просит принять его по срочному делу.

— Дессер?.. Чудак! Какие теперь могут быть дела?.. Хорошо, проведите его сюда.

Они молча поздоровались; старались не глядеть друг на друга. У Тесса были красные глаза. А Дессер выглядел стариком; под седыми лохматыми бровями едва значились мутные зрачки. Он разгладил перчатки, вынул портсигар, но не закурил; придвинул и отодвинул пресс-папье. Тесса угнетало молчание.

— Что скажешь, Жюль?

Дессер глядел в одну точку. Он и сам не знал, зачем пришел к Тесса. Он метался, как маньяк, по штабам, по министерствам; был у Рейно, у Манделя, у генерала Жоржа; уговаривал, грозил, доказывал. Его вежливо выпроваживали. Наконец он заговорил:

— Завтра они могут занять Париж. Остались считанные минуты. Уйдите! Или скажите, что вы будете сопротивляться, но честно, всерьез. Повсюду шпионы. Нужно арестовывать, расстреливать. И не рабочих — Лаваля, Гранделя, Бретейля, Пикара.

— Ты понимаешь, что ты говоришь? Конечно, мы старые друзья. Но я занимаю ответственный пост, я — министр, а ты мне предлагаешь государственный переворот!

— Я тебе предлагаю уйти. Или воевать. Париж можно защищать — улицу за улицей...

— Покорно благодарю! Чтобы господа рабочие устроили Коммуну? Нет, я предпочитаю сохранить честь.

— Но Франция...

— Франция оправилась после семьдесят первого, она оправится и теперь.

— Тогда держался Бельфор, сражались на Луаре, Гамбетта поднял ополчение, Париж выдержал осаду, были партизаны. А теперь стоит им показаться, как все разбегаются.

— И ты предлагаешь?..

— Сопротивляться. Если нельзя удержать Париж — на Луаре. Если они прорвутся дальше, уйти в Алжир. Я готов все отдать, не только деньги — жизнь. И таких, как я, много... Пойми, вам никто больше не верит.

Тесса обиделся:

— Мы не нуждаемся в твоем доверии. Нас поддерживает парламент, то есть страна. Завтра ты скажешь, что мы должны уехать на Мадагаскар...

Дессер как будто проснулся — до чего он дошел: пытается усовестить Тесса! Он переменил тон:

— Поль, подумай о себе! Если они победят, парламента не будет. Они посадят гауляйтера — Бретейля или Лаваля. Ты достаточно скомпрометирован. Что ты будешь делать?

— Как нибудь проживу. Бретейль все-таки лучше Коммуны. Ты плохой советчик. Я не суеверный, тринадцать для меня счастливое число. А вот четырнадцатого умерла Амали... Но у каждого свои приметы. Я заметил, что ты приносишь несчастье. Как англичане... Ты поддерживал Бретейля — родился Народный фронт. Ты начал дружить с Виаром — Виара свалили. Если ты советуешь сопротивляться, значит, нужно капитулировать.

Дессер встал, прошел к двери. Тесса стало жаль его.

— Жюль, почему ты не уезжаешь в Америку? Денег у тебя много. А в Америке рай. Я не могу, я связан. Кстати, это ты меня подбил... Погоди, теперь не время ссориться! Послушай меня — уезжай.

Дессер выпрямился; его глаза оживились; он усмехнулся.

— Уехать?.. Я, конечно, дрянной француз. Я не удивлюсь, если меня оскорбит первый встречный. Но все-таки я — француз, черт побери!..

Тесса пожал плечами и прикрыл за гостем дверь. Он сразу забыл о разговоре. Составил список — все, что нужно взять с собой: карту генерального штаба, почтовые бланки, последний выпуск «Ревю де дё Монд», лекарство «гематополь», бутылку старого арманьяка, путеводитель... Он собрался было в дорогу, когда позвонил Рейно.

— Положение в районе Лана улучшилось. Основной удар направлен на Первую армию — сектор Сен-Кентен — Перонн. Они, видимо, хотят прорваться к побережью. Сегодня я выступлю в палате...

Тесса просиял. Самодовольно улыбаясь, он сказал секретарю:

— Я вам говорил, что нельзя поддаваться панике. В моем возрасте мне приходится учить вас храбрости, а храбрость — добродетель молодости.

Позвонил Полет, но опоздал — Полет уехала. Тогда Тесса вызвал Жолио. Толстяк прибежал сам не свой; сразу все выложил:

— В городе паника. Монтиньи удрал. У меня в кассе сто франков. Все газеты уезжают. А куда мне ехать? В Марсель? Но я слушал Рим... По-моему, они завтра выступят.

— С деньгами устроим... Не понимаю, почему вы волнуетесь? Положение давно не было таким устойчивым. Вы думаете, что немцы идут на Париж? Ничего подобного! Они идут на Лондон.

И Тесса засмеялся от удовольствия. Жолио попробовал возразить:

— Они-то хорошо знают, что у нас делается. Но кто может знать их планы?..

Однако, когда Тесса подтвердил, что выдаст из секретных фондов триста тысяч, Жолио утешился. В редакции он продиктовал передовую: «Маневр противника обозначился. Немцы хотят захватить Великобританию, которая является слабым местом союзного фронта. Мы уверены, что наши друзья по ту сторону Ла-Манша не будут захвачены врасплох». Приехав домой, Жолио крикнул:

— Мари, можешь распаковывать чемоданы. Они повернули на Лондон. Тесса дал мне триста тысяч. Представляю, что сейчас делается в Англии!.. А нам подарили месяц, и то хорошо.

Прочитав статью Жолио, парижане облегченно вздохнули. Газеты сообщали о двух мероприятиях правительства: в соборе Нотр-Дам завтра будет торжественный молебен, на котором должен присутствовать Рейно; министрам внутренних дел и юстиции предложено очистить Париж от остатков коммунистических организаций. Восемь рабочих приговорены к пяти годам тюремного заключения — у них нашли «Юманите». Немецкие войска в Бельгии несут тяжелые поте-

ри; многие части отказываются идти в бой. Биржевой день прошел оживленно.

Рейно говорил в палате о выдержке, мужестве. Когда он кончил, Тесса его поздравил:

— Ты сегодня в форме... Хорошо, что правительство не уехало утром... Когда ты мне сказал, что немцы пошли на Лондон...

— На Лондон? — Рейно удивленно поморщил лоб.— Я тебе сказал, что они хотят прорваться к побережью. Они идут на Амьен, чтобы окружить армию. Понимаешь?..

Тесса кивнул головой, но не поверил. Пять минут спустя он шептал Бретейлю:

— Рейно волнуется за своих хозяев. Что ты хочешь — это английский грум!... Но теперь он доживает последние дни. Если немцы дойдут до Амьена, Рейно слетит. И чем раньше это будет, тем лучше для Франции.

19

Слышимость была плохая. Старческий, надтреснутый голос едва доходил до генерала. Де Виссе кричал: «Не слышу!» Гул заглушал слова. Вдруг стало тихо, и голос Пикара прозвучал, как в соседней комнате: «Противник нажимает на Лан. Это ставит под угрозу столицу». Де Виссе вышел из себя: «Бред! Перед Ланом — демонстрация. Удар направлен в сторону Амьена. Положение здесь можно восстановить, если дадите подкрепления. Пришлите танковую бригаду де Голля... Вы меня слышите?..» Снова раздалось гуденье. Женский голос, усталый и несчастный, без конца повторял: «Париж... Париж...» Наконец де Виссе услышал: «Танковая бригада... послана... не будет...»

В комнате было нестерпимо жарко. Нагретая трубка телефона воняла. Де Виссе расстегнул воротник; выпил стакан теплой воды. По небритым щекам струились ручьи пота. Красные глаза вылезли из орбит — три ночи,как он не ложился.

Вошел начальник штаба:

— Генерал Горт только что передал — они начнут наступление в шесть утра.

— Вы связались с Одиннадцатой дивизией?

— Генерал Виньо потерял голову. Он мне заявил, что дивизия фактически выведена из строя, причем они должны отбиваться на левом фланге.

— Танки?

— Пехота. На автомашинах.

— Да... (Генерал покраснел, выпил еще стакан воды.) Каша!.. Но мы все-таки должны поддержать англичан. Хотя генерал Горт мог бы посоветоваться со мной, прежде чем принять решение. Где теперь штаб Одиннадцатой дивизии?

— В Гранже.

— Сколько отсюда?

— Семнадцать километров. Не знаю, доедете ли; трудно в точности установить, где противник; слоеный пирог: мы, они, мы, они...

Дорога была забита. Танк застрял. Мальчишки гнали коз. Валялись поломанные машины. Беженцы, по большей части бельгийцы, с ужасом глядели на развалины домов.

Постояли полчаса: спустила покрышка, а запасной не было. К генералу подошла старая крестьянка; ее темно-коричневое, морщинистое лицо походило на землю; она плакала и фартуком вытирала глаза.

— Почему солдаты уходят?.. Бросают нас...

Де Виссе ответил:

— Успокойтесь! Я старый человек и старый солдат, я не умею лгать... Мы отсюда не уйдем... И вы не уходите...

Возле Гранже генерал крикнул шоферу: «Стой!»

— Господин префект, куда направляетесь?

Высокий, элегантно одетый человек с красной розеткой в петлице смутился; он вышел из автомобиля; уронил перчатку. В машине сидела молодая женщина, окруженная баулами и картонками: префект удирал, стремясь опередить беженцев.

— Я...

Де Виссе зарычал:

— Я сейчас скажу вам, кто вы. Вы — трус!

Префект поднял с земли перчатку и, стараясь казаться спокойным, даже равнодушным, ответил:

— Я выполняю приказания министра внутренних дел. Что касается нанесенного оскорбления, принимая во внимание ваше славное прошлое...

Он не закончил — де Виссе ударил его по щеке. Дама завопила:

— Гастон!.. — И повернувшись к генералу: — Мясник!

Де Виссе сразу забыл о неприятной встрече: взвешивал шансы завтрашней операции. Немцам легче —

единое командование... Почему генерал Горт не запросил его?.. Говорят, что и бельгийцы действуют самостоятельно. Анархия!.. Но выбирать не приходится... Англичане отвлекут по меньшей мере восемь дивизий... Только бы не подвела авиация...

Он объяснил генералу Виньо план атаки; тот молчал. Де Виссе решил его подбодрить:

— Главное, не обращайте внимания на Париж: наделали в штаны. Они думали, что война — это дебаты, три речи Гитлера, шесть — Даладье. Все, что они делали,— сплошная глупость. «Поход» в Голландию... Немцы великолепно знали, что наше слабое место — Девятая армия... А Леридо? Ведь это свадебный генерал!.. Но сейчас намечается перелом. Английская авиация превосходно работает. Пленные подтверждают, что потери у них серьезные. В районе Арраса их танки оторвались от пехоты. Я надеюсь, что нам подкинут бригаду де Голля. Многое зависит от исхода завтрашней операции. Если вам удастся дойти до Камбре...

Виньо его прервал. Это был красивый старик с розовым девическим цветом лица и безупречно белыми усами.

— Я говорил генералу Рамилье, что без пополнения моя дивизия не способна даже к обороне. Три дня мы не видели наших самолетов. Вы говорите — их танки оторвались... Что из того? Наши орудия не пробивают брони. Вы это знаете, как и я. Вчера мы потеряли три тысячи двести человек. Солдаты деморализованы. Командиры не выполняют приказаний. Когда видишь, с какой быстротой они продвигаются...

Де Виссе ударил кулаком по столу: полетела на пол пепельница.

— Мы с вами не на заседании! Что это за разговоры?.. «Продвигаются»... Конечно, поскольку они не встречают отпора. И вы мне говорите, что офицеры не выполняют приказаний! Ясно! Кто им подает пример? Вы. Я вам говорю о плане атаки, а вы хнычете. Я вас отдам под суд. Стыдно — с такой биографией ведете себя, как мальчишка.

Де Виссе повторил еще раз задания Одиннадцатой дивизии и ушел. Генерал Виньо сказал своему адъютанту:

— Наступать мы не можем. А кого будут судить, это мы еще посмотрим...

Штаб Одиннадцатой дивизии помещался в большой ферме. Хозяева уехали. По двору бродили куры,

озабоченно выискивая завалявшиеся зерна. А среди кур стоял молоденький лейтенант в очках; он был напудрен дорожной пылью. Увидав генерала де Виссе, он взял под козырек и очень быстро заговорил:

— Господин генерал, прикажите перейти в наступление. Иначе солдаты разбегутся... Господин генерал!..

Де Виссе кивнул головой и отвернулся: слова лейтенанта его взволновали.

— В Сорок вторую дивизию.

Повернули к Перонну. Генерал включил радио. Париж передавал фокстроты. Де Виссе повертел стрелкой. Французская передача из Штутгарта: «Остатки голландской армии, еще оказывавшие сопротивление, вчера капитулировали. Наши части заняли город Сен-Кентен и продвигаются на широком фронте между Лиллем и Перонном. С начала наступления мы захватили сто десять тысяч пленных, не считая голландцев, и большое количество снаряжения. По сообщениям швейцарских журналистов, в Париже царит паника. Многие министры уже покинули столицу. Граф Чиано в большой речи, посвященной годовщине пакта, заявил: «Италия не может дольше оставаться в стороне...»

Де Виссе задумался. Может быть, завтра они будут в Перонне. Дело идет к развязке. Чем Вейган лучше Гамелена? Люди разные, но установка у них та же — цепляются за прошлое, не хотят понять, что времена другие... А заправляют бездарные фигляры. Он вспомнил разговор с Тесса — «Военные должны стушеваться»... Немцы могли уже взять Париж... Они хотят уничтожить живую силу. Даст ли что-нибудь завтрашняя операция? Кругом трусы вроде Виньо. А сколько среди них предателей?..

Он повернул стрелку на «Париж». Диктор приподнятым голосом сообщил: «Сегодня Черчилль заявил: «Руководители Франции дали мне торжественное заверение — что бы ни случилось, французы будут сражаться до конца». Де Виссе усмехнулся — кто это ему обещал?.. Может быть, Тесса? Ну да, сказал с пафосом: «Будем сражаться до конца», а сам убежал со своей дамочкой. Как этот префект... Одно ясно: армия должна сражаться до конца. А они не хотят сражаться... О чем мечтают Пикар или Виньо? О капитуляции. Нужно подать пример, умереть на посту... Пусть внуки узнают, что в этот окаянный год были настоящие

французы. Де Виссе вспомнил лейтенанта в очках: что-то подступило к горлу. Для себя де Виссе хотел одного — достойной смерти. Машинально повторил слова молитвы, как повторял их ребенком перед трудными экзаменами. Он не заметил, как они въехали в Перонн. Адъютант сказал:

— Странная история — они помещались в школе...

Спросить было некого — городок будто вымер. Наверно, боятся бомбардировок... Вывалившиеся внутренности дома мешали проехать дальше. Генерал вышел; осмотрелся. Из ворот выглянула старуха.

— Бабушка, вы не знаете, где здесь живут военные?

Женщина показала на мэрию и заплакала. Де Виссе прошел по пустым комнатам. На полу валялись бумаги, шлемы, подсумки. Он послал адъютанта на розыски, а сам решил подождать; сел на большой стол, покрытый черной клеенкой. Рассеянно поглядел: чье-то метрическое свидетельство. Снова задумался; увидел свой домик в Валянсе. Внучка, его любимица, играет с котенком... Больше он их не увидит... Осталось одно — достойно умереть...

Он с трудом открыл глаза — засыпал от усталости. Перед ним стояли немцы: офицер, несколько солдат. У немецкого полковника был шрам на щеке. Поблескивал монокль. На ломаном французском языке он сказал, нагло осклабясь:

— Если не ошибаюсь, генерал де Виссе? Честь имею засвидетельствовать глубокое уважение...

20

— Была измена... Смерть недостаточное наказание за совершенные ошибки... Помните — наши солдаты умирают на поле битвы... Мы уничтожим трусов и предателей!.. Если Францию может спасти только чудо, я верю в чудо!

Когда Рейно кончил, сенаторы вежливо зааплодировали. Это были старые, опытные политики; они понимали, что кабинет скоро полетит. А Фуже в ложе для депутатов плакал. Журналисты посмеивались, глядя на бородатого мечтателя, который вытирал глаза турецким платком.

Тесса садился в машину, когда его схватил за руку Фуже.

— Мне надо с тобой поговорить. Рейно хорошо сказал: «Была измена»... Смело, откровенно. Удар бича... Теперь надо действовать...

Все последние дни Тесса жил как в лихорадке, переходя от беспечности к глубокому отчаянию. Известия были противоречивыми; одни говорили об удачных контратаках, другие предсказывали падение Парижа. Петен уверял, что армии больше нет; остались отряды, не связанные друг с другом. Мандель доказывал, что можно сопротивляться. Министры то решали покинуть Париж, то заявляли, что ничто не угрожает столице. Тесса потерял сон; не ел. Он чувствовал, что заболевает. С ужасом он посмотрел на Фуже — только его не хватало! А Фуже влез в машину и сразу стал вопить:

— Нужно поднять народное ополчение!

— Поздно. (Тесса уныло высморкался.) Я не мистик — в чудеса я не верю. Вчера они заняли Аррас и Амьен, сегодня вышли к побережью. Армия окружена.

— Там сорок дивизий. Можно прорвать кольцо...

— Кто его прорвет? На бельгийцев не рассчитывай. Король Леопольд — германофил, это все знают. Англичане сегодня отвели две дивизии от Бапома к Дюнкерку. Естественно, что Вейган не захотел встретиться с генералом Гортом. Одним словом, это дело конченое.

— Как ты можешь так рассуждать?.. Рейно только что сказал: «Смерть за малодушие». Тебя первого следует расстрелять!..

Фуже кричал: он обдал Тесса брызгами слюны; борода его подпрыгивала. Тесса миролюбиво ответил:

— Криком не поможешь... Рейно говорил для публики. Послушал бы его дома... Ты честный человек, но фантазер. Я знаю, что ты меня ненавидишь. Напрасно! Когда на тебя напали в Марселе, я был искренне возмущен...

— О чем ты теперь думаешь? Я тебя умоляю — забудь про мелкую политику! Франция умирает. Подымись над склокой, над партиями!

— Фантазер! Больше того — человек прошлого. Семидесятитонные танки. А кто против? Гражданин Фуже. Может быть, ты уничтожишь генерала Клейста «Декларацией прав человека и гражданина»?

— Теперь не время шутить!

— Я не шучу. Я редко говорю так серьезно. Мы отжили, понимаешь? Может быть, Бретейль уцелеет.

Но и он стар — ходит в церковь, молится. Грандель, Лаваль, Меже — эти выживут. Ты меня считаешь мерзавцем, хотя мы оба радикалы. Но Дюкана ты уважаешь. И Кашена. Так вот, позволь тебе сказать — это герои прошлого века. В других странах девятнадцатый век умер вовремя — в ту войну. А у нас засиделся. У нас вообще старики не спешат умирать. Петену пошел девятый десяток, а ты его послушай — планы, амбиции... Так вот, прошлый век кончился. Как твой Дессер... Он, кстати, приходил ко мне... Знаешь, что он предлагает? Защищать Париж.

— И он прав. Говорили, что Мадрид не продержится двух дней, а Мадрид держался два года. Вооружите рабочих, и вы увидите чудеса...

Тесса пожал плечами:

— Как с тобой разговаривать? Ты живешь в мире прошлого. Что же, по-твоему, семьдесят дивизий и три тысячи танков остановятся перед баррикадами?.. И потом — нужно сойти с ума, чтобы дать оружие коммунистам! Конечно, ты обрадуешься. Но ты — исключение. Все радикалы завопят. Я уже не говорю о социалистах. А правые?.. Пикар мне как-то сказал, что если рабочие попытаются захватить власть, он откроет фронт.

— Ты должен арестовать его. И Бретейля. Говорил Рейно об измене или не говорил?.. Я хочу, чтобы ты выполнил гражданский долг. Пойми, эти люди тебя ненавидят. Если придет к власти Бретейль, он с тобой не станет церемониться. Для него ты — радикал, масон, ставленник Народного фронта. Погляди, что они пишут...

Фуже протянул Тесса листовку. Тесса сразу увидел свое имя; у него дрожали руки, он сказал: «Трудно читать, трясет...» Но прочитал: «Повесим на фонарях...» Подписано было — «Штаб верных».

Они подъехали к министерству. Тесса слабым голосом сказал:

— Прости, если я тебя обидел. Но мне очень тяжело. Очень...

У себя он внимательно прочел листовку. Он вдруг понял, что Фуже прав — друзья Бретейля не простят ему ни поднятого кулака, ни дружбы с Виаром, ни заступничества за Дениз.

Он подремал полчаса; мерещились беженцы, танки, виселицы. Проснувшись, он сел на диван, обнял свои колени и сказал вслух: «Дело не во мне! Нужно

подумать о Франции!..» Неделю тому назад он поддался панике; хотел уехать; теперь он спокойно пойдет навстречу смерти. Однако на нем ответственность, он — министр. Он должен попытаться спасти страну. Хорошо Дюкану! Этот сумасщедший думает только о себе, хочет себя разрекламировать — пошел в армию. Печальная картина — депутат в чине лейтенанта! И что такой Дюкан может сделать? Как будто без него мало лейтенантов!

«Нет, здесь нужен трюк, изобретение, необычайный маневр. Мандель считает, что мы должны помириться с Москвой. Немцы давно поняли, что Россия — сила. А этот дурак Даладье нас окончательно поссорил с русскими... (Тесса теперь был убежден, что он выступал против помощи Маннергейму.) Де Виссе говорит, что у нас мало самолетов. А у русских можно получить тысячу бомбардировщиков — купить или обменять».

Тесса увлекся: на нем — высокая миссия. Кругом слабовольные дураки, павлин Рейно, тупой Даладье. Тесса начнет смелую игру — договорится с Москвой. Тогда Италия не посмеет выступить. Да и немцы перепугаются... Во Франции произойдет перелом, народ сразу поверит в победу. Все признают, что Тесса спас родину, как Клемансо в семнадцатом...

Он вызвал Фуже.

— Спасибо, старина, что приехал! Наш разговор мне открыл на многое глаза... Мы ведь варимся в своем соку. А ты видишь вещи шире... Я тебе сейчас изложу мой план. Мы пошлем в Москву тебя или Кота.

— В Москву?.. Зачем?

— Они тебя уважают. Но если ты не хочешь, можно остановиться на Коте.

— Я тебя спрашиваю: зачем?

— Как «зачем»? Это произведет огромное впечатление, повлияет на Италию. У нас подымется дух. Наконец, русские могут нам дать снаряжение. В первую очередь самолеты...

Фуже рассердился:

— Ты что, сошел с ума? Почему русские дадут тебе самолеты? Два месяца тому назад ты кричал, что нужно уничтожить Баку...

— Ничего подобного. Я лично был против. Это — упрямство Даладье. Его неправильно называют «воклюзским быком», просто — осел... Но зачем вспоми-

нать прошлое?.. Сейчас мы хотим установить с Москвой дружеские отношения. Ты можешь мне в этом помочь...

— Русские пошлют тебя к черту, и будут правы. Первый вопрос — кого вы представляете? За вами пустота... Рабочих продолжают арестовывать. Сегодня в газетах — очередной процесс, восемь коммунистов. Твой «воклюзский осел» — министр иностранных дел. Французский народ может договориться с Москвой. Но не ты... Тебе я могу одно посоветовать — напиши президенту, что ты выходишь из правительства. Нам нужен Комитет общественного спасения!..

И, хлопнув дверью, он ушел. Тесса начал обдумывать, что еще предпринять? Хорошо бы обратиться к коммунистам... Какое несчастье, что Дениз с ним поссорилась!

Он решил обратиться к адвокату Ферроне, который неоднократно защищал коммунистов.

— Я знаю, что у тебя много знакомств среди коммунистов... Не откажи передать письмо.

— Кому?

Тесса покраснел; едва выговорил:

— Моей дочери. Это очень важно. Как можно скорей — речь идет о жизни близкого человека...

— Хорошо.— И Ферроне, чуть усмехнувшись, добавил: — Если твои полицейские не будут ходить по пятам, я вручу письмо сегодня вечером...

Тесса написал: «Дениз! Мне необходимо с тобой переговорить. Дело не личное, но общественное, исключительной важности. Прошу тебя прийти завтра в девять часов утра. Повторяю, речь идет не обо мне и не о частных интересах. Обещаю, что никто не будет знать о твоем посещении. Твой несчастный отец Поль Тесса».

Вечером пришлось поехать на заседание кабинета. Он рассеянно слушал, как Рейно докладывал: «Вейган вернулся... Конечно, положение критическое, но все же мы подготовляем контрнаступление. Англичане уже начали атаку, Пятая дивизия подходит к Аррасу...» Тесса был занят своими мыслями. Когда заседание кончилось, он отвел в сторону Рейно:

— Что ты думаешь о сближении с Москвой?

— Видишь ли, за эти дни положение настолько обострилось, что я занят исключительно военными делами. Дипломатию я поручаю Бодуэну...

Тесса принял снотворное, проспал до восьми. Он еще завтракал, когда доложили, что его спрашивает какая-то дама «по личному делу». Он завопил: «Ведите ее сюда!..»

Он был настолько увлечен игрой, что забыл про отцовские чувства; не посмотрел даже, как выглядит Дениз: ему казалось, что он принимает посла. Дениз сухо сказала:

— Если это — провокация, она не удастся — я пришла с ведома партии.

— С ведома?.. Очень хорошо! Ты знаешь, Дениз, что положение угрожающее. Мы накануне разгрома. Теперь нужно оставить все вопросы самолюбия. Речь идет о спасении Франции. А нельзя спасти страну без энтузиазма. Я первый протягиваю руку коммунистам. Мы прекратим репрессии. Они должны прекратить пропаганду. Понимаешь?.. Их гражданский долг — повлиять на Москву... Я думаю, что мы пошлем туда Кота. Я намечал Фуже, но он стар и педант. Конечно, это — между нами... Ты должна передать мое предложение Торезу, или Дюкло, или Кашену, одним словом, вашим заправилам. Если нужно, я с ними встречусь, я готов на все...

— Я не думаю, чтобы кто-нибудь отнесся серьезно к вашим словам. В тюрьмах тридцать четыре тысячи коммунистов. Освободите прежде всего арестованных. И уйдите. Передайте власть народу.

— Власть не передают, это не пакет! (Тесса вспылил, но тотчас совладал с собой.) Мы подчиняемся конституции. Пока парламент не откажет нам в доверии, мы не можем уйти. Что касается освобождения арестованных, я лично не возражаю. Боюсь только, что это неосуществимо: социалисты против. Серроль вчера мне сказал, что он отказывается перевести коммунистов на политический режим. А когда я ему намекнул, что теперь необходимо национальное объединение, он ответил: «Пусть коммунисты разоружатся первые...» Видишь, какая сложная ситуация! А правые только и ждут случая, чтобы накинуться... Если мы освободим коммунистов, правительство полетит при первом голосовании.

Дениз была измучена. Все последние дни она разговаривала с солдатами; слушала страшные рассказы о предательстве и малодушии. Человеческое горе вместе с потоками беженцев затопило Париж. А полиция

продолжала хватать коммунистов. Вчера взяли хохотушку Люси. Дениз с ней работала прежде на заводе. Люси арестовали на улице. Дома остался грудной ребенок; она кричала, требовала, чтобы заехали за ребенком. Полицейские отвечали: «Не наше дело...» Мишо был на севере, в окруженной армии. Последние письма Дениз получила в мае — до боев. И теперь нервы не выдержали — она заплакала.

Тесса расчувствовался, забыл про Фуже, про свои планы. Перед ним дочь, Дениз! Как она похудела! Видно, что ей плохо живется. Наверно, скрывается, каждую ночь ждет ареста... И он ласково сказал:

— Бедная девчурка!

Это привело в себя Дениз. Она изумленно поглядела на него.

— Вы никогда не поймете, отчего я плачу. Ужасно, что вы — мой отец, что мы оба говорим по-французски, что нас может убить одна бомба!.. Не понимаете? Невыносимо чувствовать связь с вами...

— А я никогда не переставал чувствовать, что ты моя дочь... (Он прошелся по комнате; вспомнил — надо ее уговорить.) Дениз, оставим партийные раздоры! Ты должна помочь мне... Я хочу спасти Францию, и вот, ради Франции...

— Замолчите! Прежде вы говорили — «ради матери». А Франция... Франция...

Не договорила, вспомнила беженцев, солдат; слезы сжали горло. И, боясь, что Тесса снова увидит ее слабость, она выбежала.

Тесса в раздражении подумал — святая!.. Конечно, Люсьен — подлец, но он человечней... А эта сама не живет и не хочет, чтобы другие жили!.. Истеричка!

Он отправился к Бодуэну: поговорить насчет миссии Кота. Бодуэн отвечал уклончиво; перевел разговор на Италию — пора наконец-то пойти на уступки, отдать Джибути, может быть, кусок Туниса, нажать на англичан — пускай и они чем-нибудь поступятся, например Мальтой. Муссолини готов разговаривать; но необходимо отправить в Рим подходящего человека, Лаваля или Бретейля...

Тесса позвонил Фуже:

— Я боюсь, что ты меня плохо понял. Мы можем отправить тебя или Кота с каким-нибудь туманным поручением... Например, переговоры о компенсации за галицийские промыслы... Или о покупке леса... А ты

пощупаешь... Эффект за границей будет тот же, причем мы не берем на себя никаких обязательств. Правым мы скажем: «У нас в Москве даже нет посла...» Бретейль не сможет придраться. Тем паче что мы начинаем серьезные переговоры с Муссолини. Англичане обещали освободить итальянские суда от контроля. Это уже победа! Ты меня слышишь?..

Ответа не последовало: Фуже в ярости швырнул трубку.

План не удался. Чтобы утешиться, Тесса поехал за город. Был чудесный день. Цвели сирень, жасмин, глицинии. Все благоухало. И Тесса умилился: весна наперекор всему.

Возвращаясь, он увидал в Венсенском лесу солдат; они рыли противотанковые рвы. Тесса поздоровался с ними и бодро сказал:

— Да, Парижа им не видать! Париж будет защищаться, как лев.

21

Это был крохотный город, похожий на все города Пикардии: площадь, а от нее длинная улица с кирпичными низкими домами. Площадь украшала ратуша шестнадцатого века. На башенке был золотой лев. Рядом с ратушей находились гостиница «Белая лошадь», два кафе и универсальный магазин.

Население состояло главным образом из рабочих велосипедного завода, расположенного в двух километрах от города. Среди женщин было много искусных кружевниц; они сидели у раскрытых дверей и стучали коклюшками. Летом иногда наезжали туристы, осматривали ратушу, пили на площади пиво. Зимой в кафе засиживались рабочие, курили длинные глиняные трубки, спорили о политике. До войны мэром был коммунист; Четырнадцатого июля над ратушей развевались два флага: трехцветный и красный. На стенках и теперь можно было увидеть: «Долой фашизм!» или «Да здравствует Народный фронт», а рядом с надписью — неуклюже нарисованные серп и молот. Под праздник пили можжевеловую настойку; смотрели на петушиные бои. В кино показывали фильм «Поцелуй, который убивает». Влюбленные гуляли вдоль канала, срывали кувшинки. Город засыпал рано; в одиннадцать на улицах не бывало ни души, только куранты ратуши



Илья Эренбург. Москва, 10 января 1941 г.



Обложка первого издания романа «Падение Парижа» (Москва, Гослитиздат, 1942 г.).

Автограф Эренбурга дочери на первом издании «Падения Парижа»: «Ирине с надеждой на ре-Париж. Илья Эренбург 30 июля 1942» (Собрание И. И. Эренбург).

Ирине
с надеждой на
ре-Париж.
Илья Эренбург
30 июля 1942



Обложка издания «Падения Парижа» в серии «Роман-газета» (1942 г.).



Обложка «Падения Парижа» работы Ю. Боярского (Москва, Гослитиздат, 1959 г.).









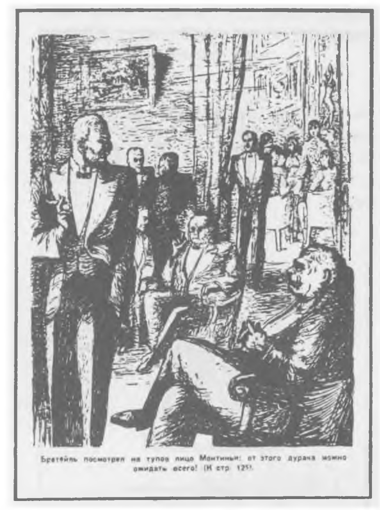
Титульный лист и иллюстрации к первой части «Падения Парижа» работы Б. М. Десницкого (Магадан, издательство «Советская Колыма», 1942 г.).


ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ПАДЕНИЕ ПАРИЖА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МАГАДАН ИЗДАТЕЛЬСТВО „СОВЕТСКАЯ КОЛЫМА" 1942


Бретейль посмотрел на тупое лицо Монтиньи: от этого дурака можно ожидать всего! (К стр. 125).


Люсьен остановился в изумлении: навстречу ползли карнавальные колесницы. (К стр. 14)


Полицейские увезли около ста рабочих. (К стр. 200)

Титульный лист и иллюстрации к второй части «Падения Парижа» работы Б. М. Десницкого (Магадан, издательство «Советская Колыма», 1942 г.).







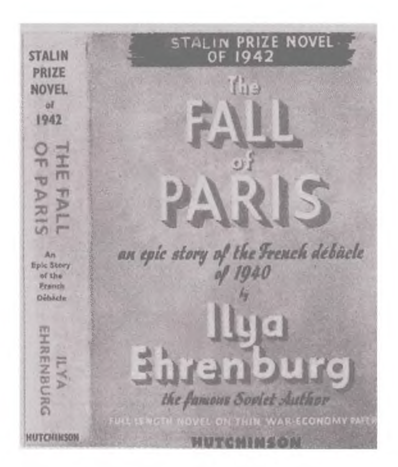


Иллюстрации Б. М. Десницкого к третьей части «Падения Парижа» (Магадан, 1942 г.). Публикуются впервые; подлинники — Гослитмузей (Москва).

Иллюстрации Л. М. Лисицкого к «Падению Парижа» (1940 г.).







Суперобложка английского издания «Падения Парижа» (Лондон, 1942 г.).



Обложка первого французского издания «Падения Парижа» (Париж, 1944 г.).

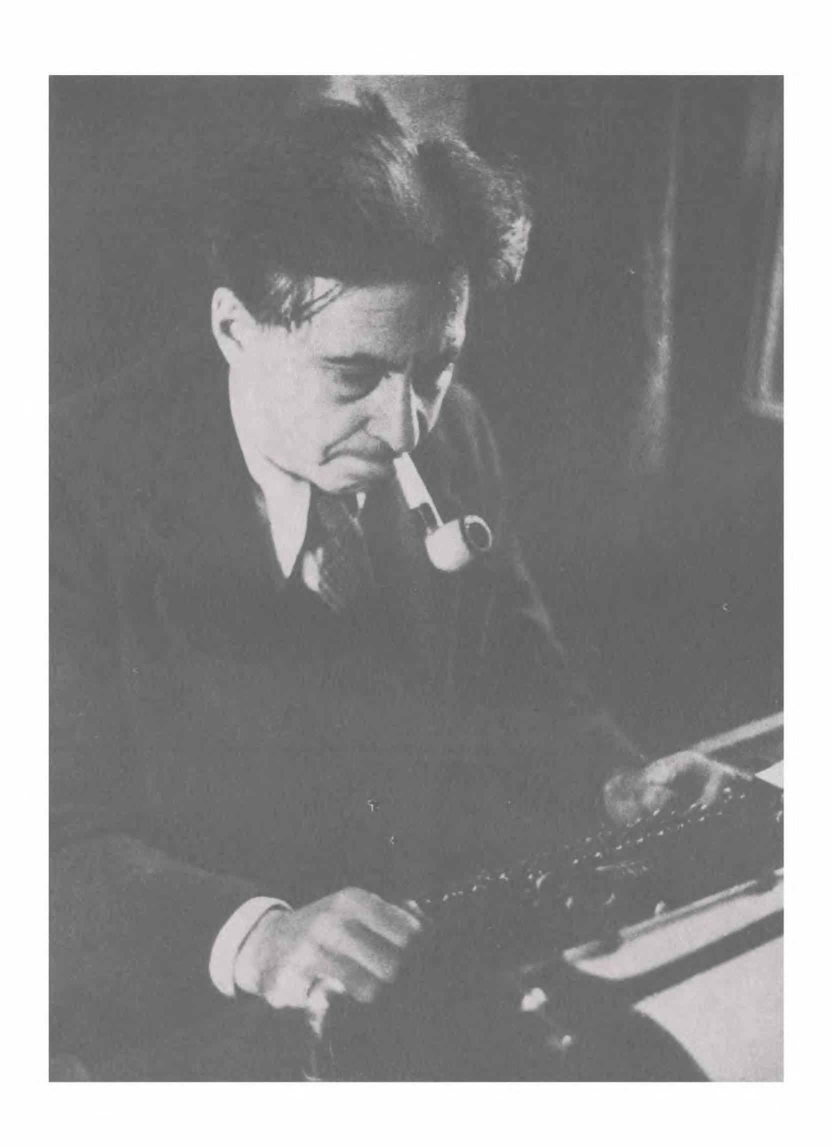
Титульный лист и иллюстрации к «Падению Парижа» работы Ханы Чаповой (Прага, издательство «Камарад», 1986 г.).

Lidové
nakladatelství
Praha

Ilja
Erenburg
Pád
Paříže







Илья Эренбург за работой.
Гостиница «Москва», 1942 г.

Обложки сборников военных статей И. Эренбурга:



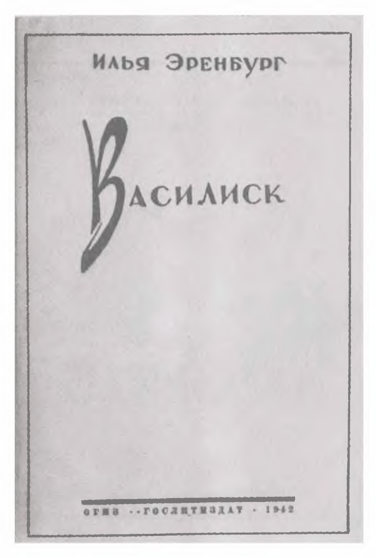
«Плененный Париж» (Москва, Гослитиздат, 1941 г.).



«Бешеные волки» (Москва — Ленинград, Военмориздат, «Библиотека краснофлотца», 1941 г.).



«Гангстеры» (Москва, Госполитиздат, 1941 г.; художник Б. Ефимов).



«Василиск» (Москва, Гослитиздат, 1942 г.).

Обложки сборников военных статей И. Эренбурга:



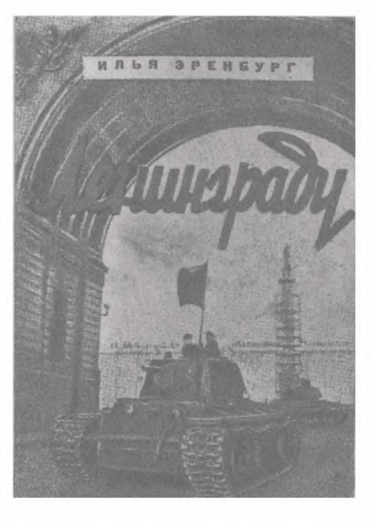
«Война», первый том (июнь 1941 — апрель 1942 г.).



«Огонь по врагу» (Ташкент, Советский писатель, 1942 г.).



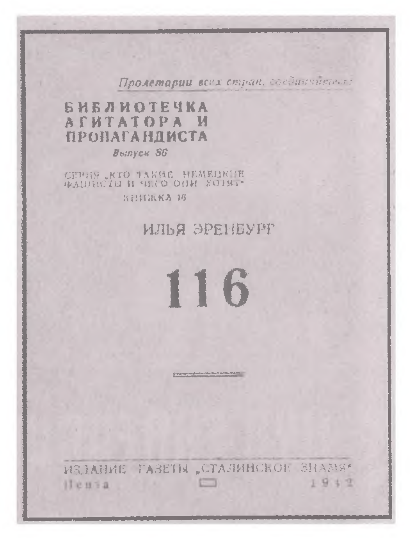
«Кавказ» (Ереван, Армгиз, 1942 г.; художник В. Сурьянинов).



«Ленинграду» (Ленинград, Воениздат Наркомата обороны, 1943 г.; художник Б. Лео).



Обложка отдельного издания статьи И. Эренбурга «Новый порядок в Курске» (Москва, Правда, 1943 г.).



Обложка одного из сборников статей И. Эренбурга, выпущенных в 1943 г. в Пензе (Собрание И. И. Эренбург).



Илья Эренбург (слева). Фронтовая поездка; июль 1943 г. Фото С. Лоскутова.

The Tempering of
RUSSIA
ILYA EHRENBURG
AUTHOR OF "THE FALL OF PARIS"
A searing picture of the terrible ordeal Russia has undergone, and of the heroism that conquered the German invaders. With a special preface for American readers.

Ilya Ehrenburg
THE TEMPERING OF
RUSSIA
Translated from the Russian by
ALEXANDER KAUN
NEW YORK ALFRED A. KNOPF
1944

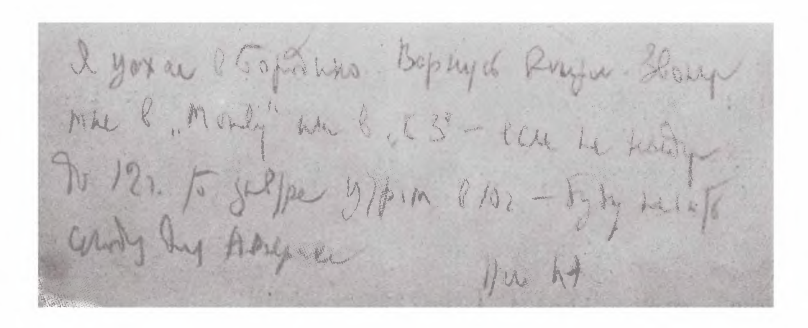
Суперобложка и титульный лист американского издания книги статей И. Эренбурга «Закал России» (Нью-Йорк, издательство А. Кнопфа, 1944 г.).



Обложка сборника военных статей И. Эренбурга, изданного в Мехико с предисловием Пабло Неруды.



Обложка албанского издания военных статей И. Эренбурга (Тирана, 1945 г.).



Записка И. Г. Эренбурга его секретарю В. А. Мильман (январь 1942 г.): «Я уехал в Бородино. Вернусь вечером. Звоните мне в «Москву» или в «К⟨расную⟩ З⟨везду⟩» — если не найдете до 12 ч., то завтра утром в 10 ч.— буду писать сегодня для Америки. Ваш И. Э.».

The Russian People in Their Year of Defeat

THE TEMPERING OF RUSSIA. By Ilya Ehrenburg. Translated from the Russian by Alexander Kaun. 356 pp. New York: Alfred A. Knopf. $3.

By MARK GAYN

A LETTER from the front: "Today we read your article 'We Shall Chase Them Out' at our observation point. Two hundred yards ahead of us were the houses occupied by the lousy German warriors. We decided to chase them out of the warmth they had stolen. With a shell we set afire the house and the robbers who had thrown out of this house honest Soviet people."

From Sevastopol another letter: "Please write a couple of biting words about the Fritzes who thought they could capture our city in three days." From the editor of an underground newspaper: "We are using your article as an editorial." Soldiers, before going into battle, demand: "Read us his latest." And other grateful soldiers send him a gift of a German automatic gun.

The writer is the unkempt, passionate, brilliant Ilya Ehrenburg, whose chronicle of the first thirteen months of the war, "The Tempering of Russia," is published this week.

Ehrenburg is like no other writer. He is a first-rate reporter, with a keen eye for color and telltale trivia; he is a satirist and a rabble-rouser; he is a humanist, with a deep and tender compassion for the oppressed wherever they may be. He is the most worldly of Russia's writers, for he has lived in Germany, Spain and France in their years of stress, has learned their languages, has studied their arts and mores with a hungry care. In the slums and cafes of Europe he met the literati, the revolutionaries, and the scum which betrayed their lands to fascism. But he has also rubbed intellectual shoulders with Dante and Plutarch, Heine and Shakespeare.

A Kiev-born Jew, he studied in Moscow, at the age of 14 helped to build revolutionary barricades, and at the age of 18 left Russia to roam western Europe. He returned to Moscow when the revolution broke out, but in 1921 went back to Paris for a nineteen-year stay as a correspondent. While in Russia he wrote one or two satires which did to Soviet life what Sinclair Lewis did to our own Main Street.

ALL this data is important because "The Tempering of Russia" is even more the record of the tempering of Ehrenburg. He is still world-minded and passionately intent on bringing freedom and happiness—as he understands freedom and happiness—to other peoples. But he has also become a nationalist, intensely proud of Russia's people, culture, heritage, capacity for endurance. "Who would dare to deny," he exclaims, "that our revolution is the greatest social movement of the century, that it has changed a huge country, that it has educated even shepherds and has welded together a hundred peoples who were enemies before? Even those who severely criticized our system of government now listen with anxiety to the roar of Moscow batteries."

The bulk of "The Tempering of Russia" consists of articles Ehrenburg wrote for Soviet newspapers, with a sprinkling of diary entries and letters from admirers. The book is arranged as a diary, and it mirrors the growing tension of that first year of war, the suffering, the hardening morale, the mounting hatred for the Germans, the puzzlement over the Allies' failure to open th. second front.

It is an angry, passionate record, seasoned with erudition and bitter irony, studded with flashes of magnificent writing and magnificent reporting. It is a book to make the reader chuckle without merriment, a book to fan hatreds, a book which lynches with words and sears with the hot indignation glowing between the lines.

Berlin to Ehrenburg is a "den



Ilya Ehrenburg.

of bandits," the Wehrmacht "an army of ravishers," the German troopers "automatons handling automatics." His portraits of German soldiers are savage. Here is one who wrapped his head in a pair of woman's riding breeches to protect himself from the cold. Since it felt awkward to raise his hand to the breeches, he stopped saluting his officers. "In the head of the Hitlerite wrapped in breeches the first human thoughts were born." And a memorable picture of a corporal gobbling butter out of a barrel on a narrow Paris street—"without bread, hastily, lest others come to share this liquid butter, melted in the sun."

BUT still more interesting are the flashes of life in Russia: the units passing through Moscow on a gray day toward the front, only a few miles away; an old woman spitting at a pile of wrecked German planes in a Moscow square; a queue: blood donors; a queue: people buying morning newspapers to learn of the progress of the battle for Moscow; an old, crowded church, with the choir singing "And vanquishing death with death"; a strangely happy man in a bookstore—he had found a first edition of Balzac's "Beatrix"; gray-faced, weary, hard-eyed men, women and children building defenses, putting out incendiary bombs, working twelve, fourteen and eighteen hours a day in an arms plant.

We see the Red generals—Zhukov and Rokossovsky, Govorov and Yeremenko—directing a battle, talking to their men, jesting. And the pious rabbi whom the Germans buried alive near Korosten. "His head towered above the ground, and the wind played with his beard. He sang before he died, extolling life, and his last words were 'Green grass lives longer than Nebuchadnezzar.'"

BUT with all its merits, the book suffers from grave defects. So much fierce emotion is packed into its every page that in the end the reader's senses become dulled, and refuse to be moved by yet another instance of Nazi savagery or Russian valor. The impact lessens with each diary entry. Someone should have pruned the book with a skilled, if severe, hand. (Alexander Kaun, incidentally, has done a beautiful job of translating.)

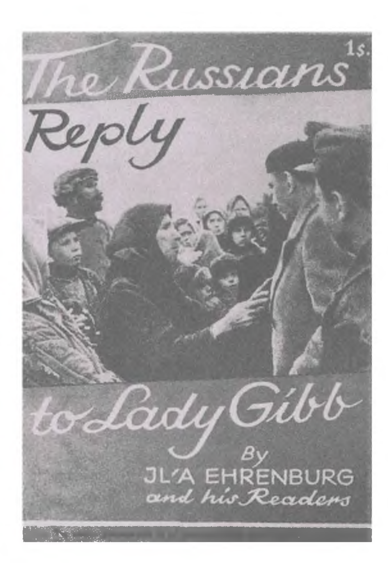
Many a reader may also feel, as did this reviewer, that while he has had a solid dose of Russian thought and feeling on things Germanic, he would have preferred a sharper, clearer picture of Russia in that cruel first year of war. Ehrenburg, for instance, completely skips the period between Dec. 4 and Dec. 14, 1941. Yet, in these historic ten days, the Germans came closest to Moscow, and were turned back by the Red Army's first winter offensive. What did Moscow feel in those ten days? What did it do? What happened in Moscow's suburbs which had become a battleground? Ehrenburg's is a good and useful book. But the field is still wide open for a faithful and moving record of that bloody and terrible war.

BOOK REVIEW, AUGUST 13, 1944. 119-80-36 3

Страница американского журнала «Book Review» (август 1944 г.), посвященная Эренбургу.



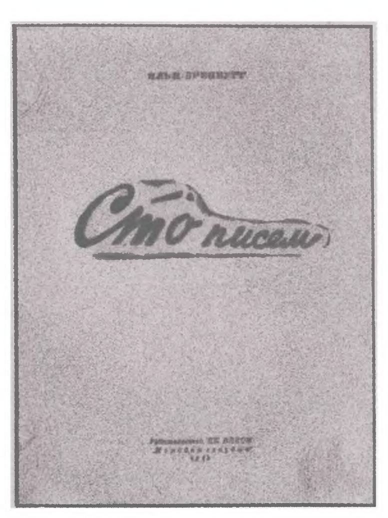
Обложка сборника 16 статей И. Эренбурга 1944 года «Мы идем судить» (Лондон, 1945 г.).



Обложка сборника статей И. Эренбурга и писем к нему фронтовиков «Русские отвечают леди Гибб» (Лондон, 1945 г.).



Обложка французского издания книги И. Эренбурга «Сто писем» с предисловием Ж.-Р. Блока (Париж, 1945 г.).



Титульный лист верстки книги И. Эренбурга «Сто писем» (Москва, Молодая гвардия, 1943 г.). Издание было запрещено и не вышло. (Собрание И. И. Эренбург).



Илья Эренбург за чтением писем фронтовиков. 3 января 1945 г. Фото Е. Тиханова.



Илья Эренбург. Шарж Б. Ефимова (1946 г.).

мелодично вызванивали время да женщина в каком-нибудь из домишек вполголоса баюкала ребенка: «Я скажу кутенку — не кричи спросонку!..»

Первая бомба упала на дома возле станции; убила старого кузнеца, ранила двух женщин. Вторая разрушила ратушу. Площадь была завалена камнями. Среди мусора валялся золотой лев. Жители убежали, из восемнадцати тысяч осталась сотня.

Женщина принесла синий эмалированный кофейник, налила Мишо кофе и тихо спросила:

— Уйдете?

— Мы только пришли...

— Говорят, что уйдете. Все убежали. Я осталась — у меня мать больная. Я ей говорю — не уйдут...

Мишо улыбнулся:

— Конечно, не уйдем. Это безобразие, что делается! Люди несутся куда глаза глядят. И никто их не останавливает. Хороши! Хотели нас в Финляндию отправить... А только немцы сунулись — разбегаются. Позор! Эх, будь у нас другие люди!.. Но вы не отчаивайтесь — мы не уйдем. Погреб у вас есть? Тащите туда все и сидите. А мы как-нибудь справимся...

Батальонный командир Фабр получил приказ: защищать город во что бы то ни стало. Фабра считали безобидным чудаком; он пил с раннего утра аперитивы и рассуждал о красоте кактусов. Но за последние дни он показал себя храбрым и находчивым. От Камбре батальон отошел с боем; два раза переходил в контратаки; отбили у немцев двенадцать солдат, отставших при переходе. Когда впервые напали пикирующие самолеты, Фабр выхватил у солдат винтовку, стал стрелять. Это всех успокоило; не было паники. Один бомбардировщик подбили. Однако за восемь дней батальон потерял треть состава; и, услышав приказ, Фабр смутился: «Хорошо им говорить — «во что бы то ни стало»!.. Как удержаться, если немцы бросят танки?..»

Фабр знал, что солдаты не чают души в Мишо. Когда полковник Керье с перепугу хотел расформировать две роты, Фабр воспротивился. И «бунт» в Гавре замял. Принимая какое-либо решение, Фабр спрашивает Мишо: «Что об этом думает господин Дон Кихот?» Так поступил он и теперь. Мишо ответил:

— Надо удержаться.

Мишо не знал директив. Он давно потерял связь с Парижем. Нужно было решать самому... И Мишо не

колебался. Нет, коммунисты не трусы! Мы покажем, как мы умеем сражаться. Теперь дело не в Рейно, не в Тесса, не в Даладье. Теперь идет бой за Францию.

Враги повсюду. Одни протягивают наручники, другие кидают бомбы. Пришли гитлеровцы: палачи Тельмана, люди, распявшие Испанию, рыцари смерти. А позади — те же фашисты, друзья Гитлера Бретейль, Грандель, Пикар.

Мирной, беспечной Франции больше нет. Страну отдали на милость врага. Вот и здесь — развалины, слезы, женщины. «Неужели вы нас бросите?..» Мишо глядел на обломки здания; когда-то профессор Мале называл эту ратушу «жемчужиной Возрождения». На уцелевшей стене Мишо разобрал: «Хлеб. Мир. Свобода». Встал тридцать шестой год, забастовка, флаги, песни...

В несчастье Мишо с новой силой полюбил свою страну. И все мешалось в этом чувстве: горы Савойи, где он был мальчиком, с их звонкими потоками и яркими лугами, Париж, его Париж, «Париж — моя деревня», город серых домов и улыбок, город, где умер Жано, где живет Клеманс; Париж и Дениз... Он знал, что защищает маленькую, хрупкую женщину с синими глазами, похожими на альпийские цветы. Машинально повторял: «Франция... Дениз...»

Весь день рыли ямы; таскали мешки с землей, прикрывали противотанковые орудия, пулеметы. Вечером Фабр связался со штабом дивизии. Сказали: «Повсюду тесним противника. Подкрепления пришлем. Если отойдете, подставите под удар второй батальон».

Мишо заглянул на завод; там поставили пулеметы. Завод накануне бомбардировала авиация. В сборочном огромная воронка посвечивала водой — утром прошел сильный дождь. Из воды торчали части машин. В другом цехе он увидел уцелевший фрезерный станок и умилился, будто встретил подругу детства. Он любил материал, инструменты; оживлял их, корил, баловал. Вот его молодость!.. Он задумался: что же случилось с людьми?.. Все хотят работы, ласки, счастья. Но море разыгралось... Нужно доплыть! Не ему, его, наверно, убьют, другим. Останутся Пьер, Легре, старик Дюшен. Останутся дети, Дениз... Построят большие заводы. Как Магнитогорск (он видел фотографии в журнале). Вчера они шли полем. Хлеб пропадет: вытопчут. Да и убирать будет некому... А весной снова посеют. Жизнь победит. Но теперь трудно...

Мишо пошел к заставе. Товарищи, стряхивая с себя сон, уныло рассуждали: «Как удержаться?.. Триста человек... А у них танки...» Мишо подбодрял; рассказывал про бои в Испании:

— Бывало и тридцать. А у них батальон. Танки... Мы их ручными гранатами — ничего другого не было... Мальчик один, Пепе, он восемь танков подбил.

— Танки там были другие. У этих вот броня!..

— Можно и эти... Только люди нужны — как там, железные.

— Там вы знали, за что деретесь. Я сам хотел записаться... А за что мы здесь гибнем? Защищать кого? Тесса?

Мишо ответил не сразу: сам мучился, чувствовал, какая на нем ответственность; но ответил уверенно:

— Нет... С этими мы еще рассчитаемся! А здесь — наша земля. Видел женщин?.. Мужья на фронте, как мы. Нельзя уйти! Коммунисты должны подавать пример. И потом, скажи откровенно, разве это легко отдать?.. Я сегодня фрезерный станок видел...

Он не договорил: раздался грохот. Первые снаряды опередили рассвет. Еще видны были на бледном небе маленькие расплывчатые звезды. Разрывы показались особенно страшными: все думали, что начнется с солнцем... Мишо почувствовал холод, подумал — роса; но холод шел изнутри. Он ощупал пулемет и сразу успокоился.

Четверть часа спустя наступила пауза. Спокойно поднялось солнце; заверещали полевые птицы; вода стала розовой. Солдаты молчали. Мишо думал о Дениз. Как в Испании, он чувствовал тепло ее плеча, соль на губах; слышал запах хвои. «Милая ты моя!» — так говорил про себя. Вот и конец!.. Конечно, шутить нельзя — это большое, серьезное; но не страшно; только грустно, что не увидит больше Дениз...

Танки подошли к каналу. Все закричало; казалось, даже земля кричит. Оглянувшись, Мишо увидел Фабра; тот разводил руками.

— Ленту давай!..

И снова пауза.

— Сейчас начнут. Они теперь расположение знают...

— Руки коротки. (Мишо смеется.) Я их в Испании видел — любят, когда убегают. А когда так — этого фашисты не любят...

— Мишо, неужели удержимся?

— И еще как!

Около девяти часов немцы вторично начали атаку. Снаряды крошили злосчастные домики. В трехстах метрах от Мишо стоял сгоревший танк.

— Налево от картофельного поля...

Это были немецкие мотоциклисты. Их остановили. Тогда снова двинулись танки. Фабр вскрикнул — танки давили раненых:

— Сволочи! Звери! Своих!..

Снаряд убил ротного командира. Сержант не выдержал, забрался в погреб. К Мишо подполз Фабр.

— Никого не слушай... Бей!..

Сколько прошло с того времени — несколько минут или час? Грохот. Мишо трясет левой рукой: кровь.

— Ползи сюда!..

Но Мишо не уходит. Он не слышит.

— Ленту давай!.. Ну, получайте!

В полдень высокое торжественное солнце стояло над тихим миром: ни выстрела, ни крика. Даже раненые замолкли, как будто их придушила тишина. Потом раненых положили на грузовики. Мишо перевязали руку; он отказался уехать. Хоронили мертвых. Пили теплую воду: она пахла жестью. Всеми овладело изнеможение, как после тяжелой болезни; хотели улыбнуться и не могли, постепенно доходила до сознания простая и диковинная вещь — они отстояли город.

Фабр подошел к Мишо, бормочет:

— Молодец, Дон Кихот! Ты кем был в Испании?

— Лейтенантом.

— Полковник тебя за это хотел посадить. А я... Я сегодня произвел бы тебя в генералы, будь моя воля. Ты, говорят, коммунист? Смешная история!.. Вот вы какие!..

Фабр вытер глаза и приложился к фляжке с ромом.

— Попробую со штабом связаться. Надо их порадовать...

Он услышал тот же равнодушный голос. Вчера ему сказали: «Держитесь во что бы то ни стало». Сегодня выслушали и ответили: «С темнотой оставьте город». Он крикнул: «Почему?..» — «Перегруппировка...» И Фабр, бросив трубку, выругался:

— Генерал?.. Кишка он, а не генерал!..

Мишо говорит товарищам:

— Изменники! Сдают страну...

Все поняли, знают, молчат.

Прощай, фрезерный станок! Прощай, золотой лев ратуши! Прощай, милая женщина,—у нее синий кофейник, больная мать и затравленные, сумасшедшие глаза! Мишо угрюмо шагает по пыльной дороге—это длинная дорога. И это—дорога отступления. Сегодня в полдень, среди зноя и тишины, ему померещилась победа... И глаза у нее были, как у женщины с кофейником... Прощай, мечта!..

22

Вечером Париж казался глухим лесом; погасили даже синие лампочки... Прохожих останавливали: проверяли документы. Говорили о шпионах, о парашютистах. На улице Шерш-Миди схватили хромого хозяина молочной: уверяли, будто он подавал сигналы самолетам. Клялись, что в Париже сорок тысяч переодетых немецких солдат. Мандель приказал арестовать трех «верных»; у них нашли итальянские адреса и план Парижа с обозначением зенитных орудий. Бретейль негодовал: «Арестовывают честных французов!» На следующее утро «верных» освободили. Жена Бретейля плакала: «Они придут сюда!..» Бретейль отвечал: «Молись! Кто знает, может быть, маршал Петен спасет Францию...»

На улицах показались беженцы. Растерянные, они бродили возле вокзалов. Они глядели на парижан пустыми, невидящими глазами. Шум живого города не доходил до них. Напрасно шоферы гудели, ругались—беженцы не слышали, как будто в их ушах засели другие, страшные голоса.

Измученные женщины садились на тротуар; прохожие окружали их, разглядывали, спрашивали—откуда? Война представлялась парижанам бесконечно далекой: газеты писали о битвах за Полярным кругом. Только беженцы вносили беспокойство; они бормотали: «Немцы... Убивают... Еле выбрались...» И полиция отгоняла любопытных—зачем слушать страшные небылицы?

Люди поосторожней уезжали к родственникам в провинцию. Другие продолжали работать, торговать, развлекаться. Печать обсуждала: нужно ли открыть кабаре, закрытые в первые дни тревоги? Старики успокаивали молодых: «Отгонят как в четырнадцатом...»

Виар не верил ни в гений Петена, ни в линию Вейгана, ни в чудо. Он был занят упаковкой своей коллекции. В квартире с раннего утра раздавался стук молотков. Приходили и уходили рабочие. Только судьба картин занимала теперь Виара. С нежностью провожал он каждое полотно, уходившее в темноту ящика. Потом равнодушно просматривал газеты. Он понимал, что все проиграно, и ему было скучно досматривать эпилог.

К скуке примешивалась злоба. В глазах Виара, обычно меланхоличных и приветливых, теперь вспыхивали злые огоньки. Ему не дали спокойно закончить трудную жизнь!.. Он не знал, кого винить, и ненавидел всех: немцев и Даладье, Тесса и коммунистов, англичан и бездарных генералов.

Проходя мимо заколоченных ящиков, он думал о будущем. Что станет с его домиком в Авалоне? Видел беседку, обвитую глициниями, игру солнечных пятен на ярко-рыжем песке. Париж пропал. Но вдруг немцы пойдут дальше?.. Нет, этого не может быть! Сдадут Париж, впустят на три дня немцев — придется удовлетворить их прусское честолюбие, а потом подпишут мир. В конечном счете Эльзас-Лотарингия — мяч, его перебрасывают. На двадцать или на сорок лет Страсбург станет немецким. Зато будет мир. Но тревога не унималась. А что, если Черчилль заставит Рейно воевать и после падения Парижа? Мы теперь английский доминион. Дойдя до этого, Виар кашлял и злобно глядел на своего лакея, на рабочих — что им?.. Работают, воруют, веселятся...

Увидав Тесса, он повеселел: его обрадовало, что Тесса измучен, небрит. Значит, и Тесса плохо!.. Что же, пусть расхлебывает!

Тесса начал с сенсации:

— Когда мы ввели в кабинет маршала Петена, мы думали, что этим разрешим все спорные вопросы. Но положение с каждым днем все усложняется. Я должен тебе сообщить страшную новость: бельгийский король капитулировал. (Тесса впился глазами в Виара; тот равнодушно протирал стеклышки пенсне.) Он даже не предупредил генерала Бланшара. Положение армии трагично. Ты понимаешь, какая это низость? Его отца, Альберта, называли «королем-рыцарем», а Леопольд войдет в историю как олицетворение коварства.

Виар спокойно ответил:

— Король по-своему прав. Что же ему оставалось делать? При известных обстоятельствах капитуляция — акт героизма.

— А ты подумал, какие условия нам продиктует Гитлер, если и мы проявим этот «героизм»? Он может потребовать Эльзас. Он может даже оккупировать Лилль.

— Надо было думать раньше. Я не хочу быть придирчивым. Но ты ничего не сделал, чтобы предотвратить разгром. Я тебя предупреждал за полгода до войны, что Даладье исключительно непопулярен. Вы сдали без боя все позиции. Поражение было подготовлено еще в Мюнхене. А ты тогда входил в кабинет.

— Который ты, кстати сказать, поддерживал. И потом, если говорить о причинах разгрома, следует вспомнить забастовки в тридцать шестом, сорокачасовую неделю... Кто разрушил промышленность? А Испания?.. Блюм восстановил против нас Муссолини. Вы озлобили Франко, потом помогли Франко победить. Трудно придумать что-нибудь бессмысленней!..

Тесса кричал: сказались волнения последних двух недель. Виар говорил отрывисто; глухой голос походил на лай. Долго они обвиняли друг друга; вспоминали парламентские интриги, необдуманные декларации, голосования. Тесса опомнился первый:

— Напрасно мы ругаемся! Это все нервы... А время страшное, нужно сплотиться. Я пришел предложить тебе войти в кабинет. Рейно готовит сюрприз. Министерский кризис произвел бы плохое впечатление за границей: поэтому мы решили сделать все по-семейному. Прежде всего нужно выкинуть Даладье. Этот осел чуть было не погубил Францию. Намечены и другие перемены. Уйдет Сарро. Приглашают Бодуэна, Пруво. Это — деловые люди. А ты нам дорог как совесть нации. И потом, ты — порука, что с нами рабочий класс.

Виар насмешливо улыбнулся: его считают простачком! Войти в правительство накануне капитуляции! Ведь это значит скомпрометировать себя, зачеркнуть пятьдесят лет борьбы за идеалы. Зачем? Чтобы Тесса сказал: «Виар тоже подписал...» Нет, на это он не пойдет!

— Благодарю тебя и Рейно. Я тронут, очень тронут. Но министерский портфель я не приму. Моя партия уже представлена в правительстве. Никто не посмеет сказать, что социалисты уклоняются от ответственности. А меня правые не выносят. Да и в Англии

предпочтут кого-нибудь помоложе. Я буду только балластом.

Тесса спорил, уговаривал:

— Огюст, ты не можешь отказаться! Мы на краю пропасти. Гибнет все, что нам дорого,—Франция, парламентская система, идеи, которые мы впитали с молоком матери...

Тесса растрогался от своих слов; вспомнил смерть Амали, недавнюю встречу с Дениз, беженцев, карканье Петена, который на все отвечает: «Слишком поздно...» В его голосе послышались слезы. Виар почувствовал облегчение. Он, однако, не удовлетворился этим, хотел добить Тесса:

— О каких идеях ты говоришь? У нас разные мировоззрения. Конечно, твои идеи потерпели банкротство, поскольку ты цеплялся за экономический либерализм. А я иду в ногу с веком. Что несет Гитлер? Социализм. Конечно, сильно искаженный, я сказал бы—сшитый на немецкий вкус. Но если мы возьмем национал-социализм и дополним его моралью Сен-Симона, Прудона, наших синдикалистов, мы получим нечто реальное и в то же время глубоко французское...

Тесса перестал слушать: спор о доктринах его не прельщал. Он вдруг заметил беспорядок в кабинете: сундуки, ящики.

— Ты уезжаешь?

Виар смутился:

— Да. То есть лично я остаюсь. Я выпью чашу до дна. Но я отправляю картины. Я не вправе рисковать моей коллекцией! Здесь ведь собраны вершины французского гения. Государственные системы могут гибнуть, но нельзя допустить, чтобы от дурацкой бомбы погибли шедевры искусства.

Виар проводил гостя до передней. Прощаясь, Тесса вдруг обиделся и сказал:

— Я вот действительно остаюсь в Париже. Что бы мне ни грозило!.. У меня нет коллекций. И я должен думать о Франции...

23

Меже не поддался панике; он продолжал работать как обычно; только на ночь принимал веронал, чтобы не проснуться от грохота зениток. Его холодное

лицо (он походил скорее на немца или на шведа, нежели на уроженца Лиона) сохраняло улыбку. Это был здоровый, красивый мужчина, заботившийся о своей внешности. Чтобы не потолстеть, он играл в теннис. В его пышной квартире царила торжественная тишина. В кабинете не было ни картин, ни безделушек. Напротив письменного стола стоял бронзовый бюст Наполеона. В библиотечном шкафу несколько справочников лежали на пустых полках. Меже не любил читать. Зато он ценил музыку; особенно его трогал Бах; он говорил: «Это заменяет мне религию».

Он вырастил двоих детей. Сын недавно окончил инженерное училище. Желая избежать кривотолков, Меже его отправил в армию, в штаб Леридо. Дочь вышла замуж за крупного финансиста, в короткий срок скупившего все никелевые акции; жила она в Швейцарии.

Меже знал шесть языков; много ездил: повсюду он чувствовал себя дома; говорил, что ему одинаково нравятся и курица с бамбуком в шанхайском ресторане, и фрукты Калифорнии, и алжирский плов «кускус». Он не интересовался техникой, доверял инженерам. Но внимательно следил за мировыми ценами на сырье, за насыщенностью того или иного рынка. Дела он делал повсюду; был заинтересован и в химической промышленности Германии, и в норвежском азоте, и в платине Чако. Дессера он считал невеждой, дилетантом: «Такой мог выдвинуться только в послевоенные годы, среди распада». Внешность Дессера, его простонародные повадки и небрежность костюма заставляли Меже брезгливо улыбаться.

Закат Дессера несколько утешил Меже: в событиях есть логика! А время тяжелое... Конечно, дела идут хорошо; но что будет дальше? Истощение воюющих сторон не предвещает ничего отрадного. В случае поражения предстоит смута, может быть, революция; в случае победы выдвинутся люди вроде Дессера, калифы на час. Меже гордился своим происхождением, его дед владел двумя третями железнодорожной сети, а прадед-банкир был описан Бальзаком.

Война казалась Меже пережитком далеких времен. К патриотическим тирадам он относился с иронией. Конечно, насмешку он умел скрывать, чтобы не обидеть других; так, он никогда не вышучивал своей жены, верившей в лурдские чудеса: он пожимал плечами — средневековье, но давал ей деньги, которые

она тратила на содержание различных часовен. Меже считал, что война была законной, когда нации жили замкнутой жизнью. Но теперь интересы народов переплелись. Американцы не могут жить без английского каучука. Немцам нужна нефть; они зависят от Детердинга или от большевиков. Французы зависят от всех... К чему же воевать? Если бы Европой правили не безумцы, но деловые люди вроде Меже, можно было бы договориться.

С первых дней войны Меже не верил в победу союзников; сомневался он и в немецкой победе; говорил себе — на этом выиграет третий. Он пытался остановить машину; ездил в Мадрид, разговаривал с немцами. Зимой ему казалось, что рассудок возьмет верх, но события развернулись иначе. Ушел Чемберлен. Затравили Бонне. И вот настал май...

Пока не поздно, нужно одуматься, спасти то, что еще можно спасти. Франция проиграла войну. Когда-то эти слова потрясли бы всех: для французов Франция была вселенной. А теперь... Конечно, Гитлеру приходится считаться с настроением немцев: они мстят за Версаль. Но Гитлер — умница. И потом, все это — вопрос чувств, для слезливых особ. Деруледы, слава богу, вывелись! Франция задолго до войны потеряла свое место. Плаксы поревут и успокоятся. А страна залечит свои раны...

И когда генерал Пикар, задыхаясь, сказал: «Но то, что вы предлагаете,— капитуляция»,— Меже ответил: «Не будем бояться слов. Я предлагаю единственно целесообразное...»

Тогда произошло невероятное: в чопорном кабинете, возле бюста Наполеона, генерал заплакал. Понятно, если плачут мидинетки... Но Пикар не ребенок. Он знал, на что мы идем. Это друг Бретейля... Он сам много раз говорил: «Нас разобьют...» Почему же он испугался слова «капитуляция»?

— Я повторяю — это единственный выход. Судьба северной армии предрешена. Бельгийцы вышли из игры. Англичане еще разыгрывают неприступных девиц. Но когда немцы налетят на Лондон, добродетель кончится... Нам выгодней опередить англичан, хотя бы в сепаратном мире. Если мы будем продолжать войну, Гитлер займет Париж, итальянцы — Марсель. А в Лионе будет Коммуна. Что важнее сохранить: старые границы или цивилизацию? Еще две недели, и выступят коммунисты...

Все эти месяцы Пикар метался: по десять раз в день менял идеи, то говорил: «Нас побьют, и правильно,— покончат с позорной системой», то, вспоминая о славе французского оружия, мечтал: «А вдруг победим?..» Гитлера он уважал, не чувствовал к нему никакой неприязни и немецких эмигрантов презрительно называл «перебежчиками». Когда началось наступление, Пикар растерялся. Он отдавал приказы и тотчас отменял их, кричал, что надо сохранять хладнокровие, но сам смертельно боялся парашютистов — что, если нападут на штаб?.. Он запутался в политической игре. Обо всем запрашивал Бретейля, тот говорил: «Постарайтесь задержать противника хотя бы на месяц... Мы сбросим Рейно. И договоримся с немцами...» Пикар отдавал патетические приказы: «Солдаты, защищайте каждую пядь!», «Ни шагу назад!». Немцы за день продвигались на тридцать километров. Пикар кричал Бретейлю: «Мы не можем держаться...» И Бретейль спокойно отвечал: «Я и не думал, что вы удержитесь...»

Однако никто до сегодняшнего дня не говорил Пикару о капитуляции. А Меже ему просто преподнес: «Мы должны последовать примеру Бельгии». И Пикар не выдержал — заплакал. Несколько успокоившись, он пробормотал:

— Они не оставят нам армии...

— Я понимаю, что вам тяжело. Но надо сохранять присутствие духа. В тридцать шестом я думал, что все кончено. Мои заводы были захвачены забастовщиками. И все же я продолжал работать. Армию нам оставят, может быть небольшую. Вы будете воспитывать молодых офицеров. Ваши знания не пропадут. У вас боевое прошлое. Вас ценит маршал. Теперь вы можете спасти Париж. Я говорю не о сопротивлении... Конечно, среди министров имеются трезвые люди. Вчера де Монзи предложил начать переговоры. Но Рейно закусил удила... И потом, нельзя забывать о роли Манделя. Это злой гений Франции. Он хочет защищать Париж. А это означает разрушение столицы и невиданную резню: коммунисты расправятся с «внуками версальцев» — так эти господа выражаются. Вы пользуетесь большим авторитетом, вы должны заявить правительству, что с военной точки зрения защита Парижа — утопия. Этим вы окажете великую услугу Франции.

Пикар вспомнил яркое июльское солнце, кулаки возле Триумфальной арки, красные флаги...

— Хорошо. Я выполню мой долг. Мы попытаемся задержать противника. Но если они прорвут линию Вейгана, я выскажусь за отход от Парижа. Город нужно передать противнику в полном порядке, с полицией на постах — сохранить Париж для детей, для внуков.

24

Охрана военных заводов была поручена эльзасцу Вайсу — его пригрел Грандель. Вайс действовал энергично; он предложил префекту послать на заводы агентов: переодетые полицейские должны были бороться с саботажем. Сыщики ничего не понимали в производстве; они раздражали рабочих нелепыми замечаниями, окриками, угрозами.

Особенно вызывающе вели себя полицейские на авиазаводе Меже. Они арестовали работницу, которая, обозлившись, крикнула: «Молодые... Пошли бы лучше воевать!.. Немцы в Бове... Разве вы не видите, что вы мешаете работать?..» В протоколе было сказано, что работница пыталась повредить станок.

Был душный предгрозовой день. Белый свет слепил; все задыхались. На заводе Меже гудели взволнованные рабочие: немцы подходят к Парижу! Солдаты говорят, что нет самолетов. Богачи удирают. А кто будет расхлебывать?..

В обеденный перерыв рабочие собрались на пустыре позади завода. Среди шлака цвел куролеп. Рабочие говорили о Гитлере, о шпиках, о близкой развязке.

Душой подпольной коммунистической организации был молодой слесарь Клод. На заводе он работал с января, но сразу стал своим.

Клода на военную службу не взяли: у него был туберкулез в острой форме. Блеск глаз можно было принять за душевное напряжение — Клод и впрямь горел; но громкое отрывистое дыхание выдавало болезнь.

Это был мечтатель, который по ночам глотал книги — Толстого и Флобера, Шолохова и Барбюса. Лет пять тому назад он часто ходил в Дом культуры. Познакомился там с Люсьеном. Как-то они разговорились. Люсьен твердил о «вечной буре». Клод ему робко ответил: «Я вас уважаю, вы все знаете. Но этого мало... По-моему, поэт должен быть честным человеком. Правда?..» Люсьен подумал: «Мещанин!..» Клода

полюбил Вайян; спрашивал: «Ты ведь пишешь стихи? Чувствую, что пишешь...» Клод молчал. Он вправду писал; но стыдился признаться — стихи выходили странными; сам не понимал, почему так пишет. Начинал с описания забастовки, но вдруг показывался горячий папоротник в сыром лесу или корабельные снасти. Говорил себе: «Баловство!..»

Два года тому назад он попытался пробраться в Испанию, его задержали на границе и вернули в Париж. Он тогда работал на заводе «Сэн». Легре говорил: «Ты наш главный агитатор». Клод умел убеждать людей, хотя казался нерешительным, бесконечно скромным. Разговаривая, он никогда не настаивал; казалось, он спрашивает собеседника, как быть. В его манере говорить, в неожиданных паузах, в мучительных поисках слов было нечто детское, глубокое, искреннее. И ему верили.

В начале войны Клода арестовали, он просидел четыре месяца. Выпустили его после врачебного осмотра. Он знал, что не получит работы; но ему повезло — на заводе Меже набирали токарей. В конторе посмотрели бумаги: «Клод Дюваль», и записали — мало ли Дювалей!.. Он быстро сколотил подпольную группу.

Рабочие обступили Клода — что он скажет?..

— Чем Рейно лучше Даладье? — так начал Клод.— Предадут они нас...

Он закашлялся. Один из рабочих сказал:

— В газетах пишут, будто они хотят защищаться. Пишут, что солдаты не должны больше отступать. А возле Парижа, я сам видел, роют рвы...

— Если хотят защищаться, мы будем работать... Как дьяволы будем работать. Правда? Меже все равно — он и с Рейно работает и с Гитлером. А для меня эти самолеты — другое... Можно город спасти от бомб. Можно спасти Францию... Я с солдатами говорил, они спрашивают: «Где же наша авиация?..» Немцы беженцев расстреливают, а у нас нет истребителей. Мы должны помочь солдатам. Только пусть они уберут шпиков. С этими подлецами нельзя работать. Правда?

Решили послать делегацию: рабочие завода заявляют о своей готовности повысить продукцию и настаивают на уводе полицейских из цехов. Вайс поглядел на Клода и вежливо улыбнулся:

— Благодарю. Патриотизм парижских рабочих мне хорошо известен. Каждый лишний самолет

приближает час победы. Что касается «переодетых полицейских», как вы изволили выразиться, они посланы в цехи с единственной целью — выловить переодетых коммунистов. Надеюсь, вы меня поняли?

Голубые глаза Вайса столкнулись с глазами Клода. Клод отвернулся.

Когда ушли делегаты завода Меже, пришли другие: все крупные заводы заявляли о своей готовности увеличить рабочий день и требовали положить конец выходкам полиции.

Вайс поехал к Меже: хотел предупредить об изъятии ста четырнадцати рабочих. Взглянув равнодушно на список, Меже сказал:

— Специалисты... Впрочем, теперь это не имеет значения. Скажите, кстати, как вы предполагаете провести эвакуацию?

— Рабочих придется выпроводить. Чем меньше их будет в период междуцарствия, тем лучше.

— Конечно. Но я не хотел бы, чтобы вы эвакуировали оборудование. Это хлопотно и по существу дела бесполезно.

Вайс улыбнулся:

— Очень приятно, господин Меже, что вы не поддались панике. Мне приходится все время сталкиваться с людьми, окончательно потерявшими голову. Будьте спокойны — оборудования мы не тронем.

Клода успели предупредить. Ворота были заперты. Товарищи помогли ему перелезть через высокий забор. Он услыхал свистки, успел добежать до лачуги. Там жили старьевщики. Среди груды тряпья сидела старуха. Она вскрикнула: «Парашютист!..» Клод тихо сказал: «Молчи. Я француз, рабочий...» И женщина его спрятала. Грозы все не было. Клод задыхался в крохотной каморке среди ветоши и пыли. Нужно предупредить товарищей... Он выглянул. Никого... Добрался до кафе «Отец Южен» — там собирались товарищи.

Кафе состояло из двух комнат. В первой была цинковая стойка; туда заходили случайные посетители, пили пиво, беседовали с хозяином, «отцом Юженом». Это был добродушный толстяк, в жилете без пиджака, с черными густыми усами. Он обожал двух людей: свою жену, усатую толстуху, и Мориса Тореза. С гордостью говорил: «В тридцать седьмом на велодроме я после митинга подошел к Морису, и он пожал мне руку...» Отец Южен знал, что в задней комнате собира-

ются коммунисты; никого туда не пускал; говорил: «Бильярд занят...» А вокруг бильярдного стола, в ажиотаже схватывая кии, представители районов обсуждали партийные директивы.

Когда Клод вошел, он застал Жюля с завода «Гном». Потом подошли другие. Все говорили об арестах: полиция схватила семьсот рабочих.

Пришла Дениз, рассказала о процессе четырех:

— Приговорили к расстрелу за саботаж. Младшему восемнадцать лет... Их защищал Ферроне. Только что я его видела. Он говорит — явная провокация. На суде выяснилось, что взрыв подстроили... Ферроне подозревает Вайса.

— Страшный человек,— сказал Клод.— Когда мы у него были, он поглядел на меня. Догадался, кто я. И я догадался, кто он... Что делается, Дениз!.. Гитлеровские шпионы у власти.

Ей хотелось его приободрить; не знала — как. Шепнула:

— Но народ...

Он не понял, что она хотела сказать, но не переспросил.

Дениз ушла, потом прибежала назад:

— Клод, я тебе комнату нашла. Там никто не тронет...

Тишина и жара вползали в полутемное кафе. Все примолкли. Далекие раскаты зениток приняли за гром; обрадовались. Потом завыли сирены. Никто не двинулся с места; сидели, измученные, на узком клеенчатом диване; думали о развязке — неужели придут немцы?..

Полчаса спустя хлынул ливень, шумный, оглушающий. Клод выглянул на улицу — подышать. Как будто в Париж вошли леса Медона и Сен-Клу; яркой казалась зелень платанов; пахло деревней. Подошла Дениз:

— Клод, когда будет Франция...

И снова не договорила. Южен принес пива. Спросил Дениз:

— Что Мишо пишет?

— Давно нет писем. Он на севере...

Южен вздохнул. Потом выругался:

— Черт побери! Они там воюют, умирают. А что здесь делается? Хороших людей хватают. И кто?.. Немецкие шпионы! Будь Морис министром, не видать бы немцам Парижа!..

Поздно вечером Вайс попал к Гранделю; доложил о событиях дня:

— В общем, все кончилось благополучно. Я думаю, что теперь мы очистили заводы от самых беспокойных элементов. Конечно, чем скорее мы начнем эвакуацию, тем лучше. Хорошо, что процесс прошел гладко. Это на них подействует, как холодный душ.

— Если они не добьются отмены приговора... Ферроне сегодня был у Лебрена. Тот выслушал и, конечно, заплакал. Как говорит Бретейль, это самый плаксивый президент Третьей республики. Но в общем он держится прилично...

— То есть?..

— Я говорю, что Лебрен делает то, что надо,— он ровно ничего не делает, разве что плачет.

Оба засмеялись.

Оставшись один, Грандель развязал галстук, потянулся — устал. Но дела идут как нельзя лучше... Разве он мог подумать, что его ожидает? Он попал к Кильману случайно — от проигрыша, от мыслей о самоубийстве. Он думал — это ошибка, падение, темное пятно. А это было началом успеха. Конечно, он не сразу вышел на верную дорогу. Пришлось много пережить, узнать обиды, унижение. Тесса, мелкий взяточник Тесса, глядел на него, как порядочная дама на уличную девку. Ничего, он еще с ними рассчитается!.. Когда немцы возьмут Париж, Грандель станет первым... Все перед ним начнут лебезить... В игре самое главное — почувствовать, какой номер выйдет. Он поставил на правильный номер. Теперь остается выдержать последние четверть часа. Потом — власть, почет, признание... Он сможет смотреть всем в глаза. Кильман? Марки? Вздор! Субъективные мотивы никого не касаются. А объективно он спасет Францию, он добьется смягчения условий, сделает возможным мирное существование миллионов. Вот настоящий патриотизм! Это вам не истерика Дюкана!..

Ему захотелось кого-нибудь унизить, показать свое превосходство. Он прошел в спальню. На широкой кровати лежала Муш. Ее скосила давняя болезнь. Грандель удивленно подумал: «Неужели я мог ее обнимать?..» Она показалась ему полумертвой. От запаха лекарств его тошнило.

— Три года тому назад ты мне изволила изменить. Я тогда ничего не сказал. Зачем? Ты могла бы поду-

мать, что я ревную... Но теперь мы можем поговорить откровенно. Надеюсь, что теперь ты перестала думать о любовниках. Тебе пора подумать о добром боженьке... Итак, вы предпочли мне мелкого негодяя. Он, между прочим, еще хуже своего папаши. Сударыня, вас, очевидно, пленили кудри и благородные жесты. А ваш Ромео оказался воришкой, альфонсом. Вы тогда думали, что я — неудачник, темная личность, шпион. Просчитались, принцесса! Я единственный человек, который еще может спасти Францию...

Муш лежала, как прежде, не двигаясь; голова свисала с подушки. Он крикнул:

— Почему принцесса молчит? Говори, дрянь!..

Он увидел на белых губах пузырьки — такие бывают у новорожденных, брезгливо поморщился и ушел.

25

Под вечер проглянуло солнце, и молочный пар над морем стал бледно-оранжевым. Дюны походили на карту луны. Как волосы, чуть приподымались струи песка. Сухие ползучие травы, покрывавшие кое-где темя песчаных гор, казались окаменелостями. А рядом пенилось море — отлив только начинался. Видны были водяные взрывы: от снарядов вода кипела. Несмотря на грохот батарей, весь этот мир был призрачным, неживым.

Люсьену хотелось разодрать туман, сдуть дюны, впустить море. Он шел между дюнами. Где-то рядом — английские пулеметчики, но где, он не знает. Патроны он расстрелял. Одна граната — это все, что у него осталось от беспокойной, взбалмошной жизни... Он глядит на гранату с умилением: так можно дорожить последним глотком воды.

Вот уже одиннадцать дней, как идут бои. Ни разу он не взглянул на карту. Море — значит, конец!.. Товарищи звали его: там, за клубами тумана,— английские суда, жизнь. Он не захотел уйти; день провел с англичанами; потом отбился. Теперь он один среди проклятого песка.

С первого дня боев Люсьен искал смерти, искал настойчиво, навязчиво; шел под пулеметный огонь, полз с гранатой на танки; отстреливался на чердаке бельгийской фермы — хотел задержать немецкий патруль. А смерть, будто нарочно, его обходила.

Он не читал газет; как-то развернул газетный лист — в нем были завернуты помидоры,— прочитал: «Нам поможет мотомеханизированная Жанна д'Арк» — и бросил, даже не выругался. Вокруг него товарищи кричали: «Измена!», ругали одни немцев, другие англичан, третьи французских генералов. Он молчал или неестественно громко пел:

Вот вам кузов, вот матрац!
В ухе муха. Бомба — бац!..

Сдались бельгийцы? Черт с ними! В победу Люсьен не верил: помнил, как носил Бретейлю секретные бумаги; знал, на что годен его папаша или генерал Пикар. Вся банда с Гитлером. Значит — крышка. К смерти он тянулся от своего прошлого: он коснулся дна и хотел выплыть. А для солдата преданной и разбитой армии не было другого выхода, кроме безрассудной отваги. Опасность очищала Люсьена от папок Бретейля, от долларов, от молодости, помеченной жалким паясничаньем.

За все одиннадцать дней его потряс один эпизод. Он встретился с актером Жантейлем. Кто в Париже не знал Жантейля? Это был баловень судьбы, человек с небольшим талантом, всех веселивший, красавец, жуир, проматывавший свои заработки, будто жизнь — зеленый луг ломберного стола, проглатывавший приданое девушек и сбережения вдов грациозно, как птичка клюет зернышки. Жантейль оказался танкистом. Восемь французских танков, дойдя до расположения противника, остановились: не хватило горючего. Танки отстреливались до вечера. Наутро подоспела помощь. Пять танков сгорели. Жантейль вышел живым. Он как будто почернел; его спрашивали, он молчал. И Люсьен, поглядев на него, вспомнил Анри: несколько минут смогли изменить человека!..

Мир для Люсьена хорошел; люди становились милыми. Много раз он выручал товарищей; делал это просто, не задумываясь. Он обрадовался, увидев море,— значит, Альфред спасется!.. А что ему Альфред? Археолог, жук-могильщик, дурачок, который верит в справедливость... Нет, говорил он себе, не в этом дело, Альфред хороший человек. Никогда прежде не могли прийти Люсьену в голову такие простые слова; он ценил людей за остроумие, за блеск, за талант. А теперь говорил: «Хороший человек...» И вдруг крас-

нел: вспоминал глаза Жаннет возле аптеки, слезы растерзанной Муш или огромную кровать в спальне Дженни, похожую на золоченый катафалк.

Небольшие отряды, оставшиеся на берегу, задерживали противника. Это был последний день эвакуации. Среди дюн шли мелкие стычки: ползли, настигали друг друга, били гранатами, пулей, штыком. И дрожали, пронизанные солнцем, опаловые столбы тумана.

Люсьен поднялся на верхушку песчаного холма; лег. Отсюда он видел мокрый песок. Вдалеке ползли полураздетые люди; кидались в воду. Многих настигали пули. Подымалась вода, будто выплескивалась огромная рыба. А дальше били фонтаны — от снарядов. Только отчаянная храбрость спасала людей. И другие — еще смелее, еще отчаяннее — на последней гряде дюн ружейным огнем встречали противника. Показались немецкие самолеты; закидали бомбами берег, воду. Начало смеркаться; море стало грязным, холодным.

Люсьен увидел шлем среди сухой травы: внизу ползли немцы. Не помня себя, Люсьен вскочил, вскрикнул, бросил гранату. Вскрикнули дюны. Эхо прокатилось; его покрыл грохот батареи. Тогда один из немцев побежал навстречу Люсьену. Бежал и Люсьен, завязая в песке. Они упали друг на друга, будто обнялись.

Потом Люсьен не помнил, как он справился с немцем; помнил только, что трудно было его отодрать,— рука немца вцепилась в шею. Рука была тонкой и сильной, с набухшими жилами. Люсьен смутно подумал: заусеницы — не срезал... А на лицо он не поглядел. К черту!

Вот и нет последней гранаты... Люсьен побежал по холодному песку — море тоже отступило. Кажется, не добежать... Потом кинулся в воду, поплыл. Он не спасался; он спешил к пулям, к снарядам. Рот был мучительно приоткрыт от напряжения. А рыжие волосы просвечивали, как огонь.

Смерть снова увернулась: он доплыл до английского катера. Ему дали штаны, фляжку с виски. Он выпил и выругался — сон кончился. Англичанин с детской улыбкой, коверкая французские слова, сказал:

— А теперь надо победить...

Люсьен кивнул головой; про себя он добавил: «Надо жить, это легче, легче и тяжелей...»

26

Соседки удивленно шептались: не могли понять спокойствия Аньес. Одни восхищались: «Ну и характер!»; другие злословили: «Наплевать ей на мужа...» Она исправляла ошибки в тетрадках, рисовала листья и тычинки, аккуратно убирала квартиру, вязала штанишки Дуду. Казалось, ничего не изменилось в ее жизни с того дня, когда принесли желтый казенный пакет. Ей выдали шестьсот франков (столько полагалось за убитого кормильца), сказали: «Распишитесь». Не скрипнуло перо; и глаза у Аньес были сухими. Дуду спрашивал, где отец. Он отвечала: «Скоро приедет». Утром она отводила Дуду к старухе Мелани; та присматривала за мальчиком. И Мелани, глядя на Дуду, часто всхлипывала. Он спрашивал: «Почему плачешь?» Она отвечала: «Болят зубы». Аньес никогда не плакала. Прежде только Пьер догадывался о душевной силе, которая жила в ней, говорил: «Под пули пойдет...» Горе и одиночество изменили даже ее внешность: добрые близорукие глаза стали жесткими; прежде она сутулилась, теперь держалась прямо. Кумушки сплетничали: «Цветет! Увидите — скоро найдет нового мужа...»

Аньес не плакала и по ночам. Она лежала с раскрытыми глазами, тщетно мечтая о сне; хотела понять случившееся и не могла. За что умер Пьер? Эта мысль не давала ей покоя. Она восстанавливала в памяти их редкие, но горячие споры. Пьер увлекался политикой, верил в революцию, переживал, как свое горе, падение каждого испанского городка. Она с ним не соглашалась, но чувствовала, что он горит, и часто ему завидовала. Когда он уезжал в Барселону, волновалась, как помешанная, ждала звонка, говорила себе — могут убить. А теперь он расстался с ней без слов, без надежды; шел, как осужденный. На вокзале сказал: «Это не наша война...» И вот его убили на чужой войне. О чем он думал в последние минуты? Об Аньес, о Дуду? Или о другой войне, «настоящей»? Напрасно Аньес хотела с ним помириться, понять, услышать, где правда. Вставала, шла к кровати Дуду, подолгу слушала дыхание ребенка. Что, если и Дуду убьют?.. Это все, что у нее осталось — от той жизни, от той весны...

А утром она приходила бодрая в класс; и никто не догадывался, чем полны ее ночи.

Выдержка была врожденной; ее завещали Аньес поколения, привыкшие к суровому труду, к борьбе за кусок хлеба, к потере близких, поколения, похожие на дома парижских предместий, которые впитали в себя дым уличных боев. Отец когда-то рассказывал, что на войне он все время работал: латал штаны, мастерил зажигалки, чинил рамы в крестьянских домах, убирал сено; усмехаясь, он добавлял: «Вот и выжил...» Так теперь жила Аньес.

На улицах показались беженцы. Увидев автомобиль с простреленным кузовом, из которого выглядывали дети, Аньес вздрогнула. Она не подумала ни о конце Пьера, ни о судьбе, которая, может быть, ждет Дуду; но все же всполошилась; эта истерзанная машина была продолжением ее ночей.

Снова оклеивали оконные стекла тонкими полосками бумаги. Аньес придумала сложный узор: окно будто покрылось инеем — розы, звезды, пальмы. Дуду спросил: «Что это?..» Она ответила: «Самолеты»,— и тотчас поправилась: «Это сад...» Пришли в голову юношеские стихи Пьера — он ей как-то читал:

Перед смертью человеку снятся пяльцы,
Вышивает шалости зима...

Шли дни; беженцев становилось все больше и больше. Показались жители Лилля, ткачи Валансьена, горняки Ланса, крестьяне Пикардии. Школу, где работала Аньес, предоставили беженцам. И Аньес с жаром отдалась новому делу. Она переехала в школу с Дуду; ухаживала за больными, добывала еду и лекарства, стряпала. На ее руках оказалась большая семья. Она должна была утешать, выслушивать долгие, сбивчивые рассказы. Женщина из рабочего поселка Фурми твердила: «В семь часов... А я знала, что они прилетят». Она не хотела расстаться с детской салфеткой, покрытой бурой кровью; говорила: «Он ел овсянку. Звери!» Бельгийка, жена шахтера, рассказала Аньес, что потеряла в пути свою пятилетнюю дочь. Старик из Рубе искал невестку и внуков. Аньес спрашивала: «Почему ушли?» Одни отвечали: «Страшно! Они низко летают. Рядом с нами попало...» Другие говорили: «Под бошами жить? Нет, мы ученые. В ту войну мы четыре года под ними жили. В Париже не знают, а мы знаем. Они тогда в Рубе заложников расстреляли. А у нас привели Франсуа и Мениля:

«Ройте себе могилу». И убили. Детей не жалели, проклятые...» Некоторые признавались: «Видим, что все бегут, вот и пошли...» Одна работница ругалась: «Пришел Берже. У нас все знали, что он фашист. Кричит: «Скорей удирайте. Убьют». А сам остался — немцев встречать! Предатели!»

Беженцы часто менялись: отправляли эшелоны на юг; приезжали новые. Только старик Рике засиделся: хворал, едва добрался до Парижа. Он рассказал Аньес:

— Старуха моя давно умерла. А сына взяли на войну, не знаю, жив ли. Пришли соседи, говорят: «Боши идут. Уезжаем». Кролики у меня были хорошие. Оставил им кроликов. А собака со мной пошла, замечательная собака. Ее Фолет зовут. Двенадцать лет у меня, я к ней привык. В Компьене нас выкинули из поезда. Пошли пешком. Боши кидали бомбы прямо в нас. Я их с той войны знаю... Разбежались все... Гляжу, нет Фолет...

И Аньес много раз видела, как старик, забывшись, чмокал губами, звал Фолет.

Был хороший летний день, когда на Париж налетели бомбардировщики. Все небо гудело. Тряслись стекла. Дуду кричал: «Бум-бум!..» Аньес чистила картошку; на минуту она отложила нож; и снова взялась за работу. Потом прибежали, говорят: «Две тысячи убитых...» Аньес, перепугавшись, схватила за руки Дуду — могли его убить! И застыдилась: «Чего же я теперь боюсь?..»

Вечером она проходила по набережной. У развалин большого дома толпились люди, разглядывали, ругались, шутили. Кто-то угрюмо сказал: «Так... Аккуратная работа...» Жизнь как будто распалась на составные части: камни, железо, диски, полосы. Аньес наступила на книгу — кожаный переплет, чьи-то инициалы... На уцелевшей стене висел портрет: женщина в подвенечном платье. Вдруг Аньес увидела детскую кровать с сеткой — кровать повисла на решетке балкона. И Аньес, сама не своя, побежала домой. А рядом с развалинами люди смеялись на террасах кафе, и голубели, как небо, сотни сифонов.

В ту ночь Аньес снова видела Пьера: поняла — он ни о чем не думал; ему было больно, холодно, пусто. Хотела его согреть и не могла; металась; бредила. До рассвета кричали зенитки. А Дуду что-то лепетал во сне; простые, детские слова.

27

Тесса проснулся бодрый. Он весело сказал Жолио:

— Они разобьют лоб о линию Вейгана. Вы можете написать, что гигантская битва только-только начинается...

— Написать легко... Дело не в этом... Вы будете надо мной смеяться, но я никогда не скрывал, что я — человек суеверный. Немцев накликали, даю вам слово! Сколько раз все повторяли: «Они придут!.. Придут!..» Вот они и пришли.

— Бабьи разговоры! Начнем с того, что они не пришли. Бои происходят на Сомме...

— Может быть. Я там не был... Но одно я твердо знаю — вчера они скинули бомбы на Марсель. Вы понимаете, что это значит?.. Марсель на другом конце Франции. Кто мог подумать, что они посмеют?.. Теперь все кончено! Можете быть уверены, итальянцы выступят не сегодня-завтра. А Вейган снял войска с итальянской границы. Зачем нам эта дурацкая Сомма?..

Тесса махнул рукой — успокойтесь! Рассеянно спросил:

— Вы слушали итальянское радио?

— Час тому назад. Молчат. То есть передавали статью о помпейской живописи. Это плохой признак.

Тесса засмеялся:

— О живописи? Для Виара... Кстати, могу вам сообщить, что наш «доблестный борец» сложил чемоданы. Наверно, удерет. До свидания! Зайдите ко мне вечером, попозднее — я смогу вам сообщить нечто утешительное.

Говоря это, Тесса думал о частичной реорганизации кабинета. Он начал насвистывать арию из «Риголетто». Расстроил его Пикар; пришел непрошеный. Поглядев на него, Тесса сразу понял: дела плохи. Пикар сказал, что немцы форсировали Сомму. Их танковые части продвигаются к Руану. Все решится в течение двух-трех дней.

— Только сумасшедшие могут говорить всерьез об обороне Парижа.

Тесса кивнул головой. Его лицо стало печальным и торжественным: с таким лицом он присутствовал на похоронах министров или сенаторов. Молча он пожал руку Пикару. А когда генерал ушел, сказал

себе: «Роковые минуты! Мы говорили, суетились, надеялись, и вот мы присутствуем при развязке!..» Ему захотелось с кем-нибудь поделиться этой мыслью, но он вспомнил, что нельзя подымать панику.

Приехав на заседание совета министров, он сразу забыл о судьбе Франции. Кабинет наконец-то реорганизовали. Некоторые назначения Тесса нашел удачными. Хорошо, что иностранную политику доверили Бодуэну. Друга Тесса Пруво назначили министром информации. Зато Тесса огорчил выбор Дельбоса — это подвох, все знают, что Дельбос — приятель Фуже... Еще больше возмутило его назначение де Голля товарищем военного министра. Безумие! Поставить на такой пост авантюриста!..

Занятый своими мыслями, Тесса плохо слушал — говорили о положении на фронте. Потом он вспомнил слова Пикара и спросил Рейно:

— На что ты, собственно говоря, надеешься?..

Рейно ответил, что поступают подкрепления — с линии Мажино, с итальянской границы. Англичане обещают прислать несколько канадских дивизий. Вчера он обратился к Рузвельту с просьбой о помощи. Тесса в досаде поморщился.

— Меня интересует, что ты собираешься делать, когда немцы подойдут к Парижу?

Рейно сказал, что правительство переедет в Тур, если нужно будет — в Бордо.

— А потом?

— Если обстоятельства принудят — в Алжир. У нас флот, колонии...

Тесса замолк: зачем спорить с сумасшедшим?.. Это не правительство, это клуб самоубийц. Только Бретейль может спасти Тесса... Но Бретейль не спасет... Тесса вспомнил листовку «верных» и закрыл глаза — ему стало страшно.

Он все-таки поехал к Бретейлю: лучше смерть, чем такое томление. Если Бретейль от него отступится, нужно договориться с Фуже. Или уехать в Америку...

Бретейль сидел неподвижно за письменным столом, прямой, надменный; казалось, что он позирует.

Утром он пережил тяжелую сцену; жена плакала, говорила: «Немцы возьмут Париж. Изверг, ты этого хотел!..» Упреки политических врагов не трогали Бретейля: понятно, что Дюкан или Фуже хотят свалить вину на других! Как будто Бретейль не предупреждал,

что война против Германии — преступление!.. Но что он мог ответить жене, которая, вспоминая сына, кричала: «Ты его убил! Ты всех убьешь!»

Глядя на карту, Бретейль задумался. Капитуляция, мир... А что дальше?.. Поймут ли вчерашние враги, что Франция не Албания, да и не Чехия? Могут не понять: это люди другой крови, другого склада. Тогда — конец. Лотарингия, его Лотарингия отойдет к Германии! Потомки будут проклинать Бретейля. Для них шут Дюкан станет героем...

Много лет Бретейль жил, не заглядывая вперед; он повиновался одному чувству — ненависти к Народному фронту. Победы Гитлера, Муссолини, Франко казались ему его победами. Он радовался, что в Праге нет больше Бенеша. Еще недавно, узнав о решении датского правительства, он удовлетворенно усмехнулся: социал-демократы снова легли на спину!..

Почему же он вдруг растерялся?.. Это нервы. Нужно совладать с собой... Теперь Бретейль придет к власти. Он разгонит парламент. Он создаст порядок. Этот порядок придется оплатить унижением, горем, слезами... И все же новая Франция, вдова в трауре, нищая монашенка, будет прекраснее насмешницы Марианны!

Когда пришел Тесса, Бретейль уже не помнил ни упреков жены, ни своего малодушия; был холоден, невозмутим. А Тесса вопил:

— Они сошли с ума! Макака предлагает переехать на Мадагаскар — ему захотелось в девственные леса... А немцы подходят к Руану. Мы должны что-то предпринять! Остались буквально минуты.

— Я тебя предупреждал...

— То есть как?.. Кто мне посоветовал остаться в кабинете? Ты. А теперь ты умываешь руки? (Тесса жестикулировал, подпрыгивая.) Я знаю, что твои «верные» настроены против меня... Но это основано на недоразумении. Ты должен им объяснить. Я и в палату прошел, опираясь на тебя. Нельзя бросать друзей в критические минуты!..

— Ты напрасно волнуешься. Я хотел сказать, что я предупреждал тебя о бессмысленности сопротивления. А национальные круги тебя очень ценят. В этом доме ты свой. Успокойся! Мы должны обсудить положение, наметить состав правительства...

— Кабинет сегодня реорганизован.

— Это заплата на заплате. Я говорю о новом правительстве. Через несколько дней встанет вопрос о мирных переговорах. Нельзя допустить, чтобы страна осталась без твердой власти. Этим могут воспользоваться коммунисты. Маршал обеспечит преемственность власти. Кроме того, это прекрасное имя — «герой Вердена». Можно будет сделать все в полчаса...

— А Рейно?

— Он удерет. Или мы его отправим в Америку — послом. Значит, старик во главе. Разумеется, Лаваль. Я. Возьмем кой-кого из прежних.

— По-моему, нужно оставить Бодуэна.

— Правильно. Его любят итальянцы. Потом Пруво — это представитель промышленников. Меже считает его очень способным... Я включил в список и тебя.

Тесса не мог скрыть удовлетворения; но для приличия стал возражать:

— Я слишком стар. Лучше взять кого-нибудь из молодых...

— Нет, ты будешь очень полезен. Не нужно, чтобы страна приняла смену кабинетов за переворот. Тормозы — великая вещь. А к тебе все привыкли. Если хочешь, для среднего француза ты — гарантия, что ничего не изменится. В такое тяжелое время самое важное успокоить страну.

Тесса сиял. Мошенник Фуже все придумал! А листовки — это глупая провокация. Бретейль понимает, что он — честный француз... И, забыв про недавние волнения, Тесса принялся обсуждать программу нового правительства:

— Если мы заявим в министерской декларации, что готовы начать мирные переговоры, большинство обеспечено. Я только боюсь, что немцы поставят чересчур тяжелые условия. От этаких успехов может закружиться голова... Хорошо бы их урезонить. Ты знаешь, в твоем списке недостает одного имени. Конечно, то, что я предлагаю,— смелый шаг, многие сочтут его рискованным. Но теперь надо быть терпимым...

— Ты говоришь о Виаре?

— О Виаре? (Тесса удивленно поглядел на Бретейля.) Это рухлядь! Старая кляча! Он, кстати, наверно, удрал. Нет, я думаю о Гранделе. Мы с тобой старые друзья и можем говорить откровенно. Ты, конечно, помнишь историю с документом...

Бретейль в раздражении ударил линейкой по столу.

— Я уже тебе говорил, что это — фальшивка. Неужели ты сейчас можешь думать о таких пошлостях?

— Ты меня не понял. Я это сказал не для того, чтобы его очернить... Напротив... Но у Гранделя, бесспорно, много друзей в Берлине... Теперь такой человек незаменим...

Бретейль ответил сухо, официально:

— Я нахожу твои догадки неуместными. Конечно, Гранделя знают за границей — он новатор, человек с эрудицией. Он будет очень полезен нашему правительству. Но кого-нибудь нужно оставить в Париже... Нельзя, чтобы столица осталась без крупного политического деятеля. Лаваль и я должны последовать за Рейно, чтобы принять власть. Тебя я не прошу остаться. Ты там нужнее — с твоим знанием парламентских кругов... Кроме того, я не хочу подвергать тебя такому испытанию: французу нелегко увидеть чужих солдат в Париже... Наконец, насколько я знаю, немцы тебя не очень-то жалуют. Им трудно разобраться в наших тонкостях. Для них ты — ставленник Народного фронта, человек с поднятым кулаком...

Тесса опешил. Они долго молчали. В соседней комнате плакала жена Бретейля, и, прислушиваясь к плачу, Бретейль мучительно морщился. Наконец Тесса тихо спросил:

— По-твоему, они скоро придут?

— Вопрос дней, может быть, часов...

Тесса ушел от Бретейля растерянный. Его больше не радовало место в новом кабинете. Мир казался ему непонятным и неприязненным. Вдруг Рейно узнает, что он договорился с Бретейлем?.. Мандель может пойти на все: арестовать, расстрелять... Для них он — изменник. А для немцев он чуть ли не «красный». Какая гнусная вещь политика! Счастливые солдаты — они по крайней мере знают, где враг. А у него враги повсюду...

Тесса съежился. Секретарь сказал:

— Я назначил прием на четверг.

Тесса подумал — несчастные люди, они не знают, что в четверг здесь будут немцы. Никто ничего не знает... Он решил выйти погулять; может быть, на свежем воздухе пройдет эта тошнота...

Черный город был невыносим, полный криков, гудков, непонятных звуков. В подворотнях толпились люди. Тесса услышал:

— Говорят, Гамелен застрелился...

— Рейно удрал в Америку...

— Они-то удерут. А нам расхлебывать...

— Я немцев не боюсь. Мне что—я человек маленький. Меня и немцы не тронут. А бомб я боюсь...

— Немцы—сволочь. Мне отец рассказывал—они в пятнадцатом дядю Жака живым закопали...

— А Тесса уже снюхался с Гитлером...

Голоса замолкли. Тесса стоял в темноте, прислонившись к фонарю. Сердце билось. Ему показалось, что по улице идут солдаты. Он закрыл глаза, сдержался, чтобы не крикнуть. Что за шаги?.. Но это были крупные капли дождя, падавшие на навес кафе.

Никогда в жизни Тесса не испытывал такого страха. Он едва добежал до ворот министерства. Как ребенок, он обрадовался яркому свету в кабинете.

Тогда загрохотали зенитки. Тесса подбежал к окну и сейчас же отбежал. Немцы подходят к Парижу. Для немцев он «красный»... А рабочие говорят, что он снюхался с Гитлером... Все против него. Его приставят к стенке. Или растерзают. Что за грохот?.. Наверно, бомба упала рядом... Метят прямо в министерство... По пятьсот кило... Потом нельзя узнать, чей труп... Нужно что-то сделать, спасаться!

Тесса метался по комнате, не зная, на что решиться; садился и снова вскакивал. Его знобило. Наконец он позвонил:

— Приготовьте машину. И баки... Я поеду за город—в ставку.

Когда Жолио в половине двенадцатого пришел за утешительными новостями, ему сказали: «Господин министр уехал в ставку». Жолио не стал переспрашивать. Он понесся домой:

— Мари, укладывайся! Мы сейчас же едем... Этот подлец уже удрал. Ах, собака!.. Утром он мне заговаривал зубы... Когда-то говорили,—крысы удирают с корабля. Ничего подобного—удирают капитаны. А крысу бросили... Но крыса не дура... Скорей, деточка, скорей!..

28

Все последние недели Жаннет казалась озабоченной, рассеянной. На самом деле она ни о чем не думала, ничем не интересовалась. Ее дни напоминали

полузабытье тяжелобольного. Пустота, которую она почувствовала после разрыва с Дессером, была плотной, душной, непроницаемой.

Жаннет продолжала работать в студии. Кругом говорили о военных событиях, вырывали друг у друга последний выпуск газет. Жаннет не прислушивалась к разговорам. Как всегда, обманчиво значительным голосом она продолжала расхваливать пилюли или ликеры, а потом повторяла перед микрофоном высокие, никому не нужные слова: дерево, тишина, ветер. Она давно перестала отличать стихи от рекламы. Да и то, что говорили до нее дикторы, казалось ей рекламой какой-то странной фирмы: «Потоплено регистровых брутто-тонн... Замечены масляные пятна...»

В воскресенье она бродила до вечера, стараясь забыться среди шума и суеты. Был чудесный день; и парижане, забыв о мрачных слухах, заполнили Булонский лес, играли в теннис, гребли, на тенистых террасах кафе тянули зеленую мятную настойку или золотистый оранжад. Малыши лепили из песка замысловатые пирожные. Жаннет увидала нарядного дрозда; он прихорашивался клювом. Она уныло сказала: «Дрозд»,—и птица улетела. В одной из темных аллей Жаннет обогнала парочку: солдат и девушка в розовом платье, веснушчатая, доверчивая. У солдата было по-детски важное лицо, черные усики. Он держал в руке каску. Девушка плакала. Он говорил: «Все кончится хорошо, увидишь...» И Жаннет позавидовала: какое это счастье—так расстаться! Ведь она осталась без надежды, без слез, даже без грусти.

В понедельник Жаннет просидела все утро дома с закрытыми ставнями: не хотелось видеть света. А выйдя днем на улицу, она обомлела—Парижа нельзя было узнать. Магазины и кафе были заперты; на дверях белели листочки, дрожащей рукой было выведено: «Закрыто». Возле некоторых домов суетились люди, забивали щитами окна, выносили чемоданы, узлы, нескладно сложенные пакеты. Трудно было перейти улицу: непрерывной цепью двигались автомобили; на кузовах лежали тюфяки; из машин выглядывали перепуганные заплаканные лица.

Еще вчера парижане удивленно спрашивали беженцев: «Почему не подождали?.. А линия Вейгана?..» И вот двинулись парижане; они неслись к вокзалам; взбирались на крыши грузовиков; умоляли шоферов:

«Спасите!..» Город пустел с каждым часом — продырявленный мешок, из которого сыплется мука.

Перед министерством пенсий стояли грузовики: вывозили зачем-то мебель — столы, шкафы, конторки. Старая женщина глухо, как граммофонная пластинка, повторяла: «Возьмите и меня! Возьмите и меня!» Жаннет в ужасе спросила:

— Господи, да что ж это?..

Старуха тупо на нее поглядела:

— А вы не знаете? Немцы в Руане.

Старуха уронила кошелку; оттуда все посыпалось: моток шерсти, полотенце, свечи, апельсины. Старуха заплакала. Заплакала и Жаннет. Надо что-то делать! Сейчас они придут, будут бросать бомбы, стрелять... Жаннет заметалась. И вот с этой минуты ее не стало: еще одна щепка неслась по смутным, отчаявшимся улицам.

Вдруг Жаннет остановилась — куда ей ехать?.. Встал бездушный Лион, старческий оскал отца. Потом она вспомнила Флери, синюю листву виноградников, жаркий день, тишину — только мухи жужжат... И Жаннет захотелось жить, сильно, как никогда. Жизнь, бывшая к ней такой немилостивой, показалась лакомой. Уехать!

Она добралась до Лионского вокзала. Еще издали она увидела широкую улицу, забитую толпой. К площади нельзя было подойти. Цепи полицейских едва сдерживали народ.

— Сволочи! Сами убежали, а нас оставили!..

— Изменники!..

— Мы-то в мышеловке...

Полицейские неуверенно отвечали, что вечером будут поезда. Толпа не редела. К обеду люди проголодались, обессилели; стали искать, где еще открыты лавчонки; примостившись на тротуарах, закусывали. Выглядело это как огромный табор. Старый рабочий, аккуратно отрезав ломоть хлеба и несколько кружков колбасы, сунул еду Жаннет. Она хотела поблагодарить, но ничего не могла вымолвить, только пошевелила губами; и есть она не могла; ей казалось, что у нее жар.

Ночь наступила раньше обычного: черный туман покрыл город. Говорили, что горит Руан. Кто-то пытался успокоить людей: «Это — дымовая завеса...» Женщины, обезумев, кричали в темноте. Жаннет задыхалась. А утром, чуть рассвело, новые толпы заполнили квартал. Но поездов не было.

Жаннет побрела по улице, дошла до набережной. Теперь ее изумленные, невидящие глаза никого не поражали — такие глаза были у всех. Прохожих останавливали; спрашивали, где достать чемодан или ручную тележку; делились новостями: «Они в Манте...», «В Шантильи...», «На Елисейских полях парашютисты...», «Поезда уходят с вокзала Аустерлиц...», «Нет, не уходят...», «Продали, продали!».

Девушка жадно ела рогалик и плакала. Проехал генерал; старичок поглядел на него и тонким голоском крикнул: «Доигрались!» А в переулке ревела девочка, прижимая к себе огромную безголовую куклу.

На углу улицы Сен-Жак была открыта булочная. Жаннет услышала запах свежего хлеба и будто очнулась — ей снова захотелось жить. Она стала лихорадочно думать: «Что делать?» Побежала в студию. Ворота были заперты: даже сторож уехал. Тогда она вспомнила про Марешаля. Когда она вбежала к нему, он запихивал в чемодан книги, термос и негритянского божка; божок не влезал, высовываясь, хитро улыбался.

Марешаль бормотал:

— Последняя новость — итальянцы объявили войну. Понимаешь, ждали до сегодняшнего дня... Шакалы!.. А правительство убежало... Вот тебе и «до победного конца»!.. Машин сколько хочешь. Мы купим в складчину. Гранде ищет бензин. Если достанет, возьмем и тебя.

Она обрадовалась:

— В Флери, хорошо?

Бензина не достали. Гранде пришел на рассвете, весь серый:

— Шарль вчера уехал и вернулся пешком. Бензина нет, черт бы их побрал! Вот если бы достать лошадь! Это самое верное... А на Пер-Лашез поставили орудия, я сам видел. Солдаты куда-то уходят. Ничего нельзя понять... Говорят, будто Америка объявила войну. Не верю...

Марешаль кричал:

— Ни газет, ни радио — все удрали! Ты понимаешь, бросили Париж!

Отдышавшись, он сказал Жаннет:

— Придется пешком...

На минуту Жаннет оживилась — что-то проснулось ребяческое: уйти в Флери пешком!.. Она побежала к себе.

— Другие туфли надену, в этих не дойти.

Оживление быстро прошло. Страшная суета улицы, где гудели автомобили, где люди толкались, кричали, плакали, навела на нее тоску. Куда бежать? Да и зачем? Ей всюду будет плохо...

Хозяйка гостиницы встретила ее, как близкого человека:

— Вот хорошо, что не уехали! Ведь никого не осталось. Паника, стыдно глядеть! Почему они убегают, скажите мне на милость? В четырнадцатом немцы были в Мо. И тогда удирали. А они не вошли. Молочница мне сказала, что сегодня привезут сорок дивизий. Значит, отгонят...

Жаннет молча кивала головой. Она просидела, не двигаясь, час, может быть два. Солнце теперь нагревало маленькую комнату хозяйки, служившую конторой гостиницы. На камине играл котенок, он хотел поймать солнечный зайчик. Жаннет поглядела на него и вскочила — только бы жить.

Она побежала к Марешалю; на двери была записка: «Жаннет, я буду ждать до четырех возле метро Денфер-Рошеро». Жаннет в страхе поглядела на часы. Три. Значит, успеет... Зачем-то она купила в случайно открытом магазине одеколон. Приказчик долго заворачивал бутылочку, а она молила: «Скорее!..»

Как случилось, что она спутала станцию? До пяти прождала она возле метро Алезия. Потом вынула из сумки записку, и все завертелось перед глазами. А у Денфер-Рошеро никого не было. Она побежала на почту — заперто. Да и все заперто... Телефон она нашла только у себя в гостинице. Она позвонила Дессеру. Теперь не до чувств. Он ее вывезет. Никто не ответил. Вытащив записную книжку, она звонила по всем номерам, даже не задумываясь, кому звонит. Раздавались монотонные гудки. И в ужасе Жаннет сказала: «Никого!..»

А хозяйка успела повидаться с шурином: он ей сказал: «Никаких дивизий. В городе остались только полицейские и пожарные. Генерал поехал в Шантильи к немцам...» С севера доносилась канонада. Услышав, как Жаннет сказала: «Никого», хозяйка всплеснула руками и начала суматошно собираться.

Жаннет поднялась к себе. Она долго стояла у окна. По длинной улице все шли и шли люди. Некоторые толкали ручные тележки; там лежал скарб; иногда на

тележке сидела старуха или тявкала собачонка. Все ставни были закрыты наглухо. И Жаннет снова сказала: «Никого!..»

Вот человек, обезумев, тащит на спине кресло. Мальчик несет деревянную лошадь — не захотел оставить. Старушка с птичьей клеткой. Человек в пенсне с портфелем и с кошкой; кошка вырывается, орет. Везут в тачке бабушку. Женщина несет на руках двух малюток. Еще мчатся последние велосипедисты. До чего страшно в пустом городе!..

И Жаннет сбежала вниз. Хозяйки уже не было; она ушла, бросив все; не предупредила Жаннет; даже не заперла своей комнаты. Жаннет пошла посредине мостовой. Пахло гарью; трудно было дышать — это горели нефтехранилища. Потом пошел дождь, от гари он был черным. По лицу Жаннет текли черные слезы. И, ни о чем не думая, подчиняясь толпе, с широко раскрытыми глазами, она оставляла зачумленный город.

29

Все утро Аньес искала газету. В некоторых еще открытых киосках лежали старые еженедельники; потом закрыли киоски. Говорили, что газет больше не будет. Но под вечер Аньес услышала крик газетчика, вырвала из его рук лист. На первой странице она увидела фотографию — набережная, женщина купает собаку — и подпись: «Париж остается Парижем». Аньес рассердилась: ей всунули старую газету! Нет, дата — 10 июня... Побежала в школу — там радио. Передавали молебен; американский посол Буллит поднес статуе Жанны д'Арк красные розы, с резким англосаксонским акцентом он воскликнул: «Спаси их, Жанна!..» Потом раздались звуки танго:

Ойле, ловеласы,
Зачем вам ананасы?

И, наконец, диктор, отчеканивая слоги, сказал: «Наши доблестные альпийские стрелки продвигаются к востоку от Нарвика...»

Рике в тревоге спрашивал:

— Что передают?

— Ничего. Наверно, ждут донесений. Скажут завтра.

Но наутро радио молчало. И Аньес охватило отчаяние. Первой мыслью было — уехать. Добраться до Дакса, к отцу. Туда немцы никогда не дойдут...

Она прошла по пустым комнатам; тряпки, жестянки из-под консервов. Еще вчера здесь жили беженцы. Только Рике остался; стонал: «Не могу с места сдвинуться...» Он не спросил Аньес, что она собирается делать; понимал, что уйдет. Но все-таки жадно следил за каждым ее движением: а вдруг не уйдет? Больше всего он боялся остаться один.

— Все ушли,— сказал он.— А что в городе?

— Уходят.

И, помолчав, Аньес добавила:

— Я не уйду.

Он хотел улыбнуться, но лицо скосила конвульсия. А она, прижав к себе Дуду, думала: почему она решила остаться? Может быть, пожалела Рике? Но у нее Дуду... Нужно спасти мальчика. Конечно, в пути легко потерять. Вот бельгийка потеряла дочь. А здесь будут бомбить. Опять — две тысячи убитых... Еще страшней. Почему же она не уходит?.. Это было вспышкой гордости. Час тому назад она растерялась, услышав у приемника вместо слов ровный, пустой шум. Ей казалось постыдным это общее бегство. Она обрела волю, подобие действенности — остаться в брошенном всеми Париже.

Прибежала Мелани, уговаривала ехать с ней:

— Нас рабочие возьмут. У них четыре грузовика. Все-таки там свои...

Аньес ответила, что решила остаться. Мелани рассердилась: значит, правда, что говорили,— Аньес бесчувственная, ей все равно, кто убил ее мужа. Остаться с немцами!.. Она сказала:

— Дело ваше.

Накормив Рике, Аньес вышла на улицу. Люди еще шли. Как ей хотелось уйти с другими! Она угрюмо повторяла: «Нельзя». На стене мэрии висел крохотный листок. Наверху значилось: «Французская республика. Свобода. Равенство. Братство». Аньес прочитала: «Париж объявлен открытым городом. Военный губернатор генерал Денц». Рядом стоял старичок в соломенной шляпе. Аньес спросила:

— Что это значит «открытый город»?

Старичок пожал плечами:

— Не знаю. Может быть, что не крепость. Или по просьбе папы. Во всяком случае, сударыня, невесело...

Подошел рабочий, прочитал и крикнул:

— Сволочи, сторговались!..

Один его глаз плакал, другой, фарфоровый, равнодушно глядел на Аньес.

Толстый усатый полицейский, ухмыляясь, рассказывал:

— Нас оставили — для порядка. Открытый город — это чтобы не убивали. Теперь скоро мир подпишут.

А люди уходили, Аньес глядела на них с завистью — когда идешь, можно не думать.

Вечером она пыталась успокоить Рике:

— Напечатано «открытый город», значит, не будут стрелять и бомбы не будут кидать.

— Я бомб не боюсь. Когда мы шли, они все время кидали. Я боюсь, что они придут.

Она отвернулась; впервые за все время она заплакала; поняла, что, как Рике, боится одного: придут!.. До этой минуты она оставалась вне событий; думала — не все ли равно?.. Такие же люди, только одеты по-другому... И вдруг схватило за сердце: «Неужели придут?.. Немцы в Париже!..» Она повторяла эти слова, и слезы текли, текли.

Она выбежала: не могла сидеть на месте. По крутой улице спускались солдаты, грязные, усталые. Они тоскливо поглядывали на забитые окна домов; едва шли; торопились выбраться из города. Аньес дала одному хлеба и шоколада. Он поглядел на нее и тихо сказал:

— Спасибо. Прощайте.

Не могла она забыть его глаз. И почему он сказал такое непривычное «прощайте»?..

Вернувшись домой, она кинулась к радио. Из Тулузы передавали речь Рейно; он говорил, что обратился к Рузвельту с последним призывом; голос его едва доходил. Потом епископ призывал к покаянию: «Это Божья кара...» Смутный рокот. И вдруг близко, как в соседней комнате: «Радиостанция «Национальное пробуждение». Сдавайтесь! Мы организовали тайные отряды. В Арле шестнадцатый отряд расстрелял всех масонов и марксистов. В Гренобле сорок седьмой отряд...»

Рике попросил:

— Прикрой! Не могу я их слышать!..

Аньес не легла; ночь она просидела у черного окна; слушала гул моторов, раскаты орудий; томилась над Парижем, как над покойником. А утром вышла с Дуду, — может быть, раздобудет молока для мальчика

и Рике. Нет, все лавки заперты. Да и людей не видно. Вот только женщина толкает тележку с детьми. Значит, еще уходят...

Из-за угла выбежал солдат; чем-то он ей напомнил Пьера — смуглый, большие белки глаз.

— Как пройти к Порт д'Орлеан? Скорей!..

Она показала дорогу и спросила:

— Где они?

Солдат махнул рукой и побежал. Аньес пошла дальше. Закрыты все ставни. Ни души. Часы на площади показывали три — остановились. И тихо-тихо...

Потом раздалось гудение. Самолеты летели очень низко; были видны черные кресты на крыльях. Аньес подумала: «Сейчас бросят бомбу». И удивилась своему спокойствию — убьют Дуду, а ей все равно. Значит, она сошла с ума, ничего больше не понимает...

Они дошли до бульвара, и вдруг Аньес остановилась: навстречу шли немцы. В открытом автомобиле сидели солдаты с винтовками. И Аньес, ни о чем не думая, закрыла рукой глаза Дуду — только чтобы он не видел! Она ничего не соображала; не хотела смотреть и жадно вглядывалась в чужие лица. А в голове вертелось одно: вошли! вошли!

Шла кавалерия. Лошади остановились; мостовая заблестела от лошадиной мочи. Аньес разобрала на мешке с мукой надпись «Лилль». Проехал в машине офицер; у него был шрам на щеке; он презрительно улыбался. В глазу посвечивал монокль. Другой держал фотографический аппарат, снимал... Кажется, снял ее... Надо уйти, а ноги не идут... И снова солдаты... Что-то едят... Молоденькие... Почему столько в очках?.. Близорукие, как она... Нет, чужие... И как это страшно!.. Вошли!.. Вошли!..

Аньес стояла у ворот. Оттуда выглянула старая женщина в черной наколке, увидела немцев, заплакала и нырнула назад. Пробежали две проститутки, сильно нарумяненные; они смеялись и махали офицеру платочками.

Вдруг Дуду весело сказал:

— Мама, сколько солдат! А папа придет?

— Молчи! Это немцы!

Она испугалась своего голоса. А Дуду заплакал. Она сжала его руку и кинулась в узкую улицу — скорей бы добежать домой!

Полуденное солнце было нестерпимым, а на солнце гнили отбросы. Возле каждого дома стоял мусорный

ящик; его вынесли три дня тому назад, когда в городе еще были люди. У ворот школы лежала туша. Сладковатый запах гнилого мяса окутывал улицу. Поджав хвосты, бродили брошенные собаки; они грустно обнюхивали мостовую, потом подымали морды к небу и выли.

В коридоре Аньес увидала Рике. Он лежал плашмя; руки сжимали косяк приоткрытой двери; из запавшего рта высовывался язык. Дуду спрашивал:

— Что с дядей?

Аньес молчала. А с улицы доносились бравурные звуки марша.

30

Андре застрял. Когда он сообразил, что немцы подходят к Парижу, не было ни поездов, ни машины. А пешком уйти он не мог: с трудом волочил больную ногу. Дом, где он жил, опустел. Два дня Андре слушал военную музыку и топот солдатских шагов. Еды не было, но он не чувствовал голода. Он не пытался понять, что приключилось; лежал на диване, как срубленное дерево; иногда забывался. Никогда прежде ему не снилось столько снов. В этих снах все путалось: он лежал у пулемета, среди яблонь, отец подавал ленту, потом вдруг — свадьба, Нивелль разносит сидр, а Жаннет говорит: «Меня обвенчали...» Но с кем? И, просыпаясь, Андре недоуменно оглядывал тусклую мастерскую. Он — в Париже. И в Париже — немцы...

Внизу горланили солдаты. Он их не видел; не подходил к окну. Говорил себе: «Как глупо, что меня не убили!..»

На третий день постучали в дверь. Андре встал, постарался выпрямиться. Кто теперь может прийти? Да только они... И он ощерился. Но в дверях стоял Лорье с черной повязкой на глазу.

— Значит, и ты остался? — спросил Андре.

— Все давал — деньги, часы. Один шофер хотел взять, потом раздумал. А у меня мать-старуха, куда я с ней пойду... Андре, ты понимаешь, что случилось?

— Нет. И не хочу понять.

— Мы какой-то холмик защищали. А они? Они Париж бросили...

Андре молчал.

— Ты здесь один живешь?

— Один. Я при них еще не выходил. А нужно выйти — табаку больше нет.

На улице Шерш-Миди не было ни души. Табачная лавка оказалась запертой. Андре вдруг остановился: до чего красиво!.. Город будто очистили. Такими он видел эти старые улицы только на рассвете; но теперь был полдень с ярким светом, с короткими тенями. И тишина... Должно быть, так проходят туристы по улицам Помпеи. Туристы... А они — жители. Он сказал Лорье: «Мы жители Помпеи»,— и уныло засмеялся.

Вот здесь были сыры, а там трубки. Антиквар Боло сдувал пыль с фарфоровых пастушек. Жозефина готовила рагу. Что это?.. Он прежде не замечал на фасаде угольного дома пеликана, который кормит своей кровью птенцов. Пеликану пятьсот лет, пеликан видел и не то... А может быть, и не видел — кормил птенцов, не смотрел...

Лорье рассказывал:

— Мать плачет — что ты будешь делать с твоей гитарой? Делать действительно нечего. Разве что играть на немецких свадьбах...

Он хотел развеселить Андре, попробовал улыбнуться. Его лицо с одним погасшим глазом походило на дом после бомбардировки, и Андре отвернулся.

Они стояли возле булочной. Андре вдруг почувствовал голод. Они вошли. Это была нарядная булочная, обслуживавшая посольства и особняки Сен-Жермена. Владелица, женщина лет пятидесяти, розовая от румян, с пышным бюстом, говорила покупательнице:

— Все уверяли, что придут дикари. А они очень вежливые. И за все платят...

— Моя хозяйка говорит, что они наведут порядок, научат наших рабочих работать. И хорошо сделают!..

Андре жевал плюшку; с мякишем во рту он сказал:

— Хорошая у вас хозяйка!

Кассирша ему шепнула:

— Это — экономка госпожи Меже. Вы как будете платить — франками или марками?

Андре усмехнулся:

— Марок еще нет — не заработал. Я ведь не господин Меже...

Кассирша не поняла насмешки, деловито сказала:

— Говорят, будто эти марки — не настоящие. В Германии они не ходят. Но я думаю, что это вздор. Они ведь порядочные люди и не станут расплачиваться фальшивыми деньгами...

Андре хлопнул по плечу Лорье:

— Слыхал? Госпожа Меже... Наш Фрессине уже тогда все понял... И застрелился. Ему теперь хорошо. А что мы с тобой будем делать?..

Он шел по улице, где знал каждый дом, каждый фонарь; но в этом городе он был чужестранцем.

Плюшка придала ему аппетит. Они зашли в ресторан. За всеми столиками сидели немцы. Они ели жадно, быстро поглощали огромные блюда, пили вперемежку пиво и шампанское. Здесь чувствовалось веселье победителей, не в флагах, не в фанфарах, но в этой отрыжке наконец-то наевшихся всласть людей. Яичницу из десяти яиц! По курице на человека! Пять бутылок шампанского! Новенькие марки хрустели в руках хозяина, услужливого и сладкого, с бегающими глазами.

Андре и Лорье старались не глядеть на соседей, ели молча, сосредоточенно, будто выполняли тяжелую работу.

Вдруг Лорье отодвинул тарелку, побледнел.

— Что с тобой?

— Видишь?

Он показал на большое зеркало, поверх которого было написано: «Здесь евреям не подают». Андре пробурчал:

— Что же, декорируют в честь новых хозяев...

— Да, но я... (Лорье едва говорил от волнения.) Я ведь еврей... Никогда прежде я об этом не думал...

Андре встал, не доев, расплатился. Подбежал хозяин, угодливо спросил:

— Хорошо ли вы пообедали, сударь?

Андре поглядел на него с отвращением:

— Зачем вы написали эту пакость?

Тот зашептал:

— Ничего не поделаешь... Мы должны считаться со вкусами наших клиентов. Не подумайте, что я... Это — для них...

Тогда Лорье, глядя на него чересчур блестящим глазом, крикнул:

— А это для кого? Для них или для вас?

Он показал на другой глаз, прикрытый повязкой.

Они пошли назад; шли молча. О чем тут говорить? На холме, у пулемета, они были свободными, они могли убежать, могли выбрать между жизнью и смертью. А теперь нужно подчиняться. Переставить часы на берлинское время — вот на стене приказ. Переставить мысли, чувства. А потом?.. Играть на немецких

свадьбах? Взять кисти и писать рубенсовские пиры берлинских бухгалтеров?.. Молчи, Андре, больше нет ни красок, ни туманностей, ни Жаннет!..

На скамейке сидел подвыпивший бродяга. У него были лукавые глаза. Рядом стояла пустая бутыль. Пьянчужка бормотал:

— Мир?.. Дайте мне гербовой бумаги, я подпишу... А почему мне не подписать?.. У меня горло пересохло, мне пить хочется...

По улице Шерш-Миди теперь маршировали молодые солдаты; глаза у них были очень светлые и пустые. Они громко пели; серые столетние дома слушали непонятную песню. Один солдат остановился, поглядел на улицу, узкую, как щель, и засмеялся.

— Грязный город! А еще Париж... Это город для негров...

Он зашагал дальше. Андре сказал:

— А мы еще гадали, что будем делать. Очень просто — будем чистить Париж, он теперь не для негров... И не для французов...

Молодые прошли; за ними плелись сорокалетние; эти казались усталыми и грустными. Может быть, они вспоминали ту войну — победы, а после разгром, голод, унижение.

Возле дома, где жил Андре, стояла молочница с двумя детишками. Она глядела на немцев и плакала; сквозь слезы поздоровалась с Андре, сказала:

— Вы только подумайте!.. Не могу привыкнуть...

К ней подошел один из солдат, немолодой, изможденный, стал что-то говорить,— видимо, утешал. Она не понимала слов. Тогда солдат вынул фотографию: он был снят одетый по-воскресному, в шляпе, украшенной перышком; рядом стояли четверо детей. Боясь, что она не поняла его, он показывал на пальцах: четверо... Он гладил детей; но они испуганно прятались за мать. Молочница поблагодарила, даже заставила себя улыбнуться. А когда солдат отошел, сказала Андре:

— Самое ужасное, что мне на минуту стало жалко его... Теперь не нужно жалеть... Теперь нужно...

Нельзя было ее понять — слезы прерывали слова.

Медленно, с трудом подымался Андре по винтовой лестнице.

— Вот и наша высота! Давай курить. А что делать, я не знаю. В тридцать шестом я что-то понимал. Или казалось, что понимаю... У меня был приятель Пьер!

Его убили возле Страсбурга. Нет, и Пьер не понимал, но он горячился — верил. Тогда был народ. Люди говорили, спорили, смеялись. А теперь мы с тобой одни... Если бы ты знал, как я запутался! Да и все запутались... Не знаю, право, можно ли жить? А в Париже немцы...

Лорье не ответил. Они долго сидели друг против друга; молча курили. Только пение доносилось, громкое, переходившее в крик.

31

Жаннет шла, не останавливаясь, до рассвета. В темноте раздавались шаги, плач детей, далекие выстрелы. Утром Жаннет, вместе с другими, упала на вытоптанную траву. Она проспала несколько часов и вскочила от грохота. Вдали она увидела облако пыли. Люди лежали плашмя, будто хотели врасти в землю. Потом мимо Жаннет пронесли девочку, у нее был распорот живот.

Жаннет прошла еще двадцать километров. Больше не было сил; горели ноги; мучил голод. В деревушке, куда они пришли, жителей не было; все убежали. Люди стояли перед закрытой лавкой. Кто-то крикнул:

— Да чего тут!.. У меня дети второй день не ели...

Лавку разгромили. Летели бутылки, жестянки. Старуха вся вымазалась в варенье. Рабочий дал Жаннет коробку консервов и бисквиты. Жаннет боялась отстать от людей, с которыми шла раньше, даже не от людей — от отдельных примет: от косм старухи, от матроски мальчика, от тачки с гремевшим на ней чайником. Она побежала вдогонку и на ходу жевала.

В другой деревне еще было несколько крестьян. У двери одного дома стояла пара — муж и жена. Жаннет попросила стакан воды. Женщина в злобе сказала:

— Это вам не Париж! Мне в колодце брать... Дайте франк...

Муж удивленно на нее посмотрел, точно прежде не видел, и крикнул:

— Стерва!

Потом все загудело. Люди заметались, попадали на землю. Жаннет обдало теплой пылью. Когда она пошла дальше, долго слышался истошный крик женщины — убили ее мужа.

Повстречали солдат; они стояли возле дороги. Беженцы спрашивали: «Где немцы? Будут ли защищать левый берег Луары?» Солдаты ругались:

— Дерьмо! Кто их знает?.. Полковник уехал. Говорят, немцы на левом берегу. Тогда нам крышка... Очень просто — Даладье за это пять миллионов получил. Разыграно, как по нотам... Ах, подлецы, убить их мало!..

Один, крохотный, с огромным бинтом вокруг головы, подбежал к Жаннет и стал кричать:

— За Испанию — раз! За чехов — два! А кому платить? Я плачу. Они в Бордо уехали. Ты мне скажи, сколько человек может терпеть?

Жаннет посмотрела на него и беззвучно ответила:

— Много.

Ночью беженцы приютились в церкви. Пахло ладаном и сухими цветами. Рядом с Жаннет мать бережно кормила грудью ребенка. Старуха возле алтаря стонала; к утру она притихла. Когда сквозь цветные стекла пробились малиновые лучи, она лежала неподвижно, острый нос глядел в купол: спит или умерла — никто не знал.

Жаннет сидя дремала. В полусне проносились обрывки воспоминаний, чаще всего она видела июльскую ночь, когда шла по узкой улице с Андре, голубого слона карусели, фонарь и поцелуй под широким каштаном.

Все зашевелились и, кряхтя, двинулись дальше. Только старуха осталась в залитой солнцем беленой церквушке.

Около полудня с холма Жаннет увидела Луару — блеснула вода. И Жаннет подумала: «Значит, спаслась!» Как всем, ей казалось, что стоит перейти Луару, и на том берегу — жизнь.

Кругом валялись сожженные или брошенные машины. Деревья были расщеплены. Висели порванные провода. Жаннет наткнулась на труп лошади; торчали большие желтые зубы; лошадь как будто улыбалась. В стороне от дороги лежала раненая женщина; возле нее сидела другая, закрыв лицо рукой. Город Жиен был разрушен. Среди мусора валялись кастрюли, книги, солдатские подсумки. На случайно уцелевшей стене висел яркий плакат: «Замки Луары — жемчужина Франции».

Жаннет с трудом пробиралась между развалин. Солнце было горячим. Трупный запах шел от камней — под ними лежали мертвые. Иногда торчала го-

лова, высовывались ноги в дамских туфлях, старческие руки. Жаннет шла, как лунатик; ничего не видела, но шла к реке.

Вдруг она остановилась, вскрикнула: мост был взорван. Она села на камень и стала ждать смерти, как несколько дней тому назад ждала поезда, тупо и напряженно, ничего не видя, не думая ни о чем. И когда налетели немецкие самолеты, обдав пулеметным огнем дорогу, возле которой лежали измученные беженцы, Жаннет не двинулась с места. Она, наверно, осталась бы до утра на этом камне, если бы к ней не подошли другие. В общем несчастье родилась участливость: делились едой, помогали нести раненых, даже привели старухе отставшую собачонку. Какие-то люди сказали Жаннет:

— Внизу лодки.

Жаннет пошла за ними.

На том берегу она рассмеялась; ей хотелось сказать деревьям: «Вот и я, живая!..»

Она начала подыматься на холм. Она едва жила. Ее окликнули:

— Жаннет!

Не сразу она узнала в грязном, обросшем щетиной солдате Люсьена. А он тряс ее руку и смеялся. Четыре года они не видались. Только раз Люсьен ее увидел в фойе театра и постарался уйти незамеченным. Теперь он от радости смеялся: ведь какое это счастье — встретить Жаннет в такое время, напасть на нее среди десятков тысяч! Он чувствовал, что никогда не переставал ее любить. Все, что было потом,— игра в заговор, Дженни, дюны — только длинный дурной сон. Вот она говорит, он слышит ее голос!..

Жаннет спрашивала:

— Люсьен!.. Что же это случилось? Это такое горе! Знаешь, на том берегу... Женщин, детей... Сейчас мальчика убили... Я ничего не понимаю...

Люсьен усмехнулся:

— На одной этой дороге тысяч двадцать беженцев погибло. И сколько таких дорог!.. Я на севере видел... Мы идем, а впереди беженцы — нельзя пройти... Перед беженцами немцы... Ты не понимаешь? Они этого хотели — завели армию в западню и удрали. Хотели, чтобы нас расколотили, вот и все. Мой папаша в том числе... Сколько раз он говорил: «Немцы и то лучше!..» Вот тебе и «лучше»!

Он грустно погладил руку Жаннет.

— Тебе надо идти — они будут бомбить. Видишь, сколько солдат... А офицеров? Три. Остальные удрали. Говорят, что мы будем защищать этот холм. Не верится... Все время так — окопаемся, ждем, потом приказ — отступать. А они бомбят... Иди, Жаннет!

— Люсьен, как же ты здесь останешься?

— Я?.. Я был в Дюнкерке... Может, лучше, если убьют.

— А я боюсь. Мне, Люсьен, жить хочется...

Она крепко его поцеловала и пошла дальше. На верхушке холма она остановилась. Солнце, заходя, было очень большим и красным. Отсюда не было видно разрушений, и жизнь представлялась мирной, полной зелени и свежести. Широкая, но мелкая Луара лениво посвечивала вдалеке. Песчаные острова были покрыты кустарником. Возле Жаннет два дерева стояли важные, как часовые на постах; темные листья вырисовывались на небе. Те деревья, что были подальше, казались синими. В некошеную траву ныряли ласточки. Далеко басом лаяла собака. Беленький домик, наверно брошенный хозяевами, манил к себе — приют мира!.. Жаннет подумала: «До чего хорошо!» Вытащила из сумки бисквит. Ее охватила простая радость жизни.

Тогда снова послышалось знакомое гудение. Она послушно упала на траву. Как это делали прежде другие, она старалась стать плоской, незаметной, зарыться в траву. А трава изумительно пахла — детством Жаннет, первыми ее веснами. Сердце билось. Шум нарастал. Она еще успела подумать: «Здесь, наверно, растет мята, ведь это мятой пахнет...»

Агония длилась недолго. Платье и трава вокруг были в крови. Лицо Жаннет было спокойное. Поднялся ветер; он приподымал ее длинные вьющиеся волосы. А большие совиные глаза удивленно глядели на первые, еще бледные звезды.

32

Тесса завтракал в ресторане «Золотой каплун» с испанским послом. Разговор предстоял тяжелый; но тонкость бордоской кухни и прославленный погреб ресторана смягчали горесть положения.

Тесса пережил ужасную неделю. В Тур он приехал за два дня до своих товарищей по кабинету; только благодаря этому он получил приличное помещение. А потом министры метались, как бездомные бродяги... Город бомбили. Рейно знал одно: писал телеграммы Рузвельту. Тесса острил: «Наш премьер превратился в специального корреспондента «Юнайтед Пресс»...» Беспорядок был такой, что одна из телеграмм Рузвельту провалялась ночь на телеграфе. А немцы продвигались каждый день на пятьдесят километров. Дороги были забиты беженцами.

Тесса старался почаще встречаться с Бретейлем; но тот был угрюм, малообщителен: говорил, что жена заболела нервным расстройством. Не мудрено! Тесса не понимает, как это он не заболел. Только Лаваль сиял; его белый галстук казался убором молодожена. Но Лаваль не обращал на Тесса внимания. Что касается министров, они носились бессмысленно из замка, где жил Рейно, в город, искали пропавшие чемоданы и отмахивались от секретарей, пристававших с глупыми вопросами: «Когда мы уезжаем?..»

На заседании кабинета Тесса предложил начать мирные переговоры. Рейно его прервал: «А наши обязательства?.. Нужно подождать, что ответит Рузвельт...» Мандель пристально взглянул на Тесса, и Тесса отвернулся. Этот человек на все способен! Для него Тесса — предатель. Даже дети знают, что, когда Мандель решил кого-нибудь погубить, можно писать некролог... Страшное лицо — ни кровинки!.. Инквизитор!..

Помощь пришла неожиданно: генерал Пикар потребовал, чтобы его допустили на совещание — чрезвычайно важное известие. Обычно спокойный, Пикар был страшен. Он шамкал, и Тесса вдруг увидел, что у Пикара нет зубов. Как он мог потерять челюсть?.. Тесса не сразу понял, что говорит генерал. А тот повторял: «Да, да, коммунистический переворот!.. Чернь осаждает Елисейский дворец... Возникли большие пожары...»

Тесса в ужасе закрыл глаза. Он не боялся ни бомб, ни снарядов. Он даже приучил себя к мысли, что может попасть в плен. Это ужасно, но немцы — культурные люди, они не станут обращаться с министром как с преступником. Только коммунисты пугали Тесса. После разговора с Дениз он понял, что красные его ненавидят. Если они захватят власть, ему не миновать пули. И потом, какое несчастье для Франции!.. Когда немцы войдут

в Париж, это будет днем национального траура. Но все-таки немцы лучше коммунистов. Немцы подымут над Елисейским дворцом свой флаг, но дворца они не тронут. А коммунисты все сожгут, как в семьдесят первом. Уже начали жечь... Это фанатики, звери!

Мандель связался с Парижем и полчаса спустя заявил: «В Париже полный порядок». Пикар попробовал спорить; но потом с самодовольной улыбкой сказал: «Конечно! Генерал Денц — мой друг. Это один из лучших полководцев. Он отдал полиции приказ стрелять по провокаторам, которые вздумают оказывать противнику вооруженное сопротивление».

Тесса повторял: «Пора уезжать из Тура!» Прошли еще сутки. Немцы снова продвинулись на пятьдесят километров. Это был отвратительный день — четырнадцатое июня. Он всегда думал, что четырнадцать для него фатальное число... Четырнадцатого умерла Амали. Тесса сидел в парикмахерской, когда ему сказали, что немцы вошли в Париж. Он был подготовлен к событию, но все же не выдержал и воскликнул: «Какое горе!..» А парикмахер закричал: «Уходите! Я не могу работать!..» Наверно, парикмахер был коммунистом...

Вечером Тесса уехал в Бордо.

Это было позавчера, но ему кажется — сто лет назад. Сколько он пережил! Он перестал различать дни. Немцы продолжают наступать; они дошли до Луары. Хорошо тем, кто остался в Париже,— для них все кончено!.. А здесь нужно что-то делать, решать. Черчилль шантажирует. Говорят, что в Бордо приехал де Голль. Кто знает, не связан ли он с коммунистами?.. Здесь много портовых рабочих; префект сказал: «Опасный элемент»... Нужно прогнать Рейно, а Лебрен все еще колеблется. Сидит и плачет... Слезы не по сезону. Теперь нужна твердая рука!

Бретейль поручил Тесса переговорить с испанским послом: Берлин должен сообщить условия. Бретейль добавил, что от этого разговора многое зависит. Тесса был горд своей миссией и в то же время подавлен. Он старался расположить к себе испанца. Когда посол начал хвалить бордоское вино, Тесса дипломатично возразил: «Я пробовал вашу «риоху», она не уступает нашим лучшим сортам». Вздохнув, он сказал:

— Мой сын был консулом в Саламанке во время вашей национальной эпопеи. Он дружил со многими фалангистами, активно помогал генералу Франко.

— Где теперь ваш сын?

Тесса ответил не сразу. Он покраснел — до чего жарко в ресторане!..

— Погиб. Его убили коммунисты.

После каплуна на вертеле Тесса наконец-то заговорил о деле: каковы условия Берлина? Испанец сначала отвечал туманно: не стоит останавливаться на деталях; должно быть взаимное понимание; победители не хотят унизить Францию. Когда он перешел к тому, что назвал «деталями», Тесса почувствовал в спине холод:

— Но это невозможно!

— Конечно, в некоторых пунктах мыслимы изменения. Как я вам говорил, самое существенное — установить контакт. Многое зависит от судьбы вашего военного флота... Берлин сомневался, сможет ли маршал, придя к власти, заставить всех подчиниться его приказам. В частности, немцев беспокоят некоторые нездоровые настроения в Марокко и в Сирии...

— Это недоразумение. Во Франции нет человека более авторитетного, нежели герой Вердена...

— Тем лучше... Вы правы, арманьяк здесь волшебный...

После завтрака Тесса поспешил к Бретейлю.

— Немцы сошли с ума! Условия неслыханные, скажу прямо — недостойные! Боюсь, что Рейно прав,— придется улепетывать на Мадагаскар...

Увидев, что Бретейль не изумлен немецкими требованиями, Тесса успокоился:

— Конечно, нужно смотреть на вещи трезво... В общем, это не так страшно, как мне показалось на первый взгляд. Я думаю только, что не стоит сейчас оглашать условия: сначала подпишем, потом напечатаем. Иначе этим могут воспользоваться коммунисты. Или де Голль. Кстати, он в Бордо. Интересно, что он здесь делает?.. Да, нам предстоит пережить несколько тяжелых дней. А потом все войдет в норму...

Вечером Рейно подал в отставку. Тесса сердечно поздравил Петена.

— Ваш ореол победителя...

Старческим, глухим голосом маршал ответил:

— Благодарствую.

Поздно ночью Тесса продиктовал Жолио состав нового правительства: толстяк уже успел выпустить в Бордо крохотное издание «Ла вуа нувель». Тесса сказал:

— Конечно, министерский кризис прошел не по этикету. Но у маршала был готовый список... Декларацию не удалось огласить в палате. Ничего не поделаешь — мы теперь на положении беженцев.

Жолио спросил:

— Каковы условия немцев?

— Этого я не могу сообщить — государственная тайна. Скажу одно — условия вполне совместимы с нашим достоинством. На другие условия маршал никогда не пошел бы...

Жолио недоверчиво прищурил один глаз:

— Достоинство — вещь растяжимая. Меня интересует, пустят сюда немцев или нет? Я наконец-то нашел плохонькую типографию. И потом, нельзя жить в автомобиле!..

— Вы можете здесь обосноваться — Бордо станет второй столицей.

Часы тянулись, как месяцы. Немцы медлили с ответом; продвигались вперед. Дважды в день Тесса подчеркивал на карте города, захваченные противником. Орлеан, Шербур, Рени, Дижон, Бельфор. На четвертый день он приказал убрать карту. В унынии он сказал Поммаре: «Скажи мне лучше, какие города у нас еще остались?..»

Шотан вдруг заявил Тесса:

— Они хотят нас добить. Условия таковы, что под ними не подпишется ни один француз.— Усмехаясь, он добавил:— Разве что твой Грандель, но он остался в Париже...

Тесса обиделся:

— С каких пор Грандель «мой»? И я вовсе не настаиваю на капитуляции. Я хотел почетного мира, это естественно. Если нужно, мы уедем. В Алжир. Может быть, для начала в Перпиньян — оттуда легко выбраться — через Порт-Вандр.

И Тесса начал думать о сопротивлении. Долго разглядывал карту; беседовал с генералом Леридо; обратился по радио к стране:

— Солдаты и моряки! Перемирие не подписано. Борьба продолжается. Рука об руку с союзниками защищайте нашу честь на суше, на море и в воздухе!..

Вечером он вышел погулять — у него болела голова, он хотел проветриться. Возле порта его узнали грузчики, стали кричать:

— Хорошо бы изменников выкупать!.. Или на фонарь!..

Тесса увидел такси — это было спасением. Несмотря на духоту, он поднял стекла: ему казалось, что его преследуют. Он поехал к Бретейлю.

— Шотан опять интригует. Хочет, чтобы мы переехали в Перпиньян, а потом в Африку. Это проделки Черчилля. Шотан всегда был падок на деньги. Вспомни только дело Ставиского... Я считаю, что нужно принять немецкие условия. Мы катимся к революции, к анархии!

Немцы все еще медлили с ответом. Они наступали на Бордо.

Рано утром Тесса проснулся от грохота; бомбардировщики летали низко над городом. Час спустя Тесса доложили: «Семьсот жертв...» Пришлось поехать в госпиталь. Зрелище раненых детей и запах эфира доконали Тесса. Он визжал: «Мы посылаем телеграммы, а они отвечают нам бомбами!»

Прибежал мэр Бордо Марке, требовал, чтобы правительство уехало — нужно спасти город. Началась паника. Весь день Тесса провел у испанского посла. Вечером он гордо сказал Жолио:

— Можете успокоить население. Немцы обещали маршалу не трогать город.

На следующий день он раскаялся — зачем он говорил с Жолио? В Бордо кинулись отовсюду толпы обезумевших беженцев. Нельзя было проехать по улице. В булочных не было хлеба. Люди спали на площадях. А к городу все неслись и неслись люди. Тесса вызвал префекта:

— Никого не впускайте в город, не то мы погибнем. Поставьте полицейских с автоматами. На армию нельзя положиться — солдаты разложились, они пропустят кого угодно: беженцев, немцев, коммунистов.

Когда Тесса сообщили, что город Тур сопротивляется, он вышел из себя: сумасшедшие! Зачем озлоблять Гитлера?.. И правительство по предложению Тесса объявило все города Франции «открытыми».

Тесса снова выступил по радио. Его голос дрожал от волнения.

— Мы надеемся, что наши противники проявят благородство. Французский народ всегда был реалистом. Мы умеем глядеть правде в глаза. Если нам придется вложить меч в ножны, мы скажем — дух непобедим! Но, увы, в настоящий момент танки сильнее духа!..

Он сидел измученный: по лицу струился пот. Вдруг вошел Вайс. Тесса удивился — почему впускают без доклада?.. Забывают, что он — министр, что Бордо теперь — столица!

Вайс протянул бумажку:

— Подпишите.

— Что это?

Вайс объяснил: многие летчики хотят улететь в Англию; необходимо воспрепятствовать; сделать бензин негодным.

— Но это не мое ведомство... Обратитесь к генералу...

Вайс зло усмехнулся:

— Генерал, когда нужно, неуловим. А дело срочное. Я вам советую не быть формалистом. Названия министерств никого больше не интересуют. А за каждый ускользнувший самолет вы будете отвечать перед немцами. Вы меня понимаете?

Тесса хотел крикнуть: «Наглец! Шпион!» Но он не крикнул; растерянно он поглядел на Вайса; потом вынул ручку, прищурил глаза и подписал. Вайс вежливо поблагодарил.

33

Тур держался. Защитники города дважды уничтожали понтоны. С удивлением поглядывали немцы на серый островок домов, перед которым посвечивала Луара. Через Тур шла дорога в Пуатье и дальше на юг. Неожиданная заминка нервировала наступавшую армию. Один из немецких генералов, любивший похвастать своей начитанностью, говорил офицерам: «Что вы хотите — эти лягушатники защищают родину Бальзака...»

Как случилось, что Тур не был объявлен открытым городом? Говорили, будто мэр призвал население к обороне, и тогда солдаты, пристыженные отвагой жителей, решили не отступать. Говорили, будто первые атаки были отбиты ранеными, находившимися в местном лазарете. Легенды рождались в погребах, где среди бочек луарского вина прятались жители; батальоны становились дивизиями. Рассказывали о каких-то таинственных снарядах, уничтожающих немецкие танки. Никто не понимал, почему Тур еще держится. Видимо,

даже в дни паники находятся смелые люди. Защищали Тур два батальона; к ним присоединились сотня раненых и некоторое количество добровольцев — пожилых людей, прошедших прошлую войну, или подростков, не призванных в армию.

Среди защитников находился депутат парламента, лейтенант Дюкан. Солдаты назвали его «дедушкой» — он сильно постарел за этот год. Все, чем он жил, оказалось вымышленным. Дюкан не был слеп; он видел свою ошибку; но втайне он надеялся, что кровь самоотверженных людей воскресит старую, знакомую ему по книгам, Францию. Оборона Тура была для него последней милостью судьбы.

Тридцать пять лет тому назад Дюкан пошел на литературный вечер. Он тогда был некрасивым подростком с большими оттопыренными ушами, мечтавшим о карьере летчика. Поэт Шарль Пеги читал стихи:

Блаженны погибшие в правом бою
За четыре угла родимой земли!

Пеги убили в первый день битвы, которая потом была названа Марнской. Он не знал, что эта битва закончится победой; он умер, видя разгром, панику, бегство; умер, защищая Париж. И Франция победила. Теперь Дюкан часто повторял любимые строки. Стихи Пеги поддерживали его в минуты отчаяния. Он старался не думать о том, что происходит в Бордо. Измученный, много ночей не спавший среди грохота снарядов и криков раненых, Дюкан еще верил в победу: оборона небольшого города была для него битвой за Францию.

Немецкие батареи, расположенные на правом берегу Луары, старательно уничтожали Тур. Им помогали бомбардировщики. Тяжелые бомбы сносили старые дома с лепными фасадами, с колоннами, с башнями. У защитников не было продовольствия, не было перевязочных средств, не было снарядов. Французские орудия замолкли; только пулеметный огонь задерживал противника.

К концу второго дня выпала короткая передышка. В одном из домов, выходивших на набережную, Дюкан и сержант Майо ужинали — солдаты принесли им хлеб и огрызок колбасы. Они громко жевали: в непривычной тишине этот звук был уютным. В комнате было темно — окна завалили мешками с песком.

Мебель напоминала о прошлой жизни: буфет, а на нем фаянсовые чашки с розовыми петушками. На полу валялись гильзы, пустые жестянки, обрывки писем. В соседней комнате отдыхали солдаты.

Кто-то включил радио. Из Бордо передавали речь Тесса. Министр нового правительства говорил о танках и о «бессмертной душе». Дюкан крикнул:

— Заткни глотку, подлец!

Солдаты рассмеялись:

— Он дедушке есть не дает.

Радио выключили. А сержант Майо, с седой щетиной на лице, с красными воспаленными глазами, вдруг сказал Дюкану:

— Почему вы им помогали?.. В тридцать шестом. Вы честный человек. Кажется, мы отсюда не выкарабкаемся. Я хочу понять...

— Понять?..— Дюкан усмехнулся.— Я сам ничего не понимаю. Белое оказалось черным, черное — белым. Вот мы и ослепли. Или наоборот — что-то начали видеть, не знаю. Есть честные люди. Англичане не сдадутся. А наша судьба...

Он махнул рукой. Майо сказал:

— В ту войну я был на севере, в Аррасе. Город буквально снесли с земли. Теперь в начале войны я снова попал в Аррас. Смешно! Гляжу — за двадцать лет люди отстроили город. Там было спокойно — тыл — Бельгия. Никто не думал... И вот снова... Когда мы отходили от Арраса, ничего не оставалось — мусор, труха... Будут снова отстраивать. Чепуха! Разве можно так жить? Что-то нужно изменить, и всерьез...

— Вы коммунист?

— Нет. Я был учителем. Голосовал против вас, за Народный фронт. Но политикой не занимался. А теперь я дошел до отчаяния. Вчера капитан Греми мне сказал: «Вы плохой француз...» Неужели все так и останется?..

Дюкан крикнул:

— Если мы выживем, я первый скажу — нет!.. Но теперь не время... Скажите, неужели вы не будете... (заикаясь, он едва выговорил) защищать город?

Ответил грохот снаряда — пауза кончилась.

Третий день решил все; немцы ворвались в Тур. Горела библиотека. Бои шли на узких улицах между набережной и бульварами. Солнце, пробиваясь сквозь дым, было грязно-розовым; пахло гарью.

Дюкан стоял возле чердачного оконца. Перед ним были черепичные крыши, длинная извилистая улица. Стреляет он неплохо... Когда-то в маленьком городке, где вырос Дюкан, на Троицу открывалась ярмарка. Дюкан не умел ухаживать за девушками; заикался, стыдился своего уродства. Он расцветал у тира; все стояли, охали: «Ну и стреляет!..» Это было тщеславием подростка. Теперь это последняя надежда. Он себя дешево не продаст!..

Вдалеке он заметил немцев; они шли гуськом, прижавшись к серой стене. Улицу пересекала баррикада: бочки, выброшенная из домов мебель, тюфяки.

Вдруг Дюкан увидел французского солдата. Это сержант Майо... Что он делает? Сумасшедший!.. Майо бросился навстречу немцам; потом остановился, кинул гранату. Три немца остались на мостовой; остальные убежали, Дюкан, не помня себя, ревел:

— Здорово, сержант! Здорово!..

Майо стоял не двигаясь, будто окаменел. Раздался залп; он вскинул руки и упал.

Снова показались немцы. Дюкан стрелял без промаху. Немцы не выдержали, побежали назад к набережной.

Дюкан вытер рукавом мокрый лоб, схватил фляжку — его давно мучила жажда. Он не подумал, что немцы могут подойти с соседней улицы — по крышам. Он увидел перед собой рослого рыжего солдата. Они долго боролись. Дюкану удалось повалить немца.

Была минута тишины. Жужжал залетевший в комнату шмель. Дюкан подобрал винтовку, прицелился — по крышам ползли немцы. Он еще два раза выстрелил. Успел подумать: «Это девятый!..» Потом зашатался и упал — шумно, как дерево.

34

Тесса лежал на кушетке в изнеможении. Мухи не давали ему покоя, садились на нос, на темя, щекотали уши. Он не мог двинуться; мечтал уснуть, но сон не шел. Он чувствовал длину каждой минуты. А когда-то незаметно пролетали дни, месяцы... В ужасе Тесса подумал: «Где теперь Дениз?..» Ее схватили немцы. А Полет, наверно, погибла. Не то она разыскала бы

его — министра легко разыскать. Все говорят, что на дорогах трупы беженцев... Да и Люсьен вряд ли уцелел, это — сорвиголова, такие гибнут первыми...

Что будет дальше? Лаваль улыбается. Марке горд бордоскими винами. Бретейль коротко отвечает: «Обойдется». И ни единого проблеска... Немцы продолжают наступать; заняли Брест, Лион. Они в Ла-Рошели, а это возле Бордо... Парламентеры уехали: среди них Пикар. Но кто знает, что им скажут?.. Может быть, немцы нарочно тянут? В стране неспокойно. Поммаре говорит, что в Марселе коммунисты кричат на всех площадях... Да и здесь препротивное настроение... (Тесса вспомнил свою встречу с рабочими, громко вздохнул.) Конечно, Вайс — нахал, но он прав: за самолеты придется отвечать... Некоторые радикалы собираются удрать в Африку. Это не так глупо... Тесса предлагали место на пароходе «Массилья». Он готов был согласиться. Но Бретейль сказал: «Пассажиров «Массильи» мы приставим к стенке...» И Тесса поспешно воскликнул: «Правильно! В такие минуты не покидают родину!..»

Раздался телефонный звонок: Тесса вызывали на заседание.

Увидав, что Лебрен сморкается, Тесса понял — новости невеселые!.. Бретейль монотонно, как поминальную молитву, прочитал немецкие условия, переданные по проводу генералом Пикаром. Тесса возмущенно крикнул:

— Позорные условия!

Бретейль сухо посмотрел на него:

— Не следует забывать, что мы разбиты.

— Я понимаю...— Тесса кивал головой.— Лично я за то, чтобы подписать...

Полуживой от усталости, он подошел к микрофону; откашлялся; и бодро, как в былые годы, начал речь, обращенную «к нации»:

— Не будем падать духом! Условия перемирия, подписанные нашими делегатами, тяжелы, но не позорны. Это — почетные условия. Вся моя жизнь тому порукой!

А после, выпив стакан минеральной воды, слабым голосом сказал Бретейлю:

— Только смотри, чтобы не напечатали!.. До того, как солдаты сложат оружие... Зачем играть с огнем?.. Среди них достаточно горячих голов...

В Бордо возвратился Пикар. Тесса тотчас поехал к нему — его разбирало любопытство.

— Как все было? Я говорю об атмосфере...

Генерал поглядел на него тусклыми, пустыми глазами:

— Мне стыдно за мой мундир.

— Но все же?.. Меня интересуют детали.

— Детали? Пожалуйста. Нас отвели в палатку. Там стоял стол, на нем графин с водой, чернильница, перья. Офицер сказал: «Мы вас принимаем великодушно, не правда ли?» — и показал на графин. Потом он обратился к своим коллегам и сказал: «Я не маршал Фош...»

— Но он? Как держался он?

— Он похож на какого-то актера кино. Бегал, суетился, речь произнес — у него хриплый голос. Он стоял на поляне и ногой топтал траву — хотел показать: топчу французскую землю. Вот и все. А об остальном я не расскажу даже себе — слишком стыдно...

Прошло еще три дня. Тесса много работал. Повседневные заботы отвлекали его от раздумий. Приходилось заниматься всем: принимать журналистов и проверять полицейские кордоны, следить за подвозом муки и ублажать испанского посла. А тут еще подоспела реорганизация кабинета: ввели двух новых министров.

Парламентеры теперь направились в Рим. Все ждали развязки. Немцы продолжали бомбить города. Жолио каркал:

— Я никому больше не верю... Вы увидите, что они придут в Бордо...

Наконец условия перемирия были преданы гласности. Бретейль предложил устроить «день национального траура». Тесса рассмеялся:

— У него одна мысль — как бы помолиться. Любит ладан.

Решили отслужить торжественную панихиду. На богослужении присутствовали Петен и все министры. Тесса надел черный галстук — как на похороны. Возле собора несколько человек прокричали: «Да здравствует маршал!» Тесса обиделся: опять выделяют премьера!..

Во время панихиды он скучал, лезли в голову дурацкие мысли. Вдруг Полет не погибла, а сошлась с кем-нибудь?.. Виар, наверно, радуется, что не вошел в кабинет, потом скажет: «У меня руки чистые, я не подписывал...» Через два дня придется снова переезжать... Ох, как глупо вышло!.. А у Гитлера маленькие усики, как у Чаплина. Жарко!..

Когда Тесса выходил из собора, к нему подошел пожилой человек благообразной наружности, с ленточкой в петлице. Тесса вежливо спросил:

— Что вам угодно, сударь?

Вместо ответа незнакомец ударил его по лицу. Тесса схватился за щеку и, еще ничего не соображая, крикнул:

— Но почему?..

Обидчик, глядя на него темными злыми глазами, ответил:

— У меня два сына погибли...

Он не договорил — его увели полицейские. Собралась толпа. Старая женщина в трауре плакала. Кто-то хихикнул: «Съездили по морде...» Тесса поспешно сел в машину.

Он еще не оправился от потрясения, когда прибежал Жолио:

— Вы меня снова подвели. Оказывается, они занимают по договору Бордо. Я не понимаю, как вы не отдали им Марселя?..

Напрасно Тесса пытался его успокоить; говорил, что в Клермон-Ферране прекрасные типографии, что газета там расцветет — он ей устроит субсидию. Толстяк вопил:

— Нужна мне ваша помощь! Грош ей цена... Можно быть лакеем у господ, но не лакеем у лакеев! Лучше в Марселе продавать ракушки...

Жолио еще долго бушевал; потом поплелся в гостиницу, где его ждала Мари; он не сразу пришел в себя; выпил целый сифон; наконец сказал:

— Тесса едет в Клермон-Ферран. Четвертая столица. Потом будет пятая... Но с меня хватит! Точка. Все равно Францией правят немцы. А тогда лучше вернуться в Париж. Там по крайней мере у нас квартира.

— Но что ты будешь делать в Париже?

— То, что делал. «Ла вуа нувель». Как будто немцам не нужны газеты! А кто в меня кинет камнем? Тесса? Ему только что дали по морде, щека припухла. Хоть какое-нибудь удовлетворение...

Несколько дней спустя правительство выехало в Клермон-Ферран. Тесса уложил документы в поместительный портфель, проверил замки чемоданов. Потом он выглянул в окно и отскочил; по улице маршировали немцы. Нарядный лейтенант снисходительно оглядывал редких прохожих. Тесса обиделся: не могли подождать до вечера!.. Все-таки неудобно: суверенное правительство и рядом — оккупанты... Что подумают за границей? Он сдвинул бархатные портьеры, точно хотел отгородить себя от немцев.

Секретарь сказал, что машина будет через час — исправляют мотор. Тесса прилег перед дорогой. Золотые пятна солнца, пробиваясь между шторами, прыгали по стене. Вдруг он увидел глаза своего обидчика, жесткие, металлические. Что с ним сделали? А нужно понять чувства отца... Дениз... Люсьен...

И Тесса позвонил префекту:

— Я обращаюсь к вам с просьбой. На меня было совершено сегодня нападение. Благодарю вас, хорошо... Я прошу вас освободить этого человека. Он сказал мне, что его сыновья погибли на фронте. Вы — отец семейства, вы понимаете, какое это горе!.. Можно потерять голову... У меня тоже двое детей... Да, да, погибли...

Тесса едва договорил: его душили слезы. Пришел секретарь:

— Машина подана.

Тесса привел себя в порядок. Через несколько минут в машине сидел человек, который понимает, что он облечен доверием нации.

35

Правительство обосновалось в Клермон-Ферране, потому что окрестности этого города изобилуют минеральными источниками; кругом расположено много курортов с комфортабельными гостиницами. Лаваль остановился в Клермон-Ферране; другие министры облюбовали кто Виши, кто Мондор, кто Бурбуль. Тесса счел наиболее пристойным Руайя — здесь задержали комнаты для президента республики.

Большая кондитерская «Маркиза де Севиньи» была переполнена. На улице толпились люди, ожидая, когда освободится столик. Прельщал беженцев не столько густой шоколад, которым славился Руайя, сколько общество — после пережитых ужасов приятно было встретить знакомых, очутиться в своем кругу. Казалось, сюда перебрались все кафе Елисейских полей: и «Ронд-пуань», и «Мариньи», и бар «Карльтон», и былая резиденция Люсьена «Фукет'с».

Госпожа Монтиньи, задыхаясь от жары и горя, рассказывала:

— Мне пришлось за неделю до катастрофы вернуться в Париж — муж заболел ангиной. А потом мы едва выбрались. Это была ужасная поездка! Возле

Невера мы оставили наш «кадиллак» — не было бензина. Нас довез до Виши какой-то мошенник. Но я надеюсь, что машина цела...

Модный драматург за другим столиком жаловался:

— Шестнадцатого должна была быть премьера... А десятого все началось... Теперь неизвестно, когда откроется театральный сезон.

Биржевик кричал своему собеседнику — глухому, с аппаратом возле уха:

— Не имея курсов Нью-Йорка, трудно сказать что-нибудь определенное. Но я не продавал бы... Как только все уляжется, эти бумаги пойдут в гору.

Дессер, до которого доходили рассказы, сетования, пророчества, мучительно усмехался. Они еще не поняли, что случилось; думают — через неделю или через месяц возобновится прежняя жизнь.

Почему Дессер пришел сюда? Он не любил фешенебельных заведений и шоколаду предпочитал вино. А теперь щебет растерянных и растерзанных дам, причитания мужей с запыленными саквояжами, лай японских собачек и тойтерьеров, вздохи («У меня пропал чемодан в Мулене»), восторги («Я дал швейцару три тысячи и получил комнату»), суета встревоженного света и полусвета были ему вдвойне противны. Но он хотел доконать себя. Увидев, как Тесса зашел в кондитерскую, Дессер остановил машину.

Он слушал щебет и задыхался. Вся низость тут, вся грязь! Перед его глазами еще была кровь. Он проехал по дороге, которую звали «Лазурной», — она ведет из Парижа в Ниццу. Прежде по ней неслись спортсмены, дамы в коротких штанишках, снобы, любители юга или рулетки. По этой дороге двинулись беженцы. Над ними низко кружили немцы: усмехались и давали очередь... Дессер видел братские могилы. Он видел тысячи бездомных. Парижские автобусы стали домами; в них ютились счастливцы. Голодные солдаты бродили по полям, искали свеклу или репу. Кричали, как помешанные, женщины: звали пропавших детей. Вместо городов были развалины. Мычали недоенные, обезумевшие коровы. Пахло гарью, трупами.

Вспомнив «Лазурную дорогу», Дессер закрыл глаза. Он очнулся от смеха Тесса:

— И ты тут? Мир действительно тесен! Пережить все, что мы пережили, и встретиться у «Маркизы де Севиньи»!..

Дессер молчал. Тесса не унимался:

— Ты плохо выглядишь. Нехорошо, Жюль, нужно взять себя в руки! Я лично боялся худшего. А все обошлось... Ты знаешь, наши фанатики — Мандель и компания — хотели удрать в Африку. Но мы их не пустили. В такие минуты должно быть единство нации. Теперь скоро все кончится — немцы пойдут на Лондон. Дело двух-трех месяцев... Мы вышли из игры, и это наш плюс. Что ты собираешься делать? Ты можешь нам помочь — теперь начнется экономическое восстановление. Почему ты смеешься? Я говорю вполне серьезно...

Дессер больше не смеялся; он сказал задумчиво:

— Это хорошо, что ты ничего не понимаешь... Пей шоколад и не думай! Ведь ты — клоп. Не сердись на меня, но ты — старый почтенный клоп. И ты жил в старом почтенном доме. Теперь дом сгорел. А клоп еще жив. Но сколько ему осталось?.. Мне тебя жаль — вот такого, как ты есть...

— Пожалей лучше себя! Меня нечего жалеть! — Тесса кричал от обиды. — Я не Фуже! Я человек новых концепций... Это ты цеплялся за прошлое: Народный фронт, либерализм, Америка... Мы очистим страну от гнили... Я подготовляю текст новой конституции. Мы возьмем у Гитлера самое ценное — идею сотрудничества классов, иерархию, дисциплину и прибавим наши традиции, культ семьи, французское благоразумие, а тогда...

Дессер не слушал; он задумчиво повторял:

— Бедный старый клоп...

Тесса ушел. Дессер еще сидел. Он больше не прислушивался к разговорам, не разглядывал соседей. Наконец он поднялся, неуверенной походкой прошел к двери. Кто-то громко сказал:

— И Дессер здесь!.. Значит, все в порядке...

Он не обернулся, — может быть, не расслышал. Он снова видел Париж, окутанный черным туманом, беженцев с тележками, горы мусора. Это та Франция, которую он хотел отстоять, спасти, Франция его детства, рыболовов, китайских фонариков, «Кафе де коммерс»... Когда-то он показал Пьеру на светившиеся окна тихой, заброшенной улицы — ели суп, готовили уроки, вязали набрюшники, ревновали, целовались. Больше ничего нет: черные окна, как выколотые глаза, расщепленные бомбами стены, а на площади Конкорд — немцы... Нужно додумать, сделать выводы. Он хотел спасти... И кормил клопа, сотни клопов... Любил скромные кабачки и миллионы. Все было

ложью! Поэтому и Жаннет терзалась... Да, за всю свою долгую жизнь он полюбил одну женщину, взбалмошную, никчемную, добрую. Что с Жаннет?.. Может быть, она бродит рядом, ищет ночлега? Или погибла на дороге? По старенькой улице маршируют солдаты, серо-зеленые... Он ей не может помочь. Он всех губил.

Давно исчезли гостиницы, магазины, автомобили. Потянуло свежестью пастбищ. Темно-зеленая трава радовала глаза, измученные рябью жизни. Дессер правил, не задумываясь, куда едет. Зачем-то повернул направо; дорога шла в гору. Прохладно... И до чего хорошо! Он остановил машину, вышел. Местность была пустынной; впервые за долгое время Дессер оказался один. Он с нежностью глядел на луга; цветы желтые, розовые, лиловые. Вот эти, кажется, называли львиным зевом... Какое детское имя!.. А дальше темно-синие горы; на них облака — это овцы.

Воздух был настолько чистым, что Дессер стоял и дышал, изумленный. Все последнее время ему казалось, что он задыхается. А здесь сердце часто билось; стучало в висках; уши наполнял глухой гул.

Он подумал о Бернаре; это был его давний друг. Бернара знали все как опытного хирурга. Вчера Дессеру рассказали, что он застрелился. У него было лицо ибсеновского пастора — сухое и суровое. Но он любил жить, копался в грядках, играл с дочкой... И вот Бернар застрелился — увидел немцев под окном и написал на листке из блокнота: «Не могу. Умираю».

Прежде смерть пугала Дессера — необычностью, непонятностью. Теперь он подумал о конце Бернара, как о мудром, но житейском деле. Он вдруг понял, что смерть входит в жизнь; и смерть перестала его страшить.

Он прошел по лужайке до дерева; смешно шагал — не хотел примять цветы. Дерево напомнило ему Флери, встречи с Жаннет.

Увидим вместе мы корабль забвенья
И Елисейские поля...

Вот они, поля забвенья, Элизиум!..

Со стороны это было диковинное зрелище — старый человек, тучный и неповоротливый, в длинном пальто, шагал по лужайке, размахивал руками, бормотал: «Зерно... любовь... холод...» Но кругом никого не было. Только на горе пастухи разводили костер; до

них еще не добрались ни хрип радио, ни агония беженцев; они жили прошлым покоем.

Солнце зашло за гору. И смерть сразу приблизилась; она была легким туманом. Туман этот жил, дрожал, передвигался, как овцы. Дессер рассеянно улыбнулся, вынул из брючного кармана большой револьвер и жадно губами прильнул к дулу, как в зной, погибая от жажды, к горлышку фляги.

Эхо повторило выстрел. Пастухи насторожились: вот и к ним подбирается проклятая война...

36

Стоял конец июня, но луга Лимузена были ярко-зелеными, как в мае. Часами Люсьен глядел на зелень: она успокаивала. Потом он вставал с земли и шел дальше. Он не знал, куда он идет; давно бы залег под большим ясенем и забылся; подымал его голод. Он как-то усмехнулся: последнее живое чувство!.. Он ел морковь, свеклу. Иногда встречный солдат, грязный и небритый, как Люсьен, делился с ним хлебом. Иногда в деревне давали миску парного молока; и теплый запах хлева — прежде Люсьена от него мутило — казался чудом, остатком былой молодости, запахом жизни.

Люсьен вырезал себе палку. Еще неделю тому назад он числился солдатом восемьдесят седьмого линейного полка. Но армии больше не было, и Люсьен считал себя бродягой. В одной деревушке он услышал по радио речь отца, объявившего о перемирии. Старуха, стоявшая рядом с Люсьеном, сказала: «Кончили? Ну и хорошо»,— и погнала дальше свинью, розовую, как «ню» живописца. Солдаты выругались; а Люсьен, изумленный, вслушивался в тембр голоса: да, это голос отца... Встало далекое детство. Отец говорит над кроватью больного Люсьена: «Амали, кошечка, не отчаивайся! Наука всесильна...» Теперь Тесса говорит: «Душа бессмертна...» А Жаннет хотела жить... У немецких летчиков должны быть чертовски крепкие нервы — в упор расстреливают женщин, детишек... Значит, отец получил индульгенцию от Бретейля. Может получить Железный крест от Гитлера... Люсьен протяжно зевнул. Даст кто-нибудь молока или нет? Но до него мимо этой деревушки уже прошли тысячи солдат. Крестьяне испуганно запирали двери домов, а старуха, которую он догнал, закрыла руками

розовую равнодушную свинью, завизжала: «Ничего у меня нет, ничего!..»

В этот вечер Люсьен был особенно голоден. Он пригрозил винтовкой старухе. Та перестала визжать, но еще крепче сжала в руке веревку, к которой была привязана свинья, и зашептала: «Не дам!..» И Люсьен сплюнул: «Возни много»; он думал не о старухе — о свинье.

Он пошел дальше. Неподалеку от дороги стояла ферма. Ставни были закрыты наглухо. Крестьяне боялись ночью выглянуть. Только, не умолкая, лаяли собаки. Люсьен кричал: «Хлеба дайте, негодяи!» Никто не отвечал. А собаки сходили с ума. Люсьен постоял и пошел в сторону к маленькой речке. Он попил теплую воду, которая пахла тиной, и лег под навесом. Он проснулся от женского голоса: «Солдат!.. А солдат!..» Над ним стояла девушка. Она надела мужское пальто поверх рубашки. Ночь была лунная, и Люсьен внимательно оглядел крестьянку. Он даже подумал: «Хорошенькая...» Живые глаза и вздернутый нос придавали ей веселость, хотя ей было невесело; она испуганно повторяла: «Солдат! Спишь, солдат?..» Она принесла Люсьену большой хлеб и кусок сала.

— Я ждала, пока хозяйка уснет... Сало она оставила, а другое у нее в кладовке... Я тебя видела, когда ты на дворе стоял... Хозяин не злой, только много вас ходит; он говорит: «Сами с голоду сдохнем...» Я вышла — вижу, ты к речке пошел. Как они легли, я взяла и бегом...

Он ничего не ответил, вытащил нож и стал сосредоточенно есть. Девушка по-прежнему стояла над ним. Он долго ел — насытился, но не хотелось кончать. Еще мутный от усталости и сна, он спросил:

— Дочка?

— Служанка...

Наконец-то он кончил есть, вытер нож о землю и молча взглянул на девушку. Он поймал на себе ее восторженный взгляд, удивился — думал, что должен теперь всех пугать. Он оброс жесткой рыжей щетиной. А зеленые глаза светились. Шинель пропахла пылью и потом. Он показал рукой: садись. Девушка села. Она оказалась низкой — на голову ниже Люсьена. Он спокойно и как-то задумчиво обнял левой рукой ее шею, бережно запрокинул голову и поцеловал. Ему казалось, что он пьет воду. А она его горячо и часто целовала и потом, когда они лежали на траве, говорила: «Солдат!.. А солдат!»

Начало светать. Девушка засуетилась: «Хозяйка проснется». Он спросил:

— Как тебя звать?

— Прелис Жанна.

И Люсьен взволновался, осторожно погладил ее красную, шершавую руку, пошевелил губами — хотел сказать что-то ласковое, но не вышло; наконец он выговорил:

— Жаннет...

— А тебя?

— Люсьен.

— А дальше?

— Люсьен Дюваль.

Он стряхнул с шинели землю и, не оглядываясь, пошел к дороге. Ночь у речки была непонятной милостью судьбы, сном осужденного. Теперь он проснулся. Дюваль, Дюран, Прелис, все что угодно, только не Тесса! Его могли бы пытать, он не признался бы... Конечно, стоит сказать, что он сын Тесса, его сразу накормят, оденут, отвезут на машине в Виши. Только лучше убить старуху, ту, со свиньей...

Навстречу шел незнакомый солдат, тоже с палочкой. Поглядели друг на друга, подмигнули. Солдат пошутил:

— Маршал-то потерял свою армию...

— Как булавку...

И пошли в разные стороны — начинается новый день, нужно искать пропитание.

А маршалу Петену было не до армии. Накануне он произнес большую речь, обращенную к французской нации. Он не хотел никого обманывать — ворчливо он повторял: «Не надейтесь на государство. Государство вам ничего не даст. Надейтесь на ваших детей. Воспитайте их в духе религии и семейного начала. Они вас поддержат...» Услыхав речь маршала, Тесса сначала загрустил: его никто не поддержит — ни забулдыга Люсьен, ни гордячка Дениз... Но несколько минут спустя он насмешливо шептал Лавалю:

— В восемьдесят пять лет это логично, тем паче что его кормят не дети, а государство...

О солдатах никто не помнил: министры были заняты размещением кочующих чиновников, посылкой в Париж делегации во главе с Бретейлем, составлением новой конституции, сдачей немцам военного материала, борьбой против сторонников Сопротивления. Армия распалась сама собой. Поездов не было.

Уроженцы неоккупированной зоны брели по дорогам на юг. Парижане и жители севера превратились в бродяг. Крестьяне умоляли жандармов защитить их от солдат.

Люсьен взобрался на гору. Весь день он пролежал на лужайке, не хотелось двигаться. Был нежаркий день, солнце то и дело пряталось за круглыми, пухлыми облаками. А облака неслись на восток к двум серым башням соседнего города. Движение облаков увлекало Люсьена. Он ничего точно не вспоминал, не старался восстановить картины прошлого, но в самом ходе облаков было ощущение времени. Люсьен как бы заново переживал свою недлинную, но шумную жизнь. Все сливалось в одно: смерть Анри, глаза Жаннет, когда она стояла возле аптеки, море за дюнами и легкий туман над двумя башнями. Поэтому, когда солнце зашло и в быстрых сумерках пропали облака, ему показалось, что жизнь кончена. Он даже поежился — не то от холода, не то от страха. Никогда прежде смерть его не пугала. Почему он ее испугался в этот сырой вечер на горке, под тусклыми, туманными звездами?.. Он сам удивился и вдруг крикнул: «Жрать!» Ну да, он сегодня ничего не ел!.. Нужно отправиться на поиски хлеба.

Он нырнул в долину. Среди деревьев дрожал огонек маленького квадратного окна. Люсьен постучал, крикнул: «Хлеба солдату!» Никто не ответил. Это был дом старика Серже, самодура, который заморил свою жену за то, что она ходила на исповедь, силача, гнувшего в руке медные су, медведя, засевшего в берлоге. Серже жил один с молодой, вечно испуганной служанкой, которая, когда хозяин начинал ее бранить, неизменно икала. Старший сын Серже давно уехал в Канаду, а младший жил в соседней деревне у тестя; с месяц тому назад его призвали, хотя раньше он был освобожден от военной службы как левша. Судьба привела Люсьена к домику Серже.

Люсьен колотил в дверь: «Давай хлеба!» Из другого оконца доносился запах капусты и лука: служанка варила суп. Этот запах бесил Люсьена. В нем проснулась ярость. Светящееся окно молчало, и это было невыносимо. Пусть обругают, прогонят, но как они смеют молчать?.. За кого, черт побери, он воевал?..

Люсьен прилип к стеклу. За тюлем занавески мелькнуло лицо старика, и Люсьену это лицо напомнило Бретейля. Серже не походил на лидера «верных»;

сходство только почудилось взбешенному Люсьену; и он, отбежав от домика, завопил:

— Открой, сволочь! Стрелять буду!

Он и впрямь хотел выстрелить в светлое отвратительное пятно окна. Но тогда раздался выстрел, и Люсьен, описав ногой полукруг, будто танцуя, свалился.

Он упал молча. Закричал не он — Серже, страшно закричал. Будь кругом жилье, сбежались бы люди; но домик стоял в пустынной долине; и только эхо ответило: «Ааай!», да на кухне, полуживая от страха, икала служанка.

Серже отбросил охотничье ружье, с которым он когда-то ходил на кабана, и побежал к Люсьену. Он еще застал короткую агонию. Смерть наступила почти мгновенно. Туманная луна заливала зеленью щеки Люсьена; глаза блестели, как у кошки; а волосы казались ярко-огненными, будто они горели. В эту минуту Люсьен походил на красавца разбойника с лубочной картины; и кровь на шинели — Серже принес фонарь — казалась свежей, жирной краской.

Серже поставил фонарь на землю, сел рядом; так просидел он до полуночи; хотел было закурить, даже вынул кисет, но забыл. Сидел он неподвижно; только чуть тряслась его большая голова с космами седых нерасчесанных волос.

Вышла служанка; она робко подошла к мертвому, вскрикнула: «Красивый», и тотчас ее снова стала душить икота. Серже огрызнулся: «Молчи». Она хотела уйти, он приказал: «Стой». Потом он встал и чужим, бесчувственным голосом сказал:

— Бандиты!.. А кто он? Солдат... Француз...

И здесь-то служанка вся побелела от ужаса: хозяин вдруг упал на мертвеца, завопил:

— Пьеро!.. Сыночек!..

Утром составили протокол. Серже расписался, сказал: «Ведите». Но у жандармов и без того было много хлопот. Бригадир ответил: «Разберут. Если нужно будет, вызовут». Обыскали Люсьена, но бумаг не нашли; и в протоколе проставили: «Неизвестный, одетый в солдатскую форму». Вдруг служанка закричала: «Нашла!..»

Она показала бригадиру бумажку, которую нащупала в маленьком карманчике рубашки. Бригадир развернул лист; на нем старательно прописью были выведены три слова: «Франция. Жаннет. Дерьмо». И бригадир сплюнул:

— Бандиты!

37

Дениз спряталась у Клеманс, старуха только потому и осталась в Париже. До горбатой улицы не доходили ни барабанный бой, ни песни. Тишина казалась невыносимой. Дениз много раз пыталась выйти. Клеманс ее отговаривала:

— Погоди!.. Пусто. Сразу заметят...

Клеманс каждое утро выходила с кульком; приносила хлеб, овощи, иногда мясо. С наслаждением она готовила обед; ей казалось, что она балует Жано...

Клеманс рассказывала:

— Девилли приехали, и Руссо с женой. Говорят, что многих возвращают. Девилль плакал, спрашивал меня: «Как коммунисты?..» Я ему ответила: «Коммунисты — в подполье. Не так-то легко узнать... Но не такие они, чтобы сдаться...» Что я могу сказать? А им этого мало. Они говорят: «На что нам теперь надеяться?..» Под немцами никто не хочет жить. Ты возьми колбасу, колбаса хорошая. Масла нет. Скоро ничего не будет. Немцы все вывозят. Марок у них сколько угодно: печатают и раздают солдатам. Я видела, как денщики выносили ящики!.. Всё хватают — кофе, чулки, ботинки. Ты ешь получше! Кто знает... Скоро голод будет. А тебе нужно много сил. Девилль правильно сказал: «Теперь на них вся надежда...»

Когда началась паника, Дениз сказали: «Ты останешься, будешь работать в Париже. Связь поддерживай через Гастона». Накануне прихода немцев Дениз пошла по указанному адресу. Дверь открыла заплаканная женщина, сказала: «Гастона забрали. А я уйду пешком...» Дениз обошла всех товарищей: заколоченные дома. Уехали? Или прячутся?

Самым страшным казалось ей бездействие. Время шло медленно; ночью она готова была сломать стенные часы — тикают, тикают... А в рукомойнике каплет вода — капля за каплей...

Что с Мишо? Она умрет и не узнает, что он жив, не услышит «и еще как!». Они могли быть вместе, могли быть счастливы. Теперь ничего не будет, ни встречи, ни жизни. В Париже — немцы. Нужно по многу раз повторять эти слова, чтобы поверить. А Мишо нет. Может быть, его убили. Или взяли в плен... Как это страшно — попасть в их руки живьем!.. Они брали в плен целые армии...

Длинной казалась июньская ночь, и в полусне до одурения Дениз повторяла: «Мишо!.. Мишо!..»

Вдруг она вспомнила: Клод ей сказал, что его оставят в Париже. Нужно найти Клода. Дениз помнила адрес: она нашла ему комнату после майской тревоги. Может быть, он там?..

Клеманс ее обняла, будто снаряжала в далекую дорогу.

— Ты губы поярче накрась — они таких не трогают...

Нужно было пересечь центр города. Увидав первого немца, Дениз попятилась, чуть было не побежала. Какая противная морда! А на рукаве — свастика... Но нельзя быть такой нервной. Теперь придется все скрывать, все прятать... Она пошла дальше; думала об одном: найдет Клода, начнут работать...

Вот и Бульвары!.. Дениз старалась не глядеть, и все же глядела. На террасах больших кафе сидели немецкие офицеры с проститутками. Женщины были одеты как на пляже,— босые, в сандалиях, ногти выкрашены в рубиновый цвет. Смеялись, пили шампанское, чокались. В витринах были выставлены словари, путеводители по Парижу на немецком языке. Торговцы предлагали солдатам сувениры — крохотные изображения Эйфелевой башни, брошки, открытки с видами, непристойные фотографии. Бойко шла торговля. Переводились франки на марки. Газетчики выкрикивали: «Матен»! «Виктуар»!»

Дениз купила газету, развернула: «Наши приветливые гости, бесспорно, оценили тонкость парижской кухни...» И объявление: «Кончил два факультета. Говорю по-немецки. Ищу место официанта». Она отбросила листок.

Подозрительная, смутная жизнь личинок, могильных жуков шла в захваченном, пустом городе. Продавались картины, рубашки, улыбки, остатки чести. С гадливостью Дениз спрашивала себя: «И это — Париж?..»

Она дошла до левого берега; долго пробиралась по пустым улицам: улицы без людей казались куда длиннее.

Заколдованный город! В окнах брошенных магазинов привычные вещи: галстуки, игрушки, бокалы с леденцами. Зонтик, как старик, прислонился к заколдованной двери — зонтик забыли. На балконе засохшая герань. Клетка, а в ней мертвая птица. «Спящая красавица»,— подумала Дениз, встала картинка из детской книги. Пышные фасады, статуи Возрождения, колонны Людовиков — прежде она их не замечала:

толпа затирала камни. А теперь камни справляют победу над людьми.

На бульваре Пор-Ройяль горбун разглядывал крону дерева. Прошел слепой, стуча палкой. Проковылял хромой подросток. Все калеки, все уроды повылезали из щелей; они не смогли уйти и заселяли город.

Цвели липы. Пахло глухой дачей. Метались вспугнутые птицы — они не могли привыкнуть к гулу моторов; с утра до ночи над завоеванным городом кружили немецкие самолеты; они летали низко, казалось, сейчас срежут крыши.

Пусто... И вдруг — люди! По мостовой шли беженцы; несли на руках замученных, сонных детей. Неделю тому назад они покидали город. Тогда на их лицах были ужас и надежда; они спрашивали, какой дорогой пройти, ругали изменников, мечтали прорваться к жизни. А теперь они плелись, как клячи на бойню. Они столько повидали за эти дни! Лежали под пулеметным огнем, громили поезда, плакали перед отравленными колодцами. Многие потеряли близких, и все потеряли надежду. Уходя, они не знали, что Париж окружен. Дойдя до Шартра, до Орлеана, до Жиена, они увидели немцев. Их остановили, погнали назад. Они возвращались в родной город, как пойманный беглец в острог. И мать, озираясь в испуге на немцев, шептала раскричавшемуся ребенку: «Тише!..»

Дениз увидала на стене плакат: немецкий солдат держит ребенка; ему доверчиво улыбается женщина; подписано: «Вот покровитель французского населения!» А рядом обрывки старой театральной афиши: «Одеон... Премьера... «Укрощение строптивой»... Глаза немца были синими и блестящими. Эти глаза теперь отовсюду глядели на Дениз. Она отворачивалась, глаза показывались снова; она перешла на другую сторону — та же ярко-синяя эмаль. И, не выдержав, Дениз вскрикнула — глаза, отделившись от стены, шли навстречу. Она не сразу поняла, что это — живой человек. А лейтенант игриво почмокал губами.

Дениз вышла на авеню де Гобелен. На самом припеке стояла очередь — двадцать или тридцать женщин. Потом заметались платки, космы, кошелки:

— Солдат ищут!..

Женщины кинулись к соседнему дому, и на асфальт пролилось синеватое, жидкое молоко. Полицейские вывели из ворот юношу. На нем были солдатские штаны, синяя рабочая блуза. Кто-то крикнул:

— Мать пропустите!

Старуха (Дениз в первую минуту показалось, что это — Клеманс) подошла к солдату, крепко его обняла. Он шепнул:

— Прощай, мама!

Его втолкнули в фургон. Мать, оглядев смущенных полицейских, сурово сказала:

— Вот, значит, на кого вы работаете!..

И снова синие эмалевые глаза — пьют коньяк, едят колбасу, гогочут...

Дениз повернула за угол. Это был бедный квартал за площадью Итали. Дома будто раздетые — грязь, уродство; их больше не скрашивают ни шум толпы, ни пестрые витрины. На скамейках старички играют в карты. Женщины стоят в подворотнях, готовые исчезнуть, как только покажутся солдаты. Но немцы сюда не заходят.

Дениз позвонила. Никого... Кто знает? В последние часы люди уходили против воли, подчиняясь ритму шагов, безумному желанию других — вырваться, уйти. И потом, Клода могли арестовать — немцы заходят в дома... Дениз прислушалась — ни шороха...

А Клод — рука на задвижке — томительно думал: «Вот и пришли!» Не открывал — еще минута свободы...

— Ты!..

Они долго ничего не могли вымолвить. Наконец Клод сказал:

— Дожили!.. Я все-таки не думал, что придется это увидеть... Ты понимаешь — немцы в Париже!..

Дениз поглядела на него — серые щеки, а глаза блестят. Нехорошо! Печальная комната — на столе ломтик хлеба, тетрадь со стихами и книга «Как закалялась сталь».

— Надо что-то делать,— сказала Дениз.— У тебя есть связь?

— Нет. Из наших остался только Жюльен. Но как его найти? Я думал, что он придет... А по улицам он не станет ходить — теперь каждый человек заметен. Они ищут... Кьяпп недаром остался — он с ними работает.

— Надо что-то делать, Клод! Беженцы возвращаются, и первое, о чем спрашивают,— как коммунисты?.. Нельзя ждать. Преступно!

— Гектограф есть. Чернила, бумага, все осталось. Только ни к чему... Разве мы с тобой знаем, о чем теперь писать?

Он мучительно закашлялся. Дениз молчала. Она поняла бессмысленность затеи: конечно, Клод — хороший

товарищ, смелый, готов на все. Но он не знает... Как она. А связаться не с кем...

Она сидела, сгорбившись, у окна. Перед ней была мертвая улица. И как-то внезапно она вспомнила все. По этой улице проходила демонстрация. Дениз увидела красные шали на балконах, услышала пение. На деревьях, как воробьи, кричали мальчишки. Женщины подымали кулаки. Все пестрело, звучало, вибрировало. Впереди колонны шагал Мишо. Дениз выпрямилась. «Мишо, ты здесь?» Он не отвечал. Он шагал и глядел прямо перед собой. Очень высокий и веселый. Через окопы шагал, через немцев — Мишо знает, не ошибется, не отстанет. Как она могла подумать, что Мишо убили? Мишо не могут убить. Мишо идет.

Смутно улыбаясь, Дениз шевелила губами:

— Клод, дай бумагу.

Ему показалось, что она пишет стихи; он отошел на цыпочках в угол. А Дениз искала слова, чувствовала — они рядом, и не могла их найти. Снова встала фраза, которую она повторяла на Бульварах: «И это — Париж?..» И слова понеслись, обгоняя одно другое: «Колыбель революции... Город Коммуны... Сердце Франции...»

Ей казалось, что она слышит голоса солдат, которые бродят, всеми брошенные. Голоса пленных — они на дорогах бьют камень, над ними издеваются гитлеровцы. Голоса беженцев — длинные, страшные дороги, а люди бродят, бродят... Говорил французский народ. И дальше — другие... И маленькая женщина, одна, в пустом городе слышала плач, тишину, слова гнева и надежды. Она писала, не останавливаясь, будто ей кто-то диктует.

Клод прочитал и тихонько вытер глаза; испачкал лицо — рука была в лиловых чернилах.

— Дениз, как ты такое написала?..

— Тише!

Она услыхала тяжелые шаги патруля. Потом громкоговоритель, установленный на машине, выкрикнул:

— Заходите в дома! Время! Заходите в дома! Время!

38

Национальное собрание, созванное маршалом Петеном, должно было заседать в Виши. Для торжества приготовили зал казино. Здесь Монтиньи еще неда-

вно играл в покер, а Жозефина, стараясь забыть чары Люсьена, танцевала танго с пресс-атаще Венесуэлы.

Катастрофа застала в Виши несколько тысяч курортников, лечивших на водах свою печень. Зимой в некоторых гостиницах устроили военные госпитали. Теперь раненые в халатах и больные уныло глядели на пеструю толпу. Виши нельзя было узнать. Сюда съехались не только сенаторы и депутаты, но весь цвет Парижа: промышленники, спекулянты, крупные чиновники, журналисты, кокотки. На каждом шагу слышалось: «Ах, это вы, граф!..», «Эге, Жюль, и ты прорвался!..», «Но где же наша цыпка?..».

Все волновались: сегодня — большой день, гвоздь этого необычайного сезона, сеанс национального собрания. Лаваль хотел обойтись без церемоний, но Бретейль любил ритуал; решили похоронить Третью республику с помпой.

Тесса долго готовился к этому событию. Как всегда, он оставался оптимистом: оправившись от дорожных волнений, он чувствовал себя здоровым, и ему хотелось жить. Он подолгу доказывал себе, что затея маршала ему на руку: из избранного он станет назначенным, это спокойней. Все же в глубине души Тесса был обеспокоен; невольно вспоминал слова Дессера: «Бедный старый клоп». Конечно, Дессер рехнулся, но есть в его обидных словах доля правды: Тесса использовали; его громким именем покрылись другие; а теперь его хотят оттеснить; кто поручится, что завтра его не выкинут? Для правых он радикал. В Бордо ему все улыбались, а здесь Лаваль прошел мимо, едва поздоровался. Когда лимонад готов, с выжатым лимоном не церемонятся.

Тесса хотелось заплакать: все его обижают. Разве он не помог Лавалю? Кто ухаживал за поганым испанцем, когда нужно было договориться с немцами? Кто доказывал радикалам, что компьенские условия вполне приемлемы? Короткая у них память! Да и свои его не поняли. Гордячка Дениз... Как он ее любил, как баловал! Теперь немцы ей отрежут голову. Страшно подумать! Гитлер не шутит. Поэтому и победил... Что будет с Дениз?.. Тесса дважды высморкался: слезы шли в нос. Потом он вспомнил огненную шевелюру Люсьена и пугливо съежился. Люсьен обязательно замарает имя Тесса. Это у него наследственное, он в дядю Робера. Только Робер отделался четырьмя годами, а у Люсьена страшная хватка — врожденный преступник. Но, может

быть, Люсьена убили? Кончится род Тесса. Да и Франция кончится... Тесса махнул рукой. Вдруг его лицо стало злым: подлая Полет, наверно, поет свои песенки перед немцами; ей нет дела до национального траура, лишь бы помоложе и побойчей...

А час спустя Тесса преобразился: достаточно было пустяка — позвонил Бретейль, спросил: «Как самочувствие?» Тесса понял, что он еще нужен. Правда, он отказался выступить на заседании с разоблачением масонов; зато он произнесет короткую, но яркую речь. Ему удалось установить, что в «Юманите» были напечатаны объявления мебельной фабрики, владельцем которой является эльзасский еврей. Тесса сможет воскликнуть: «Золотые незримые цепи связывали еврейский капитал с коммунистами. Так родилась преступная война...»

В последнюю минуту Бретейль отвел Тесса в сторону: «Лучше будет, если ты не выступишь». Тесса обиженно заморгал. Бретейль объяснил: «Вопрос такта. Нервы страны обнажены, приходится считаться с галеркой. Вытащат старое: Ставиского, Народный фронт...» Тесса согласился, но снова помрачнел: он хочет жить, а под ним трясется земля.

Слегка его утешил Грандель (он приехал накануне из Парижа). Увидав Тесса в фойе казино, Грандель подбежал, был мил, рассказывал о столице:

В первое время было маловато народу, но теперь город мало-помалу наполняется. Хотят даже открыть оперу... В общем, немцы навели порядок. Держатся они хорошо, не скажешь, что завоеватели...

Подошли депутаты; молча слушали Гранделя. Один сенатор сказал: «Ого!..» — нельзя было понять, восхищен он рассказом Гранделя или негодует.

Бержери крепко пожал руку Тесса:

— Хорошо, что ты здесь, на посту. Я был убежден, что ты не оставишь Францию в трудную минуту.

Тесса в знак благодарности чуть наклонил свою птичью головку. На остром носу сверкали мелкие капельки пота. Слова Бержери его растрогали: все-таки некоторые понимают, что Тесса принял на себя тяжкий крест. Разве легко подписать позорное перемирие и прийти сюда, чтобы участвовать в ликвидации своего прошлого?

— Служу Франции,— ответил он.— Кстати, Блюм здесь, даже Фуже. Интересно, что они будут делать при голосовании? Особенно Фуже... Это не шутка — лечь на скамью и высечь себя. Ха! А придется... Не

посмеет же он голосовать «против». Жалко, что нет Дюкана. Этот поджигатель войны...

— Где он?

— Кажется, в армии.

Грандель вставил:

— Наверно, первым сдался в плен. Знаю я этих «непримиримых»...

— А где Виар?

— Никто не знает. После нашего отъезда из Тура он пропал.

— Я слышал, что он удрал в Лиссабон через Испанию.

— Неужели испанцы его пропустили?

— Анекдот: Виар просит у генерала Франко визу...

— Говорят, что испанцы поставили на границе пулеметы. А всех, кто переходит границу, загоняют в лагеря.

Тесса усмехнулся. Что такое история? Кадриль: вперед—назад, кавалеры меняют дам... Виара испанцы, наверно, посадили в лагерь. Легко себе представить его негодование: пенсне прыгает на носу... А картины? Неужели он оставил в Авалоне свои картины?

— Во всякой трагедии есть нечто смешное. Меня забавляет судьба Виара. Как он должен был перепугаться, чтобы бросить свою коллекцию! Вы видите его физиономию?..

Сзади раздался обиженный голос:

— Если не видите, можете увидеть. Я нахожу, Поль, твою иронию неуместной.

Тесса обомлел:

— Это ты, Огюст? Но откуда?..

— Из Авалона. Почему тебя так удивляет мое присутствие? Я, как всегда, на посту.—И Виар стал доказывать, что он—горячий сторонник нового порядка.—Поражение нас вылечит. Мы должны взять пример с победителей. Почему Гитлер в Париже? Потому, что он дерзал. Маршал Петен показал себя новатором. Ему пошел девятый десяток, но он дерзает. Я первый его приветствую...

Здесь даже Грандель смутился. А Тесса про себя вздохнул: «Лисица! Этот перехитрил всех...»

Наконец председатель потряс звоночком. Тесса не прислушивался к ораторам. Легко теперь говорить Лавалю... Почему он молчал в сентябре? А Виар срывает аплодисменты... Блюм злится. Блюм, конечно, будет голосовать против: его песенка все равно спета.

Во время перерыва депутаты окружили Гранделя: все перед ним заискивали. Грандель небрежно отвечал: «Хорошо, я поговорю о вашем деле с Абецем...» Тесса вспомнил бумажку, выкраденную Люсьеном; поморщился. Все же обидно, что мелкий шпион стал спасителем Франции...

После перерыва выступил Бретейль, говорил о безнравственности, о «великом искуплении», поносил англичан и под конец, вытянув вперед руку, торжественно заявил: «Победители показали себя великодушными». Тесса зевнул: старый лицемер! Его Лотарингию, между прочим, отдали немцам... Балаган! И притом скучный...

Вдруг все оживились: на трибуну поднялся Фуже. Он сразу зарычал:

— Когда враги отечества и малодушные заносят свою руку...

Договорить ему не дали. Началось голосование. Полчаса спустя председатель объявил: «За — пятьсот шестьдесят девять. Против — восемьдесят».

Тесса чувствовал непонятную усталость, как будто он произнес очень длинную речь. В саду дамы кричали: «Да здравствует Лаваль!» Тесса даже не позавидовал. У него болела голова. Он уныло побрел к гостинице.

Судьба над ним сжалилась: в салоне он увидал прехорошенькую незнакомку с высокой грудью и ярким, как киноварь, ртом. Она напомнила ему Полет. Он оживился, подошел к незнакомке и только тогда заметил, что у нее на глазах слезы.

Плачущие женщины всегда казались Тесса особенно привлекательными. Он взволнованно заговорил о страданиях Франции. Она кивала головой. Он скромно вставил: «Я — как министр...» Незнакомка улыбнулась. Она рассказала о своих мытарствах; потеряла в Невере чемодан; старушка мать осталась в Париже; здесь она искала своего дядю, который служит в министерстве коммерции. Но он, видимо, остался в Клермон-Ферране. Она не знает, что ей делать, — у нее в сумке только сто франков.

Тесса ее утешил, да и сам утешился. За ужином он был весел, остроумен. Они пили шампанское — сначала «за вечную Францию», потом «за вечную любовь».

Ночью он весело сказал:

— Ты никогда не угадаешь, куколка, сколько мне лет.

— Пятьдесят?

Он засмеялся и погрозил ей пальцем:

— Нет, куколка! В любви мне восемнадцать. А для публики?.. Во всяком случае, маршал мог бы быть моим отцом.

Он вдруг вспомнил все события исторического дня: жесткий взгляд Бретейля, хитрость Виара, бороду Фуже, отвратительную цифру 80. Нашлось восемьдесят чистоплюев! Эти обязательно напишут в мемуарах, что они протестовали против «капитуляции». В представлении потомства скучный день будет выглядеть как государственный переворот. А Тесса во время сеанса мучила изжога: он напрасно ел барашка по-индийски... До сих пор ему нехорошо и голова болит. Может быть, от шампанского?.. Тесса приподнялся, поглядел на сонную «куколку», и слезы подступили к горлу.

— Ты знаешь, что сегодня было в казино?

— Портье мне сказал—какое-то важное заседание...

— Харакири. Ты не понимаешь? Сейчас объясню. Собрались депутаты, сенаторы. Выступил Лаваль... У него, куколка, всегда белый галстук... А потом... Потом мы покончили жизнь самоубийством. Ты не веришь? Честное слово! Объявили себя мертвыми и зааплодировали. Пятьсот шестьдесят девять трупов. Восемьдесят нахалов. Вот и все. Теперь рядом с тобой призрак Тесса, его тень.—Он икнул и виновато добавил:—Не нужно было мне пить столько шампанского. Впрочем, теперь все равно, акт о смерти составлен...

Женщине хотелось спать; она все же пересилила сон и вежливо сказала:

— Зачем огорчаться? Когда немцы уберутся из Парижа, мы заживем по-прежнему. Ты сам говорил, что ты молод душой... Ты...

Она зевнула в руку и прошептала: «Ты—настоящий любовник».

Тесса покачал головой.

— Нет. Это все было... А теперь!.. Я люблю ясность, логику. Я тебе скажу откровенно, кто я. Клоп. Старый клоп в щели.

Он встал и нетвердой походкой пошел к умывальнику.

Фуже вышел из казино сильно возбужденный. Он размахивал руками, что-то бормотал: разговаривал с невидимыми слушателями. Презренные трусы похоронили республику. За что умирали герои Вальми? За что дрались «пуалю» Вердена? Позор, граждане, позор! Весь мир брезгливо отвернется от Франции, которая лижет Гитлеру сапоги.

Конечно, Фуже протестовал. Но ему не дали сказать правду. Он идет в гостиницу. Сейчас — обед. Официант принесет суп. Потом Фуже должен спать. Мирный быт после происшедшего казался несносным. Фуже жаждал мученичества, свиста бомб, гильотины. А эти сидят на террасах кафе и пьют вермут...

Всю ночь он шагал по комнате, не думая ни о Мари-Луиз, ни о сыновьях; задыхался от возмущения. Он попал в Кобленц. Да, Виши — это Кобленц. И кто во главе изменников? Если бы Лаваль... Все знают, что Лаваль — продажная тварь, жадный овернъяк с физиономией конокрада. Да и Тесса его не удивил. Тесса — потаскуха, лишь бы его кормили... Но во главе предателей — солдат республики, старый маршал. Опозорена навек армия. Опозорены и седины. Кому теперь верить? Все заплевано, промотано, пропито — на террасах кафе: и слава и простая порядочность.

Завтра будут кричать: «Да здравствуют спасители Франции, великодушные боши!» Будут пресмыкаться перед пруссаками. Пожалуй, Геринга объявят Жанной д'Арк. И не смешно — отвратительно.

Кому говорил это Фуже? Бабочкам на обоях? Мутному отражению в длинном зеркале? Рассвету?

В девять часов утра постучали. На полицейских были люстриновые пиджачки. Один сказал:

— Предписание об обыске.

Фуже усмехнулся:

— Покажите. А почему оно не по-немецки? Учитесь немецкому языку, господа! Довольно переводов! Я люблю оригиналы. Впрочем, не смущайтесь. Вы ведь не защищали Вердена... (Фуже расчесал бороду, надел шляпу.) Я готов... И да здравствует республика!

На площадке лестницы он увидел Тесса, который успел побриться и позавтракать. Тесса спешил на заседание совета адвокатов. Увидав арестованного, он отвернулся. Лицо у Тесса было строгое, торжественное, как на похоронах. А Фуже шел вниз и ругался: «Дерьмо, господа, дерьмо!..»

39

Генерал Леридо, еще будучи в Париже, говорил: «Когда война проиграна, продолжать войну бессмысленно, скажу больше — безграмотно, вот что».

Бретейль хотел включить Леридо в состав делегации, которая должна была подписать перемирие. Леридо слег: у него сделался припадок печени. Он думал: повезло! Оставить для истории свое имя на таком прискорбном документе!..

При реорганизации правительства генерала Леридо назначили заместителем министра вооружений. Министерство разместилось в небольшом курорте Бурбуль. Узнав, что в Бурбуле лечат астматиков, Леридо огорчился: он надеялся попасть в Виши и заняться своей печенью. Астмой он не страдал; но все же каждое утро направлялся в ингаляторий; говорил: «Война кончена, начинается восстановительный период. Лечение никогда не повредит».

Он выписал супругу и, увидев ее сиреневый капот, просиял; жили они в гостинице, но она сразу внесла в неуютный номер нечто домашнее: вязанье, электрический утюг, разговоры о дороговизне. Леридо был счастлив. Его только смущала ответственность работы: он должен был сдавать немцам военное имущество, согласно тексту перемирия; вздыхал: «Я раньше думал, что трудно вооружаться. Нет, Софи, куда труднее разоружаться».

Он считал, что в его обязанности входит скрывать от немцев все, что может быть от них скрыто. С ним работал полковник Моро, и Леридо говорил полковнику: «Мы должны уже теперь готовиться к тысяча девятьсот шестидесятому году. Да! Да! Ведь немцы сразу после поражения начали готовиться к реваншу. Это — закон природы...» Леридо радовался, как ребенок, когда ему удалось скрыть от немцев тридцать зениток. А Моро снисходительно улыбался: «Вы напрасно стараетесь. Луна не воюет против солнца...»

Утром, вернувшись из ингалятория, Леридо пил кофе. Постучали. Генерал думал — адъютант или официант, крикнул: «Войдите». Вошел Вайс.

Бывший радикал из Кольмара стал теперь закадычным другом Лаваля и членом смешанной франко-немецкой комиссии.

Генерал был еще в халате для ингалятория и походил на карнавальную куклу. Вайс, не выдержав, улыбнулся. Леридо почувствовал неловкость: генерал должен импонировать.

— Мы живем на бивуаке... А мой адъютант неопытен.

— Пожалуйста, генерал... Простите ранний визит. У меня к вам срочное дело...

Четверть часа спустя генерал вышел к Вайсу в полной форме с шестью ленточками на груди. Вайс его спросил в упор:

— Скажите, генерал, ведь в Монпелье было сорок два средних танка? А вы сдали шестнадцать?..

Леридо кивнул головой, с удовольствием ответил:

— Разумеется. Немцы указали шестнадцать.

— А наша подпись?

— Мне кажется, господин Вайс, что мы выполним наш долг перед потомством, если начнем...

Вайс прервал его:

— При чем тут громкие слова? Шестнадцать — это шестнадцать. А сорок два — это сорок два. Какие у вас могли быть резоны, чтобы утаить двадцать шесть танков?

— То есть как?.. (Леридо теперь кричал.) Я выполнил мой долг. Я не позволю, чтобы со мной говорили, как с мальчишкой. Я, сударь, французский солдат, вот что!..

Он приподнялся, и ему показалось, что, несмотря на низкий рост, он смотрит на Вайса свысока. А Вайс пожал плечами:

— Нервничаете, генерал. Это вам не битва, это серьезное дело. Я попрошу вашего начальника разъяснить вам, что такое арифметика...

С этим Вайс вышел из комнаты. Леридо долго не мог опомниться. Он жаловался Софи:

— Я не понимаю, почему мы должны поднести вчерашнему противнику двадцать шесть танков? Приезжает француз, друг Лаваля, человек, пользующийся доверием Бретейля, и говорит со мной, как будто он — немецкий офицер. Это ненормально, вот что!..

На следующий день Леридо отправился к генералу Пикару; заготовил доклад — политики вроде Вайса вмешиваются в военные дела. Это противно указаниям маршала.

Но Пикар, сухо поздоровавшись, сказал:

— Вы, кажется, поверили болтовне де Голля? Напрасно! Не позднее середины августа немцы будут в Лондоне. Вы — немолодой человек. У вас есть опыт. Ваше боевое прошлое вас обязывает. Вы не можете пойти с изменниками.

Леридо растерялся, он едва выговорил:

— Я этого не заслужил...

Пикар понял, что погорячился. Расстались они друзьями. А вернувшись в Бурбуль, Леридо начал наводить порядок; кричал: «Вы отвечаете, майор, за стан-

ковые пулеметы... Это не булавки, вот что!.. Мы должны показать нашему бывшему противнику, что мы выполняем принятые обязательства даже в мелочах. До последней пуговицы, капитан! Вы меня поняли?..»

После ужина он завел политический разговор с Моро:

— Авантюрист де Голль прогадал, я это предвидел. Немцы собрали на побережье основательный кулак. Вы скажете — пролив? Чепуха? В Нарвике они опрокинули все представления о десантных операциях. Через месяц Гитлер будет в Лондоне, это как дважды два четыре... Я нахожу линию Лаваля правильной. Конечно, мы, военные, не должны вмешиваться в политику. Но теперь мы имеем дело не с парламентскими интригами, а с судьбой Франции. Я вам скажу откровенно — победа Германии нам выгодна. Мы сможем занять видное место в новой Европе, наряду с Италией. Когда Гитлер покончит с Англией, останется Россия. Конечно, Красная Армия — это не сила. Но пространство, мой друг, пространство... Я убежден, что Гитлеру придется прибегнуть к нашей помощи. Мы сможем выторговать некоторые уступки. Генерал Пикар считает, что, получив Киев, Гитлер отдаст Лилль. Теперь представьте на минуту, что побеждает Англия. Это катастрофа. Черчилль никогда не простит нам сепаратного перемирия. А де Голль связан с темными элементами. Меня не удивит, если он вступит в переговоры с коммунистами. Да, да, от этих людей можно ожидать всего! Я лично предпочитаю немцев — это бывшие противники, но это честные люди. Может быть, Пейрутон или вчерашние депутаты колеблются. Для меня выбор сделан. Мы действительно должны помогать немцам не формально, но от всего сердца, вот что! Ваше мнение, полковник?

Моро лениво ответил:

— Я вам уже говорил, что луна светит отраженным светом. Трудно спорить против фактов. Конечно, если немцев побьют, с нами не станут церемониться. Я тоже думаю, что лучше жить в Бурбуле, чем висеть на дереве.

Несколько дней спустя генерал Леридо устроил маленький пикник: с Софи и с полковником поехал к горному озеру. Они добрались в машине до деревни, оттуда по тропинке прошли до озера. Пейзаж несколько озадачил Леридо: серые камни были нагромождены как бы в преднамеренном беспорядке. Суровость этого

зрелища не смягчалась ни деревом, ни цветами. Только кое-где меж камнями рос жесткий, колючий кустарник, серый, как и все вокруг. Серой была вода. Леридо подумал: мир после капитуляции. Вспомнил почему-то зеленый лес в Арденнах, девочку без ног...

Они взяли с собой холодный завтрак. Моро поднес супруге генерала коробку с глазированными каштанами: «Местная специальность». Рассудительная Софи вздохнула: сумасшедший — в такое время потратить восемьдесят франков на конфеты!..

Показалось солнце. Озеро стало розовым. Леридо успокоился, даже разнежился:

— Природа — это абсолютное равновесие чувств...

Софи напевала арию Миньоны. Моро поглядывал на нее нежно и насмешливо: «Будешь, курочка, моей...» А Леридо дремал: воздух был как крепкий настой, веселил и расслаблял.

Услышав взволнованный голос адъютанта, Леридо не сразу опомнился. А когда пришел в себя, закричал:

— Кто вам позволил?.. Сегодня воскресенье... Как-никак мы не на фронте!..

— Господин генерал, случилось несчастье...

Виновником происшествия, омрачившего воскресный отдых генерала, был капрал двести восемьдесят седьмого линейного полка, в прошлом рабочий завода «Сэн», Легре.

До мая Легре просидел в концлагере возле Бриансона. Заключенных заставляли таскать камни на гору. Зачем — этого никто не знал. Легре не возмущался, не спорил с солдатами, сторожившими заключенных. Что-то в нем оборвалось. Он замолк; глаза стали скучными и пустыми; лицо обросло седой жесткой бородой.

В мае солдат неожиданно освободили: полковник произнес перед ними речь, несколько раз повторил: «Франция больна». Освобожденных отправили на итальянскую границу. Легре даже вернули нашивки капрала. Он воспринял перемену в своей судьбе, как малоинтересное событие. Но, прочитав, что немцы вошли в Бельгию, очнулся, стал походить на прежнего Легре, агитатора и бойца. По-другому он теперь сжимал винтовку и только сетовал, что его полк не отсылают на север.

Он хотел попасть на фронт; но в успех боя не верил. Всю эту зиму в лагере он думал об одном: ослепили Францию, заговорили, одурачили, из большой страны сделали Монако. И эта обида так пришибла его, что

он не верил в воскресение. Недолго пришлось ему гадать: месяц спустя на Францию напали итальянцы. Полк Легре стоял возле Малого Сен-Бернара. Легре защищал дот.

Четыре дня итальянцы вели ураганный огонь, но защитники держались. Настал день передышки. Принесли горячую пищу. Газет не было. Лейтенант, приехавший из Шамбери, рассказал, что немцы заняли Париж. Никто не знает, где французское правительство.

Солдаты загудели:

— Может, и нет его...

— Наверное, фашисты захватили власть — Лаваль, Дорио, вся банда.

— Значит, нам умирать за Лаваля? Не хочу!

Легре вспылил:

— Трусишь? За Лаваля никто не хочет умирать. Только откуда ты знаешь, что теперь правительство Лаваля? «Говорят»? Мало ли что говорят... Лаваль не станет воевать. Он у Муссолини свой человек... Не знаем мы, кто там... (Легре показал на запад.) Но вот кто перед нами — это мы хорошо знаем. Здесь не может быть ошибки. Как хотите, а я фашистов не пущу.

На минуту зажглись его пустые глаза: горем и злобой.

Товарищи поддержали Легре. На следующее утро итальянцы предложили сдаться. Французы ответили отказом. Они продержались еще пять дней, отрезанные от мира.

Легре, как во сне, услышал: «Перемирие подписано...» И тогда он выругался: «Вот теперь Лаваль!..» Они вышли и увидели рядом с французским полковником двух итальянцев. Кто-то пробормотал: «Макаронщики...» Легре снова потух. Он молчал.

Его батальон случайно не распался. Стояли они в Клермон-Ферране. Возле города был большой арсенал с боеприпасами. Смутно, как свет сквозь воду, доходили слова до сознания Легре. Он слышал, как майор сказал лейтенанту Брезье: «В среду сдаем немцам».

Была горячая ночь после дождя, не освежившего мир. Легре стоял на часах. Он думал о Жозет. Она ему ни разу не написала. Может быть, и писала, не доходили письма. А теперь и почты нет. Поезда не ходят. Все распалось, как жизнь Легре. Где Мишо? Где партия? Может быть, рядом: в сердце соседа. Может быть, далеко... Все случилось, как они предсказывали: пришли

гитлеровцы, нашли здесь друзей, подручных, лакеев. Даже страшно — до чего точно об этом писали в «Юма» два года тому назад. А сколько горя!.. Разорили страну. Немцы все вывозят: станки, сахар, башмаки. Пленных они не выпустят. Что, если Мишо попал в их руки?.. Теперь они пойдут на англичан. А потом на русских. Крысы, голодные крысы! Неужели всему погибнуть: труду, героизму, да и простой человеческой жизни?..

Так началась ночь: с длинных унылых мыслей. Не первой ночью томления была она для Легре. Днем он пытался говорить: спрашивал глухим надтреснутым голосом, глядел пустыми глазами. Люди отмалчивались: все были потрясены случившимся, пришиблены; искали родных; искали крыши и хлеба; никто не задумывался над трагедией — ее переживали.

Но когда рассвет раздвинул деревья, в голове Легре созрело решение. Оно пришло помимо него; не было ни взвешено, ни проверено. Его продиктовало сердце. Оно было выводом из всех этих сумасшедших недель, из ненужной защиты дота, из жалоб беженцев, из рассказов бродивших вокруг города бездомных и голодных солдат, из наглых, но трусливых слов майора: «В среду сдадим...» Нет, они не сдадут, и те не получат!

Легре отослал трех солдат в город. Лейтенант Брезье спал у себя. Кругом не было ни души. Легре погиб один, погиб просто, скромно, искренне — как жил. Взрыв потряс все окрест. Взлетели птицы с деревьев. На кирпичном заводе — в трех километрах от арсенала — зазвенели стекла.

Когда генералу Леридо доложили о происшедшем, он закрыл рукой лицо. Взрыв показался ему большей катастрофой, чем поражение Франции. Ведь за взрыв взыщут с него... Немцы никогда не поверят, что это — акт злоумышленника. А Пикар свалит все на Леридо...

Леридо вдруг вспомнил озеро, серое и неприютное, камни, камни. Он сказал Софи:

— Все взорвали... Все разбомбили. Даже природу. Даже сердце...

40

Жолио устроился: «Ла вуа нувель» начала выходить в Париже. Из Виши шли франки, от немцев Жолио получал марки. Но толстяк жаловался, что

немец Зибург скуп и дурно пахнет: «Посадите его в одну клетку с хорьком, хорек и тот задохнется...»

Генерал фон Шаумберг благоволил к Жолио: ему нравились легкомыслие и пестрое оперение марсельца. А Жолио померк, погрустнел; даже розовая рубашка его не красила. Он редко шутил и стал малообщительным. Возвращаясь из редакции, садился на кровать, не раздевался, молчал. Если жена спрашивала: «Что с тобой?» — качал головой: «Ничего».

Вчера пришел в редакцию Бретейль. Жолио не стал читать статью, надписал «в набор», а Бретейлю сказал: «Так плохо, что скоро начну молиться». Жолио не придумывал больше сенсационных заголовков — к чему стараться? Газету все равно никто не читает — парижане брезгают, а у немцев свои газеты. Часто Жолио получал статьи, неуклюже переведенные с немецкого; он заменял слово «мы» другим — «немцы»: «Ла вуа нувель» должна была выглядеть французским органом. За это Жолио платят. А Бретейль?.. Наверно, и Бретейлю платят. Да и кому теперь нужен Бретейль?.. Странно вспомнить: шестое февраля, «верные», речи в палате... Все это было прежде. Тогда была Франция... А теперь в редакции сидит обер-лейтенант Франк с глазами розовыми, как у белого кролика, аккуратный и злой...

— Бретейль приехал,— сказал Жолио жене.— Скоро все покажутся — и Лаваль и Тесса.

Жена вздохнула:

— Легче от этого не станет. Я сегодня обегала весь город — нет мыла. Вообще ничего нет. Все вывезли.

— Ясно. А уехать некуда. В Марселе то же самое. Эти крысы съели Европу — как головку сыра. Бретейль рассказал, что Дессер застрелился. Где-то в Оверни... Вот тебе героический акт — вместо Марны и Вердена. Смешно! Ты знаешь, что мне пришло в голову? Вдруг... (Жолио закрыл окно и перешел на шепот.) Вдруг их все-таки побьют? Ты представляешь себе, какой невероятный скандал! В один вечер разойдутся пять миллионов экстренного выпуска. А Бретейля повесят...

— Что ты болтаешь? Если англичане победят, тебя тоже убьют.

Жолио весело закивал головой:

— Обязательно! Но все-таки это здорово... Как их будут резать, бог ты мой!.. Ради этого стоит повисеть на фонаре.

Жолио направился в редакцию. По дороге решил выпить аперитив («пока они еще не все вылакали»); выбрал маленькое кафе на боковой улице; сюда, наверно, не заходят немцы.

Молодая служанка, с припухшими от слез глазами, подала стакан «пастис». Жолио вынул газету. Он не читал, он и не думал ни о чем; теперь он часто погружался в такое оцепенение: ему казалось, что он куда-то плывет.

Захрипела дверь. Вошел немецкий офицер, с тяжелой челюстью, с мутными глазами. Он вежливо поздоровался. Никто ему не ответил. Служанка принесла кружку пива. Немец предложил ей присесть. Она молча отказалась. Он выпил вторую кружку и снова обратился к девушке:

— Красотка, нельзя быть такой молчаливой. Почему вы ничего не говорите?..

Она закрыла лицо подносом и ответила:

— Сударь, я француженка.

Офицер рассердился, он встал и уже в двери крикнул:

— Поглядите на себя в зеркало! Ваша мамаша спала с негром...

Служанка долго всхлипывала:

— Почему у нас не было танков?..

Жолио сказал:

— Танки были. У Тесса... А плакать нечего. Слезами вы их не уничтожите. Это крысы. Их нужно убивать. Я этим не занимаюсь. Нет, я от них получаю денежки. Как все... А что мне делать? Даже Марселя нет. Вообще ничего не осталось — только боши и тоска. Перестаньте плакать, как теленок! Получите лучше — два «пастис». Все может хорошо кончиться — я буду на фонаре, а вы будете танцевать с каким-нибудь марсельцем. У нас в Марселе чертовски танцуют...

41

Бретейль пробовал доказывать, взывал к справедливости, к логике. Генерал фон Шаумберг был непроницаем; глядел на Бретейля голубыми круглыми глазами, пускал облака едкого сигарного дыма и время от времени глухо повторял: «Нет. Нет». Можно было подумать, что из всех слов у него осталось только это.

Генерал фон Шаумберг считал, что с французами нельзя разговаривать всерьез. Ему понравился Жолио. Он угостил ужином актрис мюзик-холла; говорил: «Франция — это прекрасный курорт, а Париж — чудесный кафешантан». Бретейль был для генерала «серьезным французом», то есть дураком.

Бретейль растерялся уже в Бордо, когда услышал немецкие требования. Он думал играть в покер, скрывать карты, хитрить; вместо этого на него прикрикнули. Особенно его удивило немецкое требование прекратить после перемирия все радиопередачи. Он пожал плечами: «Они хотят, чтобы Франция онемела». И все же в Бордо Бретейль еще сохранил надежду: Гитлер любит показную сторону, ему нужен позор Компьена; прежде смывали кровью кровь, он хочет слезами смыть слезы; но вот пройдет праздничный угар, замолкнут немецкие колокола, догорят костры, зажженные на горах Германии в честь победы, тогда-то можно будет разговаривать. Францию разбили, но Франция была и будет великой державой. У нее колонии, флот. А у Гитлера на руках Англия. Ему придется за нами ухаживать.

Петен отправил Бретейля в Париж: нужно разрешить ряд срочных дел. В свободной зоне голодают миллионы бездомных. А немцы не хотят впускать в оккупированную зону беженцев. Пленных заставляют выполнять тяжелые работы. Раненых держат под открытым небом.

Обо всем этом Бретейль сказал генералу. Тот внимательно слушал, а когда Бретейль спрашивал: «Вы со мной согласны?» — равнодушно отвечал: «Нет».

Бретейль упомянул, что в Лотарингии оккупационные власти снимают вывески на французском языке; генерал слегка оживился, сказал:

— В Лотарингии нет оккупационных властей, это — часть Германии.

Бретейль не выдержал; впервые он позволил себе отойти от тона дипломата:

— Я — лотарингец...

Фон Шаумберг осторожно скинул пепел сигары в чернильницу и промолчал. Бретейль вернулся к вопросу о беженцах. Генерал, скучая, чистил ногти и зевал. Наконец он решил прекратить ненужную беседу:

— Я не могу входить в рассмотрение деталей...

— Для нас это не детали. Это жизнь или смерть миллионов французов. Отказ германских властей мешает сотрудничеству между двумя народами. Я надеюсь...

— Нет.

Бретейль встал. Сухой, высокий, он походил на немецкого офицера, и фон Шаумберг почувствовал некоторую неловкость, захотел объясниться:

— Жалею, что не мог вас ничем порадовать. Мы стоим на разных точках зрения. Вы рассуждаете как дипломат. А я, прежде всего, военный. Для меня Франция — побежденная страна. Конечно, мы можем быть великодушными, но в ваших пожеланиях я не нашел ничего достойного участия.— Генерал поглядел на Бретейля и раздраженно добавил: — Нет, сударь, нет!

Только на улице Бретейль опомнился. Штаб фон Шаумберга помещался в фешенебельной гостинице на площади Конкорд. Бретейль обвел глазами широкую пустую площадь. Повсюду немецкие флаги. Прохожих нет. На набережной маршируют немецкие солдаты: раз-два, раз-два! Серо-зеленые... А кругом все голубое: небо, Сена, дома.

Бретейль вспомнил и поморщился: «Хам!..» Да, эти чувствуют, что они победили. Они опьянели от победы, десять лет не протрезвятся. «Нет! Нет!..» Зачем говорить с таким человеком о сотрудничестве? Его не сумели поставить на колени. Теперь он заставит нас ползать на брюхе.

Бретейль повернул на улицу Руаэль; шел, задумавшись, не слышал, как его окликнул часовой. Немец подбежал и выругался: «На мостовую, старый дурак!» Бретейль послушно сошел с тротуара, потом остановился и начал смеяться. Смеялся он редко, и его самого испугал скрипучий смех.

Все смешно: что согнали с тротуара, что убил когда-то Грине, что Лотарингия—провинция Германии, что генерал на все отвечал «нет». Особенно смешно, что нет больше Франции. Есть Париж — улицы, дома, вывески, есть престарелый маршал, есть сорок миллионов горемык. А Франции нет. Вот где бы сказать, как фон Шаумберг: «Нет! Нет!»

А что есть?.. Бретейль испугался своего вопроса. В подворотне, на пустой улице он чмокал губами: повторял слова знакомой с детства молитвы. Молитва не утешала: слова скользили, ничего не оставляя после себя.

Проходя мимо Сент-Огюстен, Бретейль зашел в церковь. Там было прохладно и спокойно: ни беженцев, ни немцев. Возле ризницы Бретейль увидел знакомого священника. Аббат его благословил. Бретейль спросил:

— Как здоровье?

— Трудно... Я оставался все это время в Париже. Мы видели столько горя... Молю Господа, чтобы он простил слепым нашим правителям. Они оставили народ... А эти... У этих нет совести.

Бретейль закрыл глаза. Аббат не мог догадаться, как он его взволновал.

— Я не того хотел, видит Бог... Но теперь поздно оправдываться. Мой сын воскреснет. Во плоти... А я нет. То есть я хочу сказать, что меня уже нет. Меня, вероятно, никогда и не было — того, что по образу и подобию...

Аббат подумал: еще один. События мутили разум, и аббату приходилось каждый день выслушивать несвязные, бредовые исповеди.

Бретейль вышел из церкви. Шагал заводной манекен, высокий, костлявый человек, в черной шляпе, вожак «верных», неоднократно посылавший людей на бесславную гибель и живший надеждой на загробную встречу с сыном, лотарингец без Лотарингии. Все в прошлом — уж нет ни «верных», ни веры, ни горсточки французской земли. А по улицам бродят пруссаки, горланят, разворачивают пакеты — колбасы, ботинки, чулки, куклы, подарки невестам, разговенье Германии, запасы про черный день — тело Франции и ее кровь. Бретейль шепчет: «Причастились».

Осипшая женщина кричит: «Ла вуа нувель»! Последний выпуск!» Можно купить газету... Бретейль развернул лист, прочитал: «Принципы сотрудничества восторжествуют...» Эту статью он продиктовал вчера — до визита к фон Шаумбергу... Впрочем, завтра он напишет: «Принципы сотрудничества восторжествовали...» Беженцам хорошо на дорогах, пленным чудесно в плену, Франция нежится под немецким сапогом. Жолио — редактор, а Бретейль пишет...

Так он проходил до того часа, когда громкоговорители завопили: «Заходите в дома! Время!»

В своей нежилой квартире, глядя на раскиданные по диванам платья, фрачные жилеты, ленты, Бретейль громко зевал. Потом он решил работать. На листе бумаги поставил крестик, зачем-то написал: «Томление человеческого духа». Отложил перо и снова прошел по комнатам, остановился перед детским стульчиком, постоял — без мыслей, без молитвы — и снова сел к столу.

Он быстро писал:

«Его превосходительству господину генералу фон Шаумбергу.

Ввиду усиления подрывной деятельности сторонников Англии и де Голля, я считаю необходимым, чтобы германское командование сделало жест, способный внести умиротворение,—хотя бы впустило в Париж многодетных матерей.

Со своей стороны, я готов работать совместно с вами для уничтожения английских агентов, коммунистов и приверженцев де Голля. Я предоставлю комендатуре список дурных французов...»

Он долго писал. На стене неподвижно стояла тень—длинная и острая, как от шеста.

42

В те дни парижане сидели по домам: не могли привыкнуть к немецким солдатам на улицах. Аньес утром шла в лавку. Длинная очередь была молчаливой: люди старались ни о чем не думать. Поиски килограмма картошки или бутылки молока отвлекали. Если и говорили, то о близких, пропавших без вести; у одной исчез муж, у другой—сын.

Какой-то старичок в очереди вздохнул:

— А Франция?

Никто не ответил; но все подумали: тоже пропала...

Как вещицы на столике покойника, памятники Парижа доводили до слез. Поэты сжимали немые лиры. Маршалы мчались на мертвых конях. Бронзовые ораторы говорили с голубями. Люди вспоминали: возле статуи Дантона я поджидал Мадлен...

Не хотелось продолжать эту иллюзорную жизнь: и все же люди жили, стояли в очередях, варили бобы, писали письма. Надписывали старые адреса, уже не существующие. А почты не было. Одинокий город слышал только непонятные песни немецких солдат да птичий гомон в тенистых скверах.

Был сквер и неподалеку от школы, где жила Аньес, несколько платанов. Под широким деревом Дуду жадно хватал ручонками золотой теплый песок. Спасение Аньес было рядом—смуглый мальчик, порывистый и нетерпеливый, как Пьер.

Вначале Аньес хотела выбраться из Парижа: манил ее Дакс, где жил отец. Услыхав, что немцы и в Даксе, Аньес

насупилась. Что-то в ней дрогнуло, закрылась последняя лазейка; сказала себе: «Значит — жить с ними!..»

Она продавала старьевщику платья, книги, безделки: этим жила. Ее существование, тупое и сонное, походило на зимнюю спячку зверя. Так жила не только Аньес. Так жил Париж; о нем в те дни говорили повсюду, издевались над ним или его жалели. А Париж ничего не чувствовал, как больной на операционном столе, не способный уже сбросить маску с хлороформом.

В душный вечер, уложив Дуду, Аньес села возле окошка. Время шло мимо. Ее вывел из полусна легкий стук. Кто может прийти в этот час? Да только они... Никогда она не думала про немцев иначе: «они»... Зачем они пришли?.. И Аньес отчетливо подумала: «Если смерть, я к ней не готова».

Открыв дверь, она увидела трех подростков.

— Они за нами гонятся...

Аньес провела их в пустой, неубранный зал. Старший объяснил:

— Я солдат, артиллерист. А это мой брат, его товарищ... Мы из Бове... Дошли спокойно, только вот здесь, у метро, нас остановили. Мы — бегом... Звонили, стучали, никто не открывал, наверно, все уехали...

Внизу раздался настойчивый стук. Аньес заметалась: что делать? Вдруг вспомнила: в кладовой — ящики. Она быстро втолкнула туда юношей; накидала поверх тряпье, оставшееся после беженцев. Потом зачем-то схватила на руки сонного Дуду и побежала к двери.

Вошли два немца, один француз.

— Кто здесь проживает?

— Я и мой сын. Ему четыре года.

— Больше никого?

— Смотрите...

Француз вошел в первую комнату, заглянул в стенной шкаф, почему-то взял книжку, лежавшую на столе. Один из немцев вежливо сказал:

— Простите, сударыня. Это ошибка.

Когда они ушли, Аньес уложила раскапризничавшегося Дуду; потом пошла в кладовку. Младший (его звали Жак) вылез первый, смеялся:

— Я боялся чихнуть... А там пыли, пыли!..

— Надо вас накормить,— сказала Аньес.

На счастье, остался в котелке суп, немного хлеба, салат. Солдат признался: «Со вчерашнего вечера ничего не ели...»

— Теперь спите.

— Нет. Мы часок подождем, чтобы они успокоились, и двинемся. Нам бы только до Шартра... Там у нас человек — вывезет...

— Но куда вы поедете из Шартра? Они повсюду...

Переглянулись: глазами спрашивали друг у друга — нужно ли ответить? Солдат сказал:

— Нельзя говорить. Но вы — француженка, поймете. В Лондон. Сражаться.

Аньес удивилась:

— Сражаться? Но ведь перемирие подписано...

Жак, возмущенный, крикнул:

— Кем? Предателями!

— Тише,— цыкнул солдат. Обратился к Аньес: — Война не кончена. Я был в Дюнкерке... Брат и Жак еще не призывались. Но теперь все честные люди должны сражаться... Что они сделали с Францией!.. В Бове... Нет, не хочу рассказывать... А война еще не кончена. Мы слышали радио... Из Шартра нужно пробираться в Бретань. А там легко — рыбаки довезут. Главное — выбраться из Парижа... Я достал пиджак, плащ, но видите...

На нем были солдатские штаны. Аньес засуетилась: «Сейчас...» Среди хлама, брошенного беженцами, нашлись и брюки. Солдат примерил — все рассмеялись: немного коротки, но сойдет...

Аньес вдруг сказала:

— У меня мужа убили на фронте. Зачем победа?.. (Ей показалось, что она спорит с Пьером; на минуту вспыхнула.) Важно другое: что на душе. А люди думают о границах, о карте...

— Мы думаем именно о душе,— закричал Жак (и снова солдат цыкнул: тише!).— Да, да, о душе. Разве Франция — это на карте? Это — вот здесь... Если ее не будет, я не смогу жить. А мне восемнадцать лет, я хочу жить, очень хочу... Погибнем? Кто-то спасется. У вас — сын... Это и есть Франция. Разве не так?..

Она покачала головой: слова ее не убедили. Но, расставаясь с тремя юношами, она крепко поцеловала каждого, и на глазах у нее были слезы.

Потом она села возле Дуду, все плакала, плакала. Продолжалось это несколько минут; она думала, что прошло много времени. Вдруг вскрикнула, кинулась к окну: два выстрела, и близко. Закричал, проснувшись, Дуду. С грохотом подалась дверь. В комнату вбежали немецкие солдаты.

Аньес увидела французского полицейского, того, что приходил прежде. Француз кричал: «Вот она!..» Немецкий офицер что-то сказал. Аньес подхватили два солдата. Офицер говорил французу: «Как вы их прозевали?..» Плакал Дуду. Аньес потащили к машине. Ей выворачивали руки — она не чувствовала ни страха, ни боли. Пронеслось в голове: «А Дуду?..» Тогда она слабо вскрикнула. Немец сказал: «Это вам не любовные объятия...»

Ночь была особенно темной. Аньес показалось: лес (за деревья она приняла дома). Потом ее провели по длинному коридору. Пахло кожей, капустой, мочой. Ее втолкнули в пустую комнату. «Это не тюрьма,— подумала Аньес.— Но что здесь было раньше?..» На полу пятно от чернил. Может быть, школа?.. Показалось смуглое лицо Пьера. Он заглядывал через плечо в школьную тетрадку и целовал, целовал... Какая яркая лампочка — у самого потолка! Она села на пол возле стены. Вспомнила: Дуду один... Ее охватило отчаяние, тихое и плотное, как обморок. Вдруг она вздрогнула: прочитала на стенке слова, нацарапанные гвоздем или булавкой: «Прощай, мама! Прощай, Франция! Робер». Почему Аньес захотелось приписать: «Прощай, Дуду»? Почему это казалось ей облегчением? Но гвоздика не было. Она посмотрела на свои коротко остриженные ногти и заплакала. Потом подумала: они говорили, что прозевали. Значит, те спаслись. Проедут к своему генералу... Жак — милый... Из всех событий ее жизни сейчас это было самым важным: спаслись.

Ее повели на допрос. Немецкий офицер отослал переводчика: он хорошо говорил по-французски; зачем-то сказал Аньес: «Я два года провел в Гренобле. Красивый город». Был любезен, старался успокоить Аньес: «За вашим сыном ухаживают», уговаривал: «Скажите, кто эти люди, и мы вас отпустим». Молчание Аньес его раздражало:

— Сударыня, у меня нет времени. Вы молчите? Следовательно, вы — английская шпионка.

Она кивнула головой.

— Да.— Ее глаза стали мягкими, нежными — такими они были в Бельвилле под чердачным оконцем, когда Пьер смущался и бушевал.

Она тихо продолжала:

— Да. Шпионка. Зачем вы пришли к нам? Теперь все против вас. Даже дети. Я вам не скажу, кто эти

люди. Слава богу, вы их не поймали. Это — главное. А меня можете убить. Я не нужна — я даже стрелять не умею.

Она почувствовала, что теперь готова к смерти. Это чувство приподымало, веселило. Еще недавно она спорила с тремя юношами. Теперь ей хотелось повторять без конца их речи, здесь, перед этим розовым опрятным офицером. Какой у него пробор!..

Немец нервно отодвинул чернильницу.

— Довольно ломаться! Вы здесь не для деклараций, вы даете показания. Извольте отвечать! Вы знаете этих людей?

— Знаю.

— Кто они?

— Французы.

Офицер вышел из себя. Обычно корректный, год тому назад в Свинемюнде пленявший дам хорошими манерами, он подбежал к Аньес и ударил ее по лицу. Она не крикнула; машинально поднесла руку ко рту и удивилась: кровь... Она была сейчас вне присущих человеку чувств, не испытывала боли, не возмутилась грубостью нарядного, надушенного офицера. Как будто ее напоили. Было это самоотрешением, подъемом. «Люблю,— повторяла она,— и Дуду люблю, и Пьера, и отца, и Жака, и Робера, и тех, что в последний день Парижа спускались по горбатой улице, усталые, несчастные». Один ей сказал: «Прощайте...» — «Нет, здравствуй, милый!.. Вот мы и вместе... С Пьером... С Парижем...»

Это она говорила на скамье в коридоре. Ее отвели к полковнику. У него был шрам на щеке, а рыбьи глаза стояли. Полковник предложил Аньес сесть, сказал:

— Я хочу вас спасти. Скажите, кто эти люди? Неужели вам не жалко вашего сынишку? Я вам это говорю как отец — у меня две дочери...

Аньес изумленно на него поглядела; он вывел ее из другого мира. Ответила она глухо, как будто разговаривала сама с собой:

— Жаль сына?.. Нет... Я сегодня все поняла... Если один умирает, он кого-то спасет, обязательно спасет... Народ... Мой народ... (Она вспомнила, что ее допрашивают, встала, обычно сутулая — выпрямилась и заговорила чужим голосом.) Вы — отец? Неправда! Да вы знаете, кто вы? Бош! Бош!

Полковник позвал часового: «Уведите».

— А вам, сударыня, конец...

Глядя мимо него, она ответила:

— Не Франции... И не конец... Конца нет...

43

Дениз не кинулась к нему, не обняла его, ничего не сказала: она только не сводила с него потемневших глаз, и не то страх был в них, не то восторг.

Мишо улыбался; потом ему стало не по себе:

— Что с тобой, Дениз?

Он так мечтал об этой встрече! Девять дней тому назад он ударил часового камнем по голове. Камень был горячим от солнца. Короткая тень немца пропала. Мишо пролежал до ночи в овраге.

Одежду ему дала старая женщина; предложила остаться у нее до утра.

Он глядел на беленую стену. А женщина перешивала пуговицы: пиджак был ее покойного мужа, директора «католического патронажа Сен-Жюст». Мишо спрашивал: что в газетах? Она отвечала: газет теперь не читает, газеты стали немецкими. Стучали стенные часы. Паузы были длинными. О сне они не думали. Изредка разговаривали, и странным был их разговор.

— ...Его Легре зовут. Тоже коммунист...

— ...Я живу на другой земле. Я верующая. А Гитлер...

— ...Ненавижу!

— ...Потому я вас пустила... Они расклеили в Сен-Жюсте приказ: за помощь пленным — расстрел.

— ...Меня вели. Отложили на день. Утро было, птицы...

— ...Мне пятьдесят восемь. Это — близко от смерти, но это еще жизнь. Все перепуталось... Муж думал, что мы погибнем от вас. Я тоже так думала... Может быть, это было правдой — вчера... А теперь... Я получала «Ордр». Дюкан писал, что коммунисты — патриоты...

— ...Дюкан понял поздно...

— ...А вы? Все опоздали... И пришли они... Я думаю сейчас: где правда — не на один год, постоянная?..

Ее мутные глаза остановились на гипсе распятия. Сквозь щель окна засерел рассвет. Перед Мишо была Дениз, горячая и живая. Он помял кепку; простился.

И вот Дениз — рядом. Но она не смеется. Он ее поцеловал — у нее холодные губы.

— Дениз, что с тобой? Видишь — я ушел, спасся...

Она расплакалась, как ребенок, шумными слезами. Мишо успокаивал:

— Спасся... Не плачь, Дениз!..

Сквозь слезы она говорила:

— Мишо, ты меня поцеловал, и мне стало так страшно... Я не верю, что я живая... Ты не понимаешь?.. Я не умею сказать... Мне кажется, что мы все умерли... А живем для вида: немцы приказали...

Он не сразу ответил; не хотел признаться, что и сам не раз это чувствовал: после Арраса... Говорил себе: нельзя быть малодушным. Его поддерживал образ Дениз; он почему-то думал, что Дениз его встретит улыбкой, теплом руки, жизнью; растерялся от ее отчаяния; молча гладил руку.

Это было в маленькой мастерской лудильщика, возле Порт-де-Версаль. Здесь Дениз и Клод печатали листовки. До той минуты, когда она увидела Мишо, Дениз была спокойной: говорила Клоду о борьбе, о силе, о победе. Сейчас они были одни.

— Не плачь, Дениз...

Пришел Клод. Он не заметил Мишо; запыхавшись, радостно бормотал:

— Шрифт завтра будет. Понимаешь?.. — И вдруг крикнул: — Мишо! Ты?.. Теперь мы спасены! Дениз, мы спасены! Понимаешь?

Для Клода появление Мишо было победой, торжеством их дела. И его радость вернула силы Мишо. Он понял, как его ждали; начал стыдить себя (Дениз думала, что стыдит ее):

— Будем работать. Это замечательно, что Клод с нами. Клод, замечательно, что ты нашел шрифт. Будем печатать листовки...

Дениз вздохнула:

— Самое большее — пятьсот...

— Для начала и это хорошо. Приходится начинать сначала. «Юма» печатали полмиллиона. А нас все-таки побили... Нужно пережить это время. Сейчас все честные люди растерянны. А мерзавцы торжествуют. Я сегодня видел листок Дорио. До чего он горд! Можно подумать, что это он взял Париж. Нужно все пережить. И главное,— фашизм. Да ты понимаешь, что это значит — пережить фашизм? Об этом будут писать, как об эре, тысячи книг напишут. Через сто лет... А мы за нашу жизнь переживем и победим, и еще как, Дениз!

Дениз схватила его за руки.

— Мишо!

Перед ней был прежний Мишо. Значит, и она живая. И жив Париж. И можно это пережить, можно победить...

Клод сказал:

— У них большая сила. Каждую ночь проходят... Теперь они с юга идут — к морю. Хотят Англию взять.

Мишо усмехнулся:

— Хотят. Только неизвестно — возьмут ли. Разве они Париж взяли? Париж им в рот свалился. Я тебе не говорю, что у них мало сил. Сколько я танков видел!.. И порядок, все по-немецки. Но сорвутся они, обязательно сорвутся. Может быть, в Англии, может быть, в другом месте — не знаю, но сорвутся. Мы сильнее.

Дениз приподняла брови:

— Как сильнее?..

— Считай. Англия. То есть флот, авиация и народ. Америка. Завоеванные страны. Все народы. Норвегия, Голландия, Дания, Бельгия, Франция, Польша, Чехо-Словакия — семь, я на пальцах считал. Армии нет, но народ — тоже сила. А в самой Германии, думаешь, нет наших? Есть. Погоди!.. А главная сила — Россия.

— У них пакт,— вздохнул Клод.

— Ну и что? Гитлер обязательно нападет. Разве он может вынести, что такое государство существует? Это даже ребенок понимает... Здесь-то русские ему покажут! Мы увидим, Дениз, Красную Армию, обязательно увидим!

— Скажи «и еще как!». (Дениз засмеялась.)

— Скажу — и еще как!

Клод ушел за бумагой. Он шел и думал о словах Мишо. Если Мишо говорит, это — правда.

Клод улыбался — на грязной, заброшенной улице полумертвого Парижа; глядел на немецких солдат и улыбался; он их не видел. Он видел другое: крохотную красную звездочку среди белесого тумана. Худой, измученный обострившейся болезнью и лишениями, он сиял, как ребенок.

А в мастерской было тихо. Обнявшись, молчали Мишо и Дениз. Потом, высвободившись, Дениз сказала:

— Ты не знаешь, что стало с Парижем!.. Вчера я видела, как немец ударил рабочего револьвером по голове... Тот свалился, а немец даже не обернулся... Жемье обвинили в том, что он слушает лондонское

радио. Его пытали два дня. Немецкий офицер сказал Мари: «У вашего папы пиджак в крови. Принесите новый». Она принесла, офицер взял пиджак, унес, а вернувшись, говорит: «Вы еще здесь? Чего вы ждете? Ваш отец уже в английском раю». Мишо, это — люди?..

— Нет! Фашисты. Я тоже видел... Ребенка... Нет, не буду рассказывать... Но счастье будет, Дениз, большое счастье! Неужели не веришь? Ты пойми: мы победим. Это совсем просто, как то, что день после ночи или весна после зимы. Иначе и не может быть. Иначе не бывает. Какие у нас чудесные люди! Душу отдать готовы. А кто у них? Грабители. Или выродки. Обязательно победим! И тогда будет счастье. Как о нем стосковались люди! О большом и простом счастье. О самом простом: жить, дышать, не бояться шагов, не слушать сирен, нянчить детей, любить, вот как мы с тобой... Будет счастье...

Она ответила торжественно, как аминь:

— Будет.

44

В то жаркое утро Андре долго отсиживался у себя на вышке: он боялся города. Вчера он узнал, что Лорье избили: кричали «жид», сорвали с мертвого глаза черную повязку.

Андре в ярости бегал по мастерской: зачем был тот холм, та дружба? Его оставили, а Лорье куда-то увезли. Одним глазом он смотрит на этот страшный город. Город-предатель...

Зачем Андре вышел из своего убежища, зачем шагает по ненавистным улицам?

И снова красота любимого города, вопреки всему, овладела им. Париж опозоренный был все еще прекрасен. Сжимались кулаки, а глаза невольно любовались. Дымчатые дома острова Сен-Луи, таинственная, как Лета, вода Сены, бледное, едва намеченное небо — все это соблазняло и успокаивало: мы видели и не то, мы были, мы будем, мы — это Лютеция, корабль, Париж.

Он пошел к Шатле. Дивился — все еще не мог привыкнуть к тишине. Исчезли автомобили; люди не смеялись, разговаривали вполголоса. А под аркадами улицы Риволи раздавался сухой, четкий стук: немецкие солдаты шли в магазины или в рестораны, как на

параде отбивая шаг. Женщины были бледнее прежнего, то ли они перестали румяниться, то ли захирели. Все хотели выглядеть серее, ничтожней, неприметней. Андре подумал: «Как насекомые...» Тело без души, архитектура, кости Парижа, не Париж, другой и чужой город.

И вдруг он вздрогнул от рева труб. Он не заметил, как дошел до площади Опера. На широких ступенях театра сидели немецкие музыканты, серо-зеленые, они дули в трубы. Было в немецком марше нечто оскорбительно убогое, родственное топоту под аркадами: жизнь отбивала такт солдатским сапогом. Вокруг на террасах кафе нежились немецкие офицеры, окруженные пестрыми девушками. А небо было все тем же — высокое небо Парижа.

Андре прислонился к стене. Ему казалось, что он напряженно старается понять происходящее. На самом деле он не мог думать; на него снова нашло оцепенение. Несвязно мелькали отдельные картины: монокль в глазу офицера, фонтан-нимфа с иссякшим кувшином, высокая трава на дорожках Тюильри — и холм, тот холм...

Его вывела из себя девочка: продавала вечернюю газету. Он брезгливо отмахнулся. Она шепнула, как заговорщик:

— Я знаю... У меня сестренка...

Он дал ей монету и случайно увидел на листе дату; не выдержал — улыбнулся: четырнадцатое июля... Может быть, поэтому немцы дули в трубы?.. И никто не помнит, что сегодня — праздник. Стоят в очереди за молоком. Пугливо прячутся в подворотнях.

Париж взял Бастилию...

Он увидел ночь, карусель с голубым слоном, каштан, фонарики. Где теперь Жаннет?.. Неужели и она бродит по этому проклятому городу, не узнает знакомые дома, вместо друзей встречает серо-зеленых?.. Или уехала, спаслась?.. Но куда можно уехать от такого горя, где спастись?.. «Обманутой дано мне умереть...» Тогда это были слова рекламы. Никто не хотел понять, что ночью кричит одинокая женщина, что с ней кричит Франция, мертвая, в дорожной пыли, в крови...

Он говорил это себе, уже взобравшись в свою мастерскую, стоя у окна. Улица Шерш-Миди... По ней идут немецкие солдаты. Жозефина сегодня сказала: «Открою ресторан — нужно жить...» Она поглядела на Андре униженно, как будто он ее оскорбил своим

молчанием. Да, она будет варить рагу для немцев. Сапожник будет им набивать подметки. Цветочница умрет. Придет другая и протянет букетик тому, с моноклем. Улица как Париж; никому не дано выйти из этого круга; нет, выход есть: можно повеситься на этом крюке.

И Андре больше не мог отвести глаз от черного значка на серой стене.

Он застеснялся, услышав, что стучат в дверь: как будто его накрыли на чем-то недозволенном, и, только подойдя к двери, подумал: «Кто это может быть? Если они...» И не додумал.

В мастерскую вошел немец. Увидев серо-зеленую шинель, Андре улыбнулся:

— В общем, так лучше... Можете меня вести — вещей с собой не возьму...

— Вы меня не узнали? Я жил у госпожи Коад. Мне очень нравились ваши пейзажи. Мы с вами познакомились в кафе «Курящая собака»...

Немец хотел обязательно поздороваться, но Андре не подал руки.

— Помню. Вы занимались рыбами. Это называется... забыл слово.

— Ихтиолог.

— Да, кажется, так. И вы мне сказали, что Париж будет уничтожен. Наверно, вы занимались у нас не рыбами, а шпионажем. Знали все тайны берлинского двора. Ну что, вы довольны? Париж вы, правда, не уничтожили. Нужно вам где-нибудь стоять, вот и выбрали город. (Андре подошел вплотную к немцу.) Вы думаете, что вы взяли Париж? Глупости, сударь, больная фантазия! Париж ушел. Вы скажете — возвращаются? Не отрицаю. Жозефина ресторан открыла. Возвращаются люди, а не Париж. Париж не вернется. Его сейчас нет. Нигде. И довольно разговоров! Ведите меня...

— Куда?

— Не знаю. Вам видней. В комендатуру, к стенке, в яму, черт вас побери!..

Немец молчал. Андре продолжал ругаться. Наконец немец сказал:

— Почему вы меня обижаете?

— Вас нельзя обидеть. У вас танки — раз, бомбардировщики — два, пулеметы — три, автоматы — четыре и ваша тупая голова — пять. А что у меня? Вот этот крюк... Ведите меня, или я вас задушу.

— Мне некуда вас вести. Я даже не знаю, зачем я к вам пришел... Очевидно, вспомнил — и потянуло. Сегодня лейтенант мне сказал, что я плохой немец. Странно. Может быть, завтра меня расстреляют...

— Вот как...— В голосе Андре не было ни удивления, ни сочувствия. Он, раздосадованный, пожал плечами: он ждал смерть, а вместо нее оказался ихтиолог с переживаниями.— Что же вам не нравится? Харчи? Или боитесь, что вас скушают рыбки в Ла-Манше?

— Не умею объяснить. Что мне не нравится? Мои соотечественники в Париже. Мне не нравится, что я у вас... вот в этой шинели...

— Угу! Вы ведь эстет. Пепельные тона и прочее... А вы понимаете, сударь, что я француз?

— Понимаю. Это и мешает мне говорить. Я думал, что мы люди одной культуры. А между нами ров. Не знаю, чем его можно заполнить..

— И я не знаю.— Голос Андре стал мягче.— Должно быть, кровью... Без крови здесь не обойдется...

— Разве ее мало?..

— Много, но не та... А теперь уходите.

— Я знаю, что должен уйти. Все это очень неуместно. Мой визит глуп. Я вам задам сейчас дурацкий вопрос... Почему-то меня это мучило... Относится к грамматике. Эта улица называется Шерш-Миди, то есть «Ищу-полдень»... Почему?

— Так звали когда-то нахлебников — искали, где бы пообедать задарма. Вроде вашего Гитлера. А имя хорошее. «Ищу-полдень»... Только улица не искала... Здесь здорово спали, ставни закрыты, перины. Улица искала полночь... И вот пришли ваши...

— Вы думаете, мне легко? Нельзя жить, как мы живем. Нас все ненавидят. Я шел вчера по улице Монж. Навстречу шла женщина. Увидела меня и шарахнулась — как от смерти. Я лично никого не убивал, но это не имеет значения. Я мог бы сказать: виноват Гитлер. Это самое легкое... Но это неправда — виноват и я... Нужно сделать выводы... Постараюсь. До свидания.

— Прощайте. Может быть, завтра вы окажетесь хорошим человеком, но тогда я вас не увижу. Теперь честность приходится доказывать кровью, вот какое подлое время! И ничего нельзя понять... Зачем вы пришли сюда? Вздор! Будь вы коммунист — дело другое. Эти могут что-то сделать. У нас они чуть было не

победили. А теперь — Тесса и ваш лейтенант... Но что вы будете делать? Вы — один в поле. Впрочем, и я один. А вместе нас не двое, вместе мы ноль. Между нами жизнь. Если вы хороший человек, вы меня не осудите за то, что я вас плохо принял... Вы были немцем из Любека. Чудак. Пили кальвадос... А теперь вы серо-зеленый... Все дело в Париже...

Немец ушел, и Андре как-то сразу забыл о нем — будто никто не приходил. Прошелся несколько раз по мастерской. Голубые сумерки ввалились в окно. Пейзаж висел против окна, и Андре, остановившись, глядел: карусель, каштан, фонарик, тень вдалеке. Это было тоже четырнадцатого июля... Жаннет тогда еще улыбалась. Париж еще танцевал, ходил с флагами, надеялся... В другой жизни... А написано хорошо. Это его лучшая работа. Это и есть Париж. Париж остался. Сожгут музеи, уничтожат картины — все равно Париж останется.

Андре улыбался. Он подошел к окну. Улица Шерш-Миди. Закрыты наглухо ставни, а на фасаде, как всегда, черные переплеты. В чердачном окне мертвый цветок. Бродят голодные коты, и плачет цветочница, кричит новорожденный. Улица «Ищу-полдень»... А полдень я найду, обязательно найду: свет и праздник в небе — мед, маки, лазурь — Париж днем...

Он не слышал, как, надрываясь, кричал громкоговоритель: «Заходите в дома! Время! Время!»

Август 1940 — январь 1942

Война 1941★1945

1941

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

С негодованием, с гневом узнали мы о разбойном нападении германских фашистов на наши советские города. Не словами ответит наш народ врагу. Игрок зарвался. Его ждет неизбежная гибель.

Германские фашисты подчинили своему игу много стран. Я видел, как пал Париж,— он пал не потому, что были непобедимы немцы. Он пал потому, что Францию разъели измена и малодушие. Правящая головка предала французский народ. Но там, где солдаты, брошенные всеми, вопреки воле командования, оказывали сопротивление, немецкие фашисты топтались перед ничтожными отрядами защитников. Население небольшого города Тура и два батальона трое суток защищали город от основных сил германской армии.

Советский народ един, сплочен, он защищает родину, честь, свободу, и здесь не удастся фашистам их низкая и темная игра.

Они разгромили свободолюбивую, веселую Францию, они поработили братские нам народы — высококультурных чехов, отважных югославов, талантливых поляков. Они угнетают норвежцев, датчан, бельгийцев. Я был в разоренных немцами странах. Повсюду я видел горящие гневом глаза,— люди ненавидят разбойников, которые разграбили их страны, убивают их детей, уничтожают их культуру, язык, традиции. Они только ждут минуты, когда зашатается разбойная империя Гитлера, чтобы подняться, все как один, против своих поработителей. У советского народа есть верные союзники — это народы всех порабощенных стран — парижские рабочие и сербские крестьяне, рыбаки Норвегии и жители древней Праги, измученные сыновья

окровавленной палачами Варшавы. Все народы с нами. Как на освободительницу, они смотрят на Красную Армию. В оккупированных фашистами странах уже зимой начались партизанские бои — смельчаки не могли больше выдержать неслыханного ига. В ноябре парижские студенты вышли на улицу с револьверами. Норвежцы по ночам истребляли отряды фашистов, поляки уходили в леса и оттуда совершали налеты на фашистских оккупантов. В Чехии рабочие ломали станки: «Ни одного снаряда для немецких фашистов». Теперь на них пойдут не тысячи смельчаков, но миллионы — народы Европы. Судьбе зазнавшегося фашистского палача пришел конец.

На стенах древнего Парижа в дни немецкой оккупации я часто видел надписи: «Гитлер начал войну, Сталин ее кончит». Не мы хотели этой войны. Не мы перед ней отступим. Фашисты начали войну. Мы ее кончим — победой труда и свободы. Война — тяжелое, суровое дело, но наши сердца закалены. Мы знаем, какое горе принес фашистский захватчик другим неразумным народам. Мы знаем, как он останавливается, когда видит достойный отпор. Мы не дрогнем, не отступим. Высокая судьба выпала на нашу долю — защитить нашу страну, наших детей и спасти измученный врагами мир. Наша священная война, война, которую навязали нам захватчики, станет овободительной войной порабощенной Европы.

22 июня 1941

ЧАС НАСТАЛ

Великий киноактер Чарли Чаплин в своем последнем фильме изображает Гитлера: диктатор Германии показан злосчастным маньяком, злым сумасшедшим. Недавно в Лондоне демонстрировали эту картину. Фашистский диктатор на экране был смешон. В действительности он смешон и ужасен: этот человек, одержимый манией величия, лишенный простых радостей жизни, решил повернуть историю вспять, он отбросил народ Германии в доисторическую ночь.

На нас идет орда современных дикарей. Я помню, как одна немка мне рассказывала: «Моего мужа избили в концлагере Дассау до крови. А мне сказали —

принесите белье. Они заботились о гигиене». В Париже они навели «порядок». Транспорт там заменили человеческой тягой — возле вокзалов стоят французы с ручными тележками. Фашистские полицейские выстраивают рикш, как автомашины. При мне один безработный на шаг вышел из ряда. К нему подошел фашист и ударил его револьвером по голове. Француз упал, фашист не моргнул: он был горд своей миссией. Объясните ему, что во Франции была своя культура, что дело не в том, как выстроить рикш, а в том, почему французы под фашистской оккупацией стали рикшами,— он не поймет. Он гордится тем, что он не думает. Его дело — бить по голове.

Как только эти дикари ворвались в Париж, они составили «список Отто» — список французских книг, подлежащих уничтожению. В нем были французские и переводные романы, классики, стихи... Они придумали зажигательные бомбы. Я видел работу этих бомб. В Туре они сожгли библиотеку с рукописями Бальзака. Сожгли древний Руан с его музеями и замечательными памятниками старины. Жалкие варвары!

Я видел, как они обобрали Францию: пришли туда тощими и жирели у нас на глазах. Когда они входили в Париж, они не радовались — не до этого было — шли и ели, ели, ели. Напечатали фальшивые деньги — «оккупационные» марки, которые не имеют хождения в Германии, раздали их своим солдатам и все «скупили» в две недели. Денщики надрывались — таскали ящики, сундуки, кули всяческого добра, награбленного офицерами. Богатая Франция превратилась в пустыню.

Я проехал по Бельгии, по Голландии — то же зрелище — развалины и голодные бездомные люди. Здесь прошли кочевники. Их экономика проста. Они отбирают все молоко. Тогда крестьяне порабощенных стран убивают скот. Они реквизируют все яйца. Крестьяне уничтожают кур. Они забирают весь хлеб. И крестьяне больше не сеют.

Они вывезли оборудование заводов и дверные ручки, музейные картины и дамские чулки... Я видел поезда с их «трофеями», они шли из Парижа в Берлин. Они были набиты краденым чужим добром.

Фашистские разбойники не только грабят — они мучают, убивают; это злая орда. Они знают, как унизить человека. Великая радость — родной язык, на котором человек впервые услышал слова ласки, язык

матери. Фашисты преследуют языки порабощенных народов. Они заменяют старые имена немецкими. В парижских театрах они выпускают немецких актеров. В голландских школах они учат детей по-немецки, голландский язык, по их мнению,—«наречие». Недавно восемьдесят две тысячи чешских учителей отправлены на полевые работы: зачем учить детей низменному чешскому языку? Пусть лучше копают землю — победители любят картошку...

Они оскорбляют тупо, по-фашистски — вот тебе мой сапог!.. Французов они называют «негроподобными». В Варшаве они устроили кино, куда доступ полякам запрещен,— видите ли, убийцам не нравится запах поляков!.. Они снесли памятник Адаму Мицкевичу.

В одном из норвежских городов они переименовали улицу Нансена в улицу Геринга.

Они превратили миллионы людей в рабов. В Голландии введена смертная казнь за отказ работать на немцев. Голландцев и бельгийцев насильно посылают в Германию на каторжные работы. Как арестанты работают два миллиона французов — это «военнопленные». О поляках Геббельс с презрением сказал: «Чересчур плодовитая раса! Если убить сто тысяч, ничего не изменится...»

Они убивают методично, аккуратно, изо дня в день. Бельгийцев юношу Лефевра и девушку Гуни — казнить: они прятали подозрительных людей. Вот француз Дюкан — казнить: он слушал английское радио. Вот поляк Стрешевский — казнить: он не уступил дороги господину обер-лейтенанту. Они неистовствуют в Бергене и в Белграде — от моря до моря.

В шведской газете напечатана корреспонденция из Гдыни. Это скромный сухой рассказ. Гестапо в Гдыне помещается на Герингштрассе. Фашисты жалуются — они потеряли сон. В гестапо приводят поляков, арестованных лишь за то, что они говорили по-польски. Поляков пытают научно, цивилизованно. И нецивилизованные поляки кричат. А это мешает фашистским чиновникам наслаждаться покоем.

На далеком Севере, на Лофотенских островах, фашисты пытали шестьдесят восемь рыбаков — хотели узнать, кто помогал англичанам во время десанта. Я был на Лофотенских островах. Там живут сильные, отважные люди. Они привыкли к шторму, к океану,

к смерти. Но никогда прежде они не имели дела с фашистами. Из шестидесяти восьми двадцать девять скончались от какой-то таинственной эпидемии.

Миллионы разноплеменных людей, доведенных фашистами до отчаянья, с ненавистью смотрят на палачей. Начинается борьба в фашистском тылу. Еще спокойно на улицах Парижа, но победители насторожились. Они боятся заходить в рабочие кварталы. Они сидят в дорогих кафе и допивают последние бутылки шампанского под охраной часовых. Одиннадцатого ноября парижские студенты выбросили с третьего этажа фашистского офицера, который оскорбил француженку. Это было сигналом. С той поры время от времени офицеры и солдаты германской армии исчезают. В Польше немецкие газеты каждый день пишут о «бандитизме».

В Роттердаме немцы избивали дубинками детей, которые несли цветы на могилы жертв прошлогодних бомбардировок. В Моравской Остраве фашисты порезали бритвой лицо девушке — у нее нашли ленту с национальными чешскими цветами. Мне тяжело вспоминать об этих низких делах.

Фашисты до сих пор имели дело с беззащитными жертвами. У голландцев, норвежцев, датчан не было армии. Во главе Франции стояли французские фашисты. Они встретили своих единомышленников не бомбами, но цветами. Французский народ предали: ему не дали возможности обороняться, а там, где небольшие отряды оказывали сопротивление, фашисты растерянно останавливались. Так, городок Сомюр на Луаре защищали двести курсантов — против воли командования: и двести подростков сорок восемь часов отбивали атаки германской дивизии.

Они, может быть, думали, что советский народ испугается? Может быть, они думали, что застанут нашу страну врасплох, как они застали врасплох Югославию, во главе которой почти до рокового дня стояли фашистские лакеи? Они горды «походом» на Югославию. Они не говорят, что у югославов не было противотанковых пушек, что орудия там тащили волы. Они упоены «взятием Парижа». Они молчали о том, что Париж был им сдан генералом Денцем.

Я не забыл того дня, когда услышал на улицах свободолюбивого Парижа топот фашистской орды. Зимними ночами мне мерещился Лондон — его древности

и дома терзали бомбы фашистов. Потом, как легендарный витязь Янко, в неравной борьбе, истекал кровью югославский народ. Тяжелые дни...

Мы не хотим для себя чужих земель, мы сражаемся за нашу землю, за нашу свободу, и зрелище нашего мужества наполнит надеждой сердца порабощенных Гитлером людей.

14 ИЮЛЯ

14 июля 1789 года парижский народ взял крепость, где томились политические заключенные,— легендарную Бастилию. Патриоты сожгли ненавистную народу тюрьму; и на том месте, где стояла Бастилия, народ танцевал. В память героических дел революции из года в год 14 июля во всех городах, во всех деревнях Франции люди веселились и танцевали.

Ревели гармоники, кричали хлопушки. Среди зелени каштанов просвечивали бумажные фонарики. В деревушках пускали ракеты. С колоколен тридцати пяти тысяч французских деревень петухи гордо оглядывали виноградники, нивы, пастбища.

Проходили войска, несли знамена славы — Жемаппа и Вальми, Марны и Вердена.

Проходили демонстрации; и знамена парижских пролетариев дружески встречались с знаменами армии.

Народ веселился. Что может быть заразительней французского веселья? 14 июля 1789 года народ разрушил не только парижскую тюрьму: Бастилия была символом насилия. В те далекие времена французский народ первым поднял знамя свободы, кинулся к свету, к молодости. Солдаты революции отстояли республику от пруссаков и от предателей-эмигрантов.

14 июля 1940 года... Никогда я не забуду этого дня. Улицы Парижа были особенно пусты. На площадях гитлеровские трубачи дули в трубы: праздновали победу. По бульварам маршировали убийцы и грабители. Французы сидели дома, закрыв ставни. Одна женщина мне сказала: «Сегодня я не могу их видеть!»

Тащили на расправу арестованных. Гоготали германские офицеры. Денщики задыхались: не успевали выносить награбленное добро.

Прошел год. Что сделали гитлеровцы с цветущей Францией? Пустыня... Мелкий шпион Абец стал намест-

ником. Адмирал Дарлан превратился в сухопутного денщика при немецком генерале. Французские дети умирают голодной смертью. А гитлеровцы еще рыщут — вывозят последние крохи.

14 июля теперь не праздник: об этой дате запрещено вспоминать.

Виктор Гюго писал о пруссаках, которые в семьдесят первом году грабили Францию:

Они крадут часы, укладывают
чемоданы —
берут добро. Деревню грабят
за деревней.
Но мы горды другим — была взята
Бастилия...

Я вижу Париж. По его улицам еще ходят гитлеровцы. Но как пугливо они озираются! Они уже поняли, что значат эти горящие глаза... Юноши уплывают в Англию на рыбацких лодках. Рабочие ломают станки. Крестьяне жгут хлеб. Франция проснулась.

14 июля втайне будут праздновать все патриоты Франции. С надеждой они смотрят на восток: там великий народ защищает свободу — свою и мира. 14 июля в России будут убиты тысячи гитлеровцев, уничтожены десятки танков и самолетов.

Гитлерия — вот Бастилия XX века, страшная, зловонная тюрьма, в которой томятся народы Европы! На штурм этой новой Бастилии вместе с бойцами Красной Армии идут партизаны и герои порабощенных фашистами стран, патриоты свободолюбивой Франции.

Бастилия будет взята. На ее обломках будет танцевать и веселиться освобожденная Европа.

КОАЛИЦИЯ СВОБОДЫ

Плутарх уверяет, что Цезарь обратил в рабство миллион покоренных им людей. Куда ему до Гитлера! Не было в истории столь жадного и лютого рабовладельца — сто миллионов душ он обратил в рабов.

Кого он хочет обмануть, говоря о «коалиции европейских народов» против России? Доктора Геббельса? Молодых штурмовиков, приученных с младенчества не думать? Марсиан? В захваченных Гитлером стра-

нах нет народов. Народы Гитлер отменил. Есть рабы разных категорий — голландцы доят для Гитлера коров, норвежцы сушат для Гитлера треску, венгры, итальянцы, финны, румыны умирают за Гитлера.

Гитлер уверяет, что против России идет «коалиция государств». Может быть, он спросил финнов, хотят ли они умирать за «Великую Германию»? Может быть, он осведомился, желают ли словаки стрелять в своих братьев русских? Нет, он приказал, и его наемники — трусливый и блудливый Муссолини, невежественный Тисо, жалкий скрипач Антонеску, тупица Рюти — не осмелились возразить.

Я хорошо знаю Италию. Знаю ее народ — миролюбивый, добродушный, веселый. Немцев итальянцы никогда не жаловали — помнили о вековом гнете. А любовь итальянцев к России сказывалась на каждом шагу. Вспомнили, как во время землетрясения в Мессине русские моряки спасли итальянцев. Говорили о героизме советских летчиков, которые спасли полярную экспедицию итальянцев. Во времена Муссолини, когда Горький приезжал в Неаполь, сбегались студенты, рыбаки, грузчики — приветствовали великого писателя. Кто поверит, что итальянцы добровольно пошли на Советский Союз?

Я видел в Словакии улицы Пушкина, улицы Гоголя, улицы Толстого, улицы Горького. Словаки поют наши песни. На концертах исполняют русскую музыку — от Мусоргского до Шостаковича. Студенты зачитываются Блоком, Шолоховым, Толстым. Словацкий классик Кукучин был воспитан на русской литературе. Немцы и мадьяры подавляли словацкую культуру. Зачинатели национальной культуры, «будители», разнесли по всем глухим хатам свет русской мысли. Пять лет тому назад я был на конгрессе словацких писателей. Там были левые и правые, католики и протестанты, и все они с величайшей любовью говорили о нашей стране. В какую кошмарную минуту бессонницы пришла Гитлеру нелепая мысль объявить, что Словакия воюет против России?

Людоеду не хватает человечины: ему мало немцев, он шлет на убой чужих людей. Его «коалиция» — это злосчастные румыны или словаки, которых гонят под огонь прусские ефрейторы.

Есть коалиция — не рабов, свободных народов. Это — коалиция против Гитлера.

Мужество Лондона было первой победой человеческого достоинства над варварством фашизма. Огромный, прекрасный город подвергся страшным бомбардировкам. Англия тогда осталась одна в строю — французские фашисты предали свою родину. И Англия не сдалась. Историк расскажет, чем были длинные зимние ночи для Лондона. Гибли жилые дома и музеи. Вандалы разрушили изумительное здание английского парламента. Горели кварталы. Но англичане спокойно отвечали: «Нет».

Как-то в Лондоне упала бомба замедленного действия. Ее схватил рабочий и понес в штаб противовоздушной обороны. Его сынишка шел впереди и кричал людям, чтоб они отходили в сторону. Какая выдержка! Какой символ достоинства и отваги! Не только пролив оградил Англию от людоедов — ее оградила воля к сопротивлению, фраза, которую на острове повторяют с младенчества: «Англичанин не будет рабом».

Два фронта? Нет, десятки фронтов. Смельчаки-французы уже сражаются под командой генерала де Голля. Это только разведка, только передовой отряд. Скоро весь французский народ под звуки бессмертной «Марсельезы» кинется на захватчиков. А норвежцы? А чехи? А поляки? А сербы? Порабощенные народы ждут первого поражения гитлеровской армии. Час близок. Братский фронт трех великих держав — это та сила, которая сокрушит ненавистную всему миру гитлерию. За нас упорство англичан, за нас сила Америки, за нас беспримерная отвага советского народа.

6 АВГУСТА 1941 ГОДА

Немцы педантично бомбят Москву: прилетают в пять или десять минут одиннадцатого.

Жалко Книжной палаты. Это был один из самых чудесных домов Москвы: старый особняк с колоннами.

На улицах теперь много женщин с узлами: носят с собой самое ценное.

Разрушено одно из зданий Академии, театр Вахтангова, астрономический институт, несколько десятков домов. В моей квартире воздушная волна произвела некоторый беспорядок. Пути этой «волны» воистину неисповедимы: она расплющила медный кофейник, но глиняные вятские бабы по-прежнему

улыбаются. Наши собаки, два пуделя и скочтерьер, при словах диктора: «Граждане, воздушная тревога» — прячутся под диваны.

Среди людей некоторые оказались неожиданно храбрыми, другие трусливыми. Есть мужчины, которые мечтают, как бы с вечера забраться в метро, но таких немного. Большинство выносят бомбардировки спокойно. Многие охотно лезут на крыши. Гасить зажигательные бомбы — это новый излюбленный спорт москвичей. На заводах во время тревоги продолжается работа. В убежищах при газетах установлены линотипы, стучат ундервуды.

Вчера был пятнадцатый налет на Москву. Я разговаривал с начальником противовоздушной обороны генерал-майором Громадиным. Это молодой человек. В его кабинете стоит койка: иногда генералу удается соснуть час-два. У него красные глаза: давно не высыпался. Генерал рассказывает, как наши артиллеристы сбивают осветительные ракеты неприятеля. Вчера на Москву летело свыше ста самолетов, но долетело всего несколько машин. Сильными были первые массированные налеты. Немцы тогда летали на малой высоте — четыре-пять тысяч метров — и скидывали тяжелые бомбы— до полтонны. Теперь они летают выше и бомбы у них измельчали. Наши летчики и артиллеристы сбили уже сотню немецких машин на подступах к Москве. В центре города, на площади Свердлова, стоят сбитые самолеты. Ребята толпятся вокруг. Старуха прошла мимо и сплюнула: «Нечисть!»

Недалеко от дома, где я живу, бомбы попали в школу. Убиты дети. Не всех детей увезли... В скверах садовники аккуратно поливают цветы.

ЕВРЕЯМ

Мальчиком я видел еврейский погром. Его устроили царские полицейские и кучка босяков. А русские люди прятали евреев. Я помню, как отец принес переписанное на клочке бумаги письмо Льва Толстого. Толстой жил в соседнем доме, я часто видел его, знал: это — великий писатель. Мне было десять лет. Отец читал вслух «Не могу молчать» — Толстой возмущался еврейскими погромами. И моя мать заплакала. Русский народ был неповинен в погромах. Евреи это знали. Я не слышал никогда злобных слов евреев

о русском народе. И не услышу их. Завоевав свободу, русский народ забыл, как дурной сон, гонения на евреев. Выросло поколение, не знающее даже слова «погром».

Я вырос в русском городе. Мой родной язык русский. Я русский писатель. Сейчас я, как все русские, защищаю мою родину. Но гитлеровцы мне напомнили и другое: мать мою звали Ханой. Я — еврей. Я говорю это с гордостью. Нас сильней всего ненавидит Гитлер. И это нас красит.

Я видел Берлин прошлым летом — это гнездо разбойников. Я видел немецкую армию в Париже — это армия насильников. Все человечество теперь ведет борьбу против Германии — не за территорию, за право дышать! Нужно ли говорить о том, что делают эти «арийские» скоты с евреями? Они убивают детей на глазах у матери. Заставляют стариков в агонии паясничать. Насилуют девушек. Режут, пытают, жгут. Страшными именами останутся Белосток, Минск, Бердичев, Винница. Чем меньше слов, тем лучше: не слова нужны — пули. Они ведь гордятся тем, что они — скоты. Они сами говорят, что фионские коровы для них выше стихов Гейне. Они оскорбляли перед смертью французского философа Бергсона — для этих дикарей он только Jude. Они приказали отдать в солдатские нужники книги польского поэта Тувима: Jude! Эйнштейн? Jude! Шагал? Jude! Да можно ли говорить о культуре, когда они насилуют десятилетних девочек и закапывают живых в могилы!

Моя страна, русский народ, народ Пушкина и Толстого, приняли бой. Я обращаюсь теперь к евреям Америки как русский писатель и как еврей. Нет океана, за который можно укрыться. Слушайте голоса орудий вокруг Гомеля! Слушайте крики замученных русских и еврейских женщин в Бердичеве! Вы не заткнете ушей, не закроете глаз! В ваши еще спокойные сны вмешиваются голоса украинской Лии, минской Рахили, белостокской Сарры — они плачут по растерзанным детям. Евреи, в нас прицелились звери! Наше место в первых рядах. Мы не простим равнодушным. Мы проклянем тех, кто умывает руки. Помогайте всем, кто сражается против лютого врага. На помощь Англии! На помощь Советской России! Пусть каждый сделает все, что может. Скоро его спросят: что ты сделал? Он ответит перед живыми. Он ответит перед мертвыми. Он ответит перед собой.

ВОЙНА НЕРВОВ

Во время первой мировой войны я был на Западном фронте. Я видел, как немцы штурмовали форты Вердена. Они шли рядами под огонь и падали. Вслед шли другие. Земля была покрыта немецкими трупами. Но каждый день новые полки шли в атаку. Они казались непоколебимыми. А потом настал день, и они не вышли из окопов. Они сидели, как мертвые: их нервы не выдержали.

Это было осенью 1918 года — они перечисляли свои победы: «Мы в Брюсселе, мы в Белграде, мы в Бухаресте, мы в Киеве». И вдруг повернули с фронта домой: победители превратились в дезертиров. Главнокомандующий германской армией послал к союзникам парламентариев: он молил о перемирии.

Поразительна легкость, с которой немцы переходят от упоения к отчаянию, от самодовольства к самоуничижению, от педантизма к анархии. Все знают, что немцы аккуратны. Эта аккуратность доходит до безумия. В берлинских квартирах я видел на сахарнице надпись: «Сахар», на выключателе указание: «Свет — вверх» (это у себя в комнате!). Когда немец путешествует, он везет зонтик в футляре, и на футляре написано «зонтик». Но от фанатичного порядка он легко переходит к полному беспорядку. В захваченных странах немцы ведут себя как дикари: ломают, жгут, режут племенных коров, рубят плодовые деревья.

Как-то в Берлине была демонстрация гитлеровцев — года за два до воцарения Гитлера. Полиция разгоняла демонстрантов. Это происходило в парке. Убегая от полицейских, гитлеровцы бежали по дорожкам — они боялись помять газон: за это полагалось три марки штрафа. А теперь они с увлечением вытоптали пол-Европы.

Прошлым летом в Берлине я видел забавную сцену. Автомобилей в городе почти не было за отсутствием бензина. На людном перекрестке стояла толпа пешеходов. Мостовые были идеально пусты, но люди глядели на красный диск светофора и, как завороженные, не двигались. И вот этим сверхдисциплинированным немцам их командиры вынуждены ежедневно напоминать: нельзя напиваться до бесчувствия, нельзя терять в лесу пулеметы, как булавки, нельзя скидывать бомбы в болото, когда их приказано скидывать на город.

Они начали войну против нас с истерических восторгов. Они каждый день «уничтожали» Красную Армию. Они каждый день «ликвидировали» советскую авиацию. Нельзя было понять, как можно в третий или в четвертый раз «уничтожить» авиацию, которая уже была «уничтожена» за неделю до того. По радио они прерывали военные сводки кошачьими концертами: били в барабаны, дули в трубы, мяукали «хайль», пускали хлопушки. Теперь их дикторы меланхолически говорят: «Сопротивление красных растет».

На убитом ефрейторе Рузаме нашли три письма: он не успел их отправить. Первое письмо помечено 31 июля. В нем чувствуются первые сомнения:

«Прошло уже шесть недель, как мы находимся в чужой стране. Войну на востоке мы представляли себе иначе. Мы знали, что русские будут драться, но никто не предполагал, что они будут так отчаянно драться. Мы принимали участие в боях в районе Орши. Надеемся увидеть скоро русскую столицу. Тогда эта ужасная война кончится...»

Прошла всего неделя, и 5 августа ефрейтор пишет:

«У нас одно желание—скорее бы кончилась эта ужасная война! Если Москва падет, русские увидят безнадежность своего состояния. Но я думаю, что лучше было бы не начинать этой войны. Во всяком случае, то, что мы пережили в России, нельзя сравнить с Францией и Польшей. Здесь в любой день можно потерять жизнь...»

Прошел еще один день. Ефрейтор не потерял тогда свою жизнь. Он сел за письмо 6 августа. Но, видно, день был с переживаниями. Может быть, ефрейтор ознакомился с нашей артиллерией—ее немцы как-то особенно не любят. Во всяком случае, 6 августа он написал коротко:

«Вы интересуетесь, когда мы наконец-то будем в Москве. Теперь это дело затягивается,—русские обороняются отчаянно».

Дело действительно «затягивается». Другой ефрейтор Херберт пишет брату: «Я могу тебе только сказать, что стоит больших нервов ездить по русским дорогам—отовсюду стреляют». Нервы гитлеровцев начинают пошаливать.

За семь дней ефрейтор Рузам скис. Мы должны глядеть на географическую карту. Мы должны глядеть и на календарь. Каждый день приближает гитлеровских неврастеников к развязке. Они придумали «войну нервов». Не они ее выиграют.

КИЕВ

На войне нужно уметь переносить горе. Горе питает сердце, как горючее — мотор. Горе разжигает ненависть. Гнусные чужеземцы захватили Киев. Это — горе каждого из нас. Это — горе всего советского народа.

Его звали «матерью русских городов». Он был колыбелью нашей культуры. Когда предки гитлеровцев еще бродили в лесах, кутаясь в звериные шкуры, по всему миру гремела слава Киева. В Киеве родились понятия права и справедливости. В Киеве расцвело изумительное искусство, славянская Эллада. Берлинские выскочки, самозванцы топчут сейчас древние камни. По городу Ярослава Мудрого шатаются пьяные эсэсовцы. В школах Киева стоят жеребцы-ефрейторы. В музеях Киева бесчинствуют погромщики Гитлера.

Киев был светлым и пышным — он издавна манил к себе голодных дикарей. Его много раз разоряли. Его жгли. Он воскресал из пепла. Давно забыты имена его случайных поработителей, но бессмертно имя Киева.

Здесь кровью были скреплены судьба России и судьба Украины: истоки одной реки, корни одного леса. И теперь горе украинского народа — горе всех советских людей. В избах Сибири и в саклях Кавказа женщины с тоской думают о городе-красавце.

Мы помним героев Киевского арсенала — это были первые бои за свободу. Бури революции освежили Киев. Я был там этой весной. Я не узнал родного города. На окраинах выросли новые кварталы. Липки стали одним цветущим садом. В университете дети пастухов сжимали циркуль и колбу — перед ними раскрывался мир, как раскрываются поля, когда смотришь вниз с крутого берега Днепра.

Настанет день, и мы узнаем изумительную эпопею защитников Киева. Каждый камень будет памятником героям. Ополченцы сражались рядом с красноармейцами, и до последней минуты в немецкие танки летели гранаты, бутылки с горючим. Подступы города залиты вражеской кровью. В самом сердце Киева, на углу Крещатика и улицы Шевченко, гранаты впились в немецкую колонну. Настанет день, и мы узнаем, как много сделали для защиты родины защитники Киева. Мы скажем тогда: они потеряли сражения, но они помогли народу выиграть войну.

Сожмем крепче зубы. Немцы в Киеве — эта мысль кормит нашу ненависть. Мы будем за многое мстить, мы отомстим им и за Киев. В восемнадцатом году они тоже гарцевали по Крещатику. Их офицеры тогда вешали непокорных и обжирались в паштетных. Вскоре им пришлось убраться восвояси. Я помню, как они убегали по Бибиковскому бульвару. Тогда они унесли свои кости. Их дети не унесут и костей.

«Отомстим за Киев»,— думают защитники Одессы. И вот гибнут вражеские дивизии, кочующие возле Южной Пальмиры. «Отомстим за Киев»,— повторяют отважные ленинградцы. И вот гремят морские орудия, идут в штыки кировцы, враг истекает кровью. «Отомстим за Киев»,— твердят бойцы у Новгорода, у Смоленска, у Херсона. И падают сраженные насильники. Ревет осенний ветер. Редеют русские леса. Редеют и немецкие дивизии.

Когда убивают любимого командира, с сухими глазами идут в бой бойцы: отплатить врагу. Когда гитлеровцы сжигают дом, колхозники берут топоры и уходят в лес: отплатить врагу. Они осквернили Киев. Мы отплатим им за это — до конца, чтобы дети их детей суеверно дрожали при одном имени — «Киев».

Мы освободим Киев. Вражеская кровь смоет вражеский след. Как птица древних Феникс, Киев восстанет из пепла, молодой и прекрасный. Горе кормит ненависть. Ненависть крепит надежду. Сомкнем ряды. Нам есть за что драться: за Родину, за наш Киев.

ДЕ ГОЛЛЬ

Прошлым летом я сидел в пустом, мертвом Париже перед радиоприемником. Из Бордо передавали старческое бормотание Петена и суетливый лай Лаваля — первый вор Франции, как всегда, хапал и, как всегда, говорил о благородстве. Десять миллионов беженцев метались по вытоптанным полям. Агонизировала брошенная всеми французская армия.

Я слушал смутный гул радио. С улицы доносился топот: это по древним улицам Парижа бродили табуны гитлеровцев. И вдруг донесся мужественный голос:

«Я, генерал де Голль, призываю всех французов продолжать сопротивление. Летчики, ко мне! Ко мне, моряки! Ко мне, молодая Франция! Дряхлый маршал

подписал позорное перемирие. Франция его не подписала. Франция продолжает войну, и Франция победит».

Полковник де Голль первым во Франции понял роль авиации и танков. Он написал две книги о современных методах войны. Он требовал реорганизации французской армии.

Старые генералы считали его безумцем. Линия Мажино была тем песком, в который зарывали головы страусы французского генштаба. Почтенные генералы жили славой прошлого. Они смеялись над словами полковника де Голля.

В роковой май 1940 года полковник де Голль показал себя храбрым солдатом. Он организовал третью танковую бригаду и двинул ее навстречу врагу. Неделю спустя, когда началась Фландрская битва, де Голль требовал, чтобы его послали к Амьену. Капитулянты сделали все, чтобы потерять битву. Они держали в тылу танки и орудия.

Настал час развязки. Де Голль вместе со всеми французскими патриотами требовал одного: «Отпор, отпор и еще раз отпор!» Он говорил: «Мы можем воевать за Луарой, за Гаронной, в Африке. Мы переживем страшные годы, но мы спасем Францию». Он говорил это людям, которые хотели спасти не Францию, но свои карманы. Старый мундир маршала прикрыл вора Лаваля. Французское правительство капитулировало. И тогда раздался голос из Лондона: «Франция умерла. Да здравствует Франция!»

В Париже после оккупации города немцами находился адмирал Мюзелье. Он знал, что важные документы могут попасть в руки врага. Он проник в министерство. Он обошел штабы. Он сжег все. Потом он добрался до Лондона и сказал де Голлю: «Генерал, я с вами». С де Голлем пошел честный и умный генерал Катру. С де Голлем оказались тысячи командиров и десятки тысяч солдат. Родилась армия свободной Франции.

Эта армия показала себя достойной великих традиций. Живы дети героев Марны и Вердена. Они храбро сражались в пустынях Африки. Имя оазиса Мурзук останется славным в военной истории Франции.

«Что значит горсточка храбрецов?» — скажут скептики. Де Голль был один. Теперь вокруг него армия — с самолетами, с танками. Мы знаем, как горсточка храбрецов во главе с Гарибальди освободила Италию.

Радиостанция де Голля семь раз в день несет порабощенной Франции слова гнева и надежды. Когда де Голль объявил «час молчания», все улицы Франции опустели. Когда де Голль сказал о букве «V», все стены Франции покрылись символом надежды. Когда де Голль сказал, что близится час решительной схватки, чаще забились сердца во Франции.

Студентов собрали по аудиториям, прочли им послание маршала Петена — о покорности, о долге, о традициях. Студенты дружно ответили: «Vive de Gaulle!»

В конце сентября во Францию прибыл из Германии поезд с военнопленными: Гитлер решил побаловать маршала Петена — он отпустил несколько тысяч рабов. Маршал Петен приказал встретить военнопленных с цветами и с музыкой. Когда поезд остановился на Тулузском вокзале, из вагонов понесся один крик: «Vive de Gaulle!»

Париж клокочет. Впереди гордость Франции — парижские рабочие. Гитлер и его французские лакеи расстреливают патриотов, режут им головы. Девяносто тысяч французских патриотов в парижских тюрьмах. Каждый день судьи выносят смертные приговоры. Рабочий Катла, коммунист, депутат парламента, герой первой войны, гильотинирован за то, что не предал Францию. Свободомыслящие и католики, демократы и коммунисты, рабочие и студенты, женщины и подростки — вся Франция клокочет.

На стенах Парижа немцы расклеили объявление: они обещают каждому доносчику тридцать тысяч франков. Тридцать сребреников. Но все иуды уже пристроены как штатные доносчики — в Виши с Петеном или в Париже с Лавалем. Добровольных доносчиков не нашлось.

Германский генерал фон Штюльпнагель, наглый убийца с моноклем в глазу, торжественно хоронил немецкого офицера, застреленного на парижской улице. Тогда в двух кварталах Парижа снова заговорили револьверы — еще два насильника свалились замертво.

Плывут от берегов Бретани рыбацкие лодки с юношами — это подкрепление де Голлю. На заводах Ситроена и Рено рабочие ломают станки — это саперы де Голля. В окрестностях Лилля рабочие расправляются с немецкими шпионами — это разведка де Голля. Кипит народная Франция — это тыл де Голля и это его фронт.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, де Голль сказал, что он восхищен мужеством русских. Радиостанция де Голля передала «Марсельезу» в исполнении хора Красной Армии: русские пели великую песню. Это не только гимн свободной Франции, это и французский гимн свободе. Его нельзя слушать без волнения. Он создан героями, которые пошли против тиранов. С ним побеждали французы полтораста лет тому назад, с ним победит Франция де Голля.

10 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА

Москва — город моего детства. Я хорошо помню Москву прошлого века. Я вырос в тихом Хамовническом переулке. Зимой он был загроможден сугробами. Летом из палисадника выглядывала душистая сирень. В соседнем доме жил старик. Когда он проходил сутулясь, городовой на углу переулка подозрительно хмурился. А студенты и рабочие часто заходили в наш переулок, пели «Марсельезу», что-то кричали перед соседним домом: они приветствовали Льва Толстого. Это была сонная, деревянная, уютная Москва с извозчиками, с чайными, с садами.

Я помню баррикады в 1905 году — я был мальчишкой, я помогал — таскал мешки... Я помню бои в семнадцатом. Все это мне кажется далекой стариной.

Москва менялась с каждым годом. Вырастали новые кварталы. Зимой снег жгли, как покойника. Автомобиль сменил санки. Обозначились новые площади. Дома переезжали, как люди, улицы путешествовали. Город казался гигантской стройкой. Его заселяла молодежь, и только воробьи казались мне старожилами, сверстниками моего детства.

Я знал Москву в горе и в счастье, в лени и в лихорадке. Она сохранила свою душу — не дома, не уклад жизни, но особую повадку, речь с развалкой, добродушие, мечтательность, пестроту. Она не похожа ни на один город. Прежде говорили о ней: «Огромная деревня». Я скажу: «Маленький материк», — отдельный, особый мир.

Вот узнала Москва еще одно испытание. За нее теперь идут страшные бои. Если пройти по московским улицам, ничего не заметишь: они выглядят как всегда. Те же переполненные трамваи и троллейбусы, те же театральные афиши на стенах, те же женщины

с кошелками. Но лица стали другими: глаза печальней и строже, реже улыбки. Есть старая поговорка: «Москва слезам не верит». Москва верит только делу—не словам, не жестам, даже не слезам.

В первые недели войны Москва многого не понимала. Тогда были слезы на глазах. Тогда были женщины, которые суетились, куда-то тащили узелки с добром, тогда были тревожные вопросы. Не то теперь: Москва, как многие люди, может волноваться перед опасностью. Но когда опасность настает, Москва становится спокойной.

Вчера я был на военном заводе. Я видел почерневшие от усталости лица: работают, сколько могут. По нескольку суток не уходят с завода. Каждая женщина понимает, что она сражается, как ее муж или брат у Вязьмы сражается за Москву. Она знает, чтó именно она изготовляет. Чуть усмехаясь, говорит: «Для фашиста...» Это не жестокость, это скрытая и потому вдвойне страстная любовь—защитить Москву. Когда над кварталом, где находится завод, стоит жужжание моторов, когда грохот станков покрывают зенитки и тот свист, который стал языком, понятным в Москве, как в Лондоне,—ни на одну минуту не останавливается работа. Я спросил одну работницу, сколько она спит, она глухо ответила: «Грех теперь спать. Я что же—сплю, а они—на фронте?..» От работы отрываются только для военных занятий. Как друга, рассматривают пулемет—доверчиво, внимательно, ласково.

Вчера в институте керамики, как всегда, шли занятия: девушки рисовали на фарфоре цветы. Вдруг одна встала: «Нужно учиться кидать гранаты, бутылки с горючим...» Ее все поддержали. Милая курносая Галя говорит мне: «Каждая из нас, если до того дойдет, убьет хоть одного фашиста». Это не бахвальство. Каждый человек волен выбирать судьбу. Москва, как Галя, свою судьбу выбрала: если ей будет суждено, она встретит смерть с одной мыслью—убить врага.

Актеры Камерного театра разбирают станковый пулемет, а два часа спустя гримируются, играют, повторяют торжественные монологи. Студентки литературного факультета, влюбленные в Ронсара или в Шелли, роют противотанковые рвы. Все это без патетических слов, без криков, без жестов. Героизм Москвы на вид будничен. Москва любила яркие хламиды—для масленицы, для театра, для праздника. Она веселилась в звонкой одежде рыцаря. Она идет навстречу смертельной опасности в шинели защитного цвета.

Сколько испытаний для женских сердец: от утра, когда ждет старуха мать почтальона — у нее четверо на фронте, до вечера, когда молодая мать, прижимая к себе младенца, прислушивается к голосам зениток. Москва всегда представлялась русским женщиной. За Москву, за мать, за жену сейчас сражаются люди от Орла до Гжатска. И женщина Москва подает бойцу боеприпасы, готовая, если придется, схватить ружье и пойти в бой.

Врагу не найти своей, второй Москвы: Москва одна. Я видел, как читали подросткам статью Ленина из «Правды» 1919 года «Москва в опасности». Они слушали угрюмо, потом загудели: «На фронт!» А в это время в московских церквах служили молебны за защитников Москвы, и старушки несли в фонд обороны обручальные кольца и нательные кресты.

Врагу не вызвать паники. Я слышал, как немцы по радио говорили: «Удирают красноармейцы, комиссары, жители». Это мечта Берлина. А Москва молчит. Она опровергает ложь немцев молчанием, выдержкой, суровым трудом. Идут на фронт новые дивизии. Везут боеприпасы. И город, древний город, моя Москва, учится новому делу: стрелять или кидать гранаты. И каждый день на фронтах, не только под Вязьмой, на далеких фронтах — у Мурманска, в Крыму — слышится голос диктора: «Слушай, фронт! Говорит Москва». Это коротко и полно значения. Пушкин писал: «Москва... как много в этом звуке для сердца русского слилось!» Не только под Вязьмой, от Мурманска до Севастополя миллионы людей сражаются за Москву.

Люди столпились, молча читают сводку. Все понимают: настали суровые дни. Что будет с Москвой?..

Сейчас мне рассказали о судьбе связиста Печонкина. Он был на наблюдательном пункте возле Гжатска, продолжал работать. Израсходовав все патроны и гранаты, он передал по проводу: «Работать дольше нет возможности. Немцы напирают со всех сторон. Иду врукопашную. Живым не сдамся».

В СУРОВЫЙ ЧАС

Настал час простых чувств и простых слов. Гитлер бросил в бой все свои силы. Он не считает потерь. Он торопится. Немецкие танки давят немецких раненых. Враг прорвался к Орлу. Враг грозит каждому из нас.

Мы знаем, что враг силен. Это — сила машины. Он навалился на нас своим железным брюхом. Мы не тешим себя иллюзиями. Но мы знаем также, что враг изнурен, что он измучен двадцатью пятью месяцами войны, что в его тылу голод, что в его дивизиях бреши, что в его сердце тревога. Мы знаем, почему он торопится: он не может ждать.

Он в страхе смотрит на океан: оттуда идет снаряжение для нас и для Англии. Он в страхе смотрит на Америку: дымятся трубы заводов. Он в страхе смотрит на календарь: зима на носу. Он не хочет зимовать в наших лесах. Немцы, взятые в последние дни, говорят: «Нам сказали, что, если мы дойдем до Москвы, нас отпустят по домам». Их ведут на смерть, соблазняя миром. Им говорили прежде: «Вперед! Я вам обещаю хлеб и сало». Теперь им говорят: «Вперед! Если вас не убьют, я обещаю вам жизнь».

Мы должны выстоять. Сейчас решается судьба России. Судьба всей нашей страны. Судьба каждого из нас. Судьба наших детей.

Гитлер как-то сказал Раушнингу: «Мне все равно, кто правит Россией — цари или большевики. Русские остаются нашими врагами». Да, эти разбойники не думают об идеях, о программах. Для них Россия — колония, страна сырья, непочатый край, питомник рабов, которые должны работать на немцев.

Они хотят уничтожить Россию, разбить ее на «протектораты», на «генерал-губернаторства», которыми будут заведовать пруссаки или баварцы. «Из России можно нашинковать двадцать немецких гау»,— писала их газета «Франкфуртер цайтунг».

В этот суровый час Красная Армия защищает нашу родину. Если немцы победят, не быть России.

Они не могут победить. Велика наша страна. Еще необъятней наше сердце. Оно многое вмещает. Оно пережило столько горя, столько радости, русское сердце! Мы выстоим: мы крепче сердцем. Мы знаем, за что воюем: за право дышать. Мы знаем, за что терпим: за наших детей. Мы знаем, за что стоим: за Россию, за родину.

ВЫСТОЯТЬ!

Немцы хотят нас разъесть своей ложью. Они говорят колхозникам: «Мы не против вас, мы против рабочих». Они говорят рабочим: «Мы не против вас,

мы против интеллигентов». На самом деле им все равно, кто ты — рабочий, колхозник, интеллигент, русский, украинец, грузин, еврей: они против всех нас. Они хотят завоевать нашу землю. Они хотят взять наше добро. Половину людей они хотят уничтожить. Другую половину обратить в рабство.

Они говорят: «Мы против советского строя». Ложь. Им все равно, какой у нас строй. Им нужно нас ограбить. Во Франции была республика. Немцы были тогда против республики. В Югославии была монархия, немцы были против монархии. В Польше было правое правительство, немцы были против правых, в Норвегии было левое правительство, они были против левых.

Они говорят: «Мы против коммунистов». Ложь. Они против всех граждан нашей страны. Они только за своих шпионов. Все честные люди для них враги. Кого они сейчас расстреливают в Чехо-Словакии? Коммунистов? Нет, генералов, рабочих, крестьян, учителей, левых и правых. Они сажают в тюрьмы католических священников Франции, Бельгии, Словении. Они пытают православных священников Сербии. Может быть, для них аббаты и священники тоже «коммунисты»?

Они говорят: «Мы против евреев». Ложь. У них есть свои евреи, которых они жалуют. У таких евреев в паспорте две буквы — «W. J.» — «ценный еврей». В Югославии немцы объявили, что «низшая раса» — сербы. В Польше они обратили в рабство поляков. Они говорят, что французы «низшая раса — полунегры». Русских они называют «монгольскими выродками». Они ненавидят все народы, кроме немцев. Они презирают все расы, кроме немецкой.

Они говорят, что они дадут крестьянам землю. Ложь. Для крестьян у них одна земля — на могилу. У кого в Германии земля? У герцога Кобург-Гота десять тысяч га, у герцога Фридрих-Ангальт двадцать девять тысяч га, у графа фон Арним Мускау двадцать шесть тысяч га, у маршала Геринга двадцать тысяч га. Эти герцоги, графы, бароны решили прикарманить русскую землю.

Немцы вводят в захваченных областях крепостное право. Колхозы они превратили в «предприятия германской армии», машинно-тракторные станции объявлены собственностью германского государства. Колхозники обязаны работать на «общинных дворах» под надсмотром немецких офицеров.

Они говорят, что они несут рабочим «социализм». Ложь. Кто правит Германией? Капиталисты. Круппы. Феглеры. На одного маршала Геринга работает шестьсот тысяч рабочих. Немецкие капиталисты хотят забрать нашу нефть, наш уголь, нашу сталь, наш марганец, наш лес. Рабочие будут работать на них и есть помои. Немецкий медицинский журнал недавно разъяснил, что мясо «чрезвычайно вредно для славянской расы», поэтому немцы, заботясь о спасении всех рас, переведут славян на вегетарианский режим. Котлеты будут есть Геринги — им полезны котлеты с картошкой. Кожуру от картошки они выдадут русским рабочим.

Они говорят, что они несут интеллигенции культуру. Жалкие выродки, они смеют говорить о культуре нам, стране Пушкина и Толстого, Менделеева и Павлова, Мусоргского и Бородина. Они заставили французских писателей продавать на улицах орехи. Они заставили чешских профессоров убирать немецкие конюшни. Они заставили голландских музыкантов чистить сапоги немецким ефрейторам. Они уничтожают культуру. Они ищут русских ученых, русских врачей, русских инженеров, чтобы послать их на «трудовые работы»: убирать в Германии выгребные ямы.

Они говорят, что они чтут мораль. Это развратники, мужеложцы, скотоложцы. Они хватают русских девушек и тащат их в публичные дома, выдают их своей солдатне, они их насилуют, заражают сифилисом.

Они говорят, что они исповедуют религию. Но они поклоняются языческому богу Вотану. Они вешают священников. У них написано на бляхах «С нами Бог». Но этими бляхами они бьют по лицу агонизирующих пленных.

Они говорят, что они сторонники национальной культуры. О культуре они ничего не слыхали. Культура для них — это автоматические ручки и безопасные бритвы. Автоматическими ручками они записывают, сколько девушек они изнасиловали. Безопасными бритвами они бреются. А потом опасными бритвами отрезают носы, уши и груди у своих жертв. Они призывают фламандцев резать валлонцев, они призывают хорват резать сербов, они призывают украинцев резать русских. А потом они режут фламандцев, хорват и украинцев. Они заставляют норвежцев говорить по-немецки. Они заставляют чехов писать по-немецки.

Они заставляют поляков перед смертью хрипеть по-немецки. Они уничтожают национальную культуру. Они требуют, чтобы все народы отреклись от своей культуры. Они хотят, чтобы была только одна нация: немцы. Остальные пусть лижут камень и глотают пыль.

Они не сотрут нас силой. Они не возьмут нас и хитростью. Каждый советский боец знает, за что он идет в бой. Колхозник дерется за землю дедов. Рабочий — за труд, за свое государство. Интеллигент сражается за нашу культуру, за книги, за право мыслить, творить, совершенствовать мир. Юноши сражаются за чистоту любви, за русских девушек. Отцы за счастье детей и за честь матери. Подростки за то, что перед ними. Старики за то, что они сделали. Русские за Пушкина, за Волгу, за березы. Украинцы за Шевченко, за хаты, за вишни. Грузины за Руставели, за горы, за виноградники. Все народы — за одно — за родину.

Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть одна только мысль — выстоять. Они наступают, потому что им хочется грабить и разорять. Мы обороняемся, потому что мы хотим жить. Жить как люди, а не как немецкие скоты. С востока идут подкрепления. Разгружают пароходы с военным снаряжением: из Англии, из Америки. Каждый день горы трупов отмечают путь Гитлера. Мы должны выстоять. Октябрь сорок первого года наши потомки вспомнят как месяц борьбы и гордости. Гитлеру не уничтожить Россию! Россия была, есть и будет.

МЫ ВЫСТОИМ!

Еще недавно я ехал по Можайскому шоссе. Голубоглазая девочка пасла гусей и пела взрослую песню о чужой любви. Там теперь говорят орудия. Они говорят о ярости мирного народа, который защищает Москву.

Еще недавно я писал в моей комнате. Над моим столом висел пейзаж Марке: Париж, Сена. В окно, золотая, розовая, виднелась Москва. Этой комнаты больше нет: ее снесла немецкая фугаска. Я пишу эти строки впопыхах: пишущая машинка на ящике.

Большая беда стряслась над миром. Я понял это в августе 1939 года, когда беспечный Париж вдруг

загудел, как развороченный улей. Каждому народу, каждому честному человеку суждено в этой беде потерять уют, добро, покой. Мы многое потеряли, мы сохранили надежду.

Надевая солдатскую шинель, человек оставляет теплую, сложную жизнь. Все, что его волновало вчера, становится призрачным. Неужели он вчера гадал, какой покрышкой обить кресло, или горевал о разбитой чашке? Россия теперь в солдатской шинели. Она трясется на грузовиках, шагает по дорогам, громыхает на телегах, спит в блиндажах и теплушках. Здесь не о чем жалеть! Погиб Днепрогэс, взорваны прекрасные заводы, мосты, плотины. Вражеские бомбы зажгли древний Новгород. Они терзают изумительные дворцы Ленинграда. Они ранят нежное тело красавицы Москвы. Миллионы людей остались без крова. Ради права дышать мы отказались от самого дорогого, каждый из нас и все мы, народ.

Москва теперь превратилась в военный лагерь. Она может защищаться, как крепость. Она получила высокое право рисковать собой. Я видел защитников Москвы. Они хорошо дерутся. Земля становится вязкой, когда позади тебя Москва, нельзя отступить хотя бы на шаг. Враг торопится. Он шлет новые дивизии. Он говорит каждый день: «Завтра Москва будет немецкой». Но Москва хочет быть русской.

Что ищет Гитлер, врезаясь в тайники нашей страны? Может быть, он надеется на капитуляцию? У нас есть злые старики, у нас нет петенов, и воры у нас есть, но нет у нас лавалей. Россия, прошедшая по дорогам, вдвойне страшнее России оседлой. Горе нашего народа обратится на врага.

Я ничего не хочу приукрашивать. Русский никогда не отличался методичностью немцев. Но вот в эти грозные часы люди, порой бесшабашные, порой рыхлые, сжимаются, твердеют. Наши железнодорожники показали себя героями: под бомбами они вывозили из городов заводы и склады. За Волгой, на Урале уже работают эвакуированные цеха. Ночью устанавливают машины. Рабочие зачастую спят в морозных теплушках и, отогревшись у костра, начинают работу. В авиашколах учатся юноши, но через несколько месяцев они заменят погибших героев. В глубоком тылу формируется новая мощная армия. Народ понял, что эта война — надолго, что впереди годы испытаний.

Народ помрачнел, но не поддался. Он готов к кочевью, к пещерной жизни, к самым страшным лишениям. Война сейчас меняет свою природу, она становится длинной, как жизнь, она становится эпопеей народа. Теперь все поняли, что дело идет о судьбе России — быть России или не быть. «Долго будем воевать»,— говорят красноармейцы, уходя на запад. И в этих горьких словах — большое мужество, надежда.

Нельзя оккупировать Россию, этого не было и не будет. Россия всегда засасывала врагов. Русский обычно беззлобен, гостеприимен. Но он умеет быть злым. Он умеет мстить, и в месть он вносит смекалку, даже хозяйственность. Мы знаем, что немцев теперь убивают под Москвой, но немцы знают, что их убивают и за Киевом. Слов нет, Гудериан умеет маневрировать, но и ему не усмирить крестьян от Новгорода до Таганрога. Германская армия продвигается вперед, но позади она оставляет десятки, сотни фронтов.

Россия — особая страна. Трудно ее понять на Вильгельмштрассе. Россия может от всего отказаться. Люди у нас привыкли к суровой жизни. Может быть, за границей стройка Магнитки и выглядела как картинка, на самом деле она была тяжелой войной. Неудачи нас не обескураживают. Издавна русские учились на неудачах. Издавна русские закалялись в бедствиях. Вероятно, мы сможем исправить наши недостатки. Но и со всеми нашими недостатками мы выстоим, отобьемся. Тому порукой история России. Тому порукой и защита Москвы.

Может быть, врагу удастся еще глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке, от утренней сводки до вечерней, мы перевели дыхание на другой счет. Мы смело глядим вперед: там горе и там победа. Мы выстоим — это шум русских лесов, это вой русских метелей, это голос русской земли.

1 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

Я привык к беженцам. Уже не первый год Европа кочует. На вокзалах северной России сидят люди. Они из теплой Украины. Где-то далеко их хаты, вишенники. Они спасли подушку и чайник. У них пустые, как бы невидящие глаза. Они похожи на беженцев

из Малаги или из Альмерии. Из Москвы уехал старый профессор. Он растерянно моргает близорукими глазами. Зачем-то он привез электрический утюг жены — утюг бросился ему в глаза. А его работы погибли. Я видел таких же профессоров на берегу Луары...

Теперь я увидел новых беженцев: закочевали станки, заводы. Я видел их в пути. Они ночевали на узловых станциях. Вчера я побывал на новоселье. В нескольких десятках километров от города в пустоши работает большой завод. Там изготовляют авиапулеметы и приборы для сбрасывания бомб. Этот завод не построен здесь, он сюда приехал, это завод-беженец.

Еще недавно здесь была мастерская телег, старых русских телег, связанных со степью, с грязью, с медлительной жизнью захолустья. В кузнице под открытым небом горели печи петровских времен. Построили крыши, залили землю асфальтом, и сложные машины верещат не замолкая.

Завод приехал из Киева. Две недели спустя он был готов. Он выпускает теперь вдвое больше пулеметов, нежели в Киеве. Там инженеры гордились зданием. Здесь тесно, трудно повернуться. Кругом непролазная грязь, бездорожье. Но теперь нужны не красивые здания, теперь нужно одно — оружие. И люди дают оружие.

Десять лет тому назад я видел, как люди строили Кузнецк. Это было суровой эпопеей. Среди тайги росли громадные корпуса. Люди в землянках говорили о садах будущего города.

Тогда люди умирали за мечту. Теперь они умирают за дыхание, за родной дом, за самое простое и за самое нужное.

Рабочие работают по двенадцать часов: две смены. Они приехали из Киева с семьями. Они живут в тесноте. Трудно с продовольствием, но поразительна сила духа. Люди говорят: «Ничего, справляемся. Лишь бы выиграть войну». У всех людей большое горе: не то, что не привезли сахара или табака, не то, что тесно в крохотной комнатке. Нет, их горе другое: родной город узнал вражеское иго. И они лихорадочно спрашивают: «Не слыхали вы, что они наделали в Киеве?»

У одного старого токаря немцы расстреляли в Киеве сына. Он не плакал, получив страшную весть, пошел сразу на работу. Я говорил с ним. Он нежно гладил ствол пулемета, как руку друга. Он повторял

цифры производства. Для него работа теперь единственный душевный выход, единственное оправдание того, что он жив, когда его шестнадцатилетний Васюк расстрелян.

Авиаприборы легки и точны. Они похожи на ювелирные безделки. Их делают среди пустыря, среди грязи, их делают люди, потерявшие кров и близких.

Я был на другом пустыре. Там ставят станки из Москвы. Через неделю еще один бродячий завод начнет работать.

Я не раз говорил о силе русского сопротивления. Русский может жить так трудно, что вспоминаешь древних подвижников. Сон России двадцатого века был сном об американской машинной цивилизации. Заводы становились храмами. Но вот настали дни испытаний, и оказалось, что русские могут работать на усовершенствованных станках, как их деды работали в поле с деревянным плугом. Чем глубже заходит враг в нашу страну, тем жестче становится сопротивление.

Мы будем делать пулеметы, самолеты, танки — на бивуаках, в пустыне, в лесах. Мы поразим мир нашим упорством. Но пусть помнят наши друзья за проливом и дальше за океаном: мы потеряли много наших промышленных центров, мы потеряли приднепровские города с их мощными заводами, руду Кривого Рога, Харьков, уголь Донбасса. Заводы Ленинграда и Москвы ушли на восток. Рабочий из Киева, тот, сына которого убили немцы, делает пулеметы. О нем можно написать чудесную поэму. Но сейчас нам не до поэм. Пусть помнят о судьбе этого токаря рабочие Англии и Америки. Сейчас стыдно уговаривать и поздно доказывать.

ИСПЫТАНИЕ

Ветер гасит слабый огонь. Ветер разжигает большой костер. Испытание не задавит русского сопротивления. Испытание его разожжет. Мы не отворачиваемся от карты: мы видим Украину, захваченную врагом, немцев под Москвой, немцев под Ростовом. За этими словами скрыта страшная беда: сотни разоренных городов, миллионы порабощенных людей. Немцы обсуждают, под каким именем включить Украину в Германию. Вшивый Антонеску гарцует по улицам Одес-

сы. Как это вытерпеть? А бомбы впиваются в нашу гордость, в нашу любовь — Москву...

И вот сжимаются сердца. Глаза блестят от гнева. Растет сопротивление. По-прежнему геройски держится Ленинград. Защитники Москвы изумляют мир своей доблестью. В тылу готовится мощная армия. Киевские, харьковские, днепропетровские заводы работают среди полей Заволжья и Урала. Машины стали беженками. Наспех расставили станки. В тесноте работают рабочие: делают самолеты, автоматическое оружие, моторы. Враг в Донбассе. Но у нас Кузнецк, Караганда. Враг захватил Кривой Рог. Но у нас Магнитка, у нас мощные заводы Урала. У нас еще много земли, много нив, много станков.

Наши враги вынуждены признать отвагу бойцов и командиров Красной Армии. Почему же мы отступали? Почему отдали немцам цветущие области, дорогие нам города? На том или ином участке фронта у врага оказывалось численное превосходство. У нас народу вдвое больше, чем у немцев, но у немцев больше моторов — они могут легче маневрировать.

Пятнадцать лет тому назад мы начали строить заводы. Наша промышленность — молодая. Пятнадцать лет тому назад в Германии уже была сильная военная промышленность. Гитлер построил сотни новых военных заводов. Гитлер захватил Европу. Теперь на немцев работают заводы Франции, Чехии, Бельгии. У немцев оказалось больше моторизованных частей, и они врезались в сердце нашей страны.

Однако каждый день наши летчики и артиллеристы уничтожают сотни немецких моторов и танков. Однако каждый день по трем океанам плывут к нам из Америки, из Великобритании сотни новых моторов. Гитлер это знает. Он торопится. Мы должны помнить: каждая отбитая атака, каждый выигранный день приближает нас к тому часу, когда мы будем сильнее немцев. Выстоять — вот наш долг.

Наши юноши привыкли к чересчур легкой жизни. Широко раскрывались перед ними двери школ. У нас не человек искал работу, работа искала человека. И многие у нас привыкли к тому, что за них кто-то думает. Теперь не то время. Теперь каждый должен взять на свои плечи всю тяжесть ответственности. Во вражеском окружении, в разведке, в строю каждый обязан думать, решать. действовать. Не говори, что

кто-то за тебя думает. Не рассчитывай, что тебя спасет другой. Тебе дана высокая честь — защитить родину. Ты не ребенок — ты муж. На тебя с доверием смотрит страна. Не уклоняйся от инициативы. У тебя есть оружие — винтовка, у тебя есть другое оружие — голова. Немцы — это автоматы. Ты — человек. Не забывай об этом ни на минуту.

Русский любит свободу. Никогда не заставят русских маршировать, как гусей. Но свобода — это не беспорядок. Трудно было приучить москвичей переходить улицу по гвоздям. На войне ничего нет страшнее беспорядка. Противотанковые рвы — хорошее дело. Но есть рвы поглубже: это железная дисциплина. Она не пропустит врага вперед.

Враг напал на нас исподтишка. Страшной была та короткая июньская ночь, и дорого она нам обошлась. Мы должны истребить беспечность. Быть всегда начеку. Нет спокойного участка. Враг может ударить внезапно. Нет мирного тыла. Враг может совершить налет, сбросить десант, прорваться вглубь. Проверь любой путь. Проверь любое слово. У врага хорошая разведка. У него опытные шпионы. Стой и молчи. Молчание — это оружие. Иногда оно стоит выигранного сражения.

Голодные, жадные немцы рвутся дальше. Их соблазняют магазины и квартиры Москвы. Они хотят зимовать в домах с центральным отоплением. Они хотят есть котлеты. Их нужно остановить. Их нужно хорошенько проморозить. Их нужно продержать в русских лесах на немецкой колбасе из гороха. Этот режим для них полезен — к весне они поумнеют.

Английские летчики каждый день крошат немецкие города. Народы Европы готовятся к восстанию. Русские, украинцы, белорусы в захваченных врагом областях не складывают оружия. Друзья, мы должны выстоять! Мы должны отбиться. Когда малодушный скажет: «Лишь бы жить», ответь ему: «У нас нет выбора». Если немцы победят, они нас обратят в рабство, а потом убьют. Убьют голодом, каторжной работой, унижением. Чтобы выжить, нам нужно победить. Если честный патриот хочет спасти родину, он должен победить. Если малодушный хочет спасти свою шкуру, он тоже должен победить. Другого выхода нет.

Россию много раз терзали чужеземные захватчики. Никто никогда Россию не завоевывал. Не быть Гит-

леру, этому тирольскому шпику, хозяином России! Мертвые встанут. Леса возмутятся. Реки проглотят врага. Мужайтесь, друзья! Идет месяц испытаний, ноябрь. Идет за ним вслед грозная зима. Утром мы скажем: «Еще одна ночь выиграна». Вечером мы скажем: «Еще один день отбит у врага». Мы должны спасти Россию, и мы ее спасем.

ЧЕХО-СЛОВАКАМ

Друзья-чехо-словаки, этот день был днем вашей гордости. Веселились чехи на Вацлавском наместье и в тысячах деревень. Веселились словаки «под вехами» Братиславы, на площадях святого Мартина и Жилины. Этот день остался днем вашей гордости. Но он стал теперь и днем вашего горя. Задыхаясь в бомбоубежищах, засыпанных мусором, люди узнают, какое счастье воздух. Под Гитлером вы узнали, какое счастье свобода. Вы — гордые люди, и вам без нее не жить.

В этот день я хочу обнять моих друзей. Я не назову их имен: нас слушают палачи. Да и все чехо-словаки теперь мои друзья. Я хочу в этот тяжелый день сказать вам простые слова надежды: мы встретимся в свободной Праге, в кафе, в «Народном дивадле», на чудных улицах Малой Страны. Мы встретимся в Братиславе, на набережной Дуная, «под вехами». Мы поедем вместе в Тиссовец и в Детву. Мы споем песни про Яношика. Мы увидим над Градчанами трехцветный флаг.

Праздник независимости вы справляете над свежими могилами мучеников. А в застенках пытают героев. Плачут статуи Пражского моста. Трауром покрылась площадь гуситского Табора. Сняли пестрые уборы девушки Моравии. Проклинают иуду Тисо леса Оравы. Но святая кровь не высыхает. Она жжет. Она становится реками. Она будит спящих. Она разъедает железо. Не напрасно погибли герои Чехии. Их смерть — трубный глас. Их могилы — первые камни независимой Чехо-Словакии.

Русские люди преклоняются перед вашим мужеством. Над братскими могилами раздается салют: это орудия защитников Москвы салютуют героям Праги. За каждого расстрелянного чеха — тысячи немцев под Москвой. Мы многое потеряли за эти месяцы: покой,

уют, добро. Горят наши города. Умирают наши люди. Но мы отстояли честь. Мы отстоим и свободу — нашу и вашу.

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

В этот день весь мир смотрит на Москву. О Москве говорят в Нарвике и в Мельбурне. Провода мира повторяют одно слово «Москва». Москва теперь не только город. Москва стала надеждой мира.

И Москва осталась городом, русским городом. С каждым ее переулком связаны наши воспоминания. В ее запутанном плане, в чередовании старых особняков и новых многоэтажных корпусов — вся наша жизнь, вся наша история. Днем Москва живет обычной трудовой жизнью. Только стон стекла под ногой и суровость человеческих глаз напоминают о драме этой осени. Ночью Москва темна. Ее звезды не освещают путь врагу. Эта черная, побратавшаяся с ночью Москва остается маяком для измученного человечества.

Мы знаем героизм других народов. Мы обнажаем головы перед чужими могилами. Защитники Москвы с волнением думают о стойкости Лондона. Два года город туманов и парков, город-порт и город милого диккенсовского уюта живет под бомбами, под бомбами он работает, под бомбами думает. «Слава Англии! — чистосердечно восклицает русский народ.— Слава высоко поднятой голове!» Не пролив остановил немцев — воля английского народа, его гордость. Мы приветствуем английских летчиков. Они впервые сказали на добром языке фугасок: «Как аукнется, так и откликнется». Они били и бьют логово проклятого зверя.

Мы приветствуем тебя, пионер свободы, неукротимый народ Франции. Ты пал на поле боя, преданный и обманутый. Мы помним героев Арраса, защитников Тура, твою отвагу и твою беду. Немцы думали, что ты умер, что народ Вальми и народ Вердена станет народом изменника Дарлана, вора Лаваля. Ты ранен, но ты жив. Мы приветствуем армию генерала де Голля, армию изгнания, армию мести. Мы приветствуем французских патриотов, которые не сложили оружия. Слава заложникам Нанта! Их пытали страхом. Их агонию растянули на недели. Перед смертью они пели песню

свободы «Марсельезу». Эту песню услышали и защитники Москвы.

Мы приветствуем чехов. Они первые узнали всю меру горя. Они не сдались. Орудия защитников Москвы салютуют мученикам Праги.

Мы приветствуем народ воинов — сербов. Не впервые их страна сожжена и залита кровью. В горы ушел народ. На немецкие приказы он отвечает свинцом. Немцы вынуждены издавать в Белграде военные сводки — война в Югославии закончена на бумаге, но на югославской земле война только начинается. Под Москвой мы платим и за Белград, за его развалины, за его ночи.

Мы приветствуем храбрых греков. Мы были с ними душой на горных перевалах Албании. Мы восторгались тогда их стойкостью. Теперь мы вознаграждаем их за мужество: мы истребляем их палачей.

Мы приветствуем неустрашимых норвежцев, рыбаков, которые стали солдатами, партизан Ларсена, молчаливых и стойких людей Севера. Мы приветствуем спокойных голландцев. Они отказались от мира ради чести. Мы помним и развалины Роттердама. Мы приветствуем народ труда — бельгийцев, их каждодневное, упорное сопротивление. Брюссель снова узнает радость восемнадцатого года: он увидит бельгийскую армию в своих стенах.

Мы приветствуем нашу сестру Польшу. Слава польским партизанам! Мы слышим их выстрелы. На нашей земле строится теперь польская армия. И поляки, защищавшие Варшаву, получив винтовки, благоговейно целуют оружие. Они с нами пойдут на врага. С нами отвоюют свою землю.

Мы приветствуем арсенал свободы — Америку. Руку и сердце дает она смятенной Европе. Слава труженикам Америки, ее инженерам и рабочим,— это тыл Европы, это наш тыл.

Мы приняли на себя страшный удар. Мы не уклонились от него. Мы не хотим жить на коленях. Наш всенародный праздник в этом году омрачен развалинами и могилами. Свободу мы защищаем на своей земле, и мы оплачиваем ее своей кровью. Великим народам суждены великие испытания. Мы хотели мирно трудиться, строить дома, распахивать целину. Нам выпала другая судьба. Мы должны взрывать наши заводы. Мы должны рыть противотанковые рвы.

Мы должны защищать Москву — здесь, под Москвой. И вот слово «Москва» обходит мир. Утром люди, просыпаясь на другом полушарии, с тревогой спрашивают: «Как Москва?..» Они могут спать. Их сон охраняют орудия Москвы.

У русского народа большое сердце. Он умеет любить. Он умеет и ненавидеть. В этот торжественный и грозный день мы даем клятву любви и ненависти. Мы истребим гитлеровцев. Мы отплатим немцам за все обиды, за все горе. Они идут к нам с надеждой поживиться. Они считают города и десятины, копи и склады. Они не сочтут своих могил. Их самки требуют от самцов: «Пришли мне русскую шубенку». Мы заставим этих самок проплакать свои глаза. Жители Берлина ответят за улицы Москвы. Крестьяне Украины будут допрашивать прусских баронов. И русские вдовы будут судить мерзкого Гитлера. Он получит за все, он и его лакеи. Румыны проклянут тот час, когда вшивый Антонеску ворвался в Одессу. Венгры ответят за Днепропетровск. Сто лет итальянцы не будут спокойно глядеть на восток.

Час расплаты придет. И теперь, в самые трудные часы русской истории, в день омраченного праздника, мы еще раз присягаем на верность свободе, на верность России. «Смерть врагам! — говорит Москва.— Слава союзникам, слава друзьям, слава свободным народам!» За себя сражается Москва, за себя, и за Россию, и за вас, далекие братья, за человечество, за весь мир.

ПОСЛЕ РОСТОВА

26 ноября берлинская радиостанция спесиво заявила: «Когда немцы занимают какой-нибудь город, они никогда его не отдают». Три дня спустя хвастунов выгнали из Ростова. Бежали знаменитые танкисты Клейста, бежали «горные стрелки» Клюбера, бежали «викинги» — бежали, как будто они не викинги, но самые обыкновенные итальянцы.

Германское командование опубликовало изумительную сводку. Вот ее текст:

«Войска, оккупировавшие Ростов, в соответствии с полученными приказами эвакуировали кварталы города, чтобы предпринять ставшие необходимыми бес-

пощадные репрессивные меры по отношению к населению, которое вопреки правилам войны приняло участие в боях, направленных в спину германских войск».

Суровое у нас время — нам не до смеха. Но здесь давайте посмеемся! Битые немцы все еще хорохорятся. Они уверяют, что они ушли из Ростова назло нам. Они ушли, потому что им нужно расправиться с населением. Мы знаем, что немцы умеют расправляться с мирными жителями на месте. Чтобы вешать жителей Белграда, они не уходят в Загреб. Чтобы терзать парижан, они не перекочевывают в Лилль. Если они ушли из Ростова, это потому, что их из Ростова выгнали. Это понятно даже немецким дуракам, которых девять лет отучали думать. Это понятно даже немецким детям.

Они бегут к Таганрогу и в злобе ругаются: «Мы расправимся с жителями Ростова». Но пять тысяч палачей уже негодны для расправы: их закопали в землю. Они кричат: «Мы разгромим город из орудий!» Но наши бойцы считают орудия, захваченные у немцев.

Они повторяют: «Мы ушли из Ростова, чтобы наказать Ростов». Браво, эсэсы! Вам придется «наказать» и всю Россию — уйти прочь.

Но не пять тысяч трупов мы зароем в нашу землю, а пять миллионов.

Освобождение Ростова — радостная весть. Это — первая ласточка. Это — первый освобожденный город. Ростов говорит защитникам Москвы: «Держитесь! Немцы умеют не только наступать. Они умеют и убегать».

Мы знаем: опасность по-прежнему велика. Враг на пороге Москвы и Ленинграда. Но сегодня с новой верой мы говорим: «Стой! Ни шагу назад!» Русские показали, что они умеют бить немцев. Трудно только начало.

ЖИВЫЕ ТЕНИ

Телеграмма из Парижа сообщает: «Германские оккупационные власти решили снести памятники Вольтеру и Жан-Жаку Руссо. Металл будет использован для нужд военного ведомства».

У немчуры хозяйственный глаз и длинные руки. Кастрюля? Тащи кастрюлю! Дверная ручка? Живо отвинчивай! Памятник? Давай памятник!

Вольтер стоял на набережной Сены. Он глядел на букинистов, на старые, очень старые книги. Он глядел также на веселых парижских детей. Это была замечательная статуя, и это была душа Франции: ее благородная ирония, ее разум, ее любовь к свету. Теперь по набережной Сены бродят тупые ефрейторы. Их раздражала улыбка старого француза — бронзовая, но живая.

Руссо и Вольтер зажгли в сердце Франции любовь к свободе. Их книги были фундаментом величественного здания, именуемого французской революцией. После Руссо стала постыдной несправедливость. После Вольтера стало позорным изуверство. Теперь, когда Францию захватили люди, для которых справедливость — пустой звук, для которых просвещение — враг, нет места в Париже для Руссо и Вольтера. Может быть, на освободившиеся пьедесталы немцы поставят другие статуи из гипса: вместо Руссо мясник Гиммлер, вместо Вольтера колченогий Геббельс.

Мы знали, что гитлеровцы ненавидят будущее. Они хотят остановить ход истории. Они беспощадно истребляют дерзкую мысль. Они травят изобретателей и поэтов. Они ненавидят и настоящее. Европа жила большой, сложной жизнью. Люди работали, боролись, любили, мечтали. Гитлеровцы обратили Европу в концлагерь, в пустыню, в кладбище. Они ненавидят и прошлое. У них нет предков. На кого они могут сослаться, кого помянуть? Даже инквизиторы отрекутся от Гиммлера. Даже колдуны-алхимики высмеют Геббельса. Только древние германцы, варвары в звериных шкурах, приносившие кровавые жертвы богу Вотану, с удовлетворением посмотрят на зверства тирольского шпика.

Они воюют с памятниками. В Кракове они снесли статую Шопена. В Париже — статуи Вольтера и Руссо. У нас они стреляли в портреты Пушкина. Но тени прошлого живы. Их не расплавить, не застрелить. В городах истерзанной Польши по ночам бродит тень Шопена. В тишине слышатся вечные мелодии, и поляки говорят друг другу: «Жива красота. Жива Польша». По улицам темного Парижа ночью ступает Руссо. Он заходит в печальные дома. Он повторяет старые слова о совести, о счастье. В ставни стучится Вольтер. Старик пришел, чтобы приободрить французов. Он говорит о глупости тиранов, о неизбежной победе разума.

В Москве на Тверском бульваре стоит Александр Сергеевич Пушкин, и зима снова серебрит его юную голову. Защитники Москвы охраняют не только сон живых москвичей. Они охраняют и статую великого поэта. И в напряженной тишине, между двумя атаками, московские переулки обходят крылатые слова:

...что в мой жестокий век восславил я свободу...

Свобода, тебя не снести!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Год году рознь. Бывают годы тихие и дремучие. Люди проводят новые дороги, пишут романы, открывают сыворотки. Блаженно улыбаются новорожденные, и старики умирают от старости. Бывают и другие годы, они сразу выглядят как даты. Их трудно пережить, и забыть их не дано. Таким останется в нашей памяти год 1941.

Первого января 1941 года Гитлер сказал: «Этот год будет годом нашей конечной победы». У маньяка, завоевавшего к тому времени половину Европы, кружилась голова. Он видел перед собой коленопреклоненное человечество, джунгли Индии, преображенные в мюнхенские пивные, немок, мечущих свой приплод в русских степях, и проволоку концлагерей от Северного полюса до Южного. Вряд ли история знала столь захолустного мечтателя. Грандиозной военной машиной управляет полуграмотный и душевнобольной пигмей. Мелкий бес плюет в бюст Вольтера и суеверно сжигает «Романсеро» Гейне.

Немцы обожают слово «Kolossal» — все у них «колоссальное» — и танки, и женщины, и шутки. Трубка? Два метра длины. Пивная кружка? Три литра вместимости. Статуя Германии? На мизинце этой Германии уместится шестипудовый Геринг. «Колоссальными» были и мечты Гитлера. Маньяк лишен радостей жизни. Он не женат. Он не ест мяса, не курит. Ему нужны другие утехи: пожар тысячи городов, агония миллионов людей, пытки, виселицы.

Год тому назад Гитлер был еще пьян французской кровью. Он еще дышал гарью сожженного Роттердама. Он еще тешился развалинами Лондона и Ковентри. Новый год казался ему заманчивым — сколько еще неопустошенных стран и неубитых людей!

Многим казалось, что Гитлер идет к победе. Он как бы шутя сжег Белград и надругался над камнями Акрополя. Он захватил Крит. Он ворвался в Египет. Он поднял мятеж в Ираке. Он расположился в Сирии. Он послал пиратов к берегам Америки и хвастал: «Америка никогда не осмелится выступить против меня».

Маньяк вертел глобус: он искал землю для новых кладбищ. В июньскую ночь он напал на Россию. Он двинул на нас все танки Европы. Он захватил Белоруссию и Украину. Немецкие офицеры любовались в бинокли башнями Кремля. Гитлер проник в самое сердце России. Немцы резвились в Ясной Поляне, жгли тургеневские усадьбы, шли на Рязань. Немецкие танкисты безобразничали в Ростове. Немецкие интенданты уже чуяли запах бакинской нефти. Одиннадцать месяцев Гитлер торжествовал. Но в году — двенадцать месяцев, и декабрь — последний месяц. 1941 год не стал для Гитлера годом «конечной победы». 1941 год стал для Гитлера годом первого поражения.

Декабрь увидел новых немецких солдат. Их не узнать. Они поседели от инея. Они забыли о «крестовом походе», о расовых признаках. Они забыли даже о трофейных подстаканниках. «Железным крестам» они предпочитают кацавейки, и даже генералы думают не столько о «великой Германии», сколько о теплых набрюшниках.

В фатальный для Гитлера месяц, декабрь, Америка объявила войну Германии. В 1941 году Гитлер получил одного нового союзника: уголовника Павелича, правителя «независимой Хорватии». В 1941 году Гитлер получил двух новых врагов: СССР и США.

В захваченных областях Советского Союза Гитлер нашел мало пшеницы и много партизан. Каждый захваченный город стал западней для немцев, каждая тыловая дорога стала для них дорогой смерти. С востока в Германию идут длинные эшелоны: солдаты с отмороженными конечностями, одноногие, безрукие, слепые. А на Востоке — могилы, могилы в лесах, могилы в степи, могилы среди городских домов — немецкие кости, раскиданные от Вислы до Дона.

Настанет минута, часы пробьют двенадцать в черном, холодном Берлине. Кто первый скажет запинаясь: «С Новым годом»? Могильщик Гитлер? Или его возлюбленная, безносая дама — смерть? По главной ули-

це Берлина Унтер-ден-Линден пройдут голодные женщины в трухлявых платьях. Гитлер отнял у них мужей. Мужья погибли — под Ростовом, под Ленинградом, под Тулой, под Калугой. Гитлер разул и раздел свой народ. Он уморил его на голодном пайке. Он привез в страну миллионы иностранцев: рабочий скот. Голодные итальянцы спят с женами немецких ефрейторов, и пленные французы, проклиная Германию, пашут ненавистную им землю. Чертополох взойдет на ней, крапива. Германия стала тюрьмой и публичным домом Европы. Стучат на Унтер-ден-Линден культяпки калек. Чернеют развалины домов, снесенных английскими и русскими бомбами. «С Новым годом»,— скажет слепой вдове, и вдова ответит: «Блаженны слепые».

С какой радостью Гитлер остановил бы время! Он больше не верит в будущее. Он жадно цепляется за прошлое. Он истерически выкрикивает: «Я выступил... Я покорил... Я победил...» Из всех глагольных времен на его долю осталось одно: прошедшее. Он с ненавистью смотрит на новую непривычную цифру — 1942. Он охотно заменил бы ее другой — 1940. Ему еще кажется минутами, что он в Компьенском лесу глумится над поверженной Францией. Но время не то. Два года не прошли даром. Эсэсовцы Гитлера спят непробудным сном в снегах России. А его маршалы? Маршалов он разогнал.

Русский декабрь стал надеждой мира. Волхвы и народы смотрят на звезды Кремля. «С Новым годом» — эти привычные слова звучат теперь по-иному: в них надежда измученного человечества. Люди мечтают о мире, о хлебе, о свободе, и новый год сулит им счастье. Сейчас на севере Норвегии круглые сутки ночь. Рыбаки Тромсё слушают голос бури. Они говорят друг другу: «С Новым годом! В этом году они уберутся восвояси». В Греции сейчас цветут мимозы — среди голода и смерти. В Греции пастухи говорят друг другу: «С Новым годом! В этом году мы их выгоним». Ночь над Парижем. Когда-то он сиял и смеялся. Теперь он молчит. И только под крышами Парижа в черной мансарде девушка шепчет другу: «С Новым годом! В этом году мы их перебьем».

В ночь на новый год наши бойцы гонят врага. Для них новогодняя ночь — ночь высокой работы. О них сейчас думает наша страна от Мурманска до Ашхабада. С Новым годом, Красная Армия! Ты выдержала

страшные дни. Ты не отдала немцам Москву. Ты пройдешь по освобожденной земле, как весенний ветер. Ты пройдешь по Германии, как очистительная гроза.

Мы не меряем победы на аршины и на фунты. Мы не примем четвертушки победы, восьмушки свободы, половинки мира. Мы хотим свободы для себя и для всех народов. Не погасить маяка свободы у берегов Америки. Не поставить на колени детей Лондона. Не быть Парижу немецким участком. Не быть Польше немецкой каторгой. Мы хотим мира не на пять, не на десять, не на двадцать лет. Мы хотим, чтобы наши дети забыли о голосе сирен. Мы хотим, чтобы они рассказывали о танках, как о доисторических чудовищах. Мы хотим мира для наших детей и для наших внуков. Не затем мы сажаем деревья, не затем строим заводы, чтобы каждые четверть века на нас нападали буйные кочевники Берлина. Мы хотим полной победы. Палачей мы уничтожим. Их оружие сломаем.

Впереди, за жертвами и за подвигами, нас ждет чудесное будущее. Мы выросли на сто лет. Мы очистились от всех скверн. Люди, которые будут жить после нашей победы, узнают всю меру человеческого счастья.

1942

ВЕСНА В ЯНВАРЕ

Сначала я считал брошенные немцами машины, потом запутался. Их были сотни. Нагло и жалко глядели на восток морды пушек. Как пойманные слоны, послушно плелись немецкие танки. Я вспомнил слова берлинской сводки: «Мы добровольно укоротили фронт...» Чудаки, они укорачивают костюм вместе с мясом. Укорачивают и мимоходом теряют танки.

Наше наступление с каждым днем крепчает. Об этом говорят немецкие могилы. Вначале видишь индивидуальные кресты с тщательно нарисованной свастикой, с затейливыми надписями. Этих хоронили еще на досуге. Их зарывали на площадях городов, в скверах, в деревнях возле школы или больницы. Немцы хотели, чтобы даже их мертвые тревожили сон наших детей. Мы проехали двадцать—тридцать километров. Пошли простые березовые кресты. Этих хоронили второпях и оптом: «Здесь погребено 18 немецких солдат», «Здесь погребен лейтенант Эрих Шредер и 11 солдат». За Малоярославцем нет и крестов. Этих не похоронили. Они валяются возле дороги. Из-под снега торчит то рука, то голова. Замерзший немец стоит у березы, рука поднята—кажется, что, мертвый, он еще хочет кого-то убить. А рядом лежит другой, заслонил рукой лицо.

На березовом кресте рука русского написала: «Шли в Москву, попали в могилу».

Дух наступления, как ветер, несет вперед наши части. Бойцы идут по целине, а снега-то, снега!.. Ничто их не останавливает. Позавчера была метель, снег слепил. Наступали. Вчера было солнце и тридцать градусов мороза, дух захватывало. Наступали.

Я разговорился с одним бойцом. Он чуть прихрамывал. Оказалось, что три дня тому назад осколок мины его ранил в колено. Хотели отослать в госпиталь. Боец запротестовал: «Не пойду! С июня я отходил. А теперь чтобы без меня?..» Мороз его веселил. Он только находил, что мороз «легонький» — «покрепчал бы, как у нас» — это сибиряк.

Генерал-майор Голубев сказал мне: «Немцы наступали отсюда, дошли до Нары. Что же, мы прошли тот же путь в два раза скорее, чем они. Мы наступаем, а потерь у них куда больше, чем у нас».

Переменилась наша армия. Выросла не только материальная часть, выросли и люди. Бойцы возмужали, будто они прожили за полгода длинную жизнь. Обогатился опыт каждого. Боец, колхозник из Заволжья, говорит: «Я теперь это дело раскусил — как фрицев бить». И смеется генерал Голубев: «Я две военных академии прошел. Война — третья и самая главная...»

Немцы упорно обороняют узлы сопротивления. Они хотят измотать нас. Но мы не расшибаем голову об стену: мы обходим узлы сопротивления. Немцы много месяцев говорили о мешках, обхватах, клиньях, клещах. Теперь они барахтаются в нашем мешке, они задыхаются в наших обхватах, они корчатся, пронзенные нашими клиньями, и они умирают, сдавленные нашими клещами.

В яркий, ослепительный день января на дороге наступления я думаю о пионерах победы. Победу мы начали строить не 6 декабря, но 22 июня. Победу строили герои, не пропускавшие немцев, истреблявшие еще свежие германские дивизии, взрывавшие мосты, выходившие из вражеского окружения, пережившие горечь отступления, позволившие нашей стране выковать новое оружие и поднять на ноги новые части.

На фронте чувствуешь, какой любовью окружена Красная Армия, — для нее работает и дышит огромная страна. Если много стало у нас автоматов, это значит, что ночей не спят рабочие Урала. Если ест боец жирные щи, это значит, сибирские колхозницы помнят о фронте. «Мало у нас было минометов, теперь хорошо...» Откуда эти минометы? Завод, что в ста километрах отсюда, давно эвакуировали. Но остались старики пенсионеры, остались устаревшие станки, осталось немного сырья. Остальное сделали русская смекалка и русская преданность. Хорошие минометы. Хорошо они бьют немцев. Старые рабочие маленького русско-

го городка могут спокойно спать. А варежки чудесные у курносого, веселого минометчика. Варежки связала какая-то Маша в городе Аткарске, прислала к празднику. Фамилии своей не написала — «Маша», и все. Может теперь спокойно спать русская девушка Маша.

Ведут пленных. Лейтенант, ефрейтор, солдаты. Дрожат, хнычут. У одного левая нога в кожаном башмаке, правая в эрзац-валенке. Оказывается, правую ногу он отморозил. Ефрейтор мне поясняет: «Легко обмороженные в госпитали не отсылаются». Да и не отошлешь — у половины немецких солдат ноги отморожены. На головах пилотки. Летом они их носили лихарски. Теперь стараются засунуть под пилотку уши. Из носу течет, он не вытирает лицо — рука замерзла. А когда привели в избу, все стали чесаться. Лейтенант пахнул одеколоном, вылил, наверно, на себя утром целую бутылочку. Он приподнял свитер, чтобы сподручней было чесаться, и один из наших бойцов крикнул: «Ты погляди: не вошь — медведь! Никогда я такой не видел...» Глядят на пленных бойцы с отвращением: «Эх, немчура...»; «Вшивые фрицы...».

Ефрейтор был во Франции. Он вступил с передовыми немецкими частями в преданный Париж. Смешно подумать — может быть, я его видел в Париже? Изменился, голубчик! Спесь с них наши посбивали.

Вчера из лесу вышли четыре немца: волков выгнал мороз. От деревни осталась одна изба — другие немцы сожгли. Немцы поскреблись в дверь. Старая колхозница сплюнула: «Кто жег? Ты. Немец. Иди на мороз, грейся...»

Дощечка осталась: «Село Покровское». А села нет. Село сожгли немцы. Что видишь по дороге на запад? От изб остались трубы да скворешники на деревьях. Отступая, немцы посылали особые отряды «факельщиков» — жгли города и деревни.

Когда не успевали сжечь все, жгли самое хорошее. Жгли со смаком. В Малоярославце эти культуртрегеры показали себя вовсю: сожгли две школы-десятилетки, детские ясли, больницу и городскую библиотеку с книгами.

Вот их трупы. А рядом бутылки из-под французского шампанского, норвежские консервы, болгарские папиросы. Страшно подумать, что эти жалкие люди — господа сегодняшей Европы. Часть «господ», впрочем, уже не будет пить шампанского: лежит в промерзшей земле.

В селе Белоусово остался нетронутым ужин. Бутылки они откупорили, а пригубить не успели. В селе Балабаново штабные офицеры спали. Выбежали в подштанниках — и торжественно, в шелковых французских кальсонах, погибли от русского штыка.

Женщины, когда видят наших, плачут. Это — слезы радости, оттепель после страшной зимы. Два или три месяца они молчали. Сухими, жесткими глазами глядели на немецких палачей. Боялись перекинуться коротким словом, жалобой, вздохом. И вот отошло, прорвалось. И кажется в этот студеный день, что и впрямь на дворе весна, весна русского народа в середине русской зимы.

Страшны рассказы крестьян о черных неделях немецкого ига. Страшны не только зверства — страшен облик немца. «Показывает мне, что окурок в печку кидает, и задается: «Культур. Культур». А он, простите, при мне, при женщине, в избе оправлялся. Холодно, вот и не выходит»; «Грязные они. Ноги вымыл, утерся, а потом морду — тем же полотенцем»; «Один ест, а другой сидит за столом и вшей бьет. Глядеть противно»; «Он свое грязное белье в ведро положил. Я ему говорю — ведро чистое, а он смеется. Опоганили они нас»; «Все украли, паразиты! Детские вещи взяли. Даже трубу самоварную и ту унесли»; «Хвастали, что у них страна богатая. Нашел у моей сестры катушку ниток, а у меня кусок мыла. Мыло не душистое, простое. Все равно, обрадовался, посылку сделал — домой подарок: мыло да нитки»; «Говорят мне: стирай наше белье, а мыла не дают, показывают — стирай кулаками»; «Не дашь ему сразу — ружье приставляет».

«Опоганили нас» — хорошие слова. В них все возмущение нашего народа перед грязью не только телесной, но и душевной этих гансов и фрицев. Они слыли культурными. Теперь все увидели, что такое их «культура» — похабные открытки и пьянки. Они слыли чистоплотными — теперь все увидели вшивых паршивцев, с чесоткой, которые устраивали в чистой избе нужник.

Когда их выгоняют, в уцелевших избах три дня моют пол кипятком, скребут, чистят. «Что дверь раскрыла, бабушка?» — спросил я. Старуха ответила: «Ихний дух выветриваю. Прокоптили дом, провоняли, ироды».

Крестьянка с хорошим русским лицом, с лицом Марфы-посадницы, рассказала мне: «Боялись они ид-

ти на фронт. Один плакал. Говорит мне: «Матка, помолись за меня» — и на икону кажет. Я и вправду помолилась: «Чтобы тебя, окаянного, убили».

Добрым был русский народ. Это всякий знает. Умел он жалеть, умел снисходить. Немцы совершили чудо: выжгли они из русского сердца жалость, родили смертную ненависть. Старики и те хотят одного: «Всех их перебить». Некоторые из них три месяца тому назад еще были слепыми и глухими. Один встретил наших с куренком, кланяется, говорит: «Дураков вы принимаете? Дурак я. Шли немцы, а я думал — мне что? Мы люди маленькие. А они внучку мою угнали. Так и не знаю, где она. Корову зарезали. С меня валенки сняли, видишь, в чем хожу. Курицу одну я от них упрятал. Как услышал, что уходят,— затопил печь, старуха для вас зажарила. Спасибо, что пришли...» Стоит и плачет. А в душе у этого семидесятилетнего деда — та же ненависть, что у всех нас.

Дом старика не сожгли — не успели. Много домов спасли красноармейцы от огня. За Малоярославцем наши наступали быстро, и немцы, откатываясь, не успевали выполнять приказ — все уничтожать. В одном селе факельщики уже выгнали всех из домов, а тут услыхали пулеметную очередь и убежали. Деревня уцелела. В другом селе подожгли один дом, потом показались наши лыжники — немцы удрали. А пожар наши погасили. Не только дома спасли бойцы — жизни. Я видел приговоренных к расстрелу — их не успели расстрелять. Тащили девушку с собой — испугались, бросили. Каждый красноармеец может написать своим: «Я спас от огня русский дом. В этом доме теперь живут русские. Будут там расти дети. Вспомнят и про нас. Я спас от веревки русского человека. Его вели к виселице. Но мы подоспели». Не только родину спасает боец, он спасает еще такое-то село — Лукьяновку, или Петровское, или Выселки. Он спасает такого-то человека — пастуха Федю, лесничего Кривцова, учительницу Марию Владимировну. И каждого бойца благословляют теперь в освобожденных домах спасенные люди.

По скрипучему снегу едут в санях крестьяне, торопятся — скорей бы повидать свой дом. Еще недавно они шли на восток, суровые и скорбные. Теперь, улыбаясь и жмурясь от яркого, залитого солнцем снега, они идут на запад.

Их обгоняют бойцы. Они тоже торопятся: выбить врага из Медыни. Этот город рядом. Его обошли. Его сжали. Завтра заплачут от радости люди и камни еще одного освобожденного города.

Пусть в Малоярославце люди радуются — сегодня снова начала работать электростанция, и в домах светло. Пусть в Боровске вставляют в рамы стекла — люди наконец-то отогреются. Пусть в Ильинском колхозники выветривают и чистят загаженные немцами дома. Все это позади. Красная Армия идет вперед, и она смотрит вперед. Она думает не о Малоярославце, не о Боровске. Она думает о Вязьме, о Смоленске. Перед ней люди, которых нужно спасти от смерти,— русские люди. И по пояс в снегу, не зная усталости, идут вперед любимцы России.

МОЖАЙСК ВЗЯТ

Передо мной немецкая карта. Ее нашли в брошенной машине. На этой карте две стрелы. Они направлены в сердце России — Москву. Одна пронзает Одинцово, другая Голицыно. Это карта ноября, так называемое «Можайское направление».

Можайск взят. Этого все ждали, и все же это нам кажется нечаянной радостью. Для москвичей имя древнего города стало символом: «Они еще в Можайске». Из Можайска шли танки на Москву. Можайск для немцев был последним полустанком перед Красной площадью. В Можайске немцы заранее праздновали победу. Сегодня москвичи с облегчением скажут: «В Можайске их больше нет».

Другими стали и лица людей, и карты штабов. Вот глядит на карту генерал-лейтенант Говоров. Красные стрелы рвутся на запад. В Можайске была доиграна последняя сцена великой битвы за Москву.

В этой битве принимали участие стойкие бойцы, отважные командиры, танкисты и артиллеристы, летчики и конники. Зоркий и спокойный глаз наркома обороны следил за каждой деталью гигантского сражения.

Передо мной один из участников битвы за Москву: генерал Говоров. Хорошее русское лицо, крупные черты, как бы вылепленные, густой, напряженный взгляд. Чувствуется спокойствие, присущее силе, сдержанная страсть, естественная и простая отвага.

Вот уже четверть века, как генерал Говоров занят высокими трудами артиллериста. Он бил немцев в 1916 году, он бил интервентов, он пробивал линию Маннергейма.

Артиллерия — издавна гордость русского оружия. Славные традиции восприняли артиллеристы Красной Армии. В самые трудные дни советская артиллерия сохраняла свое превосходство. Есть в каждом артиллеристе великолепная трезвость ума, чувство числа, страстность, проверяемая математикой. Как это непохоже на истеричность немецкого наскока, на треск автоматов, на грохот мотоциклов, на комедиантские речи Гитлера, на пьяные морды эсэсовцев! Может быть, поэтому, артиллерист с головы до ног, генерал Говоров кажется мне воплощением спокойного русского отпора.

Генерал рассказывает о мужестве артиллеристов, защищавших в октябре Москву. Бывало, они оставались одни... Они не пропустили немцев. Теперь артиллерия перешла в наступление: «Нам приходится прогрызать оборону врага. Артиллерия участвует во всех фазах битвы. Она должна уничтожить узел сопротивления, изолировать его от других узлов. Потом — следующий, третий. Насыщенность автоматическим оружием не позволяет ограничиться подавлением огневых точек. Загонять под землю? Нет, уничтожать. Артиллерия теперь не может руководствоваться только заявкой пехоты. Артиллерия ведет бой...»

Не замолкает телефон в штабе. Он дребезжит всю ночь. Генерал не спит. Его тяжелые свинцовые глаза впились в карту. Он говорит в трубку: «Нет. Направо. «Язык» показал, что они отходят по рокадной...» Потом генерал надевает шинель и, огромный, шагает по снегу: проверяет, останавливает, торопит, скромный и мужественный, хороший хозяин и хороший солдат.

На Можайском направлении немецкий фронт был прорван 10 января. Сейчас над Можайском развевается наше знамя. Здесь у немцев было много материальной части, огромные склады. Все это предназначалось для Москвы. Многое действительно попадет в Москву — вот немецкие тягачи, немецкие орудия, немецкие машины...

Сожженные дома. Отравленные колодцы. Минированы не только обочины, но и трупы фрицев. Варварским разрушением немцы пытаются задержать Красную Армию. Напрасные усилия! Воду в колодцах

подвергают анализу. На мину существуют миноуловители. А дома?.. Что же, бойцы давно привыкли к лесам, вне населенных пунктов спокойней.

Идут по снегу бойцы. Связисты подвешивают провода. Гремят орудия. Широкая прямая дорога ведет от Можайска на запад. Мы прошли только первый переход. Это — длинная дорога. Отсюда до крайнего мыса Европы, до «конца земли» — Финистера — царство смерти. Это — трудная дорога. Но покорно скрипит снег, но уверенно ступают бойцы, длинная дорога будет пройдена.

20 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА

Я видел немецкий танк, выкрашенный в зеленый цвет. Его подбили наши в начале апреля, тогда еще лежал снег, и немецкий танк напоминал франта, который преждевременно сменил одежду. Но не франтовство — нужда выгнала в холод весенние танки и весенние дивизии Гитлера. А теперь снег сошел. Дороги потекли. Они покрыты ветками, едешь и подпрыгиваешь: автомобиль будто скачет галопом. Распутица на несколько недель замедлила военные операции. Кое-где — в Карелии, в районе Старой Руссы, на Брянском фронте — продолжаются атаки наших частей, но это отдельные операции. Перед майскими битвами наступило грозное затишье. А по Десне, по Днепру проходят последние льдины. На полях — разбитые немецкие машины, трупы людей и лошадей, шлемы, неразорвавшиеся снаряды — снег сошел, открылась угрюмая картина военной весны.

Никогда столько не говорили о весне, как в этом году. Гитлер колдовал этим словом. Он хотел приободрить немецкий народ. И вот весна наступила. Две армии готовятся к бою. Тем временем Гитлер начинает лихорадочно оглядываться назад. Что его смущает? Добротные фугаски томми? Кампания в Америке и в Англии за второй фронт? Растущее возмущение порабощенных народов? Так или иначе, Гитлер начал весну походом... на Виши. Для этого ему не пришлось израсходовать много горючего. Несколько баков на поездки Лаваля и Абеца. Английское радио передает, что фон Рундштедт перекочевал с Украины в Париж. Это, однако, только путешествие генерала. По дороге

фон Рундштедт должен был встретиться с немецкими эшелонами: Гитлер продолжает перебрасывать дивизии из Франции, Бельгии, Норвегии в Россию. Видимо, ни RAF, ни статьи в американский печати, ни гнев безоружных французов не отразились на немецкой стратегии.

Перед весенними битвами Гитлер хочет приободрить своих солдат, потерпевших зимой поражение. Он пускает слухи о новом «колоссальном» вооружении немцев. Он распространяет вздорные сообщения о слабости Красной Армии. Вряд ли солдаты 16-й армии обрадуются, услыхав по радио рассказы Берлина о том, что в русских полках теперь только шестидесятилетние старики и шестнадцатилетние подростки...

Сейчас не время говорить о наших резервах. О них расскажут летние битвы. Я побывал в одной из резервных частей, видел молодых, крепких бойцов, хорошо обученных и хорошо экипированных. Настроение в резервных частях прекрасное: все понимают, что враг еще очень силен, но все понимают также, что враг будет разбит. Прошлым летом люди помнили о Париже, о Дюнкерке, о Крите. Теперь они помнят о Калинине, о Калуге, о Можайске, о Ростове. Ненависть к захватчикам воодушевляет резервистов. Прошлым летом Германия представлялась русскому крестьянину государством, фашизм еще мог сойти за газетное слово. Теперь фашизм стал реальностью — сожженными избами, трупами детей, горем народа. Между Нью-Йорком и Филиппинами не только тысячи миль, между ними — мир. Сибиряк чувствует, что под Смоленском он защищает свою землю и своих детей.

Наши заводы хорошо работали эту зиму. Не стоит напоминать, в каких тяжелых условиях протекала эта работа. Миллионы эвакуированных показали себя героями. Есть у нас танки. Есть самолеты. Наши друзья часто спрашивают: «А как показали себя американские истребители? Английские танки?» Легко понять чувства американского рабочего или английского моряка, которые хотят проверить, не напрасно ли пропал их труд. Отвечу сразу: не напрасно. Я видел немецкие бомбардировщики, сбитые американскими истребителями. Я видел русские деревни, в освобождении которых участвовали английские «матильды». Но правда всего дороже, и друзьям говорят только правду: у нас фронт не в сто километров, и на нашем огромном

фронте английские и американские истребители или танки — это отдельные эпизоды. Достаточно вспомнить, что все заводы Европы работают на Гитлера. И Гитлер самолеты не коллекционирует. Гитлер не копит свои танки — его самолеты и танки не во Франции, не в Норвегии, они даже не в Ливии — они перед нами и над нами.

О втором фронте говорят у нас повсюду — в блиндажах и в поездах, в городах и в деревнях, женщины и бойцы, командиры и рабочие. Мы не осуждаем, не спорим, мы просто хотим понять. Мы читаем цифры ежемесячной продукции авиазаводов США и улыбаемся: мы горды за наших друзей. И тотчас в голове рождается мысль: какой будет судьба этих самолетов?

Мы говорим о втором фронте, как о судьбе наших друзей. Мы знаем, что теперь мы воюем одни против общего врага. Вот уже триста дней, как война опустошает наши поля, вот уже триста ночей, как сирены прорезают наши ночи. Мы пошли на все жертвы. Мы не играем в покер, мы воюем. Судьба Ленинграда, его истерзанные дворцы, его погибшие дети — это символ русского мужества и русской жертвенности. Накануне весны мы говорим о втором фронте, как о военной мудрости и как о человеческой морали. Так мать, у которой все дети на фронте, глядит на другую — ее дети дома...

ОПРАВДАНИЕ НЕНАВИСТИ

Из всех русских писателей гитлеровские идеологи относятся наиболее снисходительно к Достоевскому. Гитлеровцам понравились сцены нравственного терзания, показанные великим русским писателем. Однако фашисты — плохие читатели, им не понять гения Достоевского, который, опускаясь в темные глубины души, озарял их светом сострадания и любви. Один из немецких «ценителей» Достоевского написал в журнальной статье: «Достоевский — это оправдание пыток». Глупые и мерзкие слова. Гитлеровцы пытаются оправдать Гиммлера Достоевским. Они не в силах понять жертвенности Сони, доброты Груни. Русская душа для них — запечатанная книга.

Русский человек по природе незлобив, он рубит в сердцах, легко отходит, способен понять и простить.

Многие французские мемуаристы рассказывают, как русские солдаты, попав в Париж после падения Наполеона, помогали француженкам носить воду, играли с детьми, кормили солдатскими щами парижскую голытьбу. Даже в те черные годы, когда враг нападал на Россию, русские хорошо обращались с пленными. Петр после Полтавы обласкал пленных шведов. Наполеоновский офицер Соваж в своих воспоминаниях, посвященных 1812 году, называет русских «добрыми детьми».

Лет десять тому назад я попал в трансильванский город Орадеа-Маре. Меня удивило, что в магазинах, в кафе, в мастерских люди понимали по-русски. Оказалось, что многие жители этого города во время мировой войны попали в плен к русским. Все они трогательно вспоминали годы, проведенные в Сибири или в Центральной России, подолгу рассказывали о доброте и участливости русских. Еще в начале этой войны я не раз видел, как наши бойцы мирно калякали с пленными, делились с ними табаком и едой. Как случилось, что советский народ возненавидел немцев смертной ненавистью?

Ненависть не лежала в душе русского человека. Она не свалилась с неба. Ее наш народ выстрадал. Вначале многие из нас думали, что это — война как война, что против нас такие же люди, только иначе одетые. Мы были воспитаны на великих идеях человеческого братства и солидарности. Мы верили в силу слова, и многие из нас не понимали, что перед нами не люди, а страшные, отвратительные существа, что человеческое братство диктует нам быть беспощадными к фашистам, что с гитлеровцами можно разговаривать только на языке снарядов и бомб.

«Волкодав — прав, а людоед — нет». Одно дело убить бешеного волка, другое — занести свою руку на человека. Теперь всякий советский человек знает, что на нас напала свора волков.

Дикарь может разбить изумительную статую, людоед может съесть величайшего ученого, попавшего на остров, населенный каннибалами. Немецкие фашисты — это образованные дикари и сознательные людоеды. Просматривая недавно дневники немецких солдат, я увидел, что один из них, принимавший участие в клинском погроме, был меломаном и любителем Чайковского. Оскверняя дом композитора, он знал,

что он делает. Искалечив Новгород, немцы написали длинные изыскания об «архитектурных шедеврах Неугарда» (так они называют Новгород).

На трупе одного немца нашли детские штанишки, запачканные кровью, и фотографию детей. Он убил русского ребенка, но своих детей он, наверно, любил. Убийства для немцев — не проявление душевного разгула, но методическая деятельность. Убив тысячи детей в Киеве, один немец написал: «Мы убиваем маленьких представителей страшного племени».

Конечно, среди немцев имеются добрые и злые люди, но дело не в душевных свойствах того или иного гитлеровца. Немецкие добряки, те, что у себя дома сюсюкают, катают на спине детишек и кормят немецких кошек паечной колбасой, убивают русских детей с такой же педантичностью, как и злые. Они убивают, потому что они уверовали, что на земле достойны жить только люди немецкой крови.

В начале войны я показал пленному немцу листовку. Это была одна из наших первых листовок, в ней чувствовалась наивность человека, разбуженного среди ночи бомбами. В листовке было сказано, что немцы напали на нас и ведут несправедливую войну. Немец прочитал и пожал плечами: «Меня это не интересует». Его не интересовал вопрос о справедливости: он шел за украинским салом. Ему внушили, что разбойные войны — это заработок. Он шел добывать «жизненное пространство» для Германии и «трофейные» чулки для своей супруги.

В грабеже немцев нас поразили деловитость, аккуратность. Это не проделки отдельных мародеров, не бесчинства разнузданной солдатни, это — принцип, на котором построена гитлеровская армия. Каждый немецкий солдат материально заинтересован в разбойном походе. Я написал бы для гитлеровских солдат очень короткую листовку, всего три слова: «Сала не будет». Это то, что они способны понять, и это то, что их действительно интересует.

В записных книжках немцев можно найти перечень награбленного; они считают, сколько кур съели, сколько отобрали одеял. В своем разбое они беззастенчивы, как будто они не раздевают живых людей, а собирают ягоды. Если женщина попытается не отдать немецкому солдату детское платьице, он ей пригрозит винтовкой, если она вздумает защищать свое добро, он ее убьет.

Для него это не преступление: он убивает женщин, как ломают сучья в лесу — не задумываясь.

Отступая, гитлеровцы сжигают все: для немцев русское население такой же враг, как Красная Армия. Оставить русскую семью без крова для них военное достижение. У себя в Германии они ходят на цыпочках, не бросят на пол спички, не посмеют помять травинку в сквере. У нас они вытоптали целые области, загадили города, устроили в музеях уборные, превратили школы в конюшни. Это делают не только померанские землепашцы или тирольские пастухи, это делают приват-доценты, журналисты, доктора философии и магистры права.

Когда боец-колхозник увидел впервые деревню в Московской или Тульской области, от которой остались только трубы да скворечницы, он вспомнил свою деревню на Волге или в Сибири. Он увидел в лютый мороз женщин и детей, раздетых, разутых немцами. И в нем родилась лютая ненависть.

Один немецкий генерал, приказав своим подчиненным безжалостно расправиться с населением, добавил: «Сейте страх!» Глупцы, они не знали русской души. Они посеяли не страх, но тот ветер, что рождает бурю. Первая виселица, сколоченная немцами на советской земле, решила многое.

Теперь все у нас поняли, что эта война не похожа на прежние войны. Впервые перед нашим народом оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся на науку, превратившие истребление грудных детей в последнее слово государственной мудрости.

Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями, сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь наша ненависть созрела, она уже не мутит голову, как молодое вино, она перешла в спокойную решимость. Мы поняли, что нам на земле с фашистами не жить. Мы поняли, что здесь нет места ни для уступок, ни для разговоров, что дело идет о самом простом: о праве дышать.

Ненавидя, наш народ не потерял своей исконной доброты. Нужно ли говорить о том, как испытания расширили сердце каждого? Нельзя без волнения глядеть на многодетных матерей, которые в наше трудное время берут сирот и делятся с ними последним.

Я вспомнил девушку Любу Сосункевич, военного фельдшера. Она под огнем перевязывала раненых. Землянку окружили немцы. Тогда с револьвером в руке, одна против десятка немецких солдат, она отстояла раненых, спасла их от надругательств, от пыток.

Скромна работа другой русской девушки — Вари Смирновой: под минометным и ружейным огнем она, как драгоценную ношу, несет пачку с письмами на передовые позиции. Она мне сказала: «А как же иначе?.. Ведь все ждут писем, без письма скука съест...»

Но не только к своим живо участие в душе русского, он понимает горе других народов. Большая человеческая теплота чувствуется в обращении женщин многострадального Ленинграда к женщинам Лондона. Не раз бойцы меня расспрашивали о горе Парижа. Привелось мне присутствовать при том, как бойцы слушали заметку о голодной смерти, на которую гитлеровцы обрекли греков, и один боец, колхозник из Саратовской области, выслушав, сказал: «Вот ведь какая беда!.. И как бы скорей перебить этих фрицев, людям помочь?..»

Наша ненависть к гитлеровцам продиктована любовью, любовью к родине, к человеку и к человечеству. В этом — сила нашей ненависти. В этом — ее оправдание. Сталкиваясь с гитлеровцами, мы видим, как слепая злоба опустошила душу Германии. Мы далеки от подобной злобы. Мы ненавидим каждого гитлеровца за то, что он — представитель человеконенавистнического начала, за то, что он — убежденный палач и принципиальный грабитель, за слезы вдов, за омраченное детство сирот, за тоскливые караваны беженцев, за вытоптанные поля, за уничтожение миллионов жизней.

Мы сражаемся не против людей, но против автоматов, которые выглядят как люди, но в которых не осталось ничего человеческого. Наша ненависть еще сильней оттого, что они с виду похожи на человека, что они могут смеяться, что они могут гладить коня или собаку, что они в дневниках занимаются самоанализом, что они замаскированы под людей и под культурных европейцев.

Мы часто употребляем слова, меняя их первоначальное значение. Не о низменной мести мечтают наши люди, призывая к отмщению. Не для того мы воспитали наших юношей, чтобы они снизошли до гитлеровских расправ. Никогда не станут красноар-

мейцы убивать немецких детей, жечь дом Гете в Веймаре или книгохранилище Марбурга. Месть — это расплата той же монетой, разговор на том же языке. Но у нас нет общего языка с фашистами.

Мы тоскуем о справедливости. Мы хотим уничтожить гитлеровцев, чтобы на земле возродилось человеческое начало. Мы радуемся многообразию и сложности жизни, своеобразию народов и людей. Для всех найдется место на земле. Будет жить и немецкий народ, очистившись от страшных преступлений гитлеровского десятилетия. Но есть пределы и у широты: я не хочу сейчас ни думать, ни говорить о грядущем счастье освобожденной от Гитлера Германии — мысли и слова неуместны и неискренни, пока на нашей земле бесчинствуют миллионы немцев.

Железо на сильном морозе обжигает. Ненависть, доведенная до конца, становится живительной любовью. «Смерть немецким оккупантам» — эти слова звучат, как клятва любви, как присяга на верность жизни. Бойцы, которые несут смерть немцам, не жалеют своей жизни. Их вдохновляет большое, цельное чувство, и кто скажет, где кончается обида на бесчеловечного врага и где начинается кровная привязанность к своей родине? Смерть каждого немца встречается со вздохом облегчения миллионами людей. Смерть каждого немца — это залог того, что дети Поволжья не узнают горя и что оживут древние вольности Парижа. Смерть каждого немца — это живая вода, спасение мира.

Христианская легенда изображала витязя Георгия, который поражает копьем страшного дракона, чтобы освободить узницу. Так Красная Армия уничтожает гитлеровцев и тем самым несет свободу измученному человечеству. Суровая борьба и нелегкая судьба, но не было судьбы выше.

КРЕПОСТЬ РОССИИ

Ленинград больше Ленинграда. Ленинград — это Россия. Здесь впервые русский народ выпрямился во весь рост. Здесь избяная Русь стала державой. Хороши деревянные домики, но настал день, и северная столица России покрыла топь гранитом. Сонной жизнью жили когда-то Суздаль и Владимир. Россия проснулась и двинулась к морю. Так вырос Петербург.

В нем много камня, и люди в нем крепкие как камень. В нем слышен запах моря, и люди в нем смелые, как моряки. Город шел впереди страны, дважды с него началась наша история: при Петре, при Ленине. Это город ученых, мозг страны. Это город Пушкина, Гоголя, Достоевского, и нет в мире человека, который не знал бы, что такое Невский проспект. Это город путиловцев, город, где Ленин говорил с рабочими и где пушки «Авроры» говорили с веками. Это самый прекрасный город мира, и построить такой город мог только великий народ.

«Мы возьмем Петербург, как мы взяли Париж»,— писала прошлой осенью газета «Берлинер берзенцайтунг». Глупые слова! Немцы никогда не брали Парижа: Париж им сдали предатели. Немцы вошли в Париж, как входит приезжий в гостиницу,—перед ними распахнулись все двери. А Ленинград не гостиница, Ленинград—крепость, и немцы не вошли в Ленинград. Осенью обер-лейтенанты обсуждали, где они разместятся: в Зимнем дворце или в гостинице «Астория». Их разместили в земле.

Немцы особенно ненавидят Ленинград. Для них этот город—символ русской мощи. Никто никогда Ленинграда не завоевывал. Из Петербурга русские диктовали мирные условия побежденному Берлину. В Петербург приезжали немецкие колбасники и немецкие парикмахеры, кормились с русского стола. Но когда в восемнадцатом году на Петроград двинулись немецкие генералы, рабочие Питера их встретили хорошим пулеметным огнем.

В немецком военном учебнике сказано: «Ленинград не защищен никакими естественными преградами». Глупцы, они не знали, что Ленинград защищен самой верной преградой—любовью России.

Немцы захотели отомстить Ленинграду. Они ранят его изумительные памятники. Они убивают его женщин и детей. Они стараются задушить неукротимый город. Но Ленинград не один. С Ленинградом—Россия.

Кто на переднем крае? Вот украинец. Он дерется за нашу северную столицу. Он знает, что среди отважных бойцов, которые теперь сражаются на юге, немало ленинградцев. А рядом с украинцем—рабочий-сибиряк, пастух из Армении, колхозник из Поволжья, еврей. Эти люди говорили на разных языках, теперь они на одном языке повторяют:

— За родину, за Ленинград!

Год воюет Россия. Год воюет Ленинград. 22 июня 1941 года немцы смотрели на минутную стрелку. Теперь они перестали смотреть и на календарь. Они перешли нашу границу с картами Урала и Сибири. Теперь они скромно говорят: «Мы должны защищать Германию». Год тому назад они пели: «Ха-ха-ха! Это веселая война». Теперь им не до песен, теперь за них поет наша «Катюша».

Они хотели смести с лица земли Ленинград. Ленинград много пережил, но Ленинград жив. А что стало с Кельном? С Любеком? С Эссеном? С Ростоком?

Берлину не спится, Берлин знает, что он ответит сразу за все,—за Лондон и за Ленинград. У английских летчиков хорошие фугаски в две тонны. От таких даже немцы умнеют. О русских артиллеристах правильно говорят: «Эти попадут и комару в глаз». Германия хотела окружить Ленинград, выдать его своей солдатне. А теперь немцы под Ленинградом тоскливо озираются. За их спиной призрак второго фронта. Окружат Германию, и крепко окружат! Час расплаты близится.

Защитники Ленинграда не одни. С ними—Англия, с ними—Америка. Зачем отправляются каждый день американские солдаты в Англию? Не обозревать достопримечательности—воевать. Зачем Америка изготовляет каждый месяц пять тысяч самолетов? Не копить машины—бить немцев.

Вот и лето. Это—время гроз. Гитлер не может ждать. Каждый день работает против него. Гитлер попробует наступать. Он все поставит на карту. Скорпион, издыхая, кусается, но наши бойцы научились бить немецких скорпионов. Год не прошел зря. Он принес нам много горя, и это горе нас закалило, у нас теперь каждая деревня стала непобедимой, как Ленинград. Наша страна была мирной страной. Немцы ее обидели смертной обидой, кровью русских детей, пеплом русских городов. И Россия стала страной в солдатской шинели, страной с винтовкой, страной-дотом. О ленинградский гранит сломал себе зубы немецкий пасюк, жадная крыса—Гитлер.

За раны Ленинграда гитлеровцы ответят на Рейне и на Одере. Еще раз по врагу, защитники Ленинграда! К вам на помощь идут сыны России, корабли мира, самолеты свободы. За Ленинград мстят английские

летчики, на Ленинград работают рабочие Урала. За Ленинград воюет Россия. Века будут немцы проклинать тот час, когда припадочный ефрейтор привел их к берегам Невы. Века будут вспоминать наши внуки ваши подвиги, защитники Ленинграда!

СЕВАСТОПОЛЬ

Двадцать три дня... «Севастополь все еще держится» — эти слова облетают мир и наполняют гордостью ревнителей свободы. В первые дни немецкого штурма враги, друзья, сторонние наблюдатели взвешивали шансы двух сторон. Силы были неравными, и военные обозреватели предсказывали: «Вопрос трех дней, может быть, одной недели...» Немцы тогда хвастали: «Пятнадцатого июня мы будем пить шампанское на Графской набережной». Они знали, сколько у них самолетов, они знали, как трудно защищать город, отрезанный от всех дорог. Они забывали об одном: Севастополь не просто город. Севастополь — это слава России.

Развалины. Чудом уцелевший памятник Ленину смотрит на пожарище. Статуя выстояла — как душа нашей родины. Севастополь — островок. С трех сторон — немцы, с четвертой — вода, запруженная немецкими минами, кипящая от немецких снарядов, вода, над которой висят немецкие самолеты. Севастопольцы теперь зовут Краснодар или Новороссийск «Большой землей». Две тысячи самолетовылетов в день — немцы бомбят и бомбят. Двадцатичетырехдюймовые мортиры. Двенадцать, пятнадцать вражеских дивизий. И все же Севастополь держится.

Мы видали капитуляцию городов, прославленных крепостей, государств. Но Севастополь не сдается. Наши бойцы не играют в войну. Они не говорят: «Я сдаюсь», когда на шахматном поле у противника вдвое, втрое больше фигур.

В начале июня немцы, разнежившись на солнце, ухмылялись: им сказали, что через три дня они будут в Севастополе. Курт Кунзевиц, проживающий в Брауншвейге, писал своему брату, ефрейтору Отто: «Желаю тебе поскорее оказаться в Севастополе, а там не стесняйся. Если увидишь кого-нибудь подозрительного — к стенке! Жалеть их нечего. И без церемоний гони всех

вон из домов. Бери хлеб, яйца, а если посмеют ворчать, стреляй в них, и все тут. Смерть для русских самое подходящее лекарство». Одиннадцатого июня Отто Кунзевиц испустил свой дух под Севастополем: вместо яичек он получил гранату.

Смерть оказалась хорошим успокоительным лекарством для многих немцев. Супруга обер-фельдфебеля Людвига Рейхерда пишет мужу: «Мне снилось, что я тебя искала возле Севастополя и не могла найти — повсюду могилы, могилы. Какой кошмар!..» Симферополь забит искалеченными немцами. Ялта пахнет карболкой. Обер-лейтенант Оскар Грейзер пишет в дневнике, найденном нашими бойцами под Севастополем: «Возле Бахчисарая есть долина, которую местные жители называют Долиной Смерти. Теперь она оправдала свое наименование: там покоится значительная часть населения Эрфурта, Йены и моего Эйзенаха...»

Пленный Кнейдлер хнычет: «Мы не ожидали такого сопротивления. Тут каждый камень стреляет. Просто чудо, как я вышел живым из такого ада...» А другой пленный, Клейн, признается: «Вначале у нас было настроение боевое. Теперь наши солдаты ужасно нервничают. Многие сомневаются: можно ли взять этот проклятый город?..»

Да, немцы разнервничались: они не ожидали, что под Севастополем они увидят севастопольцев. В суеверном страхе немцы называют наших моряков «черной смертью». Недавно один моряк уничтожил тридцать немцев. Его принесли, раненного, в лазарет. Тельняшка была красной. Кругом повторяли: «Вот молодец — один против тридцати!..» Моряк ответил: «Не знаю. Я их не считал — я их бил».

Командир батареи защищал высоту. Не было больше снарядов. А немецкие танки обтекали холм. И командир передал: «Прошу открыть огонь по мне».

Одна рота отбила три танковые атаки. Немцы пошли в четвертую. Головной танк прорвался к нашим окопам. Тогда политрук Ткаченко, с гранатами на поясе, бросился под танк. Бойцы усилили огонь, и остальные танки повернули обратно: четвертая атака была отбита.

Немцы заняли наши окопы. Бойцы начали отходить. Но политрук Гакохидзе, с винтовкой и с гранатами, ринулся вперед. За ним побежали три бойца.

Политрук, ворвавшись в окоп, швырнул две гранаты, заколол немецкого офицера и трех солдат. А потом, схватив ручной пулемет, он начал в упор расстреливать немцев. Четыре героя уничтожили семьдесят немцев. Потерянные окопы были отвоеваны.

«Чудо»,—говорят о защите Севастополя газеты всего мира. Военные обозреватели ищут объяснения, пишут о скалах, о береговых батареях. Но есть одно объяснение чуду под Севастополем—мужество. В истории останется поединок небольшого гарнизона с пятнадцатью вражескими дивизиями.

ОТОБЬЕМ!

Наш народ закалился за год войны. Он узнал горечь осеннего отступления. Он узнал гордость зимних побед. Он понял, что разбить немцев нелегко, и он понял, что немцев можно разбить.

Нас постигла военная неудача: немецкие танки прорвались к стенам Средней России. Над родиной снова сгрудились грозовые тучи. Народ, переживший победы у Ростова, у Калинина, у Можайска, не хочет тешить себя иллюзиями. Он видит опасность, и он говорит: «Отобьем!»

Опасность велика. Колосятся пышные нивы черноземного края. Захолустные города стали крупными промышленными центрами. Как кровеносная артерия, магистраль соединяет Москву с Ростовом. Враг грозит пожрать хлеб, захватить заводы, перерезать артерию.

Немецкие солдаты приободрились: перед ними невытоптанные нивы, несожженные села, неразграбленные города. Крысы ползут на восток: их ведет голод. Немецкие танкисты уже приготовили мешки для добычи. Немецкие палачи уже сколачивают новые виселицы.

Мы отобьем немцев. Мы отбили их в самые страшные месяцы осени. Тогда враг был сильней. Он шел вперед, уверенный в своей победе: он помнил о Седане, о Дюнкерке, о Крите. Теперь враг не тот: на его щеке клеймо декабрьского разгрома.

Прошлой осенью на нас шли кадровые дивизии Гитлера, цвет германской армии, молодые головорезы. Эти сгнили в русской земле. Теперь на нас идут пестрые дивизии, сорокалетние, подростки, разноплемен-

ные наемники. Мы устояли перед лучшими полками Гитлера, неужели мы не устоим перед его новыми частями? Нет, наши бойцы не осрамят знамен гвардии! Нет, наши бойцы не потревожат сна героев, погибших за Москву! Мы должны остановить немцев, и мы их остановим.

Гитлер хотел наступать весной. Защитники Севастополя вырвали у Гитлера драгоценный месяц — июнь. Гитлер начал свой весенний поход в июле. Он поздно начал. Мы должны его заставить рано кончить. Мы должны отбить немцев.

Прошлой осенью у нас было куда меньше танков, чем у немцев. Немецкие бомбардировщики тогда нагло прорезали наше небо. Трещали немецкие автоматы. Теперь не то. Конечно, враг накопил танки для прорыва. Но разве мало у нас замечательных танков? Теперь наши истребители гонят немцев с неба. Теперь наши бомбардировщики жгут немецкие танки. Теперь у нас много автоматов, бронебойных ружей, минометов. Теперь мы обязаны отбить немцев. И мы их отобьем.

Прошлой осенью многие бойцы не знали, кто перед ними. Они думали, что гитлеровцы — это люди. Теперь нет человека, который не знал бы, что такое гитлеровец. Мы увидели виселицы Волоколамска. Мы увидели пепелище Истры. Мы увидели девушек с отрезанными грудями и детей, распиленных на куски.

Настали грозные дни. Это возврат немецкой лихорадки. Но второй приступ слабее первого. Мы выдержали первый. Мы должны выдержать второй. Если есть среди нас малодушный, скажем ему: не срами своей матери! Один боец, заколебавшись, может погубить роту. Одна рота может погубить полк. Немец видит перед собой непроходимую стену: это наша армия. Немец ищет в стене слабое место. Он хочет пройти. Мы его не пустим. Мы его остановим. Мы его отгоним от захваченных городов — их свежие раны еще дымятся.

По всем фронтам, как пропуск, пройдут крылатые слова: «На выручку!» Не за тот или иной город началась битва — за Россию. Опять на нее занес свою гнусную руку Гитлер. Друзья, вы отбили немца в трудные дни декабря, когда он подошел к пригородам Москвы. Отбейте его теперь! Битва только-только разгорается, и слышно в грозовой ночи:

— Отобьем!

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ

14 июля парижский народ взял зловонную Бастилию. Разрушив тюрьму, люди танцевали: они радовались свободе. Легко было взять Бастилию. Труднее было отстоять свободу от хищных соседей. Пруссаки и австрийцы вторглись во Францию. Молодой республике грозила смерть. Тогда патриоты обратились к народу с бессмертными словами:

— Отечество в опасности!

Солдаты республики при Вальми разбили врага и отстояли свободу своей родины.

Полтораста лет спустя пруссаки снова вторглись во Францию. Что делали французы? Они безмятежно ждали событий. Они подсчитывали, сколько квадратных километров у Германии, с одной стороны, у союзников, с другой стороны, и они благодушно повторяли: «Мы сильнее». Никто не напомнил французскому народу в те роковые дни, что отечество в опасности. Немцы вошли в Париж, и ужасы Бастилии померкли перед ужасами немецких тюрем.

Год тому назад, в июльское утро, Сталин сказал советскому народу: «Отечество в опасности!» С тех пор прошло много дней. Мы узнали превратности войны. Мы пережили поражения и победы. Мы отстояли Москву. Мы побили немцев, но мы их не добили. Накопив силы, немцы снова двинулись на восток. Глядя на карту, мы сейчас чувствуем священную тревогу: отечество в опасности!

Немцы подошли к Богучару. Они рвутся дальше — к солнечному сплетению страны — к Сталинграду. Они грозят Ростову. Они зарятся на Кубань, на Северный Кавказ. Преступно не видеть угрозы и преступно растеряться от угрозы. Красная Армия найдет в себе силы преградить путь жадному врагу.

Немцы грозят не тому или иному городу, не тому или иному краю. Угроза повисла над всей страной. На берегах Дона, в южной степи сибиряк защищает Сибирь и уралец — Урал. Казах сражается за свою степь и армянин — за свои горы. Немецкий клинок впился в южные просторы России. Бойцы Красной Армии выбьют клинок, отгонят немцев.

Нет десяти фронтов, есть один фронт. Можно на Волхове отстаивать Дон. Можно под Гжатском драться за Сталинград. Бойцы, в ваших руках судьба роди-

ны, в руках каждого стрелка, каждого наводчика, каждого танкиста! Немцы торопятся. Немцы теперь воюют по минутной стрелке. Не пропустим драгоценного времени! Вспомним прекрасные слова Петра Великого: «Промедление смерти подобно».

Победа не валяется на земле. Победа не падает с неба. Победу нужно высечь из камня, вырвать из тверди. Часто человек бывает малодушным перед ничтожной болезнью, перед житейской неприятностью. Но теперь идет вопрос о жизни и смерти. Кто выдаст свою дочь насильникам? Кто отдаст своего брата палачам? Кто даст дом матери немецким факельщикам? Кто даст Россию немцам?

Отечество в опасности, друзья! Все на немца!

ТРУДНЫЙ ПУТЬ

Гигантская битва в донских степях не затихает ни на час. Мы с горечью видим, как на отдельных участках фронта наши части отходят под натиском неприятеля. Мы с радостью следим за нашими частями, которые стойко отражают атаки немцев, переходят в контратаки и отбивают у врага потерянную территорию.

На войне нужно уметь все пережить. Слабое сердце легко переходит от отчаянья к благодушию и от благодушия к отчаянью. Но на войне земля становится блиндажом, и даже самое слабое сердце на войне закаляется как сталь. Может быть, наивные люди в далеком тылу зимой думали, что германская армия уже уничтожена. Бойцы, гнавшие немцев от Калинина и от Можайска, знали, что далек и труден путь к победе. Может быть, теперь в далеком тылу некоторые неврастеники думают, что немцы победили. Бойцы знают, что даже самые блестящие успехи немцев не приблизили их к победе: против них — Красная Армия, которая сражается и которая победит.

3 октября 1941 года Гитлер сказал, что Красная Армия уничтожена и что через несколько недель война будет закончена. Два месяца спустя Красная Армия перешла в наступление. На войне нельзя шаманить: криками «победа» не победишь. Победу нельзя вытянуть из мешочка: война не лотерея. Победу строят. Победу добывают. Победу берут с боя, как дот, как высоту.

По сравнению с битвами на нашем фронте, бои в Африке небольшие сражения, но и в них нелегко добиться решающих успехов. Немцы однажды уже переходили через границу Египта. Они однажды уже присматривались к гостиницам Каира. Вскоре после этого они оказались за Бенгази. Англичане ослабили напряжение и в течение нескольких недель потеряли Ливию. Две недели тому назад немцы говорили: «Скоро мы будем в Александрии». Англичане собрались с духом и остановили танки Роммеля.

Плохого солдата неудачи валят на землю. Хороший солдат на каждой неудаче учится. Старые фронтовики, пережившие осеннее отступление, многому научились. Молодые бойцы, недавно получившие свое боевое крещение, выйдут из битв сильными и умудренными.

Год тому назад немцы были много сильнее нас. Немецкие командиры тогда обладали большим боевым опытом. Немецкие солдаты тогда слепо верили в победу: они не знали дотоле поражений. Мы отступали, но мы отступали с боем. Мы нашли в себе достаточно силы, чтобы в последний, двенадцатый час в пригородах священной Москвы остановить врага и нанести ему жестокий удар.

Теперь мы ведем бой в лучших условиях. Правда, нам еще не хватает порядка, точности, железной дисциплины. Но наша Армия хорошо вооружена. Наши командиры и бойцы приобрели известный опыт. Немецкие солдаты растеряли на дорогах отступления долю своей спеси. Наши бойцы увидели, что у немца имеется не только чванливая морда, но и жалкий зад. Теперь мы должны остановить немцев, и мы их остановим.

Прошлым летом мы воевали по немецкому календарю. Мы говорили: «Немцы решили закончить войну в три недели. Немцы заявили, что будут в Москве 15 августа. Немцы говорят, что они возьмут Ленинград 1 сентября». Теперь немцы молчат о датах. Теперь немецкие газеты пишут о новой зимней кампании. Они не взяли нас с нахрапу. Они не возьмут нас и в тяжелом, долгом бою.

Хорошие танки КВ. Прекрасные противотанковые ружья Симонова. Отменные у нас штурмовики. Но решит победу человек, его стойкость, его ум, инициатива, дисциплина. Мы должны победить, потому что не сравняться презренному фрицу, насильнику и вору, с советскими людьми. Но победа не дастся легко, не

придет сама собой. Говорят, что каждый — своего счастья кузнец. Скажем: каждый — кузнец счастья родины, каждый — кузнец победы.

Долго уже длится эта проклятая война. Кто из нас забудет тот день, когда на нас напали немцы? Жили мы до войны каждый своей жизнью, были у нас и радости, и горести. Но кто теперь не улыбнется, вспомнив огорчения довоенных дней? Немцы оторвали нас от любимого дела, от родного дома, от жены, от детей. Немцы осквернили нашу землю, раскидали семьи, разорили наше гнездо. Мы хотим как можно скорее покончить с народным горем. Идут часы истории, от нас зависит, как они пойдут.

Трудно сейчас бойцам в донских степях: Гитлер бросил против них десятки танковых дивизий. Но смелость не только берет города, смелость крошит танки.

СТОЙ И ПОБЕДИ!

Лейтенант Аросев, небритый, с глазами, красными от бессонных ночей, повторял: «Убьют так убьют — я смерти не боюсь...» Скрипели жалостно телеги беженцев, и в золоте заката бледнел пожар села. Политрук Савченко внимательно поглядел на Аросева, покачал головой и ответил: «Умереть легко, нам другое нужно — победить».

На войне каждый храбрый солдат должен быть готов к смерти, но он сражается не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы победить. Он сражается для того, чтобы жить. Он защищает свою жизнь, жизнь близких, жизнь родины.

Малодушие — это вовсе не бо́льшая любовь к жизни, нежели отвага. Разве заяц привязан к жизни сильнее, чем лев? Малодушие не помогает зайцу, оно только подгоняет охотничью собаку. Когда рядовой француз решил спасти себя любой ценой, он все потерял. Он погиб под немецкой бомбой или в немецком плену. Мнимо благоразумные французы говорили тогда, что они хотят «оградить Париж от разрушений». Они впустили в Париж немцев. Немцы разграбили город, обратили его жителей в рабство, увезли добро и произведения искусства, снесли памятники, сделали из Парижа базу своей военной промышленности, и тогда Париж узнал новые воздушные бомбардировки. Когда

хочешь жить, ничем не рискуя, когда боишься чем-либо пожертвовать, теряешь все. Это верно и для народов и для людей.

Вот уже больше года, как воюет Россия. Люди стосковались по родным местам, по семьям, по близким. Кто не вспомнит ненароком май прошлого года, дом, работу, любимых? Эти воспоминания укрепляют наше сердце.

Есть у нас в армии юноши, принесшие на фронт свою первую любовь, чистую, как глубокое утро. Целомудренная и страстная любовь укрепляет отвагу юного солдата. Он впервые чувствует: «Я — мужчина, я должен оградить ее, мою любимую, от низких и грязных немцев». Он знает, что где-то, далеко от фронта, девичье сердце учащенно бьется, когда раздается хриплый голос репродуктора: «От Советского Информбюро».

Есть у нас в армии отцы. Многие писали о материнской любви, мало написано о любви отца: она стыдливей, она прикрыта мужской стойкостью, ее не сразу разглядишь. Но вот на фронте отцовская любовь делает чудеса. Бойцы знают, что где-то ребятишки доверчиво спрашивают маму: «Папа скоро вернется? Папа побьет немцев?» Для них война — это игра. Они безгранично верят в отца: отец все может. Если отец пошел, чтобы побить немца, отец его побьет. И на плечах бойца ответственность за детские игры, за спокойное дыхание трехлетнего малыша в детской кроватке, за жизнь, за тепло, за целость семьи.

А сколько людей на фронте вдруг поняли, как они любят свою мать?

Сколько бойцов в тревожном полусне вспоминают имя жены, ее ласковое прозвище?..

Жить хотел наш народ, и он принял бой за жизнь. Жить хочет наш народ — и не опустит он оружия, пока не высвободит живую жизнь из опасности. Родина — это нечто живое: как мать, как жена, как ребенок. Так издавна говорили о Руси, потом о Расеюшке — родной и любимой.

Мы хотим жить, и это чувство воодушевляет бойца — когда он, не колеблясь, идет навстречу смерти. Не гибели ищет он — жизни. Убивают многих на войне — это знает каждый, но общая любовь к жизни цементом скрепляет взвод, роту, полк, армию. За жизнь товарища! — скажет боец, и, как эхо, ответят ему миллионы: за жизнь родины!

Придет день, и мирный розовый рассвет подымется над степью Дона, над лесами Смоленщины, над зелеными, сырыми лугами Валдая. Зарастут рубцы на земле. Люди вернутся от танков, от гранат, от винтовок к косам, топорам, к сетям. Расцветет наша родина, легко вздохнут люди, и могилы героев предстанут перед всеми, как вехи на пути к жизни. А живые бойцы, прошедшие через все испытания, обновят, очистят, украсят жизнь, и не будет тогда выше и почетней звания: «Это идет фронтовик».

«Стой и победи!» — говорит родина каждому из нас. Ты пришел на передний край не для того, чтобы умереть, но для того, чтобы убить врага. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Если ты не убьешь немца, немец придет в твой город, в твое село, обесчестит твою любовь, замучает твоих детей, сожжет твой дом.

Ты должен быть готов к смерти — на то война. Но ты должен думать не о смерти — о победе. В руках командира — судьба сотен и тысяч людей. Он должен быть смелым не только на поле боя, он должен быть смелым перед боем и после боя: он должен смело организовать победу, смело продумать план сражения, смело решать и смело приказывать. Может быть, иной боец подумает: «Но я-то отвечаю только за себя». Неправда — каждый боец отвечает за своих товарищей, за свой полк, за родину. На войне каждый человек несет огромную ответственность.

Завтрашний день — это союзник смелых и враг малодушных: потерянное сегодня трудно наверстать завтра. Мы должны полагаться только на себя: если мы не спасем себя, никто нас не спасет. За столом победителя всегда тесно — нет отбоя от друзей, но пусто в зачумленном доме побежденного.

Если герой погиб, преградив путь врагу, мы не скажем: «Он умер», мы скажем: «Он победил» — он многих спас от смерти. Есть смерть обидная, ненужная, и есть смерть, которая и не смерть, а победа: когда человек своей смертью попирает смерть. «Мы не хотим умирать»,— говорят храбрые казаки, защищая землю дедов от поганого немца. «Мы не хотим умирать, мы хотим победить»,— говорят они и убивают немцев, рубают их, крошат, топчут конями. Россия хочет жить, вся Россия от края до края, от вольной Сибири до Карпат, от стыдливых берез на берегу

Онеги до магнолий Кавказа. Россия говорит каждому из своих солдат: «Я хочу, чтобы ты жил. Стой и победи!»

ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА

Три года тому назад Германия бесновалась. Немцы в серо-зеленых обновках маршировали по улицам немецких городов. Бесноватый фюрер сулил близкую победу. «Война» — это слово пьянило немцев. Война им представлялась веселым пикником, прогулкой за парижскими безделками и за английским табаком. Они думали, что воевать будут только они. По замыслу Гитлера, противникам предоставлялось одно: капитулировать. Немцы хотели победить барабанами, речами Гитлера, военными парадами. Это была психическая атака против человечества.

Годы, предшествовавшие второй мировой войне, историк назовет годами позора. В злосчастной Испании немцы устроили первую репетицию завоевания мира. На Мадриде проверяли действие фугасок. На Европе проверяли действие блефа. Сиплый лай Гитлера, по программе, должен был устрашить мир.

Малодушные тогда говорили: «Он нас еще не трогает. Зачем же нам лезть в драку?» На языке дипломатов это называлось «невмешательством». Когда военные корабли Германии преспокойно разгромили беззащитный испанский город Альмерию, тень свастики повисла над Европой.

В одном современном немецком романе герой говорит: «Женщин насилуют в том случае, если их нельзя заговорить». В Мюнхене заготовили хороший ужин, много солдатни, звонко шагавшей по улицам, и лист чистой бумаги. Насиловать не пришлось: Гитлер небрежно засунул в карман Чехо-Словакию. Это было генеральной репетицией. Не прошло и года, как немцы начали войну.

Солдаты Гитлера ворвались в Польшу. Что могли сделать защитники Модлина и Вестерплате? На них обрушилась вся военная машина Германии. Союзники Польши ждали. «Невмешательство» было, разумеется, военизировано. На него надели генеральский мундир и его называли стратегией. Бездействие теперь прикрывалось военной тайной. О нем говорили шепотом,

как о хитром плане. Польша истекала кровью. А французская армия сидела за линией Мажино и ждала. Газеты уверяли, что она ждет накопления самолетов, прибытия на континент английских дивизий, весны. На самом деле Франция ничего не ждала, она попросту утешалась отсрочкой. Освободившись, немецкие дивизии двинулись на запад. Весна пришла, но она оказалась совсем не той весной, о которой писали будущие сотрудники Абеца.

Гитлер в Компьенском лесу наступил ногой на грудь Франции. Англия ушла на остров. Первую годовщину войны немцы встретили весело: им мерещилась близкая победа. Правда, Лондон отвечал молчанием на немецкие серенады. Правда, были и в первую годовщину вдовы. Но они терялись среди счастливых жен, хваставших французскими духами. Вдовам немецкие газеты говорили: «Нет победы без жертв». И немцы верили, что солдаты, погибшие во Фландрии,— последние жертвы Германии. Это были ее первые жертвы. Германия примеряла бальное платье для парада. Никто ей не сказал, что бальное платье придется переделать на саван.

По-другому встретили немцы вторую годовщину войны. Они все еще упивались победами, но некоторые немцы уже соображали, что из ста побед не сделаешь одной настоящей победы. Многие немки еще утешались «трофеями»: не французскими духами (им было уже не до парфюмерии), а хорошей литовской полендвицей. Но вдов стало больше, их молчание часто покрывало хищный визг женщин, разворачивающих трофейные посылки. Газеты писали, что до Рождества немцы захватят всю Россию, и тогда будет мир, «настоящий немецкий мир». Но солдаты уже слали из России горькие письма: «Здесь настоящая война...»

Что произошло за второй год войны? Немцы захватили Балканы. Они поработили еще несколько стран. Они разрушили еще несколько английских городов. Но Лондон по-прежнему оставался глухим к серенадам. Гесс, приземлившись, бодро сказал: «Ударим по рукам». К его удивлению, ему даже не подали руки: на руках Гесса была кровь Лондона. Мюнхен еще не стал воспоминанием, но он перестал быть реальностью, он стал душевным подпольем Европы.

Напав на Россию, Германия впервые встретила отпор. Напрасно немецкие генералы вглядывались в просторы, поджидая парламентеров с хлебом и солью.

В немецкие танки впивались бутылки с горючим, и крестьянки Белоруссии поджигали хаты, в которых спали немецкие обозники. Немцы продвигались вперед, но они дорого оплачивали каждый шаг. Историк отметит, что Луцк обошелся немцам дороже Парижа и что легче было взять все Балканы, чем один Смоленск.

Теперь Германия встречает третью годовщину войны. «Мы в Пятигорске!» — вопит Геббельс. Конечно, далеко от Берлина до Пятигорска, но куда дальше от Пятигорска до победы. Проделав тысячи верст, немцы не приблизились к победе.

Третий год был для Германии жестоким годом. В ноябре немцы ждали белых флажков капитуляции. Снег покрыл землю. Он принес не капитуляцию Москвы, но наступление Красной Армии. Олухи, привыкшие шагать вперед, побежали вприпрыжку от Ельца и Калинина. В Германию шли эшелоны с ранеными и обмороженными. Германию знобило от холода и страха. Редели немецкие девизии. Пустели немецкие города.

Гитлер сделал все, чтобы отыграться. Он вырвал у своих вассалов десятки новых дивизий. Он снял с работы немецких рабочих, заменив их иностранными рабами. Он обшарил Германию, собрал всех подростков, всех стариков. Он повел наступление на Юге. Он одержал еще несколько побед. Он завоевал еще ряд городов. Но победа еще дальше от Гитлера. Он теперь не говорит о «близком мире». Он говорит о новой зимней кампании, и в августе немцы дрожат: они чуют новый декабрь.

«Наш Кельн теперь похож на Роттердам», — пишет один немецкий солдат. Германия начинает понимать, что такое война. Она думала убивать других. Но другие начали убивать немцев. Сопротивление России как бы переменило климат мира. Подобно глубоким подводным течениям, наступательный дух английского и американского народов требует выхода. Под тихой зыбью зреет буря. Мюнхенцев три года тому назад звали мудрецами. Год тому назад они слыли осторожными. Теперь их называют малодушными. Вскоре их объявят дезертирами.

Покоренные Гитлером народы ждут развязки. Париж стал непроходимым для немцев, как горы Хорватии, как леса Польши. Народы требуют немецкой крови. Немецкой крови требует совесть мира.

Каждый живой человек Европы и Америки, каждый город, каждое дерево требует теперь наступления. За

невмешательство в судьбу соседней Испании ответили миллионы французов на Маасе и на Луаре. И вот пастух далекого Уругвая требует вмешательства: он знает, что на Кавказе идет бой не только за советскую нефть, но и за будущее человечества.

«Как встретим мы четвертую годовщину?» — размышляет меланхолик в немецкой газете «Франкфуртер цайтунг». Эти наглецы стали скромнее: в первую годовщину они не ломали себе головы над будущим. Они тогда пили французское шампанское и кроили карту Европы. Теперь они спрашивают: какой будет четвертая годовщина войны?

Русское мужество открыло глаза миру. После Компьена даже храбрые смутились. После немецкого разгрома под Москвой даже чрезмерно осторожные стали готовиться к наступлению. Довольно немцы разрушали и грабили Европу, довольно немецкие палачи превращали рощи в виселицы и города в кладбища. Приближается день расплаты.

К присяге приведут свидетелей. Париж скажет: «Германия, ты помнишь дорогу беженцев, расстрелянных женщин, ты помнишь казни заложников?» Норвежцы огласят списки расстрелянных, и глухо скажет Греция: «Мой народ немцы удушили голодом». Коротко отчеканит Англия: «Ты помнишь Ковентри?» Из пепла встанет Белград и спросит: «Помнишь?» Голландия напомнит о Роттердаме и Польша о Варшаве. «Лидице»,— скажут чехи.

Длинный будет у нас список,— от дворцов Ленинграда до хат Украины, от рва под Керчью до Истры. Пройдет к судейскому столу простая русская крестьянка из села Ломовы Горки и скажет: «Село сожгли, всех расстреляли — от мала до велика. Расстреляли Сеню Михайлова, ему было десять лет от роду, и младенца Анну Теплякову, трех месяцев от роду...» «Германия, ты помнишь муки России?» — спросим мы. Это будет четвертой годовщиной Германии.

СТАЛИНГРАД

Не первую неделю идет битва за Сталинград. Тяжелая битва. Немцы решили захватить город, перерезать Волгу, задушить Россию. На Сталинград брошены десятки немецких дивизий. Здесь беснуется

Германия, в горящей степи, перед неукротимым городом, здесь эсэсовцы, пруссаки, баварцы, фельдфебели, танкисты, солдаты, привезенные из Франции, жандармы из Голландии, летчики из Египта, ветераны и новички. Здесь сулят железные кресты и выдают деревянные.

Кровью обливается сердце каждого, когда русские отдают город. Город — это дивный лес, нужны многие годы, чтобы его вырастить. В каждом городе — клубки человеческих жизней, заводы, сложные, как мозг, улицы с их приливами и отливами, большие площади, где творится воля народа, и маленькие уютные комнаты, где влюбленные обмениваются горячими клятвами. Каждый город — это мудрая книга, это государство, это огромная семья. Город нельзя сдать. Город нельзя бросить. Город не название, не кружок на карте, город — живое тело, близкий человек.

Защитники Сталинграда, на вас с надеждой смотрит Россия. Помните — враг был у Москвы. Враг жег подмосковные дачи. Враг был силен, и враг торопился. Врага не пустили в Москву. Кто не пустил? Бойцы. Год тому назад враг подошел к Ленинграду. Он дышал, как разгоряченный зверь, и ленинградцы чувствовали на лице города огненное дыхание. Враг не вошел в Ленинград: врага не пустили. Тула — не Москва, не Ленинград, но Тула выстояла. Враг ее обошел, сжал. Тула удержалась. Защитники Сталинграда, вашим мужеством дышит страна. Враг близко, но враг не раз подходил к цели и не достигал ее. Немцы хорошо рассчитывают, но они часто прогадывают, они забывают в своих расчетах, что русский храбрец — это десять и это сто солдат, что каждый домишко может стать крепостью и что каждый час способен изменить положение.

Сталинград — это Волга. Кто скажет, что значит Волга для России? Нет в Европе такой реки. Она прорезает Россию. Она прорезает сердце каждого русского. Народ сложил сотни песен о «Волге-матушке». Волгу он поет и Волгой живет. Над Волгой выросли шумные города, огромные заводы, и над Волгой, в душистых садах, глядя на таинственные огни пароходов, юноши говорили о свободе, о борьбе, о любви, о вдохновении. На верховьях Волги идут суровые бои с немцами. Река расскажет героям Сталинграда о героях, которые бьются за Ржев. Волга — это богатство, слава,

гордость России. Неужели презренные немцы будут купать в ней своих лошадей, в Волге, в великой русской реке?..

В старой песне поется:

Протянулася ты, степь, вплоть до Царицына.
Уж и чем же ты, степь, изукрашена?

Степь теперь изукрашена немецкими могилами, и немцы боятся оглянуться назад. «У нас своеобразная болезнь — страх пространства»,— говорит пленный лейтенант. Позади них пепел. Перед ними зарево. Перед ними город, который не сдается.

У немцев теперь много слов, которыми они будут пугать друг друга до смерти. К этим словам прибавилось еще одно: Сталинград. Немецкий солдат пишет матери: «Только человек с дьявольской фантазией может представить себе на родине, что мы переживаем. Нас осталось четверо в роте. Я спрашиваю себя, сколько немецких городов должны опустеть, чтобы мы наконец-то овладели Сталинградом?» Они уже опустели, все эти ненавистые Штральзунды и Шнейдемюли, но Сталинград немцы не взяли.

Гитлер посылает в бой все новые и новые дивизии. Припадочный не остановится ни перед чем: «Еще солдат! Еще самолетов!» Когда ему говорят: «Сентябрь на дворе. Что будет с нами зимой?» — он отмахивается. Ему нужен Сталинград во что бы то ни стало. И немцы рвутся в город. Днем и ночью идут бои. Неслыханно тяжело защитникам Сталинграда, но они держатся.

Кто забудет о тридцати трех? На них шли семьдесят немецких танков. Тридцать три не дрогнули. Они уничтожали танки пулями, гранатами, бутылками. Они уничтожили двадцать семь танков. Еще раз русское сердце оказалось крепче железа. Если чужестранец нам скажет, что только чудо может спасти Сталинград, мы ответим: разве не чудо подвиг тридцати трех? Враг еще не знает, на что способен русский человек, когда он защищает свою землю.

Можно выбрать друга. Можно выбрать жену. Мать не выбирают. Мать одна. Ее любят, потому что она — мать. Под Сталинградом мы защищаем нашу мать, Россию.

Мы защищаем нашу землю. Издавна народ звал «мать сыру землю» кормилицей и поилицей. Земля — это первая радость человека и это место вечного

покоя. Землю поливают потом, слезами, кровью. Землю благоговейно целуют. Боец, под твоими ногами священная земля. Не выдай ее! Не пусти на нее немца. В старину, когда русский человек божился, ему могли не поверить, но стоило ему проглотить щепотку земли, как все знали: этот не обманет. Землей клялись. Землей мы клянемся, крохотной щепоткой и необъятной страной. За Сталинград, за Волгу, за русскую землю!

ВЫСОКОЕ ДЕЛО

Я получил письмо от старшего сержанта Тихона Ивановича Тришкина:

«Я работал слесарем на Подольском заводе. Был счастлив. Во время войны с Финляндией пошел добровольцем на фронт. По возвращении женился и радовался жизни. Но вот напали на нас проклятые немцы. Младший братишка Коля жил со мной. Коля пошел на фронт. Я ему сказал на прощание одно: «Люби народ и люби родину». Он, наверно, погиб, от него нет слуха. Меня завод не пускал на войну. Но вот подошли к Москве немцы. Я первым пошел в рабочий полк. Люба была беременна. Она заплакала. Я ей сказал: «Люблю тебя, моя Люба, но еще больше люблю родину и Сталина». Мы, рабочие-подольчане, сражались, как должны сражаться русские люди. Многие мои товарищи погибли, но мы шли вперед и освобождали родную землю от гада. Моя жена Люба писала мне: «Тиша, я родила и очень крепко болела и чуть не умерла на квартире. Ко мне никто из завкома не пришел, чтобы помочь». Я ей дал ответ: «Люба, я, пока жив, буду уничтожать немцев, буду до последней капли крови драться за родину. Люба, а ты когонибудь попроси, чтобы сходили в завком, оказали помощь и тебе и ребенку». Вот жена мне пишет: «Мне и дочке Тамаре не дают карточек. Я пошла к Сапожкову, а он не хочет даже разговаривать. Я ему говорю, что у меня муж проливает кровь за родину, а ты не хочешь дать ребенку карточку. Тиша, почему у людей каменное сердце?» Я ей ответил: «Люба, потерпи. Я тебе помогу». Я написал рапорт комиссару нашего полка. Комиссар написал справку. Но Сапожков даже не стал читать, говорит: «Здесь я хозяин, а не они». Мы

здесь думаем об одном, как бы разбить проклятого немца, а вот сидит в тылу такой Сапожков и ничего этого не чувствует...»

Чувство любви к родине и ненависти к врагу воодушевляет людей советского тыла. «Смерть немцам»,— повторяют рабочие Урала, подавая фронту оружие. «Смерть немцам»,—говорят колхозницы Сибири, подавая бойцам хлеб. Дни и ночи девушки Челябинска стоят на боевом посту, и, читая о немцах, раздавленных нашими танками, они вправе сказать: «Мы приложили к этому делу наши руки».

Однако есть в нашем тылу люди, которые еще ничего не поняли. Они защищены от тревоги, от любви, от гнева непроницаемой шкурой себялюбия. Огонь, которым объята наша страна, не выгнал этих чиновных барсуков из норы. Любовью окружают люди нашей страны семьи бойцов и командиров. Я знаю узбекских крестьян, которые просили, как о высшем счастье, о праве выходить больных детей Ленинграда. Я знаю куйбышевских рабочих, которые уступали свои койки женам и детям бойцов. Жена защитника Сталинграда, дочь танкиста, мать сапера—что может быть выше этих слов? Но вот старший сержант Тришкин пишет о своей обиде. Но вот в одном городе чиновники не хотят помочь эвакуированным семьям бойцов, в другом—жилищный отдел—это какой-то неприступный дот, в третьем—секретарь горсовета не думает о детях фронтовиков. Есть у нас еще слепые и глухие. Эти знают одно: номера исходящих и завитушку своей чиновной подписи. Пора им напомнить, что кровь фронтовика тяжелее канцелярских чернил.

Миллионы и миллионы советских людей в тылу горят одним желанием: облегчить, украсить жизнь жен, родителей, детей фронтовиков. Поддержать мать командира, помочь жене бойца—это высокое и благородное дело. Это значит подать патроны старшему сержанту Тихону Ивановичу Тришкину. Это значит помочь Красной Армии освободить родину.

ОТВЕТ ФРАНЦИИ

Мир не слышал голоса Франции: немцы зажали ей рот. Они сожгли французские города. Они вытоптали французские виноградники. Они ограбили

французские музеи. Мир спрашивал: что думает Франция? Но у французов не было оружия, а немецкие тюремщики зорко сторожили ворота порабощенной страны.

Сегодня ночью Франция сказала свое слово: взрывы в Тулоне потрясли мир.

Что оставалось у Франции? Только флот. Еще недавно военные корабли были славой и гордостью Франции. Когда настали черные дни позора, эти корабли остались как последнее утешение. Они стояли грозные и бессильные: они тоже были узниками, их стерегли немцы.

Почему немцы, захватив Францию, оставили незанятым один Тулон? Они боялись неподвижных, скованных кораблей: в них жила душа побежденной, но непобедимой Франции. Немцы хотели взять корабли живыми. Обманом они взяли французскую армию. Обманом они надеялись взять и французский флот. Они уговаривали моряков. Они позволили французскому флагу развеваться над Тулоном. Они ждали, что корабли им отдадутся. Но корабли — это была Франция: все, что оставалось от французской земли и от французской свободы.

Немцы напали исподтишка. Ночью они ворвались в Тулон. Бомбардировщики повисли над гаванью, ракетами освещая корабли. Автоматчики взбирались в окна домов. К докам неслись немецкие танки. Боясь защитников кораблей, немцы сразу начали бомбить береговые батареи. Тогда раздался оглушительный взрыв: команда линкора «Страсбург» первая взорвала корабль, лучший корабль французского флота.

Страсбург — это имя говорит о горе и гордости Франции. Полтораста лет тому назад в Страсбурге юный офицер республиканской армии написал бессмертную «Марсельезу». Теперь Страсбург «присоединен» к Германии. Город бесстрашного Клебера стал германским острогом. Сегодня ночью немцы захотели завладеть и другим «Страсбургом» — кораблем. На мостике стоял командир, он погиб вместе с кораблем. Это было сигналом. Один за другим опускались в черные воды ночи линкоры, крейсеры, эсминцы. Франция, в 1940 году обманутая и преданная, показала миру свою неукротимую душу. Некоторые корабли пытались выйти из порта, чтобы примкнуть к союзникам. Они вели бой с бомбардировщиками. Они взрывались на минах. Но ни один корабль не сдался. Ни один.

Сегодня ночью затонули не только французские корабли. Сегодня ночью затонула идея «Новой Европы» Гитлера. Два года немцы говорили миру о своем сотрудничестве с Виши. Два года они уверяли, что помирились с французским народом. Они повторяли: «Франция с нами». Франция ответила: лучше на дно моря, чем к Гитлеру, лучше смерть, чем бесчестье!

Матросы взорвали линкор «Дюнкерк». В 1940 году у города Дюнкерк Франция пережила беспримерную трагедию. Сегодня ночью корабль «Дюнкерк» одержал над немцами подлинную победу: он погиб на боевом посту. Народы, которые сражаются за свободу, услышали последний салют тонущих кораблей. Сегодня ночью вся Франция вступила в боевые ряды союзников. Взрывы в Тулоне услышат солдаты генерала де Голля, и они поклянутся отомстить немцам за мертвые корабли. Взрывы в Тулоне услышат союзники, и, потрясенные величием Франции, они ответят на гибель французского флота новыми победами. Взрывы в Тулоне дойдут до героев Сталинграда, которые уничтожают палачей Франции, и герои Сталинграда в дыму боя воскликнут: «Слава морякам Тулона! Слава свободе! Смерть немцам!»

СВЕТ В БЛИНДАЖЕ

Когда в июньское утро первые выстрелы вспугнули жаворонков, они прозвучали как диссонанс. Все вокруг не соответствовало этим звукам: и мирные села, и медленно дозревавшие колосья, и детвора на улицах пограничных городов, и сердце человека, еще продолжавшее мирно биться. Как изменилась наша страна! Стоят яркие осенние дни. Вокруг блиндажей березы как бы истекают кровью. Зловещая пестрота последних листьев сродни войне. А многие деревья обломаны осколками мин. Железо выело воронки. Вместо деревни — трубы. Да и лица не те: кажется, что война их заново вылепила. Была в них мягкость, как в русском пейзаже, который так легко воспеть и так трудно изобразить,— бескрайний, лиричный, едва очерченный. Такими были и люди. Теперь лица высечены из камня. В глазах суровость, уверенность. Обветренные, обгоревшие, обстрелянные солдаты.

Иногда вечером, когда первые зеленые ракеты прорезают небо, когда замолкает дневная канонада и еще не вступает в свои права ночная, фронтовик смутно припоминает прошлое. На минуту ему кажется, что где-то в тылу продолжается жизнь, которая была его жизнью. Он видит залитую огнями Москву. В окнах под лампами люди ужинают, смеются, читают увлекательные романы, дети готовят уроки, девушки прихорашиваются — сегодня ведь танцы... Уж не фейерверк ли в Парке культуры? И сразу фронтовик вспоминает: война! Она и в Москве: черны улицы, как ослепшие глаза — окна домов... Девушки на лесных заготовках. Музыканты стали саперами или минометчиками. Дети на Урале. Прожектор впивается в черное небо. Если ты, как в сказке, пролетишь над страной, то повсюду увидишь войну. Ты увидишь сожженные немцами города. Ты увидишь заводы в бараках, заводы, которые перешагнули тысячи километров. Ты увидишь девушек, изучавших литературу или игравших на пианино, которые с ожесточением отливают снаряды. Загляни в глаза одной, в полутемном холодном цеху, и ты увидишь в этих глазах нечто родное: она тоже на войне. Ты увидишь женщин Ленинграда в Узбекистане. Ты увидишь детей Полтавщины в Сибири. Ты услышишь, как старая мать вздыхает: «Два месяца нет писем...» Ты услышишь, как трехлетний малыш упрямо трет кулачком сонные глаза и спрашивает: «Где папа?..» Ты увидишь много горя и много упорства. Воюет не только фронт, воюет вся страна. Она отрывает от сна кусочек ночи, она отрывает ото рта кусок хлеба, она не веселится и не благоденствует, она живет, сжав зубы, как ты в блиндаже, покрывшись ночью, впившись в землю. Как ты, она воюет.

Мы очень много потеряли, и нет человека, который не думал бы о наших потерях. Большое горе всегда стыдливо. Молодая женщина, которая в былое время жаловалась на мелкие неурядицы, теперь молчит. Молча она перевязывает раненых. Бойцы, за которыми она ухаживала, знают одно: ее не нужно спрашивать про мужа. Мы потеряли много прекрасных людей, самоотверженных, умных и честных. Эти потери горше всего: их не возместить. Мы отстроим разрушенные города, они будут лучше прежних. Но невозвратима потеря вдохновенного юноши, который еще ничего не построил — ни дома, ни своего гнезда, но который, кажется, мог бы построить целый город.

Мы потеряли изумительные плотины, заводы, в которые вложили душу. Мы потеряли древности Новгорода. Эти реликвии России, эти камни, как бы теплые от любви поколений, простояли века. Их щадило время. Их разрушили кощунственные руки немцев.

Мы нелегко создавали жизнь. Зачастую нам не хватало ни умения, ни времени. Но эта шершавая, необтесанная жизнь была нашей. Она напоминала черновик прекрасной поэмы, весь испещренный помарками. У нас путалось в ногах темное прошлое. Нас часто знобило — от самоупоения до самоуничижения. Мы были первыми разведчиками человечества, мы пробивали путь, мы шли дремучим лесом. Когда мы строили ясли, с запада доносились дурные вести: там изготовляли те бомбардировщики, которые в одну ночь убивают сотни детей. Звериное дыхание Германии доходило до нас, и мы говорили женам: «Проходишь зиму в старом платье»,— мы должны были делать истребители. Мы знали, что детям нужны игрушки, как птице крылья. Но разве могут дети играть, когда на земле живут гитлеровцы? Мы делали мало игрушек, мы делали танки. За десять лет до войны проклятая Германия вмешалась в нашу жизнь. И все же мы строили города, школы, дома отдыха, театры.

В муках рожает женщина. Медленно растет плодовое дерево. Четверть века для человека — это полжизни. Четверть века для истории — это короткий час. Накануне войны мы увидели в наших садах первые плоды. Тогда на нас напали немцы. В один час эсэсовцы уничтожили дома, поселки, города, которые мы строили годы, отказывая себе во всем ради будущего, как мать отказывает себе во всем ради ребенка. Мы знаем, сколько мы потеряли. Это знают и немцы: они увидели наших бойцов, воодушевленных такой ненавистью, таким гневом, что перед ними отступали танки.

Мы часто думаем о наших потерях. Мы можем теперь сказать о том, что мы приобрели на этой войне. Мать не замечает, как растет ребенок. Вот он вырос, а для матери он мальчуган. Несказанно вырос наш народ за шестнадцать месяцев. Не узнать порой молодого друга, вернувшегося с фронта. Не узнать и народа: другой народ. Говорили, что думать нужно в тишине и покое. Казалось, что юноши растут в торжественных аудиториях, в книгохранилищах или в студенческих комнатушках над горой рукописей. Не похожи

темные блиндажи на университет. Шумно на фронте, шумно и неспокойно. Но кто сейчас расскажет о том, как люди думают на переднем крае? Они думают напряженно, настойчиво, лихорадочно. Они думают о настоящем и прошлом. Они думают о том, почему не удалась вчерашняя операция, и о том, почему в десятилетке их многому не научили. Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители.

Чудодейственно, как лес в сказке, растут люди на войне. Они живут рядом со смертью, они знакомы с ней, как с соседкой, и они стали мудрыми. Они преодолели страх, а это приподымает человека, придает ему уверенность, внутреннее веселье, силу. Нет на войне промежуточных тонов, бледных красок, все доведено до конца — великое и презренное, черное и белое. Война — большое испытание и для народов и для людей. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено.

В основу нашей жизни четверть века тому назад мы положили слово «товарищ». Это слово ко многому обязывает. Легко его сказать, трудно за него ответить. В понятии «гражданин» есть точность и сухость, это — арифметическая справка о сумме прав и обязанностей. Слово «товарищ» требует душевного горения. Впервые для миллионов и миллионов оно раскрылось во всей глубине на фронте. Оно стало конкретным, теплым, вязким, как кровь.

На войне мы увидели до конца силу человеческой дружбы. Сколько подвигов родило это замечательное чувство! Рядом с тобой, в одной батарее, в одном взводе — дорогой друг. Если его ранят, ты его оторвешь от смерти. Если его убьют, ты не забудешь его и не простишь врагу. До войны другом легко называли, но друга и легко забывали. Не то после боев. Говорили прежде: «Съесть вместе пуд соли». Но что соль рядом с кровью? Что годы по сравнению с одной ночью в Сталинграде? С какой радостью боец возвращается в свою часть: он вернулся домой. Он расспрашивает о каждом товарище, о каждом друге.

Дружба народов была нашим государственным принципом, она стала чувством каждого отдельного человека. В одной роте и русские, и казахи, и украинцы, и белорусы, и грузины. Мы увидели, что, говоря на разных языках, мы одно чувствуем, про одно думаем.

С волнением слушают сибиряки чудесные украинские песни, и рассказ о белых ночах Архангельска доходит до сердца черноглазого сына Армении. Мы были объединены сначала историей, потом высоким началом равенства. Теперь мы объединены ночами в окопах, и нет цемента крепче.

Что легко дается, то не ценится. Только теперь наша привязанность к родине стала плотной, тяжелой, неодолимой. Ради родины люди жертвуют самым дорогим. Они и прежде были патриотами, но теперь они задумались над своими чувствами, и эти чувства стали глубже. Прежде они искали внешнего объяснения для своей любви. К чужеземному они порой относились то с необоснованным пренебрежением, то со столь же необоснованным преклонением. Теперь они знают, что родину любишь не за то или за это, а за то, что она — родина. Так скромное деревце становится более прекрасным, нежели все рощи Эдема. Можно видеть свои недостатки: от этого родину не разлюбишь, от этого только захочешь исправиться, возвысить себя и страну.

На войне нам открылась история, ожили страницы книг. Герои прошлого перешли из учебников в блиндажи. Кто не пережил двенадцатый год как близкую и понятную повесть? Какой комсомолец не возмущен развалинами кремля в Новгороде? Мы увидели, что наше молодое государство строилось не на пустом месте. Стойкость Ленинграда нас восхищает, его страдания требуют мести. Мы увидели дело Петра, построившего дивный город. Мы поняли, что без Петра не было бы Пушкина и что без Петербурга не было бы путиловцев, которые в темную осеннюю ночь открыли путь к новой эре.

Столкнувшись с варварством фашизма, мы почувствовали все то ценное и большое, что было добыто народами России четверть века тому назад. У нас сын пастуха читал Гегеля. Как он должен смотреть на немецкого «философа», который превратил философию в справочник по скотоводству? С каким омерзением мы слушаем рассказы немецких пленных, этих кретинов, которые нам рассказывают, что у них «социализм» и что они приспособили для работы вместо лошадей поляков или французов!

Ненависть может слепить. Наша ненависть — это прозрение, она помогла народу созреть, вырасти. Мы

были гуманистами, ими мы и остались. Мы не потеряли нашей веры в человека. Мы только узнали, что есть подделка под людей, что гитлеровец — это эрзац человека. Было время, когда мы жалели немцев, даже посылали хлеб голодным обитателям Рура — в трудные для нас годы. Многие из нас не учитывали ни исторических традиций Германии, ни психологии немцев. Мы создали образ немца по своему подобию, и когда немцы напали на нас, наш добрый народ все еще верил, что фашисты гонят немцев, что обманутый немец скоро крикнет: «Гитлер капут». Мы действительно слышим эти слова — их говорят пленные, когда они превращаются в жалких подхалимов. Но мы знаем, что это не обманутые, а обманщики.

Война взрастила в нас не только ненависть к немцам, но и презрение. Этим чувством мы можем гордиться, ведь немцы одержали немало побед, они проникли в глубь нашей страны, и все же мы их глубоко, искренно, страстно презираем. В этом сказалась душевная зрелость нашего народа. Мы вовсе не склонны пренебрегать военной техникой или стратегией Германии. Мы можем учиться у немцев воевать. Но мы не станем учиться у них жить. Для нас они — двуногие звери, в совершенстве овладевшие военной техникой.

Мы ценили героизм испанского народа, но многим из нас трудно было понять, что полуграмотный испанский крестьянин культурнее берлинского профессора. Теперь это поняли все. Мы увидели немцев, которые ведут дневники, у которых дома пишущие машинки и патефоны, которые по внешнему виду напоминают цивилизованных европейцев и которые оскорбили бы нравственное чувство любого обитателя Сандвичевых островов. Бойцы их разжаловали в «фрицев», этим сказано все — не люди, а фрицы. Нас не обманут больше внешние признаки культуры. Мы теперь знаем, что важно не только количество и внешнее качество печатных изданий, но и содержание печатаемого, что города Германии с чистыми улицами, с хорошо оборудованными больницами, с просторными школами являются заповедниками грубого и отвратительного варварства. Конечно, мы не отрицаем значения материальной культуры, но мы теперь увидели, что без духовного богатства такая культура быстро вырождается в одичание.

Зрелость каждого фронтовика сделала нас сильными. Мы потеряли большие пространства. Второе лето

принесло нам много горя. И все же можем сказать, что теперь мы сильнее, чем 22 июня 1941 года,—сильнее сознанием, разумом, сердцем. Когда мы пели «Если завтра война...», мы многого не понимали. Мы очистились от беспечности, от самообольщения, от косности. Мы еще не добились победы, но мы созрели для нее.

Мы порой думаем, как трудно будет залечить раны, отстроить разрушенные города, наладить мирную жизнь. Это мысли о потерянном. Вспомним о приобретенном и скажем себе, что человек, который вернется с фронта, стоит десяти довоенных. По-другому люди будут и трудиться и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину, внутреннюю свободу.

Прекрасно будет первое утро после победы. Мы узнаем, что мать спокойно спала. Письмоносец снова станет деталью жизни. Жена обнимет героя. Замолкнут сирены. Вечером вспыхнут яркие фонари и на улице Горького и на Невском. Наш флаг взовьется над многострадальным Киевом. Может быть, в тот день будет идти дождь или падать снег, но мы увидим солнце и синее небо. Россия, первая остановившая немцев, с высоко поднятой головой, сильная, но мирная, гордая, но не спесивая, снимет с плеча винтовку и скажет: «Теперь—жить».

НАСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Каждый вечер, когда радио передает «В последний час», мы как бы слышим смутный гул шагов. Это идет Красная Армия. Это идет История.

Еще месяц тому назад Гитлер заявил: «Сталинград будет взят». Немцы удивлялись скромности бесноватого фюрера: он не обещал им ни Баку, ни мира. Он обещал всего-навсего Сталинград. Берлинские олухи не сомневались, что Сталинград у фюрера в кармане. Что они теперь думают? Берлин передает: «Германское командование сохраняет полное спокойствие». Легко понять удивление фрицев: почему фюрер вдруг объявил во всеуслышание, что он «спокоен»? Наиболее догадливые говорят: «Если фюрер кричит, что он спокоен, значит, начался солидный зимний драп. Фюрер всегда говорит о своем спокойствии, когда его отпаивают валерьянкой».

Мы знали, что мы не отдадим Сталинграда. И мы не отдали Сталинграда. Гвардейцы генерала

Родимцева удостоились высшего счастья: они видят начало расплаты. Немцы три месяца терзали героический город. Они бросили на него свои отборные дивизии. Они бросили на него свои самолеты. Они кричали: «Мы почти взяли Сталинград». И вот мы присутствуем при первом явлении исторической справедливости: Сталинград выстоял. Сталинград отвечает.

Еще недавно мир глядел на защитников Сталинграда с восхищением и с недоумением; люди спрашивали себя: уж не бесцельная ли это отвага? Но стойкость защитников города была первым камнем победы. Почему немцев гонят на Дону и в калмыцкой степи? Почему наши наступающие армии прошли полтораста километров? Потому что герои Сталинграда отчаянно защищали каждый метр земли. Немцы говорили, что они окружили защитников города. Герои Сталинграда держались. Они держались, когда переправы на Волге находились под непрерывным огнем врага. Они держались, когда, казалось, нельзя было удержаться. Они выстояли победу. Кто теперь окружен?

Прошлой осенью немцы глядели на Москву в бинокли. Эти бинокли они побросали, удирая. В этом году биноклей не было: немцы находились в нескольких сотнях шагов от цели. Немцы «почти взяли» Сталинград. Они его не взяли и не могли взять: это «почти» было стеной из человеческих грудей, и стена не дрогнула.

Мы знаем, что немцы глубоко врезались в нашу страну. Другой народ не выдержал бы такого испытания. Но Россия — это Россия. Ее не берут. Немцы были близко от победы, близко и бесконечно далеко: между ними и победой было русское мужество. Пятьсот шагов в Сталинграде многое решили. Эти пятьсот шагов — наша стойкость. Мы вторично выдержали. И теперь мы наступаем. Может быть, потерять Ростов и Кубань было еще горче, чем потерять Орел, Калугу и Калинин. Но немцы заплатят теперь дороже, чем прошлой зимой. Об этом говорит смутный гул шагов: наступление продолжается.

Под Москвой Гитлер вопил: «Красная Армия уничтожена». Этот припадочный ефрейтор столько говорил о конце России, что сам поверил в свою ложь. Он очнулся в декабре. В этом году неисправимый кликуша кричал: «Военная мощь России сломлена». Пробуждение началось уже в ноябре. Слов нет, далеко от Бер-

лина до Калача. Они долго шли. Куда они пришли? Одни — в лагеря для пленных, другие — в могилу.

24 ноября военный корреспондент «Берлинер берзенцайтунг», подчеркивая «всемирное значение битвы за Сталинград», писал: «Русские так упорно обороняли город потому, что желали сохранить предмостное укрепление для зимних атак. Они хотели клещеобразным ударом сжать нашу сталинградскую группировку». Немецкий журналист писал об этом, как о древней истории: он ведь наслушался непогрешимого фюрера, и он был убежден, что угроза русского наступления миновала. Что теперь думает этот жизнерадостный фриц? Скорей всего он занят не стратегией, а планами своего отъезда или отлета.

Немцы подавлены нашим наступлением. Они говорят друг другу: «Зима началась». Один фриц пишет: «Как только ударят морозы, ударят русские». Этот фриц оптимист: морозы еще не ударили, а русские уже ударили, и хорошо ударили. Это только начало. Снова великое слово «вперед» облетает бойцов. Снова плетутся зимние фрицы по мокрому снегу. Прошлой зимой немцы отдыхали в Ливии. Теперь у немцев не будет ни одного спокойного места. Теперь у немцев не будет ни одного спокойного дня.

Берлин сегодня передает по радио (привожу дословно запись): «Германская армия в нынешнем году знакома с зимними условиями войны в России и готова к ним. Пройдет зима, опять защебечут птицы, зазеленеет молодая трава, зажурчат ручейки, и германская армия сурово двинется в атаку». Рано берлинская птичка зачирикала — теперь только конец ноября. Слов нет, весной трава зазеленеет. Но зазеленеет она на немецких могилах. Ручейков фрицы не услышат. Перед смертью их уши заполнят музыка боя и далекое глухое «ура».

Вперед! — повторяют бойцы. Страна, гордая Красной Армией, считает трофеи. Солдатам не до счета: солдаты наступают.

29 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА

Минувший год был для России трудным годом. Летом Гитлер решил бросить все на зеленое сукно. Когда я писал в августе, что немцы обнажили

побережье Атлантики и кинули все боеспособные дивизии на нас, это могло показаться сетованиями или уговорами. Теперь я говорю об этом, как о прошлом. Мы увидали на наших полях мобилизованных «незаменимых» специалистов, мы увидали седоволосых солдат кайзера и немецких мальчишек, мы увидали даже солдат «с двадцатью пятью процентами неарийской крови» — в погоне за пушечным мясом Гитлер забыл о «чистоте расы». Мы увидали финнов на Черном море, румын на Кавказе, венгров на Дону. Мы увидали берсальеров, которые завоевывали на Дону Ниццу и Корсику. Мы увидали французские танки, голландские самолеты, чешские орудия, бельгийские винтовки. Удар был тяжелым. Мы сражались тогда одни. Мы выстояли.

Ноябрь переменил климат мира. Весна человечества в этом году пришлась на глубокую осень. Удар под Сталинградом показал Гитлеру, что нельзя принимать свои желания за действительность. Россия оказалась достаточно сильной, чтобы перейти от обороны к наступлению. На гитлеровскую Германию и ее союзников посыпались один удар за другим. «Непобедимый» Роммель обогнал даже резвых итальянцев. Неожиданно для Гитлера Америка оказалась в Африке. От Туниса рукой подать до Сицилии, а «четырехтонки» англичан благотворно отразились на умственных способностях итальянцев. Крысы различных стран увидели, что фашистский корабль дал течь. Германия приуныла. «Дас шварце кор» меланхолично отмечает, что «мечту о мире пришлось положить в шкаф и обильно посыпать нафталином». Мы видим этот шкаф старой воровки. Там бутылки от давно распитого французского шампанского, несколько античных ваз, украденных в Греции, несколько крестьянских кофт, украденных в России, полинявшие знамена Нарвика и Фермопил и мечты, мечты о немецкой победе. Вряд ли потребовался нафталин: эти мечты уже засыпаны жесткой русской землей.

Невесело встретит Новый год разбойная страна. Конечно, на ее тарелках еще последние крохи ограбленной Европы. Конечно, далеко от Туниса до Мюнхена и от Великих Лук до Берлина. Но немцы понимают, что подходит расплата... У репродукторов Германия слушает смутный гул. Это идет Красная Армия. Это идет суд. У нас свидетели — каждый дом, каждое

дерево, каждый камень. Наш закон в сердце, он прост и суров: смерть убийцам! Наш приговор мы пишем черным по белому — кровью фашистов по русскому снегу.

Еще недавно я читал в берлинской газете: «Клещи, охват, окружения — чисто немецкие понятия». Вспоминают ли теперь гитлеровские офицеры эти хвастливые фразы? Им пришлось ознакомиться с «чисто немецкими понятиями» на своей шкуре. Германию начинает знобить. Еще три месяца тому назад баварские пивовары и прусские свиноводы говорили в один голос, что им необходимо «жизненное пространство». Солдаты деловито спрашивали, далеко ли до Баку, а молодые эсэсовцы высокомерно заявляли, что они торопятся в Индию. Теперь они уверяют, будто в Нальчике или в Бизерте защищают свой дом.

Газета «Мюнхенер нойесте нахрихтен» пробует успокоить читателей: «Длинные зимние ночи всегда отрицательно действовали на уверенность немцев... Немцы видят привидения там, где они наталкиваются на трудности. Тяжело переносить неизвестность, в которой мы уже живем два месяца». Как не усмехнуться, читая эти признания? Ночи скоро станут короче, но вряд ли возрастет уверенность немцев. Русская поговорка говорит: «Год кончается, зима начинается». По правде сказать, зимы еще не было. Зима впереди. Но дело не в морозах, а в наступательной силе Красной Армии. Мы вышли на дорогу победы, и мы с нее не свернем. Напрасно немецкий журналист говорит о «неизвестности». Три года исход войны мог казаться немецким бюргерам неясным. Теперь все «известно» даже старым берлинским таксам.

Газета пишет о страхе перед привидениями. Как иллюстрация — письмо одной немки из Бад Эмса своему мужу. Немка рассказывает, что в Эмсе был убит француз-военнопленный. Этот мертвый француз, по словам немки, убил некую фрау Грессер и продолжает ночами нападать на прохожих. Они уже впадают в мистицизм. Им мерещатся привидения. В ночь под Новый год Германия услышит шаги. Кто идет? Заложники Нанта и Парижа, евреи Польши, дети, погребенные в керченском рве, повешенные Волоколамска, зарытые живыми в землю витебчане, старики, убитые в Лидице, миллионы замученных и растерзанных. Они уже не оставят ночей Германии. Мертвые, они приведут за

собой живых. Стоит зашататься армии Гитлера, и рабы всех стран, приведенные в Германию, будут судить рабовладельцев на площадях немецких городов. Кто тогда вступится за палачей? Мы помним письмо немки, которая просила прислать ей из России детские вещи, не стесняясь, если они запачканы кровью: «Кровь можно отмыть». Кажется, ведьмы Брокена и те, увидев эту гиену, воскликнут: «Горе вам, фашистским ведьмам!»

Настает Новый год. Мы не преуменьшаем трудностей. Мы не надеемся переубедить захватчиков: они глухи к человеческому слову. Мы надеемся их победить. Каждый день мы слышим торжественные слова: «Наступление продолжается». Немцы под Сталинградом напрасно ждут манны небесной. Их не спасут ни транспортные самолеты, ни ложь Геббельса. Попытка Гитлера прорваться от Котельникова на выручку своих кончилась поспешным отступлением. Теперь Гитлер должен думать о спасении тех дивизий, которые были посланы на выручку окруженных. Быстрое продвижение частей Красной Армии на юго-восток от Миллерова — вторая петля. Мы знаем, что немцы будут упорно обороняться, но одно дело мать, которая защищает своих детей, другое — вор, который не хочет расстаться с поживой.

Мы входим в Новый год обстрелянные. Сурово глядят наши юноши. Они догнали в горькой мудрости стариков. Мы готовы к тяжелым боям, к еще большим лишениям, к горю, которое как густой туман окутало Европу. Мы думали жить иначе. В жизнь века вмешалась Германия наци. Черна Европа. Оскудели ее поля. Она перешла от полетов в стратосферу к жизни в бомбоубежищах. Историк назовет эти годы великим затмением. Я ненавижу гитлеровцев не только за то, что они низко и подло убивают людей. Я их ненавижу за то, что мы должны их убивать, бить, колоть, за то, что из всех слов, которыми богат человек, они оставили нам одно: «Убий». Они ожесточили самых кротких. Они уничтожили все запахи земли, кроме запаха крови и перегоревшего бензина. Они стерли все цвета, кроме защитного. Они обесценили жизнь, и мы теперь сражаемся за самое простое: за дыхание.

«С Новым годом, с новым счастьем», — говорили в ночь под Новый год люди разных стран. Повторим эти слова. Мало личного счастья сулит Новый год

людям. Но мы хотим, чтобы он стал действительно новым, чтобы из предвоенных сумерек с их страхом и с их томительным ожиданием катастрофы, чтобы из ночи войны мы вырвались к утреннему розовому счастью. Тихо шевелятся губы женщин: их мужья, их любимые далеко. Молчат вдовы. В блиндажах, при тусклом свете коптилки, солдаты, на минуту размечтавшись, вспоминают свечи елок, ярко освещенные улицы, глупые и прекрасные сны мирных лет. Но вот они снова поглощены одним: наутро нужно взять узел сопротивления. Мерцают глаза, отражая огонек коптилки, и мне кажется, что в черной Европе это — единственный свет, маяк угнетенным, факел в иззябшей руке свободы.

С Новым годом! Мне хочется это сказать нашим друзьям, моим друзьям — англичанам. Прошлый год для вас был передышкой. Теперь вы готовы к жестоким боям. Нужно спасти жизнь. Нужно спасти нашу старую Европу. Нужно спасти душу века — она мерцает, как огонек в землянке. Новый год может стать годом победы. Это не билет на лотерее. Это дело мужества и воли. Нашей и вашей. Тогда победа придет — не мраморная богиня, нет, наша сестра, в грязи, в крови. Она протянет свои окоченевшие руки к бледному погасающему костру молчаливых солдат.

ФРАНЦУЗЫ

Они шли по снегу в полушубках, в валенках. Я вздрогнул, услышав французскую речь. Это были механики авиационного соединения «Нормандия» Сражающейся Франции. Они приехали к нам, чтобы в русском небе сражаться за землю Франции.

Авиационные соединения армии генерала де Голля названы именами французских провинций. Так, группы «Бретань» и «Эльзас» сражаются в Африке, группа «Иль-де-Франс» — над Ла-Маншем, группа «Нормандия» — на нашем фронте. У летчиков и механиков на груди герб Нормандии — два льва. Нормандия захвачена немцами, древний Руан сожжен, изумрудные луга вытоптаны. Но солдаты Нормандии твердо верят, что они увидят освобожденную Нормандию. Некоторые приехали из Лондона. Неисповедимы пути людей и народов. Кто бы подумал, что путь из Дувра в Кале пройдет через поля далекой России?

«Нормандия» — это кусок Франции. Здесь люди разных провинций: белокурый нормандец и черный как смоль корсиканец, задумчивый, молчаливый бретонец и пылкий марселец, баск, лотарингец, парижане. Здесь люди различных социальных пластов: рабочий, студент, моряк торгового флота, молодой врач, сын коммерсанта — еще недавно баловень судьбы — и сын бедняка. Их объединило одно: любовь к Франции. Эта любовь с невиданной силой проснулась в горькое лето 1940 года. Франция, коснувшись дна и узнав всю меру позора, выплыла. Она снова вступила в бой. Одни сражаются в самой Франции, в подполье. Другие стали солдатами де Голля.

Нелегко выбраться из Франции. Вот этот летчик был в Нормандии под немцами. Ночью он пробрался

в тогда еще не оккупированную зону. А оттуда?., «В Испании меня схватили. Сидел я в тюрьме. Убежал...»

Три приятеля. Их шутя зовут «три мушкетера». Они были в Алжире, в авиации Виши. Решили уйти к де Голлю: долететь на истребителях до Гибралтара. Но как улететь втроем? А если улетит один, другим не уйти: удвоят слежку. Они долго готовились. Наконец настал счастливый день. Им повезло. Но вот менее удачливый летчик: он приземлился вместо Гибралтара в испанском городе Ла-Линеа, два километра от Гибралтара. Попал в руки к врагам. Что же, он убежал из Ла-Линеа...

Врач убежал из Франции в Испанию. Его арестовали и после долгих мытарств выслали в Португалию. Здесь его вторично арестовали и хотели выслать в Испанию. Он пытался пробраться в Лондон. Вместо этого ему пришлось уехать на Кубу, оттуда в Соединенные Штаты, оттуда в Англию. Чтобы проехать из Парижа в Лондон, он исколесил полсвета.

Эпопея марсельца патетична и забавна. Летом 1941 года генерал Денц, командовавший войсками Виши в Сирии, капитулировал, оговорив право на возвращение во Францию офицеров и солдат, которые не пожелают примкнуть к генералу де Голлю. За сторонниками Петена были посланы из Марселя пароходы. А в Марселе люди ломали себе голову: как бы попасть на пароход, который уходит в Сирию? Марсельцев томила эта дверь, как бы приоткрывшаяся из тюрьмы на свободу. Студент становился кочегаром, художник клялся, что он старый матрос, а литограф прикидывался корабельным коком. Когда пароходы пришли в Бейрут, команде запретили сходить на берег. Люди бросились в воду и доплыли. А на пароходах сторонники Виши напрасно ждали кочегаров и матросов: экипажи ушли к де Голлю.

Майор прошел пешком из Дагомеи в Либерию — пятьсот километров девственными лесами. Сержант переплыл из Бретани в Англию на маленькой рыбацкой лодке. Был шторм. Сержант хотел доплыть, и он доплыл.

Их семьи остались там — под немецким игом. Вот почему парижанин без слов понимает лейтенанта-украинца. У них есть общий язык — ненависть. Парижанин говорит: «Бош, фриц» и сжимает руками воздух. Украинец одобрительно вздыхает: «Так его!..»

Есть среди французов люди, которые не имели представления о нашей стране. До катастрофы они читали профашистские газеты, изо дня в день рассказывавшие, что Россия — это курные избы и национализированные женщины. С изумлением они увидали большие города, заводы, комфортабельные дома, семьи. Они только разводят руками: «Как наши газеты врали!..» Есть и другие, с восхищением следившие за мирным ростом нашей страны. Они пришли из разных социальных групп, из разных партий, но для всех Россия — сильный и отважный союзник. Французы знают, что Советский Союз хочет возрождения независимой и свободной Франции, и летчики «Нормандии» счастливы, что они «наконец-то попали на настоящую войну», как сказал мне один лейтенант.

Механик-сержант, парижский печатник, сражался в Испании против фашистов. Он хорошо знает врага: враг все тот же — враг Франции, враг Испании, враг России, враг свободы.

Корсиканец говорит: «У меня итальянцы убили брата. А мы на Корсике знаем, что такое священная месть. Я должен отомстить. Мне повезло, что я — здесь. Я отомщу...»

Летчик Дюран за одну неделю, когда французская армия воевала, сбил четыре вражеских самолета. Он говорит: «По мне скучает пятый бош... Скорее бы в бой...» В Египте и в Сирии многие сидели без дела, они стосковались по бою. Капитан-лотарингец, сбивший одиннадцать немецких машин, сурово поясняет: «Мы пошли за генералом де Голлем, чтобы воевать. Здесь мы сможем воевать».

Летчики довольны советскими машинами: они много лучше тех, на которых им приходилось воевать в Африке. Французские летчики быстро освоили наши самолеты. Механики обрадовались: во Франции они работали с моторами «испано-суиза».

Непонятной кажется издалека Россия. Но вот приехали французы и сразу почувствовали себя как дома. Не видали они никогда валенок, а теперь не расстаются с ними. Не знали щей — понравились щи. Боялись русской зимы, но оказалось — не страшно. Ходят на лыжах. Уже знают много русских слов. А детишки кричат по-французски: «Бонжур!»

Когда передают «В последний час», французы сосредоточенно молчат, стараясь разобраться в чужих

именах, в непонятных словах. Но вот раздается: «Немцы потеряли убитыми 175 тысяч солдат и офицеров»,—и французы улыбаются: уничтожены палачи Франции. В такую минуту понимаешь, что такое боевая дружба. А французский лейтенант жмет руку нашему летчику и ласково повторяет: «Карошо... Карошо!..»

ЭПИЛОГ

В Сталинграде наши войска выкурили из норы последних фрицев. Коллекция военнопленных обогатилась еще несколькими генералами. После долгих месяцев боя впервые над Сталинградом воцарилась благословенная тишина. Давно Седан стал нарицательным именем: судьба армии Наполеона III, окруженной пруссаками, приводилась как пример бесславного поражения. Пусть немцы больше не говорят о Седане. Пусть теперь они повторяют: «Сталинград». Поражение 6-й немецкой армии назидательней Седана.

Они шли к Волге, самодовольные, опьяненные топотом своих шагов. Они свезли под Сталинград многообразную технику. Они кричали: «У нас множество танков! У нас шестиствольные минометы! У нас лучшие в мире бомбардировщики!» Главнокомандующий германской армией, ефрейтор, больной манией величия, 30 сентября развязно рявкнул: «Я говорю, что Сталинград будет в ближайшие дни взят моими солдатами!» Он может сейчас поглядеть на Сталинград—его генералы один за другим сдаются в плен. Мощная техника Германии не помогла фрицам. Железо не воюет. Железом воюют. У наших солдат в груди священный огонь, и теперь мы считаем сотнями, тысячами захваченные трофеи: самолеты, танки, орудия, минометы. Берлин от горя не поумнел, а поглупел. Вот как берлинское радио золотит горькую пилюлю: «Наше военное руководство в Сталинграде, перед тем как сдаться русским, уничтожило все документы. Этим наши герои приготовили себе еще один камень для памятника». Хорош будет этот памятник битым фрицам! Может быть, на его цоколе они напишут: «Сдаваясь в плен, отважно сожгли приказы о реквизиции и наиболее пикантные дневники». Бумаги было легче уничтожить, чем орудия.

Чувствуя, что сожженные бумаги мало утешают немцев, берлинское радио сообщает: «В северной части Сталинграда наши войска сражаются еще более стойко». Это немцы говорили по радио 2 февраля. А в это время в северной части Сталинграда фрицы всех званий деловито спрашивали красноармейцев: «Битте, где здесь плен?»

Осенью Гитлер во что бы то ни стало хотел взять Сталинград. Он мечтал об этом напряженно, навязчиво: победа ему была нужна, как опора, как стена. Он уперся в стену, и стена рухнула. Он кричал на своих генералов: «Взять Сталинград!» Он швырял ордена. Он грозил непослушным. Он пригнал к Волге свои лучшие дивизии. Он потратил на Сталинград сотни и сотни тысяч немцев. Он не хотел признать себя побежденным. Сталинград стал для бесноватого ефрейтора вопросом престижа. Он завел свою отборную армию в капкан. Он кричал: «Вы триумфаторы!» Пусть полюбуется теперь на своих «триумфаторов»: они жалки и ничтожны, эти пойманные в западню мелкие хищники, воры с крестами на груди. Боец глядит на пленных генералов и усмехается: «Довоевались!»

Немцы называют окружение «котлом». Что же, большой сталинградский котел откипел. Но немцам теперь приходится привыкать к окружениям: котлов и котелков довольно много, в каждом из них варятся фрицы. Мы теперь тоже кое к чему привыкли: мы привыкли бить немцев оптом, и это дело мы доведем до конца.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Я получил письмо, на которое не могу ответить: его автора нет больше в живых. Он не успел отправить письмо, и товарищи приписали: «Найдено у сержанта Мальцева Якова Ильича, убитого под Сталинградом».

Яков Мальцев писал мне:

«Убедительно прошу вас обработать мое корявое послание и напечатать в газете. Старшина Лычкин Иван Георгиевич жив. Его хотели представить к высокой награде, но батальон, в котором мы находились, погиб. Завтра или послезавтра я иду в бой. Может быть, придется погибнуть. В последние минуты до

боли в душе хочется, чтобы народ узнал о геройском подвиге старшины Лычкина».

Я исполняю последнее желание погибшего сержанта. Вот его рассказ о старшине Иване Лычкине:

«Это было на Северо-Западном фронте в августе 1941 года, в самые тяжкие дни отступления. Немцы превосходящими силами зашли в тыл. Впереди оказался наш батальон. Двое суток они отбивали атаки немцев. Положение было серьезным — у них не хватало снарядов, патронов, гранат. Старшине Лычкину и пяти бойцам поручили доставить боеприпасы батальону.

Мы погрузили все на пять повозок и двинулись лесом. На дороге стояли немцы, мы слышали их крики. Свернули вправо, проехали часа три, не знали, правильное ли направление, но старшина был спокоен. Спрашиваем: «Туда ли?» Он вместо ответа приказал приготовить пулемет, винтовки, гранаты. Еще час прошел — никого. Мы хотели кормить лошадей, но старшина не разрешил: «Сейчас встретим немцев. Может быть, придется здесь погибнуть, но есть задание — доставить боеприпасы. Патронов и гранат не жалеть. Если окажемся в безвыходном положении, взорвать повозки».

Шоссе, а на нем немецкий патруль. Старшина, маскируясь за кустарником, добрался до немца и бесшумно «снял» его. Мы пересекли шоссе. Снова лес, но здесь ни дорожки, ни тропинки. Пришлось прорубать кусты. Так доехали до опушки. Остановились. Недалеко была деревня Бойцово. Нам предстояло проехать триста или четыреста метров открытым полем, а там дальше снова лес. Старшина сел с пулеметом на первую повозку, и мы понеслись галопом. Казалось, в поле никого, а тут сразу — пулеметы, автоматы. Немцы стреляли со всех сторон. Мы попали в ловушку. Это было наше боевое крещение.

На полпути остановились в овраге. Заняли круговую оборону. От деревни отделились семь немцев. Старшина пустил первую очередь. Немцы упали. Из деревни открыли бешеный огонь. Мы не отвечаем. Потом все замолкло. Мы хотели было двигаться дальше, но немцы нас опередили, они поднялись и, сжимая кольцо, стали продвигаться к нашим повозкам. Старшина приказал: «Без команды огонь не открывать». Немцы в 400 метрах. Мы молчим. Вот уже только 200 метров отделяют нас от подлецов. Мы волнуемся. Наконец слышим команду: «По собакам

огонь!» Немцы не ожидали такой встречи, дрогнули, залегли. Так повторялось три раза.

Наступила ночь. Старшина дважды ходил в разведку — искал лазейку, но ничего не нашел. А утром немцы снова пошли в атаку. В тот день они нас четыре раза атаковали, но каждый раз мы отбивали их. Ночью немцы попытались нас взять врасплох, но старшина их перестрелял из пулемета.

Третий день. Взбешенные нашим сопротивлением, немцы открыли ураганный огонь — пулеметы и минометы. Убиты две лошади. Разбили одну повозку. Мы отодвинулись по лощине вниз. Миной был тяжело ранен красноармеец Купряжкин, он вскоре скончался. Немцы пошли в восьмую атаку. От сильного перегрева у старшины отказал наш единственный пулемет. Атаку мы отбили винтовочным огнем и гранатами. Глядим — в лощине три немца. Они были шагах в двадцати от нас. Старшина заколол двоих, третьего задушил руками.

Кольцо вокруг нас сжималось. Положение казалось безвыходным. Очень мучила жажда. Мы взяли немецкие автоматы. Отбиваем атаку. И вот в самую трудную минуту Васильев и Хромов отделяются от нас и с поднятыми руками идут к немцам. Две короткие очереди из автомата — старшина убил предателей. Осталось трое — старшина, Плешивцев, я.

Немцы снова открыли губительный огонь. Старшина тяжело ранен в руку, но он не двинулся с места. Правая рука цела, и старшина стреляет, приговаривая: «161...163...» От большой потери крови он потерял сознание, но быстро пришел в себя. Он приказал Плешивцеву перегрузить все с разбитых повозок. Третьи сутки без пищи и без воды. Есть не хотелось, но вот пить — все пересохло во рту. Было тяжело, зачем скрывать, но, воодушевленные нашим старшиной, мы думали об одном: как бы доставить батальону боеприпасы.

Стемнело. Старшина снова пошел в разведку. Он долго пропадал, казалось, уже не вернется. Вдруг видим, пришел, улыбается — доволен. Мы тронулись по лощине, незаметно добрались до опушки леса, а немцы открыли огонь в противоположном направлении. Что случилось? Старшина, оказывается, нашел провод — примерно триста метров, привязал пустой ящик — со стреляными гильзами, зацепил за дерево и за повозку. Только мы тронулись, ящик покатился в другом напра-

влении. Это обмануло немцев, они туда начали стрелять. А мы вышли из кольца.

Мы доехали до разобранного железнодорожного полотна. Тут нам преградил дорогу немецкий легкий танк. Мы остановились, ползком подошли к машине на пять метров, встали и с криком «ура» бросились вперед. Мы захватили двух немцев, исправный танк. Водить танк никто из нас не умел, но общими усилиями завели и двинулись. Так мы благополучно довели танк до расположения батальона, доставили боеприпасы. Старшина имел на своем счету исправный танк, свыше двухсот убитых немцев, двух пленных, три автомата.

Старшина Лычкин остался в части, несмотря на тяжелое ранение. Только по настоятельному требованию Героя Советского Союза майора Зайюльева он направился в госпиталь».

Это было полтора года тому назад. В горькие дни отступления такие люди, как старшина Иван Лычкин, закладывали фундамент победы. На пути германской армии встали смельчаки. Трое вышли победителями из неравного боя.

Но, думая о подвиге старшины Ивана Лычкина, я неизменно возвращаюсь мыслями к погибшему под Сталинградом сержанту Якову Мальцеву. Он молчал о себе: как будто он ничего и не сделал. Всех убитых немцев он занес на счет своего боевого друга. Рассказ о подвиге Лычкина озаряет бледное лицо Мальцева. Я не знаю, как ему было суждено умереть, но я знаю, что он погиб смертью героя. Он погиб под Сталинградом, когда на востоке едва проступала заря нашей победы. Друг Ивана Лычкина не мог погибнуть иначе.

Я думаю о том, как Мальцев писал свое письмо. Это было перед боем. Товарищи молчали, курили, каждый о чем-то напряженно думал среди предгрозовой тишины. Что томило Мальцева? Не страх, не тоска, даже не думы о близких, а, наверно, были у него и дом и родные. Мальцев болел одним: вот он умрет и никто не узнает о подвиге Ивана Лычкина. Высокое чувство — дружба — воодушевляло Мальцева в последнюю ночь перед боем, в последнюю его ночь. Много в войне жестокого, темного, злого, но есть в ней такое горение духа, такое самозабвение, какого не увидишь среди мира и счастья.

СУДЬБА ЕВРОПЫ

Недавно мне пришлось побывать в Гжатском районе, освобожденном от немцев. Слово «пустыня» вряд ли может передать то зрелище катаклизма, величайшей катастрофы, которое встает перед глазами, как только попадаешь в места, где немцы хозяйничали семнадцать месяцев. Гжатский район был богатым и веселым. Оттуда шло в Москву молоко балованных швицких коров. Оттуда приезжали в столицу искусные портные и швейки. Причудливо в нашей стране старое переплеталось с новым. Рядом с древним Казанским собором, рядом с маленькими деревянными домиками в Гжатске высились просторные, пронизанные светом здания — школа, клуб, больница. Были в Гжатске и переулочки с непролазной грязью, и подростки, мечтавшие о полете в стратосферу. Теперь вместо города — уродливое нагромождение железных брусков, обгоревшего камня, щебня. Гжатск значится на карте, он значится и в сердцах, но его больше нет на земле. По последнему слову техники вандалы нашего века уничтожали город. Они взрывали толом ясли и церкви. Врываясь в дома, они выбивали оконные стекла, обливали стены горючим и радовались «бенгальскому огню»: Гжатск горел. В районе половина деревень сожжена, уцелели только те деревни, из которых немцы убирались впопыхах под натиском Красной Армии. Мало и людей осталось. Шесть тысяч русских немцы угнали из Гжатска в Германию. Встают видения темной древности, начала человеческой истории. Напрасно матери пытались спрятать своих детей от немецких работорговцев. Матери зарывали мальчишек в снег — и те замерзали. Матери прикрывали девочек сеном, но немцы штыками прокалывали стога. По улицам города шли малыши двенадцати — тринадцати лет, подгоняемые прикладами: это немцы гнали детей в рабство. Порой угоняли целые семьи, целые села. Район опустел. Голод, сыпняк, дифтерит и застенки гестапо сделали свое дело. Но, может быть, не менее страшно, чем физическое истребление, моральное подавление человеческого достоинства. Когда попадаешь в город, освобожденный от немцев, пугают не только развалины и трупы, пугают и человеческие глаза, как бы отгоревшие. Люди говорят шепотом, вздрагивают при звуке шагов, шарахаются от тени. Я видел это в марте

в Гжатске. Я видел это и в феврале в Курске. В начале войны газеты говорили о том, что́ несет миру фашизм. Теперь мы видим, что́ фашизм принес захваченным немцами областям. Слово «смерть» слишком входит в жизнь, оно здесь не на месте, лучше сказать: небытие, зияние, и права старая крестьянка, которая скорбно сказала мне о немцах: «Хуже смерти».

Когда глядишь на запад, видишь страшные картины — где-то далеко есть такой же Курск и такой же Гжатск. Их называют сначала близкими нам именами — Минском или Черниговом. Потом имена меняются. Вот это пепелище было французским городом Аррасом. Вот эти расстрелянные вывезены из чешского города Табора. Крайний западный район Бретани, мыс Европы, обращенный к Новому Свету, французы называют «финистер» — «конец земли». От Гжатска до Бреста, до Финистера — та же ночь, то же запустение, те же картины издевательства, умерщвления, варварства. «Конец земли» стал концом великой европейской ночи.

Мы страстно любим свою землю, свои истоки, свою историю. Мы гордимся нашей славянской Элладой — Киевской Русью, стройностью Софии, плачем Ярославны, классической ясностью Андрея Рублева, гражданскими вольностями Новгорода, ратными делами Александра Невского и Дмитрия Донского. Но никогда мы не отделяли нашей культуры от европейской, мы связаны с ней не проводами, не рельсами, но кровеносными сосудами, извилинами мозга. Мы были и старательными учениками, и учителями Европы. Только неучи могут представлять Россию как дитя, двести лет тому назад допущенное в школу культуры. Заветы Древней Греции, этой колыбели европейского сознания, пришли к нам не через Рим завоевателей и законников, но через Византию философов и подвижников. Достаточно сравнить живопись Андрея Рублева с фресками мастеров раннего Возрождения — Чимабуэ или Джотто, чтобы увидеть, насколько ближе к духу Эллады, к ее ясности и веселью старое русское искусство. Когда в девятнадцатом веке Россия поразила мир высотами мысли и слова, это не было рождением, это было зрелостью. Кто скажет, что́ больше волновало Пушкина — стихи Байрона или сказки няни Арины? Передовые умы России в прошлом столетии разделяли страсти Европы, ее надежды, ее горе. Они

внесли в европейское сознание русскую страстность, правдивость, человечность. В «неистовстве» Белинского, в подвижничестве Чернышевского, в героизме русских революционеров видны не только дары Запада, наследие гуманизма и Французской революции, в них чувствуется и то искание правды, которое было историческим путем русской культуры: «взыскующие града». Вот почему Толстой, Достоевский и Чехов, Чайковский и Мусоргский обогатили любого культурного европейца, углубили и расширили само понятие Европы. Вот почему Ленин остается образцом и государственного гения России, и вершиной всеевропейской и общечеловеческой мысли.

Мы понимаем горе Франции не только потому, что у нас есть Гжатск, Харьков, Минск, но и потому, что нам бесконечно дорога судьба европейской культуры. Мы помним, что декабристы вдохновлялись «Декларацией прав гражданина», что Тургенев был другом лучших писателей Франции. На трагедию Европы мы смотрим не со стороны.

Тысячу дней немцы топчут завоеванные ими страны Европы. Я повторяю: тысячу дней. Стал страшным еще недавно цветущий многообразный материк. Смерть монотонна. Достаточно увидеть Воронеж, Вязьму, Истру, чтобы представить себе множество европейских городов. Немцы или их ставленники не могут восстановить разрушенное: все их силы направлены на дальнейшее разрушение. Так, до сих пор испанский город Герника — пепелище, улицы Альмерии — мусор. За пять лет генерал Франко не сумел отстроить Барселону или Мадрид. Испанцы не могут заняться своим домом, они вынуждены обслуживать интендантство Германии и умирать за Берлин под Ленинградом. Развалины Роттердама похожи, как близнецы, на развалины Белграда. Север Франции, напоминавший каменный муравейник, где улицы одного города переходили в улицы другого, стал каменной пустыней. Города побережья Атлантики расщеплены и сожжены.

Что стало с людьми? Одна женщина в Гжатске, у которой немцы угнали четырех детей, а потом сожгли дом, сказала мне: «Дом — дело наживное. А без детей не прожить...» Немцы посягнули не только на древние камни Европы, они растоптали ее тело, ее молодость, ее детей. Люди лишены простейшего права: жить на своей земле. Подпольная французская газета «Вуа дю нор» сообщает,

что в Лилле и Валансьене на каторжных работах работают профессора Киевского университета, студентки Харькова и Минска. А в городе Запорожье в военных мастерских изнывают французские инженеры и рабочие, привезенные немцами из Парижа. Гитлер торгует рабами. Так, он послал на лесные работы в Финляндию поляков и на земляные работы в Польшу — словенов. Эльзасцы отправлены на Украину — прокладывать немцам дороги. Бельгийские искусницы кружевницы роют землю в Литве. На улицах французских городов происходят облавы: немцы ловят работоспособных и гонят рабов на Восток. Каждый день из Франции вывозят десять тысяч невольников. Плач матерей Гжатска, как эхо, раздается в Лионе, но это не эхо — это плачут матери Лиона.

«Только с годами чумы и мора в средневековье можно сравнить наше время», — пишет «Журналь де Женев». Когда-то один французский король сказал: «Я хотел, чтобы в горшке каждого моего подданного была курица». В Гжатском районе до прихода немцев было 37 тысяч кур. Осталось 110... Недавно я прочитал в немецком экономическом журнале обстоятельную статью: об исчезновении в Европе яиц. Какой-то «герр доктор» разбирал вопрос о месте, которое занимали яйца в международной торговле, и меланхолично заключал: «Для Дании, Франции, для протектората необходимо найти новые продукты экспорта». «Продукты экспорта» найдены: рабы. Но стоит отметить, что, обсуждая вопрос о причинах исчезновения яиц в Европе, немецкий «ученый» не отметил одной: солдат-куроедов.

Французы уже съели все запасы кормовой репы, съели ворон, съели воробьев. На юге едят траву, называя ее «салатом Лаваля», на севере едят желуди и толченую кору. В Греции обезумевшие от голода люди гложут кустарник. На улицах Афин бродят тени: это ученые и рабочие, художники и ремесленники. Их не берут на работу: они не в силах поднять лопату. Они просят милостыню, и немецкие солдаты их пихают ногами, как собак. А собак больше нет: съедены.

Страшные болезни косят тех, кого оставили в своей стране рабовладельцы. Немцы, как чумные крысы, принесли с собой заразу. В некогда сытой краснощекой Голландии, в стране какао «Ван-Гутена» рост туберкулеза принял угрожающие размеры. В одной Гааге за первые девять месяцев 1942 года отмечено 17 тысяч

случаев заболевания острым туберкулезом. Во Франции, по данным подконтрольной газеты «Сет жур», насчитывается один миллион больных острой формой туберкулеза. Число больных сифилисом возросло в двенадцать раз, число больных кожными заболеваниями — в тридцать раз. Нет мыла. Нет лекарств. Нет хлеба. В Греции от голода и эпидемий погибла треть населения. Дифтерит обошел Польшу и Чехо-Словакию, прививок нет, и смертность среди детей достигает 60 процентов.

Еще страшнее жизнь европейцев, выкорчеванных немцами. Полмиллиона французских рабов уже умерли в Германии, два миллиона ожидают смерти. «Мы живем в страшном бараке среди кала и вшей. Нас кормят похлебкой из картофельной кожуры. Нас бьют палками по спине»,— рассказывает француз, убежавший из Германии («Ле Докюман», март 1943-го). Недавно немецкая газета «Данцигер форпостен» сообщила, что два серба были приговорены к тюрьме за «варварский поступок»: они съели котенка, принадлежавшего жительнице Данцига.

Европа заполнилась беспризорными. Корреспондент «Националь цайтунг» пишет, что во Франции ему приходится встречать «толпы одичавших детей, которые с криком убегают при приближении к ним человека». В Париже в госпитале Сальпетьер находится 286 девочек, в возрасте от 9 до 14 лет, больные сифилисом. В Марселе были арестованы два мальчика, один 8 лет, другой 11, обвиняемые в ряде убийств. В Сербии беспризорные дети бродят группами по 20—30. В Греции среди беспризорных детей отмечены случаи людоедства.

Нужно ли говорить о культурном одичании? Школы и университеты либо закрыты, либо обращены в рассадники гитлеровского невежества. В газете «Марсейез» описывается лекция «профессора» «Коллеж де Франс»: «Он долго объяснял, что неясно очерченный подбородок и волнистая линия овала свидетельствуют о нечистоте расы». Это происходит в тех самых аудиториях, где читали лекции математик Пуанкаре, химик Перрен, физик Ланжевен. Газета «Депеш де Тулуз» с грустью отмечает: «Среди юношей, сдавших выпускные экзамены, отмечена небывалая малограмотность». Книжный фонд чешских библиотек после гитлеровских «чисток» понизился на 70 процентов. Мне удалось

повидать некоторые книги, изданные во Франции при немецкой оккупации. Я не стану говорить об идеях: даже книги, посвященные философии, полны скотоводческого пафоса, который обязателен в «нео-Европе». Я говорю о другом: эти книги написаны дикарями. Во Франции каждый школьник умел хорошо выражать свою мысль. Теперь во Франции даже «писатели» не умеют сказать того, что хотят. Тысяча дней — немалый срок. За тысячу дней можно многому научиться, можно и многому разучиться.

Институт заложников, зрелище казней и пыток деформируют души слабых. Дети видят виселицы. Подросткам говорят: «Если ты выдашь отца, ты получишь банку консервов и бутылку вина. Если ты скроешь отца, мы тебя поведем в гестапо, а там умеют загонять булавки под ногти». Террор деформирует людей. Некоторые становятся трусливыми. Некоторые — патологически жестокими. Исчезает норма поведения, колеблются основы любого общежития. Европа становится открытой для инфекции, для распада тканей, для анархии.

Европа не хочет умирать. Сражаются, обливаясь кровью, партизаны Франции и Югославии. Еще много непораженных клеток. Красные шарики борются с белокровием. Наследие веков, прекрасное прошлое Европы, сопротивляется коричневой чуме. Можно спасти Европу. Но время не терпит. Наивно думать, что народы, выдержавшие тысячу дней, выдержат и другую тысячу. Этой весной перед защитниками жизни и культуры, перед всеми народами, воюющими против фашистской смерти, встает грозное слово: время!

Никто не сомневается в конечной победе антигитлеровской коалиции. Сталинград был блистательным началом. Красная Армия и поддерживающая ее страна показали духовную силу, решимость. Мы знаем, что вместе с союзниками мы нанесем последний удар гитлеровской военной машине. Но спящую красавицу нужно освободить до того, как она станет мертвой красавицей,— я говорю о плененной фашизмом Европе. Мало победить, нужно сохранить те живые силы, которые позволят виноградарям Бургундии снова насадить лозы, рыбакам Норвегии снова раскинуть сети, каменщикам Европы снова отстроить города и ученым донести до нового поколения полупогасший факел по-

знания. Горькой будет победа, если во Франции не останется ни докторов, ни художников, ни виноделов, ни электротехников!..

Я видел в Смоленской, Орловской, Курской областях деревни, которые сохранились: немцы не успели их сжечь. Красная Армия спасла много ценностей от разрушения. Она спасла от физической или моральной смерти миллионы людей. Армии антигитлеровской коалиции могут спасти Европу, ее людей, ее культуру, ее душу. Есть нечто дорогое всем врагам фашизма. Ученые Оксфорда и Ленинграда знают, что такое Сорбонна или институт Пастера. В Лондоне любят пьесы Чапека, но без живой и свободной Праги нет Чапека. Но без живой и свободной Франции американцы никогда не увидят картины Матисса или Марке. Как бы ни представлял себе тот или иной государственный мыслитель будущее европейских государств, оно может покоиться только на культуре, на нормах общежития, на человеческом достоинстве. Из камня можно строить дома самых разнообразных стилей. Но в пустыне нет камня, в пустыне песок, а из песка ничего не построишь.

Никогда еще весна так не томила старую Европу. Весна 1943 года встает перед Европой не только как смена времен года, как прилив космической жизни. Она встает как призыв к последней, решительной схватке, как начало воскресения.

ИХ НАСТУПЛЕНИЕ

Вот что сообщали вчера немцы:

«Советское наступление между Орлом и Курском провалилось».

«Советские части попытались проникнуть в наше расположение, но их атаки отбиты».

«Наступление наших войск не является большим наступлением».

«Началось крупное наступление наших войск».

«В основном наши части удерживают все свои позиции».

Гитлер задал фрицам головоломку: они читают на той же полосе газеты самые разноречивые сообщения. Радио-Берлин бормочет: «Мы обороняемся». Радио-Донау кричит: «Мы наступаем». Радио-Рим ликует:

«Мы прорвали вражескую оборону». Радио-Будапешт вздыхает: «Русским не удалось нас опрокинуть».

Между тем фрицы, которые не читают газет и не слушают радио, а покорно гибнут у Белгорода, великолепно знают, что Гитлер приказал им наступать. Если в районе Орла немцы не продвинулись вперед, то это не потому, что радио-Берлин твердит об обороне, а потому, что Красная Армия отбила атаки фрицев.

5 июля немецким разведывательным самолетам было поручено «следить за отходом русских». В тот самый день Гитлер клялся, что немцы не наступают. Немецкие «рамы» действительно не обнаружили никакого отхода русских. Почему? Да потому, что 5 июля Красная Армия отразила неистовые атаки немцев.

Гитлер боится сказать немцам правду: он боится, что немцы вспомнят «поход на Индию», гекатомбы фрицев у Моздока, на Дону, в Сталинграде. Гитлеру нужно наступать, он знает, что для Германии оборона равносильна смерти. Но Гитлер не смеет сказать немцам, что он начал в России третье наступление. На этот раз Гитлер наступает втихомолку, как вор.

Наши части на Белгородском и Орловско-Курском направлениях ведут суровые бои. Гитлер бросает одну танковую дивизию за другой. Он хочет, чтобы немцы забыли Сталинград и Тунис. Он торопится: его подгоняет западный ветер. Он торопит своих солдат: живее, на восток! Но фрицы видят перед собой советские укрепления. Но фрицы видят перед собой советских бойцов.

Мы знаем, как выросло мастерство Красной Армии. Мы знаем, что у нас теперь плеяда прославленных командиров и много бывалых солдат. Мы знаем, что образами Красной Армии вдохновляются офицеры и солдаты союзных стран. В 1941 году вооруженный, но неопытный народ отбивал мощные атаки врага. В 1943 году атаки немцев отражает самая сильная армия мира — наша.

Если немцы несколько продвинулись на том или ином участке, они заплатили за каждый метр земли жизнями своих солдат и судьбой своей техники. Отбивая атаки врага, изнуряя его, нанося ему раны, Красная Армия не только обороняет рубежи, она гото-

вится к наступлению. Зимний огонь, огонь Касторного и Миллерова горит в сердцах наших бойцов.

Наступление немцев у Белгорода—это отчаянная попытка грандиозной вылазки. Гитлер хочет ослабить нас. Он хочет вклиниться в нашу страну. Но Красная Армия покажет фрицам, что всему свое время. Немцы наступают и думают при этом об обороне. Мы обороняемся и думаем при этом о наступлении.

ЧАСЫ ИСТОРИИ

Сейчас Москва салютует нашей доблестной армии. Взволнованно бьются миллионы сердец—от Тихого океана до Орла и Белгорода: сердца салютуют защитникам родины. По пути к победе пройден еще этап. Красная Армия нанесла тяжелую рану гитлеровской Германии. Она напомнила немцам, что развязка приближается.

8 октября 1941 года гитлеровцы заняли Орел. Бесноватый фюрер произнес по радио речь. Хвастливо он заявил, что Красная Армия уничтожена. С того дня прошло почти два года, и вот «уничтоженная» Красная Армия гонит захватчиков. По замыслу фюрера с Орла должен был начаться поход на Москву. Сейчас Москва орудийными залпами говорит о нашей победе. Отзвук этих залпов дойдет до бесноватого. Он вспомнит свои кичливые слова. Двенадцать залпов—это бьют часы истории. Германия слишком долго грешила. Приходит возмездие. Оно в трупах гитлеровцев, в разбитых танках, грузовиках, машинах, в поспешном бегстве потрепанных немецких дивизий. Конечно, немцы скажут, что они «сами ушли из Орла». Позавчера они уверяли, что «отбили все атаки русских». Пусть лгут. Красную Армию не остановили ни укрепления вокруг Орла, ни сводки Гитлера.

Немцы свято верили в календарь. Тупые педанты, они считали, что лето принадлежит им. Отступая зимой, они валили все на мороз. Они кричали, что отступают потому, что им холодно. Может быть, им холодно сейчас, в этот неистово знойный день? Может быть, их танки вязнут в снегу? Может быть, их самолеты не могут работать при этаком морозе? Глупцы, они верили, что у них монополия на лето. Битые зимой, они попытались в третий раз ринуться на Во-

сток. Они недолго шли. Они только-только вышли из Белгорода, из-под Орла, как им пришлось вернуться. Теперь они не идут, теперь их гонят.

Москва салютует не только за себя, она салютует за всю Россию, она салютует за трижды нам дорогие многострадальные Орел и Белгород. Она салютует летчикам, танкистам, артиллеристам, саперам, она салютует нашей любимице-пехоте, она салютует каждому бойцу, и она салютует нашему Маршалу.

В этот торжественный час мы думаем о павших героях. Они покинули жизнь в сверкающие дни — на пороге победы. Они отдали родине все, что может отдать человек. Если есть бессмертие, они его достигли. Они слились с великой стихией народа, и бессильна перед ними смерть: умирая, они принесли близким и миру живую жизнь, свободу.

ГОЛОС ДАНИИ

Когда я хочу представить себе глубокое спокойствие, я вспоминаю недели, проведенные в Дании. Я не видел страны миролюбивее. На ярко-изумрудных лугах паслись знаменитые датские коровы, дававшие лучшее в Европе масло. Свинарники напоминали дортуары для институток: свиньи жили в чистоте и в неге. Дома крестьян, окруженные тенистыми кленами, казались очагами мира. По дорогам, как и по улицам Копенгагена, бесшумно скользили велосипедисты. Это была страна велосипедов. Острова соединялись паромами, которые перевозили поезда. Смотришь из купе — кругом волны, а потом снова луга. Красив старый Копенгаген, море входит в город, и столица кажется большим кораблем. Датчане с малолетства дышат морем. Но давно отшумели бури королевства датского. Дания стала землей труда. Ее смельчаки занялись рыболовством: ловили сельдь и треску. Другие ушли в торговый флот: датские корабли колесили по океанам, перевозя груз и пассажиров. В городе Оденсе я видал домик, где великий сказочник Андерсен сочинял свои сказки. Игрушечный домик, комнаты в нем меньше кают, нельзя пройти в дверь, не согнувшись. Здесь Андерсен видел старых ведьм и отважных девчонок, рыцарей и колдуна, здесь написал он своего «Соловья».

9 апреля 1940 года немцы ворвались в Данию. Они вошли в беззащитную страну. Да, в Дании были солдаты — они стояли у дворца. У них были очень большие шапки. Их было очень мало: держали их для красоты. Немцы объявили, что Данию они рассматривают как дружескую страну. Они оставили датчанам и короля, и парламент, и флаги на зданиях. Они ставили датчан в пример норвежцам: «Смотрите — Дания не воевала против нас, и мы не обижаем датчан». Дания была для Гитлера оправдательным документом: палач Европы позволял себе роскошь прикидываться в Дании добрым дядей... Но трудно людоеду изображать человеколюбца. Трудно старой ведьме — Германии — вести себя как доброй фее. Сорок месяцев немцы «баюкали» датчан, и вот после сорока месяцев безоружные датчане восстали.

После трагедии Тулона мир присутствует при трагедии Копенгагена. Крохотный датский флот восстал против захватчиков. Несколько кораблей прорвалось к берегам Швеции, остальные потоплены командами. Отважные матросы открыли огонь по немцам, чтобы дать товарищам время потопить суда. Маленькая Дания одержала победу над мощной Германией. Взрывы в Копенгагене придадут еще больше силы датским патриотам, их услышат народы Европы. Они донесутся и до далекой Америки. Они скажут миру: нельзя больше ждать! Если миролюбивые датчане выходят, безоружные, в бой против немецкой армии, значит, переполнилась чаша. Время свергнуть власть тьмы! Время сжечь старую колдунью! Время освободить Европу!

Близок час, когда свободная Дания будет праздновать победу. Она с гордостью вспомнит день 29 августа 1943 года, когда датские моряки, не подсчитывая сил, не гадая — можно ли драться одному против тысячи,— показали миру, что такое истинное мужество.

ИЗГНАНИЕ ВРАГА

В эти торжественные часы хочется сосредоточиться, взглянуть назад.

Сентябрь сорок первого... По Крещатику проходят немецкие колонны. Берлинское радио каждый день

сообщает о захвате городов, сопровождая сводки барабанным боем, присвистом, щелканием, лаем Гитлера, воем сотни комментаторов. Сухими, жесткими глазами провожают бабы отступающих красноармейцев. Фельдмаршал фон Рейхенау снимается на фоне Харькова, и немцы сопровождают фотографию короткой подписью: «Завоеватель». Пыль мечется над проселками: танки Гудериана несутся из Путивля, из Конотопа к Орлу. Плетутся на восток женщины с грудными детьми, а немецкие летчики их расстреливают и, возвратясь на аэродром, пьют «за победу!». В Германию идут поезда с украинской пшеницей, Гитлер кричит: «Красной Армии больше нет». Гитлер вместе с Муссолини снимаются среди развалин Смоленска. Почтенный профессор читает лекцию в Гейдельберге: «Россия—это колосс на глиняных ногах», и студентики, еще не призванные в армию, гогочут: «На глиняных, го-го!..» Немцы врываются в Донбасс. Осенний ветер качает тела повешенных горняков. Берлин озабоченно кудахчет: «Нам не хватает комендантов и полицейских». Им кажется, что партия выиграна. И даже американская газета «Нью-Йорк таймс» пишет: «С потерей Донбасса становится почти немыслимым организованное сопротивление России...»

Это было два года тому назад, и об этом сегодня стоит вспомнить. Сегодня, когда колосс Россия шагает стальными ногами на запад, когда многие за границей не находят достаточно эпитетов для прославления Красной Армии, когда, обливаясь слезами облегчения, прижимают к себе бабы запыленных бойцов, когда никто уже не помнит о Муссолини, который снимался в Смоленске, и когда Гитлер молчит—ему нечего больше сказать, когда каждый день мы узнаем об освобождении десятка городов, когда началось изгнание врага.

Да, то, что сейчас происходит, это не одно из сражений, это воистину изгнание врага. Впервые всем нашим существом мы ощущаем начало конца.

В течение двух лет немцы писали о значении Донбасса. В германских консульствах—в Аргентине, в Швеции, в Португалии, под портретами Гитлера висели многокрасочные карты Донбасса; треугольниками, ромбами, квадратами были обозначены богатства захваченного края. Экономисты выпускали труды о прошлом, настоящем и будущем Донбасса. Военные обозреватели, снисходительно говоря о «непонятном

упрямстве русских», показывали, что, потеряв Донбасс, Советский Союз не сможет долго сопротивляться. «Страна без угля»,—так озаглавил свою статью-передовик «Националь цайтунг» в декабре 1942 года.

Мы хорошо знаем, чем была для нас потеря Донбасса. Мы не скрывали от себя наших ран. Мы выдержали то, чего, казалось, нельзя выдержать. Мы потеряли уголь Донбасса, руду, хлеба Украины, Кубани, Дона, заводы Днепропетровска, Харькова, Воронежа, Сталинграда, нефть Майкопа, мы очень много потеряли. В одном из недавних боев пулеметчик Сытин был ранен, но продолжал стрелять. В госпитале врач, увидав, сколько крови потерял раненый, спросил его: «Как вы выдержали?..» Сытин ответил: «Прогнать их хотелось...» Огромная внутренная сила два страшных года поддерживала Россию. Она помогла и бойцам, и горнякам Сибири, и женщинам перенести все потери.

Теперь Красная Армия отвоевала Донбасс. Она отвоевала этот великий рабочий муравейник, тепло и свет нашей родины. Рабочая страна, мы любим Донбасс. Он дорог нам традициями, гордым нравом шахтеров, их приверженностью к свободе. Это не просто две области, это не столько-то квадратных километров, это солнечное сплетение Советского Союза и это любовь молодой, гордой, новой России.

Мы вправе праздновать освобождение Донбасса, но даже Донбасс теперь только глава. Происходит нечто большее: изгнание врага. Три дня прожило в сводках «Конотопское направление», и вот Конотоп уже в тылу. Мы понимаем, что значит Бахмач... Как горят глаза украинцев—и под Ленинградом, и в далекой Карелии, и в Смоленщине! Киев ждет, Киев уже слышит в ночи смутный гул: это идет свобода.

Еще две недели тому назад немцы писали: «Русским удалось захватить один город Орел и маленькую территорию, нигде не превосходящую пятидесяти километров в глубину. Они не смогли овладеть Донбассом и выбить нас из Украины». Хвастуны, они храбрились до последнего: пока не побежали. Может быть, Харьков, Сумы, Конотоп—это не Украина? Может быть, в Сталино теперь не мы, а немцы? Лжецы, кого они хотят обмануть? Мы опровергаем их артиллерийским огнем. Пусть, отдышавшись на минуту, они вопят: «Мы потеряли всего-навсего сто городов. Мы пробежали всего-навсего двести километров». Не договорив, они тронутся дальше.

Мы знаем, что враг еще не добит. Немцы гонят на запад сотни тысяч украинок и русских: женщины должны строить новые укрепления. Немцы кричат о каком-то «Восточном вале». Они хотят зацепиться за холмы, за реки, за болота. Они еще не сломлены. Они еще повинуются своим начальникам. Фриц, выбитый из Донбасса, будет драться у Запорожья. Фриц, уцелевший в Конотопе, оскалит зубы у Бахмача. Мы не преуменьшаем силы врага. Он еще не растерял своей сильной техники. Он еще может бросить в бой свои резервы. Но потери немцев непоправимы: не только территорию потеряли враги, они потеряли веру в победу.

Нелегко пробиваться вперед Красной Армии. Военные специалисты могут объяснить это изумительное наступление возросшим боевым опытом, большей дисциплиной, лучшим порядком, мощной техникой, взаимодействием пехоты и артиллерии, ролью танковых корпусов. Они будут трижды правы. Писатель, я хочу сказать о другом, о той силе, которая превратила степенных и мирных крестьян Поволжья или Сибири в яростных солдат, о той силе, которая позволяет пехотинцу проходить в день по сорок километров, не бояться угрозы на флангах, усмехаться при виде немецких бомбардировщиков, идти, идти и снова идти. В эти дни побед я хочу еще раз напомнить, что есть в нашей войне нечто отличное, выделяющее ее среди всех войн: теперь войну ведет не только разум народа, не только его горячая привязанность к своей земле, войну ведет и возмущенная совесть. Рука об руку шагают справедливость и Россия: они воодушевлены одним.

Наступая, Красная Армия снова видит черные дела захватчика: пепелища городов, пустыню, тела замученных. Там, где немцы могут, они угоняют все население. Передо мной приказ германского командования об «эвакуации» Навлинского района: «Каждый тотчас отправляется со своей семьей, скотом и движимым имуществом в западном направлении. Кто будет следовать в восточном направлении, будет обстрелян». Издыхающая змея жалит. Погибая, гитлеровская Германия хочет погубить весь мир. Так взлетают вверх минированные дома и гибнут на дорогах русские дети. А если послушать рассказы оставшихся, если поглядеть в их глаза, мутные от страха и унижения, откроется другая «зона пустыни»—в сердцах людей, опустошенных двумя годами бесправия. Наши

бойцы видят, как немцы ввели барщину для крестьян, как они пороли ослушников, как они заманивали, запугивали и заражали девушек. За все они ответят — с этим чувством идет на запад армия справедливости.

Один наш батальон был сформирован из уроженцев Курской области. Жадно ждали командиры и бойцы весточки от своих. И вот пришли страшные вести. Лейтенант Колесниченко узнал, что его отец повешен в селе Медвинка. Мать капитана Гундерова немцы расстреляли. Красноармеец Бородин прочитал, что немцы замучили его мать и расстреляли двух братьев. Лейтенант Богачев — убита жена, расстрелян отец. Красноармеец Луханин — расстреляна жена. Красноармеец Карнаухов — убиты двое детей и сестра. Красноармеец Барышек — расстрелян отец; дядя, не выдержав издевательств немцев, наложил на себя руки. Красноармеец Орехов — жена приговорена к повешению. Красноармеец Есин — расстреляны дядя, жена его и дочка. Красноармеец Бридин — убит племянник, пятилетний мальчик. Красноармеец Рыбалко — расстрелян зять. У девятерых семьи угнаны в Германию. У тридцати двух дома сожжены. Это все в одном батальоне. Что удержит такой батальон? Сибиряки, уральцы, кавказцы, видя такое горе, такие злодеяния, идут вперед, как вестники справедливости.

Германия трепещет: блеснул меч правосудия. Фрицы растерялись. Всего два месяца тому назад Гитлер сулил им победоносное наступление. Теперь Гитлер молчит, говорит русская артиллерия. Немецкий офицер Зигфрид Манцке, попав в плен, бубнит: «Продолжение войны не имеет никакого смысла». Да, война имела смысл для них, когда они шли на великий грабеж. Тогда война была салом и нефтью. Теперь война для них потеряла смысл. Но она полна значения для нас: мы их отучим воевать. Мы отобьем у них охоту каждые четверть века отправляться за чужим добром. Они узнают, сколько стоит кило сала и тонна нефти.

За два месяца наступление Красной Армии изменило климат мира. Прихлебатели Гитлера приуныли. Над измученной Европой шумит очистительная буря. Подняла голову неукротимая Франция. Самый миролюбивый народ мира, кротчайшие датчане, и те восстали против захватчиков. Недавно в Афинах немцы судили молодого грека, который поджег немецкие суда. «Вы подожгли два транспорта?» — спросил немец.

Грек поправил: «Нет, три». Изумленный дерзостью юноши, немецкий полковник сказал: «Понимаете ли вы, какая судьба вас ждет?» И грек ответил: «Я знаю, какая судьба ждет меня. Но я знаю также, какая судьба ждет вас». В этих словах — мысли и чувства мира: весной Германия могла еще казаться некоторым победительницей, теперь все видят, что она обречена.

А Красная Армия, гордая тем, что она идет впереди человечества, продолжает свой путь. Перед ней Днепр. Перед ней жизнь. Были отступление, контрнаступление, оборона, наступление. А теперь? Теперь — изгнание врага.

ПЕРЕД КИЕВОМ

Этому селу повезло: здесь были партизаны.

Белеют мазанки. Мычат коровы. Один теленок отстал от стада. Девчонка стыдит его: «Дурной». Ноги вязнут в песке. Здесь звуки войны особенно громки — песок. В хате звенят стекла: это немцы снова бомбят переправу. Просыпаясь от грохота, я вспоминаю: да ведь я на правом берегу Днепра...

Я проехал мимо десятков сожженных сел. Еще розовели головешки. Женщины и детишки раскапывали пепел. Я видел это много раз — от Бородина до Дарницы, но разве можно к этому привыкнуть? Это жжет сердце. Кажется, что шинель пропиталась запахом гари. Я не забуду рослого рыжего немца, горый, обезумев, кричал: «Нам капут, а я спалил три дома!» Он смеялся, и смех был страшным — судорога, оскал агонии.

Трудно поверить: я на правом берегу Днепра. В этих словах какая-то магия. Широк Днепр, пожалуй чересчур широк, когда едешь на пароме, а в небе разворачиваются немецкие бомбардировщики. В узких местах — 500—600 метров. Как одолели бойцы эту преграду? Другие расскажут о разведке саперов, о подготовке, об опыте Десны. Я сейчас хочу сказать о чувствах. На что только не способен человек, если что-то в нем горит, екает, распирает сердце! «Днепр! Днепро!» — восклицали люди, увидев реку. Некоторые умывались днепровской водой, другие пили священную воду. Старики из сожженных деревень тащили припрятанные лодки, гребли. Люди переплывали широкую

реку на плотах, на бочках, на бревнах, на воротах. Первый, ступивший на правый берег, тотчас схватил лопату и стал рыть окопчик.

Потом, как в сказке, выросли мосты. Саперы часами стояли в холодной воде. Санитары под бомбами подбирали раненых. Когда переправа наведена, налетают бомбардировщики. Но никакая сила больше не может остановить бойцов: они рвутся вперед.

Немцы вот уж добрый год как говорят и пишут о «линии Днепра». Пленные рассказывают, что во время отступления фрицев подбодряли одним словом «Днепр». В «линию Днепра» верили и немецкие офицеры. Я говорил с капитаном Вандевальдом из 339-й ПД. Он воевал в Польше и во Франции. Его глаза элегически светятся, когда он говорит: «Я провел полгода в Шамбертене»,— вспоминает прославленное бургундское вино. Этот капитан, украшенный двумя железными крестами, увидев русских на правом берегу Днепра, оробел и добровольно сдался в плен. «Где же восточный вал? — восклицает он.— Нас все время обманывали». Другой немецкий офицер мне сказал: «Мы пережили два страшных удара — Сталинград и крах нашего летнего наступления. Русские на правом берегу Днепра — это третий удар и, скажу прямо, самый страшный. Ведь позади у нас нет таких мощных естественных рубежей».

Немцы делают все, чтобы отбросить наши части на левый берег. Они подвезли несколько дивизий с других участков фронта. Одна из этих дивизий еще недавно была под Ленинградом. На один из отрезков правобережного фронта в междуречье немцы подбросили две танковые и две пехотные дивизии. Противник яростно контратакует — со времени Орла и Белгорода не было таких упорных боев. Немецкие дивизии, потрепанные у Севска, у Сум, у Рыльска, отброшенные в свое время к Киеву, получили там пополнение. Многие пленные, с которыми я говорил, прибыли из Франции в сентябре. Это юнцы или тотальные фрицы. Они показывают: «Приказано во что бы то ни стало очистить правый берег».

28 сентября ефрейтор Ганс Лабойме писал родным: «Я стою около большой реки, которая называется Днепр, и охраняю, чтобы русские не перебрались на наш берег. У меня только то, что на мне, ничего больше не осталось — нам пришлось все побросать, так как русские нас преследовали по пятам. Мы выгля-

дим как свиньи, нет ни мыла, ни бритвы, ни полотенца. Молитесь усердней, а я даже надел на шею четки с крестом».

Четки не помогли Гансу Лабойме: русские переправились на правый берег. Лейтенант Вайс мрачно говорит мне: «Днепр — наша последняя надежда».

Днепр теперь больше чем река — и для них и для нас. Здесь решается вопрос о сроках развязки боев на песчаных берегах, в местах, до войны хорошо знакомых киевским дачникам.

Нужно ли говорить о трудностях? О том, как вязнут в песках орудия? О том, как переправляют через реку танки? О мостах, которые мгновенно возникают вместо разрушенных? О переправе конницы? О мужестве саперов? О восстановительных батальонах железнодорожников? Я вижу вокруг себя не легендарных героев — обыкновенных людей, они калякают, ругаются, проклинают «раму», мечтают о миске горячих щей, но то, что они делают, воистину легендарно.

Киев — днем и ночью он как бы маячит перед всеми. Я видел людей, недавно убежавших оттуда. Они рассказывают, что немцы вывозят из города все — от станков до ковриков. Забиты все дороги. Деревни, заселенные немецкими «колонизаторами», опустели.

Спасти Киев — вот что подымает даже смертельно усталых людей. Все знают — если уцелела хата, значит, немцы не успели ее сжечь. Опередить факельщиков, обогнать смерть — вот обет и клятва на переправах, в боях.

Сожжены Бровары. Нет больше Дарницы. На Трухановом острове немцы убили стариков и старух. Что ждет Киев?

Стоят теплые, прозрачные дни. В лесу вокруг Дарницы зеленая тишина, паутина, грибы, мох. Вот и пески — их помнит каждый, кто подъезжал с востока к Киеву. Под соснами бойцы курят самосад. Один поёт: «Ой, Днепро, Днепро...» Вот и Киев. Кажется, что он рядом. Купола Лавры, дома, обрывы, Александровский сад, в котором я играл сорок пять лет тому назад. У Лавры немецкие минометы... Я гляжу и не могу оторваться — старый милый Киев... Падают медные листья в его садах. Идут девушки по его горбатым улицам. Они тоже глядят, не могут оторваться — они глядят на Слободку. А с севера до них доносятся голоса орудий.

ЧЕРНОРАБОЧИЕ ПОБЕДЫ

Есть солдаты, о подвигах которых мало говорят. Их мужество лишено блеска. Их отвага носит защитный цвет. Саперы — это солдаты-труженики. Это чернорабочие победы.

Все знают имя зодчего. На высоких лесах стоят строители. Но есть люди, которые на каменоломне дробят камень. Без них не было бы прекрасного здания. Без саперов не было бы наступления.

Сапер ползет среди бурьяна, среди камышей, по глине, по песку. Он борется один на один против смерти. Враг незрим. Враг в тончайшей проволоке, в неприметном колышке. Сапер ползет под огнем. Кругом — разрывы. Он не имеет права прислушиваться. Он должен смотреть, зорко, напряженно. Как золотоискатель ищет крупицы золота, сапер ищет мины. Он должен быть не только смелым, но расчетливым и находчивым. Одно неосторожное движение, одна минута рассеянности, и больше он не увидит ни этого бурьяна, ни приднепровского песка, ни легкого осеннего неба. «Сапер ошибается один раз в жизни» — это стало солдатской поговоркой.

Сапер видит то, чего не заметит другой. Почему слегка примята трава? Почему вырос крохотный бугорок? Сапер чует недоброе. Это третий глаз, шестое чувство.

Легко идти в бой, когда у тебя в руках оружие. У сапера миноискатель, короткий щуп и лопата. Он должен быть хитрее хитрого. Мин много. Они различны, как змеи тропиков. Есть воздушные. Есть прыгающие. Нелегко распознать смертоносные усики взрывателя. Сапер изучил все породы. Он хладнокровно вырывает у гадюки жало.

Саперы впереди. Порой они вступают в неравный бой. Радист передал: «Шесть саперов во главе с ефрейтором Заморевым, когда вышли патроны, отбивались лопатами. Погибли, но не отступили».

Старый сапер из Новгород-Северской бригады. Он прошел от Орла до Сожа. Он обнаружил сотни мин. Он не считал их. Он скромно говорит: «Работы хватает...»

Война вошла в мир рек. Позади Десна, Сож, Днепр. Впереди Припять, Березина, Буг, Днестр, Неман. Без саперов наша армия не была бы здесь, на правом берегу Днепра.

Инженерная разведка обеспечивает переправу. Саперы ищут: где лучше перейти реку? Потом радист передает с того, вражеского, берега: «Лощина. Четыреста метров. Строим причал».

При переправе через Десну саперы тащили на себе дубовые бревна. Идти нужно было по открытому полю — немцы держали этот кусок земли под непрерывным огнем. Восемьсот метров — это немного, но что значит каждый метр, когда на тебе тяжелый груз и не замолкают шестиствольные минометы?

На Десне саперы нашли лазейку. Правый берег крут. Под холмом полоска берега, который немцы не могут обстреливать. Это мертвая зона. Лейтенант Долгих переплыл реку и сразу стал строить на мертвой зоне причал.

Лейтенант Ефимов переплыл реку и протянул первый канат. На третий год войны мы перестали замечать мужество. Но все же: первый и один на том берегу...

Саперы издалека везли груз. Собирали: «для Днепра». Везли веревки, проволоку, скобы. Готовились к мостам. Мастерили плоты.

На Соже плоты сделали из телефонных столбов. На каждом плоту — сорокапятимиллиметровая пушка и две лошади. Несколько плотов разбили мины врага. Саперы стали сразу водолазами: вытащили пушки и донесли на руках.

Когда я был у переправы через Сож, немцы бомбили мост. Шесть прямых попаданий. Саперы не прекращали работать. Несколько часов спустя по мосту прошла артиллерия.

Октябрьские ночи холодны на Днепре. В ледяной воде стоят саперы: вбивают сваи, устанавливают козлы. Работают по двенадцать часов подряд. Санитары уносят раненых. Саперы не отрываются от работы. Они уже шесть суток не спали. Перед этим они таскали на себе бревна — четыре километра, а ноги вязнут в глубоком песке.

Сапер знает, что один кубометр древесины выдерживает на воде триста килограммов груза. Но кто высчитает, сколько может выдержать сапер, обыкновенный человек, который до войны писал бумаги или сеял овес?..

Вот нужно переправить артиллерию. А моста нет. Построили плот. Как подвести его? Двадцать человек — немцы заметят. Плот разобрали, несли по

частям, потом быстро собрали. Нельзя стучать молотком? Вяжут веревкой. Старший лейтенант Колебанов, когда началась бомбежка, заткнул пробоину в понтоне гимнастеркой. Длиннейшие мосты саперы построили в одну ночь или в один день. Нужна и хитрость: саперы создают ложные переправы, отвлекая внимание врага.

Затоплен тяжелый паром. Надо спасти уцелевшие понтоны. Противогазы, к ним приделывают трубочки. Чекмесов и Осипов под водой. Три часа они работают на дне. Там они разобрали паром и вытащили уцелевшие понтоны. От их одежды шел пар. Они молчали. Потом Осипов сказал: «Сделали» — ни слова больше.

На правом берегу танкисты громят тылы врага. Их путь озарен высоким светом славы. Но как они оказались на правом берегу? Об этом знают саперы. Я проехал по мосту. Четверть часа спустя этот мост был искалечен бомбами. Ночью его починили. Утром мост был снова разбит, а в полдень по нему шли грузовики. Нельзя сказать: построили — строят. Днем и ночью восстанавливают. Воля сапера все побеждает, бессильны здесь и снаряды и бомбы.

С молотком. С топором. С пилой. С лопатой. Рвутся бомбы, мины. Маленькие фонтаны: пули. Что противопоставляет сапер врагу? У сапера одно оружие: мужество. Он строит мост. По мосту пройдут другие. По мосту пройдет победа. А сапер тогда будет впереди. С щупом. С лопатой. С ножницами. С миноуловителем. Он всегда впереди. А слава?.. Не в славе счастье, но в глубоком сознании: ты сделал все, что мог, и больше, чем мог.

Чернорабочие... Может быть, в другом мире это слово звучит обидно. Мы — страна труда, и нет для нас выше чести, чем быть рабочим. Минеры, понтонеры, может быть, о них и мало пишут, ими живут. Они теперь ведут Россию на запад.

ЗАРЯ ВОЗМЕЗДИЯ

Немало грабителей лежат мертвыми среди степей Украины. На них находят письма. Эти листочки свидетельствуют, что и соучастники разбоя уже видят начало расплаты.

Вернер Клуге (ПП 06052 D) был некогда актером. Потом он стал унтер-офицером армии грабителей. Он убит и зарыт. В его кармане нашли пачку писем от

берлинской певицы Герты Пули. Она описывает, как живет столица Германии.

«2 августа 1943. Вчера был день рождения госпожи Вейде. Она выставила бутылку вина и торт с «военным кремом». Надо украсить те несколько часов, которые, может быть, нам осталось жить.

Все здесь обстоит очень печально. Люди оставляют свои дома, не зная, когда они вернутся и вернутся ли. Невозможно описать, что делалось, когда объявили об эвакуации. На вокзалах столпотворение. Все носятся с чемоданами, с одеялами, с детскими колясками, с детьми на руках. Часть берлинцев переехала за город, умоляет крестьян, чтобы им разрешили переночевать. Некоторые ночуют в палатках. При этом берлинцы ведь, собственно говоря, еще ничего не пережили. Мою мать я тоже отправила, то есть я ее отвезла на вокзал вместе с чемоданами. Поезд шел в Киль. Ты не можешь себе представить, что там творилось! В конце концов мы всунули мать в окошко вагона. Мать была в ужасном состоянии и плакала. Она пишет, что поездка была страшной. Четыре раза им пришлось пересаживаться, так как ни один поезд не идет больше через Гамбург. В Эльсборне тоже уцелел только вокзал».

Так выглядел Берлин до сентябрьских дней. Вот письмо той же Герты Пули после:

«18 сентября 1943. Я решила писать на машинке, так как после пережитого мой почерк стал таким неразборчивым, что ты вряд ли смог бы прочесть. Как мне тяжело писать тебе обо всем этом! Ночью с 3 на 4 сентября Берлин опять пережил тяжелое воздушное нападение. На следующее утро Карл мне позвонил и сообщил, что дом Шмидтов совершенно разрушен. Все твое имущество погибло, а сами Шмидты пали жертвой, они лежат, погребенные под обломками, в убежище. Солдаты раскапывали сутки, так как до субботы еще были слышны постукивания. Как ужасно все, что мы пережили! Моабит — это кошмар. Вдоль улиц стоит мебель, в большинстве случаев негодная, ее успели вытащить. Дома как после битвы. Так я себе представляю разрушенную в свое время Варшаву. Здесь царство смерти, настоящий танец мертвых.

Каждый вечер ложишься с мыслью: доживем ли мы до утра? Все это мы пишем вам, которые сражаются, чтобы обеспечить нам мир. Мы не хотим вас обескуражить, но этого нельзя скрыть.

Кафе на Курфюрстендам переполнены. Бегают какие-то странные люди, их надо бы прямо направить в сумасшедший дом.

Все уезжают. Не знаю, будут ли эвакуированы все высшие учреждения. Мы этого ждем. В убежищах стало просторней.

Распоряжения неопределенны. Возможно, что нас расквартируют в маленьком местечке. Учреждения будут распределены по палаткам, здесь же придется ночевать. Крестьяне недовольны, что беженцы все пожирают. Если бы было вино, я напилась бы, вот и все...»

Герта Пули не случайно вспомнила про Варшаву. Волны от тяжелых бомб благотворно отразились на ее умственных способностях. Она вспомнит еще и Роттердам, и Гомель, и Ленинград. Она многое вспомнит, если только ее воспоминаний не оборвет сострадательный осколок фугаски. Они хотели уничтожить мир, и вот над ними занимается кровавая заря возмездия.

ДУША РОССИИ

Два года тому назад я писал: «Сожмем крепче зубы. Немцы в Киеве — эта мысль кормит нашу ненависть. Мы отплатим им — до конца, чтобы дети их детей суеверно дрожали при одном имени «Киев». Мы освободим Киев. Вражеская кровь смоет вражеский след. Как птица древних Феникс, Киев восстанет из пепла».

Шли долгие и горькие месяцы. Немцы двигались в глубь России. Они дошли до Нальчика, до Сталинграда. Военные обозреватели различных стран гадали, куда пойдут завоеватели: на Ирак или на Индию. Владелец гостиницы в Бад-Киссингене подал заявление о предоставлении ему санаториев Боржома. Кассельские курсы подготовляли зондерфюреров для Башкирии. В финансовых отделах немецких газет указывалось, что «азовские заводы Ф. Круппа» к 1945 году станут на ноги и осчастливят держателей акций. Великая гражданская скорбь камнем лежала в те дни на груди каждого из нас. Среди салютов победы мы не забываем пережитого, мы и не забудем его: оно для нас и горе, и мудрость, и ключ духовной бодрости.

Ночами носятся над миром волны радио — длинные, средние, короткие. Они давно отвыкли от щебета

мирных дней. В них клекот, в них все те же слова: контратаки, узлы сопротивления, рокадные дороги, переправы. Теперь на сорока языках они говорят об одном: немцы отступают. Военные обозреватели больше не вспоминают про Ирак. Они смотрят на Днестр, на Буг, на Двину. Зондерфюреры, обученные для устрашения башкир, включены в маршевые батальоны. Мариупольские акции стали ничего не стоящими бумажками. Владелец гостиницы в Бад-Киссингене, обезумев, кричит своей жене: «Ты увидишь — они придут сюда...» По южной степи мечутся немецкие дивизии. Феникс-Киев восстал из пепла. Гитлер пытается утешить немцев: «Враги более чем в тысяче километров от границ Германии». Он плохо считает: куда меньше от Витебска до Восточной Пруссии. Гитлер кричит: «Мои нервы выдержат». Но дело идет к перекладине, и шея Гитлера не выдержит.

Как все это случилось, спрашивает изумленный мир. Мы были в самой гуще событий, мы жили от сводки до сводки, мы сражались и работали, нам некогда было размышлять. Мы знаем теперь, как была окружена Шестая германская армия. Мы знаем, чем кончилось наступление немцев на Курск. Мы знаем, что мы гоним недавних завоевателей. Но и мы не задумывались над тем, как все это случилось. Мы знаем, что мы выплыли. Мы знаем, что перед нами зеленый берег победы. Но попытаемся на минуту отойти в сторону, взглянуть на себя глазами истории.

Мы часто говорим и пишем об ослаблении немецкой армии. Мы знаем, что у Гитлера иссякают резервы, что воздушные бомбардировки разрушают его тыл, что два года жестоких боев в России надломили его пехоту. Мы знаем также, что не было подлинных идеалов у армии мешочников и куроедов, что одна дисциплина не может в трудные минуты заменить душевного горения, что немецкий солдат внутренне ослаб и созрел для гибели. Но разве в одних немцах дело? Подумаем о другом: о возросшей силе нашей армии.

Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она не похожа на ее описания, она и проще и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают ее участники. Ее понимают, но не чувствуют ее позднейшие исследователи. Вероятно, историк, правильно оценив все значение переправы через Днепр, представит эту переправу иной: он невольно приведет

ее в порядок. Он приоденет бойцов, побреет утомленных переходами сержантов, смахнет пыль с гимнастерок офицеров. Он вряд ли увидит людей у костра, которые смутно думают о своих родных избах и которые говорят, что повар заладил кашу и что хорошо бы испечь картошку. Потомки меньше всего себе представляют, что именно эти люди без понтонов ринулись на правый берег одной из самых широких рек Европы. Что касается участников войны, эти знают, как выглядит война. Они знают, что четыреста километров с боями — не парад. Они знают, что воюют не только роты, батальоны, полки, но и люди с раздельной биографией, теплой, как клубок шерсти, что каждый боец привязан к родине своей особой нитью. Но участникам войны нелегко осознать историческое значение происходящего: с них хватит и высоких волнений сегодняшнего дня.

Иностранцы часто рассуждают, почему наше государство устояло в трагические дни сорок первого и сорок второго? Все знают теперь, как сильна была германская армия, как тщательно готовилась Германия к своим разбойным походам. Судьба Франции с ее боевыми традициями, с неоспоримым мужеством ее свободолюбивого и воинственного народа у всех в памяти. Гитлер покорил Европу. Я не говорю об английских островах. Но мы не были отделены от Германии морем, не было у нас и гор. Мы задержали захватчика своей грудью, и вот иностранцы спорят: в чем разгадка? Одни говорят: в природе русского мужества, в традиционной выносливости русского солдата, в величине и естественных богатствах России, в том, что России никто никогда не завоевывал. Другие возражают: изменились времена. Штык, даже русский, бессилен против «тигров». В эпоху моторов одно пространство не может спасти народ. Они говорят: если Россия выстояла, то в этом заслуга ее структуры, особенного патриотизма ее народов, кровной заинтересованности каждого гражданина в судьбе государства. Они прибавляют к слову «Россия» другое слово: «советская».

Правы и те и другие. В первые годы после Октября революция казалась нам всепоглощающей, часто она заслоняла историю. Во время войны встало прошлое, оно соединилось с настоящим и будущим. Мы до конца поняли органическую связь России и Октябрьской революции. Мы поняли, что революция дважды

спасла Россию: в 1917 году и в 1941-м. Не будь революции, Россия могла бы потерять свою государственную независимость, изменить своей исторической миссии. Но Октябрьская революция не случайно родилась в России. Она вытекала из всех чаяний русского народа. Ее значение перерастает государственные границы, и ее недаром называют самым большим событием двадцатого века, но корни ее уходят в русскую историю, и нельзя оторвать ее от русского характера, даже от русского пейзажа.

Бойцы у костра, на правом берегу Днепра, конечно, сыновья русских солдат давнего времени. Они сохранили и любовь к родной земле, и отвагу, и смекалку, и выносливость дедов. Но есть в них нечто новое, рожденное революцией: они не только солдаты, они граждане.

Передо мной секретное донесение командира Судетской дивизии генерал-лейтенанта Деттлинга. Записка озаглавлена: «Настроение местного населения». Вот что пишет немецкий генерал: «Подавляющее большинство населения не верит в победу немцев... В некоторых населенных пунктах отмечались попытки многих жителей установить контакт с оставшимися приверженцами советского строя... Молодежь обоего пола, получившая образование, настроена почти исключительно просоветски. Она недоверчиво относится к нашей пропаганде. Эти молодые люди с семилетним и выше образованием ставят после докладов вопросы, позволяющие заключить об их высоком умственном уровне. Обычно для маскировки они прикидываются простачками. Воздействовать на них чрезвычайно трудно. Они читают еще сохранившуюся советскую литературу. Эта молодежь сильней всего любит Россию и опасается, что Германия превратит их родину в немецкую колонию... Молодые люди чувствуют себя с начала немецкой оккупации лишенными будущего. Они всегда указывают, что в Советском Союзе молодежи было очень хорошо, так как для нее делалось все возможное и ей было обеспечено большое будущее».

Вряд ли генерал-лейтенант Деттлинг составил бы такую записку в 1916 году. Был и прежде патриотизм. Была и прежде отвага. Но юноши и девушки, крестьяне Смоленской губернии, во времена царя, во времена сословий и каст не могли мечтать о «большом будущем». Партизан двенадцатого года

один наполеоновский офицер назвал «смутным духом русской земли». Не разум — сердце подсказало крепостным той эпохи верный путь, и они пошли с вилами на захватчиков. Их подвиги оправданы историей, внуки тех крепостных стали хозяевами величайшей в мире державы. Но героев «Молодой гвардии» вел не инстинкт, а светлый разум. Они смотрели сверху на немецких офицеров. Олег Кошевой знал, что он представитель высокого человеческого общества, который борется с вооруженными скотами. Такова роль Октября.

Советский Союз защищается не только как огромное государство, он защищается как истинная демократия: войну ведет народ, для которого держава — это собственный двор. Я видал немало немецких генералов. Я думаю, что их можно распознать даже в бане: это порода, как порода заводчик Крупп или помещик из Восточной Пруссии. Таких генералов разводят, они раса среди арийской расы. Кто же их бьет? Под Киевом генерал-лейтенанта Деттлинга разбил генерал-лейтенант Черняховский. Ему тридцать шесть лет. Сын железнодорожного служащего из Умани, он с детства грыз науку, как камень. Это человек большой культуры, его выделяют ум, знания, талант, а не порода. Он один из многих генералов свободного и демократического государства. Я вспоминаю боевых полковников, которые в начале войны были лейтенантами, учителей, агрономов, механиков, на груди которых я видел суворовские ордена. Мы можем сказать, что германскую армию теперь гонит армия, обогащенная боевым опытом, руководимая умелыми офицерами, и мы можем также сказать, что немцев гонит народ, который двадцать шесть лет тому назад взял в свои руки вожжи державы.

Все знают, что одним из объяснений наших побед остается необычайная работа военной промышленности. Вспомним о трудностях. Сталинград, Харьков, Днепропетровск, Воронеж, Ростов, Донбасс были заняты врагом. Заводы возникали среди пустырей. Степи Восточной России — это не Детройт. Наши рабочие вынесли все лишения, недоедали, недосыпали, но они дали армии танки, самолеты, оружие. Заводы родились вчера, но не вчера родились рабочие: это люди, созданные советским государством, это не рабы Круппа, это творцы, и творческий дух помог им в страшные месяцы.

Почему армянин Петросян, пойманный немцами, обливаясь кровью, нашел в себе силы, чтобы перебить палачей и дойти до своих? Что помогло грузину Гахокидзе уничтожать врагов на последнем клочке севастопольской земли? Отчего узбек Каюм Рахманов не пожалел своей жизни, защищая Ленинград? Отчего погиб еврей Паперник на подступах к Москве? Был Октябрь. В его очистительной буре родилась новая Россия, мать для всех народов. Вчерашние «инородцы» стали гражданами, строителями государства, и когда на их родину напали немцы, они пошли в бой, разноязычные, разноликие, с единым чувством в сердце.

Я не хочу сказать, что до войны мы достигли всего. В одной хасидской легенде мудреца спрашивают: «Каков рай?», и мудрец отвечает: «Каждый человек создает свой рай». Четверть века для истории — короткий час. Мы многого не успели сделать. В нашем обществе были не только наши лучшие замыслы, но и наши недостатки. В годы войны мы многое меняли на ходу. Мы увидели, что нам часто не хватает дисциплины, организации, личной инициативы, чувства ответственности. Мы поняли, что наши дети нуждаются в более крепких основах морали, что нужно в них глубже воспитывать человеческое достоинство, патриотизм, верность, рыцарские чувства, уважение к старости и заботу о слабых. Но, поняв наши недочеты, мы в огне испытаний увидели, сколь высока была наша жизнь, построенная на равенстве и труде. Война не только разорила нашу страну, она закалила и душевно возвысила людей. Вернувшись к мирному труду, они не забудут о передуманном и перечувствованном. Они внесут в будни мудрость и героику военных лет. Они помогут создать тот рай, который будет выражением мыслей и чувствований много испытавшего советского народа.

Нам облегчит труд и жизнь историческая перспектива, которая стала теперь достоянием каждого. Не отказываясь от идеалов будущего, мы научились черпать силы в прошлом. Мы осознали все значение наследства, оставленного нам предками. Мы не хотим ни отрицать огульно прошлое, ни принимать его, как нечто непогрешимое. Мы учимся на военном гении Суворова, но не на государственном самодурстве Павла. Немецкие фашисты любят говорить о традициях. Но что они взяли из прошлого немецкого народа? Свободолюбие Шиллера? Разум Гете? Нет.

Пытки нюрнбергских палачей, суеверные россказни алхимиков, зверства диких германцев и муштру фельдфебелей Фридриха. Каждый народ берет в своем прошлом то, что соответствует его духовному уровню, его жизни, его идеалам. Для нас прошлое — это Пушкин, а не Бенкендорф, Кутузов, а не Аракчеев, декабристы, а не Салтычиха, Плеханов и Горький, а не Пуришкевич и охотнорядцы. Октябрьская революция помогла нам осознать историю России, сделать из далекого прошлого источник вдохновения.

Победы Красной Армии позволяют нам уже различить в смутном предрассветном тумане тот великий праздник Победы, о котором в самые тяжелые часы нам сказал глава нашего государства.

Каким будет мир после войны? Эта мысль теперь уже приходит к нам в редкие минуты передышки между битвами, переходами и военными трудами. Фашисты принесли столько зла нам и всей Европе, столько разрушений, столько страданий, что иногда сердце охватывает беспросветная скорбь. Мы видим, что сожжены школы, ясли, музеи, просторные светлые дома, с трудом построенные нашим поколением. Мы видим, как коровы заменили похищенные немцами тракторы. Мы видим, как попраны дорогие нам идеалы братства, человеческого достоинства, свободы. Мы видим письма рабынь из Германии, фотографии немецких изуверств, одичание, затемнение века. Воображение легко продолжает картину: зона пустыни захватывает Париж, виноградники Греции, нарядные села Дании, заводы Бельгии — всю Европу. Повсюду тот же пепел, в который вырядилась земля, бурьян, прозванный нашими крестьянами «немецким посевом», пытки, унижение человека, попрание разума, справедливости, гуманности. Как сможет восстать земля из мертвых? И порой малодушие закрадывается в сердце: не откинуто ли человечество варварством фашизма далеко назад?

Я не хочу ничего приукрашивать. Я знаю, как трудно будет восстановить и разрушенные города и душевное равновесие людей, проведших годы под властью изуверов. И все же я бодро смотрю в будущее: правда побеждает на поле боя, она победит и на лесах человеческого строительства. Мы научились еще сильнее ценить свободу — после деспотии гитлеровцев, после гестапо, «бургомистров», доносов и всего попра-

ния человеческого начала, принесенного немцами. Есть только одни пределы у свободы: свобода другого и счастье родины. В самоограничении воина — залог того, что свобода восторжествует.

Мы поняли магическую силу труда, недаром мы им клялись в наших самых заветных клятвах. Труд свободного гражданина не проклятье, не иго, это высокое творчество. Нелегко будет поднять из небытия города и села, но люди, которые не жалели своей крови, чтобы защитить родину, не пожалеют и пота. Я видел в сожженных немцами деревнях стариков, которые помогали солдаткам отстраивать хаты. Здесь порука нашего грядущего счастья. Мы сумеем пристыдить себялюбие: ему не место рядом с могилами героев.

Казалось, испепелены идеи братства, но нет, они восстанут с новой силой. Я осмеливаюсь это говорить в дни, когда немецкие полчища творят свое черное дело. Немцы провозгласили себя «народом господ». В ответ поднялось национальное достоинство всех народов мира. Оно должно не погубить идею братства, а оживить ее, дать ей плоть. Своими преступлениями немцы выключили себя из семьи народов. Их ждет суровое возмездие. Мы знаем, что не единицы, а миллионы повинны в совершенных германской армией злодеяниях. Мы не будем сентиментальными с гитлеровцами, мы не станем учить гадюк лобызать птичек. Но в наших страданиях мы увидели страдания других народов. Сибиряк понимает горе Греции, украинец знает, что переживает Франция, белорусскому крестьянину близки муки норвежского рыбака. Идея братства стала телесней, ощутимей. Красная Армия в глазах всех народов стала армией свободы. Об ее подвигах с надеждой говорят и в порабощенной Франции, и в далекой Америке. Отразив удары хищной Германии, она спасла не только свободу нашей родины, она спасла свободу мира. В этом залог торжества идей братства и гуманности, и мне видится вдалеке мир, просветленный горем, в котором воссияет добро. Наш народ показал свои воинские добродетели, и теперь все народы знают, что Советский Союз, его армия несут измученному миру мир. Мы говорим об этом среди пепелищ Украины и Белоруссии, с израненным сердцем: кто не потерял брата, сына, друга? Мы говорим это, приподнятые сознанием нашей силы и нашей правды.

16 НОЯБРЯ 1943 ГОДА

Я хочу рассказать американцам о том, что я видел. Я недавно вернулся с фронта, и мне пришлось много ездить по территории, освобожденной от захватчиков. Я ищу сравнений, которые могли бы передать впечатления о «зоне пустыни», и не нахожу.

Мне пришлось видеть и прежде разрушения, но здесь дело в масштабе. Можно ехать в машине с утра до вечера и не увидеть ни одного уцелевшего города. Гитлеровцы превзошли себя.

Передо мной письмо унтер-офицера 283-й ПД Карла Петерса.

Он пишет некой Герде Беккер: «Да, когда мы сдаем город, мы оставляем только развалины. Справа, слева, позади подымаются взрывы. Дома сравниваются с землей. Огонь не берет только печи, и это похоже на лес из камня. Громадные глыбы домов рассыпаются при хорошем взрыве. Грандиозные пожары превращают ночь в день. Поверь мне, никакие английские бомбы не могут создать таких разрушений. Если нам придется отступить до границы, то у русских от Волги до границ Германии не останется ни одного города, ни одного села. Да, здесь господствует тотальная война в высшем, совершенном ее виде. То, что здесь происходит,—это нечто невиданное в мировой истории. Я знаю, что вам на родине приходится благодаря тяжелым воздушным налетам переживать трудные минуты. Но, поверь мне, гораздо хуже, когда враг находится на собственной земле. У гражданского населения здесь нет выхода. Без крова они должны голодать и мерзнуть. Идем снова жечь. Обнимаю мою цыпку. Твой *Карл*».

Что добавить к этому письму? Конечно, в Германии такой Карл никогда не кидал окурка на улице, он надевал нарукавники, чтобы не протереть рукава, он застраховал себя не только от пожара, но даже от рака. Теперь он упивается уничтожением. Он разыгрывает Нерона. Он больше не мечтает о «жизненном пространстве». Его увлекает одно: оставить после себя смерть.

Конечно, не все города и села гитлеровцам удалось уничтожить. Иногда Красная Армия опережала факельщиков. Так сохранились Нежин и Сумы. Да и в Киеве поджигатели убежали, едва начав свою работу. Много сел уцелело потому, что они боялись огнем выдать отход. Не совесть удерживала их—страх. Од-

нако они пытались всеми средствами наверстать потерянное. Глухов, Кролевец — это были милые провинциальные города, с уютными особняками, с зеленью садов, с облупившимися колоннами и просторными крылечками. Гитлеровцы не успели их сжечь при отходе. День или два спустя немецкие бомбардировщики исправили ошибку факельщиков.

Я ехал мимо деревень, которые догорали. Казалось, земля агонизирует, шевеля, как пальцами, головешками. Она дышала мертвым жаром. И повсюду я видел ту же картину: у теплой золы копошились люди. В этих домах люди жили, работали, справляли свадьбы, оплакивали покойников. В этих домах были старые скрипучие кровати, щербатые столы, сундуки с подвенечными платьями, с дедовским добром. Все это немцы сожгли, они сожгли жизнь, и вот в студеную ночь женщины с детишками греются у того, что еще вчера было их домом.

Выпал снег. Он прикрыл раны земли. Но еще страшнее бездомным в такие ночи. Ведь сгорели полушубки, теплые платки, валенки.

И Карл Петерс радуется: он обрек стариков и ребятишек на пытку.

Напрасно гитлеровцы пытаются в газетах говорить о военном значении «зоны пустыни». Подожженные деревни не остановили русских танков, которые прошли от Льгова до Житомира. Красная Армия привыкла ночевать в лесах: спокойней — нет мишени для вражеской авиации. Русские солдаты тепло одеты. Они обойдутся без изб. Погибнут старухи и дети.

В этом весь пафос гитлеровской Германии: мучать беззащитных.

Украина славилась яблоками. Я видел срубленные и спиленные плодовые сады. Военное значение? Какая глупая шутка! Срубить в селе сто яблонь — и это задержит Красную Армию?

Я видел тысячи молочных коров, застреленных немцами. Корова — опора крестьянской семьи. Есть корова,— значит, сыты дети. Немцы не могли угнать скот: не было времени. Автоматчики расстреливали коров. Вспомним, как после Версальского мира немцы негодовали: у них забирали коров, тем самым лишая молока немецких детей. Теперь немцы убивают коров. Страшное впечатление оставляют эти расстрелянные стада, эти рыжие пятнистые коровы с лопнувшими

животами. Неужели убийство коров, овец, свиней может задержать Красную Армию? Ведь корова — это не цистерна с горючим. Но коровы — это молоко для детей. «Смерть русским детям!» — кричит Карл Петерс.

В Чернигове были церкви одиннадцатого века. О нас часто говорят в Америке: «молодая страна». Но у нас за плечами длинная история. В городах Руси цвела культура — наследница Эллады. Чудесные церкви Чернигова пощадило время: девять веков они простояли. Гитлеровцы их сожгли в девять минут.

Отступая, фашисты убивают людей. В этом тоже нет «военного значения»: они убивают женщин, подростков, стариков. Прежде они угоняли население. Теперь они торопятся, да и слишком близко до Германии — некуда угонять народ. Ко всей крови, пролитой ими прежде, прибавляется новая. Огромные области опустели, как лес осенью. Гитлеровцы убивали всех евреев. Они убивали стариков. Они брали грудных детей и ударяли их головой о дерево или о столб. Они закапывали полуживых. В Пирятине мне рассказывал украинец Чепурченко, как его заставили засыпать могилу. Из этой могилы поднялся ездовой Рудерман с глазами, налитыми кровью, и закричал: «Добей!» Я вправе сказать, что немцы в тот день убили не только Рудермана, но и Чепурченко. Во всей Украине, очищенной от немцев, не осталось больше одной сотни евреев, которые прятались в лесах. Это убийство народа. Гитлеровцы убили всех цыган. Они убивали русских, белорусов, украинцев. Они убивали целые села.

О чешском поселке Лидице говорил весь мир. Но ведь у нас сотни и сотни таких Лидице.

И вот, уходя, напоследок, фашисты убивают всех, кто попадается им на глаза. Крестьяне убегают в леса и тем спасаются.

Если у гитлеровцев мало времени, они взрывают и жгут с разбором. Они оставляют старые домишки. Они жгут школы, больницы, музеи, новые, хорошие здания. Трудно было это построить. Люди себе во многом отказывали, верили: «Построим, и начнется счастливая жизнь». Каждый камень как будто отрывали от сердца. Кто не поймет, что значит в селе первый родильный дом или первая школа? И вот все это передо мной — щебень, мусор, зола. А Карл Пе-

терс кричит: «Тотальная война в высшем, совершенном ее виде».

«Может быть, это пропаганда?» — пожалуй, спросит недоверчивый читатель, и слово «пропаганда» он произнесет так, как говорят «реклама». Но какой товар я рекламирую? Я говорю о человеческом горе. Я не могу спокойно спать после этой поездки, я вижу пепел, больные тени и небытие. Я слышу рассказы: «А когда их зарыли, земля еще двигалась...»

Моя шинель пропахла дымом, и этот запах меня преследует как галлюцинация.

Я читал бесстыдные рассуждения одного немецкого журналиста. Он уверяет, что «русские в 1941 году, отступая, тоже уничтожали здания». Да, я помню крестьян, которые, убегая от немцев, сжигали хаты. Это были их хаты. Никогда Красная Армия, отступая, не уничтожала городов и сел. Но если русские взрывали свои заводы или жгли свои дома, это было их святым правом. Карл Петерс жжет чужие дома в чужой стране и при этом радуется: у русских детей больше нет крова.

Есть люди, которые думают, что в этих злодеяниях повинны только единицы или сотни. Я хотел бы так думать: спокойней сохранить полную веру в человека. К сожалению, это не так, в преступлениях, которые я видел, повинны сотни тысяч и миллионы.

Гитлеровские солдаты не только тщательно выполняют приказы об уничтожении, они делают это с душой, вносят в это инициативу, воображение, пыл. Немногие перебежчики, с которыми мне привелось беседовать, говорят: «Война проиграна», или «Я хочу жить», или «У меня семья». Они не говорят о своем возмущении зверствами. Они не думают о чужих семьях на пепелище. Их увел от Гитлера страх, а не совесть. Это не те праведники, ради которых Господь пощадил Содом и Гоморру, это попросту трусы.

Я хочу думать, что у факельщиков не найдется сентиментальных защитников, что виновных посадят на скамью подсудимых, что миллионы солдат, превративших Европу в «зону пустыни», будут десять лет дробить камни и рубить лес. Может быть, они восстановят города. Но они не воскресят мертвых. И они не воскресят в моем сердце прежнего доверия к человеку. Я видел землю после гитлеровцев, и этого мне не забыть.

ПОБЕДА ЧЕЛОВЕКА

Кажется, нет народа на свете, который так бы любил театр, как наш. Может быть, потому, что в жизни наши люди чуждаются всего театрального, им не по нраву аффект, они избегают поз и с прирожденным недоверием относятся к пафосу. Итальянец или испанец объясняются в любви, как будто они на сцене. Они произносят потрясающие монологи. Наши девушки, услышав такие речи, решили бы, что над ними смеются. Наши юноши ходили месяцы и думали, как бы обыкновенней, невзначай сказать любимой о своих чувствах. Часто наши ораторы говорят о великих подвигах, как о повседневных заботах. В русской природе стыдливость, издавна наш народ облекает в скромную будничную одежду большие чувства и большие дела.

Много незаметного героизма показал советский солдат. На далеком севере, среди камней и пурги, стоят бойцы. Немцы здесь пристрелялись к каждой ямке. Любое неосторожное движение — это гибель. В такой войне нет ничего, потрясающего ум или сердце, но она требует от человека большой выдержки и большого мужества. Неприметен героизм саперов, санитаров, связистов... На сцене война — это выстрелы, знамена, исторические фразы, труба горниста, мрамор победы. А война сложное и тяжелое дело — здесь и смерть, и сердечная тоска, и хозяйственная забота.

Мы увидели города и села, которые два года были в немецких руках. Навстречу Красной Армии выходят партизанские отряды. Они состоят из сильных и храбрых: это отбор лучших. Мы знаем про их подвиг. Мы знаем про дела «Молодой гвардии». В древние времена таких людей причислили бы к полубогам или к свя-

тым. Есть нечто исключительное в самой душевной структуре Зои Космодемьянской или Олега Кошевого. Но мы мало знаем о героизме людей, никак не рожденных для того, чтобы стать героями, о подвигах, которые рождались непроизвольно от простейших и в то же время прекраснейших добродетелей — от верности, от чести, от любви к родине, к соотечественникам, к правде.

Подлинные чувства проверяются в дни испытаний. Каждый школьник знает, что советское государство — это общее достояние. Но вот настали годы суровой проверки. В городе Золотоноша была больница. В сентябре 1943 года немцы объявили: весь персонал должен эвакуироваться на запад, инструменты сдать немцам, а больницу сжечь. Обыкновенные люди — врачи, фельдшера, сестры, кладовщик, кухарка — начали необычайную войну. Они решили спрятать инструменты, скрыться от эвакуации и отстоять больницу. Они проделали ряд смелых и хитроумных операций. Заведующий больницей доктор Кучерявый, рискуя жизнью, на глазах у немцев вынес три ящика с инструментами. Врачи и служащие закопали эти ящики. Весь персонал скрылся от эвакуации. В городе шли уличные бои. Служащие больницы, убив двух поджигателей, отстояли часть больницы — терапевтическое отделение и кухню. Из огня вытащили операционные столы, и в тот же день золотоношская больница возродилась для новой жизни.

В другой больнице, в городе Гадяче, врач Монбланов вместе со всем персоналом спас сотни жизней. В больнице лежали раненые офицеры. Врач объявил их заразными больными, он искусственно поддерживал у этих «больных» температуру 40 градусов. Он снабдил их гражданским платьем и документами. Он ободрял их, передавая сводки Информбюро и повторяя: «Скоро наши вернутся». Он говорил это не только в августе 1943 года, он говорил это и в августе 1941 года. Монбланов, другие врачи, сестры — все они хорошо понимали, что их ждет, если немцы узнают о спасении офицеров. Но врачи и сестры Гадяча думали не о себе — о своих согражданах, о своем долге. Трудно быть героем один день в бою, еще труднее быть героем два года, среди врагов и предателей. А сколько у нас таких врачей, таких сиделок, таких мужчин и женщин, беззаветно преданных своей родине и своему делу!

28 августа 1941 года возле Люботина летчик Киреев выбросился на парашюте с горящего самолета. Он был тяжело ранен. Немцы видели, куда приземлился летчик. Видела это и Вера Григорьевна Сахно, уроженка города Вильно. Она спрятала Киреева в подвале. Пришли немцы, устроили обыск, грозили Вере Григорьевне расстрелом. Она молчала. Она вы́ходила раненого летчика.

В Речице жила семья капитана Урецкого — жена и девятилетняя дочь Лариса. Когда немцы пришли за ними, Урецкая сказала: «Беги, Ларочка». Мать расстреляли, девочка в слезах бродила по городу. Ее приютила Елена Даниловна Богданова. Немцы узнали, что дочка капитана Урецкого скрывается в Речице. Они вызвали в гестапо Богданову, допрашивали, грозили виселицей. Елена Даниловна не выдала девочку.

Мы часто говорим о дружбе народов. Это великое чувство тоже подверглось страшной проверке. Тяжело раненный офицер морской пехоты Семен Мазур, по национальности еврей, убежал от немцев. Он скрывался в Таганроге. Его спрятала Клавдия Ефимовна Кравченко. Доктор Упрямцев лечил Мазура. Узнав, что раненый офицер — еврей, доктор снабдил его документами одного умершего больного. Доктор Упрямцев спас многих сограждан. В июле 1942 года немцы его расстреляли. На хуторе Красный Боец в Ставропольском крае скрывался от немцев еврей Клубок шестидесяти девяти лет от роду. Его прятали, рискуя своей жизнью, колхозники Семинихин, Авраменко, Савченко, Максименко. Когда немцы в Харькове убили всех евреев — стариков, женщин, грудных детей, Марии Сокол удалось убежать с тракторного завода. Она нашла приют у Кирилла Арсентьевича Редько. Он скрывал евреев и жен украинских командиров и за это был повешен немцами. Нет, не чернилами — кровью лучших написаны слова о дружбе советских народов, и никаким темным силам мира не стереть этих слов!

В городе Сумы старая женщина спрятала бюст Ленина. Она вынесла его в тот день, когда пришла Красная Армия. Я не знаю имени этой героини. Но не скрою, с глубоким волнением глядел я на памятник, который пережил годы мрака. Не бронзу спасла неизвестная гражданка, но свое сердце и сердце России.

Мне могут сказать: почему вы рассказали об этих людях? Ведь много других, столь же честных и смелых.

Да, очень много. Величие описанных мною подвигов именно в этом. Оставаясь будничными по форме, они полны такого духовного подъема, такой глубины, что благоговейно повторяешь каждое имя. Напрасно наши враги пытаются объяснить свои поражения одним превосходством, количественным или качественным, нашей материальной части. Кроме танков имеются танкисты. Да и танки не растут в степи, их делают люди. С первого дня войны все мыслящие и чувствующие знали, что мы должны победить, потому что за нами высокие добродетели советского человека. Немцы взывали к самым низким инстинктам, они пытались спаивать, натравливали одних на других, поощряли кражи, лихоимство, доносы. Они нашли предателей, моральных уродов. Но все, что было основного в стране, ее почва и подпочва, совесть народа и совесть каждого отдельного гражданина восстали на захватчиков. Забудем на час о границах, возьмем в обнаженном виде человеческие ценности и, глядя на наши прекрасные победы, с полным правом скажем: это прежде всего победа человека.

ПОЧЕМУ ОНИ ОТСТУПАЮТ?

В армейской газете «Панцерфауст» помещена статья, выразительно озаглавленная: «Почему мы отступаем?» Автор пытается успокоить растерявшихся фрицев:

«Уж давно вы спрашиваете: почему мы отступаем?.. Мы, как защитники европейской крепости, должны использовать преимущества операций на внутренней линии... Поэтому мы сокращаем фронт. Очень больно сдавать территорию, за которую пролито много крови, но сентиментальные соображения должны отойти на задний план по сравнению с требованиями войны... Мы выиграли, получив безопасные, укороченные коммуникации и сокращение линии фронта».

Вряд ли, прочитав это, фрицы успокоятся. Чего доброго они вспомнят, как некто Эрнст Нагель писал в той же «Панцерфауст»:

«Кто видел наши крохотные огороды, поймет значение этих просторов, навсегда ставших немецкими! Сколько пшеницы, свеклы, льна, огурцов! Сколько плодоносной земли, душистых яблок, золотого меда!

Эта земля нами завоевана, и она навеки останется нашей. В этом значение нашего похода на Восток. Возьми в руку пышный колос, немецкий солдат, и скажи: я выполнил мой долг, моя жизнь оправдана перед веками, ибо далеко от Германии зреет хлеб для грядущих поколений».

Теперь газета уверяет фрицев, что дело вовсе не в пышных колосьях, а в какой-то «европейской крепости». Фрицы, пожалуй, скажут: зачем было огород городить? Фрицы усомнятся: оправдана ли их жизнь и, главным образом, оправдана ли жизнь их фюрера?

Географические фантазии газеты должны немало озадачить читателей. Вдруг фриц посмотрит на карту и скажет: «Да ведь фронт не укоротился. Что за странные зигзаги — от Витебска до Ровно и от Ровно до Никополя!..»

Я представляю себе, как посмеются фрицы, находящиеся ныне в излучине Днепра, над заявлениями «Панцерфауст»: «Мы получили безопасные укороченные коммуникации». Если среди этих фрицев имеется один, наделенный чувством юмора, он, конечно, скажет: «Что и говорить, очаровательные коммуникации, почти как у фон Паулюса...»

Впрочем, немецкие солдаты уже перестали спрашивать, почему германская армия отступает. Фельдфебель Вернер Гейнце 19 декабря 1943 г. писал своей жене:

«Капитан приказал во что бы то ни стало держаться, а сам уехал. Да и что мы можем поделать? Пополнения нет, а русские наседают. Мы все спрашиваем себя — выберемся ли мы живыми?»

Вполне обоснованные опасения.

НЕЙТРАЛИТЕТ ОСОБОГО ТИПА

В 1938 году один английский журналист задал вопрос генералу Франко: «Можно ли назвать режим, установленный фалангой, фашизмом?» Генерал Франко ответил: «Нет, это режим особого типа».

Генерал Франко напрасно претендовал на оригинальность: режим в Испании чрезвычайно напоминал режим в Германии и в Италии. Города пустели, концлагеря росли, и на кладбищах царило небывалое оживление, а в стране водворилась кладбищенская тишина.

Несколько дней тому назад генерал Франко еще раз торжественно заявил, что он соблюдает «строжайший нейтралитет». Я не знаю, как отнеслись к его заверению ревнители международного права. Но, вероятно, многие испанцы, которые теперь бродят по заснеженным болотам и полям, узнав о божбе генерала Франко, пышно выругались.

Посмотрим, чем заняты строго нейтральные солдаты строго нейтрального генерала. Еще недавно они преспокойно воевали то на Волхове, то под Ленинградом, в Пушкине. Они входили в 250-ю испанскую дивизию. Но вот 18 ноября 1943 года Мадрид передал через Берлин приказ: «Будьте строго нейтральными». Наивный читатель подумает, что после этого испанцы сбросили с себя немецкие шинели, оставили немецкие автоматы и направились домой. Все произошло проще и сложнее. Генерал Эстефан Инфантес действительно уехал в Мадрид, но, уезжая, он призвал своего начальника штаба полковника Антонио Гарсиа Наварро и сказал ему: «Любезный дон Антонио, отныне вы будете командовать нашими бравыми нейтралами, которые, кстати, с сегодняшнего дня входят не в 250-ю испанскую дивизию, а в Испанский Добровольческий легион. Вы смените 121-ю немецкую дивизию».

Солдаты выстроились. Капитан Хосе Бермудес Кастра произнес речь: «Англичане недовольны. Официально дивизия возвращается в Испанию. Однако мы остаемся здесь и будем сражаться вместе с нашими друзьями-немцами. Пусть трусы, которые хотят домой, выйдут вперед, но предупреждаю — им не поздоровится. Таких предателей дома ждет хорошая головомойка». Два чудака все же вышли вперед: «Мы не желаем быть добровольцами». Капитан обругал непокорных и послал их, но не в Испанию, а на работы — рыть землю. Остальные поняли, что они — добровольцы особого типа.

Части Красной Армии, прорвав немецкую оборону в районе Волхова, увидели растерянных кабальеро, которые метались по снегу. «Что вы здесь делаете?» — спросили нейтрального Николаса Лопеса. Он ответил: «Увы, воюем».

Конечно, хлеб — это хлеб и нефть — это нефть. Но всё же разговоры генерала Франко о «строжайшем нейтралитете» способны удивить даже в наше время, когда люди разучились удивляться.

Воистину, нейтралитет особого типа.

Сердце обливается кровью, когда едешь по освобожденной земле и видишь, что сделали немцы с городами, с людьми, даже с деревьями. Десятки лет Гитлер мечтал о таком апофеозе. Я не хочу преувеличивать роли этого духовно ничтожного честолюбца. Я говорю «Гитлер», как я мог бы сказать «Мюллер» или «Беккер». Откуда он пришел, этот злой пигмей, чье имя теперь неразрывно связано с горем нашего века? Из подполья, из щели. Там, в темноте и сырости полусгнившего общества, появились личинки фашизма. Это были неудачники, оказавшиеся вне жизни, суеверные и невежественные маньяки, завистники, авантюристы, сутенеры, мошенники, кретины. Как духов тьмы, их призвали к жизни слепые и жадные люди денег, которые хотели остановить ход времени. Фашисты должны были преградить путь истории миллионами человеческих трупов, потопить в крови наш век, затемнить землю, уничтожить не только мечты человечества о лучшем будущем, но и память о прошлом.

Когда Гитлер снимался перед развалинами Амьена или Смоленска, люди дивились: откуда взялся этот жук-могильщик? Откуда? Из гнили и плесени. Он жил для уничтожения. За два года до войны всесильный правитель Германии, увидав на мюнхенской выставке картины, которые не пришлись ему по вкусу, вынул из кармана перочинный нож и стал полосовать холсты. Один из приближенных Гитлера рассказывает, что в молодости будущий фюрер мечтал о «расчистке Европы» — люди, народы, города представлялись ему деревьями, которые надо вырубить. Приятель фюрера Муссолини, будучи подростком, спрашивал: «Достигнет ли наука такой высоты, чтобы, заложив достаточное количество динамита, взорвать земной шар?» Ученые Германии старались первыми приблизиться к идеалу: они сидели над первыми набросками «душегубки». «Зона пустыни» — так они окрестили свои достижения.

Глядя на развалины Новгорода и Чернигова, мы можем сказать, что не только наш народ,— все человечество обеднело, лишившись неповторимых памятников. Народ растет и меняется, но есть нечто объединяющее его длинный, извилистый путь. Когда-то наш народ вкладывал в древние соборы свое понимание истины, справедливости, красоты. Конечно, по-другому смотрит человек нашего века на эти памятники, но

он чувствует в них тепло своей истории. Есть в искусстве нечто, перерастающее границы времени. Разве не восхитится человек, далекий от всякой религии, куполом Софии или красками Андрея Рублева? В Оксфорде, в Филадельфии, в Пуатье сидели люди, которые посвящали годы своей жизни изучению храма Спаса в Нередицах. Немцы его взорвали. Может быть, среди этих факельщиков были и археологи. Но что значит профессия рядом с сущностью, а природа фашизма — это уничтожение. Немцы хотели опустошить не только наши закрома, но наше сознание, наше сердце.

Глядя на плодовые сады, срубленные немцами, я понял, о чем лаял по ночам маленький фюрер: он вызывал смерть. Круги вокруг сердцевины дерева понятны человеку, они как бы сближают жизнь яблони с жизнью девушки. Я видел не раз стариков, которые сажали крохотные деревца. Они знали, что умрут, не увидев плодов,— плоды достанутся детям. В этом правда жизни. Есть деревья, которые видели славу наших дедов, под которыми мечтал лицеист Пушкин, тень которых прикрывала великие могилы. Вырастить дерево долго и трудно: нужны для этого и дожди, и солнце, и человеческий пот. Немцы рубили деревья Царского Села и Михайловского, рубили яблони, на которых еще содрогались яблоки, розовые или золотые или бледно-лимонные, антоновки, крымские, ранеты, наливные, анисовки, кальвиль, апортовые, коричневые — соки и запахи земли.

Женщина знает, что значит выносить, родить ребенка. Много в этом горя и гордости. Потом начинается подлинная страда матери: не застудить, защитить от множества болезней, вынянчить. Когда ребенок начинает говорить, когда он, спотыкаясь, идет от отца к матери, близким это кажется чудом. Да разве не чудо человек? Как просты самые сложные машины по сравнению с человеком, который их изобрел! Настает час — рождается Пушкин, рождается Толстой, рождается Мечников. Кто знает, кем станет этот ребенок, что сейчас играет с пустой жестянкой? Да и не в одних гениях волшебство человеческой жизни. Часто говорят: «обыкновенный человек», а это все равно что сказать: «обыкновенное чудо»,— ведь жизнь каждого человека прекрасна, сложна и необычайна. Он прокладывает дороги через океаны, он превращает пустыню в сад, он строит изумительные города. Что может быть выше человека? И вот настойчиво, аккуратно,

педантично фашисты заняты одним: они убивают людей. Каждый знает, сколько прекрасных людей погибло от рук немцев. Многие из них погибли на самой заре своей жизни, когда об их талантах, об их душевных богатствах знали только близкие. Я не знаю, кем бы стали Зоя Космодемьянская и Олег Кошевой, если бы их не убили немцы. Читая дневники Зои, слушая рассказы о Кошевом, понимаешь, что это были высоко одаренные натуры. Не будь фашистов, они проявили бы себя в иных подвигах. Я помню в Белоруссии труп убитого немцами мальчика. Может быть, из него вырос бы великий поэт, о котором мы все тоскуем, или ученый, химик, биолог, гениальный медик, который спас бы человечество от рака? Наш народ талантлив и душевно щедр. Пришли фашисты: газовые автомобили, рвы и овраги, заполненные трупами, вытоптанные человеческие нивы.

Все люди, все народы созданы для счастья. Но без лжи, без глупого хвастовства мы можем сказать, что русский народ острее и полнее других осознал ценность человека. Иностранцы называют русскую литературу: Толстого, Достоевского, Чехова, Горького — самой человечной литературой. Никакая мишура, никакие условности не мешали русским писателям разглядеть высшее благо: человеческую жизнь. В песнях, в сказках, в легендах народ повторял то, что выражено поговоркой: «Душа не сосед — не обойдешь». Был наш народ душевным и совестливым.

Революция расширила понятие гуманизма. Мечтам она придала плоть. Конечно, в годы великих бурь трудно бывает не только тростнику — и рослому дереву. Но я вспоминаю Москву 1920 года. Голодно тогда было. Советская республика отражала удары врагов. В Москве росли сугробы, не было ни трамваев, ни фонарей. Одиноко, как маяк, светилась на Свердловской площади надпись, сделанная из электрических лампочек. В других странах так светятся рекламы автомобилей, духов или ликеров. Три слова горели в черном небе иззябшей Москвы: «Дети — цветы жизни». С этими словами вышла в дорогу наша Республика. Много лет спустя я как-то был в сельских яслях. Крестьянка, которая ухаживала за малышами, мне важно сказала: «Тише! Сейчас мертвый час — дети спят...» Их лелеяли, как принцев. Немцы кидали их живыми в могилу... Так столкнулись жизнь со смертью, советский гуманизм с человеконенавистничеством.

Говорят, что теперь не время думать о ценности человека: идет страшная и беспощадная война. Но наши воины не автоматы и не фашисты: они знают, во имя чего идут на смерть. Мы защищаем от фашистов человека, его прошлое и будущее, его достоинство, его право быть своеобразным, сложным и большим. В одном дневнике немецкого офицера я прочитал следующие строки: «Кажется, что люди, никогда не страдавшие головной болью, не понимают, что это значит. Когда при мне говорят о любви, я отсутствую. Я не только никого не люблю, но чувство связанности с женщиной, с приятелем, а тем более с детьми мне представляется оскорбительным...» Я не знаю, убивал ли этот немец детей, но он спокойно мог бы кинуть младенца в колодец. В нем пустота, зияние. И вот такие напали на нас. Они напали на другие страны. Они принесли столько горя людям, что, кажется, все реки Европы: и наша красавица Волга, и тихая Сена, и Молдова, и Дунай — стали солеными от женских слез.

Кто же теперь гуманисты? Люди, которые пытаются спасти палачей, или наши солдаты с их высоким обетом: «Смерть фашистам»? Я знаю, что наши танкисты, которые давят на Украине детоубийц, наши снайперы, которые считают число убитых немцев, как некогда считали число добрых дел, наши пехотинцы, в неудержимом гневе идущие на запад, защищают не только нашу землю, но самые высокие ценности человечества. Их благословляют все матери мира. И все мыслители, все художники, все творцы видят в них защитников подлинного гуманизма. А если сейчас женщина смотрит на новорожденного, если девушка в счастье первой любви повторяет имя возлюбленного, если прорастает зерно, из которого через сто лет вырастет ветвистое дерево, если на школьной скамье сидит новый Шекспир и новый Толстой, то это только потому, что Красная Армия побеждает смерть, топчет фашизм, убивает немецких человеконенавистников. Кровь на штыке бойца — это заря счастья, это спасение человека.

ТОРЖЕСТВО ЧЕЛОВЕКА

В тихие эпохи мир иным кажется серым: черное и белое, благородство и низость бывают прикрыты туманом повседневной жизни. Страшное у нас вре-

мя — все обнажено, все проверено — на поле боя, на дыбе, у края могилы. Величие духа показал советский народ в дни испытаний. Я хочу рассказать историю одного человека. Как много других, она свидетельствует о победе человека над силами зла.

Несколько дней тому назад в Москву приехал боец литовского партизанского отряда еврейский поэт Суцкевер. Он привез письма Максима Горького, Ромена Роллана — эти письма он спас от немцев. Он спас дневник Петра Великого, рисунки Репина, картину Левитана, письмо Льва Толстого и много других ценнейших реликвий России.

Я давно слышал о стихах Суцкевера. Мне говорил о них и замечательный австрийский романист, и польский поэт Тувим. Говорили в те времена, когда люди еще могли говорить о поэзии. Теперь у нас иные годы, и я прежде всего скажу о другом — не о стихе, об оружии.

В июне 1942 года возле Новой Вилейки взлетел в воздух немецкий эшелон с оружием. Кто заложил мины? Узники вильнюсского гетто. Обреченные боролись. Немецкий эшелон шел на восток: немцы готовились ко второму наступлению. Эшелон взорвали партизаны из вильнюсского гетто. Поэт Суцкевер тогда не думал о стихах. Он думал об оружии: он добывал пулеметы.

В Вильнюсе было восемьдесят тысяч евреев. Немцы не захотели убивать их сразу: они желали насладиться длительной агонией. Они устроили два гетто — два лагеря смертников. Они растянули казни. Они убивали обреченных два года — партию за партией.

В Берлине до войны жил киноактер Киттель. Он хотел играть роковых злодеев, но даже бездарные режиссеры «Уфы» считали, что Киттель слишком бездарен. Он нашел новое призвание: он стал знаменитым палачом. Он убил десятки тысяч жителей Риги. Потом он прибыл на гастроли в Вильнюс. Ему поручили «ликвидацию гетто».

Узников утром выстраивали. Они знали, что если раздастся команда «направо», значит, их погонят на работу, если раздастся команда «налево», значит — Понары и казнь. Каждое утро они видели тот же перекресток и ждали — направо или налево. Семьсот дней...

«Вот вам подарки», — сказал Киттель. Суцкевер узнал платье своей матери — ее расстреляли накануне.

Сжигали живьем. Закапывали в могилу. Выкалывали глаза и выворачивали руки.

Поэт Суцкевер в первый день войны пытался пробраться на восток. У него на руках был ребенок — чужой ребенок, ребенок друга. Суцкевер не решился бросить ребенка, и этот легкий груз решил все — Суцкевера настигли немцы. А маленького сына Суцкевера убил Киттель.

Что происходило в этом мире смерти, где люди ждали казни, где женщины рожали, зная, что они рожают смертников, где врачи лечили больных, понимая, что казнь ждет и больных, и выздоравливающих, и самих врачей?

В январе 1942 года в гетто образовался партизанский отряд. Во главе его стоял сорокалетний вильнюсский рабочий Витенберг. Немцы узнали, что Витенберг не сломлен духом. Они пришли за ним, он скрывался под землей. Тогда Киттель объявил: «Если Витенберг не сдастся живой, завтра будут убиты все». Витенберг знал, что немцы все равно убьют обреченных, но он хотел, чтобы у партизан было время уйти в лес. Он сказал: «Горько, что я не могу застрелиться», и, простившись с друзьями, он вышел к Киттелю. Немцы его пытали — выкололи ему глаза. Он молчал. Суцкевер проводил его до ворот гетто, и, вспоминая о Витенберге, он отворачивается.

Партизаны достали шрифт для польской подпольной газеты. Так узники гетто помогали своим братьям — литовцам и полякам. Гетто было советской землей: смертники слушали тайно радио, печатали сводки Информбюро, праздновали 1 мая, 7 ноября, 23 февраля.

В Бурбишеке взорвался немецкий арсенал. Погибли два еврея из гетто. Киттель думал, что это несчастный случай, но это были военные действия. Двое погибли не зря.

Тиктину было шестнадцать лет. Он проник в запломбированный вагон, откуда брал ручные гранаты. Его накрыли и ранили, когда он пытался убежать. Его вылечили, чтобы казнить. «Зачем вы крали гранаты?» — спросил Киттель. Тиктин ответил: «Чтобы бросать их в вас. Вы убили моего отца и мою мать».

Однажды вели на казнь очередную партию евреев. Они бросились на немцев; руками они задушили семь немецких солдат.

Триста евреев в гетто добыли оружие. Немцы взры-

вали динамитом дома. Триста смелых вырвались из гетто и примкнули к литовским партизанам. Среди них был поэт Суцкевер.

Убегавшие из гетто пробирались по трубам канализации. Один сошел с ума...

Крестьянка-литовка спрятала Суцкевера. В той деревне повесили литовца, и на виселице была надпись: «Он укрывал евреев». Немец сказал литовке: «Ты знаешь, что там написано?» Она ответила: «Знаю», и спасла поэта. Советский народ знает, что дружба — это не только слова.

В Вильнюсе работал «Штаб Розенберга» — это заведение для грабежа ценных книг, картин, рукописей. Во главе «штаба» стоял доктор Миллер. В Вильнюс немцы привезли смоленский музей и сдали его доктору Миллеру. В самом Вильнюсе находился институт с лучшей в Европе коллекцией еврейских книг и манускриптов. Суцкевер думал, что он погибнет, но он хотел спасти памятники культуры. Он спас рисунки Репина, рукописи XV и XVI веков, письма Толстого, Горького и еврейского писателя Шолом Алейхема.

Я сказал, что он думал об оружии, не о стихе. Но поэт всегда остается поэтом. Он добывал пулеметы. Он ждал казни. Он видел Киттеля. И он писал стихи. Осенью 1942 года он написал поэму «Колнидре». Ее содержание напоминает трагедию древности, но оно взято из жизни гетто. Во дворе Лукишской тюрьмы евреи ждут казни. Старик призывает смерть. Немцы убили его жену, четырех сыновей и внуков. Приносят раненого с перебитыми ногами. На нем шинель красноармейца. Это пятый сын старика — двадцать лет тому назад они расстались. Отец узнал сына, сын не узнал отца. Приходит немец-штурмовик. Он требует, чтобы ему воздали царские почести. Раненый красноармеец кидает в немца камень. Тогда отец убивает сына, чтобы спасти его от пыток. Этот сюжет может показаться неправдоподобным. Но тот, кто видел Киттеля, знает, что нет предела низости, и тот, кто провожал на пытки рабочего Витенберга, знает, что нет границ для самоотверженности.

Поэт Суцкевер вместе с другими партизанами сражался за свободу Советской Литвы. В его отряде были литовцы и русские, поляки и евреи. Они были спаяны не словами, но любовью к Родине. У поэта Суцкевера был в руке автомат, в голове — строфы поэмы, а на сердце письма Горького. Вот они, листки с выцветшими чер-

нилами. Я узнаю хорошо знакомый нам почерк. Горький писал о жизни, о будущем России, о силе человека... Повстанец вильнюсского гетто, поэт и солдат спас его письма, как знамя человечности и культуры.

СИЛА СЛОВА

Казалось бы, теперь не до слов: спор решает металл. Но никогда слабый человеческий голос не звучал с такой силой, как на поле боя, среди нестерпимого грохота. Люди, живые люди, пришли от Волги к Серету. В этом победа человека над бездушной машиной фашизма. В этом и оправдание слова.

Я хочу сейчас сказать не о тех томах, которые мы знаем с детства. Их бессмертие доказано годами. Над ними не властны все факельщики мира. Я хочу сказать о хрупком газетном листе, которому положено жить один день — о его торжестве, о силе слова неотстоявшегося, которое похоже на дыханье, легкое облачко в морозный день.

В годы мира газета — это часть жизни, ее подробность; газету читают вечером, она поучает и развлекает. В годы войны газета — личное письмо, от которого зависит судьба каждого.

Фронту может присниться тыл, но тылу не приснится фронт: тыл не видит войны. И миллионы людей жадно ищут в газетах статью, помеченную: «От военного корреспондента». Они хотят найти подтекст к скупым словам сводок. Да и фронтовик хочет взглянуть на себя, понять характер этой войны, причину успеха или неуспеха, природу врага, его нисхождение, подъем нашей армии. Военные корреспонденты — это глаза страны и это скромные люди, капитаны, майоры или подполковники, которые делят с армией все трудности походной жизни.

Военный корреспондент во время операции — на КП. Кончен бой, другие отдыхают, а военный корреспондент при тусклом свете коптилки в блиндаже или в хате пишет статью. Ему приходится думать и о стиле боя, и о стиле письма. Он едет ночью в непролазной грязи, вытаскивая «эмку». Он проталкивает свою статью по проводу, как проталкивают вагоны на узловой станции. Порой оказывается, что передача запоздала, что описание штурма города Н. устарело, так как уже

взят город М... Какой неблагодарный труд и какая неприметная отвага.

Я знаю, что военному корреспонденту часто не хватает перспективы: он в гуще боя. Как солдат, он видит только такой-то участок, таких-то людей. Весной 1944 года читатель пресыщен эпизодами, он жаждет обобщений, эмоциональных выводов, мысли. Но вспомним первый год войны. Тогда всего нужнее было слово, и слово себя оправдало. Евгений Петров помог стране и миру увидеть бои за Москву. Он знал, что значило взять Медынь и Юхнов, и он сумел об этом рассказать. Он погиб, возвращаясь из Севастополя, и его имя чистейшего человека, веселого писателя и смелого солдата осталось связанным с севастопольской эпопеей. Борис Горбатов писал тогда романтично, приподнято и в то же время искренне. Мы увидели горе Юга и человека, который стоял насмерть. Север ожил в очерках Константина Симонова. Север был как бы символом неуступчивости и непримиримости. В дни обороны Москвы народ зачитывался очерками Евгения Кригера. Нужно съесть с войной пуд соли, чтобы разгадать войну, а соленая у войны соль... Василий Гроссман просидел в Сталинграде все время, пока длилась беспримерная оборона этого города; и он сумел показать скромных людей, которые стали героями, подвиги, близкие древним мифам и неотделимые от сердечной чистоты, простоты вчерашних учителей, рабочих, инженеров, агрономов, крестьян.

Когда военный корреспондент — писатель, прозаик или поэт, он невольно думает не о самом событии, но о его участниках. Корреспондент «Красной Звезды» Олендер страстно любил поэзию. Я помню, как в приднепровском селе он читал мне стихи... Это был человек с большой военной культурой. Он видел в войне творчество, он прислушивался к дерзаниям, рутину он ненавидел и в поэзии и в тактике. Он был фанатичным тружеником. Его статьи, подписанные псевдонимом полковника Донского, помогли многим молодым командирам разобраться в наступлении. Без малого три года проработал, точнее, провоевал Олендер, прошел с армией от Сталинграда до Западной Украины и погиб, как солдат, от пули.

Лев Иш был мирнейшим газетным работником: он правил статьи других. Однажды ночью ему принесли корреспонденцию из Ельни: это было осенью сорок

первого. В очерке Иш увидел свое имя: корреспондент рассказывал, как немцы зверски убили отца Иша. Он не мог больше править статьи; он потребовал, чтобы его послали на фронт. Он хорошо писал; но на фронте он мечтал о другом: о судьбе солдата. Он оказался в осажденном Севастополе; за десять дней до смерти он писал другу: «Я с завистью вижу, как другие стреляют в немцев и могут это делать не раз в месяц, а каждый день...» Лев Иш и до того ходил в разведку. Настали трагические дни. На мысу последние герои Севастополя еще сражались. Среди них был Лев Иш; он погиб с винтовкой в руках.

Писатель Гайдар был великаном с детской душой. Окруженный немцами, он ушел к партизанам. Он погиб с партизанами и погребен на берегу Днепра. О нем писали его боевые друзья: «Это был человек беспримерной храбрости...» Писатель Крымов, оказавшись в окружении, боролся до последнего часа. Его письмо жене сохранил украинский крестьянин. Письмо, написанное осенью 1941 года, полно верой в победу, и есть на этом листке, кроме слов, кровь писателя-воина.

Бесстрашно работал фотокорреспондент Калашников. Скромный и смелый человек, он погиб недавно у Севастополя. Он всегда рвался вперед: не ради славы,— он хотел, чтобы народ видел героику войны.

Далеко от Москвы до степей Молдавии, до болот Полесья. Когда московские газеты приходят на передний край, они кажутся журналами, у них нет больше ни первой полосы, ни четвертой — новости уже известны фронту: там своя печать. Под артогнем майор пишет передовую. Ночью при свете коптилки капитан составляет заметку о бое, который только что кончился. По радио принимают сводку, телеграммы. Утром газеты «За родину», или «На разгром врага», или «Сын отечества» прочитают все бойцы. Они узнают, что произошло на огромном фронте от Баренцева моря до Румынии; они узнают также, что бойцы гвардии майора такого-то заняли Безымянную высоту и что сержант такой-то при этом уничтожил девять немцев; они узнают о воздушных бомбардировках Германии, о возрождении Донбасса, о борьбе солдат Тито. Они увидят портрет любимца роты и стихи, написанные известным поэтом, а может быть, мечтательной связисткой.

Я привез в одну армейскую газету американского журналиста Стоу. Он побывал на пяти войнах, изъез-

дил весь свет. Он стоял, очарованный, перед девушкой-наборщицей. Стоу видел линотипы и ротационные машины газет с многомиллионным тиражом, но он сказал мне: «Это самая изумительная газета мира...» Может быть, он почувствовал, что за бледной, серой краской скрыта кровь?..

Я видел, как делали газеты на фронте, как набирали их под обстрелом и корректировали полосу, когда наверху кружил другой «корректор» — «рама»... Журналисты пишут в морозных землянках, на болотной кочке, пишут стоя и лежа. Пишут — как воюют. Такой печати не было и нет ни в одной армии мира; и если наши журналисты гордятся Красной Армией, то наши воины вправе гордиться фронтовыми журналистами.

Есть среди фронтовой печати и большие газеты, не уступающие столичным, есть и крохотные листки. В осажденном Ленинграде выходила фронтовая газета на прекрасной бумаге, с фотографиями, с рисунками, с превосходным литературным материалом. Разве это не чудо? И разве не чудо, что, когда дивизия наступает от Днепра до Карпат, за ней поспевает ее газета?

Во фронтовой печати пишут и знакомые стране журналисты, и новички. Почти три года в одной из таких газет работает Долматовский. Как не вспомнить о журналисте Борзенко, Герое Советского Союза? Он умеет писать. Он умеет не только писать. И настал час, когда он предпочел автомат. Напрасно редакция отзывала его: «Задание выполнено». Он знал, что есть и другое задание — он освобождал Крым.

Передо мной маленькая дивизионная газета «За победу». Заголовок «Будни поваров». А под ним: «Повар Сус на недолгое время оторвался от поварской работы. Уничтожив четырех немцев, он снова вернулся к своему делу...» Пожалуй, читатель решит, что это наивность редактора — какие же тут «будни повара»? Но на войне другой климат. Бывает, что и писатель берет автомат и что повар забывает о каше. Война — это жизнь, но трудно вместить войну в жизнь — она переходит через все грани.

Замечательный французский журналист и писатель Жюль Валлес сказал: «Достаточно описать Галифе, чтобы его убить». Если мне возразят, что фашистов не пробьешь словом, я отвечу, что фашистов убивают железом, но это железо связано со словом. Не абстрактный ветер истории раздувает гнев в сердце сол-

дата, а слабое человеческое дыхание. Говоря о чистоте и мужестве, журналист, даже самый беспомощный, становится пророком, который углем жжет сердца. В дни сверхмощных танков и многотонных бомб я все же верю в тебя, кусочек дерева с металлическим острием — перо, в тебя, человеческое слово!

НАЧАЛОСЬ!

Войска наших союзников высадились на побережье Ла-Манша. Мы как бы слышим раскаты грома, и в них мы различаем поступь истории. Мне хочется воскликнуть: друзья, в какие дни мы живем!

Они перед нашими глазами, незабываемые даты:

2 февраля 1943 года — победа в Сталинграде.

7 мая 1943 года — победа в Тунисе.

12 июля 1943 года — начало нашего великого наступления.

6 ноября 1943 года — Киев.

2 апреля 1944 года — Красная Армия в Румынии.

К этим датам прибавилась еще одна: 6 июня 1944 года на песчаном побережье Нормандии началась гигантская битва.

Мы столько раз повторяли: «Если бы!..» Мы столько раз слышали: «Накануне решающих боев...» Как хорошо, что это позади! Как хорошо, что решающие бои начались! Забудем о сослагательном наклонении. Нам больше не придется прибегать к глаголам в будущем времени. То, чего мы ждали, свершилось: начато наступление на Германию с Запада.

В этот светлый день солдаты Красной Армии с гордостью вспомнят былые горькие дни. Когда Гитлер напал на нас, германская армия была первой армией мира. Немцы тогда не боялись ударов с Запада. Ла-Манш в те времена был для них Дюнкерком. Если Ла-Манш стал для них Гавром и Шербуром, в этом также заслуга Красной Армии. Три года мы сражались против лучших дивизий Гитлера. Мы узнали всё — и горе, и смерть друзей, и пепел родного гнезда. Наши орудия пробили брешь в «атлантическом вале», ведь три долгих года мы уничтожали немцев, их генералов, их лейтенантов, их фрицев, их «тигры», их «мессеры», их веру в победу. Кровь России разъела камни немецкой крепости.

Плоский песчаный берег. Когда-то здесь были гостиницы, виллы. Парижане загорали на мирных пляжах... В часы отлива океан уходит очень далеко. Он яростно кидается на землю, когда начинается прилив. И прилив начался: рано утром тысячи транспортов подошли к французским берегам...

Немцы изо дня в день твердили, что «атлантический вал неприступен». Может быть, они думали воздвигнуть вал из хвастливых слов, остановить союзников силами генерала-от-радиовещания Дитмара? Слов нет, они укрепили побережье. Они знали, что союзники начнут наступление. Немцы хорошо приготовились. Но генерал Эйзенхауэр правильно сказал: теперь не 1940 год. Еще один вал приказал долго жить. Снова доказана мудрость мужества: оно опрокидывает все валы и прорывает все линии.

Я хочу приветствовать солдат, моряков и летчиков экспедиционного корпуса. Герои Сталинграда и Днепра гордятся своими друзьями по оружию. Война перешагнула через Ла-Манш, и немцы в Германии уже чувствуют на себе ее горячее дыхание. Рассвет 6 июня был нелегким для многих и многих. На землю войны высадились ткачи Манчестера, студенты Оксфорда, металлисты Детройта, клерки Нью-Йорка, землепашцы Манитобы, звероловы Канады. Эти люди пришли издалека, чтобы положить конец фашистской тирании. Солдаты, моряки и летчики Советской республики хорошо знают, что такое война. Они изучили ее цвет и запах. Они помнят, как выглядит ночь перед атакой. Обстрелянные солдаты России честно, по-солдатски, от всей души приветствуют своих боевых товарищей.

В тылу у немцев высадились воздушные десанты союзников. В тылу у немцев весь французский народ. Зеленая Нормандия, край пастбищ и яблонь, стала полем битвы. Но Франция не только театр военных действий, Франция — это неукротимый народ. Четыре года ждали французы этих дней. Теперь Рундштедт и Роммель узнают, что такое гнев Франции. Историки, описывая поведение французов в бою, не раз говорили о «furia françese» — «французском неистовстве». Отступающим немцам придется на себе проверить эти свидетельства летописцев.

Начинается облава на зверя. Немцы много толковали об окружении. Вот он, огромный «котел», в нем Германия будет кипеть, как грешники в сере.

В июне 1942 года газета «Дас райх» писала: «Конечно, война на двух фронтах была бы губительной для Германии, но прозорливость фюрера состоит в том, что он учел положение. Когда англосаксы подготовятся к операциям, Россия будет выведена из строя». «Прозорливый» фюрер оказался жалким слепцом. Союзники наступают. Россия — на переднем крае. Красная Армия — в Румынии, и никогда еще она не была такой сильной, как в преддверье этого грозного лета.

Немцы обожают все «колоссальное». Их потрясает арифметика. Пусть они призадумаются над цифрами: 4000 кораблей, 11 000 самолетов. Теперь немцам придется сражаться на нескольких фронтах. Надолго ли хватит у Гитлера и фрицев, и «тигров», и нервов?

Когда я писал осенью 1941 года: «Карфаген должен быть разрушен», это могло показаться вызовом судьбе, теперь даже немецкий сопляк и тот знает, что Карфаген будет разрушен и что мы будем в Берлине.

Часто говорят: «Переполнилась чаша». Да, переполнилась чаша нашего горя и горя Европы. Три года враг терзает нашу землю. Три года мы отдаем победе наших близких и нашу кровь. Время кончать с немцами! Наши танки рвутся к мостовым Берлина. Наши глаза летят на Запад. Довольно немцы топтали нашу землю! Скоро русская пехота пройдет по немецкой земле. Гнев и надежда ширят наши сердца. Вот она перед нами, наша сестра, наша любовь — победа!

20 ИЮЛЯ 1944 ГОДА

Я пишу эти строки из Вильнюса. Красавец город уцелел. Можно бы долго описывать его монастыри, сады и узкие старые улицы. Наполеон сказал о церкви Святой Анны в Вильнюсе: «Я хотел бы унести ее в Париж». Гитлер не эстет, а заправский поджигатель. Он не успел, однако, сжечь город. Правда, отдельные дома немцы подожгли: они пытались остановить наши части. Я был свидетелем уличных боев в городе. Немецкие солдаты, взятые в плен, повторяли одно: «Фюрер приказал держаться...» Фюрер сулил своим солдатам помощь: «Идут танки». Но танки не пришли...

Вильнюс пытались удержать свежие немецкие части — войска, сражавшиеся у Витебска и Орши, были

уничтожены. Гитлер привез 170-ю ПД. Пришла из Кенигсберга 765-я ПД. Когда город был уже окружен, прилетел генерал-лейтенант Штаэль. Наконец, Гитлеру пришлось снять некоторые силы из Нормандии: в Вильнюс были сброшены на парашютах полки 2-й авиадесантной дивизии. Пленные, с которыми я разговаривал, еще недавно находились в Абвиле, охраняя стартовые площадки для самолетов-снарядов. Хотя немецкие газеты уверяют, что фюрера теперь интересует куда больше Запад, нежели Восток, фюрер счел необходимым перебросить толику своих солдат из Нормандии в Литву.

Иностранцы могут удивляться ритму нашего наступления: он действительно чудесен. Я не стану сейчас говорить о танковых операциях, я только укажу, что за десять дней наша пехота прошла 400 километров с боями. Почему? Достаточно послушать, как наши солдаты спрашивают крестьян: далеко ли еще до Германии? Близость границы окрыляет усталых пехотинцев. Не снаряды пробили толстые стены вильнюсской тюрьмы, в которой засели немцы, но ярость солдатского сердца, близость Германии и близость развязки.

За границей некоторые думают (или, вернее, хотят думать), что победы даются легко. Эти «оптимисты» твердят о разложении германской армии. Действительно, немецкие войска, попавшие в минский «котел», представляли собой довольно жалкое зрелище. Но нельзя принимать результаты за первопричину: не потому мы разбили немецкие армии, что они были деморализованы, нет, они стали деморализованными потому, что мы их разбили. Накануне нашего наступления немцы в Витебске и в Орше были уверены в своей победе. Ведь это были еще не битые немцы. Они кричали из окопов: «Рус, начинай!» Генералы отдавали приказы: «Русское летнее наступление должно начаться со дня на день. Мы не отойдем ни на шаг». Удар был сокрушительным. Я видел линии немецкой обороны, которые тянулись в глубину на десятки километров. Они не уступали «атлантическому валу». Они были прорваны в несколько дней, а после этого наши танки и кавалерия кинулись на запад.

Попав в окружение, немцы еще мечтали о спасении, у них были и «фердинанды», и «тигры», и опытные генералы. Облава длилась добрую неделю. Я видел

бои с окруженными немцами, порой жесточайшие: автоматическая дисциплина и тупость, присущие гитлеровской армии, сказались особенно ясно в эти дни. Наши войска были в 200 километрах западнее Минска, а немцы, находившиеся на востоке от этого города, еще рассчитывали прорваться к своим. В плену многие сохраняют тупую веру если не в победу, то в какой-то «компромисс». При мне сдался немецкий генерал-лейтенант Окснер, командир 31-й ПД. Он был переодет в солдатскую форму. Он мне спесиво заявил, что он «прорвал французскую оборону Седана и завоевал Туль». Потом он стал говорить, что «маленький 90-миллионный немецкий народ успешно борется против трех больших государств». Командир 130-й ПД Кутервальд, говоря о перспективах, сказал мне, что немцам, может быть, придется «несколько отодвинуться на запад», так как «во Франции мало французов и много свободного места». Многие солдаты верят в чудодейственную силу «секретного оружия» и в победу на западе. Словом, было бы безумием рассчитывать на моральное перерождение фашистской армии. Мы, однако, можем быть подлинными оптимистами: мы видим ее физическое уничтожение. Я видел горы неприятельских трупов; фашисты, шагавшие по улицам французских, бельгийских, датских городов, гнили под солнцем июля.

Наши армии находятся в непосредственной близости от границ Пруссии. Разумеется, эти границы на славу укреплены, но справедливо сказал мне генерал-полковник Глаголев: «Линии сами не защищаются, линии нужно защищать...»

Неудержимо рвется Красная Армия на запад.

Теперь ничто не спасет Гитлера от расплаты. Я верю, что замечательные победы, одержанные в течение одного месяца нашими войсками, придадут еще больше сил нашим союзникам. Мы прошли за этот месяц путь, равный пути от побережья Нормандии до Кельна. Мы уничтожили десятки лучших немецких дивизий. И мы идем на Берлин.

СЕСТРА СЛОВАКИЯ

Нивы победы, которые всколосились на Западе, орошены советской кровью. Если Париж восстал и победил, то это потому, что Ленинград не сдался.

Если союзники в несколько дней прошли от Парижа до Лотарингии, пересекли Бельгию и проникли в Голландию, то это потому, что несколько месяцев длились страшные бои за Дом Павлова в Сталинграде. С легким шумом падает на землю спелое яблоко сентября. Пусть, надкусив его, друг вспомнит, как медленно росло дерево.

Французские партизаны, поддерживаемые союзниками, заканчивают освобождение Франции. Солдаты маршала Тито, столь мужественно сражавшиеся в годы горя, уже слышат шаги Красной Армии. Окруженная немцами и мадьярами, восстала Словакия, край мирных землепашцев и пастухов.

29 августа в городах и селах Словакии солдаты, офицеры, повстанцы, государственные служащие были приведены к присяге на верность Чехо-Словацкой республике. За исключением некоторых городов, почти вся Словакия в руках освободительной армии. У Гитлера теперь солдаты наперечет; он все же кинул на Словакию шесть немецких дивизий. Венгры наступают с юга и заняли Люсенец. Вот уже десять дней, как идут жестокие бои, и словаки держатся.

Эта страна прекрасна не только своей природой, не только озерами Татр или прелестью Гронской долины, она прекрасна людьми, честными, смелыми и бескорыстными, наша сестра Словакия, или, как ее зовут словаки, Словенско. В сердце Европы сохранился заповедник простых и добрых чувств. Небогатая страна: много словаков в поисках куска хлеба переплывали Атлантику; благородная страна: крестьянка поставит перед приезжим кринку молока и, если он вынет кошелек, покачает головой — доброе слово ей дороже денег.

Издавна словацкий народ тосковал о правде; любимые его песни посвящены великодушному разбойнику Яношику, который нападал на панов и помогал сиротам:

Эй, детване, детване,
черная земля под вами!
Эй, лес, лес на горе,
тропинка в гору!
Мой отец был смирным,
а я буду разбойником —
ибо много кривды,
сила у панов,
а правда у разбойника.

Кто были эти паны? Завоеватели: немцы и мадьяры. Веками они угнетали словаков; запрещали говорить на родном языке; оттесняли от плодородных земель к лесам и скалам.

Край крестьян. В Словакии мало больших городов. Красавица Братислава, пестрая и многоязычная,— это столица на границе. На севере города немецких колонистов — Левоча, Кежмарок; змеиные гнезда; много веков живут немцы на словацкой земле, но они ненавидят эту землю, их взоры обращены к Берлину. Теперь они пытаются усмирить повстанцев; города останутся, но вряд ли в них оставят немцев... А словацкие города — Святой Мартин или Брезно или Жилина — это большие села: длинная улица, базар, номера для проживающих, сыроварня или кожемятня и здесь же огороды... В горах «салаши» — домики пастухов. «Бача» (пастух) коптит овечий сыр. Он играет на дуде и поет:

Я старый бача,
мне не дожить до весны,
и не будет кукушка куковать
над моей овчарней.
Овцы, пожалейте меня,
тише спускайтесь с горы!

Словаки любят искусство. Наряды крестьян поражают своей красочностью; в каждом селе свой наряд, свои чепчики, свои жилеты, свои фартуки. В Важеце парни после свадьбы снимают с шляп петушиные перья, а в Детве они расстаются с черными, шелком вышитыми «фертушками» (фартуками). Дух вкрадчивого и пышного барокко сочетается с древним народным орнаментом. Хаты покрыты сложными узорами. На стенах яркие тарелки. Печи расписаны. Даже на могильных крестах можно увидеть розаны и птиц.

Я был в селе Ясенова, в хате, где родился один из крупнейших писателей Словакии Мартин Кукучин (его называли «словацким Гоголем»). Как и в других хатах, большая печь, покрытая росписью, тарелки на стенах, горы подушек. Вся словацкая интеллигенция вышла из таких деревень, где чепчики молодух, гуси и белобрысая детвора.

Трудно рассказать, как любят словаки Россию. В Святом Мартине на могильных плитах русские надписи: знак верности старшей сестре. Первые просветители (их звали «будители») шли на каторгу из-за томика Пушкина. Почти в каждом словацком городке мож-

но увидеть улицу Гоголя или улицу Толстого. Когда Чехо-Словакия стала независимой, в словацких школах начали изучать русский язык, переводили советских авторов, увлекались Маяковским и Шостаковичем. В 1936 году я был в Трепчанской Теплице на съезде словацких писателей: были там писатели разных толков, один был католическим монахом; все они восторженно приветствовали Советскую Россию.

Немцы захватили Словакию в дни европейского затемнения. Людоед тогда только садился за стол: на закуску мюнхенцы поднесли ему Чехо-Словакию. Немцы нашли несколько изменников в Братиславе. Кучка благочестивых нечестивцев, во главе с Тисо, прежде живших на пенго Хорти и на злоты Пилсудского, прельстились германскими марками; эти господа начали кропить святой водой последователей бога Вотана. Я знавал одного из предателей Тидо Гашпара. Он был неизвестным писателем и известным пьяницей. Однажды он выставил свою кандидатуру в парламент; вся Братислава потешалась: «Забулдыга Тидо занялся политикой». А «кандидат» заказал цыганам, музыкантам «Астории», песенку «Голосуйте за Тидо». Но и песенка не помогла: за Тидо голосовали только официанты «Астории», соблазненные чаевыми. И вот такого Тидо разыскали и сделали «министром пропаганды»! Впрочем, не на пропаганде держалась власть немцев, а на автоматах.

Гитлер осмелился послать словаков на Кубань — против русских. Эта глупая затея оказалась полезной при создании в СССР Чехо-Словацкой воинской части: словаки перешли на сторону Красной Армии.

В горах Словакии росли партизанские отряды. Появились подпольные газеты. Была установлена связь с правительством Чехо-Словацкой республики. Было много пороха. Историк расскажет, откуда взялась искра: в конце августа Словакия восстала. Регулярные словацкие части перешли на сторону партизан. Была образована Словенска Народна Рада, которая на территории, освобожденной повстанцами, представляет правительство Республики. Из «протектората» пробрались чехи, чтобы сражаться в словацких отрядах. В Словакии было много французов: военнопленных и рабочих, привезенных немцами из Франции. Повсеместно французы примкнули к повстанцам. При боях за Дубницу, где находятся военные заводы, словаки и французы перебили немцев.

Большие бои: в одном только районе повстанцы уничтожили 23 немецких танка. Города Жилина и Кежмарок переходят из рук в руки. Немцы пытались сжать словацкие отряды в районе Прешова; они наступали с севера и с юга; но немецкая колонна, продвигавшаяся от Кошиц, была разгромлена повстанцами. Начались уличные бои в Братиславе.

Немцы верны себе. Они мстят женщинам и детям. Они жгут села с людьми. Они пытают ребятишек и убивают старух. День и ночь немецкие бомбардировщики бомбят города Словакии. Особенно пострадала Банска Быстрица. У немцев авиация, танки, самоходные орудия. Но Словакия держится. Что позволяет вчерашним землепашцам, учителям, шахтерам, пастухам отбивать атаки моторизованных дивизий? Мужество. Верность. И свет с востока.

Самые ожесточенные бои идут у Карпат — возле Зборова, Бардиева, Прешова. В тех местах много русских могил: память о первой мировой войне. Там русские уже били тюремщиков Словакии — немцев и мадьяр. На войне много превратностей, и нелегко дается победа. Но Словакия знает: Россия идет и Россия придет.

СУДЬБА КОЛОСЬЕВ

Осенью не позабыли вырядиться в багрянец леса, скрипят обозы, и малыши, как магическую шкатулку, раскрывают первую книгу.

Страда страны продолжается. Война избороздила и землю, и лица женщин. На границах родины Красная Армия ломает сопротивление врага. Поглядеть на бойцов у костра, на будничную Москву, на внутренние полосы газет — «Хлебозаготовки» или «Военная топография», и не сразу разгадаешь величие часа. А ведь об этой осени будут писать и писать.

Давно ли Европа томилась в преисподней? Наперекор календарю, не весною — осенью Прозерпина вышла из подземного царства. «Марсельеза» подымает седые камни Парижа. Гудят вечевые башни Бельгии. Герои маршала Тито приветствуют Красную Армию. Гроза очистила Балканы. Крестьяне Словакии и рабочие Чехии перешли в наступление. Повсюду выстрелы, слезы радости, бомбы, цветы, флаги, речи... Она жива, наша милая старая Европа! Ее ждет новый большой день.

Я вспоминаю другой сентябрь. То было шесть лет назад; Европа думала откупиться, отмолчаться, сойти за мертвую. Ее государственные деятели говорили о «судьбе поколения»: слепцы прикидывались ясновидцами. Париж затемнили на один вечер; и когда снова зажгли фонари, обманутые парижане радовались: они не понимали, что впереди тьма и тьма, страшное затмение «нового порядка». Еще стояли разрушенные ныне города; еще смеялись, танцевали, учились мертвые ныне юноши. А Прозерпину выдали царю преисподней.

Я позволю себе привести здесь цитату из старой моей статьи. В ней я говорил об учителе с Урала, который, прочитав роман французского писателя Дрие ла Рошелля, возмутился и написал мне: «Спросите Дрие ла Рошелля, какой злой дух нашептывает ему разные нелепости, вроде следующей: «То, что было жизнью, не представляет абсолютно никакого интереса. Сознание больше невозможно, ибо нечего сознавать». Сообщите ему заодно, что один из людей, населяющих нашу страну, уверяет его честь, что жизнь полна абсолютного интереса и что, кроме больного сознания, есть еще нетронутые залежи сознания миллионов». Я показал это письмо Дрие ла Рошеллю; он прочитал и усмехнулся. Я тогда писал: «В этом письме имеется то, чем мы вправе гордиться: наша глубокая заинтересованность в судьбах всечеловеческой культуры. Скифами оказались не мы. Не мы плюем на то, что «было жизнью». Кто же пойдет отстаивать все, что было лучшего в этом мире: и Бальзака, и собор Парижской Богоматери, и великую веселость парижского народа,— литераторы типа Дрие ла Рошелля или уральские учителя?» Под этими строками дата: 1932. Ответ теперь дан. Дрие ла Рошелль несколько дней тому назад арестован французскими патриотами как предатель. Что же касается уральских учителей, то разве не к ним относятся слова Парижского комитета освобождения, который приветствует Красную Армию как армию-освободительницу?

Европа и мир знают, чем они обязаны советскому народу. Я не хочу умалить доблесть наших союзников, которые ворвались в фашистскую берлогу. Честь им и слава! Да разве умалит их, если я скажу, что они смогли высадиться в Нормандии и столь же быстро пройти от Шербура до Трира потому, что три года до

того, день и ночь, от Баренцева моря до Черного, в болотах, в степях, по пояс в грязи, по пояс в снегу, в пургу, в зной — Красная Армия уничтожала немцев? Не вычеркнуть из истории Европы Сталинграда; его зарево освещает наши дни.

Я думаю, что люди на Западе, которые не любили нашего народа, не любили и Европы, не любили они ничего, были безлюбыми и мертвыми, как Дрие ла Рошелль, и, став изменниками, они не изменили себе. Конечно, не все они говорили столь откровенно, как циничный французский литератор; многие прикрывались громкими фразами, уверяли, будто, братаясь с Гитлером, с дуче или с Франко, защищают культуру. Одни из них боялись людоедов и думали их насытить чужой человечиной: «Поворачивай, приятель, на восток...» Другие рассчитывали с помощью погромщиков, поджигателей и душителей уничтожить страну, где было в почете человеческое сознание. Не знаю, чего больше было в этом: глупости или хитрости. За все заплатила Европа, ее сады, ее дети. И теперь все народы с отвращением вспоминают то время, когда на Гитлера работали не только заводы Германии, но и растленные перья Европы.

Большим горем оплатила Прозерпина свое пробуждение. Спросят: зачем бередить старые раны? Незачем. Боевая дружба связала нас с Англией, с Америкой, с Францией, со всеми порабощенными, но не укрощенными народами. Если я вспомнил годы «умиротворения», то потому, что могикане клеветы не унимаются; вдруг раздается шепоток о том, что Россия будто бы не вполне Европа, или что мы хотим кого-то обидеть, или что у нас мало традиций, или что много у нас традиций, но традиции не те; словом, жив курилка, есть еще на свете неисправимые мюнхенцы; может быть, они останутся, когда и Мюнхен под бомбами исчезнет. Немного таких, и говорят они теперь осторожно, деликатно, но все же не вывелись и не унялись. Вот почему стоит еще раз напомнить о глубоком нерасторжимом союзе народов, возненавидевших фашизм.

К национализму никогда не лежала душа русского народа. Любя свое, мы ценили и чужое. Мы любили лучшее в других народах, любили искренне, бескорыстно. Может быть, лучше всего определил природу русского патриотизма Добролюбов: «Патриотизм жи-

вой, деятельный именно и отличается тем, что он исключает всякую международную вражду, и человек, одушевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества...» А Достоевский подчеркивал глубокую заинтересованность русских в развитии чужеземной культуры, он напоминал, что Шекспир, Байрон или Диккенс роднее и понятнее русским, нежели немцам. Русский народ никогда не противопоставлял себя другим народам. Ощущение внутренней силы и тоска по справедливости делали нас миролюбивыми. Вероятно, это миролюбие иные слепцы принимали за слабость.

Мы и теперь не опьянены победами; мы радуемся, что сила нашего народа помогла другим. Когда боец Красной Армии освобождает город, он видит улыбку, слышит ласковые слова; потом он уходит дальше; далеко уже тот город, и цветы, и женщины, говорившие ему: «Пришли!..» Но в сердце его нечто неизгладимое; не знаю, как лучше определить это чувство — гордость ли это, удовлетворение или просто радость за других? Бесконечно далеко от Литвы, где теперь сражаются и умирают люди, до оживших, лихорадочных толп на улицах Парижа, Лиона, Брюсселя, Льежа; но за тысячи верст чувствуется трепет свободы; и наши воины радуются, они пишут в письмах: «Париж освободили! Это большое дело...»

За годы войны мы еще острее почувствовали связь с другими народами; и напрасно иной недоброжелатель жаждет нас изобразить себялюбцами, изоляционистами. Не на банкетах узнают друг друга люди, а в труде и в горе. Говорят: «Съесть с ним пуд соли», а соль солона... Для советских людей в довоенные годы был Лондон огромным городом — туманы, парки, старый Вестминстер, огни Пикадилли, трущобы, воспетые Диккенсом, колониальные товары, парики судей... В ту черную зиму, когда бомбы терзали Лондон, открылась нам душа этого города. Мы поняли стойкость англичанина; мы поняли, почему в Англии есть Хартия, почему англичане входят в автобусы не толкаясь, почему при дюнкерской катастрофе они спасали боевых друзей. Теперь мы радуемся, что Дувр избавлен от артиллерийских снарядов, что англичане освобождают Бельгию. За много верст мы улыбаемся американцам: они славно поработали; и хорошо, что их «виллисы» уже трещат на немецкой земле. Не раз отмечалась наша близость к Америке: молодость нас сближает, размах, широта

и полей, и мечтаний. Я не стану долго говорить о нашей любви к Франции. Когда Париж освободил себя, когда покрыли себя славой франтиреры и партизаны, мы не удивились: мы ведь помнили, что такое Франция, мы знали санкюлотов, инсургентов, коммунаров; мы их видим теперь — это наши современники. Мы, как свое, переживали горе чехов и сербов; как своими, гордимся солдатами Тито и мужеством чехо-словаков, которые сейчас освобождают родину. Далеко все это от старого славянофильства: мы не противопоставляем одну часть человечества другой. Мы не расисты; но в славянских народах видим мы много близкого: волнует нас язык, внятный нам, близкая мелодия народной песни, полотенце в словацкой избе или сказка, рассказанная старой черногоркой.

Враги кричат, что мы завоеватели. Это говорят те самые немцы, которые мечтали завоевать мир, или политические кокотки, которые тоскуют по ласкам какого-нибудь фон Папена. Клевета, низкая клевета. Мы перешли границу как судьи для угнетателей, как освободители для угнетенных. Вот почему все народы теперь с любовью говорят о Красной Армии, с надеждой смотрят они на Москву. Наша мощь страшна только тюремщикам, и даже маленький Люксембург знает, что сила Москвы — это оплот его независимости.

На нас смотрят с надеждой все, кроме людей, показавших, что нет в них ничего человеческого. Наша холодная отстоявшаяся ненависть к гитлеровцам, наше твердое решение искоренить фашизм, не дать ему замаскироваться, переодеться — именно это привлекает к нам сердца миролюбивых народов. Я внимательно читаю разные проекты искоренения фашизма. Я нашел в американских газетах ряд предложений, которые были бы забавными, если бы мы могли смеяться после люблинского Майданека, после Бабьего Яра и Тростянца. Один чудак уверяет, что гитлеровцы жестоки потому, что они поглощали мало витаминов; другой говорит, что немцев можно исправить трогательными кинофильмами; третий, касаясь судьбы верхушки гитлеровской партии, предлагает предоставить им остров возле Калифорнии и на нем дома с удобствами. Нет, не смешно это, а страшно. Ведь миллионы замученных поручили нам свершить правосудие; мы говорим за мертвых. Должны быть наказаны преступники; должны они искупить кровью и по́том разорение Европы, смерть неповинных. Гуманность не откажется от меча;

справедливость принесет весы. Не низкая злоба ведет нас в Германию, а забота о будущем, о детях, о колосьях, о культуре. Разве можно забыть потерю Новгорода, Руана, Перуджии? Но и камни ничто, самые священные, но и фрески Гирландайо, погибшие в огне, тускнеют рядом с детскими ботинками в Майданеке. Какая мать сможет нянчить свое дитя, зная, что живы фашисты, что они под другими паспортами поют псалмы и едят заморские витамины? Во имя Европы, ее садов, возделанных поколениями, ее древнейших городов и ее будущего — детей, которые сейчас играют на Гоголевском бульваре, или в Летнем саду, или в парижском Люксембурге, или в Гайд-парке, во имя всех детей, светлых и смуглых, мы должны не знать пощады фашистам, выжечь эту раковую опухоль в самом сердце Европы. Мы это сделаем; вот почему на нас смотрят с надеждой вдовы Лондона и матери Парижа. Вот почему на нас клевещут явные и тайные покровители детоубийц. Если заграничная печать теперь занята вопросом — найдут ли себе убежище в нейтральных странах главари фашизма, то для нас, да и для всего человечества, вопрос стоит глубже и шире: мы не хотим, чтобы фашизм нашел себе убежище в сердцах народов и людей. Нет ему места ни в будуаре фон Папена, ни в казармах Мадрида, ни в аргентинских прериях. Пусть мать, потерявшая самое дорогое — сына, в день победы, теперь уже близкий, скажет: не напрасно пролилась кровь моего мальчика — Майданека больше не будет.

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

Сорок месяцев Родина ждала этого. Сорок месяцев, глядя на развалины наших городов, на пепел наших сел, мы в тоске думали: когда же?.. Теперь этот день наступил: Красная Армия вступила в Германию.

Немецкие правители уверяли, что никогда они нас не впустят в свое логово. Они надеялись на свои укрепления. Но есть гнев, перед которым рушатся камни. Есть ярость, которая расплавляет железо. Кто скажет о том, что мы пережили? Горе в сердце каждого из нас. Сорок месяцев враг терзал живое тело России. Сорок месяцев палачи глумились над нашими близкими. Мы должны были прийти к ним. И мы пришли. Нас не остановили их укрепления.

Напрасно Гитлер рассчитывал на стойкость своих фрицев. Нельзя, вырастив грабителей, ждать, что эти грабители окажутся подвижниками. Среди гангстеров могут быть опытные и ловкие, но среди гангстеров не было и не будет ни Жанны д'Арк, ни Зои Космодемьянской.

Недавно в Кенигсберге гауляйтер Эрих Кох вопил на собрании гитлеровцев: «Мы не отдадим ни одной пяди прусской земли, мы вцепимся, врастем в эту землю!» Кто это говорит? Мы хорошо знаем Эриха Коха, бывшего наместника Украины. Его ремесло грабеж, и не удастся ему сойти за рыцаря. Он и его фрицы бесчинствовали на Украине. Нечего теперь кричать о немецкой земле. Долг платежом красен. Не вцепились фрицы ни в землю Эйдкунена, ни в землю Шталлупёнена, ни в землю Гольдапа. А если и вросли они в землю, то мертвые, и над этим потрудился не гауляйтер Пруссии, а свинец России. Эрих Кох может отцепиться от Кенигсберга. Пусть не рассчитывает на удачу. Если ему удалось заблаговременно удрать из Ровно, это не означает, что он неуловим. Поймаем и Коха...

Немцы прежде обожали все «молниеносное». Одутловатые бюргеры, коммерции советники, с животами, вздувшимися от пива, и с сердцами, вздувшимися от спеси, они торопили часы истории. Эти жабы с докторскими степенями, эти воры с расовыми теориями, эти ницшеанцы из форточников явно боялись опоздать на «пир небожителей». Им, видите ли, хотелось «молний». Теперь они их получили — «молнии» оптом без карточек, «молнии» до одурения. Каждый день немцы теряют — то город, то крепость, то рубеж, то страну, то союзника. На западе пал город немецких императоров Аахен. На востоке наши войска ворвались в заповедник прусской военщины, в затон скотоводов и живодеров, в край, откуда пошли старые фельдмаршалы и молодые штурмфюреры. Вчерашние шакалы или переловлены и сидят в клетках, или прячутся. Тигр теперь в одиночестве: подстреленный, он еще рычит и кажет клыки, но его рычание перестало пугать даже шведских социал-демократов, а клыки... Что же, клыки, и клыки не те — фрицы из «ополчения» не похожи на былых гренадеров.

Проклятое племя! Их возненавидели все. Я не говорю о честных и непримиримых народах, которые ведут не первый год суровую войну. Но немцев возненавидели даже их вчерашние союзники. Еще не бывало та-

кого в истории — ведь против немцев сражаются те армии, которые недавно сражались на их стороне,— и румыны, и итальянцы, и болгары, и финны. Кто с немцами? Восьмушка венгров, да и те на аркане — до первого поворота.

Мы на немецкой земле! Здесь еще недавно немецкие помещики вместо волов держали русских пленных. Здесь еще недавно супруги гехаймсратов хлестали по щекам русских девушек. Здесь еще недавно сановитые немцы обсуждали, как лучше использовать волосы мучениц Майданека, Треблинки, Сабибура: на канаты, на подушки для седел или на тюфяки? Здесь еще недавно заурядные немцы и немки потными от нетерпения руками разворачивали посылки с честным и скромным добром, вынесенным из русских домов. Теперь на эту землю пришла справедливость. Мы на земле наместника Украины Эриха Коха — этим сказано все. Здесь не только итоги военной кампании, не только исход гигантской битвы народов — здесь и торжество простейшей справедливости. Мы много раз говорили: «Суд идет!» И суд пришел.

Еще раз повторяю: не месть — справедливость. Мы не тронем немецких детей: мы не детоубийцы. Но горе тем, кто детей убивал, горе вдохновителям, исполнителям, соучастникам. Они не уйдут от возмездия. Никому не передоверит наша армия дела совести.

Мы на немецкой земле, и в этих словах вся наша надежда: Германию мало разбить, ее нужно добить. Ведь они уже мечтают о новой войне. О, конечно, в плену или в городах, занятых нашими союзниками и нами, они симулируют раскаяние. На это они молниеносны. Они уже плачут «колоссальными» слезами — по литру слеза. Но стоит послушать, что они говорят у себя. «Кельнише цайтунг» пишет: «Мы были слишком великодушны с покоренными нами народами. Мы были слишком мягкими, и эти ошибки нам трудно будет поправить». Они раскаиваются: они убили не всех русских, не всех поляков, не всех французов. Они были слишком великодушны в Майданеке. Причем они собираются исправить эти ошибки. Если не сейчас, то через десять или двадцать лет: уничтожить всех. Немецкий офицер фон Вольке, убитый недавно в Венгрии, писал перед смертью: «Мы допустили просчет. Их, русских, оказалось так много, что они сохранили возможность не только защищаться, но, как мы теперь

убедились, и наступать. Наша ошибка в том, что мы мало их убивали, когда были в России. А теперь они идут к нам... Я завещаю моему сыну Вильгельму быть менее гуманным...» Вы слышите? Фон Вольке находит, что печи в Майданеке работали слишком медленно — всего две тысячи трупов в сутки. Фон Вольке возмущен гуманностью эсэсовцев: сколько людей они упустили, не повесили, даже не расстреляли. Вильгельм фон Вольке, когда он вырастет, должен исправить дело. Их чувства понятны. Понятны и наши чувства. Мы на немецкой земле — это значит, что мы их отучим от немецкого «ремесла», это значит, что Вильгельм фон Вольке будет дробить камень, а не детские черепа, жечь навоз, а не города. Это значит, что с ужасом будет вспоминать Германия о походе на Советский Союз и на мир.

Мы идем к ним, и в наших сердцах все горе сорока месяцев, растерзанные тела детей Бабьего Яра, «зона пустыни», умершие от голода в ленинградскую осаду, наши близкие, наши друзья, и первая виселица в Волоколамске, и еще теплые трупы убитых напоследок в лагере Клоога, и брат убитый, и сожженный дом отца, и партизанский край в Белоруссии, где немцы кидали младенцев в колодцы, и могила Пушкина, и «гетто» с зверскими убийствами миллионов беззащитных, и взорванный Новгород, и девушки, и заводы, и цветы в цветниках, и поруганная старость, и залитая кровью молодость,— всё мы храним в сердце. И стоит нам взглянуть на поля Пруссии, как видим мы другие поля,— по ним прошли немцы. С 22 июня 1941 года, с того воскресенья, с того репродуктора, с тех слез матери или жены и вот по сегодня — сорок месяцев, тысячу двести дней и столько же ночей, отступая, наступая, в Калмыкии, у Волги, возле Дома Павлова, переплывая на плащ-палатках Днепр, в Карпатах, в Петсамо, где бы и когда бы мы ни были, мы ждали этого дня. И он пришел: мы на немецкой земле!

Теперь — дальше! Вглубь! Мы еще только в сенях, только на пороге. Дальше Кенигсберг. Там Кох. Там мразь. Нужно туда. Нужно и дальше — в Берлин. У тигра еще клыки, пусть вставные, подержанные, но клыки. Еще есть у них и танки, и артиллерия, и солдаты. Еще труден путь. Но мы дойдем. Вторая пара крыльев выросла за плечами у каждого: ведь мы в Германии! Граница позади. А впереди то счастье, о котором и другу не скажешь, и не напишешь жене: победа —

полная, чтобы отставить винтовку, сесть за стол и слабой улыбкой большого пережитого горя, большой выстраданной радости улыбнуться меньшому.

ГЕРОИ «НОРМАНДИИ»

Узнав о присвоении двум молодым французам самого почетного звания, существующего теперь в России, Героя Советского Союза, многие призадумаются. Дело не только в орденах на груди храбрецов, дело в морали истории. Я не стану спрашивать: думал ли виконт де ла Пуап, что его сын будет именоваться Героем Советского Союза? Но я спрошу: думали ли в дни Мюнхена рядовые французы, что дружба двух народов, казалось, разъединенная ржой клеветы и недоверия, будет скреплена кровью и станет неодолимой? Присвоение двум французским летчикам высокого звания — не только справедливая награда двум отважным летчикам, это символ дружбы двух великих народов.

Я хочу еще раз напомнить о том, когда именно к нам приехала первая группа летчиков «Нормандия», среди которых были Марсель Альбер и Роллан де ла Пуап. Это было осенью 1942 года. Теперь мы в Венгрии и Восточной Пруссии, а тогда немцы были на Волге и на Кавказе. Решение о создании французской авиачасти, которая должна сражаться в России, было принято незадолго до того — летом 1942 года. Тогда немцы стремительно продвигались на восток. О, разумеется, теперь у Советской России нет недостатка в друзьях, ведь Сталинград позади, все уже проверено и взвешено. За столом победителей всегда тесно. Но мы умеем отличать друзей в беде от людей, пришедших «на огонек» победных салютов. Сражающаяся Франция была с нами в лето и в осень 1942 года — до Балкан, до Немана, до Днепра и до Сталинграда. Тогда-то приехали к нам летчики «Нормандии», и я помню, как с ними я слушал по радио первые сводки нашего зимнего наступления на Дону. Потом «Нормандия» принимала участие в крупнейших операциях у Орла, у Смоленска, у Березины, у Немана. Дело, конечно, не в арифметике: что значила группа даже самых умелых и самых отчаянных летчиков в гигантских битвах, где миллионы столкнулись с миллионами? Дело в дружбе, в том душевном движении, кото-

рое дороже народам всех речей и всех деклараций, дело в этой крови, которая была пролита на русской земле. И никогда Россия не забудет, что французы, летчики «Нормандии», пришли к нам до Сталинграда.

И никогда не забудет Франция, что мы ее оценили и признали до Страсбурга, до Парижа, в те дни, когда многие на свете говорили: «Франция кончена». Не было таких неверящих среди нас. Мы верили во Францию, когда еще не было ни партизан, ни армии. Мы знали, что Франция возродится, что она будет большой и свободной. Мы не экзаменовали Францию, не рядили Марианну в детское платьице, не подвергали ее испытаниям. Мы молоды, но мы знаем историю, мы знаем, например, что такое Вальми. Мы верили во Францию, как мы верили в свободу. И Франция этого не забудет.

Мы радуемся блестящим победам французской армии, освободившей Эльзас. Мы радуемся единству французского народа, его душевному подъему и здравому смыслу, которые сказались еще раз теперь. Я люблю Бельгию, ценю трудолюбие и упорство бельгийцев, преклоняюсь перед смелостью бельгийского народа в годы оккупации. Но Бельгия — маленькая страна, ей нелегко отстоять свою самостоятельность. А Франция — великая держава. У нее были тюремщики, у нее никогда не было опекунов. И французы отбили контратаки «пятой колонны», которая пыталась разбить единство французского народа, тем самым посягая на независимость страны. Мы ничего не хотим от Франции. Мы не стремимся навязать французам наши идеи, наши порядки. Мы жаждем одного: чтобы Франция была Францией. И люди, которые посягают на нашу дружбу,— не французы, это воскресшие Бонне, это «Матен» или «Жё сюи парту», превратившиеся в «устные газеты» парижских салонов, это клеветники, которым немецкие марки дороже французского достоинства. Франция их выметет, как «иллюстрирте» или коробки из-под сигарет, оставленные захватчиками в парижских домах. Франция — это Марсель Альбер и Роллан де ла Пуап, а не те поставщики немцев, которые теперь, прикидываясь патриотами, мечтают о днях Виши или хотя бы, на худой конец, о свинце брюссельских жандармов.

Я верю в крепость нашей дружбы, потому что Герои Советского Союза — это герои Франции, потому что слюна клеветы не смывает крови самопожертвования.

С НОВЫМ ГОДОМ, МОСКВА!

В своей новогодней статье Геббельс пишет о Гитлере: «Он обладает шестым чувством, он знает то, что скрыто от других. Он — немецкое чудо. Все остальное постижимо и понятно, только фюрер непостижим. Если он ходит, слегка наклонив голову, то это объясняется непрерывным изучением карты...»

Я не знаю, что Геббельс называет шестым чувством, очевидно, отсутствие пяти чувств. Гитлер бесспорно видит то, что скрыто от других. Так, например, в 1941 году он видел падение Москвы. В 1942 году он видел полную победу Германии. Он видит то, чего нет, и в других странах таких «ясновидцев» определяют в психиатрическую лечебницу. Я вполне согласен с тем, что фюрер — это немецкое чудо. Но я сделаю прибавку; каждый фриц — это немецкое чудо. Каждый фриц для нас непостижим, ибо мы не понимаем и не можем понять, как существа, внешне сходные с людьми, способны жечь в особых печах грудных младенцев и набивать тюфяки женскими волосами. Однако наиболее любопытны слова Геббельса о некоторой сутулости фюрера. Оказывается, Гитлер перестал подымать вверх голову, потому что он слишком часто смотрит на карту. Надо полагать, что от подобного зрелища Гитлер вскоре согнется в три погибели: ведь карта говорит ему о конце.

Я не стану вспоминать о более далеком прошлом, но всего год тому назад немцы зимовали в Ялте и в Ницце, кутили в Париже, в Белграде, в Риге, стояли у Ленинграда. За один год немцы потеряли одиннадцать европейских столиц и всех своих европейских союзников. Война ступила на землю Германии, и теперь всем ясно, что приближается развязка.

Москва узнала много горя. Москва не забудет тех дней, когда немцы были в Химках. О той осени мы еще поговорим с немцами в Берлине. Москва хранит в памяти скорбные слова: «На Можайском направлении...» За обиду, за тревогу, за тоску, за раны Москвы немцы ответят. Они ответят москвичам. Ведь далеко теперь наши друзья москвичи: в Норвегии, в Будапеште, в Восточной Пруссии. Вдали от родины они вспоминают, кто Арбат, кто Сокольники, кто Пресню. Скоро они пройдут по улицам Берлина: там произойдет серьезный разговор между Москвой и немцами, между судьями и убийцей. 1945-й будет ответом на 1941-й.

Мы не забудем мертвых. Мы помним тех, кто не дрогнул душой в самые черные дни. Мы помним, как поднялась наша Москва, как проходили по улицам отряды ополченцев. Мы знаем, как стойко сражались герои за Москву, как умирали у Вязьмы,и у Можайска, и у Малоярославца, вокруг Тулы, у Дмитрова, умирали, но не отступили. Они умерли, чтобы жила Москва. А Москва — это больше, чем город, ее именем клянутся города, на нее с упованием смотрят народы. Москва была, есть и будет. И теперь Москва идет на Запад, освобождая обиженных, разя обидчиков, наша старая милая Москва.

Впереди еще много испытаний. «Немецкое чудо» еще ходит по земле. Фюрер еще сидит над картой; он даже поднес своим фрицам к Рождеству настоящее эрзацнаступление. Немцы огрызаются. Издыхая, они пойдут на все. Если они убили у Будапешта наших парламентеров, то это потому, что им нечего терять. Они знают, что мы не переведем детоубийц в пенсионеры. Москва не должна успокоиться до срока. Нам мало побед, нам нужна Победа: последняя и окончательная — Берлин. До того мы не успокоимся. От всех нас зависит приблизить развязку. Мы смертельно стосковались по настоящей жизни, по близким, по счастью. Пусть станет 1945 год последним годом Германии! Пусть он станет годом нашего счастья!

С Новым годом, Москва!

ВАРШАВА

Торжество Берлина началось с падения Варшавы. Освобождение Варшавы предвещает скорое падение Берлина.

Красная Армия вместе с польскими войсками освободила город горя и город гордости — славную Варшаву. Мы помним те дни, когда плохо вооруженная, обманутая своими легкомысленными и ничтожными правителями Варшава три недели подряд отражала атаки мощных германских войск; мы помним, как в черные годы она боролась с захватчиками; мы помним подвиги польских партизан и восстание варшавского гетто; мы помним трагедию недавних недель, когда варшавяне, еще раз обманутые тщеславными и безрассудными людьми, умирали за вольность. Варшава кажется мертвой. Но нет, она не умерла, и если она потеряла свои некогда веселые улицы, она сберегла свою душу. Вместе с поляками мы сегодня воскликнем: «Не погибла Польша! Жива и будет жить Варшава!»

Не раз камни польской столицы видали распрю двух братских народов. Да станет это далекой историей! Красная Армия не только прорвала сильную вражескую оборону, она опрокинула стену недоверия и вражды. Молчат клеветники. На кого надеялись эти последние зубры, перекочевавшие из Беловежской пущи в лондонские коттеджи? На краснокрестных швейцарцев? Или на ватиканских швейцаров? Но Варшаву освободили не сотрудники «Католик герольд», а сибирские землепашцы и московские рабочие. Мы не думали помочь братскому народу воздушными поцелуями, даже с шоколадной начинкой. Мы готовились к штурму. Не для себя мы взяли Варшаву — для Польши.

Армия-освободительница делает свое дело. Белград — югославам. Варшава — полякам. А нам? День и ночь мы думаем о другом... Германское информационное бюро вчера заявило: «Война вступила в фазу развязки». На этот раз они не лгут: дело действительно идет к развязке. За несколько дней мы проделали длинный путь. За несколько дней мы взяли Кельце, Радом, Цеханув и Ченстохову. Мы подходим к Верхней Силезии, а нужно ли говорить, что Германия без Верхней Силезии — это людоед без желчного пузыря? Но какой бы город мы ни брали, мы думаем о своем. Мы торопимся в одно место и о нем не забываем ни на минуту. Мы освободили Софию, Белград, Варшаву. Три столицы, три государства. Мы взяли Бухарест. Мы укротили Хельсинки. Мы подметаем последние кварталы Будапешта. Шесть столиц, шесть государств. Но

думаем мы о своем — о седьмой столице, туда рвемся душой, туда идем ногами, едем с танками и с другими необходимыми инструментами. И туда мы скоро придем.

Мертвая Варшава воскреснет. Берлин еще жив. Но теперь ему недолго жить.

ВЕСНА

Берлинский диктор вчера много и весьма поэтично говорил о весне. Он услаждал слушателей следующими размышлениями: «Весна вступила в свои права, и если грустны развалины городов, то рядом с ними зеленеют деревья. Весна — трудное время для людей, чье здоровье подточено годами войны, время болезней, но это также время веселья, надежд, первых цветов. Мы приветствуем приход весны...» Представляю себе, как слушали эти тирады немцы и немки. Насчет развалин, зеленеющих деревьев, лишений и болезней они ведь сами знают. От радио они ждали другого: скромных географических справок — где теперь американские танки, что с Данцигом, куда двигаются русские. Но диктор восхвалял весну. Что же, мы тоже радуемся весне и с несколько бóльшими основаниями, чем немцы: на этот раз весна для нас — весна, на этот раз, не преуменьшая трудностей, мы можем сказать: товарищи, мы заканчиваем дело! Берлинский диктор скромничает, говоря, что весна трудное время для подточенных годами войны. Мы дополним его мысль: эта весна будет для Германии смертельной.

Немцы мечтали скрыться на юге. Теряя исконные немецкие города, Гитлер все же контратаковал в Венгрии. Он хотел кончиться там, где начался: людоед родился в Тироле. У него была последняя надежда: превратить Австрию, Чехию и Баварию в крепость, прикрывшись горами и эсэсовцами, прожить еще год-другой. Он думал об этом долгие месяцы. Его надежды рухнули за несколько дней. Красная Армия пробилась к Моравской Остраве. Красная Армия идет на Вену. А с Запада стремительно движутся танки 3-й американской армии. Они несутся по хорошим немецким дорогам. Они уже в Баварии. Уже нельзя Гитлеру отойти в Мюнхен. Уже немцы в Северной Италии спрашивают себя: «Зачем нам Апеннины?» Уже бегут

из Вены все «пифке» (так зовут австрийцы немцев). Одна неделя решила судьбу многих месяцев. И мы от всего сердца приветствуем весну: что и говорить — вот это весна!

Американские корреспонденты пишут, что танкисты генерала Паттона не успевают брать в плен фрицев. Американцы любят ездить скоро, и теперь они могут воевать по своему вкусу. Они хорошо пробили немецкую оборону, прекрасно переправились через Рейн, а потом покатили. Я не хочу преуменьшать их заслуг: человек гордится своими друзьями и народ своими союзниками. Я не забываю также роли англичан и канадцев, которые сражаются на самом трудном участке — вокруг Рура. Если я напоминаю о нашей роли в деле продвижения американских танков от Люксембурга к городам Баварии, то только потому, что вспоминаю Петушки. Это было в марте 1942 года, и я был в одной из наших частей, которая пыталась взять деревню Петушки. Это может показаться древней историей, ведь у нас теперь есть «венское направление» и «берлинское», мы берем в день десятки городов, а тогда три месяца шли бои за развалины одной деревни между Волоколамском и Ржевом. Теперь союзники осматривают города Вестфалии, Пфальца, Нассау, а тогда немецкие танки готовились к турне по Египту. Тогда немцы были очень сильны, и об этом я хотел напомнить — о героях, погибших в боях за Петушки, о многих могилах на русской земле. Ведь не за развалины Петушков погибли те — они открыли дорогу Красной Армии к Штеттину, к Берлину, к Вене, они открыли дорогу нашим союзникам к Руру, к Касселю, к Нюрнбергу.

Теперь пришла пора закончить все, добить Германию. Людоеды остаются верны себе: во вчерашней сводке, признав потерю немецких городов, маньяк Гитлер пытается подбодрить своих: «Наше орудие возмездия продолжало держать под огнем Лондон». Они издыхают, но, издыхая, еще кусаются. Они кричат: «Мы потеряли Дармштадт и Лимбург, зато мы убили в Лондоне еще несколько женщин». Это последние судороги.

Прежде они убегали из Кельна в Кенигсберг. Потом они ринулись из Кенигсберга в Нюрнберг. Теперь им некуда бежать. Ко многим «котлам», в которых уже погибли миллионы немцев, прибавился новый.

В этом «котле» и Берлин, и Мюнхен, и сам фюрер. Слов нет, «котел» большой, но и огонь не маленький: к лету выкипятят.

Конец Германии ясен всем. Рядом с трагедией, как всегда, разыгрываются фарсы. Аргентинские фашисты решили, пока не поздно, «объявить войну» своим немецким коллегам. Уж не объявят ли Вюртемберг или Баден войну Германии? Мясник Франко, поставленный на место испанского гауляйтера фюрером, собирается объявить войну... Японии. Меня не удивит, если Франко заявит, что его Голубая дивизия на Волхове сражалась за Филиппины... Пособники палачей, видимо, надеются на безграничность человеческой глупости. Они и здесь идут по стопам своих хозяев: на что могут надеяться теперь немцы, как не на глупость других?

Я вовсе не думаю, что все люди умны. Но не так уж много дураков и не так эти дураки сильны. «Мы не допустим повторения истории, 1945-й не 1918-й. Версальского диктанта больше не будет» — так пишет «Фёлькишер беобахтер». Да, 1945-й не 1918-й. Тогда Германия была в приготовительном классе школы народоубийц, теперь она в этой школе профессор. Тогда позади не было Майданека. Тогда были у врагов Германии иллюзии. И тогда с побежденными немцами обошлись, как с детьми. Им продиктовали правила хорошего тона. Их распустили по домам на каникулы. Теперь слово предоставлено оружию, и пушки не «диктуют», пушки не классные наставники. Эсэсовцев не распустят, их соберут и пошлют куда надо. Дело закончится не в Компьене, а в Берлине, и люди будут говорить, а немцы будут слушать, диктанта не будет, будет обвинительный акт, а потом суровый приговор.

ХВАТИТ!

Пал неприступный Кенигсберг, пал через двенадцать часов после заверений берлинского радио, что никогда русским не быть в Кенигсберге. Перо летописца не поспевает за историей. Красная Армия — в центре Вены. Союзные войска подошли к Бремену и Брауншвейгу. Фрицы, застрявшие в Голландии, оттуда не выберутся. Не выберутся и фрицы из Рура. Неделю тому назад немцы говорили о «рубеже Эльбы». Еще недавно Гитлер думал укрыться в Австрии, теперь он

в ужасе смотрит на юг. Трудно перечислить, что он потерял: побережье Балтики от Тильзита до Штеттина, все промышленные районы — Силезию, Саарский округ, Рур, житницы Пруссии и Померании, богатейший Франкфурт, столицу Бадена Карлсруэ, большие города — Кассель, Кельн, Майнц, Мюнстер. Вюрцбург, Ганновер. Американские танкисты начали экскурсию по живописному Гарцу. Вскоре они увидят гору Брокен, на которой, по преданию, водятся ведьмы. Вряд ли это зрелище их удивит: в немецких городах они видели вполне реальных ведьм. Другая американская часть подошла к баварскому городу, который я не раз упоминал в статьях, прельщенный его мелодичным наименованием — к Швейнфурту (в переводе «Свиной брод»).

Бывают агонии, преисполненные величия. Германия погибает жалко — ни пафоса, ни достоинства. Вспомним пышные парады, берлинский «Спортпалас», где столь часто Адольф Гитлер рычал: он завоюет мир. Где он теперь? В какой щели? Он привел Германию к бездне и теперь предпочитает не показываться. Его помощники озабочены одним: как спасти свою шкуру. Американцы нашли золотой запас Германии, брошенный удиравшими бандитами. Что же, немки теряют краденые шубы и ложки, а правители рейха теряют тонны золота. И все бегут, все мечутся, все топчут друг друга, пытаясь пробраться к швейцарской границе. «1918 год не повторится»,— высокомерно заявил Геббельс; это было несколько месяцев тому назад. Теперь немцы не смеют мечтать о повторении 1918 года. И 1918 год не повторится. Тогда во главе Германии стояли политики, пусть тупые, генералы, пусть битые, дипломаты, пусть слабые. Теперь во главе Германии стоят гангстеры, теплая компания уголовников. И видные бандиты не думают о судьбе мелких воришек, которые их окружают, бандиты заняты не будущим Германии, а поддельными паспортами. Им не до переговоров и переворотов: они отращивают бороды и красят шевелюру. Иностранная печать добрый год обсуждала термин «безоговорочной капитуляции». А вопрос не в том, захочет ли Германия капитулировать. Некому капитулировать. Германии нет: есть колоссальная шайка, которая разбегается, когда речь заходит об ответственности. Капитулируют генералы и фрицы, бургомистры и помощники бургомистров,

капитулируют полки и роты, города, улицы, квартиры. А в других ротах, в соседних домах или квартирах бандиты еще упираются, прикрываясь именем Германии. Так закончилась затея невежественных и кровожадных фашистов покорить мир.

«Дойче альгемайне цайтунг» уверяет своих читателей (есть ли еще таковые? Ведь немцам теперь не до газет), будто германские солдаты «с фанатизмом сражаются как против большевиков, так и против американцев». Наши союзники могут посмеяться над этими словами: за один день почти без боев они взяли сорок тысяч немцев. Корреспонденты рассказывают, что американцы в своем продвижении на восток встречают одно препятствие: толпы пленных, которые забивают все дороги. Завидев американцев, немцы воистину с фанатическим упорством сдаются в плен. Пленные движутся без конвоя, и часовые возле лагерей поставлены не для того, чтобы помешать пленным убежать, а затем, чтобы сдающиеся фрицы, врываясь в лагеря, не раздавили бы друг друга. Забыты и бог Вотан, и Ницше, и Адольф Гитлер, он же Шикльгрубер,— сверхчеловеки подбодряют друг друга словами: «Потерпи, приятель, американцы уже близко...»

Зарубежный читатель спросит: почему же немцы с таким упорством пытались отстоять Кюстрин? Почему они яростно дерутся на улицах Вены, окруженные неприязнью венцев? Почему немцы отчаянно защищали Кенигсберг, отделенный сотнями километров от фронта на Одере? Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно вспомнить страшные раны России, о которых многие не хотят знать и которые многие хотят забыть.

1 апреля 1944 года немцы убили 86 жителей французского поселка Аск. Немецкий офицер, руководивший убийством, когда его запросили о причинах расстрела, объяснил, что «по ошибке он применил приказ, относившийся к оккупированной советской территории». Я не преуменьшаю мучений, пережитых Францией; я люблю французский народ и понимаю его горе. Но пусть все задумаются над словами людоедов. Генерал де Голль недавно поехал на пепелище деревни Орадур, всех жителей которой немцы убили. Таких деревень во Франции четыре. Сколько таких деревень в Белоруссии?

Я напомню о селах Ленинградской области, где немцы жгли избы с людьми. Я напомню о дороге

Гжатск — Вильно: о том, как тщательно, аккуратно солдаты германской армии, не гестаповцы, даже не эсэсовцы, нет, самые обыкновенные фрицы жгли Орел, Смоленск, Витебск, Полтаву, сотни других городов. Когда немцы убили несколько английских военнопленных, зарубежные газеты справедливо писали о неслыханном варварстве. Сколько советских военнопленных немцы расстреляли, повесили, замучили голодной смертью? Если есть у мира совесть, мир должен покрыться трауром, глядя на горе Белоруссии. Ведь редко встретишь белоруса, у которого немцы не загубили близких. А Ленинград? Разве можно спокойно думать о трагедии, пережитой Ленинградом? Кто такое забудет, не человек, а дрянной мотылек.

Когда-то беда одного обиженного потрясала совесть человечества. Так было с делом Дрейфуса: одного невинного еврея осудили на заточение в крепость, и это возмутило мир, негодовал Эмиль Золя, выступали Анатоль Франс, Мирбо, а с ними лучшие умы всей Европы. Гитлеровцы убили у нас не одного, а миллионы невинных евреев. И нашлись люди на Западе, которые упрекают наши сухие, скромные отчеты в «преувеличении». Я хотел бы, чтобы до конца их дней зарубежным умиротворителям снились бы дети в наших ярах, полуживые, с раздробленными телами, зовущие перед смертью своих матерей.

Горе нашей Родины, горе всех сирот, наше горе — ты с нами в эти дни побед, ты раздуваешь огонь непримиримости, ты будишь совесть спящих, ты кидаешь тень, тень изуродованной березы, тень виселицы, тень плачущей матери на весну мира. Я стараюсь сдержать себя, я стараюсь говорить как можно тише, как можно строже, но у меня нет слов. Нет у меня слов, чтобы еще раз напомнить миру о том, что сделали немцы с моей землей. Может быть, лучше повторить одни названия: Бабий Яр, Тростянец, Керчь, Понары, Бельжец. Может быть, лучше привести холодные цифры. В одном соединении опросили 2103 человека. Вот статистика крови и слез:

Погибло на фронтах родственников — 1288.
Расстреляно и повешено жен, детей, родных — 532.
Насильно отправлено в Германию — 393.
Родственники подверглись избиению — 222.
Разграблены и уничтожены хозяйства — 314.
Сожжены дома — 502.

Отобраны коровы, лошади, мелкий скот — 630.

Родственники вернулись с фронта инвалидами — 201.

Лично подверглись избиению на оккупированной территории — 161.

Получили ранения на фронтах — 1268.

Но если цифры потеряли власть над сердцами, спросите четырех танкистов, почему они торопятся в Берлин. Лейтенант Вдовиченко расскажет, как немцы в селе Петровка нашли его фотографию; они пытали сестру лейтенанта Аню каленым железом — «где русский офицер?», потом привязали крохотную Аллочку к двум дубочкам и разорвали ребенка на две части, мать должна была глядеть. Сержант Целовальников ответит, что немцы в Краснодаре удушили отца, мать, сестер. Все родные сержанта Шандлера были сожжены немцами в Велиже. Семья старшины Смирнова погибла в Пушкине во время оккупации. Это судьба четырех танкистов, которые вместе воюют. Таких миллионы. Вот почему немцы так страшатся нас. Вот почему легче взять десять городов в Вестфалии, чем одну деревню на Одере. Вот почему Гитлер, вопреки всем доводам разума, шлет свои последние дивизии на Восток.

На Западе немцы говорят: «Чур-чура», они, дескать, больше не играют. Они ведь не были в Америке. О, разумеется, три года тому назад один наглый фриц при мне говорил моему американскому другу Леланду Стоу: «Мы придем и в Америку, хотя это далеко». Но от намерений не горят города и не умирают дети. Нахальные немцы держатся с американцами как некая нейтральная держава. Английские и американские корреспонденты приводят десятки живописных примеров. Я остановлюсь прежде всего на именитом экземпляре: на архиепископе Мюнстера Галене. Он бесспорно знает, что в Америке проживает фюрер немецких католиков Брюнинг, окруженный всемерными заботами. И архиепископ спешит заверить: «Я тоже против наци». Засим архиепископ излагает программу: а) немцы против иностранцев; б) союзники должны загладить ущерб, причиненный немцам воздушными бомбардировками; в) Советский Союз — враг Германии, и нельзя пускать в Германию русских; г) если предшествующее будет выполнено, то «лет через 65 установится в Европе мир». Остается добавить, что католические газеты Америки и Англии вполне удовлетворены созида-

тельной программой этого архидуховного людоеда. Перейдем к мирянам, эти не лучше.

Корреспондент «Дейли геральд» описывает, как в одном городке жители обратились к союзникам «с просьбой помочь поймать убежавших русских военнопленных». Все английские газеты сообщают, что в Оснобрюкене союзники оставили на своем посту гитлеровского полицейского; этот последний поджег дом, в котором находились русские женщины. Корреспондент «Дейли телеграф» пишет, что немецкий фермер требовал: «Русские рабочие должны остаться, иначе я не смогу приступить к весенним работам». Причем английский журналист спешит добавить, что он вполне согласен с доводами рабовладельца. Он не одинок: военные власти выпускали листовку на пяти языках, приглашая освобожденных рабов вернуться на фермы к своим рабовладельцам, «чтобы произвести весенние полевые работы».

Почему немцы на Одере не похожи на немцев на Везере? Потому что никто не может себе представить следующей картины: в занятом Красной Армией городе гитлеровский полицейский, оставленный на своем посту, сжигает американцев, или немцы обращаются к красноармейцам с просьбой помочь им поймать убежавших английских военнопленных, или немцы обращаются к русским с просьбой оставить им на месяц-другой французских рабов, или Илья Эренбург пишет, что «необходимо оставить на немецких фермах голландских рабочих, дабы не расшатывать земледелия Померании». Нет, людоеды не ищут у нас талонов на человечину, рабовладельцы не надеются получить у нас рабов, фашисты не видят на Востоке покровителей. И поэтому Кенигсберг мы взяли не по телефону. И поэтому Вену мы берем не фотоаппаратами.

Сегодня союзники сообщают, что их танки подходят к границам Саксонии. У восточных границ Саксонии стоят части Красной Армии. Мы знаем, что нам придется прорывать немецкую оборону: бандиты будут отбиваться. Но Красная Армия привыкла разговаривать с немцами оружием: так мы с ними и договорим наш разговор. Мы настаиваем на нашей роли не потому, что мы честолюбивы: слишком много крови на лаврах. Мы настаиваем на нашей роли потому, что приближается час последнего суда, и кровь героев, совесть Советской России вопиет:

прикройте бесстыдную наготу архиепископа Мюнстера! Гитлеровских полицейских посадите под замок до того, как они совершат новые злодеяния! Немцев, которые «ловят русских», образумьте, пока не поздно — пока русские не начали ловить их! Рабовладельцев пошлите на работу, пусть гнут свои наглые спины! Добивайтесь настоящего мира не через 65 лет, а теперь, и не мюнхенски-мюнстерского, а честного, человеческого.

В нашем возмущении с нами все народы, узнавшие пяту немецких захватчиков,— поляки и югославы, чехо-словаки и французы, бельгийцы и норвежцы. Одним было горше, чем другим, но всем было горько, и все хотят одного: укротить Германию. С нами солдаты Америки, Великобритании, которые видят теперь жестокость и гнусность гитлеровцев. Корреспондент «Ассошиэйтед пресс» пишет, что солдаты 2-й танковой дивизии, увидев, как немцы мучили русских военнопленных и еврейских девушек, сказали: «Самое худшее, что мы можем сделать с немцами, будет слишком хорошо для них». А в другом немецком лагере, собрав немцев перед трупами людей всех национальностей, американский полковник сказал: «За это мы будем вас ненавидеть до конца наших дней».

Близится день нашей встречи с нашими друзьями. Мы придем на эту встречу гордые и радостные. Мы крепко пожмем руки американскому, английскому и французскому солдатам. Мы всем скажем: довольно. Немцы сами себя назвали оборотнями. Но облава будет настоящая. Друзей архиепископа Галена, леди Гибб, Дороти Томпсон и прочих покровителей душегубов просят не беспокоиться. Оборотней не будет: теперь не восемнадцатый год, хватит! И на этот раз они не обернутся и не вернутся.

27 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

Легко сейчас писать, легче, чем в октябре сорок первого: ведь если горе молчаливо, то радость не скупится на слова. А в наших сердцах великая радость — трагедия XX века подходит к концу: мы в Берлине!

Это началось с малого — горел рейхстаг, подожженный фашистами. Это кончается на том же месте — пожаром Берлина.

Медленно шагает справедливость, извилисты ее пути. Нужны были годы жестоких испытаний, пепел Варшавы, Роттердама, Смоленска, чтобы поджигатели наконец-то узнали возмездие.

Есть нечто тупое и отвратительное в конце третьего рейха: чванливые надписи на стенах и белые тряпки, истошные вопли гауляйтеров и подобострастные улыбки, волки-оборотни с ножами и волки в овечьих шкурах. Напрасно гангстеры, недавно правившие чуть ли не всей Европой, именовали себя «министрами» или «фельдмаршалами», они оставались и остаются гангстерами. Не о сохранении немецких городов они думают, а о своей шкуре: каждый час их жизни оплачивается жизнями тысяч их соотечественников. Но ничто уже не в силах отодвинуть развязку. Гитлеровская Германия расползается, как гнилая ткань. Союзники стремительно продвигаются по Баварии к Берхтесгадену, к убежищу отшельника-людоеда. Тем временем Красная Армия в Саксонии и на улицах Берлина уничтожает последние армии Гитлера. Если Германия не капитулирует, то только потому, что некому капитулировать: главари озабочены своим спасением, а обыватели, брошенные на произвол судьбы, способны сдать лишь свой дом, в лучшем случае свой переулок.

Справедливо, закономерно, человечно, что именно Красная Армия укрощает Берлин: мы начали разгром гитлеровской Германии — мы его кончаем. Мы начали на Волге, и мы кончаем на Шпрее. Может быть, когда бои шли в неведомых иностранцам местах — в Касторном, или в Корсуни, или в Синявине, мир еще не понимал, чем он обязан Красной Армии. Теперь и слепые видят, чьи ноги прошли от Сальских степей до Эльбы, чьи руки разбили броню Германии.

На улицы Берлина пришли воины, много испытавшие. Иные уже пролили свою кровь на родной земле; как Антей, они приподнялись и пришли в Берлин. С ними пришли и тени павших героев. Вспомним все: зной первого лета, лязг вражеских танков и скрип крестьянских телег. Вспомним степи сорок второго, горький дух полыни и сжатые зубы. Вспомним клятву тех лет: выстоять! Мы пришли в Берлин, потому что крепкие советские люди, когда судьба искушала их малодушным спасением, умирали, но не сдавались. Мир теперь видит сияющее лицо победы, но пусть мир помнит, как рождалась эта победа: в русской крови, на русской земле.

Красная Армия идет по улицам Берлина. Уже недалеко до Бранденбургских ворот и «Аллеи побед». Возвысимся на минуту над событиями часа, задумаемся над значением происходящего. С тех пор как Берлин стал столицей хищной империи, ни один чужестранный солдат не проходил по его улицам. Расчет был прост: немцы воевали на чужой земле. Они сжали горло крохотной Дании. Они повалили Австро-Венгрию. Потом они затеяли первую мировую войну и, проиграв ее, но не уплатив проигрыша, стали готовиться ко второй. Если в Нюрнберге, в Веймаре, в Дрездене есть старые памятники подлинного величия немецкого духа, то Берлин — это памятник заносчивости прусских генералов...

Мы в Берлине: конец прусской военщине, конец разбойным набегам! Если все свободолюбивые народы могут теперь за длинным столом Сан-Франциско в безопасности говорить о международной безопасности, то это потому, что русский пехотинец, хлебнувший горя где-нибудь на Дону или у Великих Лук, углем пометил под укрощенной валькирией: «Я в Берлине. Сидоров».

Мы в Берлине: конец фашизму! Я помню, как много лет назад на улицах вокруг Александерплац упражнялись в стрельбе молодые людоеды: они стреляли тогда в строптивых сограждан. Потом они прошли по Праге, по Парижу, по Киеву. Теперь они расстреливают свои последние патроны на тех же улицах. Один английский журналист пишет: «Когда нам говорили о немецких зверствах, мы считали это преувеличением. В Бухенвальде, в Орадуре мы поняли, на что способны нацисты...» Что к этому добавить? Да, может быть, одно: что Бухенвальд или Орадур — это миниатюрные макеты Майданека, Треблинки, Освенцима. Я знаю, что горе нельзя измерить цифрами, и все же я приведу одну цифру — в Освенциме заснят кинооператорами склад: шесть тонн женских волос, срезанных с замученных. Мир видит, от какой судьбы мы спасли женщин всех стран, наших далеких сестер из Гаскони, Шотландии, Огайо.

Страшная цепь! Мирный Берлин наслаждался невинными забавами: бюргер, покупая ботинки, требовал, чтобы предварительно поглядели с помощью радиоскопии, хорошо ли сидит на нем обувь. Потом он шел в ресторан и, прежде чем проглотить бифштекс,

справлялся, сколько в нем калорий — четыреста или пятьсот. А в соседнем доме специалисты чертили планы печей Майданека, Освенцима, Бухенвальда. И вот цифра: шесть тонн женских волос... Что было бы с детьми канадского фермера и австралийского пастуха, если бы товарищ Сидоров не дошел до Берлина?

Мы никогда не были расистами. Руководитель нашего государства сказал миру: не за то волка бьют, что он сер, а за то, что он овцу съел. Победители, мы не говорим о масти волка. Но об овцах мы говорим и будем говорить: это длиннее, чем жизнь, это — горе каждого из нас.

Я еще раз хочу напомнить, что никогда и не думал о низкой мести. В самые страшные дни, когда враг топтал нашу землю, я знал, что не опустится наш боец до расправы. «Мы не мечтаем о мести. Ведь никогда советские люди не уподобятся фашистам, не станут пытать детей или мучить раненых. Мы ищем другого: только справедливость способна смягчить нашу боль. Мы хотим уничтожить фашистов: этого требует справедливость... Если немецкий солдат опустит оружие и сдастся в плен, мы его не тронем, он будет жить. Может быть, грядущая Германия его перевоспитает, сделает из тупого убийцы труженика и человека. Пускай об этом думают немецкие педагоги. Мы думаем о другом: о нашей земле, о нашем труде, о наших семьях. Мы научились ненавидеть, потому что мы научились любить».

Когда я писал это, немцы были в Ржеве. Я повторю это и теперь, когда мы в Берлине. Много говорили о ключах страшного города. Мы вошли в него без ключей. А может быть, был ключ у каждого бойца в сердце: большая любовь и большая ненависть. Издавна говорят, что победители великодушны. Если можно в чем-то упрекнуть наш народ, то только не в недостатке великодушия. Мы не воюем с безоружными, не мстим неповинным. Но мы помним обо всем, и не остыла и не остынет наша ненависть к палачам Майданека, к вешателям и поджигателям. Скорее отрублю свою руку, чем напишу о прощении злодеев, которые закапывали в землю живых детей, и я знаю, что так думают, так чувствуют все граждане нашей Родины, все честные люди мира.

Мы в Берлине: конец затемнению века, затемнению стран, совести, сознания. Берлин был символом зла,

гнездом смерти, питомником насилия. Из Берлина налетали хищники на Гернику, на Мадрид, на Барселону. Из Берлина двинулись колонны, растоптавшие сады Франции, искалечившие древности Греции, терзавшие Норвегию и Югославию, Польшу и Голландию. Придя в Берлин, мы спасли не только нашу страну, мы спасли культуру. Если суждено Англии породить нового Шекспира, если будет во Франции новый Делакруа, если воплотятся мечты лучших умов человечества о золотом веке, то это потому, что Сидоров сейчас ступает по улицам Берлина, мимо пивнушек и казарм, мимо застенков, мимо тех мастерских, где плели из волос мучениц усовершенствованные гамаки.

Прислушиваясь к грому орудий, который каждый вечер заполняет улицы нашей столицы, вспомним тишину трудного июньского утра. Отступая среди пылавших сел Белоруссии и Смоленщины, мы знали, что будем в Берлине. Как много можно об этом говорить, а может быть, и не нужны здесь слова, кроме одного: Берлин, Берлин! Это было самое темное слово, и оно сейчас для нас прекраснее всех: там, среди развалин и пожаров города, откуда пришла война, рождается счастье — Родины, ребенка, мира.

ПОБЕДА ЧЕЛОВЕКА

Сквозь слезы счастья израненная земля улыбается весне. Улыбается человек. Он был на краю гибели. Не будем преуменьшать пережитую опасность: враг был очень силен, ожесточенно сражался и сдался он только тогда, когда не мог не сдаться. Если мы победили такого врага, если прошли от Волги до Эльбы, то не потому, что нам было легко идти. Нет, мы прошли потому, что правда сильнее лжи.

Представитель германского командования на вопрос, согласен ли он капитулировать, ответил: «Да!» Он ответил «да» 8 мая 1945 года... Несколько иначе он думал в 1941 или в 1942 году. Последний разговор произошел в Берлине, уже покоренном Красной Армией: дело решило оружие. Много писали о ключах Берлина. Мы ворвались в этот город без ключей. А может быть, был ключ у каждого из нас: большая любовь и большая ненависть. Мы поняли, что должны прийти в Берлин, давно — когда увидели первого ре-

бенка, убитого фашистами. Мы знали, что гитлеровская Германия сдастся, когда у нее не будет больше выбора, и мы решили лишить ее выбора. Мы решили это в тот самый час, когда услышали заносчивые крики захватчиков, которые клялись стереть с лица земли Россию. Медленно шагает справедливость, извилисты, порой непонятны ее пути. Но час настал и справедливость восторжествовала.

В эфире носятся песни, возгласы радости и слово «свобода» на сорока языках. В нашей славной Москве, в Лондоне у Трафальгар-сквер, в Париже на Елисейских полях, в Нью-Йорке и в милой Праге на Вацлавском наместье, и в израненной, но живой Варшаве. и в воскресшем Загребе, и в Милане, который показал свою душу, достойно наказав дуче, и в Осло у статуи Ибсена, и в Брюсселе перед древней ратушей,— повсюду люди празднуют победу. Народы Европы узнали всю меру горя, всю глубину унижения. Они жили без воздуха и без света. И правильно сказал один норвежец: «Мне радостно и больно глядеть на солнце, потому что я вышел из могилы...»

Хуже могилы был «новый порядок» Гитлера. Может быть, наши внуки удивятся, прочитав об этих страшных годах. Они спросят: правда ли, что миллионы людей были вырваны из земли, как деревья, а другие миллионы убиты, правда ли, что палачи отбирали людей иного происхождения и душили их газами, правда ли, что существовало государство, где к человеку подходили как к племенному быку, что это государство поработило десять других государств, что его ученые изобретали усовершенствованные способы умерщвления детей и стариков, что пеплом сожженных девушек удобряли огороды тюремщиков, а из волос мучениц изготовляли гамаки, из кожи убитых делали переплеты и абажуры? Мы не станем гадать, было ли это, мы помним все и, даже если хотели бы забыть, не смогли,— ведь было это на нашей земле и с нашими близкими. Это было также и в других странах, и понятно, что все народы проклинают годы гнета, что все народы благословляют наш народ.

Я не хочу преуменьшать роли наших доблестных союзников, они по праву заняли свое место за столом победителей. Мы знаем, как стойко вели себя жители Лондона, как доблестно сражались солдаты Великобритании и в Ливии, и в Италии, и в Голландии. Мы

ценим силу и смелость народа Америки. Мы помним, что подлинная Франция не сложила оружия и что ее солдаты прошли от Бир-Хакейма до Ульма. У нас были боевые друзья. И все же весь мир видит в нашем народе освободителя. Дело не в том, что у нас много земли,—земля велика; дело в том, что много, очень много могил на советской земле; на этой земле был дан великий бой врагу, и не в Африке, и не на другом месте дрогнул колосс германской армии, а на маленьком отрезке земли—у Сталинграда. Дело не в том, что нас много,—на свете много людей; тяжбу между правдой и ложью решила не арифметика; дело в природе советского человека.

У статуи Самофракийской победы нет лица: оно погибло; и лицо заменяют движение тела, крылья. У нашей победы есть лицо; это лицо простое и одухотворенное, живое, человеческое лицо. Тот, кто хочет понять, как люди победили фашизм, должен разглядеть лицо нашей победы. 1945 год нельзя понять, не вспомнив 1941 год. Те черные дни были истоком нашего счастья. К тому времени Германия овладела многими странами, обратила многие народы в рабство, и мощная, хорошо вооруженная, тщательно подготовленная к нападению, решила сокрушить Советский Союз. Мы победили потому, что выстояли; мы победили потому, что немцы двигались на восток, завязая в трупах своих однополчан, потому, что боец шел с бутылкой против танка, девушка, жертвуя молодой своей жизнью, поджигала военный склад, десять артиллеристов задерживали на день армию противника, раненые не уходили с поля боя, пехотинцы, когда кончались патроны, били прикладом, прикрывали собой амбразуру дотов, летчики—таранили врага, а радисты передавали: «Огонь на меня». Мы победили потому, что народ жил одним: той победой, которая теперь стала поцелуями, надрезанным хлебом, огнями в окнах и огнями глаз. Мы победили потому, что машинисты вели по трое суток эшелоны без отдыха, потому, что рабочие, выгрузив где-то на пустырях станки, тотчас становились на работу; женщины подымали тяжелые бруски и, оставшись без мужей, в селах кормили фронт; и четыре года люди не хотели думать ни о чем другом, как о победе. И если спросит чужестранец, как смог наш народ вынести такое, мы ответим: не в «крови» суть, не в колдовстве, есть

объяснение — у нас много народов и один народ, называем мы его советским. В этом разгадка. Он победил потому, что был движим высокими чувствами, любовью к правде, потому что зверства гитлеровцев глубоко возмутили его совесть, потому что Человек не мог вытерпеть подобного попрания человеческого достоинства.

Мы выиграли войну потому, что мы ненавидели захватническую войну и хотели уничтожить ее носителей, ее вдохновителей, ее приверженцев.

Мы поставили на колени гитлеровскую Германию, потому что мы были народом скромным и никого не хотели унижать, покорять и умалять. Боец прошел от Кавказа до Берлина и вошел в Берлин, потому что он верил в книгу, а не в Фау; и учитель из Пензы, который теперь — комендант одного из саксонских городов, не кричал, что Пушкин — это хорошо, а Гете — это плохо, он гордился тем, что Пушкин любил Гете. Скромность и справедливость оказались сильнее спеси. Когда мы увидели на нашей земле захватчиков, мы были одни. Англичане тогда еще были у себя на острове. Америка тогда еще не вступила в бой. Франция была повержена. А у Германии в те дни было очень много «союзников». Эти «союзники» потом хорошо рассчитались с немецкими фашистами — в Софии и в Милане, в Братиславе, в Загребе. Мы победили, потому что наш Союз — это действительно союз народов, и нет в нашей стране людей высшей и низшей расы. И мы разбили изумительную военную машину Германии, потому что машина без человека — это лом и только лом; нельзя заменить сознание техникой. На нашей стороне было то человеческое дерзание, которое древние выразили в легенде о Прометее: мы несли факел века, его-то мы отстояли от тьмы.

Победила коалиция свободных народов. Впереди шел наш народ, и в этом порука, что победа не останется только событием военной истории, что в Европе восторжествуют начала свободы и братства. Если бы наша победа была лишь победой одного из государств, ей бы так не радовались другие народы. А когда передают по радио манифестации в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, я все время слышу слово: «Сталин! Сталин!» Почему же лондонские студенты, парижские рабочие и клерки Нью-Йорка радуются, что победил Сталин? Они видят в этом спасение своих детей от

новых Майданеков, от новых Фау, от реванша германской военщины, от рецидива фашистского бешенства, от крови и слез страшного пятилетия. И я не знаю, что показательнее — радость народов или дрожь мадридского палача Франко, который видит, что пепел Герники стал пеплом Берлина и что пигмеям фашизма не устоять после крушения фашистского колосса.

Начинается новый день мира. Нелегким он будет: слишком много пережито. Могилы зарастут травой, но в сердцах останется зияние: не забыть погибших. Трудно будет отстроить города, юношам трудно будет наверстать потерянное. И все же какое это радостное утро! Ведь спасено главное: право дышать не по фашистской указке, право не склонять голову перед «высшей расой», право быть человеком; спасено кровью, пóтом, отвагой советского народа. Отгремел последний выстрел. В непривычной тишине можно услышать, как летит жаворонок, как дышит ребенок... И сквозь слезы улыбается земля — победе Человека.

Комментарии

Пятый том Собрания сочинений Ильи Эренбурга составляют проза и публицистика периода второй мировой войны.

С начала Великой Отечественной войны, после двухлетнего вынужденного молчания (в мае 1939 года, когда уже намечался сталинско-гитлеровский сговор, Эренбургу было отказано в журналистской работе), антифашистские выступления писателя получили не только общесоюзную, но и мировую трибуну. Крупнейшие агентства распространяли его статьи, их печатали подпольно на оккупированных территориях, передавали по радио; роман «Падение Парижа» и сборники военных статей писателя были изданы во многих странах. В те годы Эренбург, несомненно, стал первым публицистом антифашистской коалиции. «С тех пор, как я впервые увидел военные статьи Ильи Эренбурга, я читаю их с всё возрастающим восхищением,— писал Джон Б. Пристли в предисловии к книге Эренбурга «Россия в войне» (Лондон, 1943).—Эти военные статьи, как мне кажется,— лучшее, что могут дать в этом плане Объединенные Нации».

Написанное Эренбургом за годы войны составляет несколько полновесных томов. Для настоящего издания отобраны наиболее характерные образцы его военной публицистики, без которых представление о литературном пути писателя немыслимо.

ПАДЕНИЕ ПАРИЖА

«Падением Парижа» открывается цикл панорамных политических романов Эренбурга (в него входят также «Буря» (1946—1947) и «Девятый вал» (1950—1952). Впервые Эренбург, автор по преимуществу лирической и сатирической прозы, писал романы, в которых политические события были не только содержанием, но и основой динамики сюжета.

Картина жизни в них мозаична благодаря массе героев, представляющих различные социальные слои и политические силы, и «кинематографическому» монтажу. Из трех названных романов «Падение Парижа» географически самый локальный (в нем описана Франция 1936—1940 годов), наименее подверженный внутренней цензуре (она сказывается лишь в части сюжета, связанной с советско-

германским пактом и деятельностью французских коммунистов) и художественно наиболее удачный.

Эренбург прожил во Франции много лет, превосходно знал страну, ее историю и культуру, жизнь ее художественной и литературной богемы, парламентские кулисы, прессу и деятельность политических партий. Он был не только свидетелем многих событий общественной и политической жизни Франции 20—30-х годов, но и участвовал как антифашист и популярный за рубежом писатель в сплочении левых интеллектуалов Запада (недаром на него было собрано большое полицейское досье). Опыт журналистской и писательской работы подготовил Эренбурга к тому, чтобы написать роман-хронику крушения Франции. Время, предшествовавшее написанию романа, было для писателя трудным. После поражения испанской республики он жил в Париже — впервые за долгие годы — без дела. Эренбург очень тяжело пережил известие о советско-германском пакте. Самая мысль об альянсе СССР и гитлеровской Германии была для него непереносима: этот альянс уничтожал основу его деятельности 30-х годов, которую Эренбург формулировал так: «Главное сейчас — разбить фашизм». Приходится лишь гадать, насколько мрачным представлялось Эренбургу будущее зимой 1939 — 1940 годов: был ли он уверен в непрочности сговора двух диктаторов? Не возникал ли перед ним применительно к собственной судьбе образ несчастного Лазика, которому нет места на земле?.. Отлучение от газетной работы, по счастью, избавляло его от необходимости публично высказывать поддержку линии Сталина, но, оставаясь подданным своей страны, Эренбург, понятно, не мог позволить себе открыто выражать критическое отношение к ее политике и для многих своих французских знакомых стал представителем враждебного государства. «Я ослаб, быстро уставал, не мог работать,— вспоминал Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь».— В ту зиму мало кто к нам приходил: некоторые из былых друзей считали, что я предал Францию, другие боялись полиции — за мною следили». Когда Гитлер напал на Францию, Эренбург попытался помочь французам получить советские самолеты; противники этой операции добились ареста писателя, он уцелел чудом (об этом можно прочесть в некогда знаменитой эпопее Луи Арагона «Коммунисты»).

«В июньские дни 1940 года я был единственным писателем (говорю не только об иностранных, но и о французских), который остался в Париже и увидел все происшедшее там» (из интервью Эренбурга «Вечерней Москве» 15 мая 1941 г.). Катастрофа Франции — горькое испытание для Эренбурга — не могла быть последним актом европейской трагедии. Не только политические и военные резоны, но даже разговоры немецких солдат на парижских улицах приводили Эренбурга к выводу: нападение Германии на СССР неминуемо. При всей тяжести этого вывода в нем была та ясность, которая давала писателю психологический выход из тупика, возвращала ему «место в боевом порядке».

Замысел романа возник у Эренбурга еще во Франции. (С этим преимущественно была связана и июльская поездка писателя на юг страны, в неоккупированную зону, что помогло ему написать ряд

глав третьей книги романа). Вернувшись 29 июля 1940 года в Москву, Эренбург был готов приняться за эту большую работу. На что мог рассчитывать в то время писатель? На поддержку руководства страны, где само слово «фашизм» было исключено из политического словаря? Эренбург понимал значение информации, которую он привез из Франции, и по возвращении сразу же написал Молотову. Однако Молотов его не принял, а его заместитель Лозовский мог только развести руками. «Я еще не знал, что вата для ушей — необходимый атрибут власти»,— напишет об этом Эренбург годы спустя. Игнорировали Эренбурга и в Союзе писателей (инерция слуха, пущенного «братьями писателями» об Эренбурге-невозвращенце, продолжала работать). Вообще контраст между поверженной Европой и внешне беспечной Москвой 1940 года стал новым испытанием для писателя. Н. Я. Мандельштам вспоминала: «Я была поражена переменой, происшедшей с Эренбургом,— ни тени иронии, исчезла вся жовиальность. Он был в отчаяньи: Европа рухнула, мир обезумел, в Париже хозяйничают фашисты... В новом для него и безумном мире Эренбург стал другим человеком» (Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1990, с. 390). В таком состоянии, вопреки всему, Эренбург приступил к реализации замысла романа.

В августе 1940 года были написаны два цикла очерков — «Разгром Франции» и «Падение Парижа» (их удалось напечатать в «Труде» и «Огоньке»), писались стихи. При этом Эренбург все время думал о романе; в авторском предисловии к огоньковским очеркам говорилось: «Читатели легко поймут, что о многом еще не пришло время говорить, и они простят мне паузы. Я подготовляю роман о жизни Франции в годы, предшествовавшие войне, и в годы войны; там, может быть, мне удастся сказать многое подробнее, точнее, убедительнее» (Огонек, № 24, 30 августа 1940, с. 2).

Как отмечено в записной книжке Эренбурга, 15 сентября он начал писать роман в трех частях (первая — 1936 год, эйфория Народного фронта; вторая — 1938 год, раскол Народного фронта, Мюнхенское соглашение с Гитлером; третья — 1939—1940 годы, война, поражение Франции). Первая часть была завершена в декабре 1940 года, и рукопись отдана в «Знамя», где печатались последние вещи Эренбурга. Ее фрагменты появились уже в декабре 1940 года в журнале «30 дней». Между завершением первой части и началом работы над второй был перерыв в 2—3 недели. Именно тогда была написана «Смерть Жаннет», ставшая 28-й и 31-й главами третьей части (ее напечатали в «Огоньке» 5 марта 1941 года, еще до выхода в свет третьего номера «Знамени», где должно было быть опубликовано начало романа).

25 января 1941 года Эренбургу вручили список купюр первой части (вычеркивались «фашисты», «Гитлер» и т. п.), а 27 января, в день его пятидесятилетия, редакция «Знамени» получила разрешение печатать «Падение Парижа».

Вторую часть романа Эренбург писал с 11 января по 17 марта 1941 года, а 18 марта уже составлял подробный план третьей. В это же время писатель начал выступать в московских клубах с чтением глав нового романа. По Москве пошли слухи, особенно после того, как Эренбург не допустил присутствия в зале гитлеровского дип-

ломата: 20 апреля журнальную публикацию второй части «Падения Парижа» запретили. Эренбург тем не менее продолжал работать над третьей частью. 24 апреля он писал 12-ю главу, когда в его квартире раздался звонок Сталина. В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург вспоминал: «Сталин сказал, что прочел начало моего романа, нашел его интересным... Сталин спросил меня, собираюсь ли я показать немецких фашистов. Я ответил, что в последней части романа, над которой работаю,— война, вторжение гитлеровцев во Францию, первые недели оккупации. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части,— ведь мне не позволяют даже по отношению к французам, даже в диалоге употреблять слово «фашисты». Сталин пошутил: «А вы пишите, мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть». Эренбург рассказывает, что на расспросы близких он ответил: «Скоро война», и продолжает: «Я сразу понял, что дело не в литературе; Сталин знает, что о таком звонке будут говорить повсюду,— хотел предупредить».

«Телефонные звонки Сталина! Раз в год или два по Москве проходил слух: Сталин позвонил по телефону кинорежиссеру Довженко, Сталин позвонил по телефону писателю Эренбургу. Ему не нужно было приказывать — дайте такому-то премию, дайте квартиру, постройте для него научный институт! Он был слишком велик, чтобы говорить об этом. Все это делали его помощники, они угадывали его желание в выражении его глаз, в интонации голоса. А ему достаточно было добродушно усмехнуться человеку, и судьба человека менялась...» (Гроссман Вас. Жизнь и судьба. М., 1989, с. 574—575). Гроссман рассуждает о сталинских звонках лишь с точки зрения жизни и судьбы собеседников диктатора и в случае с Эренбургом это имело место: 25 апреля разрешили печатать вторую часть; 29 апреля Эренбурга принял полгода скрывавшийся от него секретарь СП Фадеев; 30 апреля вышел в свет задержанный в производстве сборник стихов «Верность»; начиная с 11 мая «Труд», «Красная звезда», «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва» начали печатать отрывки из романа, одновременно «Известия», «Литгазета», «Московский большевик», а следом и «Ленинградская правда» и харьковское «Знамя» опубликовали восторженные рецензии на первую часть «Падения Парижа», в которых пересказ ее содержания сопровождался выражением надежды на скорейшее продолжение столь нужной народу книги; наконец, 16 мая шестой номер «Знамени» со второй частью романа был подписан к печати.

21 июня 1941 года Эренбург закончил 37-ю главу третьей части, а со следующего дня ему пришлось оставить роман — начавшаяся война вернула писателя к публицистике (в его записной книжке после 21 июня перечисляются написанные для СССР и заграницы статьи, а упоминаний о работе над романом нет). В изданиях «Падения Парижа» 1942—1959 годов стоят даты его написания: «Август 1940 — июль 1941» (исключение — роман-газета М., 1942, где окончание книги датируется июнем 1941 г.). Но к вопросам датировки своих вещей Эренбург относился достаточно произвольно. Возможно, автор решил, что роман можно считать законченным и передал 37 глав в «Знамя» (заметим попутно, что окончательная редакция романа завершается теми же словами, что и 37-я глава).

Третью часть набирали для журнала в сентябре — октябре 1941 года. Немцы подошли к Москве, в городе началась паника. Эренбург не хотел уезжать из Москвы, но 16 октября получил распоряжение Совинформбюро об эвакуации; при отъезде рукопись третьей части романа была им утеряна, и лишь в декабре 1941 года писателю сообщили в Куйбышев, что рабочие типографии, где печаталось «Знамя», подобрали листы романа и сохранили их. Эренбург вернулся к завершению «Падения Парижа» уже в Москве в последних числах января 1942 года.

В феврале было написано 7 глав: Эренбург закончил роман 44-й главой, вернув действие на улицу Шерш-Миди в мастерскую художника Андре Карно, где роман и начинается; такая композиция придала всему повествованию особую законченность. Одновременно в первой и второй частях были восстановлены цензурные купюры. Третья часть была напечатана в сдвоенном 3-4 номере «Знамени» за 1942 год. 5 мая роман был подписан в печать в издательстве «Советский писатель». Однако еще в апреле Эренбургу за «Падение Парижа» присудили высшую литературную награду того времени — Сталинскую премию I степени. С грифом этой награды в 1943 году переводы романа были изданы в Лондоне и Нью-Йорке, а в конце 1944 года — в освобожденном Париже (первый французский перевод напечатан в Москве в 1943 г.).

Книга «Падение Парижа» пришла к советским читателям трагическим летом 1942 года, когда немцы вышли к Волге и Кавказу, и вопросы «как это могло случиться?» и «кто виноват?», которые задают себе герои романа, пережившие крушение Франции, оказались созвучными тому, что мучило советских людей в 1942 году.

После присуждения роману Сталинской премии критики снова его хвалили. Приведем некоторые из оценок, полезные, как нам кажется, для понимания особенностей романа.

Юрий Тынянов: «Проза Эренбурга закалена газетной статьей. Недаром он блестящий мастер газетной статьи. Уменье видеть и называть. Меткость глубоких и острых наблюдений, очень точная и поэтому всегда язвительная полемика, далеко идущие и неожиданные по простоте и верности заключения... Его роман написан с последовательностью и точностью фронтовой корреспонденции» (Звезда, г. Молотов, 5 мая 1942).

Евгений Петров: «По своему размаху роман должен был бы стать эпопеей, энциклопедией французской жизни последних лет. Но не стал ими. Это лежит в особенностях стиля Эренбурга. То, что иногда может показаться нам поспешностью писателя, есть его стиль... Основа эренбурговского стиля — темп. Темп во что бы то ни стало. Ни минуты промедления. Как только материал был понят писателем, как только каждая деталь разобранных им событий стала ясна, его уже ничто не сдерживало — он двинулся вперед... Образ Тесса — настоящий шедевр современной литературы... Это тип. Он написан Эренбургом с мопассановским блеском» (Ильф И., Петров Е. Собр. соч., т. 5. М., 1961, с. 491).

Жан Ришар Блок: «Эренбург вложил в роман свою большую любовь к Франции и глубокое знание многих слоев французского общества: любовь и знание — два источника, без которых не может

быть произведения подлинного искусства. Опыт богатой литературной деятельности позволил Эренбургу как романисту подойти к своей обширной теме с уверенностью мастера, сохранить во всех частях большого произведения совершенную четкость архитектуры, обнаружить уменье и искусство владеть обширным и разнородным материалом» (Коммунистический Интернационал, 1943, № 5-6, с. 70).

В шестидесятые годы, работая над мемуарами «Люди, годы, жизнь», Эренбург перечитал «Падение Парижа». Вот его суждение о романе: «Как будто мне удалось передать предвоенные годы Франции, то, что я где-то назвал загнанной внутрь гражданской войной. Но одни персонажи мне кажутся живыми, объемными, другие — плакатными, поверхностными. В чем я сорвался? Да в том, в чем и до «Падения Парижа» и после него срывались многие мои сверстники: показывая людей, всецело поглощенных политической борьбой, будь то коммунисты Мишо и Дениз, будь то фашист Бретейль, я не нашел достаточного количества цветов, часто клал белые и черные мазки». Что касается неудачи Эренбурга в изображении французских коммунистов, то, увы, она была предопределена невозможностью показать драму, пережитую ими после заключения советско-германского пакта. ФКП, беспрекословно подчинявшаяся директивам Коминтерна, который с 1928 года находился под диктатом Сталина, послушно прекратила антифашистскую пропаганду и, следуя Москве, объявила агрессором не Гитлера, а правительства Англии и Франции. Это деморализовало партию, спровоцировало массовые аресты коммунистов, способствовало расколу общества и, в конечном счете, крушению Франции (практически только с нападением Гитлера на СССР французские коммунисты смогли занять достойное место среди героев Сопротивления).

«Падение Парижа» не исторический роман в прямом смысле слова; его главные герои — вымышленные (хотя современникам событий, описанных Эренбургом, легко было увидеть в Виаре черты Леона Блюма, в Тесса — черты Даладье и Шотана, в Пикаре — генерала Вейгана и т. д). Это дало писателю необходимую свободу, позволило создать выразительные и запоминающиеся типы политических деятелей Франции 1930-х годов. Мастерски выписанные Тесса и Дессер — безусловные удачи романа. С характерным для сатиры Эренбурга блеском изображен и социалист Виар. В трактовке этого образа сказалось язвительное отношение писателя к политике французских социалистов, которую и тогда и годы спустя он считал причиной трагедии Франции. В газетных статьях Эренбург неизменно обвинял лидеров этой партии в нерешительности, страхе, в уступках правым; слабым характером Л. Блюма он объяснял отказ социалистов помочь испанской республике. Л. Блюм и его товарищи действительно боялись войны (они слишком хорошо помнили первую мировую бойню). Кроме того, в отличие от многих левых интеллектуалов, считавших Гитлера и капитализм самым страшным злом в тогдашнем мире, а сталинский режим — светлым будущим человечества, лидеры французских социалистов понимали, что и гитлеровский национал-социализм, и сталинский интернационал-коммунизм равно несут страшную опасность человечеству. Последующие десятилетия

показали, что думавшие так были стратегически правы; однако само по себе это понимание не гарантировало их от тактических ошибок. Имея перед собой пример Испании, где поощряемые извне неуклонное полевение Народного фронта и объединение профалангистских сил привели к гражданской войне, лидеры социалистов Франции пытались лавировать между двумя крайностями, но в итоге не сумели, как теперь принято говорить, консолидировать общество на демократической платформе. Это была трагедия социалистов, ставшая трагедией Франции. Формула Эренбурга о загнанной внутрь гражданской войне точно передает политическую ситуацию во Франции конца 1930-х годов. Франция была спасена от гражданской войны, но не от внешней агрессии, которую выдержать не смогла. Только Англия, где поляризация политических сил была существенно слабее, нежели в Испании и Франции, оказалась в силах противостоять Гитлеру один на один в Европе.

«Падение Парижа» печатается по последнему прижизненному изданию 1964 года.

Часть первая

Стр. 7. *Улица Шерш-Миди* (от фр. Cherche-Midi) — Ищу полдень; эта улица в районе Монпарнаса упоминается также в стихотворении «Над Парижем грусть...» (см. т. 1, с. 141); *Директория* — правительство Французской республики в 1795—1799 гг.; *ресторан «Анри и Жозефина».* — Реально существовал; в мемуарах Эренбург вспоминал, как в 1946 г. он приехал в Париж: «Я решил накормить моих спутников настоящим французским ужином и пошел к Жозефине — до войны она держала ресторан на улице Шерш-Миди, который я описал в «Падении Парижа». Жозефина обрадовалась, сказала: «Мне говорили, что вы написали что-то про меня... А я часто думала, как вам в России».

Стр. 9. *Афера Ставиского* — финансово-политическая афера начала 1930-х гг. во Франции; по имени А. Ставиского, который, пользуясь доверием и поддержкой правительственных кругов, присвоил значительные средства от продажи фальшивых облигаций; *Четырнадцатое июля* — национальный праздник Франции (День взятия Бастилии); *Барбюс* Анри (1873—1935) — французский писатель, левый общественный деятель; скончался в Москве, Эренбург принимал участие в похоронах Барбюса.

Стр. 10. *Бретон* Андре (1896—1960) — французский писатель, идеолог сюрреализма; *антифашистский конгресс писателей* — международный конгресс писателей в защиту культуры; состоялся в Париже летом 1935 г.

Стр. 11. *Пикассо* Пабло (1881—1973) — французский художник; *знаменитый физик...* — Имеется в виду Поль Ланжевен (1872—1946); *Малларме* Стефан (1842—1898) — французский поэт.

Стр. 12. *Жаннет Ламбер, актриса.* — По свидетельству автора, прообразом Жаннет послужила его подруга актриса Дениз Монробер (по мужу Лекаш).

Стр. 14. *Сезанн* Поль (1839—1906)—французский художник.

Стр. 17. *...рассказывал о семидесятом годе.*—Имеется в виду франко-прусская война 1870—1871 гг., в ходе которой во Франции пала Вторая империя и завершилось объединение Германии под главенством Пруссии.

Стр. 19. *Калибан*—действующее лицо комедии Шекспира «Буря», получеловек-получудовище; *«Боевые кресты»*—военизированная фашистская организация во Франции в 1927—1936 гг., запрещенная правительством Народного фронта; *Марианна*—символ Франции.

Стр. 20. *Жорес* Жан (1859—1914)—лидер французских социалистов; *Жюль Лафорг* (1860—1887)—французский поэт.

Стр. 22. *Гамсун* Кнут (1859—1952)—норвежский писатель.

Стр. 23. *«Госпожа Бовари»*—роман французского писателя Гюстава Флобера (1857); *Луиза Мишель* (1830—1905)—французская писательница, участница Парижской коммуны.

Стр. 26. *Марке* Альбер (1875—1947)—французский художник; *Батя* Томаш (1876—1932)—чешский промышленник, «король обуви»; *Бенеш* Эдуард (1884—1948)—президент Чехо-Словакии с 1935 г.

Стр. 28. *Дантон* Жорж Жак (1759—1794)— деятель Великой французской революции; *Гамбетта* Леон (1838—1882) – премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881 – 1882 гг.; член «Правительства национальной обороны» в 1870—1871 гг., антиклерикал.

Стр. 30. *...предателями из Кобленца.*—Имеется в виду монархическая французская эмиграция, обосновавшаяся в немецком городе Кобленце с целью организации вооруженной борьбы с Великой французской революцией; *Малая антанта*—блок Чехо-Словакии, Румынии и Югославии в 1920—1938 гг.; *Негуса «макаронщики» уже слопали.*—Имеется в виду захват Эфиопии фашистской Италией в 1936 г.; негус—эфиопский император.

Стр. 32. *Блюм* Леон (1872—1950)—премьер-министр Франции в 1936—1938 гг.; *Мок* Жюль (1893—?)—французский государственный деятель.

Стр. 33. *Пуанкаре* Раймон (1860—1934)—президент Франции в 1913—1920 гг; *Думерг* Гастон (1863—1937) —президент Франции в 1924—1931 гг.

Стр. 36. *Матисс* Анри (1869—1954)—французский художник

Стр. 38. *Лаваль* Пьер (1883 – 1945) – премьер-министр Франции в 1930-е гг.; коллаборационист, казнен как изменник; *Морис Шевалье* (1888—1972)—французский шансонье; *Ремарк* Эрих Мария (1898 - 1970)—немецкий писатель.

Стр. 39. *Верден*—город во Франции, место кровопролитных боев в первую мировую войну.

Стр. 40. *Ферреро* Гуардиа Франсиско (1859—1909) – испанский анархист; казнен; *зуавы* —вид легкой пехоты во французских колониальных войсках (XIX—XX вв.), формировался в Сев. Африке из французов и арабов.

Стр. 41. *Сакко* Никола и *Ванцетти* Бартоломео — американские рабочие-революционеры, казненные в 1927 г. по ложному обвинению в убийстве.

Стр. 49. *Фрейд* Зигмунд (1856—1939)—австрийский психиатр и психолог; *Гоген* Поль (1848—1903)—французский художник, долгое время работавший на Таити.

Стр. 51. *Валлес* Жюль (1832—1885)—французский писатель, публицист, участник Парижской коммуны.

Стр. 52. *Лотреамон* (Изидор Дюкас; 1846—1870)—французский поэт.

Стр. 54. *Федра*—героиня одноименной трагедии французского драматурга Жана Расина (1677).

Стр. 55. *«Овечий источник»* («Фуэнте Овехуна»)—пьеса испанского драматурга Лопе де Вега (1619).

Стр. 56. *Роден* Огюст (1840—1917)—французский скульптор.

Стр. 60. *Даладье* Эдуар (1884—1970)—французский радикал, премьер-министр Франции в 1933—1934 и 1938—1940 гг.; подписал Мюнхенское соглашение с Гитлером; *Эррио* Эдуар (1872—1957)—французский политический и государственный деятель, радикал, премьер-министр Франции в 1924—1925, 1926 и 1932 гг.

Стр. 66. *Шотан* Камиль (1885—1963)—премьер-министр Франции в 1930-е гг.

Стр. 69. *...в Малаге восемь церквей подожгли.*—См. об этом в очерке Эренбурга «Генеалогия малагских головешек» (т. 4 наст. изд.).

Стр. 70. *Марат* Жан Поль (1743—1793)—французский революционер, публицист, один из вождей якобинцев; *Бланки* Луи Огюст (1805—1881)—французский коммунист; *Делеклюз* Шарль (1809—1871)—участник революции 1848 г. и Парижской коммуны; *Верлен* Поль (1844—1896)—французский поэт.

Стр. 71. *Дело Дрейфуса*—дело по ложному обвинению французского офицера еврея Альфреда Дрейфуса (1859—1935) в шпионаже; Дрейфус был приговорен к каторге, а затем под давлением выступлений мировой общественности оправдан; *Бебель* Август (1840—1913)—лидер германских социал-демократов, *Плеханов*, Георгий Валентинович (1856—1918)—один из лидеров РСДРП—деятели международного рабочего движения; *Циммервальдская конференция*—международная социалистическая конференция против развязанной империалистами первой мировой войны и социал-шовинизма; проходила 5—8 сентября 1915 г. в Циммервальде (Швейцария); *Священный союз*—союз Австрии, Пруссии и России, заключенный в Париже в 1815 г. после падения империи Наполеона; *Ренуар* Огюст (1841—1919)—французский художник.

Стр. 72. *Февральский мятеж...*—Имеется в виду предпринятая 6 февраля 1934 г. профашистской организацией «Боевые кресты» при поддержке префекта парижской полиции Ж. Кьяппа попытка взять штурмом парламент; мятеж был подавлен, а Кьяпп подал в отставку.

Стр. 74. *Боннар* Пьер (1867—1947)—французский художник.

Стр. 76. *Торез* Морис (1900—1964)—генеральный секретарь ФКП; *Фланден* Пьер Этьен (1889—1958)—премьер-министр Франции в 1935 г.

Стр. 79. *Сарро* Альбер (1872—1962)—французский политический деятель, в 1930-е гг.—министр внутренних дел, министр военно-морского флота; в 1936 г. смещен правительством Народного фрон-

та; *Утрилло* Морис (1883—1955) — французский художник; *Модильяни* Амедео (1884—1920) — итальянский художник, работал в Париже; *Греко* (Эль Греко) Доменико (1541—1614) — испанский художник; *Сурбаран* Франсиско (1598—1664) — испанский художник.

Стр. 80. *Вендель* — семейство французских промышленников; здесь: Франсуа Вендель (1874—1949) — сенатор в 1933—1940 гг., главный управляющий «Общества Вендель»; *«Лионский кредит»* — коммерческий банк Франции, основанный в 1863 г.; *Брак* Жорж (1882—1963) — французский художник.

Стр. 85. *Овидий* (Публий Овидий Назон; 43 до н. э.— ок. 18 н. э.) — римский поэт..

Стр. 87. *...стихи Рембо о мертвом солдате...*— Стихотворение французского поэта Артюра Рембо «Спящий в ложбине» (1870); *Равель* Морис (1875—1937) — французский композитор.

Стр. 90. *Клодель* Поль (1868—1955) — французский писатель, драматург; *Жироду* Жан (1882—1944) — французский писатель; *Моран* Поль (1888—1976) — французский писатель, дипломат.

Стр. 92. *Осада Бельфора.*— Имеется в виду осада города на востоке Франции прусскими войсками во время франко-прусской войны 1870—1871 гг; *Бриан* Аристид (1862—1932) — французский государственный и политический деятель; *Пенлеве* Поль (1863—1933) — французский математик, премьер-министр Франции в 1917 и 1925 гг.; *Кот* Пьер (1895—1977) — французский политический деятель, министр авиации в 1940 г.

Стр. 93. *Ротшильды* — финансовая династия в Западной Европе.

Стр. 94. *Гамелен* Морис Гюстав (1872—1958) — французский генерал, начальник генштаба в 1931—1935, 1938—1939 гг.

Стр. 101. *Мирабо* Оноре (1749—1791) — граф, деятель Великой французской революции; *Лафайет* Мари Жозеф (1757—1834) — маркиз, французский политический деятель, командовал Национальной гвардией в начале Великой французской революции.

Стр. 110. *... в девяносто третьем резали головы.*— Имеется в виду террор эпохи Великой французской революции 1793 г.

Стр. 111. *Робеспьер* Максимильен (1758—1794) — один из вождей Великой французской революции; *Делакруа* Эжен (1798—1863) — французский художник; *Давид* Жак Луи (1748—1825) — французский художник; *Людовик-Филипп* (1773—1853) — король Франции в 1830—1848 гг.; *Паскин* Юлиус (1885—1930) — французский художник, выходец из Болгарии.

Стр. 118. *Испанцы не сегодня-завтра выступят.*— Речь идет о начале фашистского мятежа в Испании (18 июля 1936 г.).

Стр. 119. *Йена.*— Имеется в виду поражение прусской армии при Йене, нанесенное французами в ходе войны 1806—1807 гг.; *Аустерлиц.*— Имеется в виду Аустерлицкое сражение 1805 г. между русско-австрийскими и французскими войсками, закончившееся победой Наполеона; *Марна* — река во Франции, место ожесточенных боев в 1914 г.

Стр. 121. *Астурийские герои* — участники восстания горняков в Астурии в 1934 г.; *Дорио* Жак (1898—1945) — деятель ФКП, перешедший на сторону фашистов; казнен.

Стр. 126. *Аранда* Мата Антонио (1888—?) — испанский генерал, участник мятежа против Республики в 1936 г.; *Кашен* Марсель (1869—1958) — деятель ФКП.

Стр. 127. *Суфражистки* — участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав (США, Великобритания и др.; вторая половина XIX — начало XX вв.); *Франко* Баамонде Франсиско (1892—1975) — фашистский диктатор Испании.

Стр. 128. *Хираль* Хосе (1879—1962) — премьер-министр Испании в июле — сентябре 1936 г., министр иностранных дел в 1937—1938 гг.; *Асанья* Диас Мануэль (1880—1940) — президент Испании в 1936—1939 гг.

Стр. 131. *Базельский конгресс* — конгресс II Интернационала (1912), принявший манифест о необходимости борьбы против развязывания империалистической войны; *Иглесиас* Пабло (1850—1925) — председатель Испанской социалистической рабочей партии.

Стр. 133. *Мола* Эмилио (1887—1937) — испанский генерал, участник мятежа против испанской республики.

Стр. 134. *Герцог Альба* Альварес де Толедо (1507—1582) — испанский полководец, завоеватель Португалии; *Альфонс* XIII (1886—1941) — король Испании в 1902—1931 гг.

Стр. 141. *Гойя* Франсиско (1746—1828) — испанский художник.

Стр. 142. *Защитники Алькасара* — франкисты, засевшие в замке Алькасар в Толедо, окруженном республиканской армией.

Стр. 144. *Москардо* Итуарте, Хосе (1878—1956) — комендант Алькасара.

Стр. 149. *...советского представителя в лондонском комитете.* — Имеется в виду И. М. Майский, представлявший СССР в Комитете по невмешательству в дела Испании, заседавшем в Лондоне.

Стр. 150. *Бабеф* Гракх (1760—1797) — французский утопист.

Стр. 153. *Роланд* (?—778) — франкский маркграф, участник похода Карла Великого в Испанию в 778 г., герой эпоса «Песнь о Роланде».

Часть вторая

Стр. 159. *Кагуляры* — члены французской фашистской террористической организации 1930-х гг.

Стр. 160. *Тьер* Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель, историк; глава исполнительной власти с февраля 1871 г.; пытался разоружить парижских рабочих, что вызвало их восстание, которое он жестоко подавил.

Стр. 161. *Сен-Жюст* Луи (1767—1794) — деятель Великой французской революции; *Прудон* Пьер Жозеф (1809—1865) — французский социалист, теоретик анархизма.

Стр. 163. *В судетском вопросе...* — Речь идет о притязаниях немцев, живших в Судетской области Чехо-Словакии, на присоединение Судет к Германии; по Мюнхенскому соглашению (1938) это было осуществлено.

Стр. 164. *Линия Мажино* — система французских пограничных укреплений, названная по имени Андре Мажино (1877—1932) — военного министра Франции.

Стр. 171. *...делом Ставиского или Устрика!* — См. примеч. к с. 9; Устрик — мошенник, которого покрывал французский министр П. Рейно.

Стр. 179. *Дюкло* Жак (1896—1978) — член политбюро ФКП.

Стр. 182. *Бонне* Жорж (1889—1972) — министр иностранных дел Франции в 1938—1939 гг.; *Дерен* Андре (1880—1954) — французский художник.

Стр. 183. *Леон Буржуа* (1851—1925) — французский политический деятель, радикал.

Стр. 192. *Ламартин* Альфонс (1790—1869) — французский писатель и политический деятель.

Стр. 193. *Генлейн* Конрад (1898—1945) — основатель фашистской партии в Чехо-Словакии.

Стр. 194. *Маргарита Готье* — героиня пьесы А. Дюма-сына «Дама с камелиями» (1848).

Стр. 195. *«Нуманция»* — трагедия Сервантеса (ок. 1588).

Стр. 196. *Чемберлен* Невилл (1869—1940) — премьер-министр Великобритании в 1937—1940 гг.

Стр. 198. *Клемансо* Жорж (1841—1929) — премьер-министр Франции в 1906—1909 и 1917—1920 гг.

Стр. 199. *Лебрен* Альбер (1871—1950) — президент Франции в 1932—1940 гг.; 12 июня 1940 г. сложил свои полномочия, признав маршала Петена главой государства.

Стр. 201. *Статуя в Лувре* — древнегреческая скульптура «Нике с острова Самофракия», представляющая крылатую женщину (голова скульптуры не сохранилась).

Стр. 204. *Мандель* Луи Жорж (1885—1944) — министр внутренних дел Франции в 1940 г., казнен гитлеровцами; *Рейно* Поль (1878—1966) — премьер-министр Франции в 1940 г.

Стр. 205. *Марсель Деа* (1894—1955) — французский политический деятель; с 1936 г. — в правительстве Франции; высказывался за союз с Германией; в 1941—1942 гг. входил в правительство Виши.

Стр. 206. *Кериллис* Анри де — французский журналист.

Стр. 207. *Либкнехт* Вильгельм (1826—1900) — один из основателей германской социал-демократической партии; *Каутский* Карл (1854—1938) — один из лидеров германских социал-демократов; *Веймарская республика* — буржуазно-демократическая республика, существовавшая в Германии со времени принятия веймарской конституции в 1919 г. до 1933 г.; *Штреземан* Густав (1878—1929) — германский рейхсканцлер в 1923 г; *Керенский* Александр Федорович (1881—1970) — глава Временного правительства России в 1917 г.; *Петен* Анри Филипп (1856—1951) — маршал Франции; *Голль* Шарль де (1890—1970) — французский генерал, основавший в 1940 г. движение «Свободная Франция», впоследствии премьер-министр и президент Франции.

Стр. 208. *Горгона* — в греческой мифологии, крылатая женщина-чудовище со змеями вместо волос, ее взгляд превращал все живое в камень.

Стр. 214. *Фош* Фердинанд (1851—1929) — маршал Франции.

Стр. 219. *Титулеску* Николае (1882—1941) — румынский дипломат, представлял Румынию в Лиге Наций, в 1930—1931 гг. —

председатель Лиги Наций; *Сметана* Бедржих (1824 —1884) — чешский композитор; *Масарик* Томаш (1850 – 1937) – президент Чехо-Словакии в 1918— 1935 гг.

Стр. 220. *Допустив захват Шлезвига, а потом разгром Австрии, Франция подготовила Седан...* — Герцогство Шлезвиг, принадлежавшее Дании с 1460 г., в результате войны 1864 г. отошло к Пруссии; победив в Австро-прусской войне 1866 г., Пруссия усилилась настолько, что смогла в 1870 г. нанести поражение французской армии при Седане.

Стр. 221. *«Душа без причины тоскует...»* — Из стихотворения П. Верлена «Песня без слов» (1872).

Стр. 223. *Ганди* Махатма (1869 — 1948) — идеолог национально-освободительного движения Индии.

Стр. 232. *Шелли* Перси Биш (1797 — 1822) — английский поэт; *Китс* Джон (1795—1821) — английский поэт; *Вильсон* Томас Вудро (1856 — 1924) — 28-й президент США.

Стр. 233. *Валери* Поль (1871— 1945) — французский поэт; *Элюар* Поль (1895— 1952) — французский поэт.

Стр. 235. *Ватто* Антуан (1684 —1721) — французский художник.

Стр. 236. *...мы перешли Эбро...*- Речь идет об успешной операции республиканской армии Испании на реке Эбро в 1938 г.

Стр. 237. *Лакме* — героиня одноименной оперы композитора Лео Делиба (1883); *...макаронщики, как на Гвадалахаре...* — В битве при Гвадалахаре (1937) итальянские части, сражавшиеся на стороне Франко, сдавались в плен республиканской армии.

Стр. 242. *Плутарх* (ок. 45 — ок. 127) – древнегреческий писатель и историк; *Иеремия* (VII в.— начало VI в. до н. э.) — древнееврейский пророк; *...на историю Иова...* — Библейский сюжет, связанный с Иовом (испытывая силу его веры, Бог насылал на него проказу, нищету, гибель детей, изгнал из родного города), часто встречается у Эренбурга — см., например, стихотворение «Скребет себя на пепле Иов...» (т. 1, стр. 161).

Стр. 243. *Принц Конде* Луи I Бурбон (1530—1569) — командующий армией гугенотов в религиозных войнах Франции.

Стр. 244. *«Неподкупный Максимилиан».* — Имеется в виду М. Робеспьер.

Стр. 249. *Жуо* Леон (1879—1954) — в 1909 —1940 гг. лидер Всеобщей конфедерации труда Франции.

Стр. 254. *Реми де Гурмон* (1858 —1915) — французский писатель; *«Эдип»* – пьеса древнегреческого драматурга Софокла «Эдип-царь»; *Муне-Сюлли* Жан (1841 — 1916) — французский актер, игравший с 1872 г. в «Комеди Франсез».

Стр. 267. *...«чрева», описанного Золя.* — Парижский рынок, описанный в романе Э. Золя «Чрево Парижа» (1873).

Стр. 272. *Риббентроп* Иоахим фон (1893 – 1946) — министр иностранных дел гитлеровской Германии; казнен.

Стр. 274. *Павлова* Анна Павловна (1881 – 1931) — русская балерина; *Мазепа* Иван Степанович (1644 – 1709) - украинский гетман, перешедший во время русско-шведской войны на сторону шведов.

Стр. 278. *Негрин* Хуан (1894—1956) – премьер-министр Испании в 1937 —1939 гг.; *Дух Мадрида, Теруэля, Эбро...* —места победных боев республиканской армии Испании в 1936 —1938 гг.

Стр. 281. *Рекамье* Юлия (1777—1849) — устроительница парижского салона.

Стр. 282. *Мартовские иды* — 15 марта в древнеримском календаре, в этот день в 44 г. до н. э. заговорщиками был убит Юлий Цезарь; *Данциг* — ныне Гданьск.

Стр. 285. *Признает даже смерть твои владенья...* — Здесь и далее стихи французского поэта Пьера Ронсара даются в переводе Эренбурга.

Стр. 292. *Гиппарх* (ок. 180—190—125 до н. э.) — древнегреческий астроном; *Гершель* Уильям (1738—1822) — английский астроном, основоположник звездной астрономии; *Питт* Уильям Младший (1759—1806) — премьер-министр Великобритании в 1783—1801 и 1804—1806 гг., один из организаторов коалиции европейских государств против Франции; *Гевелий* Ян (1611—1687) — польский астроном, создавший первую подробную карту Луны.

Часть третья

Стр. 294. *Бек* Юзеф (1894—1944) — министр иностранных дел Польши в 1932—1939 гг.

Стр. 295. *Этот бессребреник... в чешском городе Тешене.* В результате раздела Чехо-Словакии по Мюнхенскому соглашению (1938) район города Тешена (Силезия) отошел к Польше; *Геринг* Герман (1893—1946) — один из главарей гитлеровской Германии.

Стр. 297. *Расин* Жан (1639—1699) — французский драматург.

Стр. 299. *Бронзино* Анджело (1503—1572) — итальянский художник.

Стр. 301. *Сикорский* Владислав (1881—1943) — польский генерал, премьер-министр Польши в изгнании в 1939—1943 гг.; *Чиано* Галеаццо (1903—1944) — министр иностранных дел фашистской Италии.

Стр. 302. *...во время московских переговоров...* — Имеются в виду переговоры Риббентропа со Сталиным и Молотовым в Москве в августе 1939 г.

Стр. 304. *Бонкур* (Поль Бонкур) Жозеф (1873—1972) — французский дипломат, в 1932—1936 гг. представитель Франции в Лиге Наций.

Стр. 312. *Линия Зигфрида* — система пограничных укреплений на западной границе Германии, возведенная в 1936—1940 гг.

Стр. 315. *Корнель* Пьер (1606—1684) — французский драматург.

Стр. 316. *В центре внимания Финляндия.* — Имеется в виду советско-финская война, начавшаяся зимой 1939/40 г.; *линия Маннергейма* — система финских укреплений на Карельском перешейке, сооруженная в 1927—1939 гг. и названная по имени Карла Густава Маннергейма (1867—1951) — маршала, главнокомандующего финской армией.

Стр. 318. *Шуберт* Франц (1797—1828) — австрийский композитор.

Стр. 320. *Лист* Ференц (1811—1886) — венгерский композитор и пианист.

Стр. 325. *Веронезе* Паоло (1528—1588)—итальянский художник.

Стр. 326. *Сибелиус* Ян (1865—1957)—финский композитор.

Стр. 335. *Малый Трианон*—королевский дворец в Версале; *маршал с немецкой фамилией*—Маннергейм.

Стр. 336. *Людовик XV* (1710—1774)—король Франции с 1715 г.; *Бегство фон Тиссена...*—В связи с его побегом из Германии во Францию Эренбург писал в очерках «Падение Парижа»: «Любимцем буржуазной черни стал беглый рурский магнат фон Тиссен. Немецкие писатели сидели в концлагерях Франции, а фон Тиссен поселился в лучшей парижской гостинице. Газеты печатали его фотографии, письма, мемуары» (Огонек, 1940, № 24, с. 4); *Гесс* Рудольф (1894—1987)—один из главарей гитлеровской Германии; в 1941 г. прилетел в Англию с предложением мира, был интернирован.

Стр. 339. *Вейган* Максим (1867—1965)—французский генерал.

Стр. 345. *...о большом северном городе, за который сражаются русские...*—Советская пропаганда утверждала, что война с Финляндией была начата с целью обеспечения безопасности Ленинграда.

Стр. 347. *«Мирные переговоры... Стокгольм...»*—Имеются в виду переговоры о заключении перемирия между Финляндией и СССР, проходившие весной 1940 г. в Стокгольме.

Стр. 349. *Норвегию затеяли англичане.*—То есть нападение Гитлера на Норвегию якобы было спровоцировано Англией; *Дарлан* Жан Луи (1881—1942)—адмирал, главнокомандующий французским флотом, министр правительства Виши; вступил в соглашение с союзниками и был убит французским националистом.

Стр. 350. *Эгерия* (миф.)—нимфа, от которой римский царь Нума Помпилий получил религиозные и гражданские законы; *Бодуэн* Жан (1893—?)—министр иностранных дел Франции в 1940 г.; *Черчилль* Уинстон (1874—1965)—премьер-министр Великобритании в 1940—1950-е гг.

Стр. 352. *Нарвик*—порт в Норвегии; в апреле—июне 1940 г. у Нарвика шли упорные бои англо-франко-польских и норвежских войск с немецким десантом.

Стр. 359. *Вильгельм* II Гогенцоллерн (1859—1941)—император Германии в 1888—1918 гг.; *Григ* Эдвард (1843—1907)—норвежский композитор, дирижер, пианист.

Стр. 360. *«Помпей»*—трагедия П. Корнеля «Смерть Помпея» (1644).

Стр. 363. *Тронгейм* (Тронхейм)—город-порт в Норвегии.

Стр. 364. *Рузвельт* Франклин Делано (1882—1945)—32-й президент США.

Стр. 378. *Леопольд* III (1901—1983)—король Бельгии в 1934—1951 гг.; *Клейст* Эвальд фон (1881—1954)—гитлеровский генерал-фельдмаршал, командующий группой войск во Франции.

Стр. 386. *Тельман* Эрнст (1886—1944)—руководитель германской компартии, казнен гитлеровцами.

Стр. 390. *Альберт* I (1875—1934)—король Бельгии.

Стр. 392. *Сен-Симон* Клод Анри де Рувруа (1760—1825)—граф, социалист-утопист.

Стр. 393. *Бах* Иоганн Себастьян (1685—1750)—немецкий композитор.

Стр. 394. *Детердинг* Генри (1866—1939)—английский нефтепромышленник; *Дерулед* Поль (1846—1914)—французский поэт, политический деятель.

Стр. 417. *Буллит* Уильям Кристиан (1891—1967)—американский посол во Франции в 1940 г.

Стр. 428. *Дюнкерк*—французский город, порт; в 1940 г. блокированные немцами англо-французские войска вынуждены были эвакуироваться оттуда за пределы континентальной Европы.

Стр. 435. *Шарль Пеги* (1873—1914)—французский поэт, погиб в бою в первую мировую войну; *Блаженны погибшие в правом бою...*—Отрывок из поэмы Ш. Пеги «Ева» (1913) в переводе Эренбурга.

Стр. 439. *Чаплин* Чарлз Спенсер (1889—1977)—американский киноактер, сценарист и кинорежиссер.

Стр. 444. *Ибсеновский пастор.*—Имеется в виду персонаж пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828—1906) «Привидения» (1881).

Стр. 452. *«Укрощение строптивой»*—комедия Шекспира (1593).

Стр. 456. *Бержери* Гастон (1892—1974)—посол правительства Виши в Москве в 1941 г.

Стр. 458. *Абец* Отто (1903—1958)—гитлеровский резидент в Париже.

Стр. 459. *Герои Вальми*—участники битвы, разбившие прусскую армию, вторгшуюся во Францию (сентябрь 1792 г.); Вальми—деревушка на северо-востоке Франции; *«пуалю»* (от фр. poilu)—волосатый, косматый; здесь: французский солдат.

Стр. 460. *Виши*—общепринятое название коллаборационистского режима во Франции (июль 1940—август 1944); по названию города, где обосновалось правительство маршала Петена.

Стр. 467. *Зибург* Фридрих (1893—?)—немецкий писатель, нацист.

Б. Фрезинский

ВОЙНА. 1941—1945

В годы Великой Отечественной войны Эренбург совершил подвиг. Им стала постоянная, ежедневная военно-публицистическая работа. С первого дня писатель вел разговор с огромной солдатской аудиторией, его статьи печатались в «Красной звезде», «Правде», «Известиях», «Труде», «Комсомольской правде», во фронтовой, армейской и дивизионной печати, распространялись листовками. За четыре военных года свыше тысячи оригинальных статей были опубликованы только в советских газетах и журналах, выпущены более чем семьюдесятью отдельными изданиями. Газеты со статьями писателя передавались из рук в руки, их зачитывали перед боем политруки. «Никогда я не испытывал такой связи с другими...—

писал Эренбург,— я пуще всего дорожу теми годами: вместе со всеми я горевал, отчаивался, ненавидел, любил. Я лучше узнал людей, чем за долгие десятилетия, крепче их полюбил».

Творчество Эренбурга было хорошо известно читателям и до войны: его романы и повести издавались в большинстве европейских стран и за пределами континента. Статьи писателя 1941 – 1945 гг. получили еще большую аудиторию. К военной страде Эренбург был подготовлен антифашистской борьбой в тридцатые годы — «закалом Испании», статьями против мюнхенцев, романом «Падение Парижа».

Публицистика Эренбурга 1941—1945 гг.— отражение войны, ее характера и этапов, чувств народа — сама стала не только явлением журналистики, литературы, но и частью истории. Это же в отношении ленинградской блокады произошло с поэзией О. Берггольц. Больше чем литературное событие и поэма А. Твардовского «Василий Теркин».

Об эренбурговских статьях писали уже в военную пору, отмечая их непреходящее значение как свидетельства участника и очевидца событий. «На войне,— читаем у критика А. Мацкина,— быстро стираются слова, но слово Эренбурга не знает износу, оно всегда кстати. Это достоинство не только писателя, но и политика — в пестроте дня уловить его злобу, самое главное из того, что случилось. Будущему историку Отечественной войны придется внимательно изучать фельетоны Эренбурга. Сегодня их читает вся страна и армия... все, кому дороги судьбы страны и кому удалось раздобыть московскую газету»[1].

Е. Петров писал об эренбурговской «работоспособности, равной таланту», К. Симонов — об умении «делиться своим сердцем с читателем», Н. Тихонов — о «невероятной известности» Эренбурга среди бойцов. Высокие слова о его военной публицистике были сказаны В. Гроссманом и А. Толстым[2].

Статьи Эренбурга доходили до захваченной врагом территории и издавались там подпольно, перепечатывались партизанскими газетами. Есть свидетельства, что о них знали даже узники лагерей смерти. Менялись жанры (статья, корреспонденция, памфлет, заметка), менялся адресат (бойцы Сталинграда и нейтральные шведы, дети оккупированных районов и ленинградцы-блокадники); постоянным было горение, отражающее накал борьбы.

В архиве Эренбурга сохранились многие тысячи писем-откликов фронтовиков на выступления писателя. И в военные годы и позже так или иначе свое отношение к ним — в высшей степени одобрительное — выразили многие советские и зарубежные деятели. Среди них военачальники — Г. Жуков, К. Рокоссовский, И. Баграмян, П. Батов, И. Черняховский, крупные политики — вице-президент США Г. Уоллес, президент Франции де Голль, наш «всесоюзный староста» М. Калинин, писатели и художники — Г. Уэллс, Д. Пристли, Жан Ришар

[1] Мацкин А. Писатель в строю. Знамя, 1942, № 11.

[2] Подробнее о публицистике Эренбурга см. в книге: Рубашкин А. Илья Эренбург. Путь писателя. Л., Советский писатель, 1990; а также в работах этого же автора: Эренбург на войне.— Вопросы литературы, 1985, № 2; Второй фронт И. Эренбурга.— Литературное обозрение, 1985, № 1.

Блок, Э. Хемингуэй, М. Шагал, А. Таиров, К. Паустовский, дипломаты — А. Коллонтай, С. Лозовский, А. Игнатьев... Среди злейших врагов Эренбурга — заправилы рейха, включая самого фюрера, публично грозившего ему в одном из своих выступлений по радио.

После смерти Эренбурга были обнаружены рукописи его статей, которые через Совинформбюро пересылались на Запад — для читателей Англии, Америки, Швеции и «Сражающейся Франции». Они вышли двумя изданиями в сборнике «Летопись мужества» (М., 1974, 1983), составленном Л. Лазаревым. Таких статей было написано около четырехсот, и одно лишь агентство «Юнайтед Пресс» передавало их для 1600 газет США. О значении этой работы написал в предисловии к сборнику К. Симонов: «Корреспонденции И. Эренбурга были... непримиримы по отношению ко всем тем, кто отсиживался, оттягивал открытие второго фронта, надеясь загрести жар чужими руками. Корреспонденции Эренбурга полны полемики, имеющей не только исторический, но самый живой современный интерес». Некоторые материалы из «Летописи мужества» приводятся в этом томе.

С учетом статей, написанных для заграницы и специально для фронтовой печати, можно утверждать, что за 1418 дней войны Эренбург опубликовал более полутора тысяч работ.

В настоящем томе представлена лишь незначительная часть эренбурговской публицистики военной поры. Вместе с тем это значительно больше, чем в двух послевоенных Собраниях сочинений (1952—1954 и 1962—1967). При составлении сохранен хронологический принцип. Наиболее полно даны разделы «1941» и «1942». В этих статьях отразилось время, решающее для судеб страны, месяцы Московской и Сталинградской битв. Именно эти высокохудожественные, страстные и откровенные статьи, обращенные к каждому бойцу, снискали высокое уважение фронтовиков к Эренбургу, сделали его слово необходимым миллионам солдат. Писатель и сам понимал значение этой своей работы: «В годы мира газета — это часть жизни, ее подробность... В годы войны газета — личное письмо, от которого зависит судьба каждого».

Статьи Эренбурга рождены своим временем и принадлежат ему. Вряд ли они когда-либо будут изданы полностью. В них есть и повторы и прогнозы, не подтвержденные ходом дальнейших событий. Удивительней другое — многое в этих статьях воспринимается не только как отголосок истории.

Эренбург смотрел на войну как очевидец. Главное было — дать оружие бойцу, вдохновить его на подвиг, разоблачить низкую сущность фашизма. Ни Эренбург, ни кто-либо другой из советских публицистов не мог и не хотел (даже если бы была возможность) касаться иных подробностей нашей жизни, — нельзя было толкать под руку человека, стрелявшего по захватчику. Публицистика военного времени кажется сейчас несколько выпрямленной, но в час битвы — и на это указывал сам Эренбург — было не до нюансов.

То, что сказано о войне спустя годы в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба», и даже то, что написано К. Симоно-

вым в «Живых и мертвых», могло появиться в иную эпоху, после смерти Сталина, после XX партийного съезда и даже еще позже.

Эренбург писал, что оказался незащищенным от культа личности Сталина. Но в его публицистике, особенно 1941—1942 годов, эта тема почти не проявилась. Явно приукрашенной выглядит в воспоминаниях довоенная пора, но ведь для всех нас новые несчастья как-то отодвинули прежние беды. Эренбург, как и многие, надеялся на лучшую жизнь после победы, которую он пытался приблизить своим оружием — словом.

В связи с публицистикой Эренбурга неоднократно появлялись обвинения в пропаганде ненависти, в «антинемецкой» направленности его статей. Когда выходило первое издание книги «Летопись мужества», вызывало возражения само упоминание слова «немец» в статьях и стихах военной поры. Даже К. Симонову пришлось исправить строки известного стихотворения: вместо «Если немца убьет твой брат...» — «Коль фашиста убьет твой брат...». Надо ли говорить об антиисторичности такого подхода и такой правки.

Лозунг «Смерть немецким оккупантам!» придумали не Эренбург, К. Симонов, М. Светлов или О. Берггольц. Тогда слово «немец» не было национальным понятием. Оно означало: захватчик в серой шинели, солдат фашистской армии, завоеватель. Участник войны, ставший потом писателем, Д. Гранин хорошо сказал об этом: «Я помню, как нужны нам были статьи Эренбурга, ненависть была нашим подспорьем, а иначе чем было еще выстоять. Лично я не умел еще тогда разделять немцев на фашистов и просто мобилизованных солдат, шинели на них были одинаковые и автоматы...» Эренбург говорил не о мести, а о справедливости, о необходимости покончить с захватчиками, покарать убийц. В самые тяжелые дни он повторял, что наши люди не уподобятся фашистам, не будут мстить.

Даже по отобранным здесь статьям видно, как напряженно работал Эренбург в дни войны. Случалось, он писал по 4—5 статей в день. Не однажды давал варианты в разные адреса. Так, приводимая нами статья «Герои «Нормандии» фактически написана дважды. Первый вариант был опубликован 28 ноября в «Красной звезде», второй в тот же день ушел на Запад. Название было одно, повод тоже — присвоение двум французским летчикам звания Героя Советского Союза, а тексты совершенно разные. Тема одной статьи — дружба двух народов, тема другой — полемически заостренное обращение к тем, кто хочет эту дружбу нарушить.

В настоящий том отобраны около шестидесяти статей Эренбурга.

А. Рубашкин

Статьи, озаглавленные датами, печатаются по книге И. Эренбурга «Летопись мужества» (2-е изд.; М., Сов. писатель, 1983; составитель Л. Лазарев). Остальные статьи (июнь 1941 — март 1944), кроме оговоренных в примечаниях случаев, печатаются по сборникам Эренбурга «Война» (т. 1. Июнь 1941 — апрель 1942. М., Гослитиздат, 1942; т. 2. Апрель 1942 — март 1943. М., Гослитиздат, 1943; т. 3. Апрель

1943—март 1944. М:, Гослитиздат, 1944). Статьи марта—декабря 1944 г. печатаются по верстке «Войны», т. 4 (1945, не вышел), вычитанной автором; статьи 1945 г.—по первым публикациям.

В первый день (с. 487).—Впервые—Новый мир, 1941, № 7—8; первая статья, написанная Эренбургом в Отечественную войну.

Час настал (с. 488).—Впервые—Труд, 1941, 25 июня; первая статья, опубликованная Эренбургом в Отечественную войну. Была перепечатана многими местными газетами и журналом «Смена». Печатается по газете «Труд». ...*Чаплин в своем последнем фильме...*—«Великий диктатор» (1940); *Тур*—родина Оноре де Бальзака; *Я проехал по Бельгии, по Голландии...*—В июле 1940 г., возвращаясь из оккупированного гитлеровцами Парижа в Москву; *Мицкевич* Адам (1798—1855)—польский поэт; *Нансен* Фритьоф (1861—1930)—норвежский исследователь Арктики, лауреат Нобелевской премии мира; *Геббельс* Йозеф (1897—1945)—глава пропагандистского аппарата гитлеровской Германии; *Я был на Лофотенских островах.*—См. об этом очерк «Север» (т. 4 наст. изд.).

14 июля (с. 492).—Впервые под названием «Бастилия будет взята»—Известия, 1941, 13 июля. *Жемапп* и *Вальми*—селения в Бельгии и Франции, где в 1792 г. французские войска разбили австро-прусских интервентов; *Марна*—см. примеч. на с. 683; *Верден*—см. примеч. на с. 681; *Абец*—см. примеч. на с. 689; *Дарлан*—см. примеч. на с. 688; *Они крадут часы...*—перевод Эренбурга.

Коалиция свободы (с. 493).—Впервые—Литературная газета, 1941, 20 июля. *Плутарх*—см. примеч. на с. 686; *Цезарь* Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.)—римский полководец, диктатор; *Тисо* Йозеф (1887—1947)—лидер словацких фашистов, президент Словацкого государства в 1939—1945 гг., казнен; *Антонеску* Йон (1882—1946)—военно-фашистский диктатор Румынии; *Рюти* Ристо (1889—1956)—президент Финляндии в 1940—1944 гг.; *...землетрясения в Мессине...*—Город и порт Мессина на острове Сицилия (Италия) был разрушен землетрясением в 1908 г.; *...полярную экспедицию итальянцев...*—Экспедиция к Северному полюсу на дирижабле «Италия» под руководством Умберто Нобиле (1928); *Кукучин* Мартин (1860—1928)—словацкий писатель.

6 августа 1941 года (с. 495).—На рус. яз. впервые—Эренбург И. Летопись мужества (М., Сов. писатель, 1974); *Громадин* Михаил Степанович (1899—1962)—генерал-полковник; летом 1941 г. помощник командующего войсками Московского военного округа по ПВО, затем—командующий войсками ПВО страны.

Евреям (с. 496).—Из выступления на митинге представителей еврейского народа (Москва, 24 августа 1941); впервые—Правда, 1941, 25 августа. *Толстой жил в соседнем доме...*—в Хамовническом переулке; *«Не могу молчать»*—статья Л. Толстого против смертной казни (1908); *Я вырос в русском городе.*—Эренбург родился в Киеве, с 1900 г. жил в Москве; *...мать мою звали Ханой.*—Хана Берковна (Анна Борисовна) Эренбург, урожденная Аренштейн (1857—1918); *Гейне* Генрих (1797—1856)—немецкий поэт; *Бергсон* Анри (1859—

1941)—французский философ; *Тувим* Юлиан (1894—1953)—польский поэт; *Эйнштейн* Альберт (1879—1955)—физик-теоретик, основоположник современной физики; *Шагал* Марк Захарович (1887—1985)—живописец и график.

Война нервов (с. 498).—Впервые—Красная звезда, 1941, 4 сентября; *...я был на Западном фронте.*—В 1915—1917 гг. Эренбург выезжал на франко-германский фронт в качестве корреспондента газеты «Биржевые ведомости».

Киев (с. 500).—Впервые—Красная звезда, 1941, 27 сентября. Киев был оставлен Красной армией 19 сентября, сообщили об этом 22 сентября, комментировать это сообщение в прессе было запрещено. Редактор «Красной звезды» Д. И. Ортенберг вспоминает, что писатель сказал ему тогда: «Я все же напишу о Киеве...» Через час-полтора Эренбург принес статью. Статья «Киев» произвела столь сильное впечатление, что «Красная звезда» не отмалчивалась в дальнейшем, когда нашим войскам приходилось оставлять города. *Ярослав Мудрый* (ок. 978—1054)—великий князь киевский; *герои Киевского арсенала*—участники восстания против Центральной Рады (январь 1918), центр восстания находился на заводе «Арсенал».

Де Голль (с. 501).—Впервые—Правда, 1941, 5 октября; была перепечатана многими местными газетами, входила в военные сборники Эренбурга. *Петен*—см. примеч. на с. 685; *линия Мажино*—см. примеч. на с. 684; *Катру* Жорж Альбер (1877—1969)—французский генерал, посол в Москве в 1945—1948 гг.; *Гарибальди* Джузеппе (1807—1882)—народный герой Италии, участник освободительных войн против Австрии; *буква «V»*—первая буква имени Виктории, мифологической богини победы.

10 октября 1941 года (с. 504).—Впервые на рус. яз.—Юность, 1971, № 6. *Ронсар*—см. примеч. на с. 687; *Шелли*—см. примеч. на с. 686; *«Москва... как много в этом звуке...»*—Из 7-й главы «Евгения Онегина».

В суровый час (с. 506).—Впервые—Красная звезда, 1941, 10 октября. *Гау* (от нем. Gau)—область, край.

Выстоять! (с. 507).—Впервые—Красная звезда, 1941, 12 октября; в октябре 1941 г. перепечатана не менее чем двадцатью местными газетами, вошла в десять военных сборников Эренбурга, дав одному из них название. Одна из самых знаменитых статей Эренбурга, ею был нарушен запрет на освещение в печати трагического положения дел под Москвой в октябре 1941 г. *Вотан*—бог войны в древнегерманской мифологии.

Мы выстоим! (с. 510).—Впервые—Красная звезда, 1941, 28 октября; написана в Куйбышеве, где Эренбург находился до декабря 1941 г.; входила в шесть военных сборников Эренбурга. *Марке*—см. примеч. на с. 681; *Гудериан* Хайнц Вильгельм (1888—1954)—гитлеровский генерал-полковник, командующий танковой армией.

1 ноября 1941 года (с. 512).—Впервые на рус. яз.—Эренбург И. Летопись мужества (М., 1974).

Испытание (с. 514).—Впервые—Красная звезда, 1941, 4 ноября; вошла в семь военных сборников Эренбурга. *...Антонеску гарцует по улицам Одессы.*—16 октября 1941 г. Одесса была ок-

купирована немецкими и румынскими войсками и включена в состав румынского генерал-губернаторства «Транснистрия».

Чехо-словакам (с. 517).— Впервые на рус. яз.— Эренбург И. Война, т. 1 (М., 1942). *Веселились словаки «под вехами» Братиславы...*— В Братиславе каждый винодел имел право одну неделю в году торговать своим вином в розлив, и тогда над дверями он вывешивал «веху» (сухую ветку); *Яношик* Юрий (1688—1713)—легендарный участник освободительной войны Словакии против Габсбургов.

Любовь и ненависть (с. 518).— Впервые — Красная звезда, 1941, 7 ноября; перепечатывалась местными газетами, входила в военные сборники Эренбурга. *...чехов. Они первые узнали всю меру горя.*— В октябре 1938 г. Германия отторгла от Чехо-Словакии Судетскую область, а в марте 1939 г. оккупировала всю страну; *Венгры ответят за Днепропетровск.*— Днепропетровск был взят 25 августа 1941 г. немецкими и венгерскими войсками.

После Ростова (с. 520).— Впервые — Красная звезда, 1941, 2 декабря; включалась в военные сборники Эренбурга. *Клейст* Эвальд фон (1881—1954) — генерал-фельдмаршал, командовал танковой армией на советско-германском фронте.

Живые тени (с. 521).— Впервые — Красная звезда, 1941, 14 декабря. *Вольтер* (Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778) — французский писатель, философ; *Руссо* Жан Жак (1712—1778) — французский писатель, мыслитель; *Гиммлер* Генрих (1900—1945) — с 1929 г. рейхсфюрер СС, с 1936 г.— шеф гестапо; *Шопен* Фридерик (1810—1849) — польский композитор и пианист.

С Новым годом! (с. 523).— Впервые — Красная звезда, 1942, 1 января. *Павелич* Анте (1889—1959) — лидер хорватских фашистов, глава Независимого государства Хорватия (1941—1945 гг.).

1942

Весна в январе (с. 527).— Впервые — Красная звезда, 1941, 14 января. Вернувшись из Куйбышева в Москву, Эренбург в начале января 1942 г. отправился на фронт; он побывал в Малоярославце, видел бои за Ильинское, побывал в Медыни; впечатления этой поездки легли в основу статьи. *Голубев* Константин Дмитриевич (1896—1956) — генерал-майор, командующий 46-й армией, участвовавшей в битве за Москву; *Марфа-посадница* — вдова новгородского посадника И. А. Борецкого, возглавила борьбу новгородцев против Ивана III, за независимость Новгорода.

Можайск взят (с. 532).— Впервые — Красная звезда, 1942, 21 января; первая статья, написанная Эренбургом после поездки в Бородино. *Говоров* Леонид Александрович (1897—1955) — маршал Советского Союза, в январе 1942 г.— генерал-лейтенант, командующий армией; *линия Маннергейма* — см. примеч. на с. 687.

20 апреля 1942 года (с. 534).— Впервые на рус. яз.— Вопросы литературы, 1970, № 5; написана для американского агентства «Юнайтед Пресс». *Томми* — английские солдаты; *Рундштедт* Герд фон (1875—1953) — немецкий генерал-фельдмаршал, командовал

группой армий во Франции; *RAF* (от англ. Royal Air Force) — английские военно-воздушные силы; *«матильды»* — английские танки, поставлявшиеся Великобританией в СССР во время войны.

Оправдание ненависти (с. 536).— Впервые — Правда, 1942, 26 мая. *Соня... Груня* — персонажи романов Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы»; *Я попал в... Орадеа-Маре.*— См. об этом очерк «В джунглях Европы» (т. 4 наст. изд.); *...в клинском погроме...*— Во время оккупации города Клина гитлеровцы разрушили дом-музей П. И. Чайковского.

Крепость России (с. 541).— Впервые — На страже Родины (газета Ленинградского фронта), 1942, 22 июня; вошла в сборник статей Эренбурга «Ленинграду» (Л., 1943).

Севастополь (с. 544).— Впервые — Красная звезда, 1942, 30 июня.

Отобьем! (с. 546).— Впервые — Красная звезда, 1942, 8 июля; была перепечатана в сорока местных и армейских газетах, отдельной брошюрой издана в Сталинграде. *Седан* — см. примеч. на с. 686; *Дюнкерк* — см. примеч. на с. 689.

Отечество в опасности (с. 548).— Впервые — Красная звезда, 1942, 14 июля; была перепечатана рядом местных и военных газет. *Сталин сказал советскому народу...* - в выступлении по радио 3 июля 1941 г.

Трудный путь (с. 549).— Впервые — Красная звезда, 1942, 16 июля; как и три следующие статьи, была перепечатана рядом местных и военных газет. *Роммель* Эрвин (1891—1944) — генерал-фельдмаршал, командовал гитлеровскими войсками в Северной Африке.

Стой и победи! (с. 551).— Впервые — Красная звезда, 1942, 8 августа.

Третья годовщина (с. 554).— Впервые — Правда, 1942, 27 августа. *В Мюнхене заготовили хороший ужин...*— Имеется в виду встреча руководителей Великобритании, Франции, Германии и Италии в Мюнхене 29—30 сентября 1938 г., когда был подписан договор о расчленении Чехо-Словакии; *Солдаты Гитлера ворвались в Польшу.*— Спустя две недели в соответствии с советско-германским пактом с востока в Польшу вступили советские войска; *Вестерплате* — полуостров в Гданьской бухте у входа в порт, где 1 '9 сентября 1939 г. польский гарнизон героически сражался с превосходящими силами немецких сухопутных войск и флота; *Компьенский лес* — место во Франции, где в 1918 г. было заключено перемирие, зафиксировавшее поражение Германии, а в 1940 г. · перемирие, означавшее капитуляцию Франции; *Маас и Луара* — реки во Франции, на берегах которых проходили первые бои с гитлеровскими войсками; *Ковентри* — город в Англии, разрушенный гитлеровской авиацией; *Лидице* - шахтерский поселок в Чехо-Словакии, жители которого были уничтожены гитлеровцами 10 июня 1942 г.

Сталинград (с. 557).— Впервые — Красная звезда, 1942, 6 сентября.

Высокое дело (с. 560).— Впервые — Правда, 1942, 16 октября. «Правда» сообщила, что подольский горком партии признал изложенное в статье Эренбурга верным и принял соответствующие

меры. 16 декабря 1942 г. Т. И. Тришкин написал Эренбургу: «Илья Эренбург, ваша статья была в Правде «Высокое дело». Я был очень доволен и рад. После этого я получил письмо от жены. Жена мне писала большое тебе спасибо Тима, после этой статьи мне сразу дали продуктовые карточки и кои что помогли, а этих барсуков сразу сняли с работы и отдали под суд. Одному дали 2 года, а второму 3 года заключения. Это очень хорошо, чтобы они понесли, бюрократы. Илья Эренбург, я клянусь вам еще буду драться. Лучше, до последней капли крови, до полного разгрома Гитлера. Илья Эренбург, если я жив останусь, то я вас никогда не забуду до смерти и буду вас благодарить за все. И буду вам сообщать все безобразия, которые будут мешать на дороги. С приветом ст. сержант Тришкин»[1]. (ЦГАЛИ, ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 2548, л. 95.)

Ответ Франции (с. 561).— Впервые — Красная звезда, 1942, 28 ноября; Правда, 1942, 28 ноября; под названием «Тулонская трагедия» — журнал «Краснофлотец», 1942, № 22. *Взрывы в Тулоне...*— Французские моряки взорвали в Тулоне свои военные корабли, чтобы их не захватили гитлеровцы; *...юный офицер республиканской армии написал бессмертную «Марсельезу».*— Имеется в виду Руже де Лиль Клод Жозеф (1760—1836) — военный инженер, поэт и композитор; *Клебер* Жан Батист (1753— 1800) - французский генерал.

Свет в блиндаже (с. 563).— Впервые — Красная звезда, 1942, 10 ноября; статья вызвала массу откликов фронтовиков (их письма сохранились в фонде Эренбурга в ЦГАЛИ). *Эдем*— синоним рая; *Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770 —1831) — немецкий философ; *«Если завтра война...»* — песня композитора Дм. Покрасса из одноименного кинофильма (1938).

Наступление продолжается (с. 569).— Впервые — Красная звезда, 1942, 27 ноября; была перепечатана в двадцати местных и военных газетах, в сборниках публицистики Эренбурга.

29 декабря 1942 года (с. 571).— Впервые на рус. яз.— Эренбург И. Летопись мужества (М., 1974). *Когда я писал в августе...*— См., например, корреспонденцию Эренбурга от 28 июля 1942 г. (Летопись мужества. М., 1983, с. 142—146); *ведьмы Брокена.*— По немецким народным повериям, в ночь на 1 мая (Вальпургиева ночь) на вершине Брокен в горах Гарца происходит великий шабаш ведьм; *Попытка Гитлера прорваться от Котельникова на выручку своим...*— Речь идет о контрнаступлении немцев в декабре 1942 г. вдоль железной дороги Котельниковский - Сталинград с целью деблокировать окруженную под Сталинградом группировку.

1943

Французы (с. 576).— Впервые — Красная звезда, 1943, 6 января. *«Нормандия»* (впоследствии «Нормандия—Неман») — истребительный авиационный полк «Сражающейся Франции», действовавший на советско-германском фронте.

---

[1] Сохранена орфография автора письма.

Эпилог (с. 579).— Впервые — Красная звезда, 1943, 3 февраля; перепечатана более чем двадцатью местными и военными газетами.

Последняя ночь (с. 580).— Впервые — Красная звезда, 1943, 10 марта.

Судьба Европы (с. 584).— Впервые — Правда, 1943, 9 апреля. *София.* — Речь идет о Софийском соборе в Киеве; *Чимабуэ* (Ченни ди Пеппо; ок. 1240 — ок. 1302) — итальянский живописец; *Джотто* ди Бондоне (1266—1337) — итальянский живописец; *Пуанкаре* Жюль Анри (1854—1912) — французский математик; *Перрен* Жан Батист (1870—1942) — французский физик, Нобелевский лауреат; *Ланжевен* Поль (1872—1946) — французский физик; *институт Пастера* — первый институт микробиологии, основанный Луи Пастером (1822—1895); *Чапек* Карел (1890—1938) — чешский писатель; *Матисс* Анри (1869—1954) — французский художник.

Их наступление (с. 590).— Впервые — Красная звезда, 1943, 11 июля.

Часы истории (с. 592).— Впервые — Правда, 1943, 6 августа. *...салютует нашему Маршалу.* — Имеется в виду И. Сталин.

Голос Дании (с. 593).— Впервые — Красный флот, 1943, 31 августа. *Андерсен* Ханс Кристиан (1805—1875) — датский писатель-сказочник.

Изгнание врага (с. 594).— Впервые — Красная звезда, 1943, 9 сентября. *Рейхенау* Вальтер (1884—1942) — генерал-фельдмаршал, командующий группой армий «Юг».

Перед Киевом (с. 599).— Впервые — Красная звезда, 1943, 14 октября. О поездке Эренбурга на фронт под Киев см. воспоминания генерала армии П. И. Батова «В походах и в боях» (М., 1962) и маршала К. С. Москаленко «На юго-западном направлении» (М., 1972).

Чернорабочие победы (с. 602).— Впервые — Красная звезда, 1943, 28 октября. О поездке Эренбурга на фронт в Белоруссию см. военные дневники К. М. Симонова (Разные дни войны, т. II, гл. 14. М., 1977).

Заря возмездия (с. 604).— Впервые — Правда, 1943, 1 ноября; из цикла статей Эренбурга «В фашистском зверинце».

Душа России (с. 606).— Впервые — Красная звезда, 1943, 11 ноября. *Два года тому назад я писал...* — См. статью «Киев»; *«тигры»* — тяжелые немецкие танки; *Черняховский* Иван Данилович (1906—1945) — командующий 60-й армией, о встречах с ним Эренбург рассказал в пятой книге «Люди, годы, жизнь»; *Петросян* Аграм.— Эренбург писал о нем в статье «Кавказ»: «Аграма Петросяна немцы взяли хитростью — переодевшись красноармейцами. Немцы его пытали, вырезали на щеках звезды, выдергивали волосы. Петросян молчал. Ему сказали: «Рой себе могилу». Тогда Петросян лопатой ударил немца. Он схватил гранаты и бросил их в палачей. Один немецкий офицер ранил Петросяна в руку и в голову. Петросян кинулся на офицера и задушил его. Он взял бутылку с горючим и пополз к своим. По дороге он взорвал склад боеприпасов и был в третий раз ранен. Но он дополз...»; *Гакохидзе* Михаил Леванович (1909—1972) — Герой Советского Союза, Эренбург писал о нем в ста-

тье «Кавказ»: «В боях за Севастополь отличился Михаил Гакохидзе. Он кидал в немцев гранаты. Не стало гранат — стрелял. Кончились патроны — начал колоть немцев штыком» (Красная звезда, 1942, 5 ноября); *Паперник* Лазарь Хаймович (1918—1942) — Герой Советского Союза, в статье «Евреи» Эренбург писал: «Лазарь Паперник зимой в селе Хлуднево истребил несколько десятков немцев. Тяжело раненный, он упал в снег. Немцы подбежали. Тогда Паперник приподнялся, и в немцев полетели гранаты. Полумертвый, он еще сражался против сотни немцев. Последней гранатой он взорвал себя» (Красная звезда, 1942, 1 ноября). В апреле 1943 г. Эренбург вместе с П. Маркишем и С. Гудзенко выступил на вечере памяти Л. Паперника в Москве на заводе, где Паперник работал перед войной; *В одной хасидской легенде...* — Хасиды — иудеи, исповедовавшие хасидизм (религиозно-мистическое течение в иудаизме, возникшее в XVIII в. на Волыни и в Галиции). Хасидские легенды, известные Эренбургу по немецкому переложению М. Бубера, использовались писателем, в частности, в романе «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (см. т. 3 наст. изд.). В записной книжке Эренбург отметил, что в «Красной звезде» от него требовали, чтобы слово «хасидская» он заменил на «восточная»; *...государственном самодурстве Павла.* — Речь идет об императоре Павле I (1754—1801), внедрявшем в русской армии прусские порядки; *Фридрих* Вильгельм I (1688 —1740) — прусский король, получивший прозвище «фельдфебель на троне»; *Бенкендорф* Александр Христофорович (1783—1844) — шеф жандармов; *Аракчеев* Алексей Андреевич (1769— 1834) — председатель военного департамента, организатор военных поселений; *Салтычиха* (Салтыкова Дарья Николаевна; 1730— 1801) — помещица, замучившая более 100 крепостных; *Пуришкевич* Владимир Митрофанович (1870—1920) — помещик, член Государственной думы, один из лидеров черносотенцев.

16 ноября 1943 года (с. 614).— Впервые на рус. яз.— Эренбург И. Летопись мужества (М., 1974). *Нерон* (37—68) — римский император, прославившийся своей жестокостью; *Чепурченко* П. Л.— Его рассказ Эренбург использовал в статье «Земля Пирятина» (Красная звезда, 1942, 26 ноября) и в пятой книге «Люди, годы, жизнь».

1944

Победа человека (с. 618).— Впервые — Красная звезда, 1944, 8 января. *Семен Мазур.*— В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург, вспоминая военные годы, писал: «Однажды ко мне в редакцию «Красной звезды» пришел высокий, крепкий человек, офицер морской пехоты Семен Мазур. Он рассказал мне необычную историю. В битве под Киевом он был ранен, попал в окружение и, переодевшись, пришел в Киев, где жила его жена. Дома никого не оказалось; он пошел к сестре жены; та испугалась, начала его уговаривать покинуть город. Он ответил, что попытается добраться до своих, но хочет повидать жену и ребенка. Когда он подходил к своему дому, жена его увидела и закричала: «Держите жида!..» Какие-то прохожие огляну-

лись, но прошла колонна грузовиков, и Мазуру удалось скрыться... Он сидел напротив меня и требовал, чтобы я ему объяснил, почему его спасли чужие люди и хотела выдать врагу жена...»

Почему они отступают? (с. 621).— Впервые — Правда, 1944, 17 января (из цикла «В фашистском зверинце»). *Паулюс* Фридрих (1890—1957) — гитлеровский генерал-фельдмаршал, капитулировавший после окружения в Сталинграде его армии.

Нейтралитет особого типа (с. 622).— Впервые — Правда, 1944, 14 февраля (из цикла «В фашистском зверинце»). *Франко* — см. примеч. на с. 684; *фаланга* — испанская армия фашистского типа, созданная в 1933 г.

Наш гуманизм (с. 624).— Впервые — Красная звезда, 1944, 18 марта. *Мечников* Илья Ильич (1845—1916) — биолог и патолог.

Торжество человека (с. 628).— Впервые — Правда, 1944, 29 апреля. *Суцкевер* Абрам Герцевич (р. 1913) — еврейский поэт; в качестве свидетеля выступал на Нюрнбергском процессе над гитлеровскими военными преступниками (1946); *...замечательный австрийский романист...*— Имеется в виду Йозеф Рот (1894—1939); *Киттель* Бруно (р. 1915) — обершарфюрер СС, «ликвидатор» вильнюсского гетто. После разгрома Германии Киттелю удалось скрыться; на его родине, в Австрии, против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в военных преступлениях; *«УФА»* — немецкая киностудия; *Витенберг* Ицик (1907—1943) — рабочий, руководитель партизанской организации в вильнюсском гетто.

Сила слова (с. 631).— Впервые — Правда, 1944, 6 мая. *Петров* Евгений Петрович (1902—1942) — писатель, соавтор И. Ильфа; его статьи о боях за Москву составили посмертный сборник (Петров Е. Москва за нами. М., 1942); *Горбатов* Борис Леонтьевич (1908—1954) — писатель; *Симонов* Константин Михайлович (1915—1979) — писатель; *Кригер* Евгений Генрихович (1906—?) — журналист, очеркист; *Гроссман* Василий Семенович (1905—1964) — писатель, его очерки, написанные в Сталинграде, составили книгу «Сталинград» (1943); *Олендер* Петр Моисеевич (1906—1944) — военкор «Красной звезды»; *Гайдар* Аркадий Петрович (1904—1941) — писатель; *Крымов* Юрий Соломонович (1908—1941) — писатель; *Тито* (Броз Тито) Иосип (1892—1980) — Верховный главнокомандующий Народно-освободительной армией Югославии, впоследствии президент Югославии; *Стоу* Леланд (р. 1899) — американский журналист, его очерки «С Красной Армией на Ржевском фронте» были напечатаны в «Знамени» (1943, № 1); *Долматовский* Евгений Аронович (р. 1915) — поэт; *Борзенко* Сергей Александрович (1909—1972) — писатель, журналист; *Галифе* Гастон (1830—1909) — французский генерал, отличился особой жестокостью при подавлении Парижской коммуны.

Началось! (с. 635).— Впервые — Красная звезда, 1944, 8 июня. *Эйзенхауэр* Дуайт Дэйвид (1890—1969) — американский генерал, верховный главнокомандующий экспедиционными войсками союзников в Европе, впоследствии 34-й президент США; *Рундштедт* Герд фон (1875—1953) — см. примеч. к с. 534; *Когда я писал осенью 1941 года...*— Цитируется статья, написанная для западных агентств, в СССР не печаталась.

20 июля 1944 года (с. 637).— Впервые на рус. яз.— Юность, 1971, № 6; написана для французской газеты «Марсельеза». *Глаголев* Василий Васильевич (1896—1947) — генерал-полковник, командующий 31-й армией.

Сестра Словакия (с. 639).— Впервые — Красная звезда, 1944, 6 сентября. *Дом Павлова* — единственный уцелевший на площади им. 9 Января в Сталинграде дом, несколько дней удерживаемый группой разведчиков во главе с сержантом Павловым; *«будители»* — деятели словацкого национального движения конца XVII — первой половины XIX в.; *Хорти* Миклош (1868—1957) — фашистский диктатор Венгрии в 1920—1944 гг.; *Пилсудский* Юзеф (1867— 1935) — фактический диктатор Польши в 1926—1930 гг.

Судьба колосьев (с. 643).— Впервые — Правда, 1944, 16 сентября. *Прозерпина* — в римской мифологии богиня плодородия и подземного царства; *...цитату из моей старой статьи* — «Мысль в отставке» (Известия, 1932, 16 декабря); *Дрие ла Рошель* Пьер (1893— 1945) — французский писатель, коллаборационист, после изгнания гитлеровцев из Франции застрелился; *Хартия* — Великая хартия вольностей (грамота, ограничившая королевскую власть и установившая неотъемлемые права граждан; выдана английским королем Иоанном Безземельным в 1215 г.); *франтиреры* — военная организация французского Движения Сопротивления; *Папен* Франц фон (1879—1969) — в 1933—1934 гг. вице-канцлер Германии, содействовал приходу нацистов к власти; *Майданек* — фашистский концлагерь близ Люблина (Польша); *Бабий Яр* — овраг на окраине Киева, место массового уничтожения гитлеровцами еврейского населения; *Тростянец* — село в Белоруссии, где гитлеровцы организовали лагерь для уничтожения еврейского населения; о поездке в Тростянец Эренбург написал в мемуарах «Люди, годы, жизнь» (кн. 5, гл. 18).

Великий день (с. 648).— Впервые — Красная звезда, 1944, 24 октября; перепечатана многими газетами. *Эрих Кох* (1896— 1959) — гитлеровский гауляйтер Украины; *Треблинка* — фашистский лагерь смерти в Варшавском воеводстве; см. очерк Вас. Гроссмана «Треблинский ад» (Гроссман В. Годы войны. М., 1946, с. 409—447); *Сабибур* — станция в районе Люблина (Польша), место уничтожения еврейского населения.

Герои «Нормандии» (с. 652).— Впервые — Красная звезда, 1944, 28 ноября; печатается по сб. «Летопись мужества». *Марсель Альбер и Роллан де ла Пуап* — старшие лейтенанты полка «Нормандия», Герои Советского Союза; *Бонне* — см. примеч. на с. 685.

1945

С Новым годом, Москва! (с. 654).— Впервые — Московский большевик, 1945, 1 января.

Варшава (с. 655).— Впервые — Красная звезда, 1945, 18 января, перепечатана рядом местных газет.

Весна (с. 657).— Впервые — Красная звезда, 1945, 30 марта; перепечатана рядом местных газет.

Хватит! (с. 659).— Впервые Правда, 1945, 9 апреля; 11 апреля перепечатана в «Красной звезде» и «Вечерней Москве»; была подготовлена отдельным изданием, но не вышла. 14 апреля 1945 г. «Правда» напечатала (а «Красная звезда» затем перепечатала) статью зав. отделом пропаганды ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает», в которой по указанию Сталина критиковалась статья «Хватит!» и дезавуировалась жесткая линия Эренбурга в отношении ответственности немцев за совершенные преступления. В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург писал: «Я понимал, почему появилась статья Александрова: нужно было попытаться сломить сопротивление немцев, обещав исполнителям гитлеровских приказов безнаказанность, нужно было также напомнить союзникам, что мы дорожим сплоченностью коалиции. Я соглашался и с тем и с другим —хотел, как все, чтобы последний акт трагедии не принес лишних жертв и чтобы близкий конец войны стал подлинным миром. Меня огорчало другое: почему мне приписали не мои мысли, почему нужно было осудить меня, чтобы успокоить немцев? Теперь, когда горечь тех дней забыта, я вижу, что в расчете была своя логика. Геббельс меня изображал как исчадие ада, и статья Александрова могла оказаться правильным ходом в шахматной партии. Моя наивность была в том, что я считал человека не деревянной пешкой». После статьи Александрова и до окончания войны Эренбурга в СССР не печатали. *Ницше* Фридрих (1844—1900)—немецкий философ, его концепцию «сверхчеловека» широко использовали идеологи нацизма; *дело Дрейфуса* —см. примеч. на с. 682; *Золя* Эмиль (1840—1902)—французский писатель; *Анатоль Франс* (1844—1924)—французский писатель; *Мирбо* Октав (1848—1917)—французский писатель.

27 апреля 1945 года (с. 665).—Написана для зарубежных агентств; первоначальное название «В Берлине»; на рус. яз. впервые—Летопись мужества (М., 1974). В сопровождающей рукопись этой статьи записке Эренбург писал Г. Ф. Александрову: «...Иной читатель, прочитав Вашу статью, сможет сделать вывод, будто я призывал к поголовному истреблению немецкого народа. Между тем, я, разумеется, никогда к этому не призывал, и это мне приписывала фашистская немецкая пропаганда. Я не могу написать хотя бы одну строку, не разъяснив так или иначе этого недоразумения. Как Вы увидите, я сделал это не в форме возражения, а приведя цитату из моей прежней статьи. Здесь затронута моя совесть писателя и интернационалиста, которому отвратительна расовая теория». *Делакруа* Эжен (1798—1863) — французский художник.

Победа человека (с. 669).—Впервые—Известия, 1945, 16 мая; одна из двух статей Эренбурга, посвященных победе над фашистской Германией (первая —«Утро мира»—напечатана в «Правде» 10 мая 1945 г.). *Достойно наказав дуче...*—Фашистский вождь (дуче) Италии Муссолини был захвачен партизанами и казнен; *Ибсен* Генрик (1828—1906)— норвежский драматург; *Фау*—немецкие реактивные снаряды.

В. Попов, Б. Фрезинский

Содержание

Эренбург И. Г.

Э76 Собрание сочинений. В 8 т. Т. 5. Падение Парижа: Роман; Война. 1941 — 1945: Статьи / Сост., подгот. текста И. Эренбург и А. Рубашкина; Коммент. Б. Фрезинского и В. Попова. — М.: Худож. лит., 1996. 703 с.

ISBN 5-280-02068-0 (Т. 5)
ISBN 5-280-01055-3

В пятый том Собрания сочинений И. Г. Эренбурга вошли роман «Падение Парижа» (1940—1942) и военная публицистика (1941—1945).

ББК 84(2Рос=Рус)6

Илья Григорьевич Эренбург

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Том пятый

Подбор иллюстраций
Б. Фрезинского

Зав. редакцией
Г. Иванов

Редакторы
А. Краковская, К. Вепринцева

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
В. Кулагина

Корректоры
Г. Володина, И. Лебедева

Изд. лиц. № 010153 от 27.12.91.
Сдано в набор 28.10.91. Подписано в печать 12.02.96. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 36,96+альбом=37,8. Усл. кр.-отт. 39,06. Уч.-изд. л. 39,65+альбом=40,37. Тираж 10 000 экз. Заказ № 821. «С»—275

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диапозитивы текста изготовлены в Государственном ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Комитета Российской Федерации по печати. 113054, Москва, Валовая, 28

Отпечатано в ИПП «Правда Севера». 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32

